

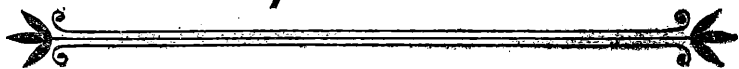
ИСПЫТАНИЕ

*А. А. Бестужев
(Марлинский)*

*А. А. Бестужев
(Марлинский)*
ИСПЫТАНИЕ



*А. А. Бестужев
(Марлинский)*



ИСПЫТАНИЕ

Повести и рассказы

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1991

84 P 1
Б 53

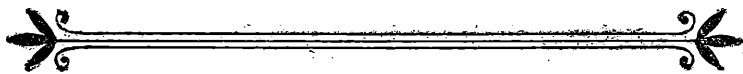
Составление и примечания
А. Л. Осповата

Иллюстрации и оформление
Г. Г. Саленкова

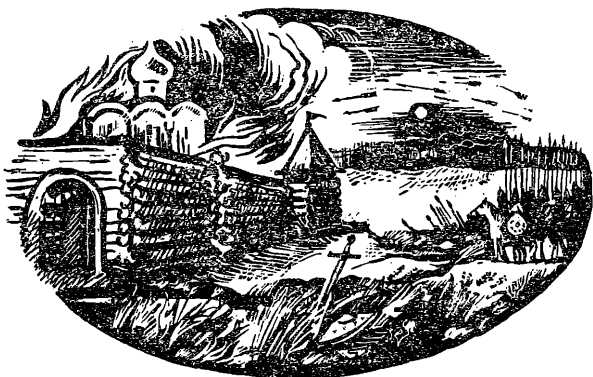
В $\frac{4702010101-2389}{080(02)-91}$ 2389-91

ISBN 5-253-00296-0

© Осповат А. Л.
Составление. Примечания. 1991.
© Саленков Г. Г.
Иллюстрации. 1991.



Повести и рассказы



Роман и Ольга

СТАРИННАЯ ПОВЕСТЬ

I

Зачем, зачем вы разорвали
Союз сердец?
Вам розно быть! вы им сказали:
Всему конец!
Что пользы в платье золотое
Себя рядить?
Богатство на земле прямое
Одно: любить!

Жуковский

Дтому не бывать! — говорил Симеон Воеслав, именитый гость новгородский, брату своему, — не бывать, как двум солнцам на небе. Правда, твой любимец, Роман Ясенский, хорош и пригож, служил верой и правдой Новугороду, потерпел много за Русь святую; горазд повесть слово на вечах, в беседах, удал на игрушках военных^{1*} и на всё смыш-

* Здесь и далее все примечания, следующие непосредственно за текстом произведения, и подстрочные примечания принадлежат автору. Сохранены (и оговорены) авторские переводы иностранных текстов. Примечания составителя см. в конце книги.

лен, ко всем приветлив... Одна беда,— примолвил Симеон, с гордостью перебирая связкою ключей на поясе,— он беден — стало быть, не видать ему за собой Ольги.— У тебя ль, Симеон, нет золота? — возразил брат его, Юрий Гостиный, сотник конца Славенского.— Тебе ли желать богатого зятя, когда ты можешь устлать деньгами всю дорогу его к церкви венчальной! — Но кто мне порука, что не деньги влекут Романа к моей дочери? — Его чувства, Симеон, его поступки: кто бескорыстно принес в жертву родине свою кровь и молодость, кто первый запалил наследственный дом, чтобы он не достался врагам Новагорода, тот, конечно, не променяет души на приданое! — Так не хочешь ли, братец любезный, чтоб я бросил мою лучшую, заветную жемчужину в мутный Волхов, чтоб я отдал мою дочь — за человека, у которого нет три-девяти снопов для брачной постели², у которого и любимый конь пасется муравою приятелей! Моей ли Ольге он чета? У нее корабли в море, у него — журавли в небе.— Брат! не порочь доброго гражданина! Сердце Романово стоит твоих мешков с золотом, и в его жилах течет нехудая кровь детей боярских: племяннице моей не стыдно сложить руку с рукою правнука Твердислава³. — Да будь он потомок самого Вадима, и тогда без золотого гребня не расплести ему косы моей Ольги и своей славной саблей не отворить кованого ларца с ее приданым.— Чудный человек! ты ищешь за свое добро купить себе горе, а дочери несчастье. Ольга любит Романа; ее слезы... — Слезы — вода, а про любовь ее, задуманную без моего согласия, не хочу я и слышать.— Брат Симеон! сердце не слуга, ему не прикажешь! — Зато можно отказать. С этого часу запрещаю Ольге и мыслить о Романе, а ему ходить ко мне. Я хочу, чтоб она думала не иначе, как головою отца да матери: жила бы по старине, а не по своей воле, и не подражала бы чужеземным, привозным обычаям. Правду молвить, в этом первую виной — германцы, и когда бы мог, то изгнал бы их всех из православного Новагорода.— Если б не торговые выгоды! — прервал Юрий, с усмешкою разглаживая усы свои.— Да, да, если б не торговые выгоды! — отвечал Симеон, тронутый таким замечанием,— выгоды, которые сделали меня первым гостем новгородским, а мою дочь богатейшею невестой, у которой свахи лучших женихов обили пороги.— И всегда и навсегда напрасно: Ольга не избрет другого, если ты не выберешь ею избранного. Брат и друг! ты хорошо знаешь свои счета, но худо страсти людские. Ольга может в твою угодю скрыть слезы свои, но эти слезы

сожгут ее сердце, и она безвременно увянет — как цвет, иссохнет — как былинка на камне. Не делай же ее несчастною, не заставь крушиться родных на твое позднее раскаяние. Послушай совета от друга и брата, чтоб после не плакаться богу; исполни мою просьбу; а молодых молю — отдай Ольгу Роману!..— Слово: совет пробудило гордость Симеонову.— Побереги эти советы для детей своих! — сказал он, нахмутив брови, чтобы под суровостию чела скрыть слезы, навернувшиеся на глазах от речи Юрия, — старшему брату поздно жить умом младшего.

Долго длилось молчанье. Юрий, недовольный худым успехом сватовства, видел, что он оскорбил самолюбие брата. Симеон досадовал на него за противоречие, а на себя за помин о старшинстве: один глядел в косячатое окошко, другой играл кистью своего узорчатого кушака — оба искали слов к разговору и не находили. Наконец нетерпеливый Юрий решился избавить себя и брата от затруднения уходом.— Прощай, братец! — тихо сказал он, снимая со стопки бровную свою шапку.— С богом, Юрий! но почему ты не остаешься здесь ужинать? Я попотчую тебя стерлядью и славным вином заморским.— Если б даже ты угостил меня княжескими павлинами, я не останусь: тоска племянницы отравит редкие твои ясты и дорогую мальвазию...— Вольному воля! — повторил раза два Симеон, провожая брата. Задумавшись, сел он под божницей, блестящей золотыми окладами и венцами старинных икон, изукрашенных камнями самоцветными. Сватовство Романа не выходило из его головы: участь дочери лежала на сердце; гордость боролась с отеческою любовью. Больше всего на свете любил Симеон Великий Новгород, но больше всего уважал богатство, и потому-то человек, не отличенный еще согражданами, не наделенный счастьем, с своими заслугами и достоинствами казался ему ничтожным. К этому присовокупилась давняя досада за противность на вече, где Роман сильно опровергал его мнения. Симеон скоро увидел истину; но старые люди редко ее прощают юношам. Расчетливость не охладила в нем чувств, но тщеславие заставило желать для дочери жениха именитого и богатого: судьба Романа решилась. Симеон не любил говорить дважды. «Брат посердится и уймется, — думал он, — а любовь девушки — лед вешний: поплачет она, поскучает... и другой жених оботрет ее слезы бровным рукавом шубы своей!»

Бледен как полотно выслушал Роман из уст Воеслава приговор свой. Добрый Юрий был ему вместо отца род-

ного: он старался смягчить отказ словами ласковыми, льстил надеждой далекою; но мог ли обольстить несчастливца! Сердце влюбленного чутко, взоры его необманчивы: Роман издалека прочитал беду на лице благодетеля. В исступлении немого отчаяния, вперив неподвижные взоры на дверь, долго сидел он на лавке дубовой, ничего не видя и не слыша. Горькие вздохи вздымали грудь, занимали его дыханье; наконец природа взяла верх — в два ключа брызнули слезы из очей юноши; он, рыдая, упал на грудь великодушного друга.

В те времена добрые люди не стыдились еще слез своих, не прятали сердца под приветной улыбкою: были друзьями и недругами явно. Воеслав плакал вместе с Романом, и благодарная душа его как будто утешилась рою отрады.

II

Уста раскрыв, без слез рыдая,
Сидела дева молодая;
Туманный, неподвижный взор
Безмолвный выражал укор.

А. Пушкин

Милая Ольга не знала, не ведала о бывшем. В высоком липовом своем тереме, в кругу нянек и сенных девушек, сидела она за пяльцами, вышивая ковер шелковый, и, между тем как нежная рука выводила узоры, воображение рисовало ей блестящие картины будущего. Она краснела от удовольствия при мысли, что на этот ковер, может быть, ступит она под венец с милым сердцу. Воспоминание переносило ее к первой встрече с прекрасным юношею, когда он забыл поклониться, пораженный ее красою, боясь свести глаза с Ольги пленительной. С младенческою подробностью припоминала она ту прелестную весну, когда сердце ее распустилось, как роза, под дыханием первой любви; тот незабвенный семик, когда впервые рука ее трепетала в руке Романа, когда нехотя убегала она в резвых горелках от милого незнакомца и как будто случаем с ним встречалась, с ним завивала березку, и когда Волхов умчал гадальный венок ее, в глазах Романовых хотела прочесть будущую свою участь. Припоминала места, где видались они, и тайные речи, и поступь, и одежду сердечного друга. Иногда, опустив иголку, в обмане меч-

ты ей казалось, как наяву, будто Роман стоит перед нею в светло-синем кафтане своем, с серебряными застежками, обтянутом около стройного его стана, в зеленых сафьянных сапожках с золочеными каблуками! Казалось, она видела, как он кланяется с обычною уветливостью, как отряхает русые кудри свои, как закладывает шитые с бахромою перчатки за кушак шамаханский, — и мимолетный ветер чудился ей голосом любезного. Как любила слушать она Романовы повести о дальних походах новгородцев на Поморье и на Подолье; о битвах с богатырями железными, с суровыми шведами, с дикими половцами и литовцами. Она заслушивалась им, растворив окно светлицы, над крыльцом отеческим, где милый вонитель беседовал за стопой кипящего меду, сидя с братьями Воеславами по субботам в час вечера, когда кончены все заботы недели, и тонкий пар встает с бань приволховских, и река кипит пловцами. С каким-трепетом, с каким благоговением внимала она рассказу о недавнем нашествии Тамерлана, о промысле всемогущего, спасшего Москву от гибели верою граждан, заступлением девы пречистой, образом Владимирской богоматери⁴¹! С каким участием провожала Романа, плененного в Ельце, за войском монголов, гонимых мечом невидимым из России! Описание вечноцветущей Астрахани, коверчатых берегов закубанских и Кавказа, подпирающего небо шлемом снежным, оперенным тучами, и грозное величие бича вселенной — Тимура, его роскошный двор, его зверонравных подданных с их нарядами, с их обрядами и забавами — привлекали внимание Ольги. — Добыча целого света, запечатленная кровию миллионов людей, лежала горами в престольном стане Тимуровом, — говорил Роман. — Цари и владельцы всей Азии служили хану рабами. Ковры персидские, украшение дворцов Багдада, стали попонами верблюдам, многоценные пояса дев русских обратились в смычки собак; багряницы князей веяли чепраками на конях победителя. Гордые моголы, нежась на войлоках под шалевыми палатками Тибета, пили вино разграбленной Грузии из священных чаш Царя-града. — Сердце ее замирало, когда она внимала ужасам, висевшим над головою Романа-во время плена, и опасностям во время бегства его на родину от берегов Черного моря. Неустрашимость мужчины вливает в грудь девушки какое-то возвышенное к нему уважение. Соучастие дружит, сближает с страдальцем, и любовь, как тиховейный ветер, закрадывается в душу. Пленили Ольгу повести богатырские, но что было с

нею, когда Роман садился за звонкие гусли и под говор струн запевал томную песню! Его голос казался тебе, красавица, отголоском тайных чувств твоих; твоя душа сливалась и замирала с звуками любовных припевов; ты млела в каком-то сладостном забытье, и долго, долго слышались тебе отрадные звуки знакомого голоса, и взоры певца ласкали, проносили сердце.— Неужель всё то правда, что поется в песнях? — не раз спрашивала Ольга у добродушной няни своей.— О, конечно! — отвечала няня, — в сказке — басня, а в песне — быль.— И вслед затем запевала она любимые песни Ольгины, сложенные Романом, и неопытная предавалась страсти злосчастной и с потворством внимала шепоту сердца, которое от часу громче твердило: люблю, люблю Романа! — Ты спознала, непреклонная красавица, грусть, и сладкие вздохи, и неясные желанья, и, в награду бессонницы — сны, украшенные образом незабвенным. Да и кто ж, коль не он, ей суженый? Разве даром ей явился Роман в зеркале, разве даром приснился о святках, накануне крещенья, и перевел, как наяву, через мост свадебный? Неужели лучший вещун — сердце ее обмануло!.. Так лелеяла надежды свои невинная Ольга; но жребий судил иначе...

Вечерел ясный день рюэня⁵. Ольга задумчиво сидела под густою яблонью, в тенистом саду отеческом. Вдруг затрещал частокол высокий, кто-то спрыгнул с него, еще миг — и Роман очутился перед испуганною Ольгою.— Не беги, не пугайся, не гневайся, милая! — говорил он, схватив ее за руку, — выслушай твоего верного Романа. Моя жизнь, мое счастье от того зависят.— Красавица вырывалась напрасно; рассудок советовал ей: беги! сердце шептало: останься! Что скажут добрые люди? повторял разум. Что станется с милым, когда ты скроешься? замечало сердце! Еще борьба страха и стыдливости не кончилась, а Ольга нехотя, сама не зная как, сидела уже с Романом рука об руку и пленительным голосом любви упрекала любезного льстеца в безрассудстве.— Ольга! — сказал тогда Роман, — я принес весть нерадостную: я сватался, и мне отказано! Жить без тебя я не могу, и когда твоя любовь не одни пустые речи — бежим к доброму князю Владимиру: у него найдем приют, а в сердцах своих счастье. Решайся! — Поражена, изумлена вестью и предложением Романа, безмолвна сидела Ольга. Всё кончилось! все меч-

ты — любимые подруги сердца, погибли. Исчезла радость навек, будто павшая звезда, и так безнадежно, так неожиданно! Долго бушевали страсти в груди ее; долго тускло зеркало разума под дыханием отчаяния; наконец ужасающая мысль о побеге возбудила внимание Ольги. — Бежать, мне бежать! — воскликнула она, рыдая. — И ты, Роман, мог предложить средство, позорное для моего роду и племени, пагубное для меня самой! Нет, ты не любил Ольги, когда забыл о ее доброй славе, о чистоте ее совести. Бежать! совершить дело неслыханное, бросить край родимый, обесславить навек родителей, прогнать бога и святую Софию! Нет, Роман, нет! Отрекаюсь любви, если она требует преступлений, и даже тебя, тебя самого... — Слезы прервали речь ее.

С нахмуренным челом, блуждая окрест сверкающими взорами, внимал вспылчивый Роман укорам девы. — Женщины, женщины! — произнес он с дикою усмешкою, — и вы хвалитесь любовью, постоянством, чувствительностию! Вы, жалостливые только до песен; вы, из тщеславия пленяющие легковерных! Любовь ваша одна прихоть, болтлива и летуча, как ласточка; но когда приходится доказать ее не словом, а делом, как вы обильны в извинениях, как щедры на советы, на старые басни и на упреки! И для чего ж было льстить мне коварными взорами, речами ласки и надежды? Чтобы убийственным нет оледенить сердце любовника! Не для тебя ль, непреклонная, забывал я славу, и свет, и всё, меня окружающее; не замечал, как откидывались от глаз будто ненароком, при встрече со мною, фаты первых красавиц; какие взгляды стремились ко мне из-за штофных занавесов богатейших из моих соседок? Не я ли вековал на улице, чтоб уловить небесный взор твой, услышать звук твоего голоса, шум легкой твоей походки? не я ли посвятил тебе жизнь и счастье жизни? И ты разом всё у меня похищаешь: меняешь мою руку на роскошь, хочешь, чтоб золотым обручальным кольцом приковали тебя к чугунной цепи немилого супружества — немилого, говорю я?.. но ведь женская любовь — привычка; долго ль красавице позабыть прежде!.. И, может статься, если переживу я свое несчастье, Ольга захочет видеть меня дружкой своим, чтобы с саблей в руке скакал я в ночь около ее спальни и охранял покой новобрачных!.. — В пылу гнева Роман не внимал умоляющему голосу Ольги, но излив словами сердце, он увидел слезы ее: они потушили исступление. Ярость исчезла, как тающий снег на раскаленном железе. — Неблагодарный

друг! — говорила красавица, — и ты мог подумать, мог вымолвить, что я разлюбила тебя! Надеялась ли я когда-нибудь слышать упреки за справедливость? думала ли получить такую награду, когда твои вздохи волновали грудь мою, когда по целым часам я внимала взорами тайному разговору ясных очей твоих?.. а теперь! — Прости, прости меня, бесценная! — повторял тронутый Роман, целуя хладную ее руку...

Невольно склонилась девица на кипящую грудь юноши; щеки обоих горели румянцем — и первый сладостный поцелуй любви запечатлел примирение. — Жить и умереть с тобою! — тихо произнесла Ольга, и все жилки Романа затрепетали чувством неизъяснимым. — Души пылкие! вам они понятны: вы изведали сии волшебные мгновенья, когда каждая мысль — радость, каждое ощущение — нега, каждое чувство — восторг!

— Через три дня, в праздник пятилетия мира с немцами, в час полуночи, я буду ждать милую Ольгу под окошком садовым; борзые кони умчат нас отсюда, суматоха праздничная поспособствует побегу, и на берегу чуждой реки найдем мы покой и счастье и, может статься, дождемся благословения отеческого. — Роковое да! излетело со вздохом. Любовники поцеловались еще и еще раз. Прощальные слезы сверкнули — Роман удалился.

III

Они в ручной вступили бой,
Грудь с грудью и рука с рукой:
От вопля их дубравы воют —
Они стопами землю роют.

Дмитриев

Наступил день праздника. Веселый звон колоколов огласил воздух, и Новгород запестрел народом; собираются стар и мал: граждане в церковь Софийскую, немцы к Св. Петру. Громогласно читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским берегом; молебствие отходит, и все спешат от обедни к обеду на городище. Сановники за столами браными ждут гостей, гости ожидают друг друга. И вот уже посадник приветствует купцов ревельских, любских, армянских, союзников литовцев, земляков россиян. Владыко благословляет ястывы, гремит труба — и все садятся: богач подле бедного, знатный с простолюдином, инове-

реу рядом с православными. Всё смешано, все дышат братством и дружеством: благодатное небо раскинуто одинаково над всеми. Казалось, тогда обновился пир Изяслава, князя, любезного народу, угощавшего на этом же месте любимый народ свой. Протекли с того дня три века; изменились князья Новгорода: зато новгородцы остались те же. По-прежнему шумны, как липец, по-прежнему гнев их сердец опадает, как пена, и незлопамятная рука новгородца охотно покидает меч для кубка мирового, и недруги садятся друзьями за гостеприимный стол, за хлеб-соль русскую. Текут часы, течет вино рекою, и зазданный рог кружится между гостями, и цветные наливки румянят ланиты пирующих. Смех и шум возвещают конец обеда. Встают — и веселые, живые песни раздаются по берегу. — Милости просим, алдерман Бруно, фогт фон Роденштейн и все господа рыцари немецкие и все ясные пань Литвы! — говорил ласковый Юрий Воеслав приезжим. — Милости просим послушать песенок русских: певец Роман, верно, не откажется потешить дорогих гостей наших. — Любопытные стеснились в кружок. Роман настроил гусли, робко окинул взором собрание и запел о любви дочери Ярославовой Елисаветы к смелому Гаральду, витязю Скандинавии, изгнаннику, великодушно принятому при дворе новгородском. «Князь! — говорил ему мудрый Ярослав, — ты мил моей дочери — этого довольно: меняйтесь сердцами и кольцами, но знай, что одними песнями не купишь руки Елисаветиной, покуда слава не будет твоею свахою». «Иди и заслужи меня!» — произнесла полумертвая княжна, и Гаральд полетел в Грецию, сражался годы за св. крест, побеждал потому, что любил, и, презрев страсть императрицы Зои, с верною дружиною варягов, между тысячами опасностей, возвратился к Новгороду, и корысти, и славу и почести поверг к ногам верной Елисаветы.

Вдруг затихли живые струны и светлая дума минувшего налетела на кругстоящих. Роман, зарумянясь, будто красная девушка, внимал похвалам и плескам всеобщим. Как подстреленный орел рвется в путях, завидя добычу, так билось в груди юноши сердце, когда в княжем саду увидел он Ольгу, когда заметил на лице ее улыбку одобрения: он был счастлив!

— К играм, к играм! — прокликнул бирюч, скача на татарском коне по набережной, звуча по временам в трубу серебряную. Расхлынули волны народа, и просторный круг образовался для борьбы и для ристания. Немцы были

первыми гостями на празднике: они первые въехали за веревку. Взоры всех стремятся на оружие всадников: один из них в светлом серебряном панцире, в таких же поручах и поножах, в стальных перчатках: закрыт от золотой шпоры до золотого нашлаемника, расцветшего, будто махровый мак, строусовыми перьями. Забрало опущено. Черный крест украшает левую грудь; чешуйчатый прибор гремит на сером коне рыцаря. Стальной клетчатый намордник, прикрепленный к ветвистому мундштуку, охраняет конскую голову. Молодой витязь рыщет по поприщу, поднимает решетку шлема, увидя красавиц, выглядывающих сквозь ветви окружающих садов, вьет пыль и окровавленную шпорою вперяет свой жар в хладнокровного бегуна фряжского. Другой тихо разъезжает кругом. Его броня чернее ночи; тяжело вооружение и меч огромен. Голова мавра видна в золотом поле щита⁶; кудри белоснежных перьев играют с ветром. Бесстрастные глаза рыцаря едва блистают сквозь крестовидные скважины глухого его забрала. Но вот рассказали противники, летят навстречу, сердца зрителей бьются по скоку коней,— удар! — и копыта в осколках, и кони, сгрывнувшись, поверглись наземь: рыцари, запутанные, задавленные латами, лежат под своими бегунами недвижимы и невредимы.— Прекрасны ваши брони,— говорили, поднимая их, новгородцы,— но для нас несручны: русский не согласится сидеть будто в засаде в таком панцире и, как в тюрьме, дышать божьим воздухом сквозь решетку! — Литовские пятигорцы⁷ на резвых конях взнеслись на площадь. Их было трое: легкие кольчуги облекают стан до колена, медвежьи шкуры веют на левых плечах, орлиные крылья шумят за спиною. Бобровые прильбицы⁸ надвинуты на брови; кривые сабли их бренчат; мелькают копыта, увенчанные полосатыми значками; высоки сафьянные седла их, убитые золотом, увешанные корольковыми кисточками и ременными плетнями; лягушки с снарядом огнестрельным висят на правом боку; фитили курятся в жестяных трубках. Они гарцуют и с воплем скачут по полю, крутят дротиками, мечут и ловят их на полете или, покинув поводья на шею послушных бегунов, берутся за едва виденные дотоле самопалы⁹ и как перуном рязят перелетных ласточек и дивят народ своим проворством.— Удалы наездники! — говорят про них меж собою новгородцы,— а не раз случалось нам щипать этих орлов задвинских.

Пращи свистят; русские стрелы решают цель; юноши опереживают ветер, бегая взапуски; всадники скачут, со-

провожаемые восклицаниями, ожидаемые наградою у мѣты. Борьба, любимая забава племен славянских, привлекает удалцов; кулачный бой решит победу. Уже строятся стороны: особо Софійская, особо Торговая; уже громко вызывают поединщики друг друга; двое первых бойцов выходят на средину, сбрасывают с себя кушаки, цветные кафтаны и с правых рук — рукавицы, обнажают их до локтя. Айфал бьется со стороны Торговой, Буславич — от Заречья. Первый ретив, быстр, грозит взорами и словами, другой насмешливо молчалив и неподвижен. В двух шагах друг от друга колеблются они, склоняясь наперед всем телом, закрыты, как щитом, левыми руками, стерегут удачного мгновенья, чтоб поразить правую, — вот удар, и великан Айфал сгорел от руки Буславича; но вот и обе стены сошлись, схватились, смешались; воздух стонет от кликов; удары дождят — как вдруг раздался глухой звон вечеревого колокола: изумленные борцы остановились и, еще стиснув в руках противника, прислушивались к вестовому звуку. Удары повторялись за ударами, и с каждым разом росло смятение. Новгородцы забыли и бой и веселье, когда общее дело зовет их на вече. Народ потек на двор Ярослава; у каждого в глазах было написано недоумение, на всех устах летал вопрос: что значит эта неожиданность и что она сулит нам?

— Граждане! — сказал посадник Тимофей собравшемуся народу, — послы князей, Василия Дмитриевича и Витовта, сына Кестутиева, привезли грамоты о делах важных и неотлагаемо хотят вручить их новгородскому вечу. Когда и как позволите вы явиться им перед собою?

— Теперь, сейчас, — воскликнули тысячи, — допускаем их поклониться святой Софии и по старине справить свое посольство. — Послы явились. Московский боярин Константин Путный взшел на крыльцо с обнаженною головою, поклонился народу и читал:

«Василий Дмитриевич, великий князь Московский, Суздальский, Ниже и Новгородский и всяя Руси, шлет поклон своим верным людям новгородцам!.. Вложив меч в ножны, после кары строптивых городов ваших я три года жду покорности новгородской митрополиту Москвы — жду и не дождусь. Ужели вечно раздумье ваше? Знайте ж, что мое терпение не вечно. Это старое: желаю иного. Немцы усиливаются и богатеют в ущерб православным: обрывают соседние, союзные области и из вашего железа куют стрелы на русских. Призванный на княжение по роду,

я и по сердцу блюду моих подданных и обязан предупредить вас от зла, тем вреднейшего, чем более оно похоже на пользу. С тестем Витовтом мы ссудили войну Ордену меченосцев: требуем того же от Новагорода».

Еще не смолк гул изумления, когда литовец Ямонт гордо поступью вышел на средину и громко вещал:

— Новгородцы! вас приветствует Витовт, князь Чернигова, князь Белой и Червонной Руси, земли вятизей и всей Литвы. Я с вами в мире, а вы с врагами моими, рыцарями, в дружбе и совете. Принимаете и жалуете моих беглых мятежников¹⁰. Так ли поступают союзники? так ли платят за ласку нового брата по вере, у которого с вами одни друзья, одни враги. Новгородцы! хочу знать решительно, меня или магистра предпочитаете? Если его, то вспомните, что Витовт не за горами, и болота не щит Новугороду. Ваши леса склонятся мостом для моих бесстрашных; я пушу огонь и меч по вашей волости и подковами вытопчу нивы. Мой зять, а ваш государь седлает коня заодно со мною. Выбирайте: жду ответа! — Невиятное жужжанье негодования пронеслось в толпе народной. Один из старших посадников¹¹ проводил послов до посольского дома. Граждане, по обычаю, остались судить о слышанном. Епископ, после краткой молитвы, благословил всех на правое совещанье о святом деле родины. Все сановники удалились, ибо старинный закон запрещал им присутствовать на вечах, дабы уничтожить влияние власти. Как море, шумело собрание: разногласие волновало умы; наконец огнищанин Иоанн Завержский, муж правдивый, но миролюбивый, взошел на ступени и громко спросил позволения вымолвить слово; ему позволили, и вот что говорил он:

— Народ и граждане, вольные люди новгородцы! Вы слышали предложение князей; вы чувствуете неправоту сного, и обидность угроз, и высокомерие княжее; но вы внаете меру сил своих, и теперь благоразумие должно начертать ответ наш. Дело состоит в разрыве с лифляндцами или в войне с могучими князьями, и мое мнение: избрать меньшее, первое зло из двух необходимых. Правда, от Ганзы получаем мы все прихотные товары, но жизненные потребности в руках Василия: он может пересечь нам и путь к Каменному Поясу, а без соболей что будет с нашей заморскою торговлею? Это еще не всё: немцы приятели нам только в гостинном дворе и злодеи в поле: набеги их на границы наши от Невы и Великой тому порукою: за них ли, чужеземцев, прольем кровь братьев, на-

ведем беды на отечество? И без того еще не встали из пепла села и монастыри и запольские¹² посады Новагорода, недавно принесенные в жертву, великодушно, но бесполезно. Прошлый раз Василий вооружил двадцать городов: теперь один Витовт приведет более, и тяжкая сила задавит волю. Не лучше ли ж до поры до времени уступить некоторые выгоды, чем вдруг потерять все? — Правда, правда! — закричали многие. — Куда нам ведаться с двумя сильными врагами? — Тогда, кипя досадой и гордым мужеством, Роман просил слова. — Говори! — зашумели все. Роман говорил:

— Вольные местичи вольного Новагорода! Не дивно было, когда послы князей винули и стращали нас по-своему: дивлюсь, как новгородец мог предложить меры, столь противные пользам соотечественников! Мы поклялись управляться в делах церкви своим епископом; мы целовали крест на мир с рыцарями — ужели будем играть душою, чтоб угодить Витовту? Ужели новгородская совесть отдана в приданое за его дочь? Недовольный клятвopеступством, он хочет и нас сделать предателями, требуя, чтоб мы выдали Василия и Патрикия на участь Скиригайла и Нариманта, «им изведенных; но можем ли, захотим ли нарушить искони славное гостеприимство наше! Изменим ли заповеди евангельской, повелевающей прощать и благотворить врагам? Витовт, забрызганный кровью наших одноземцев, хвалится, что разил врагов Новагорода, пирует с зятем в Смоленске и вооружает его на немцев. Василий жалуется на них, чтоб обвинить нас, но от кого будет сам получать парчи, бархаты, сукна, оружие? Через какие ворота потекут в Русь искусства, рукоделия и все новые изобретения стран далеких? Через кого мы сами богаты и сильны? Разорвется узел торговли, и обедневший Новгород — верная добыча первому пришельцу. Вспомните, граждане, старинную пословицу: пустой мех стоять не может! — Громкие знаки одобрения заглушили речь Романа. Когда утихло, он продолжал:

— Говорят, что ключ от новгородской житницы в руках Василия; но разве нет хлеба за морем? Дорогою же к золотому сибирскому дну завладеть не легко: в Двинской области у нас есть войско, которое отстоит города, промышленные копьем в поле, а не поклонами в Орде; здесь найдутся люди, чтоб их выручить. Враги наши ужасны, зато в них нет единодушия: Витовт, роскошный на обеты и угрозы, любит греться у чужого пожара и теперь, соби-

раясь громить монголов, не завяжется в битву с соседями. Василий могущ, опасен — тем сильнее должны ополчиться мы сами. Вам предлагают купить мир — временную уступкою прав своих и вечным стыдом родины. Граждане! разве не испытали вы, что уступки становятся чужим правом? разве серебряным лезвием отразили предки булат Андрея Боголюбского? Наш колокол не дает спать в Кремле Василию: заснем ли мы под грозою? Или забыли замученных торжецких братьев своих¹³, или нет в Новгороде сердец новгородских, или не стало мечей, или мы разучились владеть ими? Пускай же восстают тьмы русских на своего прадеда, на Великий Новгород: за нас наша мать, святая София!

Скоро окончилось вече, и каждый понес домой страх или надежду в сердце.

IV

Ах ты, душечка, красна девица,
Не сиди в ночь до бела света,
Ты не жги свечи воску ярого,
Ты не жди к себе друга милого!

Народная песня

Стих, стемнел шумный Новгород; гасли огни в окнах граждан и чужеземцев: сон смежил очи заботы. Покойно всё на берегах Волхова: только ты не спишь и не дремлешь, прелестная Ольга! и сильно бьется сердце девическое, высоко воздымается грудь твоя: ожидание, страх и раскаяние тебя терзают. Любимая няня уже распустила ей русую косу, сняла с нее праздничные ферезы, прочитала молитву вечернюю, sprыснула милую барышню крещенскою водою, осенила крестом постелю, нашептала над изголовьем и с наговорами благотворными ступила правую ногою за порог спальни. Добрая старушка! для чего нет у тебя отговоров от любви-чародейки! Ты бы вылечила ими свою барышню от кручины, от горести, от истомы сердечной. Или зачем сердце твое утратило память юности? Ты бы провидела страсть милой Ольги, заглушила бы ее еще в цвету — советами и рассеянием. Но ты сама раздувала пламень, сама напевала ей песни Романовы, хвалила его нрав и статью. Беда юноше, когда ветреная красавица только думает, что его любит; горе девушке, если она любит неложно! В шуме боевой, походной жизни, с чужеземными красавицами забывает молодец прежнюю милую, но в тиши девичьего

терема гнездятся томительные страсти, и любовь глубоко вливается в невинную душу.— Ах, зачем, добрая няня, ты не ведаешь отговоров от любви-чародейки? Зачем старостью отуманились твои очи!

Но вот Ольга сбрасывает с себя жаркое одеяло и робкою белоснежную рукою осторожно отдергивает камчатные завесы полога — прислушивается; дыхание замирает в груди, блеск лампы перед иконою обличает волненье беглянки. Трепеща, надевает она соболью шубку и наконец — решается встать с постели: долго ищет ножкою по холодному полу туфель сафьянных — каждый скрип половицы бросает ее в холод. Красавица отворила окно. Всё было мертвенно, тихо в окрестности, и месяц плыл в выбких осенних туманах. Изредка слышался крик перепелки в нивах соседних; изредка бречанье цепей на собаках, стерегущих немецкий гостинный двор, раздавалось по Михайловской улице. Нигде ни души. Нет условного знака, страшного и желанного вместе. Склонясь на руку, уныло смотрела Ольга на сверкающий вдали Волхов, и тоска по родине сдавила ее сердце. «Прости в последний раз всё, что семнадцать лет меня радовало! Простите, добрые, милые родители!» — Ольга залилась горячими слезами, и невольно упала на колена перед спасовым образом, и в теплой молитве излила свою душу. Страсти улеглись в ней постепенно, и постепенно ярче слышался голос раскаяния: «Где найдешь ты покой, дочь ослушная, без благословения родителей, тобою убитых? Проклятие отца отягощает над тобою; грызение совести и общее презрение будут преследовать тебя в жизни и заградят грешнице небо; ты истасешь слезами, иссохнешь в объятиях мужа. Чуждый песок засыплет глаза твои; твое имя надолго будет укором!» Тронутая Ольга молилась с новым благоговением, и благодать низлетела в ее сердце светлую мыслью.— Нет! не огорчу, не обесслаблю побегом родителей! — сказала она с благородною твердостью.— Роман ослеплен любовью, но он меня послушает — я упрошу или оплачу любезного. Пусть буду несчастна: зато невинна! — Победа над собою пролила небесную отраду в утомленные чувства красавицы, и ангел сна осенил ее крылом своим. Покойся душа непорочная! Ты не одну еще ночь встретишь тоскою бессонницы, не одно изголовье смочишь слезами, которых не осушит ни солнце, как росу, ни поцелуй сострадательной матери, ни самое время, и долго тебе ронять их на ветер, долго ждать друга милого!

V

Под звездным небом терем мой,
 И первый друг мне — мрак ночной,
 И мой второй товарищ ратный —
 Неумолимый нож булатный;
 Товарищ третий — верный конь
 Со мною в воду и в огонь;
 Мои гонцы неподкупные —
 Летуньи-стрелы каленые.

Старинная песня

Под мраком ночи невидимкой миновал Роман Софийские ворота Новгорода и на вороном коне поскакал по дороге Московской. Быстро, не озираясь, неся он, будто русалка гналась по пятам, будто хотел умчаться от изменческой стрелы. Пал холодный туман на поляны; тяжелая грусть налегла на сердце. Ветер взвевал кудри Романа; широкие полы опашня трепетали на седле татарском, и кривая сабля гремела, ударяясь о стремяна. Протяжный звон службы всеобщей раздался с седой колокольни монастыря Хутынского и пробудил Романа от забытья. Взглянув на узорчатые главы оного, блистающие во тьме крестами золотыми, он вспомнил, что, выезжая в дорогу, не осенил себя крестом, и торопливо осадил опененного коня, снял шапку и набожно прочел: богородице дево, радуйся, и трижды склонялся к луке поклонами молитвенными. «Мучительно оставить милую, — мыслил Роман, — когда брачный венец ожидал нас. Тяжко покинуть ее в жертву сомнений и незаслуженной тоски, но, видно, бог не хотел союза тайного, неблагословенного: да будет воля его святая!» С думою на угрюмом челе пустился он далее. Совесть упрекает нас сильнее, когда решимость на худое дело напрасна, ибо досада неудачи ее подстрекает: то же самое было с Романом.

Долго ехал молодец по дороге-разлучнице; кручина, как ястреб, рвала его сердце. Месяц светил сквозь радужную фату облаков на пустую тропу и на сонные дубравы. Кругом не шелохнется листок, не встрепетается птичка; только звонкий отголосок вторит мерному топоту коня или хрустят порой гнилые мостницы под его ногами. Настала полночь, час привидений, но наваждение ада бессильно против невинности — ужасной ему, как песнь петуха, по преданию. Чего ж нам страшиться за нашего витязя, когда теплая вера ему покровом!

Частой рысью спускался Роман с крутого берега Вишеры на утлый мост, через нее брошенный; громкий свист

пробудил его из глубокой задумчивости, другой свисток отозвался в глуши леса. Конь вздрогнул и поднял голову — по телу всадника пробежал мороз. Узкий бревенчатый мост, опирающийся на шаткие козлы, лежал перед ним, сзади круть берега, кругом седой бор. Шатром перекачнулись ели заслоняли месяц, поток невидимый журчал внизу между камешками. Рассуждать было бы напрасно: Роман выправил рукоять сабли и, озираясь, проехал до половины моста. Чуткий конь прятал ушами, храпел, робко ступал, — но всё было тихо: Роман думал, что ему почудилось.

— Стой, или убью! — загремел неведомый голос, и пять удалцов, выскочив из-за обрушенных пней из-под моста, заступили ему дорогу. — Прочь, бездельники! — вскричал бесстрашный Роман, и дерзкий, схвативший под уздцы его лошадь, покотился от сабельного удара. — Режьте его! — воскликнули разбойники, и кистени засвистали вокруг витязя. Бодро отмахивался он от наступающих: пробиться и ускакать была его единственная надежда, но бог судил иначе. Блестящий нож испугал бегуна Романова: он с маху рванулся вбок, скользнул и полетел с мосту и там, на дне ручья, всей тяжестью тела придавил разбитого, бесчувственного всадника...

Светало. Вкруг умирающего огонька спали нераздетые разбойники; на их браных медью поясах сверкали длинные ножи. Самострелы, колчаны, кистени висели кругом на ветвях; три коня под седлами ели пшено вместе с Романовым. У переметных сум, полных добычею, дремал сторожевой с свистком в руке; атаман с завязанною головою лежал на волчьей коже и читал какую-то грамоту: вот какое зрелище представилось изумленному Роману, когда он опаматовался. «Где я?» — спрашивал он у самого себя. Как давно забытый, зловещий сон, мелькало в его памяти прошлое. Он смутно припоминал об условленном побеге, о вине, о любви, принесенной в жертву отечеству, о вине пути своего, наконец со страхом схватился за грудь... на ней уже не было хранительной сумки, ни данных ему наказов, ни золота, ему вверенного. Обморок снова охватил чувства Романа, испуганного сею важною потерей. Атаман разбирал по складам письмо, сорванное с Романовой груди, и гласно повторял каждую речь. Послушаем, что в нем написано.

«Наказ тысяцкого и посадников новгородских боярскому сыну Роману Ясенскому! Добрые люди знают тебя

за твою правду; мы уверены в твоей верности: мы поручаем тебе дело тайное. Правда, ты молод, но ум не ждет бороды, и нам не старого, а бывалого надо. Внимай! Великий князь грозитя на нас войною. Не боимся ее, но не хотим лить крови христианской, если можно того избежать; к этому один путь — золото. Бояре московские, сдружась теперь с баскаками, любят столъничать добром народа. Собирают татарской рукою двойные подати, продают правду, обманывают князей и простолюдинов. Итак, спеши в Москву; никем незнаемый, ты можешь выдать себя за иногородца и тайком склонять на нашу сторону княжих савновников. Не жалей ни казны, ни красного слова; представь им несправедливость требований, неверность счастья в битве, силу Новагорода и упорство новгородцев. Корысть и нелюбовь бояр к трудностям похода будут стоять заодно с тобою. Князь молод, и, может, ими отговоренный, он отменит гнев на милость. Однако не полагайся на обеты, на ласки придворных: с ними дружись, а за саблю держись. Замечай сам за всеми, поверяй всё собою. Спи и гляди, и чтоб первая боевая груба слышна была на Ильмене, чтоб не пал на нас князь, будто снег на голову. Крепко держи наш совет на уме, тайною запечатлей осторожность исполнения, а в остальном указ своя голова. Когда приложишь сердце к делу правому — святая София тебе поможет и государь Великий Новгород тебя не забудет. С богом!»

Атаман, прочитав грамоту, заботливо бросился к лежащему без чувств Роману. Кропил его студеной водою, лил вино в посиневшие губы — всё напрасно: смертный сон оковал члены юноши. Напоследок отозвалась жизнь в Романи — мгновенный румянец, как зарница, мелькнул на щеках его; он поднял отяжелевшие веки и удивился, увидя себя на коленях разбойника, между тем как другой его окуривал жженным опереньем стрелы. — Здравствуй, земляк! — сказал радостно атаман, смягчая грубый свой голос. Роман привстал, чтоб удостовериться, не сон ли это, и сомнительный взор его остановился на приветствующем — и быстрая мысль сорвала вопрос с полуоткрытых уст. — Понимаю! — возразил, усмехаясь, атаман. — Тебе чудно, что разбойник, которому вчера разразил ты буйную голову, теперь ухаживает за тобой, как за невестой: не дивись этому; гонец новгородский всегда будет у меня гостем почетным. Пусть ржавчина съест мою игольчатую саблю, если я ведал вчера, что ты новгородец! Но говорят, от

судьбы на коне не ускачешь, и я нехотя стал твоим грабителем. Ободришь, однако, добрый молодец! Ты не в худые руки попал: я не век был разбойником.— С этими словами он помог Роману встать, подвел его к огню, тер целительною мазью его ушибы и потчевал вином кипящим.— Благодарю! — отвечал Роман.— Я еще не пью питья хмельного: оно для меня как яд.— Ах, кому оно полезно! — сказал атаман, вздохнувши.— Многих бы грехов не лежало на моей совести, когда бы вино не мрачило разума. Буйные страсти от него кипели гневом, и невинная кровь лилась. Ты имеешь право, юноша, глядеть на меня с ужасом и презрением; но было время, в которое и моя душа светела, как хрустальное небо, в которое мог бы я встретить твои взоры своими, не краснея. Меня сгубила роскошная, разгульная жизнь. Одиннадцать лет тому назад весь Людинский конец пировал и бражничал за моими столами, и прозвище хлебосола Беркута гремело на Волхове. Всего было разливное море — но с ним скоро утекло наследство отеческое. Я привык жить шумно, блистательно, весело; я не мог снести бедности и правдивых укоров — ложный стыд повлек меня с вольницею новгородскою на берега Волги нечестным копьём добывать золота¹⁴.

Умолчу о злодейском молодечестве моих товарищей — умолчу о пылающем Ярославле, о разграбленной Костроме, о залитом кровью Новгороде Нижнем. Русские губили русских, продавали их в неволю болгарам, добром одноземцев запружали Волгу и Каму. Небесный гнев постиг святотатцев: шайка наша встретила гибель у стен астраханских. Князь монголов, Сальчей, заманил ее к себе, упоил, усыпил, и неосторожные заплатили головами за коварное угощение. Нас двое избегли побоища, и я с раскаянной совестью спешил на родину, где ждали меня новые беды. Война с Дмитрием кончилась, но не устал в новгородцах дух раздора. Посадник Иосиф раздражил народ гордостью, и три Софийских конца вооружились против концов Торговых; грозили друг другу, разметали мост Волховский; разграбили, срыли под корень дома бежавшего посадника и всех его сторонников. Я был жених его внучки, и буйная толпа, предводимая моим завистным соперником, сожгла мои хоромы, провозгласила меня изменником. Я бежал. Мсть глубоко заронилась в оскорбленное сердце: как лютый зверь, стерег я по дебрям и оврагам своего злодея, — и он пал от моего железа, но с ним сгорело мое счастье. Его труп лежит непереступаемым по-

рогом между людьми и мною. Ужасная клятва вяжет меня с этими преступниками, и с тех пор я напрасно хочу задушить совесть игом злодеяний великих, в крови и в вине утопить чувства человека. Мне всюду чудятся тени, и вопли, и запах тления. Солнце в день кроваво, и звезды в ночи как глаза мертвеца, и, кажется, листья в лесу шепчут невнятные укоризны. Мутный сон не освежает очей моих, а палит их! О, как тяжки мучения душегубца — он не может забыть ни бывшего, ни вечного будущего! — Роман прослезился, внимая раздирающему голосу преступника. — Счастливцев ты! — продолжал Беркут. — У тебя есть слезы на сострадание и печаль. Небо отказало злодеям и в этом. Он закрыл лицо руками. В безмолвной думе пролетел час рассвета.

Встало осеннее солнце из-за влажного цветистого леса. Конь Романа кипел под седлом; Беркут прощался с гостем. — Вот твои письма! — говорил он, — и твое золото: оно невреждимо. Спешу, куда зовет тебя долг гражданина, и знай, что и в самом разбойнике может таиться душа новгородская. Новгородцы лишили меня счастья в жизни и спасения в небе, но я люблю их, люблю свое отечество. Прощай, Роман, не поминай нас лихом! — Роман поблагодарил атамана и, чудясь виденному и слышанному, выехал заглохшею тропею из чащи в сопровождении одного из разбойников.

VI

«Ты без союзников!»

Мой меч союзник мне
И сограждán любовь к отеческой
стране!
Озеров

Три дня ждали ответа послы княжие; в четвертый позвали их на Ярославль двор. Уже вече было созвано: посадники, воеводы, тысяцкие окружали крыльцо. Бояре, люди житые, купцы и народ толпились за ними; всё кипело, шумело и волновалось. Послы взошли на возвышение, поклонились на все четыре стороны — посадник Юрий дал знак, и жужжанье умолкло.

— Послы московские и литовские! По своей воле и старине мы совещались миром о предложениях государей ваших, и вот, что присудило вече в ответ им. — Посадник разогнул и громко прочел грамоту:

«Великому князю Василию Дмитриевичу благословенные от владыки, поклон от посадников, от огнищан, от старейших и меньших бояр, от людей торговых и ратных и всех граждан новгородских! Господин князь великий! У нас с тобою мир, с Витовтом мир и с немцами мир».

— Только! — примолвил Юрий, завертывая висящие печати в свиток и отдавая оный изумленному москвитянину. — Князю Витовту тот же самый ответ от нашего государя, Великого Новгорода. — Литовец получил одинаковый свиток, и раздались рукоплескания. Ямонт обратился к народу: — Новгородцы! — сказал он. — Именем и словом Витовтовым спрашиваю еще раз: хотите ль покоя или брани? — Хотим дружбы со всеми соседями! — воскликнули тысячи голосов, — но имея щиты для друзей, есть у нас и мечи для недругов! — Война, война! — воскликнул разъяренный литовец, удаляясь, — и гибель области Новгородской! — Пусть Витовт творит, что хочет: мы сделаем, что должны! — говорили старейшины. Тогда посол московский начал слово к предстоящим.

— Новгородцы! Еще есть время одуматься: еще гром Василия не грянул над Новым-градом за строптивость, неправду и волжские разбои ваши. Как отец, он ждет раскаяния сынов заблудших; как государь накажет ослушников. Выбирайте любое: или исполнение требований моего государя, или гнев его и месть Новгороду! — Упреки Путного раздражили народ: ропот раздался в нем, как вешние воды. Прежний посадник Богдан выступил тогда на крыльце и, горя негодованием, отвечал: — Москвитянин! вспомни, что ты говоришь не слугам князя; Новгород еще не отчина Василия. Напоминать старое напрасно: презрение людей и мщение божеское наказали расхитителей поволжских и двинских. О разрыве с немцами ты слышал ответ веча — а что им сказано, то свято. Князь твой целовал крест, чтоб держать нас по старине и по грамоте Ярославовой: для чего ж теперь изменяет слову, требуя неправедного? — Обидные речи! — воскликнул Путный. — Вы сторицей за них заплатите. Волхов пересохнет от пламени пожара, и казнь Торжка повторится над Новым-городом! — Мы докажем, что не забыли ее! — зашумели все, — но у нас не найдется, как в Нижнем, другого предателя Румянца¹⁵. Мы станем за свою правду, за свою старину, а кто против бога и Великого Новгорода! — Московский посол удалился при буйных кликах народа.

VII

Где вы, отважные толпы богатырей,
Вы, дикие сыны и брани и свободы?
Возникшие в снегах, средь ужасов

природы.
Средь копий, средь мечей?
Батюшков

Между тем Роман ехал далее и далее. Скоро остались за ним Торжок и Тверь, еще опаленные недавними пожарами. Дороги пустели; редкие обозы тянулись по ним, и гордый новгородец кипел в душе негодованием, видя, как смиренно сворачивали они в сторону перед каждым татаринном, который, спесиво избочась, скакал на грабленном коне. Между полуразрушенными деревнями, разбросанными по два, по три двора, между заглохшими нивами возвышались невредимые монастыри и церкви: расчетливые моголы не смели косаться святынь — сего последнего убежища угнетенного ими народа, которому оставили они одно имущество — жизнь, одно оружие — терпение, одну надежду — молитву. Развращение нравов, эта ржавчина золота, не перешло еще от бояр к бедным: в дымных, покрытых соломою хижинах находил Роман гостеприимный ночлег, и радужное «добро пожаловать!» встречало его у порога. Хозяева угощали проезжего, чем бог послал, и наутро провожали его как родного, от сердца желали ему доброго пути и счастья. «Для меня нет счастья! — думал грустный Роман. — Оно поманило мне надеждой, будто песнею райской птички, и скрылось, как блеск меча во тьме ночи». На девятый день к вечеру показались башни Кремля, золототерхие церкви и многоглавые соборы московские; заревые тени играли на великанских стенах города; слитный шум оживлял картину, и отдаленный звон вселял какое-то благоговение! Радостна, прекрасна была погода, но Роман вспомнил о первом своем проезде через Москву белокаменную, когда он был так счастлив неопытностью, так удивлен, так занят каждою безделкой!.. а теперь, теперь!.. С тяжким вздохом проехал он сквозь ворота Тверские, и железная решетка за ним запала.

Роман в точности выполнил поручение веча. По долгу, но против сердца, казался веселым и приветливым, нашел друзей между сановниками двора, настроил многих своей мыслью, узнал мысли великого князя: они были нерадостны новгородцам. Юный Василий далеко превзошел отца

своего в науке властвовать, хотя и не наследовал от героя Донского ни прямодушия, ни храбрости личной. Он не привык быть самострелом в руках вельмож: слушал их и делал по-своему. Разметная грамота была отослана к новгородцам с объявлением войны; но Роман заранее предупредил купцов новгородских, в Москве бывших, и ни один из них не впал в руки грозного князя: товары их не были разграблены. Новгородцы радовались. Василий негодовал.

Прошла зима, и нет приказа от веча: Роман тщетно ждет, с ноющим сердцем, тайного гонца с родины.

Сон, единственный друг несчастных, веял над изголовьем Романа, измученного тоскою разлуки и неизвестностью будущего. Льстивые сновидения сближали его с милою; сладко билось сердце от поцелуя мечтательного — вдруг, сквозь сон, слышит он скрип двери, брэнчанье оружия — чувствует, кто-то схватил его руки; силится встать — его вяжут, клепают рот, обвертывают глаза, влекут, бросают в телегу и скачут; но куда? но зачем? Он приходит в себя уже в тесном, сыром подземелье. Гром запоров и звук цепей удостоверяют, что он в темнице. Тогда-то отчаяние врывается в чувства пленника, и силы души цепенеют. Всё кончено. Роман узнан: позорная казнь ожидает его.

Унылый звон колоколов возвестил уже первую неделю великого поста, а позабытый Роман всё еще глотал ядовитый воздух тюремный. Однажды вошел к нему боярин Евстафий Сыта, недавно бывший княжим наместником в Новгороде, — и отступил от изумления. — Тебя ли, Роман, вижу я! — воскликнул он. — Когда и как ты сюда попался? — Роман рассказал, что его схватили как врага Москвы. — Сожалею о твоей участи, — молвил Сыта, — но, посланный великим князем творить за него по тюрьмам милость и милостыню, я могу испросить тебе свободу перед его исповедью, однако ж не иначе как с условием — остаться здесь навсегда. Послушай, Роман! я знаю твои достоинства и знаю, как мало их ценят в Новгороде. Здесь не то: даю мое слово, что князь осыплет тебя дарами и почестями; сделаю больше: издавна любя тебя, отдаю за те-

бя свою дочь, которая хорошо знает Романа, которую не раз Роман любовался. Я увѣрен, ты не отказываешь,— продолжал он, протягивая руку,— не правда ли, старый знакомец? — Неправда! — отвечал Роман с хладнокровием. — Я не продам своей родины за все блага в мире, не хочу вести переговоров с врагами Новагорода, когда не в руках, а на руках моих гремит железо! Если б я принял твое предложение, бывши на воле, то я стал бы изменником, но теперь сделался бы презрительным трусом, — нет, Евстафий, мне, видно, одна невеста — смерть, и одной милости прошу от князя: не морить, а умерить меня поскорее. — Ты получишь ее, упрямая голова! — с гневом сказал Сыта, хлопнув дверью. С гордою, утешительною мыслью: умереть за любовь и отечество — ждал Роман неминуемой смерти.

VIII

Как мне слушать пересудов всех
людских?
 Сердце любит, не спросясь людей
чужих;
 Сердце любит, не спросясь меня
самой.
Мерзляков

Быстро текут слова повести: не скоро делается дело. Прошла зима; лето исчезло, как утренняя тень; наступили вновь зимние вьюги, а Романа нет как нет с Ольгою. Вешнее солнце растопило синий лед на Ильмене; уже резвые ласточки, рея по воздуху, целуют пролетом поверхность Волхова; всё оживает, всё радуется — одной Ольге нет радости! И кому же светел день сквозь слезы? кому не долги короткие ночи, когда измеряют их кручиною? Увядает краса милой девушки, будто радуга без дождика, и бледность изменяет тоске сердечной. Напрасно отец дарит ее соболями якутскими, убирает в жемчужные кружева, в алмазные серьги и запястья; напрасно молодые подружки забавят Ольгу играми и песнями: она дичится игр юности, и петли ее терема ржавеют мало-помалу. С утра до позднего вечера она любит сидеть под окном светлицы и ждать, кого не надеется увидеть, кого уста ее не смеют назвать. Часто гордость красавицы пробуждалась при мысли, что Роман уехал; не простясь с нею, не сказав и слова, куда,

для чего. Часто ревность возмущала душу ее и придавала возможность призракам подозрительного воображения, но скоро любовь укрощала бурю. «Нет! он не может изменить,—говорила с собою невинная,—потому что я любила его нежно и нераздельно. Кто не верит чистой любви, тот не достоин взаимности. Если б можно было скинуться птичкою, с каким бы нетерпением полетела я по свету искать милого: когда он жив, наглядеться на него; когда ж убит,—умереть на его могиле». Горько плакала тогда Ольга, склоняясь на грудь доброй матери, и редко, ей в угоду, мелькала улыбка на лице задумчивой, как блудящий огонек над кладбищем.—Ольга! полно горевать, полно упрямиться! — не раз говорил ей Симеон.—Слезами не наполнить моря; живым безрассудно мертвить себя для умерших: твой Роман пропал без вести навеки. Забываю всё прошлое, но исполни теперь мою волю, порадуй отца на старости, ступай замуж, дитя милое, чтобы не угасла поминная свеча по мне безродном! Выбирай... женихов именитых много!..—И Симеон нежно целовал дочь свою, и рыдания Ольги были обычным ему ответом. Растроган и раздосадован выходил Симеон из девичьего терема. «Это пройдет!» — думал он и обманывался, как прежде.

Наконец созрела гроза на Новгород: Андрей Албердов, воевода Василия, ворвался в Двинские области, принудил жителей задаться за великого князя и осадного воеводу края, новгородского боярина Иоанна с братьями сделал изменниками отчизне. Послышав о том, новгородцы звонили вече.—Князь идет на нас: что делать? —спросили сановники.—Предложить мир и готовиться к битве! —воскликнули все единогласно. Посадник Богдан был отправлен в Москву и воротился без успеха: Василий принял их, но не хотел слушать.—Да будет! —сказали тогда оскорбленные новгородцы.—На начинающего бог.—Обнялись, как братья, и под благословением епископа поклялись пасть до одного. Кликнули клич: люди житые поскакали во все пятинны вооружать, собирать, одушевлять ратников, исполчить старого и малого. Симеон вызвался поднять всю пятину Деревскую, как самую опасную по соседству с землями Московскими.

В кольчатых латах зашел он проститься к жене и дочери.—Прощай, Ольга! —сказал Воеслав решительно.—Я еду на службу Новгорода: чему быть, того не миновать,

но если бог судит воротиться — мы отпируем твою свадьбу с Михаилом Володом: он добрый слуга вечу, молод, пригож и богат, — очень богат! — примолвил Симеон, глядя в сторону, как будто боясь встретиться со взором дочери. — Понравился мне — и тебе полюбится. Готовься! — Отчаяние помрачило взор Ольги: она не видела, как священник окропил отца ее святой водою, как в безмолвии все сели, встали и прощались по обряду проводов русских: не чувствовала, как Симеон прижал ее к своей груди, благословил и уехал. Бедная девушка, какая участь ждет тебя?

IX

Крепка тюрьма, но кто ей рад!
Русская пословица

— Приветствую тебя, первый гость обновленной природы, милый певец жаворонок! как весело въешься ты над проталиной, как радостно звенит твоя песня в поднебесье! Странник воздушный, ты не ведаешь, как грустно невольнику глядеть на вольную птичку, как мучительно за стеной тюрьмы видеть весну и жизнь и каждый миг ожидать смерти; слетай, жаворонок, на мою родину святую и принеси оттоль весточку о милой Ольге: любит ли она Романа по-прежнему, помнит ли друга, у которого и перед смертью одна мысль об ней и об родине! — Так жаловался Роман на судьбу свою, завидя сквозь решетку окна жаворонка. Спустилась ночь — и кто-то стукнул в косяк отдушины. — Спишь или нет, товарищ? — шепотом спросили Романа. Роман отозвался, и на вопрос: «кто там?» отвечали: — В этот раз добрые люди. — Зачем? — Спасти тебя от плахи. — А эта цепь, эта решетка? — Распадутся, как соль, от нашей разрыв-травы. — И в то же мгновение, обернув кушаками железные полосы, чтобы они не гремели, принялись распиливать их. Через полчаса Роман был уже вне темницы. Два удальца разбили его рогатки; по веревке перелезли они через монастырскую стену, — на коней, и вот уже Москва далеко осталась за беглецами. Роман не знал, какому чуду приписать свое избавление, а его проводники скакали вперед, не говоря ни слова.

Наконец они своротили с большой дороги в лес дремучий и поехали тише. Через полчаса свисток раздался и от-

кликнулся, и Беркут с тремя наездниками выехал к ним навстречу: загадка Романа разгадалась.

— Здравствуй, земляк! — сказал атаман. — Я рад, что удалось сослужить тебе службу, и вот каким образом: мои невидимки почуяли наживу в монастыре, куда забросил тебя Василий. Чтобы не попасть в западню, надо было ощупать все закоулки, и в одном погребе вместо бочонка с золотом нашли они тебя, невзначай, да кстати; говорю кстати, потому что через три дни (это узнал я от болтливого приворотника) твою голову расклевали бы птицы, как вишню. Медлить было некогда, и ты видишь, какво успели мои молодцы, из которых каждый стоит самой высокой виселицы. Теперь, Роман, ты волен, как рыбка: куда ж едем? Отдыхать ли в Новгород или биться к Орлецу? — Туда, где мечи и враги! — воскликнул пылкий юноша; они поворотили к области Двинской.

Оставя в стороне Дмитров, Бежецкий, Краснохолмский, избегая встреч с московскими кормовщиками и отсталыми, они без всякого приключения пробрались околицею за три часа езды до Орлеца, который с самой христовской заутрени был в руках изменников двинян, предводимых княжим наместником Федором Ростовским. Там заметили они в стороне огонек. Двадцать всадников отдыхали на поляне; к копыям привязаны были кони; одни поили их из шишаков, другие лежали вокруг огня, смеялись и пили. Всё доказывало непривычку сих новобранцев к военному делу: никто не думал о страже; кольчуги развешаны были как будто сушиться, луки распушены и сабли сброшены в одно место; сам десятник вооружен был одним только огромным ключом, который висел у него на латном поясе. Роман долго не мог понять, что за остроконечная надета на нем шапка, и с трудом разглядел, что он вместо тяжелого шлема надвинул на уши бобровый колчан свой. Связанный человек лежал невдалеке. Роман слез с коня, прокрался тихонько и подслушал их разговоры: пленный обратил речь к десятнику: — Скажи мне, добрый человек, куда вы меня везете? — Десятник, который по праву старшинства, казалось, не упустил случая поздороваться с круговою чаркою, оборотился к нему, зевнул вслух — и замолчал. — Неужто вы, москвичи, только умеете такать? — продолжал пленник. — Когда бы и вы, упрямые новгородцы, держали свои языки на привязи, ты, старый затейник, спокойно бы сидел дома и против воли не плясал бы по канату до Москвы. — Что же там со мной сделают? — Что сделают? Отправят на

покой! — сказал десятник, улыбаясь и начертив пальцами букву П на воздухе; ратники захохотали, а наш остроумец охорашивался с самодовольным видом. — Беркут! — сказал Роман атаману, — спасем новгородца! Нет нужды, что их двадцать человек, а нас семеро: у страха глаза велики. Впрочем, как хочешь, я и один решаюсь на всё. — Вместо ответа Беркут поднял топор и с криком: «сюда, товарищи!» обок Романа налетел грозой на оплошных москвитян: через мгновение уже не было ни одного противника. Самые храбрейшие разбежались; другие остались на месте от ран, от страха или хмелю. Распустив коней, переломав и побросав в огонь их оружие, Роман развязал полоненного и узнал в нем — Симеона. — Добрый, великодушный юноша! — говорил Воеслав своему избавителю, с чувством сжимая его руку, — я не стою тебя! Но пусть Ольга помирит нас и заплатит долг отцовский. Теперь время дорого: посадник Тимофей и брат Юрий собираются ударить на приступ, а между нами и Орлецом еще двадцать верст и только остаток ночи: поспешим! — Роман с радости о битве и невесте перецеловал всех разбойников, едва не уморил коня своего скачкою и утешал бедное животное рассказами, что он станет драться за Новгород, как будет счастлив с Ольгою.

На рассвете полки новгородские облегли ров города, остановились на перелет стрелы, и посадник в последний раз послал сказать осажденным, чтобы они сдались честью, или он возьмет город копьём. — У этого копя еще не выросло ратовье! — отвечали с насмешкою москвитяне. — Впрочем, милости просим; мы готовы — мечом охристосоваться с дорогими гостями. — Вперед! — воскликнули воеводы, и ливнем прыснули стрелы. Новгородцы лезли и падали в тинистый ров, зажигали деревянные стены, вонзали в них тяжкие стрикусы¹⁶. В это мгновение приспели наши путники. — Други! — сказал Беркут разбойникам, — мы долго жили чужбиной без чести, — погибнем теперь за свою родину со славою. Туда! — Он указал на московское знамя, веющее на крепости новгородской, и ринулся по лестнице на стену, ударом топора разнес древко знамени и, поражен стрелой, мертвый опрокинулся с ним в ров. Сеча была ужасна: русские поражали и отражали русских; победа колебалась, как вдруг в дыму и в огне, будто ангел-разрушитель, явился Роман на гребне бойницы и скликал дружину свою — но подгоревшая твердыня рухнула, и витязь исчез в ее обломках...

Затихла битва. Труба новгородская прозвучала на отступленьи, но осажденные уже не имели сил на новый отпор, и крепость сдалась победителю.

Х

Отворяйся, божий храм!
Вы летите к небесам,
Верные обеты!
Собирайтесь, стар и млад,
Сдвинув звонки чаши в лад,
Пойте: многи леты!

Жуковский

В Новгороде носились печальные слухи: говорили о какой-то несчастной битве, о погибели первейших воинов, о приближении войска княжьего. Народ толпился по площадям; все спрашивали, многие сомневались, никто не знал истины.

В один из сих вечеров волнуемая страхом Ольга молилась за спасение отца от опасностей и невольно включала в молитву свою имя любезного. Вот слышит она бег коней по Михайловской улице, топот ближе и ближе, — пронеслись мимо сада; ворота заскрипели, и два всадника въехали на двор, слезли с коней и, к удивлению Ольги, привязали их к почетному кольцу¹⁷. — Это батюшка, батюшка! — Весь дом поднялся на ноги; огни забежали по сеньям, и Ольга бросилась в объятия отеческие. — Тише, тише! — говорил Симеон ласково, — ты задушишь меня своими поцелуями — не худо бы побережь для твоего жениха! — Это приветствие как громом поразило Ольгу. — Милый батюшка! — говорила она, рыдая, — не делай дочь свою несчастною, избавь от постылого замужества; я в святом монастыре окончу дни свои и, может быть, умолю бога, что прогневила родителя. — Полно, полно, Ольга, что за черные мысли? к чему такое притворство? Я бьюсь об заклад, что не пройдет и получаса, и ты будешь кружиться и петь, словно ласточка. — Нет, никогда, ни за что! — Эй, дочь, не ручайся за свое сердце — да вот кстати и жених: он поможет развеселить неговорчивую! — Ольга вскрикнула и закрыла лицо руками, увидя входящего юношу; но скоро любопытство преодолело: сквозь пальцы, украдкой взглянула она на приезжего. Перед нею стоял Роман Ясенский.

— Обнимитесь, дети! — сказал Симеон, сложив руки их. — Благословляю вас на брак, живите мирно и счастливо и твердите своим детям, что бог, рано или поздно, награждает бескорыстную любовь! — Долго еще проповедывал Симеон, но влюбленные не слышали ни слова, и долго бдился поцелуй свидания, когда бы отец не прервал их восторга и своего нравоучения.

Весь город праздновал на свадьбе Романовой с тем бóльшим весельем, что победы доставили новгородцам выгодный мир с Василием, на всей их воле и старине. Ольга с гордостью шла под венцом подле Романа, и взор ее, брошенный на подруг, говорил: «Он мой!» — Как мила невеста! — шептали мужчины. — Какая прелестная чета! — твердили все.

Молодые жили благополучно. Симеон, часто любуясь на их согласие, за шахматной доскою проигрывал брату коней и слонов, и добрый Юрий говаривал: «Брат и друг! не прав ли я в выборе?» — и Симеон, с слезами умиления на глазах, отвечал: «Так я был виноват!»

ПРИМЕЧАНИЕ

* Течение моей повести заключается между половинами 1396 и 1398 годов (считая год с 1 марта, по тогдашнему стилю). Все исторические происшествія и лица, в ней упоминаемые, представлены с неотступною точностию, а нравы, предрассудки и обычаи изобразил я, по соображению, из преданий и оставшихся памятников. Языком старался я приблизиться к простому настоящему русскому рассказу и могу поручиться, что слова, которые многим покажутся странными, не вымышлены, а взяты мною из старинных летописей, песен и сказок. Предмет сей книги не позволяет мне умножить число пояснительных цитат, но читатели, для поверки, могут взять 2-ю главу 5-го тома *Истории государства Российского, Карамзина; Разговоры о древностях Новгорода, пресвященнаго Евгения, и Опыт о древностях русских, Успенского.*

¹ Так назывались на Руси турниры. См. 5-й том Ист. гос. Росс. Карамз., примеч. 251.

² Брак сопровождается был в старину множеством обрядов: перед выездом в церковь жених и невеста ступали на ковер; под венцом стояли на соболе; по приезде в дом жениха невесте расплетали косу, которой уже не могла она показывать. Во время пира подружки молодой пели приличные песни. При входе в спальню новобрачных осыпали хмелем и деньгами, чтоб они жили весело и богато. Постель стлалась на 39 снопах разного жита, и один из дружек с саблею в руке должен был разъезжать всю ночь кругом брачной клетки или сенника.

³ Твердислав был посадником новгородским в 1219 году. О его великодушии смотри Ист. гос. Росс. Карамз., том 3, стран. 172.

⁴ Тамерлан, или Тимур, с московского пути обратился на юг России, как пишут современники, в самый тот день (26 авг. 1395 года), когда москвитяне встретили сию чудотворную икону, нарочно из Владимира привезенную.— Ист. гос. Росс., том 5, стр. <144—145>.

⁵ Рюэнь — сентябрь.

⁶ Военно-торговое общество братьев *Шварценгейптеров*, существовавшее в Ревеле и Риге, в гербе своем имело голову с. Маврикия, который был мавр по роду и воин по званию.

⁷ *Пятигорцы* — род легкой кавалерии на образец венгерских пятигорцев. См. Opis starozitny Polski przez T. Swieskiego¹.

⁸ *Прильбица* — шлем, а иногда наличник (*visière*²).

⁹ *Самопалы* — пищали или ружья. Витовт употреблял огнестрельное оружие при осаде Витебска в 1395 году. У нас вошло оно в употребление немного позже.

¹⁰ Здесь Витовт говорит о Василии Иоанновиче, князе смоленском (который, видя свое владение изменою захваченное, Смоленск сожженный и разграбленный, бежал от братоубийцы Витовта в Новгород), и литовском князе Патрикии, сыне Нариманта, которому новгородцы дали в управление приневские области.

¹¹ Действительный посадник назывался *степенным*, прежние посадники *старшими*. Каждый конец, или часть города, имел своего *старосту*, делился на военные и торговые *сотни*. Первейшие *местичи*, или граждане, назывались *огнищанами* и *житыми людьми*. В боярское достоинство,

¹ Описание древней Польши, сочинение Т. Свиецкого.

² (фр.).

равно как во все должности, избирал народ миром, т. е. обществом; но оно не было наследственным. Простой, или черный, народ пользовался одинакими правами с прочими сословиями. Купцы, или гости, имели свою особую расправу — в думе.

¹² *Запольские* — загородные.

¹³ Первая торговая и смертная казнь была при Димитрии Донском. Василий усугубил ее. Пленных граждан Торжка, числом 70 человек, терзали на площади московской. «Они исходили кровию в муках; им медленно отсекали руки и ноги и твердили, что так гибнут враги государя московского». Ист. Г. Р. Кар., том 5, стр. 135.

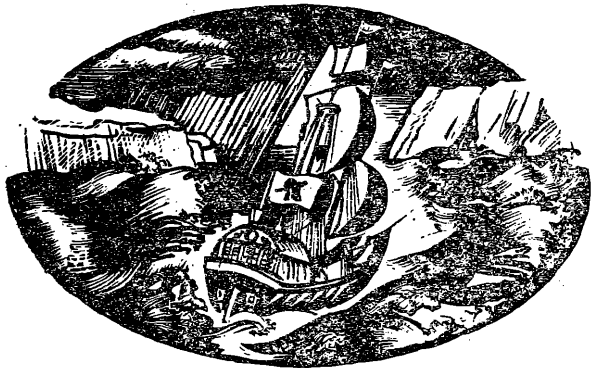
¹⁴ Это было в 1385 году. Привыкнув грабить области рыцарей меча, новгородская вольница отправлялась в лодьях (ушкуях) по рекам и грабила чужих и своих.

¹⁵ *Румянец*, вельможа Борисов, присоветовал ему впустить Василия в Нижний и предал своего прежнего князя в руки сего последнего.

¹⁶ *Стрикусы*, пороки — стенобитные орудия, род таранов (*bèlier*¹).

¹⁷ На двор именитого человека мог въезжать только ему равный или высший, — если верить песням. В коновязном столбе бывали всегда три кольца: одно железное, другое серебряное, третье золотое.

¹ (фр.).



Ночь на корабле

(ИЗ ЗАПИСОК ГВАРДЕЙСКОГО ОФИЦЕРА НА ВОЗВРАТНОМ ПУТИ
В РОССИЮ ПОСЛЕ КАМПАНИИ 1814 ГОДА)

Английский фрегат «Flicht» («Стрела»),
6-й день пути.

Я помню прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило;
Желаний и надежд томительный обман.

Шуми, шуми, послушное ветрило!
Волнуйся подо мной, угрюмый океан!

А. Пушкин



Ветер свежал, валы разыгрывались сильнее и сильнее — фрегат наш быстро катился по темной пучине океана. Заря давно уже потухла на краю пустого небосклона. Кругом темно — и только вдали чернелись мачты сопутного нам русского флота, только мерцали по кораблям фонари, будто звездочки. Я сидел на корме, на коронаде, и любовался великанскими валами, которые как будто наперерыв гонялись за фрегатом, достигали его и с журчанием, с плеском о него разбивались. Фрегат вздрагивал при каж-

дом ударе; клонился набок перед каждым напором ветра и снова вставал с треском и скрипом. Вахтенные матросы дремали по своим местам, и лишь однозвучное восклицание лейтенанта: «Steerboard! Backboard!» (право руля, лево руля) и вечный ответ: «Yes, yes» (слушаю!) повременно нарушал сторожонный сон мореходцев. Я уже ознакомился с морскими опасностями и привык их не бояться. Притом равнодушие всех окружающих внушает спокойствие и самому робкому путешественнику; я беззаботно предался мечтаниям под свистом ветра, и, между тем как взоры мои улетали за брызгами сшибающихся валов, мысли стремились далеко, очень далеко.

— Опять мечтаешь! — сказал мне капитан фрегата Рональд, тихо ударив по плечу, — а любезные твои товарищи беспечно пируют с нашими моряками в кают-компанин. Но скажи искренно, dear Alister¹, куда и к кому летала теперь крылатая мысль твоя?

— Я упредил быстроту твоей стрелы, капитан! я уже был на родине, милый Рональд!

Но я опишу прежде, кто был этот Рональд.

Он шотландец; говорят, отличный офицер на море и на суше; высокого росту и стройного стана, русоволос и смугл: две редкие вещи в британской природе. Не красавец, но, право, если б я был женщиной, то трудно б было в него не влюбиться. Какая-то суровая грусть придавала бледному лицу его важность и занимательность. Его глаза сверкали редко, но видно было, что это зарево прежнего пожара страстей. Есть глаза, которые с первого взгляда вызывают откровенность и заверяют дружбу; таково было благородное лицо Рональда. Мы с первой встречи были уже друзьями.

— Я был на родине! — повторял я.

— Счастливее! — сказал со вздохом Рональд. — Для тебя расцветает там будущее, но для меня оно нигде не существует.

— Ты несчастлив, Рональд? — спросил я, дружески пожав ему руку. Его тронуло мое участие. За это искреннее пожатие руки он заплатил мне таким взором, что, если этот взор приснится мне и в могиле, я наверно улыбнусь от удовольствия. Со всем тем нелюбовь к человечеству превозмогла, и он с горькою улыбкою повторил:

¹ дорогой Алистер (англ.).

— Несчастлив! люди так расточительны на выражения, что я боюсь показаться забавным, назвав себя только несчастливым. Говорят: как я несчастлив, что опоздал в театр, как я несчастлив, что не затравил зайца! Что ж сказать после этого мне, потерявшему все радости невосвратно и безнадежно?

— Ты любил, Рональд?

— Любил ли я?.. какая ж иная страсть в наши лета может возвысить душу до восторга или убить ее до отчаяния! Честолюбие рождается уже в чаду потухшей любви; прилипчивое золото останавливает одну ползущую старость — юноша летит и любит. Ты сам любил, Алистер, и ты поймешь меня. Я стал чужой между одноземцами, товарищи не могут разуместь моих чувств; но у пылких душ одна отчизна, и я рад, что могу освежить свою разделом и высказать горе минутному другу, обитателю берегов невских; послушай.

Четыре года тому назад, как я ходил в Ост-Индию на военном корабле, конвоировавшем флот компании. На возвратный путь к нам флагманом назначен был контр-адмирал кавалер Астон, занимавший в Мадрасе место вице-губернатора и возвращавшийся тогда с семейством своим в Европу. Он избрал наш корабль для пребывания, и мы снялись с якоря, едва он ступил на палубу. Я уже наслаждался и о красоте старшей дочери Астона, но никогда не забуду той минуты, в которую ее увидел в полном блеске красоты и молодости. Как теперь гляжу на нее, одетую в светло-зеленое платье с перламутровою пряжкой на поясе и в широкой соломенной шляпке; не умею выразить, что со мной случилось, когда я подал ей руку, чтобы помочь выйти из шлюпки, когда она поблагодарила меня взором и, покрасневшись, опустила длинные ресницы!.. Есть страсти, которые вспыхивают, как порох, и горят до конца, как свеча,—такая-то страсть вспыхнула и во мне, Алистер!

По счастью или по несчастью, меня, как младшего лейтенанта, назначили к адмиралу флаг-офицером, то есть в должность, равносильную адъютантской, которая требовала, чтобы я безотлучно находился при адмирале. Скоро я сделался у него домашним, еще скорее Мери ознакомилась со мною; уже она не краснела, встречаясь со мною взорами,— и нередко я заставлял их пристально устремленными на меня. Бывало, она садилась диктовать какую-нибудь бумагу по службе, и я не дивился, отчего в них так

много пропусков и ошибок. Бывало, когда я сажу за рисованием, она склонялась через мое плечо посмотреть на рисунок, и карандаш трепетал в руке, как в груди трепетало сердце. Как любил я спорить с этою милою, остроумною Мери и как часто забывал свой предмет и доказательства, вперяясь в ее небесные очи! Сколько раз, безмолвен, в упорении и в забытии, сидел я за чайным столиком, любуясь каждым движением Мери и, кроме ее, ничего не видя и не слыша. Вся вселенная втеснилась для меня в каюту адмирала; в Мери забывал я всю вселенную. Три месяца восторгов пролетели как сон — и корабль наш бросил якорь у берегов Бразилии.

Желал бы забыть и позабыл тебе сказать, что Астон имел жену, со всеми недостатками дурного воспитания, со всеми пороками злого характера, со всеми прихотями ничтожной гордости. Она управляла адмиралом, человеком умным, но слабым, который предпочитал беспрекословно повиноваться воле жены, чем с шумом исполнять свою. Однако же леди Астон умела даже и его вывести из терпения. Рассорилась с ним в Мадрасе и за две недели до его отъезда отправилась на ост-индском корабле к родным своим в Англию. Вообрази же, каково было наше изумление, когда при выходе адмирала на берег в Рио-Жанейро она кинулась в его объятия, как будто ничего не бывало. Такая неожиданная и нежеланная встреча поразила и испугала Астона, который был весьма рад избавиться от любезной своей половины; но стечение народа было многочисленно, семейные ссоры и театральные сцены были бы не у места. Астон покорился необходимости и, проклиная внутренно такой случай, прижал жену к груди своей.

Мое счастье улетело с приходом леди Астон на корабль. Эта капризная женщина видела все в черном виде, и каждое движение дочери и каждый шаг мой были перетолкованы и оценены. Меня стали звать к адмиралу реже и реже и наконец совсем удалили от должности. Все, что терпело сперва мое самолюбие от обхождения леди Астон,— было услаждено удовольствием видеть Мери,— но все это было ничто против мученья столь соседственной разлуки. Быть так близко подле нее и не быть с нею, слышать ее голос и не видеть ее лица, внимать шум ее походки, и только!.. О, Алистер! это выше всякого понятия. Уныние Мери двоило тоску мою... и я таял очевидно. Этого мало: несчастье преследовало меня еще далее. Однаж-

ды мне удалось поговорить с Мери в каютное окно с галереи кают-компаний,— но я дорого заплатил за это минутное удовольствие. Леди Астон меня увидела.

Через полчаса я был позван к адмиралу. Леди Астон с пылающим лицом сидела на диване, и следы ее гнева еще видны были на опрокинутом чайном столике и разбитых чашках; Мери плакала, сам адмирал ходил взад и вперед по каюте. «Вы съедете сию же минуту на корабль «Impregnable» («Неодолимый») и заступите там место заболевшего лейтенанта! — сказал он мне очень сурово.— Я сожалею, что здесь задержал вас; вот ордер капитану Форрестеру... Прощайте!» Леди кивнула мне головою и бросила злобный взгляд; но я не мог видеть прелестного лица Мери, закрытого длинными ее локонами... Не помню, как вышел я наверх; не помню, как посадили меня в шлюпку; знаю только, что огромным валом опрокинуло нас у самого борта и с корабля едва успели спасти меня и плавающих гребцов. Между тем буря свирепела час от часу, и уже нельзя было думать спустить гребное судно. Я остался.

Мы были уже на параллели Бискайского залива, когда ураган захватил нас. Он был жесток и продолжителен; двухдневная ночь задернула небо; ветер кружил, и никто не знал, где мы находимся. Пазы стали расходиться от качки; вода врывалась в корабль, как в решето; и люди падали у помп от изнеможения. Вдруг мы почувствовали удар — и руль вылетел вон, как перо... «Кидай лот!» — «28 фут». — «Плохо!» — «25 фут». — «Еще хуже!» — «24 фута». — Ай, ай! ай! еще фут, и мы на мели, но глубина вдруг пошла на прибывь. Утешительный голос запел: «35 фут!» — «Хорошо!» — «42 фута». — «Нельзя лучше!» — «50 фут». — «Бесподобно!» — «Дна нет, лот проносит». — Слава богу, думали все. Ушли от гибели. Но в это же мгновение корабль всем днищем грянул на мель, и волнением его начало бить о подводные скалы. Ужасное мгновение! мертвая тишина настала по стоне и воплям... корабль тихо повалился набок, валы, как горы, пошли через палубу и, поднимая всю громаду, — разрушили ее в щепы, уносили в море несчастных. Только при блеске молний, разрывающих мрак, обозначились черные скалы недалекого берега, — и белыми полосами мелькали, будто привидения, станицы хищных чаек, которые со зловещим криком вились над нами, радуясь своей добыче. Смерть была кругом: все гибло. Отчаянный, вбежал я в адмиральскую

каюту: половина ее была уже в воде. Сердце мое облилось кровью — от того, что я увидел при бледном свете фонаря. Адмирал, между женой и двумя полумертвыми дочерьми, хотел и не мог скрыть ужасную истину! Мысль о вечной разлуке оледенила слезы в глазах его. Казалось, он оспаривал у жадной стихии ее жертвы; казалось, он хотел заслонить их от волн, врывающихся в разбитые окна. А Мери... Я бы отдал тысячу жизней, одна за другою, чтобы спасти Мери,— но я позабыл о себе и о смерти, когда она с воплем иступления кинулась ко мне на грудь и заклинала спасти ее сестру, ее родителей.— Не знаю, какой ангел сохранил меня от безумства — видя неизбежную гибель той, которая была для меня все!

Рассвет озарил весь ужас нашего положения: одна только корма оставалась на поверхности — все прочее разнесено было волнами. Перед нами в полуверсте лежал пустой каменный берег, и высокие всплески показывали, что он неприступен. В горизонте не видно было ни одной мачты; только море бушевало кругом бедных остатков нашего корабля и ежеминутно грозило поглотить нас. Не знаю, можно ли вполне уразуметь мученье подобного состояния, еще более, когда видишь подле себя любезную?..

Я кончу вкратке, Алистер; мы решились связать в плот кой-какие доски и бревна, привязать к ним женщин и пуститься с волнами к берегу, на божию волю. Трое матросов унесены были волнами, еще двое раздавлены стиснутыми обломками, но остальные, напущенные Провидением, полуизбитые о камни, выброшены были на берег у подошвы скал. Во все это время я находился подле Мери, поддерживал ее на воде, удалял бревна, могшие сдавить ее, и уже видел ее вне опасности распростертую на песке, как вдруг огромный вал далеко взбежал на берег, покрыл нас — и унес бесчувственную Мери опять в море..

— Она утонула? — вскричал я.

— Она спаслась, Алистер!

Одна любовь могла вдохнуть в меня новые силы. Я кинулся в море, долго боролся с набегающими валами и наконец достиг ее — и с нею выплыл до мелкого места. Изнемогая, обвязал я около ее тела брошенную с берега веревку — и опустился на дно. Горькая вода лилась в меня, в ушах звенело и журчало — меня душило, грудь раз-

рывалась — еще усилие, еще вздох — и больше не помню.

Есть утешительные минуты в жизни. Я открыл глаза, и что ж? Мери, бледная как воск, склонясь, стояла надо мною. Влажные волосы прильнули к шее, капли морской воды катились еще по прелестному ее лицу. Вся душа ее была в глазах, устремленных на меня со страхом ожидания. Рука ее лежала на моем сердце, которое билось для одной ее, для ней только перестало биться! Ах, зачем я не умер после этого небесного мгновения!

Мы находились на пустом берегу острова Овезанда. Вся семья адмирала спаслась. Еще двое офицеров и восемь человек матросов... прочие погибли. Скоро утихла буря, и шлюпки, с флота посланные, нашли нас и перевезли на покойнейший корабль. Помощь лекарей и старания дружбы восстановили силы наши, и флот, без всяких приключений, прибыл в Англию.

Леди Астон не могла не чувствовать важности услуги, мною оказанной. Обещания, которые вырвались у ней в минуту гибели, и ласки, которыми она осыпала меня за спасение Мери, были у ней еще в свежей памяти: дом адмирала стал для меня отворен.

Я взял отставку и зажил в Лондоне. Настала зима, пришла пора балов, и я сказал «прости» своему спокойствию. Свет был для меня не чужой: я бросил его по сердцу и снова бросился в него для сердца, вслед за Мери. Лорд Грагам считался мне сродни, и потому я мог смело кидать свои карточки на каминные богачей и вельмож, которые жили открыто. Мери, предупрежденная молвою, показалась к ним в сопровождении толпы модных воздыхателей, и все наши dandys заахали от удивления, все кинулись ее смотреть с таким же чувством, как смотрят они новую панораму или белого слона. Но, к сожалению, увидел я, что лесть и пышность кружили Мери голову. Она уже скучала домашнюю жизнь и только воздухом гостинных дышала веселее. Гораздо чаще произносила она имена графинь и леди, чем имена других своих приятельниц. Улыбка самодовольствия мелькала на ее щеках, когда лорды и баронеты танцевали с нею; одним словом, я не узнавал в этой гордой красавице Мери, и она едва узнавала своих старых знакомцев. Я так много любил ее, что не мог не желать быть часто с нею; но довольно горд, чтоб не ползать в толпе окружавших ее кукол и добиваться очереди. Поэтому я танцевал с нею редко, и беспокойное мое воображение

не дремало на досуге. Нередко, правда, когда Мери сходилась со мною, видно было, что, хотя тщеславие шептало ей за лордов и эсквайров, сердце говорило за сира Рональда, и она незаметною ласкою награждала своего верного рыцаря. Однако ж самолюбие мое оскорблялось тем не менее, что она не искала, хотя и не избегала случаев быть со мною. Сколько бессонных ночей, сколько дней безотрадных провел я от этих балов; как много крови сожгли во мне ревность и досада! Только дома находил я в ветреной Мери прежнюю милую Мери, и сердце мое, охладевшее в свете, таяло от ее взора, и ревность утихала от ее внимания. Наконец благосклонность Мери оживила щекотливые надежды мои, и страсть сравнивала все препятствия. Я забыл высокомерие ее родственников и неудовольствие моих родных. Лестная мысль обладать Мери совершенно овладела мною — и я стал довольно явно оказывать свои намерения. Да и почему бы не мог я жениться на Мери? Предки мои предводили кланами еще тогда, как предки многих из нынешних лордов пасли стада свои; имена Рональдов были чаще на устах славы, чем имя Астонов, и состояние мое могло доставить жизнь не блестящую, но безбедную. Я не говорю уже о себе, потому что говорю в смысле приличий, хотя нигде и ни в чем я не бывал последним.

Заметив мои виды, леди Астон вспыхнула. Привязалась ни к чему, велела дочери удалиться и обиняками наговорила мне множество обидного. Для Мери я скрепил сердце, переломил свою гордость и молчал. Я еще желал внутренне разуверить себя, извинить леди Астон, приписывая все угрюмости ее характеру, а не умыслу. Дорого стоило мне решиться быть еще раз у Астона; однако ж любовь перемогла, и я дня через три явился к обеду.

Упрямая леди не вышла; адмирал был холоден; я ожидал этого и не удивился; но вид Мери порастил меня: ее спокойное цветущее лицо нисколько не изменилось при моем входе. Она обошлась со мною, будто с едва знакомым. Односложные слова были ответом на мои вопросы. Друг Алистер! она коротко знала мой нрав, знала, что малейшая безделица может расстроить меня надолго, что одно ее холодное слово могло отравить мое существование, — знала — и ни одного взора, ни одного утешительного взора не склонила на того, кому за три дня посылала с ними и сердце. Это уже было чересчур для меня. Воля матери не могла заставить ее терзать меня и холодность удвоить высокомерием. Есть конец всему... и чувство собственного достоин-

ства подкрепило мое слабое сердце. Я мог быть презрен, но презрителен — никогда! Рональд не привык играть роль Селадона на привязи — я гордо простился с Мери; но мог ли я хладнокровно перенести эту обиду моему самолюбию, эту измену в прекраснейшем существе на земле и с тем — уничтожение лучших надежд, сладчайших мечтаний моих!.. Друг! друг! я впервые плакал тогда кровавыми слезами обманутой любви и неудовлетворенного бешенства!

Заря застала меня на пути к Плимуту, и через десять дней я ступил на испанский берег как волонтер Веллингтоновой армии. Там искал я рассеяния и не находил его. Мое сердце замерло для красот природы, для веселостей жизни, и шум бивака не заглушал тоски душевной. Образ Мери не оставлял меня в дыму битвы и на софах красавиц знойного климата. Искренно признаюсь тебе, Алистер, что безнадежная страсть эта утешала меня. Я любил воображать Мери невольной меня оправдывающую, может быть сожалеющую Рональда. Я думал о ней, гоняясь за славой, — мечтал, как дойдет до нее весть о моей отваге, о моем отличии, — она со вздохом скажет: «он мог быть моим...», но к чему воскрешать невозвратное! к чему развевать пепел погасшей лавы!

Протекло два года, и моя тихая грусть взволнована была вновь письмом от двоюродной сестры моей из Англии. Она писала, что бывает часто у Астона, что у них многое переменилось. «В большом свете на все мода, — изъяснялась она. — Мери проблестела свою череду — и мотыльки вьются теперь около новых цветков. Да и без того в молодежи нашей не было бы проку: один золотой магнит привлекает ее постоянно, а Мери не довольно богата для того круга, в который бросила ее судьба. Воздушные королевства леди Астон рассеялись, и она видит теперь, что напрасно метила на перов да вицеров; зато бедная Мери, со своим пылким сердцем и в нем с необходимостью любить, достойна участия, не только сожаления. Завлеченная наружностью, обманутая выученными фразами, она думала найти Грандисонов в большом свете и поздно узнала свою ошибку. Автоматы наши не могли не только чувствовать, подобно ей, ни даже разуметь ее чувствований. Забытая в толпе, Мери, снедаемая самолюбием и раскаянием, блекнет и худеет, и мне кажется, милый Рональд, что она еще любит тебя, любит более, чем когда-нибудь. Когда заводят о тебе разговор, она задумывается, вздыхает украдкой, и нередко слезы навертываются у ней на глазах. Ад-

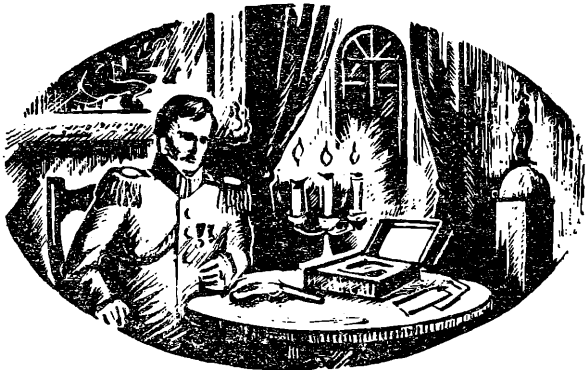
мирал скучает, что не с кем спорить о политике... «Бывало, Рональд»,— говорит он; даже леди Астон начинает хвалить тебя. Милый братец,— прибавила кузина,— отбрось гордость, которая делает тебя несчастливым, перестань бегать от самого себя; приезжай к нам, а прочее сладится само собою. Мери еще прекрасна и с тобой расцветет вновь, как роза». Можешь себе вообразить, Алистер, что это письмо еще более прежнего возбудило мой гнев. Нет! унижением не купит Рональд своего счастья, не станет заменительным мужем за недостатком лучшего, не будет *le pis-aller*¹, как говорят французы. Я изорвал письмо и остался в армии.

Славный день сражения при Витории был черным днем для меня. Увлеченный излишнею запальчивостью в преследовании неприятеля, я вскакал в кирасирский эскадрон и, простреленный пулею в руку, был сбит с лошади и захвачен в плен. В Испании трофеи были редки для французов, и меня немедленно отослали во Францию. Скоро, по размене пленных, я стал свободным и, выздоравливающий, полетел на родину. Как сладостно забилось сердце мое, когда с пристани в Кале завидел я туманные берега Британии. Время утишает гнев, разлука придает цену свиданию, и я радостно воображал себя уже в кругу друзей и родных и, скажу ли?.. мечтал о Мери, о счастье; сердце ее оправдывало и даже самый разум говорил: «кто не заблуждался?..» Я колебался. Все может быть, думал я наконец; но к чему разгадывать будущее?

Между тем в ожидании пакетбота мне вздумалось побродить по городу. «Вот английская церковь»,— сказал лон-лакей, указывая на один дом, и я зашел посмотреть ее. Меня удивило, что двери не были заперты, а в церкви ни души. Только в приделе, направо, стоял на катафалке гроб. Я взошел на ступени, чтобы прочесть надпись прибитой на нем гербовой доски, но верхняя ее часть случайно была закрыта крепом, и я только мог разобрать, что умершая была молодая путешественница, которая искала на твердой земле здоровья и нашла гроб, едва ступив на нее. Любопытство заставило меня поднять покрывало, но какой-то невольный трепет охватил меня, когда я стал отцеплять покров от цветочного венка, в который он запутался. Я поднял его медленно, и умершая, бледная как смерть, но прелестная как жизнь, представилась глазам моим. В церкви

¹ крайним средством (фр.).

было темно: я наклонился, чтобы рассмотреть ее попристальнее, и вдруг глаза мои остановились вместе с дыханием: это была Мери Астон! Этих чувств, которые соединяют в одной минуте целые веки адских мучений, Алистер, не ощущают дважды. Не знаю, как вынес я и одно то мгновение, когда прижал губы свои к мертвым посиневшим устам обожаемой Мери и напечатлел на них прощальный поцелуй, который запрещен был мне при ее жизни. — кровь во мне застыла, разум помрачился — и я без чувств упал на холодный пол... Друг Алистер! я едва не плачу теперь, но тогда я не мог плакать... — Рональд завернулся в полосатый плащ свой, чтобы скрыть свои слезы... но ему нечего было их стыдиться — горячая слеза участия упала на сжатую в руке моей руку несчастного. Ветер завывал, паруса трепетали, и фрегат наш быстро катился по темной влаге океана.



Роман в семи письмах

I had a dream that was not all a dream.
Byron¹

ПИСЬМО ПЕРВОЕ



Ах, как она мила, Жорж, как она мила! Я уверен, что, если б ты увидел очаровательницу Адель в ее кабинете, где и зимой раскинулись цветники, где всякая безделка льстит глазу и заговаривает воображению; когда б ты взглянул на нее, одетую в легкое платье, окруженную благовонною розовою атмосферою, веющею с кассолета: ты бы назвал ее воздушною полубогиною Пери, порхающею в испарении цветов; и каждое ее слово — поэзия, каждый взор облечен в мысль. Не шутя, любезный друг, я боюсь, чтобы твое предсказание не сбылось, то есть чтобы мне не влюбиться в самом деле. Я впервые теперь начинаю чувствовать, что мундир мне узок в груди, — а это плохая примета для сердечного здоровья. Впрочем, я хоть и нередко

¹ Я видел сон..., не все в нем было сном. Байрон (англ.).

вижу ее во сне, но сплю так покойно, что еще сегодня опоздал на поездку. А на прошедшем бале, когда мне случилось сидеть против Адели за ужином, мой аппетит был в разительной противоположности с влюбленными моими взорами; и я не раз прятался за вазы с цветами, чтобы под приютною их тенью скрыть обломки пастета или остов рябчика. Я вижу, что ты, улыбаясь, произносишь уже свой приговор, будто эта склонность принадлежит к числу еженедельных офицерских страстей, которые загораются от шарканья во французском кадриле и тухнут в вихре двух или трех котильонов. Признаться, и от одного зевательного случилось мне не однажды разлюбить некоторых красавиц, на взгляд милых, как радость: не удержите иную — и, кажется, она улетит; взглянет — вы таете; отворит ли прелестный ротик свой — зажмете уши... Но такой пример не идет к Адели, — с нею, не скучая, можно повертеться около земного шара, так она умна и любезна. «Все это занимательно и прелестно, — скажешь ты, — но разве эта девица особенно благосклонна к тебе, что ты посвятился в ее рыцари? Разве?..» Сделай милость, не докучай такими вопросами; я и сам не знаю, как это случилось, и никак не уверен в ее взаимности. Ты знаешь, до какой умертвительной холодности дошло здесь обращение, до какого утомительного единообразия доведен разговор; притом везде тысячи глаз, которые не близоруки только для критики, и столько же ушей, чтобы на полете ловить полуслова и составлять из них целые басни; а потому, подобно всем влюбленным, скажу: *мне кажется... я надеюсь*, — и только. Без сомнения, самолюбие обманывает нас часто и горько; толкует в свою пользу каждое словцо и нередко записывает на свой счет взгляды, к другому посланные; но... но или она слишком ко всем чувствительна, или я, настоящий глупец, если ошибся.

S.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

(месяц спустя)

Адель любит меня! Когда б ты, Жорж, был здесь, я бы выкупал тебя в шампанском на такой радости! Вообрази, она носит мой любимый цвет, поручила мне выбор романов для чтения и учит наизусть отмеченные мною места, и, словом, множество безделиц, видных и важных только

влюбленным, изменяют ее тайне, льстя моему самолюбию. Конечно, ты можешь сказать: «Она носит твой цвет — это значит, что она любит его, а не тебя; она полагается на твой выбор в словесности, из этого я вижу, что ваши вкусы сходны; но из чего же следует, что взаимны ваши склонности?» Пусть это так, друг мой, но если б ты видел ее радость при нечаянном возврате моем из курьерской поездки, — ее румянец, изменивший внутреннему волнению, если б чувствовал прерывающееся ее дыхание — ты бы сознался, что до такой степени не достигает никакое при творство. А я примолвлю, что с той минуты она мне стала милее всех и всего дороже, и ни одна женщина, кроме ее, не будет любима мною, доколе бьется в моей груди маятник жизни. О, как часто летаю я ныне, танцуя с нею, от балльного паркета за седьмое хрустальное небо. Всё, кроме ее, исчезает для меня; все мелькает перед глазами, будто китайские тени, и я в каком-то сладостном восторге дышу упоительною атмосферою. Можешь догадаться, что я не пропускаю ни одного случая танцевать с нею, — и я счастлив. Ты напрасно не любишь балов: без этой благодетельной выдумки наши девушки умерли бы от скуки посреди праздников и увеселений своих, потому что в театре у нас едва кланяются знакомым, а на вечерах прекрасный и непрекрасный пол зевают особенно. Мудрено ли же после этого, что девушки страстно любят балы и танцы как средства избавиться от скучного надзора и вечного молчания? Там одна желает блеснуть бирюзами, другая — бирюзовыми глазками, третья — показать прекрасную ножку, иная — ловкость в новом парижском *па*, а все — увидеть и дружески позлословить друг друга. Все довольны, любопытство удовлетворено, тщеславие находит пищу, сердце бьется сильнее, и под шумок котильона (танца, которого изобретение я ставлю наравне с паровою машиною, компасом и летанием по воздуху) речи льются, улыбки расцветают — и вот красавице снятся эполеты суженого, — а там и кольца, как в руку сон. Завтра же, не далее как завтра, буду я танцевать котильон с нею, и, прости мое ребячество... мне уже воображается, будто я собираюсь на бал, верчусь перед зеркалом, рву с нетерпением перчатки... минуты длятся, часы стоят — кажется, век не придет пор! Но вот бьет десять — я кричу: «Пошел к князю Г.», и в карете качусь, выдумывая фразы, которых не удастся высказать. Но вот приехали... подножка падает — и я прыгаю на лестницу, унизанную дремлющими лакеями, два шага — и

я в передней зале, оправляю волосы, осматриваю пуговики и крючки и с трепещущим сердцем, но спокойным лицом вхожу в танцевальную залу, где музыка гремит и всё горит, всё блещет. Кланяюсь хозяйке, прошу кого-нибудь, чтобы мне указали хозяина,— и наконец даю волю глазам искать ту, которая одушевляет для меня бал и единственно для кого я ринулся в вихрь света. Взор мой перепрыгивает через перья и цветы — скользит мимо шалей и блонд, блуждает, можно сказать, в цветнике красот — и нет ее!.. Вот, кажется, ее стан, ее походка... но сердце безмолвно; это не она... но там далее... О, я ее увижу, я ее увижу!

S.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

(через две недели)

Что я напишу ей в альбом? Что я могу ей написать? Видно, неприязненный дух нашептал Адели это желание. Когда я спросил ее: «На каком языке должно написать?» — «На языке истины», — отвечала она. На языке истины! Как легко это сказать, как легко можно бы и выполнить, но терпят ли в свете правду и осмелюсь ли сказать: «Адель, я люблю вас»? Но я не люблю павлиничиться чужими чувствами, я ненавижу все воздушные комплименты, на розовом масле замешенные, все эти мгновенные следы людского ничтожества. Притом по-русски писать красно меня не учили, а я слишком горд, чтобы изъясняться на языке чуждом, и Адель так любит родину, что ей это не может понравиться. Научи, Жорж, что делать? Ты исписался и печатался; твои стихи горели и на папилютках красавицы и над трубкою гусара. Но для меня тесен, холоден наш язык, когда нужно выразить кипящие страсти и радужные их изменения. О, для чего не могу я создать огненного наречия для своей пламенной любви, или зачем не могу я любить обыкновенно, как другие! Зачем кровь, а не молоко течет в моих жилах! Зачем, например, не похож я на этих молодчиков, которых везде видят и никто не помнит, которые всем заняты и собой предовольны, или на товарища моего Форста, который набожно вдыхает в себя флегму предков из наследственной трубки и, чтобы влюбиться классически, ждет ротмистрского чина? С таким расположением духа я бы написал или списал в альбом Адели какую-нибудь глупость и заснул бы после этого с

самодовольными мечтами.— Но теперь совсем иное: все мои мысли растопились в чувстве, все чувства слились в одну страсть... я теперь весь — сердце. Будь моей головою, Жорж, разбуди во мне хоть одну искру ума.— Написать ново — не умею, пустяков мараить не хочу, а правду высказать нельзя!!

S.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

(полтора месяца спустя)

Друг! Я получил письмо твое, я приложил к сердцу твои советы; они очень справедливы, но до того холодны, что от них можно простудиться. Ты рассматриваешь любовь сквозь микроскоп философии, как насекомое; между тем как ты бы должен был оторвать ее от моего сердца, как змею; ты хочешь набросить на нее покров смешного, когда она стала уже гибельна для друга твоего. Ах! все сильнейшие средства, все чувствительнейшие укоры не помогли мне вырвать из души своей впившуюся в нее страсть!

Ты знаешь, Жорж, уступал ли я враждующей судьбе. Как же теперь подумать мог, будто я без борьбы отдался в плен любви? Нет, конечно, нет. Я строг к своим слабостям, я судил и удерживал себя, — но мой черед пришел — я падаю пред сокрушительною прелестью скудельного творения. О, как горько идти мне по широкому выгону воздыхателей, над которыми я всегда насмеялся и которых названия страшился наравне с именем труса. Как стыдил я самого себя, что мужчина, солдат, не переводя дыхания, ждет одного ласкового слова, с трепетом ловит каждый взор девушки, губит время и забывает службу в пустых надеждах, в ничтожных игрушках любви! — Как злобно высчитывало мне честолюбие все потери, неразлучные с супружескими видами. В мои лета, с кипящим здоровьем, с решительностью, с кой-какими военными познаниями — заключить свое поприще детскою комнатою, ржаветь в бездействии, заживо обречь себя забвению, чтобы в то время, когда товарищи будут рвать лавры, мне стричь мериноров и вписывать свое имя не в книгу веков, а в женины векселя! Это ужасно, Жорж, и тем ужаснее, что оно бесполезно. Влюбленное сердце перемогло честолюбивую душу, и с тайными слезами я продаю свободу свою за без-

надежное счастье. Завидна участь пловца, который тонет сонный,— но я вижу, куда стремлюсь, и не имею сил остановиться: любовь к Адели поглотила все мои способности — я ничего не могу читать, нет другой мысли, кроме о ней, нет другого занятия, кроме страсти к ней.— Спешу ко мне, друг мой, спаси меня от самого меня!

S.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

(через неделю)

Нет! я не из тех людей, над которыми смеются безнаказанно. Мне кровавыми слезами заплатит она за обман, если сбудутся мои подозрения... и соперник мой скорее обручится с смертною пулею, чем с Аделью. Но меня спросят, какое право имею я требовать отчета в склонностях Адели? Какие обязанности имеет она быть мне верною?.. О, конечно, никаких, если дело идет о наружных приличиях; но все возможные, все священнейшие, если добровольное слово есть закон для душ благородных. Я не обольщал ее притворством, не скрывал своего бурного характера, казался не таким, как должно быть, не таким, как желал бы казаться, но каков был в самом деле. Впрочем, эта неверность, может быть, есть создание моей ревности... одно желание нравиться!.. О, слабое сердце! жаждешь обмануться, чтобы не найти обмана в сердце Адели,—и конечно, я долго обманывал сам себя, но не меня обманывать другим!! Нет, моя участь решена. Разве не видел я ее замешательства, когда мы сходились с Эрастом вместе? разве не ощущал принужденности ее ответов и отчуждения? разве не заметил, как прокралась слеза на длинную ее ресницу при вести, что он упал с коня?.. Сперва, принимая с холодностию приветы молодых людей, она давала мне заметить, что это для меня; теперь мы сменялись местами с Эрастом. Правда, он благородный человек; любезен, мил... но разве все, что любезнее или красивее меня, должно пленять ее внимание? Почему ж для меня не существует пола с тех пор, как я люблю ее? Почему ж я лишь для нее имею сердце; глаза и дар слова? Только ей, только для ней живу!

Он, кажется, ищет моей дружбы, кажется, он и жалеет меня!.. Какая обидная дерзость; я бы жалок стал самому себе, если б нуждался в сожалении моих врагов. Ненавидим

или любим хочу я быть, ему не дружбы, а гибели моей искать должно! Жестоки жгучие мучения ревности: в солнце нет для меня отрады, и у ночи не вымолю я сна; ад во мне и вокруг меня.

Но если она в самом деле любит его? Тем хуже для них: я ли потерплю, чтобы он с усмешкою повел под венец ту, в которой любил я жизнь? Чтобы предпочтенный мне унижал меня своими к ней ласками, чтобы гордость моя ежеминутно язвилась двузначными взглядами, чтобы я стал баснею города... чтоб меня произвели в неудачные женихи? Нет, этого не будет! Я или он должен кровию своею связать союз соперника с Аделью,—далее что будет, то будет, но во всяком случае лучше жить памятью мести, чем иссыхать от мук ревности.

S.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

(через неделю)

Кончено. Через полчаса я стреляюсь с Эрастом — и насмерть: причину к тому найти было не мудрено. Жаль, Жорж, что тебя нет здесь,—мне бы многое нужно тебе высказать; но желание не ковер-самолет, и потому я за глаза душевно благодарю тебя за твою нежную ко мне дружбу. Мало таких людей, как ты, и едва ли есть подобные друзья; я любил тебя, много любил!.. Слеза, которая упала теперь на письмо, вероятно, есть последняя жертва дружеству...—Завещаю тебе одну священную вещь — свою любовь к родине; живи для ней! Я сожалею лишь о том, что не для нее умру. Говорю, умру, потому что я решился ждать выстрела... я его обидел. К родным я написал — утешь их; оставляю своего Ивана — призри его. Если увидишь Адель, когда меня не станет, скажи ей, что я любил ее — и никого не мог ненавидеть. Секунданты здесь, пули пригнаны, пистолеты готовы; я еду — прости!

S.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

(четыре дни после)

Я убил его, убил этого благородного, великодушного человека! Как он уговаривал меня, сколько жертв принёс моему счастью и своей чести,—я был непоколебим: лож-

ное честолюбие окаменило мое сердце, и слепая судьба влекла на убийство, на злодейство. Как не послушался я внутреннего голоса, меня обвинявшего! Да! так... и эта душевная тоска, залегшая на сердце накануне, разве не была отголоском будущих угрызений? И совершилось! Мы приблизились с двадцати шагов, я шел твердо, но без всякой мысли, без всякого намерения: скрытые в глубине души чувства совсем омрачили мой разум. На шести шагах, не знаю отчего, не знаю как, давнул я роковой шнеллер — и выстрел раздался в моем сердце!.. Я видел, как Эраст вздрогнул... Когда пронесло дым — он уже лежал на снегу, и хлынувшая из раны кровь, шипя, в нем застывала. Удалите, удалите от глаз моих эту картину, сдвиньте с сердца о ней воспоминание! Я кинулся к нему... он отходил... взглянул на меня без гнева, подал мне руку, прижал к устам ленту, которая навязана была у него на руке, — это был пояс Адели. «Адель!..» — произнес он тихо, и свет выкатился из очей — слушаем... пульс молчит; подносим к устам сабельную полосу — нет следов дыхания: он умер!

Сколько раз я слышал это слово равнодушно, но тогда этот звук голоса — как гора на меня обрушился. В забвении стоял я над холодным трупом Эраста и напрасно припоминал, за что убил его. Я чувствовал свое преступление и не находил ему вины, и напрасно искал извинения в своей страсти — она как будто развеялась с выстрелом, будто застыла в крови соперника. Мне казалось, напротив, что я убил лучшего друга, любимейшего брата. Наконец ужасный пламень совести осветил мой разум: какое право имел я быть судиею между жизнью и смертью? Какое безумство было требовать, что ни от кого из нас не зависело! Можно ли повелевать сердцу; как можно было бы его не любить? И она любила его и, конечно, была бы с ним счастлива: мой бешеный нрав не сходился с ее кротким нравом. Но я из зависти разорвал венок ее счастья; думал, что в страстном любовнике забудет она убийцу любезного и в моих кровавых объятиях любовь к другому. Если ж бы он убил меня, — то пусть бы страшные сны отравили покой их, и моя тень везде бы их преследовала!.. Несчастный! Я позабыл тогда о себе, я не знал, что, готовя месть ему, обрек себя на отчаяние.

Я уже на гауптвахте. Военный суд наряжен... жестокое и справедливое наказание ждет меня; но что значит все это, когда божий перст на мне тяготеет!.. Теперь ночь —

все дремлет кругом, но не спит червь моего сердца. День проходит в угрызениях совести; ночь населяет темноту страшилищами и... поверишь ли, друг: каждый стук, каждый оклик часового заставляет меня вздрагивать. Забываюсь ли утомленный — привидения бродят кругом постели и что-то шепчут мне на ухо. Засыпаю ль — и ужасные грезы волнуют сердце: роковой выстрел звучит, смертное стелание раздирает слух мой; то опять шепчущая тишина, то вдруг похоронное пение, надо мной стук заступа, мне душно, я вдыхаю могильную пыль... гробовая доска давит грудь... червяк ползет по лицу... «Га!» — вскакиваю, и капли холодного пота мне чудятся каплями крови... О, кто избавит убийцу ненавистой жизни! Для чего мы не на войне... для чего не расстреляют меня!



Ревельский турнир

I

Вы привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стекла их замков, сквозь туман старины и поэзии.— Теперь я отворю вам дверь в их жилища, я покажу их вблизи и по правде.



Звон колоколов с Олая великого звал прихожан к вечерней проповеди, а еще в Ревеле всё шумело, будто в праздничный полдень. Окна блистали огнями, улицы кипели народом, колесницы и всадники не разъезжались.

В это время рыцарь Бернгард фон Буртнек спокойно сидел под окном в ревельском доме своем за кружкой пива, рассуждая о завтрашнем турнире и любуясь сквозь цветное окно на толпу народа, которая притекала и утекала по улице, только именем *широкой*. Судя по бороде, по собственному его выражению, с серебряною насечкой, т. е. с сединою, Буртнек был человек лет 50-ти, высокого и когда-то статного роста. Черты его открытого лица показывали вместе и доброту и страсти, не знавшие ни узды, ни

шпоры, природное воображение и приобретенное невежество. Зала, в которой сидел он, обшита была дубовыми досками, на коих время и червяки вывели предивные узоры. По углам со всех панелей развевались фестонами кружева Арахны. Печка, подобие рыцарского замка, смиренно стояла в углу на двенадцати ножках своих. Налево дверь, завешанная ковром, вела на женскую половину через трехступенный порог. На правой стене, в замену фамильных портретов, висел огромный родословный лист, на котором родоначальник Буртнеков, простертый на земле, любовался исходящим из своего лона деревом с разноцветными яблоками. Верхнее яблоко, украшенное именем Бернгарда Буртнека, остального представителя своей фамилии, дородности своею, в отношении к прочим, величалось, как месяц перед звездами. Подле него, в левую сторону, вниз, спускался коронованный кружок с именем Минны фон... Бесцветность будущего скрывала остальное, а раззолоченные гербы и арабески, наподобие тех, коими блещут наши вяземские пряники, окружали дерево поколений.

— Нагулялся ли ты, любезный доктор? — спросил Буртнек входящего в комнату любчанина Лонциуса, который приехал на север попытать счастья в России и остался в Ревеле, отчасти напуганный рассказами о жестокости москвитцев, отчасти задержанный городской думою, которая не любила пропускать на враждебную Русь ни лекарей, ни просветителей. Надо примолвить, что он своим плавким нравом и забавным умом сделался необходимым человеком в доме Буртнека. Никто лучше его не разнимал индейки за обедом, никто лучше не откупоривал бутылки рейнвейна, и барон только от одного Лонциуса слушал правду, не взбесившись. Ребят забавлял он, представляя на тени пальцами разные штучки и делая зайца из платка. Старой тетушке щупал пульс и хвалил старину, а племяннику заставлял краснеть от удовольствия, подшучивая насчет кого-то милого. — Нагулялся ли ты, — повторил барон, отирая с усов своих пену.

— И с пользою нагулялся, барон, — отвечал весельчак-доктор, выгружая из карманов своих, будто из теплиц, разнородные растения. — Вот целые пучки лекарственных кореньев, собранных мною, и где бы вы думали?.. на вышегородских укреплениях!.. Эту полынь, например, целительную в виде желудочных настоек, сорвал я в трещине главной башни; эту ромашку выдернул из затравки одного ржавого орудия; и я, конечно бы, собрал на стене гораздо

более трав, если бы комендантские коровы не сделали там прежде меня ботанических исследований.

— Ну, каковы ж тебе кажутся наши неприступные, грозные бойницы?

— Ваши грязные бойницы, барон, мне кажутся неприступными для самого гарнизона, потому что все всходы обрушены; а грозны они только издали: половина пушек отдыхает на земле, на валах цветет салат, а в башнях я, право, больше видел запасенного картофеля, нежели картечей.

— Да, да... это сказать — так стыд, а утаить — так грех! хорошо еще, что такая оплошность со стороны моря. Ведь сколько раз говорил я гермейстеру, чтобы поставить все пушки на дыбы и не давать растаскивать ядер на поварни!

— Славно сказано, барон; еще лучше, когда б это исполнилось. Тогда перестали бы ревельцы потчевать приятелей, как их потчуют русские, калеными ядрами в виде пирожков. Не далее, как вчера, я насилу залил пожар моего желудка, вспыхнувшего от подобного брандс-кугеля.

— И заливал, конечно, не водою, доктор?

— Без сомнения мальвазию, г. барон. Неужели вы не знаете, что многие вещества от воды разгораются еще сильнее? а ваш дикий перец, конечно, стоит греческого огня.

Барон имел похвальную привычку соглашаться с тем, чего не знал. И потому он с важною улыбкою одобрения отвечал доктору: «Знаю... знаю»; но, между прочим, не желая обжечься этим греческим огнем, он подвинул к Лонциусу кружку с пивом и предложил ему потушить остатки вчерашнего пожара. — Тебе завтра будет вдоволь работы, — продолжал он, сводя разговор на турнир.

— Работы, барон, разве я кузнец! — отвечал доктор, выменивая каждое слово на глоток пива. — Зачем вам хирурга, когда вы ломаете не ребра, а латы! С тех пор, как выдуманы эти проклятые сплошные кирасы, нашему брату приходится вспоминать о своих опытах, словно сказку о семи Семионах. Велика очень храбрость залезть в железную скорлупу, да и стоять в битве наковальней! Право, от вашего вооружения более терпят кони, чем неприятели!..

— Полно, полно, Густав, хулить наши брони за то, что они берегут нас от вражьих мечей и твоих ланцетов.

Спроси-ка лучше у русских, любят ли они им! Наши латники гоняют кольчужников тысячами.

— Для того-то русские и не ждут ваших конных бойниц, а любят заставить вас по-домашнему — в замше. Скачивают, в Новгороде очень дешево из нее перчатки!.. оно и немудрено: отнятое хоть грошем, но дешевле купленного.

— Вздор, Густав, небылица! Клянусь своими шпорами, что если бы русские увезли у меня хоть уздечку — я бы нагнал удалцов и выкроил бы из их кож себе подпруги...

— У других с уздечками они уводят и коней, а ни у одного еще рыцаря не видать подпруг из такого сафьяна.

— У прочих... у других!.. другие мне не указ. Я уверен, что русские не забудут встреч со мною под Магольмом, под Псковом... под Нарвою!

— Это и я помню наизусть. Но к чему толковать нам о прошлых сражениях, когда речь завелась о наступающем турнире? Не приготовить ли мне перевязку для почтенного моего хозяина? Я бы от чистого сердца желал, барон, чтобы благодетельный удар вышиб вас из седла или чтобы конь ваш, ревнуя к славе хирургии, — сломал бы вам руку или ногу. Вы увидели б тогда искусство Лонциуса... и хотя бы кости ваши прыгали, как игральные косточки в стакане, я ручаюсь, что через месяц вы бы могли сами поднести ко рту кубок за мое здоровье.

— Я постараюсь лучше сохранить свое. Нет, милый мой Лонциус, Буртнеку не бросать больше из седел противников! некстати ему мерять плечо с мальчиками. При том же и лета отяготили броню мою, а сила руки улетела с ее ударами. Нет, я не поеду туда, откуда не уверен выехать. Не заманили бы меня и на эту пирушку, если бы не просьбы дочери и не дело с бароном Унгерном. Гермейстер обещал его на днях окончить.

— Только обещал? — это не много. Он два месяца обещает мне пропуск в Москву и до сих пор не дает его; хотя я вовсе не прошу г. гермейстера заботиться о здоровье моей головы, которая, по его словам, может простудиться от обычая снимать там шапки за версту до княжеского дворца, а у забывчивых будто прибавляют их гвоздями, чтобы не снесло ветром. Если он и для одноземцев также приветлив, как для заезжих, то вы смело можете надеяться, что, являсь сюда с первыми жаворонками, — воротитесь до-

мой позднее той поры, когда кулики полетят на теплые воды.

— Может ли это случиться! мое дело так ясно, как мой палаш; так право, как эта правая рука.

— Зато барон Унгерн, хоть левою, но крепко держится за гермейстера; говорят, он ему сродни...

— А я с ним разве не брат по Ордену? Нет, доктор, в правосудии не сомневаюсь; но желал бы поскорее убраться из Ревеля. Здесь не то, что в деревне... пиры да обеды, от гостей да в гости — а смотришь, деньги улетают, как время, и долги налегают на шею гирями!.. Золотыми шпорами своими клянусь — мне скоро нечем будет клясться, потому что придется заложить их. Нет ли у тебя, доктор, какого заморского лекарства от денежной чашотки?

— Если б оно и было, барон, то без употребления бы осталось: у кого есть деньги, тому не нужно лекарства, а у кого их нет — тому не на что купить его. По умственной алхимии дознался я, что орвиетан от болезней карманного рода есть *умеренность*. — За этим словом, не знаю, с умыслом или ненарочно, доктор так громко брякнул стопою об стол, что яркий звон ее будто выговорил: «Я пуста».

— Понимаю, — сказал с улыбкою рыцарь. — Понимаю это нравоучение; но, судя по нашей природе, оно останется без действия, точно так же, как и твои пилюли. Между прочим, любезный доктор, не выпить ли нам бутылочку рейнвейну, хоть это и противно нашему обряду. Говорят, каждая в пору выпитая рюмка рейнвейну отнимает по талеру у лекаря.

— Зато каждая бутылка дает ему по два. У вас очень старое вино, барон?

— Немного моложе *потопы*, г. доктор; но ты увидишь, что оно совсем не водяно. — Бернгард свистнул, и в ту же минуту вбежал не красивенький паж, как это водилось у французских рыцарей, не оруженосец, как это бывало у германских паладинов, а просто слуга эстонец, в серой куртке, в лосиных панталонах, с распущенными по плечам волосами; вбежал и смирно остановился у притолки с раболепно вопросительным лицом.

— Друмме, — сказал ему Бернгард, — скажи ключнице Каролине, чтобы она достала из погреба одну из плоских склянок за зеленою печатью. Я уверен, что она обро-

сла мохом и пустила корни в песок,— продолжал он, обращаясь к Лонциусу (который уже заранее восхищался видом рейнской бутылки, любимой им, по его словам, только за то, что она весьма похожа на реторту),— и мы докажем доктору, как старое вино молодит людей. Да убери эту стопу, Друмме,— слышишь ли, глупец!

Друмме, трепеща, покрался к столу и так бережно взял за стопу, как будто боясь пролить из нее воздух.

— Чего ты боишься, истукан,— грозно закричал рыцарь,— кружка эта пуста, как твоя голова... куда, нечесаное животное, куда? чего ты ждешь, что ты смотришь на доктора? Я и без него тебе предскажу березовую лихорадку за твои глупости. Проклятый народ,— продолжал Бернгард, провожая Друмме взором презрения,— скорее медведя выучишь плясать, чем эстонца держаться полюдски. Еще-таки в замке они туда и сюда, а в городе — из рук вон; особенно с тех пор, как здешняя дума дерзнула отрубить голову рыцарю Иксулюю за то, что он в стенах ревельских повесил часа на два своего вассала.

— Признаться, я не думал, чтобы у ратсгеров ваших стало довольно ума, чтоб выдумать, и довольно решимости, чтоб выполнить такой закон.

— Не мое ремесло рассуждать: глупо это или умно; я знаю только, что оно бесполезно. Ну что мне закон, когда я палашом могу отразить обвинение или смыть кровью свой же проступок! Притом без золотых очков у закона глаз нет; повешенный молчит, а живой сам петли боится¹. Поэтому-то мы отправляем вассалов своих точно так же, как вы больных,— безответно. За здоровье рыцарей меча и рыцарей ланцета! Каково вино, доктор?..

— Гораздо лучше ваших обычаев.— Еще слово, барон: для чего же вы иногда прибегаете к суду в своих обидах?

— О, конечно, не по уважению к законам, а оттого, что сила не берет управиться иначе. Оттого-то и я замарал пальцы чернилами в деле с Унгерном.

— И по всей вероятности, напрасно.

— Все-таки вероятность лучше невозможности. Да полно об этом; я терпеть не могу рассуждать головою, а не руками, и всякий раз, когда мне случится подумать,— у меня так болит голова, будто с двух стоп русского меду.

¹ Прошу читателя вспомнить о феодальных нравах.

Сыграем-ка лучше партию-другую в пилькентафель¹: это разгуляет твою заморскую ученость и повеселит мое рыцарское сердце.

— И даст движение, очень полезное для здоровья. Об этой игре смело можно сказать с Горацием: *utile dulci*².

— Пощади, сделай милость, пощади меня от этого язычества; со мною ты смело можешь вешать его на гвоздик, потому что изо всей латыни я только помню и люблю слово *vale*³.— Так говоря, они вышли из залы.

II

На радуге воображенья
Воздушный замок строит он:
Его любви лелеет сон...
Но бьет минута пробужденья!

Угадываю любопытство многих моих читателей, не о яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном,— и спешу удовлетворить его, во-первых, потому, что я хочу нравиться моим читателям, во-вторых: не таюсь — люблю поговорить о прекрасных, хотя не умею говорить с ними. Послушайте.

Минна, единственная дочь рыцаря Буртнека, была прелестнейшая девушка. В ее время Ливония более нынешнего изобиловала красотами, но на светлокудрых сих красавицах лежала печать бесстрастия. В тени своих девичьих они расцветали, как пышные тюльпаны, блестя, но не благоухая. Удаленные не обычаем, но привычкою от мужчин, потому что им нечего было говорить друг другу, их занятием были одни пересуды; все их тщеславие ограничивалось нарядами, все честолюбие не стремилось выше верхнего конца за столом или красного стула на вечеринках. Сердце было у них пятое колесо в колеснице; ум такая монета, которую никто не мог оценить, ни разменять; а потому эпохи жизни своей они считали от балу до балу и приятные воспоминания поверяли по расходной книжке. Таковы были почти все красавицы ливонские, но не такова была Минна. Природа, по словам отца ее, не тростниковый клинок одела

¹ род бильярда.

² Полезная сладость (лат.).

³ Конец (лат.).

в такие красивые ножны. Это «не знаю что-то милое» одушевляло черты ее лица, давало величавость ее поступи, ловкость приемам, сладость речам. Из голубых ее очей, из-под длинных ресниц скользили взоры... но какие взоры! — От них вспыхнул бы и лед. Коротко сказать, Минна была из числа тех красавиц, которые поражают красотой и вместе пленяют прелестью. Она рано потеряла мать, — но мать-природа о ней заботилась. Чтение не просветило ее; но книга света была пред нею, и какое-то понятие, заменяющее девицам опытность, спасло невинную от приманок богатства и обольщения лести. Минна скоро заметила, что ее не понимали, что ее любили не так, как хотелось ее возвышенному сердцу, осужденному биться без ответа; и это невольное уединенное чувство вовлекло ее в мечтательность. Воображение Минны вырывалось из скучного круга разряженных кукол, из шумных бесед рыцарских и рисовало ей светлейшие картины счастья; ее сердце вздыхало о каком-то неясном, но прелестном идеале; а сердце в 18 лет порох; одна смелая искра — и прощай спокойствие.

Между тем как барон с доктором спорят, кто из них в лучшем ударе, сбивая городки пилькентафеля, Минна в ближайшей комнате готовила наряды к завтраму. В углу за занавесом вокруг длинного стола сидели и что-то шили три эстонские девушки с бисерными повязками на голове, с серебряными бляхами на груди. Старая тетушка Минны дремала в другом углу под тению крылатого чепчика, устав бранить новые моды и неуменье племянницы по ее одеваться. Перед Минною стоял белокурый, статный юноша, сын одного из богатейших купцов в Ревеле: он принес ей вчера заказанную богатую цепочку. Синий бархатный шпензер его вышит был золотою битью; частые сквозные пуговицы висели, как ягоды, по полам; золотая бахрома украшала цветные отвороты замшевых сапожков, и только недостаток шпор показывал, что он не рыцарь; хотя смелая осанка и умное лицо его давали ему над многими из них преимущество.

— Так вам нравится лиловый цвет, любезный Эдвин? — сказала Минна, повертываясь перед зеркалом. — И вы думаете, что это платье будет мне к лицу?

Прилагательное *любезный* и тогда уже не было лестным, относясь к низшему; оно и Эдвину напоминало о его состоянии, но сладостно было для его сердца. Однако ж он

молчал, погруженный в мечтательное любованье красотою Минны.

— Пробудитесь, Эдвин,— сказала она вполголоса тронутым, вполголоса ласковым голосом.

— Так, я грезил, фрейлин Минна, простите меня или лучше самую себя в том вините. От звука вашего голоса теряешь ум прежде, чем слова дойдут до него.

— Мы, кажется, говорили о цветах, а не о звуках, Эдвин!

— Еще раз виноват, фрейлин Минна,— я и забыл, что дамы более любят пестроту, чем гармонию. На вопрос ваш, впрочем, буду отвечать тоже вопросом... Какой наряд не пристанет к стройному вашему стану, какой цвет, какое украшение может возвысить или изменить прелестное ваше лицо! — Эдвин договорил это приветствие трепещущим голосом, но был доволен, что сказал его, конечно, более читателя, которого я прошу, хоть для меня, простить моего героя: во-первых, потому, что он не читал ни одного французского словаря комплиментов, а во-вторых, стоял перед прекрасною девушкою, к которой был очень равнодушен. Ах! кто из нас не казался порой учеником перед светскими красавицами? Кто не говорил им неловких похвал? Бог знает почему: когда разыграется сердце — остроумие прячется так далеко, что его не выманишь ни мольбами, ни угрозами. И что ни говори — я не верю многословной любви в романах.

— Лесть — поддельное золото, Эдвин; я не беру ее на свой счет,— сказала Минна.

— Лесть, но не искренность, Минна! — Не то ли же самое я сказал вам, в чем уверяет вас ваше верное зеркало, в чем (вы видите, что я умею говорить правду) вы и сами не сомневаетесь?

— Поэтому вы считаете меня тщеславною, самолюбивою?

— Я знаю только, что скромность не мешает ни зрению, ни слуху... Завтра тысячи голосов скажут вам в миллион раз более моего.

— Кто завтра вздумает обо мне, когда сюда съехались все красавицы, которыми славится Ливония и блестит Ревель!

— И недаром блестит, фр. Минна. Особенно теперь мы вправе гордиться: первая из них украсит завтрашний турнир своим присутствием и одушевит всех своим взором.

— Кто же эта первая? — спросила Минна нетвердым голосом. — И для всех, или только для вас она кажется такою? не подкуплены ли глаза ваши сердцем?..

— Я думаю наоборот, фр. Минна: глаза ее очаровали мое сердце.

— Вы рассказываете про свои чувства — а мне бы хотелось знать ее имя, — сказала Минна холоднее, — могу ли услышать его, не трогая вашей скромности?

— Ах, Минна, вы тронули нежную струну!.. Со всем тем я бы решился сказать, кто она, если б не одно любопытство участвовало в вашем вопросе. — Между тем он так нежно глядел на Минну, что, казалось, щеки ее зажглись от пламени его взоров. Краснея, она опустила свой — и молчала, зато сердце говорило тем громче. Эдвин был развязен, пылок, умен — Минна чувствительна и прелестна. Он умел и мечтать, и чувствовать; а рыцари ливонские могли только смешить и редко, редко забавлять. Она любила — он возбуждал мысли высокие; говорил с жаром, если не с красноречием, и увлекал, если не убеждал. Разъезжая два года по Европе, он навык приличиям светским, и образованностию, ловкостью далеко превосходил рыцарей Ливонии, которые росли на охоте, а мужали в разбоях; рыцарей, неприветливых с дамами, гордых ко всем, заносчивых между собою, предпочитающих напиваться за здоровье красавиц в своем кругу, чем проводить время в их беседе. Они думали пленить Минну рассказами о своей любви, своей верности, — Эдвин говорил ей о ней самой. Те считали головы убитых ими зверей и неприятелей — он напоминал о плененных ею сердцах; они заглядывались на ее алмазные серьги — он любовался ее очами. Следствие угадать не трудно, ибо состояния выдуманы не для любовников, — и любовь, как иной цвет на бесплодном утесе, растет и в безнадежности. Лавка отца Эдвинова была первая по городу и, как на беду, против окон Буртнекова дома. Там находились все дорогие ткани, все искусственные изделия, жемчуг и ценные камни. Девушки того века любили рядиться не менее наших столичных, и лавка прекрасного Эдвина всегда была полна посетителями. Нужно ли сказать, что Минна ходила туда часто? И хотя лавка сия служила для Ревеля вместо нашего англинского магазина (т. е. местом свидания молодежи), ее влекла туда не одна страсть к уборам, не одно желание всем нравиться там удерживало. То надобно прикупить бархату, то переделать по-новому ожерелье, то распаялось кольцо, то из-за моря

привезли что-то чудное. И каждый раз приветливый Эдвин спешил к ним навстречу, развертывал пред тетушкой штофы, сверкал племяннице алмазами и — глазами. Рассказывал ей про чужбину, — слушал ее с восхищением; и обыкновенно горький вздох разведал его блестящие замки, и он со слезами на глазах провожал взорами свою любезную — не сводил их с ее окна — и в молчании изнывал, как былинка. Тяжко любить без надежды на счастье, тяжело без надежды взаимности; но беспримерно тяжелее видеть себя любимым и не сметь словом любви вызвать признания, жаждать его, как отрады небесной, и бежать, как преступления чести; не иметь права на ревность и таять от страха измены; винить свой холод в ее огорчениях, множить собственные муки то упреками против любви, то против долга!.. Тогда-то страсти из кипящего сердца черными парами налетают на разум и ядовитое отчаяние вгрызается в душу!.. О други, други! пожалейте того, кто любил подобным образом.

— И вы могли сказать, что одно любопытство внушило мне вопрос мой, — наконец произнесла Минна, подняв голубые очи свои с таким нежно-укорительным взором, что суровое выражение лица Эдвина смешалось в одно мгновение с умильным, голос замер, сердце как будто пронзилось — но это ощущение было сладостно, как первый вздох наяву после страшного сна. Души их слились в один выразительный, но невыразимый взгляд. Минна пришла в себя.

— Итак, любезный Эдвин, если б вы были рыцарем, какой цвет избрали бы вы на завтрашний турнир?

— Навеки, навсегда, фр. Минна, я бы избрал цвет первой красавицы; цвет, составленный из небесно-голубого и украшения земли розового; я бы избрал, — продолжал он пламенно, схватив ее руку, — прелестный, несравненный лиловый цвет, ваш цвет, Минна! — Рука Минны пылала и трепетала; голова ее невольно склонилась на плечо Эдвина...

— Ах! зачем вы не рыцарь! — прошептала она. Воздушный замок Эдвина разлетелся.

— Ах! зачем я не рыцарь! — вскричал он вне себя. — Зачем я злосчастен своим благополучием! — И в одно время на руке Минны напечатлелись жаркий поцелуй восторга и охладевшая слеза безнадежности.

— Минна, Минна! — закричал отец из другой комнаты. — Минна, — повторила вприсонках ее тетушка!

В любви, добыче и утрате
Мои права — в моем булате.

Кто не читывал рыцарских романов? кто не знает обычая избирать для раздачи наград на турнирах красавицу, которой давали титул царицы любви и красоты? Разве в чем другом, а в тщеславии лифляндские рыцари не уступали никаким в свете и всегда — худо ли, хорошо ль — передразнивали этикет германский. Турниру без царицы быть не можно — это аксиома; вот и сошлись избранные судьи турнира в риттергауз. Поставили, как водится, на стол чернильницу и бутылки, перебрали все писанные и устные предания о способе избрания — пошумели, поспорили, кого избрать; и когда от кружения козьею ногой¹ у них закружились головы и отнялись ноги, они согласились (к чести их вкуса или вина, право не знаю) избрать Минну фон Буртнек царицею. Минна, слыша зов отца своего, оправала волосы и, подняв фрез, чтобы скрыть в нем пылание щек своих, вышла в залу. За нею последовал Эдвин.

— Благодарю господ совета за честь, милая Минна. Ты избрана на завтра царицею, — сказал барон, потирая от удовольствия руки... — Благодарю, я за себя и за тебя дал слово...

Один из герольдов в вышитом гербами далматике преклонил колено и подал ей на бархатной подушке золотую из тревов коронку, и, смущенная нечаянностью, Минна взяла ее, лепеча что-то в ответ на пышно-бестолковое приветствие герольдов.

— Я не поздравляю вас, — тихо сказал Эдвин, положив руку на сердце, — вы и без короны владели сердцами.

Минна покраснела и молчала. Герольды встретились в дверях с рыцарем Доннербацем, одним из самых страшных бойцов и самых ревностных искателей Минны. — Поздравляю барона и целую ручку у царицы моей, — сказал он, неловко кланяясь и звеня за каждым словом шпорами, будто напоминая тем (и только тем), что он рыцарь... — Соколом моим, фр. Минна, клянусь, что завтра за каждую

¹ Кубки в виде ноги дикой козы были в большой моде у ревельских рыцарей в честь Ревеля, которого имя производят они от слова Ree-fall — падение серны.

искру ваших глазок так полетят искры от лат, что небу станет жарко. Вы увидите, как я перед вами отличусь,— конь у меня загляденье: пляшет по нитке и курцгалопом на талере вольты делает. Сделайте милость, фр. Минна, позвольте мне надеть лиловый шарф — у меня уж и чепрак лиловый заказан.

— Много чести... благодарю вас за внимание... но я так часто меняю цвета свои, что вы безошибочно можете опоясаться радугою.

— И быть полосатым шутом,— тихо примолвил доктор.

— Знатная мысль,— воскликнул Доннербац, хлопая в ладоши,— вот что называется соглашаться, не сказав да. Зато лиловую полосу я сделаю шире остальных вместе.

— Милости прошу присесть, господа,— говорил Буртнек Доннербацу и Эдвину, которого он ласкал по сердцу и по золоту.— Вас, рыцарь, на сегодняшний вечер я жалую министром ее красивого величества,— моей дочери; растолкуйте ей должность царскую,— а ты, милый Эдвин, постарайся, чтобы царица не забыла нас, простых людей. Мне надо поговорить о деле.— Молодежь уселась в одном углу близ тетюшки без речей, а доктор и Буртнек в другом присели к столу.

— Добро пожаловать, старая кукушка,— сказал барон входящему Фрейлиху, рассыльщику гермейстера,— добро пожаловать, если твое явление не предвещает худа!

— И, батюшка, ваша высокобаронская милость! что вздумали,— отвечал коротенький рассыльщик, закладывая перчатки за украшенный бляхою пояс и бич за раструб сапога.— Я ведь, как деревянная кукушка, что над часами в ратуше, также часто и также верно вещь на прибыль, как и на убыль.

— Что же нового, Фрейлих?

— Чему быть новому на этом старом свете, г. барон? — продолжал словоохотливый немец, развязывая сумку,— у меня даже для завтрашнего праздника и новой шапки нет, даром что старую износил я, усердно кланяясь господам рыцарям.

— Не только нам, ты и всем стенам хмельной кланяешься. Однако вот тебе два крейцера в обмен за труды.

— Благодарю покорно, благородный рыцарь. За каждый крестик на этих монетах я положу по десяти за вашу душу.

— Не лучше ли выпить за мое здоровье,— сказал, усмехаясь, барон, принимая бумаги.— Конечно, повестки от гермейстера?

— Приказы, благородный рыцарь!

— Приказы?.. Да что он смеет мне приказывать?..

— Где нам это знать, г. барон,— стать ли нам соваться не в свое дело! На печати стоит часовой; да, впрочем, если б письмо было прозрачнее киршвассеру — я, безграмотный, и тогда бы узнал не больше теперешнего.

— Правда, правда,— ворчал про себя Буртнек,— ты столько же можешь судить о содержании писем, как моя лягавая собака о вкусе перепелки, которую приносит. Ступай себе, Фрейлих. (Читает.) Ба-ба-барону... Бур... Бур... провал возьми неучитивость сочинителя и почерк писца — это так связно, как венгерская цифровка; по крайней мере титул-то мой мог бы он написать большими ломаными буквами!¹

— О! конечно,— сказал, не слушая его, рыцарь Доннербац.

— Без сомнения,— прибавила из другого угла тетушка, пересчитывая на иглы петли полосатого чулка, который она вязала.

— Это еще учтивее,— примолвил с усмешкою доктор,— письмо написано ломаным языком.

— У тебя он очень гибок на споры,— возразил Буртнек,— посмотрим-ка его рысь на деле... прочти, пожалуй... у меня глаза слабы — не могу разобрать: буквы мелки, как маковые зернушки, и меня недаром берет дремота с одной строчки.

— Дай бог, чтобы вы могли спокойно заснуть от них,— сказал доктор, пробегая бумагу глазами.— От гермейстера Ливонского ордена Рейхарда фон Бруггеня пре... при...

— Возьми очки,— сказал барон.

— Возьмите терпенье,— возразил доктор...— Ваши титулы так темны и долги, как сентябрьская ночь.

— Далее, далее?

— Не далее, а назад, барон! мы, словно пилигримы по обещанию, ступаем три шага вперед, а два обратно. Итак: гермейстер Бруггеней благородному рыцарю Ливонского ордена рыцарей креста, барону Эммануилу Христофору Конраду... фон Буртнеку, урожденному...

¹ Fraktur-Buchstaben.

— Ты рехнулся, доктор...

— Виноват, зачитался. Я уж так привык писать рецепты спесивым вашим барыням, что у меня беспрестанно звенят в ухе их титулы. Поверите ли, что фрейгерша Книпс-Кнопс при смерти не хотела принять лекарства за то, что я не выставил на рецепте: *для урожденной такой-то...*

— Какая мне надобность до ее рожденья и смерти и твоей смертной охоты приплетать свои сказки к чужому делу! — Ни дать, ни взять ты словно мой конюх Дитрих, который любил, бывало, вплетать ленточки в гриву моей лошади, когда уже трубят сбор...

— Вы взобрались на своего конька, барон, а ведь пеший конному не товарищ. Впрочем, мы близки к концу: приказ, кажется, дан в придачу титулам: он и весь в четырех словах: «Исправьте ваш мост через болото Вайде, что на большой дороге в Дерпт».

— Пусть он сам его перемащивает своим пергамином — а мне, право, не для чего; в ту сторону я никогда в гости не езжу.

— Не ездите? так и незачем. Жаль только бедных путешественников по нужде — они не журавли — не перелетят чрез болото.

— Это уж их дело, а не мое.

— Но ведь большая дорога вещь мирская, а как она идет через ваше владение...

— Поэтому я имею право делать в нем, что мне угодно, а тем более ничего не делать.

— Это значит, что где многие делают всё, что хотят, там все терпят то, чего не хотят.

— Другую, другую, доктор...

— Разве третью, — сказал Лонциус, наливая стопу...

— Я говорю про бумагу, — с досадой произнес Буртнек.

— А я думал про стопу, — отвечал Лонциус с притворным простосердечием, снимая со свечи. (Читает.) «Гермейстер... и тому подобное... По жалобе рыцаря барона фон Буртнека на фрейгера Унгерна о земле, прилежащей к замку Альтгофену и смежной с соседственными угодьями сказанного Унгерна, якобы захваченной им у первого бесправно и незаконно, наездом и вооруженною рукою, и насилием, и грабежом, с угрозами повторения оных впредь, я с фогтами и командорами Ордена, рассмотрев сие дело,

нашли...» Ошибка против грамматики,— вскричал доктор, останавливаясь.

— Скажи лучше, против правды,— возразил Буртнек...— Гермейстер только праздничает с фогтами, а судит и рядит своей головой...

— «Рассмотрев, нашел по справкам и показаниям свидетелей, что сказанная земля (опись на обороте) была прежде захвачена у отца фрейгера Унгерна в разные времена и различными неправдами, а потому объявляем всем и каждому, что фрейгер Унгерн был вправе употребить для возвращения собственности силу, не видя удовлетворения на любовные сделки и многократные свои требования,— и что мы признаем его законным владельцем сказанного участка; а рыцарю барону фон Буртнеку приказываем немедленно и беспрекословно уступить Унгерну Милькенталь со всеми выгонами, прогонами, загонами, луговыми и лесными дачами, нивами и покосами, стоячими и живыми водами, со всеми угодьями и привольями без изъятия, и положить новую границу от ручья Куремсе до озера Пигуса, до заводи, где коней купают; оттуда налево мимо красной сосны, что молнией обожжена, до Юмаловой пожни, а оттуда на перестрел к новой Пойгиной бане, а оттуда...»

— Оттуда пусть он убирается к черту! — вскричал барон, вскочнув со стула... и гнев его, поджигаемый каждым словом, наконец лопнул, как фейерверочный бурак, и бранные шутихи полетели во все стороны...

— Вот правосудие! вот законы!.. когда я был силен и удал, когда мои шпоры звенели громче других на пирушках и палаш мой реже целовался с ножнами,— тогда ни одна параграфская душа не смела показать ко мне носа и все эти толстые фогты фон так кланялись через улицу. Бывало, хоть на епископской полосе воткну свое копые вместо гранного столба, никто и пикнуть не смеет,— а теперь, смотри, пожалуй! — Это ходячие чернильницы, это черепоконные писаря вздумали притиснуть границу к самому рву замка, так что Унгерн, того гляди, будет с меня требовать платы за тень башен, которая ляжет на его землю, за каждый стакан воды из ручья — и какой воды!

— Без воды обойтись можно...— возразил доктор, взвышая голос, чтобы заставить барона дослушать определение...— «Вследствие чего нарядится вскоре чиновник для введения помянутого фрейгера Унгерна во владение...»

— Пусть только явится ко мне... Пусть только придет... я его под бичами заставлю вертеться кубарем... я его попрошу отведать спорной воды в озере!..

— «И тогда, по обычаю собрав из соседних деревень обоих противников здоровых мальчиков, высесть их на каждом заметном месте новой разгранички, чтобы они ее памятовали и в могущих случиться впредь спорах могли служить очевидными свидетелями...»

— Этому не бывать... шпорами клянусь, не бывать... всякий знает, что я для правого дела не пожалел бы васалов своих... но в этом случае разве я злодей, чтобы согласился обратить их спины памятною книжкою для безголовых судей?..

— А что скажет на это гермейстер?

— То, чего я не послушаюсь... Что мне дорожить его благосклонностью? его флюгерною дружбой! Я хочу лучше иметь перед собою двух открытых врагов, чем за спиной одного такого приятеля! Унгерну же не видать обетованной земли, как вчерашнего дня; коли на то пошло, не проживится он ею без бою — даже для цветочного горшка. Буквы не солдаты, а у меня для встречи незваного гостя найдется живой частокол с железными маковками и не одна пара сильных рук указать ему дорогу восвояси.— Так восклицал раздраженный барон, топая ногами,— и громче и громче раздавался голос его до того, что стаканы и кубки, стоящие в старинном шкафу, зазвенели друг об друга. Старуху тетушку ураган сей застал на половине зевка — и превратил его в знак удивления. Рыцарь Доннербац, который для комплимента пил за здоровье Минны, не донес кубка до губ, и кубок, склонясь на полдороге, точил понемножку на пол драгоценную влагу. Только Эдвин и Минна встали, движимые участием. Добрый Лонциус, сбросив с лица шутовское выражение, беспокожно слушал барона и следил взорами его движения.

— Да, да,— продолжал Буртнек,— я докажу и Унгерну и гермейстеру... что Буртнек прожил и умрет не без друзей.

— Честию клянусь,— вскричал Эдвин от души.— Вы их имеете, Буртнек!.. Мое золото — ваше.

— Располагайте,— сказал, пошатываясь, Доннербац,— мною каждый день до обеда, а удальцами моими всегда.

— Благодарю... Сердечно благодарю...— отвечал умиленный барон, подавая им руки...— Но утро мудренее вече-

ра, и мы завтра потолкуем об деле... Боже мой!.. завтра турнир — и Унгерн наверно по-прежнему сорвет награду, и моя дочь должна будет увенчать моего злодея!.. Проклятое слово... отказаться нельзя, а вытерпеть этого я не могу... Я не переживу насмешек грабителя над этими седыми волосами,— и где же? — Перед целым Ревелем, перед всем дворянством и рыцарством? Друзья... Друг Доннербац! ты один можешь спасти старика от позора; ты силен и огромен, и сломишь Унгерна, как тростинку. Одна только лень мешала тебе померяться с ним доселе... но теперь... Послушай, Доннербац, я знаю, что моя Минна тебе нравится... но лишь победитель Унгерна будет ее мужем... вот моя рука, мое рыцарское слово, что друг или недруг — кто бы ни выбил Унгерна из седла — я отдаю ему мою дочь и свою вечную признательность.

— Руку и слово, барон,— вскричал радостно Доннербац, ударяя рукою в руку,— и пусть ведьмы всех цветов сделают из меня своего конька, если в Унгерне оставляю я хоть каплю души, как в этом кубке,— если не так же сомну его! — С сим словом серебряный кубок, смятый в комок, полетел на пол.

— Батюшка, милый батюшка! — воскликнула испуганная Минна...

— Минна... я не люблю повторений и противоречия. Мой приказ должен быть твоею волею, а моя воля — твоим желаньем; что сказано, то свято. Победитель Унгерна будет тебе хорошим мужем и мне добрым защитником.

Минна, бледнея, опустилась на стул. Сверкая взорами, стоял Эдвин посреди комнаты; грудь его волновалась, правая рука будто стискивала рукоять меча, и вдруг, как лев, он гордо встряхнул кудрями... и скрылся.

— Куда, куда, любезный Эдвин? — кричал вслед ему Буртнек; но ответа не было.— Чудак... а славный малый,— примолвил он,— скажи слово — и Эдвин отдает всё без росту и закладу.

— Молодец,— повторил Доннербац,— даром что не рыцарь, а его не проведешь на зубах конских.

— Преумница,— прибавил доктор,— хоть и спорит со мной о жизненной эссенции, зато одной веры, что мир родился из яйца...

«Прекрасный юноша, бесценный человек!» — думала полумертвая Минна... но она не сказала этого вслух.

IV

I write in haste, and if a staine
 Be on this sheet it's not whate it appears
 My eyeballs burn and throb, but have no
 tears.
 Byron¹

Как бешеный, вбежал Эдвин домой. Плащ слетел на пол. Двери спальни от удара ноги разлетелися вдребезги— и он с сердцем вырвал свечу из рук старшего служителя...

— Кончено... Решено...— говорил он, скрежеща зубами,— турнир и Минна — люди, люди!.. Поклонники пред-
 рассудков!.. О, для чего не могу я стать с копьём у ее порога и вызвать на бой каждого дерзкого, кто захочет её руки! Герман! я еду,— вскричал он слуге своему.

— Куда? — спросил тот с изумлением..

— Кто смеет спрашивать, куда? я еду — и этого довольно; ветер хорош, кораблей много: готовься.

Жарка первая любовь юноши; зато как горька первая потеря!.. Долго сидел Эдвин, облокотясь на стол и закрыв обеими руками горящее лицо. В его груди буревали страсти, и, наконец, они излились в беспорядочном письме, вот оно:

«Для меня всё решилось. Пишу к вам оттого, что говорить с вами завтра я бы не мог, а писать после турнира мне не должно — тогда уже рука ваша принадлежать будет другому; другой... Безумец, я безумец! из какой надежды, по какому праву смел ты возвысить свои взоры на лучший цвет Ливонии!.. или ты думал, что пылкое, верное сердце стоит рыцарского герба! Ты думал... нет, я ничего не думал, я мог только чувствовать, только любить. Минутный сон счастья! Я дорого плачу за тебя наяву...— Вы знаете ли, прелестная Минна, что такое яд ревности; испытали ли вы муки безнадежной, отчаянной любви? Молю бога, чтобы вы никогда ее не чувствовали!.. Отчаяние давно ли посетило меня — и, кажется, все часы, все дни, потерянные в расейности, промелькнувшие в восторге,— склубились теперь в минуты, в бесконечные минуты!.. За каждым биением сердца, для вас только бьющегося, тысячи досадных мыслей, одна по другой, одна другой чернее, успевают уже терзать мою душу, и каждая капля крови медленно вливает отраву в мои жилы. Чувствую, что я пишу вздор... прости-

¹ Я пишу второпях, и если на этой странице встретится пятно, то это не то, что кажется: мои глаза горят и трепещут, но в них нет слез. Байрон (англ.).

те моему безумию и дерзости, что я пишу к вам, добрая, милая Минна; или нет, прошу вас, умоляю вас, рассердитесь на меня, излейте на виновного справедливый гнев свой: тогда мне легче будет оставить вас, разлучиться с обожаемою Минною, бежать той родины, где мне запрещено заслужить мечом любезную, которой взаимность заслужил я сердцем. Будьте гневны и неумолимы, иначе проткий взор небесных очей ваших обратит в дым мою решимость — еще один взор, как сего дня... и я причарован — и что тогда? мое мщение может быть столь же чрезмерно, как безмерна моя страсть. Спасите меня своим негодованием, несравненная! Я только дождусь турнира, лишь узнаю счастливца, которому выпадет мое счастье, и в ту же минуту корабль умчит меня, куда поведет ветер, и тем лучше, чем далее... Буду скитаться по свету, чтобы забыть-ся, — не для того, чтобы забыть вас... Нет! я бы не мог исполнить этого, хотя бы желал. Воспоминания и горе прежней любви будет мне отрадою... буду жить ими, покуда от них не умру. Будьте счастливы, милая Минна, — и верьте сердечному, хотя не рыцарскому, слову, что никто искреннее меня не может пожелать вам этого, как никто не мог любить чище и пламеннее. Прощайте, Минна! Более ничего ни от меня, ни обо мне вы не услышите. — Эдвин».

Холодный ветер взвивал кудрями Эдвина, который, прислонясь к косяку отворенного окна, в горькой задумчивости глядел на окна Минны. Сквозь стекла и занавес мерцал там луч тусклой лампы — и воображение населяло темноту призраками воспоминаний; но они тянулись, как погребальное шествие. Два раза поднимал Эдвин руку, чтобы перекинуть прощальное письмо, — и медлил в нерешимости... Наконец, замирая сердцем, метнул он через улицу яблоко, к которому было привязано письмо, и оно с звоном разбитого стекла упало на пол Минниной спальни.

V

Amour aux dames, honneur aux braves!¹

Летит, как вихорь, как огонь,
Пред недвижимым строем;
И пышет златогривый конь
Под будущим героем.

Это было в мае месяце; яркое солнце катилось к полудню в прозрачном эфире, и только вдали сребристооблач-

¹ Любовь — дамам, честь — храбрецам! (фр.)

ной бахромой касался воде полог небосклона. Светлые спицы колоколен ревальских горели по заливу, и серые бойницы Вышгорода, опершись на утес, казалось, росли в небо — и, будто опрокинутые, вонзались в глубь зеркальных вод. Резвые голуби, возбужденные шумом и звоном колоколов, кружились над крутыми кровлями; всё было оживлено, всё дышало радостью, всё праздновало возвращение весны, воскресение природы.

С зарею Ланг- и Брейт-штрассе — две дороги, ведущие к дом-плацу в Вышгороде, заперлись толпами народа. Эстонцы и немецкие рукодельники, слуги и мещане спешили занять место, чтобы посмотреть на турнир рыцарский; однако ж немногие добились этой чести. Небольшая площадь едва давала простор поединщикам, а вокруг домов сделаны были места для людей почетных. Все окна были отворены, уложены подушками, увешаны коврами. Ленты и разноцветные ткани веяли отовсюду; пестрота домов, рядов и украшений представляла глазам странное, но приятное зрелище. Наконец, за час до полудня трубы зазвучали по городу, и в одну минуту окна закипели зрительницами, амфитеатр наполнился лучшими купцами и старыми рыцарями. Под балдахинном сидел гермейстер, в белой бархатной мантии, с черным на левом плече крестом, в полукафтани с разрезами, унизанными застежками, в сапогах, на которые спускались от колен кружевные напуски. Золотом шитый воротник рубашки городками лежал на железном оплечье, которое носили тогда рыцари, чтобы и в домашнем платье видно было их звание. Подбой платья, раструбов сапогов и перчаток был малинового цвета. Золотая цепь с орденским крестом показывала его достоинства, и два пера гордо возвышались над его головою, как он над головами прочих. На рукояти меча висели гранатовые четки, как будто эмблемою сочетания духовной и военной власти, ибо тогда сила епископов была уже уничтожена. По левую его руку сидела царица праздника, Минна, в токе, в лиловом платье со сборами, с золотыми кружевами, в косынке, вышитой шелками, унизанной жемчугом, и крупные кудри рассыпались по плечам ее, перевитые с дымковым покрывалом. Робко поводила она взорами, и томная грусть видна была на ее лице, как будто однодневная царица красоты чувствовала, что служит живым изображеньем кратковременного владычества прелести!

Между тем как зрители чинно усаживались по лавкам, споря за почетность мест более, чем за их удобность,—

Лонциус и Эдвин стояли у въезда, откуда им видна была вся окрестность,— и от доброты сердца перебирали соседей и соседок. Часто душевное горе, раздраженное общим весельем, в котором не можем участвовать, изливается горькими насмешками; это же самое случилось и с Эдвином: желчь его испарялась злословием, и, как водится в подобных обстоятельствах, колким, но редко остроумным.

— Мне жаль бедную Минну,— сказал доктор, которому все казалось в забавном виде.— Гермейстер ваш, который так величается гербами своими, право очень похожими на булочную вывеску, боится потерять свою симметрическую посадку, а ей не с кем пересудить соседок: заметить, что у той-то худо накрахмален воротник, что у того-то растрепаны перья или чересчур нафабрены усы; какое противоречие — гермейстер и Минна!

— Тут не противоречие, а доказательство, что радость и скука — самые близкие соседи! — отвечал Эдвин.— Но, доктор, вы просили меня показать вам кое-кого из женщин и мужчин ревельских,— следуйте же своими взглядами за моими. Вот эта разряженная дама, например, очень похожая на корабельную статушку,— жена ратсгера Клауса; она, говорят, в самом деле ворочает рулем нашей думы и не раз сажала наш курс на мель. Подле нее примерная чета: бургомистр Фегезак с дражайшей своей половиной: они горят одною страстью — к стеклу, т. е. он к стакану, а она к зеркалу. Эта карманная дамочка, которая, говоря без умолку, вешается на шею толстому своему мужу, будто колокольчик на шею к волу,— дворянка Зеgefельс. Он, сказывают, взял маленькую жену для того, чтобы она не достала водить его за нос, зато теперь ушам больно достается. Кстати об ушах... тот молодчик, кажется, прячет их длину в высокий фрез свой — это ландрат Эзелькранц; за ним сидит певица фрейлен Лилиендорф — знатоки говорят, что голос ее есть смешение соловьиного с совиным; а воздушная соседка ее, у которой лицо и платье расцвело радугою,— баронесса Герцфиш. Ей бы давно пора с нашего неба. Далее видна любовница командора Цангейма... не дивитесь, что она сидит выше его жены: это у нас не редкость. Там две сестрицы...

— Полно, полно, Эдвин, о женщинах. Я знаю, что о скромных сказать нечего, о хорошеньких не для чего говорить, а прочие мне наскучили. Теперь очередь до господ. Кому, например, принадлежит эта головка, лежащая на огромном испанском фрезе, как на блюде яблоко?

— Всем, кому угодно, доктор!.. он отдает ее на подержание за сходную цену. Это промотавшийся дворянин Люфт — он сочиняет надгробные надписи и свадебные песни, проекты рыцарям для впадения в землю неприятелей и для свидания с женами приятелей; смотрит в зубы лошадям, сводит купцов и лечит охотничьих собак... Это самая светлая голова изо всего Ревеля.

— Недаром же вокруг нее коленкоровое сияние; но кто этот в пух разубранный рыцарь... с соколом на руке, обвешанный лентами и пуговицами, как свадебный конь?

— Это мученик и образец щегольства... фогт фон Тулейн... В гардеробе своем он, кажется, не советовался с указом Плеттенберга¹: шейная цепочка его весит ровно в 30 фунтов, и посмотри <те>, в какие перстни закованы его пальцы.— Он имеет вес между рыцарями.

— Ну, а тот с бекасиною фигурою, низенький?

— И низкий человек? Это продажная душа, вицбетрейбер Рабенштраль; но вот въезжают и рыцари: в голове их командор Везенберга Гарткнокх: он прост, как строус, которого перьями так хвалится; подле него на готической лошади галопирует дерптский фогт Цвигель; сквозь его прозрачность² можно видеть звезды на небе и на щите его, только не в голове. Сзади их толстый фрейгер Фрессер на такой тощей лошади, что на костях можно шляпу повесить и принять ее за тень седока... Он заложил женино ожерелье, чтобы сделать своему коню серебряные подковы... Далее...— Эдвин бы не кончил биографической своей сатиры, если бы рыцарь Буртнек не разлучил его с доктором, позвав того к себе.

Рыцари при звуке труб и литавр по двое въезжали за решетку, крутили тяжелых коней своих, кланялись дамам, склоняли копыя перед гермейстером. Кирасы их не отличались приятностью рисунка; щиты и нашламники и длинные попоны коней украшены были такими геральдическими птицами, зверями и травами, что свели бы с ума всех натуралистов мира. Но все это блистание лат, пестрота перьев и шарфов, шитье чепраков и попон, ржание коней, брэнчание сбруи и плески и разнообразие кругом — все

¹ Гер <мейстер> Плеттенберг в 1503 году издал для удержания роскоши указ, в коем предписал простоту в платьях и уборах всех сословий, но это осталось без действия.

² Sein <е> Durchlaucht — светлость, его прозрачность, немецкий титул.

изумляло странностию, было дико, но пленительно. И вот герольды прочли уставы турнира, и рыцари выскакали вон, оставя место для бою. Снова звучит труба — и уже копыта ломаются на груди противников, и выбитые рыцари ползают в пыли от тяжести лат, более чем от силы ударов. Часто своевольные кони разносят их, и копыта поражают воздух; часто, стукнувшись лбами, они путаются в сбруе другого и, как петухи, ловят промах врага. Вот уже рижский рыцарь Гротенгельм дважды остался победителем и взял в приз золотой шарф из рук царицы красоты. Трубы гремели ему туш, народ приветствовал кликами. Тогда только выехал гордый Унгерн, который будто презирал легкие победы и ждал, чтобы другой увенчался ими для украшения его триумфа. Они слетались, сшиблись, и Гротенгельм покатился через голову с конем своим. Забавнее всего был удар копыта Унгернова — он повернул шлем Гротенгельма налево кругом, и тот, вскочив на ноги, долго не мог из него высвободиться, задыхаясь и ничего не видя. Смех и рукоплескания полетели со всех сторон. Унгерн остался, ожидая противников. Бросив поводя и опершись на копыта, величаво стоял он среди площади. Трубы гремели, герольды вызывали охотников, но сила рыцаря ужасала, — никто не являлся. Все дамы, все зрители восклицали: «Отдать Унгерну награду — отдать лучшую храбрейшему!»

— Отворите! — закричал неизвестный рыцарь, приближаясь, — и в то же мгновение, не дожидаясь, покуда отворят решетку, он сжал в шпорах коня и стрелой перелетел через нее. Хвост разом осаженного коня лег на землю, но рыцарь не шевельнулся в седле — только перья со шлема раскатились по плечам и снова вспрыгнули от удара. Минуту стоял он как вкопанный, слегка поигрывая поводями, — как будто желая осмотреться и дать разглядеть себя, и потом тихо, манежным шагом, поехал кругом ристалища, приветствуя собрание склонением головы. Наличник его был опущен, щит без герба, латы вороненые с золотою насечкой. Огненный цветом и ходом конь его храпел и форкал и весь был на ветре, как будто ступал по облаку пыли, взвешиваемой его ногами.

— Какой статный мужчина! — сказала, прищуриваясь, фрейлен Луиза фон Клокен брату своему, когда неизвестный проезжал мимо.

— Какой жеребец! — воскликнул ее брат, — во всех статях — даже и хвост трубою. Это картина — не конь.

Крестец, хоть спи на нем, ноги тоньше, нежели у италиянца Бренчелли... и пусть меня расстреляют горохом, если он танцует не лучше фогта Тулейна... Только что не говорит.

— Эту привилегию имеют только ослы,— с досадою подхватил Тулейн, который по случаю сидел сзади.

— Это я вижу теперь,— смеючись отвечал фон Клокен.— Но кто этот неизвестный удалец?

— Это Доннербац,— отвечали многие голоса.

— Неужели он так скоро успел просушить свою голову? Я оставил его за шестою бутылкою венгерского на завтраке у ратсгера Лида.

Между тем рыцарь подъехал к гермейстеру, склонил копые, низко, низко поклонился Минне — и вдруг поднял на дыбы коня своего, метнул его вправо и во весь опор поскакал к Унгерну. Все ахнули, боясь удара, но он сразу и так близко осадил коня, что муштук звякнул о муштук... — Что это значит? — с досадою произнес Унгерн, изумленный такую дерзостью.

— Если рыцарь хочет взять у меня урок в геральдике,— насмешливо отвечал неизвестный,— то брошенная перчатка значит вызов на бой!

— Рыцарь, я уже давно эту указкою выездил шпоры, и от ней не один терял стремена!

— Унгерн! мы съехались не хвалиться подвигами, а их совершать. Я вызываю тебя на смертный поединок.

— Ха! ха! ха! Ты меня вызываешь на смертный бой... Нет, брат, это уж чересчур потешно!

— Чему ты смеешься, гордец? я тебя не щекотал еще копьем своим; берегись, чтобы за твой смех по тебе не заплакали.

— Ах ты, безымянный хвостун! — ты стоишь быть стоптан подковами моего коня.

— Наглец и пустослов,— поднимай перчатку или убирайся вон из турнира.

— Я выгоню тебя вон из света, безумец,— вскричал раздраженный Унгерн, вонзая копые в перчатку противника,— и также воткну на копые твою голову.

— Пощупай лучше, крепко ли своя привинчена. На жизнь и смерть, Унгерн!

— Это твой приговор... поклонись в последний раз пету на Олаевской колокольне,— вы уже больше не свидитесь...

— А ты приготовь поздравительную речь сатане...

— Посмотрим, какого цвету кровь,двигающая этот дерзкий язык!.. Поглядим, какая подкладка у этого надутого сердца,— говорили рыцари, разъезжаясь. И вот герольды разделили им пополам свет и ветер, сравняли копыя — и труба приложена к устам для вести битвы. Привстав, склонясь вперед, все чуть дышат, чуть поводят глазами. Сердца дам бьются от страха, сердца мужчин от любопытства; взоры всех изощрены вниманием. Унгерн собирает, горячит коня своего, чтобы сорвать с места мгновенно; садится в седло, крутит копьем. Незнакомец стоит недвижно, солнце не играет по латам, ни волос гривы его коня не шевелится... Труба гремит.

Вихрем понеслись противники друг на друга — раз, два — и копьев как не было; но удар был столь силен, что незнакомец зашатался, упал на шею коня и перья шлема смешались с султаном конским, и бегун понес его кругом ристалища. Громкие плески огласили воздух, дамы завяли платками в одобрение Унгерна. Таковы-то люди, таковы-то женщины — они всегда на стороне победителя.

— Славно, славно, земляк! — кричали ему ревельцы, — ты так крепко сидишь в седле, будто вылит из одного кустика с лошастью.

— Едва ли это не правда, — примолвил Лонциус Буртнеку, который ни жив, ни мертв ждал развязки боя.

— Теперь он знает, каково рвать незабудки с копыя Унгернова, — прибавил другой.

— Я чай, у него в глазах сверкают такие звезды, что и во сне не увидишь, — сказал третий.

— Распечатай его налечник! — кричали многие.

Но рыцарь очнулся, и насмешки возбудили в нем новые силы. Так дымится и кипит вода от капли кислоты, — так вспыхивает умирающее пламя от немногих зерен пороку.

Снова, с новыми копыями устремились рыцари навстречу; один с уверенностью в победе, другой с злобою мщения... Сразились — и Унгерн пал.

Разгорячен, прыгнул с коня незнакомец и, наступив ногой на грудь полумертвого Унгерна, простертого в пыли, поднял его оплечье острием меча, направил меч в грудь и оперся на него.

— Ну, Унгерн. Кто победитель?

— Судьба, — отвечал тот едва внятно.

— И смерть — если ты не сознаешься, кто победил тебя?

— Ты, ты! — отвечал Унгерн, скрежеща зубами.

— Этого мало. Ты отнял неправдою землю у Буртнека. Откажись от ней — или чрез минуту тебе довольно будет и той земли, которую теперь закрываешь телом. Да или нет?..

— Я на все согласен!

— Слышите ли, герольды и рыцари! я лишь на этом условии дарю ему жизнь.

Подобно электрическому удару, восторг обуял зрителей, доселе безмолвных то от страха за Унгерна, то из участия к незнакомцу. — Слава великодушному, награда и честь победителю! — раздалося в громе рукоплесканий. — Ему, ему награду, — восклицали все.

«Неизвестный рыцарь выиграл золотой кубок», — решили судьи турнира, и герольды провозгласили то. Величаво кланяясь на все стороны, приблизился рыцарь к возвышению, где сидел гермейстер с царицею красоты, поклонился им и в безмолвии оперся на меч.

— Благородный рыцарь! — сказал гермейстер Бруггеней, стоя, — ты оказал свою силу, свое искусство и великодушие — покажи нам победное лицо свое для принятия награды!

— Уважаемый гермейстер! Важные причины запрещают мне удовлетворить ваше любопытство.

— Таковы уставы турнира.

— В таком случае я отказываюсь от прав своих и сердечно благодарю судей за честь, которою не могу воспользоваться. — Сказав это, неизвестный с поклоном отворотился от гермейстера...

— Храбрый паладин, — сказала тогда трепещущая судьбы своей Минна, наполняя кубок вином венгерским... — Неужели откажетесь вы ответить на мой привет за здоровье победителя?.. Как царица праздника, я требую повиновения, как дама, прошу вас...

Она отпила и поднесла кубок к незнакомцу.

— Нет, нет, — говорил тот, отводя рукою бокал; видно было, что страсти сражались в нем — он колебался. — Минна! — воскликнул он, наконец, хватая кубок, — да будет!.. я выпил бы смерть из чаши, которой коснулись вы устами... Вожди и рыцари! За здравие и счастье царицы красоты!

При громе труб незнакомец поднял наливчик...

VI

Не встанешь ты из векового праха;
Ты не блеснешь под знаменем креста,
Тяжелый меч наследников Рорбаха¹,
Ливонии прекрасной красота.

Н. Языков

Происшествие, которое представляю теперь, было в 1538 году, то есть лет 15 спустя после введения лютеранской веры. Орден крестоносцев ливонских недавно потерял тогда главу свою в прусском Ордене, преданном Сигизмунду, и уже дряхлел в грозном одиночестве. Долгий мир с Россиею ржавил меч, страшный для ней в руке Плеттенберга. Рыцари, вдавшись в роскошь, только и знали, что полевать да праздничать, и лишь редкие стычки с новгородскими наездниками и варягами шведскими поддерживали в них дух воинственный. Впрочем, если они не наследовали мужества предков, зато гордость их росла с каждым годом выше и выше. Дух того века разделил самые металлы на благородные и неблагородные; мудрено ли ж, что, уверяя других, рыцари и сами от чистой души уверились, что они сделаны по крайней мере из благородной фарфоровой глины. Надо примолвить, что дворянство, образовавшееся тогда из владельцев земель, много тому способствовало. Оно доискивалось слиться с рыцарством, следовательно, возбуждало в оном желание исключительно удержать за собою выгоды, которые, бог знает почему, называло правами, и нравственно унижить новых соперников. Между тем купцы, вообще класс самый деятельный, честный и полезный изо всех обитателей Ливонии, льстимые легкостью стать дворянами чрез покупку недвижимостей или подстрекаемые затмить дворян пышностью, кидались в роскошь. Дворяне, чтобы не уступить им и сравниться с рыцарями, истощали недавно приобретенные поместья. Рыцари в борьбе с ними обоими закладывали замки, разоряли вконец своих вассалов... и гибельное следствие такого неестественного надмения сословий было неизбежно и недалеко. Раздор царствовал повсюду: слабые подкапывали сильных, а богатые им завидовали. Военно-торговое общество черноголовых (S<ch>warzen-Häupter), как градское ополчение Ревеля, пользовалось почти рыцарскими

¹ Рорбах был первым магистром Ордена лифляндских меченосцев (Swertdt <Schwert> Brüder).

преимуществами, следовательно, было ненавидимо рыцарями. Час перелома близился: Ливония походила на пустыню, но города и замки ее блистали яркими красками изобилия, как осенний лист перед паденьем. Везде гремели пиры; турниры сзывали всю молодежь, всех красавиц воедино, и Орден шумно отживал свою славу, богатство и самое бытие.

На чем бишь мы остановились?

VII

Что будет, то будет, что будет,
то будет, а будет то, что бог даст.

Богдан Хмельницкий

Медленно открыл незнакомый рыцарь бледное лицо свое и пал без чувств к ногам изумленной Минны, пал от изнеможения и первого удара.

— Эдвин! — воскликнула Минна.

— Купец! — закричали дамы и рыцари, и ропотное волнение разлилось по собранию. — Такая наглость стоит наказания... Эта обида заслуживает мести! — раздавалось отовсюду; и рыцари, дворяне, шварценгейптеры хлынули на ристалище. — Выбросьте вон, прибейте, убейте этого самозванца, — кричали рыцари, — он не наш.

— Он будет наш, — возражали шварценгейптеры, стесняясь в кружок около бесчувственного Эдвина, — мы не дадим тронуть его волоском...

— Кто не даст, кто не позволит? Кто? Не по нашей ли милости впущены вы в круг рыцарский? — шумели дворяне.

— Не из милости, а по праву.

— Кто дал права, тот может и взять их.

— Вы их продали нам, а не дарили. Мы такие же господа, как и вы, в Ревеле, который не раз уже выкупали своим золотом и спасали своею кровью.

— Старые песни, старые сказки... храбрость ваша качается на весовой стрелке, — а честь, как обстриженный червонец, очень упала в цене...

— Гром и буря! Мы напечатаем на лбах ваших такие монеты, что век не износите штемпеля...

«Аршинники — разбойники!» — летело навстречу друг другу, и обе стороны пышали боем, когда венденский фогт фон Дельвиг вскочил на перила и громовым голосом гово-

рил: — Дворяне и рыцари! вот следствие нашей доброты! Когда бы не позволили мы шварценгейптерам и первым гражданам мешаться с нами, этот купчишка не стопап бы нашего собрата — и преимуществ Ордена; не обидел бы в лице Унгерна нас всех. Но пусть прошлое будет нам уроком для переду. Да будет же отныне и навсегда запрещено всем без изъятия, не носящим звания рыцаря или дворянина, въезжать за турнирную решетку.

— Да будет, да будет! — загремели дворяне и рыцари; и герольды под звуком труб возгласили, что никто, кроме дворян и рыцарей, не может отныне ломать с ними копья в турнире.

— Так мы сломим их в битве, — зашумели обиженные таким исключением шварценгейптеры, обнажая мечи.

— А коли так, — бейте черноголовых, — закричали рыцари.

— Рубите пустоголовых, — восклицали шварценгейптеры, кидаясь к ним навстречу, и в миг мечи запрыгали по латам, и бой завязался. Вопли женщин, клятвы противников, громы оружия огласили воздух. Теснота умножала тревогу, конные и пешие, латники и невооруженные, бойцы и миротворцы смешались, и все орудия от рук до копий были в деле. Обиженное самолюбие и неуклонная гордость подстрекали сражающихся, вино и гнев ослепляли всех; ожесточение росло. Напрасно гермейстер просил, уговаривал, повелевал; напрасно, крича и топая ногами, бросил свой жезл, даже шляпу и мантию на ристалище в знак закрытия турнира — никто не слушал, никто не замечал его. Наконец, усталость сделала то, чего не могли совершить ни моления жен, ни приказы старших. — Обе стороны склонились на увещания доброго бургомистра Фегезака, и противники разошлись, грозя друг другу мечами и взорами. Опустелое побоище усеяно было перьями и шпорами, рыцарскими и дамскими украшениями. К счастью, теснота помешала дальнему убийству, ибо сражение превратилось в борьбу; говорят, немногие заплатили жизнь за эту игрушку.

Эдвин всё ещё лежал в смертном обмороке от сильного ушиба и бури чувств. Подле него на коленях стояла прелестная Минна, забыв весь мир для любезного и ничему не внимая, кроме чуть слышного биения его пульса; Лон-

циус, ухаживая за Эдвином, уговаривал беснующегося Буртнека, который всем тогда известным светом клялся, что он не отдаст Эдвину дочери, хотя он и остался победителем.

— Но ваше слово, барон, ваше рыцарское слово!

— Но мои предки, г. доктор, мои предки! Лучше не сдержат слово, чтобы поддержать имя. Коротко сказать — Эдвин очень высоко задумал; я вовсе не выдам Минны за человека без славного имени.

— Зато с доброю славою.

— За человека, у которого родословная в счетной книге, у которого нет герба.

— У него их тысячи, барон, и все на золотом поле.

— Хоть весь он рассыпся червонцами — я не соглашусь раздвоить¹ свой щит с вывескою.

— Вспомните, барон, что Эдвин кровью выручал вам отнятое Унгерном, — неужели за великодушные заплатите вы неблагодарностию?

— Добродетель — не титул...

— Мы производим его в командоры шварценгейптеров, — гордо возразили старшины сего сословия. — Он заслужил его достоинство храбростию.

— Слышите ли? — сказал доктор. — Это почти рыцарское достоинство!

— Батюшка, — вскричала, наконец, Минна, будто вдохновенная, — он оживает — мой Эдвин оживает. — Простите... — продолжала она, обливая грудь отца горькими слезами... — я люблю Эдвина, я не могу жить без него... В руке моей вольны вы, но мое сердце навечно принадлежит Эдвину. — Казалось, она истощила все силы души и тела, чтобы выговорить слова сии, — и, сказав их, как лилия, поникла головою и без чувств опустилась на плечо отца. Это тронуло Буртнека более всех доводов. В гербе его не было сердца, но оно билось в груди отеческой. С нежною заботливостью поддерживая дочь левою рукою, он веял над ней перьями шляпы — хотел поцелуем призвать в нее жизнь — и даже слеза блеснула на непривычной к тому реснице. Между тем добрый Лонциус наступал на него сильнее и сильнее. — Он богат, прекрасен, командор и храбр — это пресечет злые языки... Неужели вы хотите уморить дочь и лишитъ счастья друга, изменив слову? Притом же любовь дочери вашей известна всему городу...

¹ Ecarteler — геральдическое выражение.

— Дай мне подумать хоть день, хоть час...

— Вы никогда не выдумаете лучше того, что говорит вам сердце... Итак, Эдвин зять ваш?

— Зять и сын... Эдвин и Минна, милые дети мои, пробудитесь для новой жизни!

Светел и радостен скакал с турнира Эдвин подле колесницы невесты своей, не сводя с нее глаз и поминутно целуя ее руку. Спускаясь с Блоксберга, им встретился Доннербац в полном вооружении и с копьём в руке...

— Куда едешь, любезный Доннербац? — спросил Буртнек.

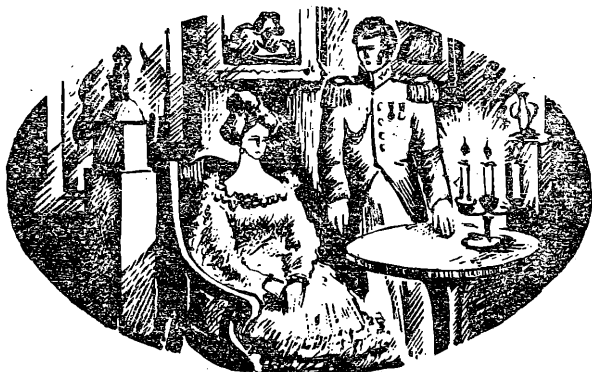
— На турнир, — отвечал тот, протирая глаза...

— Ты проспал его... Поедем-ка лучше ко мне на свадьбу, — с усмешкою сказал Эдвин.

— На твою свадьбу, — неужели с фр. Минною?.. не сон ли это?

— Дай бог, век не просыпаться от такого счастливого сна.

Шумно промчался поезд мимо — и Доннербац долго стоял на улице с отверстым ртом от удивления.



Испытание

ПОВЕСТЬ

Посвящается
Ардалиону Михайловичу
Андрееву

I

...В благовонном дыме трубок,
Как звезда, несется кубок,
Влажной искрою горя
Жемчуга и янтаря;
В нем, играя и светлея,
Дышит пламень Прометей,
Как бессмертия заря!



Н евдалеке от Киева, в день зимнего Николаы, многие офицеры **ского гусарского полка праздновали на именинах у одного из любимых эскадронных командиров своих, князя Николая Петровича Гремина. Шумный обед уже кончился, но шампанское не уставало литься и питься. Однако же, как ни веселы были гости, как ни искрення их

беседа, разговор начинал томиться, и смех, — эта Клеопатрина жемчужина, растаял в бокалах. Запас уездных новостей истощился; лестные мечты о будущих вакансиях к производству, любопытные споры о построениях, похвальба конями и даже всевозможные тосты, в изобретении коих воображение гусара, конечно, может спорить с любым калейдоскопом, — все наскучило своей чередой. Остряки досадовали, что их не слушают, а весельчаки, что их не смешат. Язык, на который, право, не знаю, почему, скорее всего действует закон тяготения, заметно упорствовал подниматься к небу, — восклицания и вздохи и табачные пuffs становились реже и реже, по мере того, как величественные звенки, подобно электрической искре, перелетали с уст на уста...

Я мог бы при сей верной оказии, подражая милым писателям русских новостей, описать все подробности офицерской квартиры до синего пороха, как будто к сдаче аренды; но зная, что такие микроскопические красоты не по всем глазам, я разрешаю моих читателей от волнования табачного дыма, от бряканья стаканов и шпор, от гомеровского описания дверей, истрелянных пушечными пулями, и стен, исчерченных заветными стихами и вензелями, от висящих на стене мундштуков и ташки, от нагорелых свеч и длинной тени усов. Когда же я говорю про усы, то разумею под этим обыкновенные человеческие, а не китовые усы, о которых, если вам угодно знать пообстоятельнее, вы можете прочесть славного китолова Скорезби. Впрочем, да не помыслят поклонники усов, будто я бросаю их из неуважения; сохрани меня Аввакум! Я сам считаю усы благороднейшим украшением всех теплокровных и хладнокровных животных, начиная от трехбунчужного паши до осетра.

Но вспомните, что мы оставили гостей не простясь, а это не слишком учтиво. Без нас уже половина из них, не подстрекаемая великим двигателем сердец — банком, — склонила головы свои на край стола, между тем как остальные, более крепкие или более воздержные, спорили еще сидя: что красивее: троерядный или пятирядный ментик? Вдруг звон колокольчика и топот злой тройки заглушил их прения. Сани шаркнули под окном, и майор Стрелинский уже стоял перед ними.

— Здравствуй, здравствуй! — летело к нему со всех сторон.

— Прощайте, друзья мои,— отвечал он,— отпуск у меня в кармане, кони у крыльца, и ретивое на берегах небеских; я заехал сюда на минуту: поздравить милого именинника и выпить прощальную чашу. Сто лет счастья! — воскликнул он, обращаясь к князю с бокалом шампанского и дружески сжимая его руку.— Сто лет!

— Милости просим на погребенье,— отвечал, усмехаясь, Гремин,— и я уверен, что ты заключишь старинную дружбу нашу похвальным словом над моею могилою!

— Похвальным словом? Нет, это слишком обыкновенно. Да и зачем хвалить того, кого не за что бранить! Впрочем, как ни упорен язык мой на панегирики, твое желание одушевляет меня казарменным красноречием. Не хдчу, однако ж, проникать в будущее — нет, я произнесу только надгробное слово этим живым и чуть живым покойникам, за столом и под столом уснувшим. Начинаю с тебя, милый корнет Посвистов, ибо в царстве мертвых и последние могут быть первыми. Да покоится твое романтическое воображение, которое, чуть бывало орошено ромом, пылало, как плумпудинг. Тебе недоставало только рифм, чтобы сделаться поэтом, которого бы никто не понял, и грамматики, чтобы быть прозаиком, которого бы никто не читал. Сам Зевес ниспослал на тебя сон в отраду ушей всех ближних!.. Мир и тебе, храбрый ротмистр Ольстредин; ты никогда не опаздывал на звон сабель и стаканов. Ты, который так затягиваешься, что не можешь сесть, и, натянувшись, не в силах встать! Да покоится же твое туловище, покуда звук трубы не призовет тебя к страшному расчету: «справа по три и по три направо, кругом!» Мир и твоим усам, наш доморощенный Жомини, у которого армии летали, как журавли, и крепости лопали, как бутылки с кислыми щами! Системы не спасли твою операционную линию... ты пал, ты страшно пал, как Люцифер или Наполеон с верного конца в преисподнюю подстолья!.. Долгий покой и тебе, кларнетист бемольной памяти, Бренчинский, который даже собаку свою выучил лаять по нотам. Бывало, ты одним духом отдувал любой акт из Фрейшица; а теперь одна аппликатура V. C. P. со звездочкой низвергла тебя, как прорванную волюнку. И тебе, лорд Бейрон мазурки, Стрепетов, круживший головы дам неумоимостью ног своих в вальсе, так что ни одна не покидала тебя без сердечного биения — от усталости. Ты вечно был в разладе с музыкою,— зато вечно доволен

сам собою. Мир сердцу твоему, честолюбец Пятачков, хотя ты и во сне хочешь перехрапеть своих товарищей, и тебе, друг Сусликов, что глядишь на меня, будто собираешься рассуждать, и, наконец, все вы, о которых так же трудно что-нибудь сказать, как вам что-нибудь выдумать. Покойтесь на лаврах своих до радостного утра,— да будет крепок ваш сон и легко пробуждение!

— Аминь! — сказал Гремин, смеючись.— Тебе, однако ж, пришлось бы, в награду за речь эту, променять не одну пару пуль или иззубрить не одну саблю, если б господа могли все слышать.

— Тогда я не считал бы их мертвецами и не сказывал бы надгробной проповеди. Впрочем, с теми, кто не принимает шутку за шутку, я готов расплатиться и свинцовою монетою.

— Полно, полно, любезный мой Дон-Кихот, мы между друзьями. Не спеши прощаться: мне нужно дать тебе поручения в Петербург немного поважнее покупки ветишкетов и помады. Через четверть часа колокольчик будет уже звенеть в ушах твоих вместо голоса друга.

Они вышли в другую комнату.

— Послушай, Валериан,— сказал ему Гремин,— ты, я думаю, помнишь ту черноглазую даму с золотыми колосьями на голове, которая свела с ума всю молодежь на бале у французского посланника три года тому назад, когда мы оба служили еще в гвардии?

— Я скорее забуду, с которой стороны садиться на лошадь,— вспыхнув, отвечал Стрелинский,— она целые две ночи снилась мне, и я в честь ее проиграл кучу денег на трефовой даме, которая сроду мне не рутировала. Однако ж страсть моя, как прилично благородному гусару, выкипела в неделю, и с тех пор... но далее: ты был влюблен в нее?

— Был и есмь. Подвиги мои наяву простирались далее твоих сновидений. Мне отвечали взаимностью, меня ввели в дом ее мужа...

— Так она замужем!

— По несчастию — да. Расчетливость родных приковала ее к живому трупу, к ветхому надгробию человеческого и графского достоинства. Надо было покориться судьбе и питаться искрами взглядов и дымом надежды. Но между тем как мы вздыхали,— семидесятилетний супруг кашлял да кашлял — и, наконец, врачи присоветовали

ему ехать за границу, надеясь, вероятно, минеральными водами выщедить из его кошелька побольше золота!

— Да здравствуют воды — я готов почти помириться за это с водой, хотя календарский знак Водолея на столе вечно кидает меня в лихорадку. Поздравляю, поздравляю, mon cher Nicolas¹; разумеется, дела твои пошли как нельзя лучше!..

— Вложи в ножны свои поздравления. Старик взял ее с собою.

— С собой! Ах он чудо-юдо — таскать по кислым ключам молодую жену, чтобы золотить ему пилюли, — вместо того чтоб, оставя ее в столице, украсить свое родословное дерево золотыми яблоками! Это умертвительное неуменье жить в свете!

— Скажи лучше: упрямство умереть кстати. Он воображал, постепенно разрушаясь, что обновит себя переменною мест. При разлуке мы были неутешны и поменялись, как водится, кольцами и обетами неизменной верности. С первой станции она писала ко мне дважды; с третьего ночлега еще одно письмо; с границы поручила одному встречному знакомцу мне кланяться, и с тех пор ни от ней, ни об ней никакого известия: словно в воду канула!

— Ужели ж ты не писал к ней? Любовь без глупостей на письме и на деле все равно что развод без музыки. Бумага все терпит.

— Да я-то не терплю бумаги. Притом куда бы мне адресовать свои брандскугельные послания? Ветер плохой проводник для нежности, а животный магнетизм не открыл мне места ее процветания. Потом иные заботы по службе и своим делам не давали мне досугу заняться сердцем. Признаюсь тебе, я уж стал было позабывать мою прекрасную Алину. Время залечивает даже ядовитые раны ненависти: мудрено ли ж ему выдымить фосфорное пламя любви; но вчерашняя почта освежила вдруг мою страсть и надежды. Репетилов, в числе столичных новостей, пишет мне, что Алина возвратилась из-за границы в Петербург — мила, как сердце, и умна, как свет. Что она сверкает звездой на модном горизонте, что уже дамы, несмотря на соперничество, переняли у ней какой-то чудесный манер ридикюля, а мужчины выучились пришептывать страх как приятно. Одним словом, что, начиная от нижнего этажа

¹ мой дорогой Николай (фр.).

модных магазинов до ветреного чердака стихокропателей, она привела у них в движение все иглы, языки и перья.

— Тем хуже для тебя, любезный Николай. Память прежней привязанности никогда не бывала в числе карманных добродетелей у баловниц большого света.

— В этом-то все и дело, любезнейший! Отлучка полкового командира привязала меня к службе; а между тем как я здесь сижу сиднем, она, может, изменяет мне. Сомнение для меня тяжеле самой неблагоприятной известности, хуже вексельной отсрочки. Послушай, Валериан, я тебя знаю давно и люблю так же давно, как знаю. Коротко и просто: испытай верность Алины. Ты молод и богат; ты мил и ловок,— одним словом, никто лучше тебя не умеет проиграть деньги по расчету и выиграть сердце безумною пылкостью. Дай слово — и с богом.

— Возьми назад свое и убирайся к черту. Подумал ли ты, что этим неуместным любопытством ты ставишь силок другу и подруге с опасностью потерять обоих? Ты знаешь, для меня довольно аршина лент и пары золотых серег, чтобы влюбиться по уши,— и поручаешь исследовать прекрасную женщину, как будто б она была соляной обломок Лотовой жены, а я профессор стокгольмского университета!

— Поэтому-то самому, милый Валериан, я больше полагаюсь на твою возгораемость и сгораемость, чем на хладнокровие другого. Три дни ты будешь от ней без ума — а через три дни или она станет от тебя без памяти, или своей верностью приведет тебя самого в память. В первом случае я раскланяюсь со своими надеждами — не без сожаления, но без гнева. Ведь не один я бывал в сладком заблуждении, не один останусь и в любезных дураках. Но в другом — тем сладостнее, тем вернее будет обладание любимым сердцем. Мила неопытная любовь, Валериан, но любовь испытанная — бесценна!

— Видно, нет на свете такой глупости, которую бы умные люди не освятили своим примером. Любовь есть дар, а не долг, и тот, кто испытывает ее,— ее не стоит. Ради бога, Николай, не делай дружбы моей оселком.

— Я именем дружбы нашей прошу тебя исполнить эту просьбу. Если Алина предпочтет тебя — очень рад за тебя, а за себя вдвое; но если ж она непоколебимо ко мне привязана,— я уверен, что ты, и полюбив ее, не разлюбишь друга.

— Можешь ли ты в этом сомневаться! Но подумай...

— Все обдуманно и передумано — я неотменно хочу этого, а ты несомненно это можешь. В подобных делах друг твой настоящий новгородец — прям и упрям. Да или нет, Стрелинский?

— Да. Слово это очень коротко, но мне так же трудно было выпустить его из сердца, как последний рубль из кармана в полудороге. Впрочем, я утешаю себя тем, что ты и я, как очень легко статься может, опоздали и найдем одуванчик вместо цветка. Тут еще есть бездельное обстоятельство: уверен ли ты, что супруг ее убрался в Елисейские?

— Ничего не знаю; Репетилов ни полслова об этом. Однако ж, хотя бы жизнь его была застрахована самим Арендтом, — природа должна взять свое, и последний песок его часов не замедлит высыпаться!

— Bravo, bravo, мой Альнаскар! Это несравненно, это неподражаемо! Мы запродали шубу, не спросясь медведя. Опыт наш начинает привлекать меня, — за него надо взяться из одной чудесности. Я твой.

— Постой, постой, ветреник, ты еще не спросил у меня фамилии нашей героини. Графиня Алина Александровна Звездич. Помни же.

— А если забуду, то наверно, по рассказам твоим, могу о ней осведомиться в первом журнале или в первой модной лавке. Что еще?

— Ничего, кроме моего почтения твоей тетушке и сестрице. Она, говорят, вышла из монастыря?

— И мила, как ангел, — пишут мне родственники.

Друзья расстались.

Между тем гостей развели и развезли. Все утихло; и тем грустнее стало Гремину одиночество после шумного праздника. Платон уверял, что человек есть двуногое животное без перьев; другие физиологи отличали его тем, что он может пить и любить, когда вздумается; но ощипанный петух мог ли бы стать человеком — или человек в перьях перестал ли бы быть им? Конечно, нет. Получил ли бы медведь патент на человеческое достоинство за то, что любит напиваться во всякое время? Конечно, нет. В наш дымный век я определил бы человека гораздо отличительнее, сказав, что он есть «животное курящее, animal fumens». И в самом деле, кто ныне не курит? Где не процветает табачная торговля, начиная от Мыса Доброй Надежды до Залива Отчаяния, от Китайской стены до Нового моста

в Париже и от моего до Чукотского носа? Пусться в опередления, я не останавлиюсь на одном: у меня страсть к философии, как у Санхо Пансы к пословицам. «Мышлю,— следственно, существую», — сказал Декарт. «Курю,— следственно, думаю», — говорю я. Гремин курил и думал. Мысли его неволью кружились над камнем претенновения для рода человеческого — над супружеством. Есть возраст, в который какая-то усталость овладевает душою. Волокитства — наскучивают, кочевая, бездомовная жизнь становится тяжка, пустые знакомства — несносны; взор ищет отдохновения, а сердце — подруги, и как сладостно бьется оно, когда мечтает, что ее нашло!.. Воображение рисует новые картины семейственного счастья; тени скрадены, шероховатости скрыты — *c'est un bonheur á perte de vue!*¹ Мечты — это животное-растение, избегающее в сердце и цветущее в голове, — летали вместе с дымом около Гремина и, как он, вились, разнообразились и исчезали! За ними и холодное сомнение, за ними и желчная ревность проникли в душу. «Доверить испытание двадцатилетней светской женщины пылкому другу, — думал он, нахмурясь, — есть великая неосторожность, самая странная самонадеянность, высочайшее безумие!»

— Какой я глупец! — вскричал он, вскочив с кушетки, так громко, что легавая собака его залаяла с просонков. — Эй! пошлите ко мне писаря Васильева!

Писарь Васильев явился.

— Приготовь просьбу в отпуск.

— Слушаю, ваше высокоблагородие, — отвечал писарь и уже отставил было ногу, чтоб повернуться налево кругом, когда весьма естественный вопрос: «для кого?» перевернул его обратно.

— На чье имя прикажете писать, ваше высокоблагородие?

— Разумеется, на мое. Что ж ты вытаращил глаза, как мерзлая щука? Напиши в просьбе самые уважительные пункты: раздел наследства или смерть какого-нибудь родственника — хоть свадьбу, хоть еще что-нибудь глупее этого... Мне непременно надо быть в Петербурге. Командование полком можно сдать старшему по мне. Скажи ординарцу, чтоб был готов везти пакеты в штаб-квартиру,

¹ это счастье, по-видимому! (фр.)

а сам, чуть свет, принеси их ко мне для подписки. Ступай.

Кто разгадает сердце человеческое? кто изучит его воздушные перемены? Гремин, тот самый Гремин, который за час перед этим был бы огорчен как нельзя более отказом Стрелинского на чудный вызов свой,— теперь едва не в отчаянии от того, что друг согласился на его просьбу. Придавая возможность и существенность воздушным своим замкам, он как будто забыл, что есть на свете другие люди, кроме их троих, и что судьба очень мало заботится, согласны ли ее приговоры с нашими замыслами.

«Стрелинский проведет недели две в Москве,— думал он,— и я скорее его прикачу в Петербург. Статься может, я уж встречу его счастливецem; и свадебный билет разрешит друга от излишней обязанности... Как мила, как богата графиня!!.» В этих утешительных мыслях заснул наш подполковник, и зимнее солнце осветило ординарца его уже на подороже к бригадному командиру с просьбою об увольнении в отпуск.

II

If I have any fault — it is digression.
*Byron*¹

Святки больше всех других праздников сохранили на себе печать старины даже и в Финской Пальмире нашей — в Петербурге. Один из друзей наших въезжал в него сквозь московскую заставу в самый рождественский сочельник; и когда ему представилась пестрая, живая панорама столичной деятельности,— в его памяти обновились все радостные и забавные воспоминания детства. Между тем как дымящаяся тройка шагом пробиралась между тысячами возов и пешеходов, а ухарский извозчик, заломив шапку набекрень, стоя возглашал: «пади, пади!» на обе стороны, он с улыбкою перебирал все степени различных возрастов, сословий и образованности, по мере того как они развивались перед его глазами. Вещественные образы пробуждали в душе его давно забытые обычаи, давно протывшие знакомства и множество приключений буйной своей молодости в разных кругах общества.

¹ Но я грешу обильем отступлений. *Байрон* (англ.).

В самом деле, какое разнообразие забот в различных этажах домов, в отдельных частях города, во всех классах народа. Сенная площадь, думал гусар наш, проезжая через нее, в этот день наиболее достойна внимания наблюдательной кисти Гогарта, заключаая в себе все съестные припасы, долженствующие исчезнуть завтра и на камчатных скатертях вельможи, и на обнаженном столе простолюдина — покупщиков их. Воздух, земля и вода сносят сюда несчетные жертвы праздничной плотоядности человека. Огромные замороженные стерляди, белуги и осетры, растянувшись на розвальнях, кажется, зевают от скуки в чуждой им стихии и в непривычном обществе. Ощипанные гуси, забыв капиталовскую гордость, словно выглядывают из возов, ожидая покупателя, чтобы у него погреться на вертеле. Рябчики и тетерева с зеленеющими елками в носиках тысячами слетелись из олонецких и новгородских лесов, чтобы отведать столичного гостеприимства, и уже указательный перст гастронома назначает им почетное место на столе своем.

Целые племена свиней всех поколений, на всех четырех ногах и с загнутыми хвостиками, впервые послушные дисциплине, стройными рядами ждут ключниц и дворецких, чтобы у них на запятках совершить смиренный визит на поварню, и, кажется, с гордостью любясь своею белизною, говорят вам: «я разительный пример усовершенности природы; быв до смерти упреком неопрятности, становлюсь теперь эмблемою вкуса и чистоты, заслуживаю лавры на свои окорока, сохраняю платье вашим модникам и зубы вашим красавицам!»

Угол, где продают живность, ею сильнее манит взор объедал — но это на счет ушей всех прохожих. Здесь простосердечный баран — это четвероногая идиаллия — выражает жалобным блеяньем тоску по родине. Там визжит угнетенная невинность или поросенок в мешке. Далее эгоисты телята, помня только пословицу, что своя кожа к телу ближе, не внимают голосу общей пользы и мычат, оплакивая скорую разлуку с пестрою своею одеждою, которая достанется или на солдатские ранцы, или, что еще горше, на переплеты глупых книг. Вблизи беспечные курицы разных наций: и хохлатые цесарки, и пегие турчаночки, и раскормленные землячки наши, точь-в-точь словоохотные кумушки, кудахтают, не предвидя беды над головою, критикуют свет, который видят они сквозь щелочки своей корзины, и, кажется, подтрунивают над соседом, индейским петухом,

который, поджимая лапки от холоду, громко ропщет на хозяина, что он вывез его в публику без теплых сапогов.

Словом, какое обширное поле для благонамеренного писателя басен! сколько предметов для самой басни, где поросенок нередко учит нравственности, курица домоводству, лисица политике, или какой-нибудь крот читает диссертацию о добре и зле не хуже доктора философии! Да и одному ли писателю апологов легко подобрать здесь перья? Проницательный взор какого-нибудь пустынного Галерной гавани, или Коломны, или Пряжильной улицы мог бы собрать здесь сотни портретов для замысловатых статей под заглавием «Нравы» как нельзя лучше. Он бы сейчас угадал в толпе покупателей и приказного с собольим воротником, покупающего на взяточный рубль гусиные потроха; и безместного бедняка в шинели, подбитой воздухом и надеждой, когда он, со вздохом лаская правой рукою утку, сжимает в кармане левою последнюю пятирублевую ассигнацию, словно боясь, чтоб она не выпорхнула, как воробей; и дворецкого знатного барина, торгующего небрежно целый воз дичины; и содержателя стола какого-то казенного заведения, который ведет безграмотных продавцов в лавочку расписываться в его книгу в двойной цене за припасы; и артиста французской кухни, раздувающего перья каплуна с важным видом знатока; и русского набожного повара, который с умиленным сердцем, но с красным носом поглядывает на небо, ожидая звезды для обеда; и расчетливую немку в китайчатом капоте, которая ластится к четверти телятины; и повариху-чухонку, покупающую картофель у земляков своих; и, наконец, подле толстого купца, уговаривающего простака крестьянина «знать совесть», — сухощавую жительницу иного мира — Петербургской стороны, которая заложила свои янтари, чтоб купить цикорию, сахарцу, кофейку и воложских орехов, выглядывающих из узелка в небольших свертках. Площадь кипит. Слитный говор слышится издалека, сквозь который только порой можно отличить слова: «Барин, барин, ко мне! у меня лучше, у меня дешевле, для почину, для вас!» и тому подобное.

В улицах толкотня, на тротуарах возня по разбитому в песок снегу; сани снуют взад и вперед — это праздник смурых извозчиков, так характеристически названных Ваньками, на которых везут, тащат и волокут тогда все съестное. Все трубы дымятся и окрашивают мраком туманы, висящие над Петрополем. Отовсюду на вас пылят

и брызжут. Парикмахерские ученики бегают, как угорелые, со щипцами и ножницами. На голоса разносчиков являются и исчезают в форточках головы немочек в папильотках. Ремесленники спешат дошивать заказное, между тем как их мастера сводят счеты, из коих едва ли двадцатый будет уплачен. Купцы в лавочках и в Гостином дворе брякают счетами, выкладывая годовые барыши. Невский проспект словно горит. Кареты и сани мчатся наперегонку, встречаются, путаются, ломают, давят. Гвардейские офицеры скачут покупать новомодные эполеты, шляпы, аксельбанты, примеривать мундиры и заказывать к новому году визитные карточки — эти печатные свидетельства, что посетитель радехонек, не застав вас дсма. Фрачные, которых военная каста называет обыкновенно «рябчиками», покупают галстуки, модные кольца, часовые цепочки и духи, — любят свои ножками в чулках à jour¹, и повторяют прыжки французских кадрилей. У дам свои заботы — и заботы важнейшие, которым, кажется, посвящено бытие их. Портные, швеи, золотошвейки, модные лавки, английские магазины все заняты — ко всем надобно заехать. Там шьется платье для бала; там вышивается золотом другое для представления ко двору; там заказана прелестная гирлянда с цветами из «Потерянного рая»; там, говорят, привезли новые перчатки с застежками; там надо купить модные серьги или браслеты, переделать фермуар или диадему, выбрать к лицу парижских лент и перепробовать все восточные духи.

У немцев, составляющих едва ли не треть петербургского населения, канун Рождества есть детский праздник. На столе в углу залы возвышается деревцо, покрытое покрывалом Изиды. Дети с любопытством заглядывают туда, и уже сердце их приучается биться надеждой и опасением. Наконец наступает вожделенный час вечера. Все семейство собирается вместе. Глава оног торжественно срывает покрывало, и глазам восхищенных детей предстает *Weihnachtsbaum*² в полном величии; увенчано лентами, увешано игрушками, красивыми безделками и нравоучительными билетиками для резвых и ленивых, — каждая вещь с надписью кому, и каждому по заслугам. Этот *Pour le mérite*³ радует больше и невиннее, чем все награ-

¹ ажур (фр.).

² рождественское дерево (нем.).

³ За заслуги (фр.).

ды честолюбия в позднейших возрастах. Вечно люди осуждены гоняться за игрушками; одно детство счастливо ими без раскаяния.

Наконец день Рождества Христова светает в тумане, и вы волею и неволею пробуждены крикливым пением школьников, которые, как волхвы, путешествуют с огромною звездой из картона, с разноцветною фольгою, прорезью, подвесками и свечами. Колокола звонят, и после обедни священники со всем причетом объезжают приход для христославства. Обед сего дня есть семейное собрание, и горе тому племяннику, который осмелится не приехать поцеловать ручку у тетушки и отведать гуся на ее столе. Со второго дня начинаются настоящие святки, то есть колядованья, гаданья, литье воску и олова в воду — где красавицы мнят видеть или венец, или гроб, то сани, то цветы с серебряными листьями, — наконец, подблюдные песни, беганье за ворота и все старинные обряды язычества. Но, увы! — подблюдные песни остались у одних только купцов, расспросы прохожих об имени и слушанье под окнами — у одних мещан. Средний круг дворянства в столице оставил у себя только фанты — заведение не во все русское, но весьма приятное, — но хорошее, лучшее общество ограничилось одними балами, как будто человек создан для башмаков. Оно отказалось даже от *jeux d'esprit*¹, быть веселым и умным кажется нам слишком обыкновенно — слишком простонародно.

— Помилуйте, господин сочинитель! — слышу я восклицание многих моих читателей, — вы написали целую главу о Сытном рынке, которая скорее возбудить может аппетит к еде, чем любопытство к чтению.

— В обоих случаях вы не в проигрыше, милостивые государи.

— Но скажите, по крайней мере, кто из двух наших гусарских друзей, Гремин или Стрелинский, приехал в столицу?

— Это вы не иначе узнаете, как прочитав две или три главы, милостивые государи!

— Признаюсь, странный способ заставить читать себя.

— У каждого барона своя фантазия, у каждого писателя свой рассказ. Впрочем, если вас так мучит любопытство, — пошлите кого-нибудь в комендантскую канцелярию заглянуть в список приезжающих.

¹ остроумных игр (фр.).

III

Вы клятву дали? Эта клятва
Лишь перелетным ветрам жатва.

В числе самых блистательных балов того года был данный князем О*** три дни после Рождества. Кареты, сверкая гранеными фонарями, как метеоры, влекомые четверками, неслись к освещенному подъезду, на котором несчастный швейцар, в павлиньем своем уборе, попрыгивал с ноги на ногу от русского мороза. Дамы выпархивали из карет и, сбросив перед зеркалом аванзалы черные обертки свои, являлись подобны майским бабочкам, блистаючи цветами радуги и блесками злата. Скользя, будто воздушные явления, по зеркальному паркету вслед за разряженными своими матушками и тетушками, как мило отвечали девицы легким склонением головы на вежливые поклоны знакомых кавалеров и улыбкою — на значительные взоры своих приятельниц, между тем как на них наведены все лорнеты, все уста заняты их анализом, но, может быть, ни одно сердце не бьется истинною к ним привязанностию.

Все действия и явления, на которые обыкновенно делится классический бал высшего общества, приходили и проходили своей чередою. Строгие взоры матушек, выученная любезность дочерей, самоуверенное пустословие щеголей во фраках и мундирах. Теснота в зале танцев, и не от танцующих, но от зрителей, — безмолвие в комнате шахматов, ропот за столами виста и экарте, за коими прошедшее столетие в лицах проигрывало важность свою, а нынешнее свою веселость; ловля выгодных женихов и невест везде — вот что занимало три четверти общества, между тем как остальные были жертвою тайной зевоты, — «неутолимой никаким сном», как говорит Байрон. Забавнее всего было созерцать и следить охотников за браками (marriage-hunters) обоих полов. Рассеянно, небрежно, будто из милости подавая руку молодому офицеру, княжна NN прогуливалась в польском, едва слушая краем уха комплименты новичка; зато как быстро расцветало улыбкою лицо ее, когда подходил к ней адъютант с магическою буквою на эполетах; как приветливо протягивала она ему руку свою, будто говоря: «она ваша», поправляя другой длинные свои локоны и длинные свои перчатки, и доселе безмолвные уста ее изливали поток любезностей, подобно Самсонову фонтану в Петергофе, который брызжет только для важных посетителей. Вот и заботливая физиономия Полины У***:

она, кажется, только что покинула грифель, но не бросила своей выкладки вероятностей о производстве в чин того и того, ни оценки знатности родства и силы протекции того и того-то, ибо протекция в нашем веке стоит наследства. Взор ее не замечает ничего, кроме густых эполетов, кроме звезд, которые блещут ей созвездием брака, и дипломатических бакенбард, в которых фортуна свила себе гнездышко. У мужчин, имеющих за собой породу, или богатство, или чины, или перед собой виды и надежды,— те же затеи, подобные же выборы. По виду их скорее заключить можно, что они в биржевой, а не в бальной зале. «Эта девушка прелестна,— думает один,— но отец ее молод, бог знает, сколько проживет он лет и денег. Эта умна и образованна, дядя ее на важном месте, но, говорят, он колеблется,— тут надобно подумать, то есть подождать. Вот эта, правда, не очень красива и очень недалеко, зато как одушевлена! Чертовски одушевлена тремя тысячами душ, из которых ни одна не тает в ломбарде или двадцатилетнем банке, как большая часть наших приданых. Я невольник ее!» И вот наш искатель, подсев сперва к матушке ее, со вниманием слушает вздоры,— старая, но всегда удачная дипломатика; потом рассыпается в приветствиях дочери, танцуя, делает влюбленные глазки и облизывается, считая в мыслях ее червонцы.

Бал уже склонялся к концу, и многие из корифеев моды, зевая в гостиной на просторе, клялись, что он чрезвычайно весел, как вдруг шум и восклицания: маски, маски! привлек всех беглецов в залу танцев. В самом деле, два блестящих кадрили, один в испанском, другой в венгерском костюмах, заслуживали внимание равно по богатству, по вкусу уборов и по стройности замаскированных. Обегав кругом залу, каждый из них бросил по загадке знакомым и незнакомым, возбуждая следом спор уверяющих, что это он или он. Хозяин, радуясь, что случай дал разнообразие его балу, пригласил замаскированных к танцам. Мазурка загремела, и венгерцы, попросив четырех дам сделать им честь украсить кадрили их, выиграли одобрение ото всех окружающих ловкостью и развязностью движений, новостью и благородством фигур. Наконец послышалась одушевленная, живая музыка французского кадрили, и одна из масок, принадлежавшая, казалось, к толпе тех, которые воображают, что они все сделали для общества, если надели на себя пышный костюм, маска, безмолвно доселе стоявшая у стены, гордо завернувшись в бархатную,

расшитую золотом эпанчу, вдруг сбросила с себя ее на пол и легкой стопой приблизилась к графине Звездич, окруженной вздыхателями.

— Дозволит ли графиня незнакомцу иметь счастье танцевать с нею? — произнес испанец почтительно, прижав к груди барет свой, украшенный перьями и бриллиантами.

— Очень охотно, прекрасная маска, — вставая, отвечала графиня. — Новые знакомства нередко избавляют нас от скуки старых; и в этом отношении я уже вам обязана, — прибавила она, лукаво поглядывая на оставленную группу. — Впрочем, быть может, мы не совсем незнакомы друг другу?

— Я здесь чужестранец, графиня. Да если б и не был им, — все нашелся бы в большом замешательстве, боясь попасть в категорию старого знакомства и не имея дарований оправдать нового.

Алина вздрогнула от звука голоса и какого-то нежно укорительного тона испанца.

— Вы обвиняете меня слишком поспешно, распространяя на всех слова, сказанные шутя, — отвечала она, — но полноте скрытничать; мне кажется, я могу подсказать вам имя ваше, — продолжала она, стараясь заглянуть под полумаску.

— Я не знал, что графиня в тысяче прелестей и добрых качеств имеет дар ясновидения... Я очень сомневаюсь, чтобы мое имя могло быть напечатано на золотом листе месяца; но во всяком случае позволите избавить вас от усталости произносить его, — я называюсь Дон Алонзо де Гверера е Молина е Фуэнтес е Риго е Колибрадос...

— Довольно, слишком довольно имен в наказание моему любопытству, но слишком мало к его удовлетворению. Итак, Дон Алонзо, вы меня знаете?

— Какой смертный может похвалиться, что он знает женщину!

Танцы разлучили их, и им во все время не удалось сказать друг другу ничего, кроме самых обыкновенных вещей. Кадриль восхитил всех. Игроки бросили карты, домино и шахматы; все стеснилось в любопытный круг около танцующих, и отовсюду слышалось: «Ah, qu'ils, sont charmants! Ah, comme c'est beau ça!»¹ Особенно графиня и кавалер ее казались созданными, чтобы возвысить искусство и красоту один другого. Победа осталась за ни-

¹ Ах, как они милы! Ах, как это красиво! (фр.)

ми — они пересияли все сопернические звезды, — и любопытство узнать испанца возросло во всех до высшей степени, но более всех в прелестной графине. Провожая ее на место, посреди ропота зависти, одобрения и приветов, испанец снова просил «осчастливить» его на попури, — и снова получил согласие. Попури и котильон (которые сливаются ныне воедино) — роковые танцы для незнакомых между собою. Я всегда называл их двухчасовую женитьбою, потому что каждая пара испытывает в них все выгоды и невыгоды брачного состояния. Счастлива дама, которой достанется в удел не угрюмый мечтатель, разбирающий в то время последне-прочитанную фразу Окена, и не безумолкный попугай, который на трех языках говорит вам нелепости. Счастлив и кавалер, которому фортуна дарует даму, отражающую все ваше остроумие не одним веером, не одними оледеняющими: «*Où, Monsieur; certainement, Monsieur*»¹. Зато как осторожны дамы в выборе кавалеров на котильон! Все пружины миниатюрной их политики пущены в игру заранее, чтобы заставить себя «ангажировать» тем, кого любят они слушать или хотят заставить слушаться. Слепое счастье, однако же, послужило испанцу; никто за неделю не звал графиню на попури, а толпа окружающих не смела на попытку, боясь отказа перед глазами соперников и воображая, что она давно уже избрала или избрана. Теперь, под громом музыки, под говор соседей, уединен с нею в амбразуре окна, Дон Алонзо мог говорить все, что допускает светская любезность, возвышенная правом маски. Разговор перелетал то мотыльком, то пчелкой от цветка к цветку, от предмета к предмету. Ум неистощим, когда нас понимают; он сыплет искры, ударяясь о другой. Пара наша довольна была друг другом, как нельзя более. Графине порой казалось, что с нею беседовал знакомый и когда-то милый голос. «Это Гремин, — думала она сама с собою, — тут нет никакого сомнения! Что мудреного приехать ему в отпуск». Но вдруг голос этот изменялся, и одна учтивая приветливость следовала, как холодная тень, за выражением ласки. Со всем тем какая-то невольная доверенность овладела графинею, и разговор неприметно переходил в тон более и более сердечный, как вдруг испанец отвел от Алины доселе вперенные на нее взоры и, небрежно бродя ими по зале, с видом модного злословия спросил:

¹ «Да, сударь; конечно, сударь» (фр.).

— Скажите, графиня, неужели это прыгающее тетен-
to mori¹ — князь Пронский? Он так часто меняет свои пок-
рой, прически и мнения, что не мудрено ошибиться! Боже
мой, как он прыгает! он чуть-чуть не запутался в люстре.

— Не дивитесь этому, Дон Алонзо: разве не видим
мы, что и ржавые флюгера скрипят, но вертятся?

— Совершенная правда, графиня. Но флюгера кончают
тем, что от ржавчины делаются постоянны, а князь, ка-
жется, с каждым годом легче и легче, так что в сотый день
своего рождения, можно надеяться, он, как шампанская
пробка, вспрыгнет до потолка. Эта дама в перьях pendant²
князя Пронского, летающая волаком со стороны на сторо-
ну, вдова генерала Кретова, графиня?

Наклонение головы уверило испанца, что он не ошибся.

— Посмотрите ж, пожалуйста, как нежно глядит она
на кавалера своего, гвардейского прапорщика, между тем
как он будто ждет от нее благословения, а не любви. Поз-
вольте еще испытать ваше терпение, графиня: кто этот че-
ловек с прагматическими пуговицами и пергаменным ли-
цом, стоящий в рисовальной позиции?

— Это представитель всех предрассудков века Людо-
вика Четырнадцатого, кавалер посольства Сен-Плюше.
Как истинный эмигрант, он ничему не выучился и ничего
не забыл, — но вечно доволен сам собою, — а это чего-ни-
будь да стоит. Но как вам нравится сосед его, наш любез-
ный соотечественник? Он так влюблен в себя, что беспре-
станно смотрится даже в свои пуговицы, где нет зеркал.

— Он бесценен, графиня. Если б доктора согласились
общеею подпискою воздвигнуть монумент болезням, он мог
бы служить идеалом для статуи бога насморка. Но через
пару далее его, я почти готов парировать, длинная фигура
в белом кирасирском вицмундире — ротмистр фон Даль.
Как похож он на статую командора, который в первый раз
слез с лошади, чтобы звать Дон-Жуана на ужин! Дама
его, если не ошибаюсь, Елена Раисова? Но она напрасно
раздувает опахалом своим внимание в неподвижном ры-
царе... Конгревские ракеты ее остроумия лопаются в пу-
стыне.

— Вы, Дон Алонзо е Фуэнтес е Колибрадос, не более
щадите наш пол, как и своих собратий. Должно полагать,
вы много претерпели от женщин?

¹ помни о смерти (лат.).

² пара (фр.).

— И кажется, срок моего испытания не кончился, прекрасная графиня,— отвечал с чувством испанец, устремляя на нее сверкающие глаза. Графиня, чтобы избежать сего тона, обратила разговор в прежнюю струю.

— Вы сказываетесь новичком, Дон Алонзо, в Петербурге и на бале,— и потому я дивлюсь, что до сих пор не спросили меня о двух героях наших увеселений, о Касторе и Поллуксе каждой мазурки, каждого кадрили. Я разумею о графе Вейсенберге, племяннике австрийского фельдмаршала, и маркизе Фиэри, его друге. Они путешествуют, смотрят свет и показывают себя... неужели вы до сих пор не видели графа Вейсенберга?

— Я ничего не видел, кроме вас!

— Так должны заметить его неотменно. С какими глазами покажетесь вы в свое отечество, не узнав великого человека, научившего нас галопировать! Вот он проходит мимо... молодой человек с усиками в венском фраке... но вы не туда смотрите, Дон Алонзо!

— Ах, тысячу раз прошу прощения, графиня!.. Так это-то милый крокодил, который за каждым *déjeuner dansant*¹ глотает по полдюжине сердец и увлекает за собой остальные манежным галопом? *Mais il n'est pas mal, vraiment*². Жаль только, что он как будто накрахмален с головы до ног или боится измять косточки своего корсета.

— Вслед за ним вертится маркиз Фиэри.

— Прекрасные бакенбарды! Выразительные глаза! и он смотрит ими так уверительно, как будто говорит: «любите меня — или смерть!»

— Многие находят его весьма остроумным.

— О, бесконечно остроумным! Все маркизы имеют патент на остроумие до двенадцатого колена. Я уверен, что с запасом модных галстуков и жилетов он не забыл привезти для здешних дам итальянского чичисбеизма и венской любезности!

— И вы не ошиблись, Алонзо. Он очень занимателен в дамском обществе — и не считает пол наш какою-нибудь варварийскою республикою!

— Кажется, эта стрела летит в Испанию, графиня?

— Конечно, Дон Алонзо, в ваше отечество, в отечество истинного рыцарства, между тем как вы, вместо того чтоб защищать прекрасных,— объявляете им войну злословия.

¹ завтраком с танцами (фр.).

² Но он, право, недурен (фр.).

— Если б все женщины были подобны вам, графиня, я не имел бы причины стать их неприятелем.

— Вы, кажется, хотите лестию выкупить наперед какую-нибудь злость против целого нашего пола. Но я на часах против вас, Дон Алонзо. Compliments врага — опасные переметчики.

— Они выдуманы не для вас, графиня. Самые затейливые вымыслы, касаясь вас, становятся обыкновенными истинами.

— Я не предполагала, что земля ваша так же легко произращает лесть, как апельсины и лимоны!

— На родине моей, в этом саду прекрасных произрастений, я не научился, однако же, прозябать душою, как большая часть людей холодного здешнего климата. Сердце мое на устах, графиня, и потому мудрено ль, что, пораженный достоинствами или красотою, я не могу таить чувства? Вы можете обвинять мои выражения, но искренность — никогда.

— Вашу искренность, Дон Алонзо? Я не имею на нее никакого права, да и можно ли узнать душу, не видав лица, ее зеркала. Человек, который так упорно скрывается под маскою, может сбросить с нею и маскарадные свои качества.

— Признаюсь, графиня, я бы желал, если б мог, с этим костюмом сбросить с сердца воспоминание... более чем воспоминание настоящего. Но позвольте мне хранить маску... может быть, для обета своим товарищам, может быть, в подражание дамам, которые носят воаль, чтобы возбуждать любопытство, не могши изумлять красотою... может быть, для удаления от вас неприятного сюрприза видеть лицо мое.

— Чем более хотите вы таиться, тем вернее узнаю я вас. Но погодите: я женщина, и вы мне дорого заплатите за свое упрямство.

— Верьте, графиня, я уже плачу за него и... — Вихорь вальса умчал графиню на середину, где законы попури заставили ее протанцевать соло в *pastourelle*¹, одной из фигур французских кадрилей.

— Вы мечтаете? — сказала графиня, возвращаясь на место.

— И мечтой моей наяву были — вы. Я любовался вами, прекрасная графиня, когда, склонив очи к земле, будто

¹ пастушке (фр.).

озаря порхающие стопы свои, вы, казалось, готовы были улететь в свою родину — в небо!

— О нет, Дон Алонзо, я бы не хотела так неожиданно покинуть землю; мне бы жаль было оставить родных и добрых моих знакомых. Нет, благодарю покорно!.. Взрыв вашего воображения закинул меня слишком высоко. Вы поэт, Дон Алонзо!

— Не более, как историк, графиня... беспристрастный историк, — возразил испанец, скидывая перчатку с левой руки, потому что в это время танец уже кончился... Невольное «ах!» вырвалось у графини, когда в глаза ей сверкнул перстень испанца. По нем она узнала Гремину. С сильным волнением сжимая руку маски, она произнесла:

— Историк должен помнить, где и от кого получил он перстень с небольшим изумрудом; он должен помнить, как виноват он перед... — Графиня не успела кончить слово, как отъезжающие маски почти увлекли с собою испанца. Он едва мог у ней попросить позволения явиться на другой день для объяснения загадки.

— Я этого требую, — отвечала графиня; и незнакомец исчез, как сон. Котильон и ужин показались ей двумя вечностями. Она была задумчива, рассеянна, — отвечала нет, где надобно было говорить да, и мне очень жаль — вместо я очень рада. «Она хочет нас мистифицировать», — говорили между собою модники. «Она, верно, гадает о суженом!» — подумала горничная Параша, когда графиня, приехав домой, опустила тафтяные цветы свои в серебряный умывальник, а бриллиантовые серьги заперла в огромный картон.

Если б кто-нибудь догадался сказать: «Она влюблена», тот бы, я думаю, ближе всех был к истине.

IV

Для нас, от нас, а, право, жаль,—
Ребра Адамова потомки,
Как светло-радужный хрусталь,
Равно пленительны и ломки.

Лучи холодного солнца давно уже играли по алмазным цветам цельных стекол графини Звездич, но в спальне ее, за тройными завесами, лежал еще таинственный мрак, и бог сна веял тихим крылом своим. Ничего нет сладостнее мечтаний утренних. Первая дань усталости заплачена сна-

чала, и душа постепенно берет верх над внушениями тела, по мере того как сон становится тоньше и тоньше. Очи, обращенные внутрь, будто проясняются; видения светлеют, и сцепление идей, образов, приключений сонных становится явственнее, порядочнее, вероятнее. Память не может вполне схватить сих созданий, не оставляющих по себе ни праха, ни тени,—но эта жизнь сердца... оно еще бьется, оно еще горячо их дыханием, оно свидетель их мгновенного бытия.

Такие мечты лелеяли сон Алины, и хотя в них не было ничего определенного, ничего такого, из чего бы можно было выкроить сновидение для романтической поэмы или исторического романа, зато в них было все, чем любит наслаждаться юное воображение. Начальные грезы ее были, однако, менее цветисты, хотя очень забавны. То около нее кружился чудесный вальс, составленный из эполетов, аксельбантов, султанов, шпор и орденов... вся лавка Петелина танцевала казачка. То, казалось, она подавала пилюли покойнику мужу; то снова погружалась в Баденские воды, будто в поток забвения... и вдруг стены третьей станции вставали около нее с лубочными своими портретами, на которые глядит она, переписывая давно нам знакомое послание. И вот, кажется ей, один портрет мигает ей очами, улыбается, усы шевелятся; он готов выпрыгнуть из рамок, но она сама кидается к нему навстречу... «Это вы, Гремин!» — вскрикивает графиня... Нет, это Блюхер. И снова гремит и мчится котильон, и снова слышатся ноты французского кадрили... какой-то незнакомец, в испанской мантии на гусарском доломане, приближается к ней и... Но перечесть все вздоры, которые мы видим во сне, значило бы бредить наяву, и потому я скажу только, что часы добивали десять, когда колокольчик графини слился с последним их ударом. Параша распахнула внутренние ставни, отдернула занавесы и уже несколько минут стояла у ног кровати с раскинутою шалью, но Алина Александровна изволила еще почивать с открытыми глазами, еще на кругу ее полога мечты проходили, подобно фантазмагорическим теням.

— Он придет,— наконец весело произнесла она, сбрасывая одеяло,— он скоро придет!

— Кто, ваше сиятельство? — простодушно спросила служанка, помогая ей одеваться.

— Кто? — Графиня задумалась... Она чувствовала, что на простой этот вопрос — не могла отвечать утвердительно.

но.— Увидим! — отвечала она со вздохом.— Накажи только швейцару, что если приедет молодой гусарский офицер, которого он до сих пор не видал, то просить его наверх без всяких докладов. Всем другим отказывать. Слышишь ли, Параша?

— Слышу, ваше сиятельство; только не понимаю,— прибавила Параша потихоньку.

И сама графиня худо понимала, что с нею случилось. За чашкой чаю и за туалетом она имела довольно времени обдумать о минувшем и настоящем. Она была в большой нерешимости, как встретить человека, который был так близок ей во дни неопытности, когда всякий прыжок сердца кажется любовью, каждый конфетный девиз — изъяснением, и первое милое личико — любезным предметом; человека, забытого ею так скоро в рассеянии забав и путешествий, и к которому вдруг, в один вечер, привязалось сердце ее вновь, со всем пылом новой страсти, со всей свежестью мечты, доселе ею неизведанными! Странность ли его появления, таинственность ли его поступков, воспоминание ли прежнего или *беспричинная* прихоть,— только графиня чувствовала, что это похоже на любовь. Но всего страннее было — колебание ее между известностью и сомнением о замаскированном испанце. Она звала его Гремин, а думала о ком-то другом; ей нравилось именно то, чего никогда не замечала она в Гремине: ее пленили новость и разнообразие разговоров и познаний маски, так что она едва не желала знать испанца всегда испанцем, чем увидеть в нем Гремина. Она кончила, однако ж, заключением, что свет и опыт удивительно как развертывают молодых людей и что любезность Гремина достигла теперь полного цвету... «Но я должна со всем тем наказать его, как беспечного поклонника и как недоверчивого хитреца. Вы испытаете, князь, что и я недаром прожила три года на белом свете с тех пор, как и мы жили в Аркадии; я буду с вами холодна — и холодна, как мрамор».

— Однако ж который час, Параша?

— Три четверти первого, ваше сиятельство!

— Эти часы ужасно отстают, Параша. На моих уже пятьдесят пять минут первого!

«Ваши часы идут заодно с сердцем, подле которого лежат они: любовь прилипчивая болезнь, ваше сиятельство», — сказал бы я графине, если б я был ее служанкою, но судьба создала меня только покорным слугою прекрасных, и я должен часто молчать, когда мог бы ввернуть словцо очень кстати.

Между тем Параша, окончив свою должность при туалете, вышла; но графиня все вертелась еще перед трюмо в прелестном утреннем платье и, подобно поэту, который точит и гладит стихи свои, чтобы они по легкости казались прямо упавшими с пера,—разбрасывала каштановые кудри по высокому челу с утонченною небрежностью. Крепко забилося сердце ее, услышав скрип колес по морозному снегу и тройное падение подножки у крыльца. В ту же минуту Параша, запыхавшись, вбежала в комнату:

— Приехал, ваше сиятельство!— сказала она.

— Чему же ты обрадовалась,—возразила графиня с притворным равнодушием.— Дай мне платок и скляночку с духами.

Параша безмолвно повиновалась, и графиня принуждена была сама спросить ее, хотя ей очень того не хотелось:

— Разве ты его видела, Параша?— сказала она ласково, набрасывая шаль на локти.

— Мельком, сударыня, а не нагладелась бы на него; уж можно сказать — молодец. Строен, высок и лицом будто красная девушка. Голубые его глаза больше ваших браслетных яхонтов, ваше сиятельство, а светлые кудри и белокурые усы его вьются колечками.

— Светлые кудри, Параша? Ты, верно, ошиблась, у него волосы чернее моих!

— Может статься, и ошиблась, ваше сиятельство: он был тогда в шляпе, и я загляделась на прекрасный султан — так и зыблется до самого воротника.

— А воротник его коричневый, не правда ли, Параша?

— Коричневый, ваше сиятельство... я не видала гвардейских офицеров с такими воротниками,—однако ж он, верно, гвардеец... у него такая прекрасная карета...

— Это он,—произнесла графиня, не слушая ученых замечаний своей горничной, и решительно протекла все комнаты до гостиной. Но когда должно было ступить туда, бодрость ее оставила, и она долго держала за позолоченную ручку дверей, припоминая, какое лицо должно ей принять и что говорить. Наконец дверь распахнулась, и графиня, опустя очи, вошла в гостиную, краснея, подняла их,—и что же? Перед нею стоял белокурый гусарский офицер, но вовсе не князь Гремин. Быстро сменялись розы и лилии на щеках графини,—она неподвижно глядела

на незнакомца... но он, вероятно более приготовленный к подобной встрече, после обычных поклонов, первый прервал молчание:

— Я должен просить у вас прощения, графиня, и за вчерашнюю мистификацию, и за странность настоящего визита. Дон Алонзо осмеливается представить вам гусарского майора Валериана Стрелинского, а Валериан Стрелинский дерзает ходатайствовать за испанского гидальго; хотя с большим сомнением насчет действительности обоих и взаимных порук!

Смушение светской женщины — минута. С любезно-шутливым тоном отвечала она:

— Напрасное сомнение, господин майор: я очарована случаем познакомиться с вами без маски и, конечно, ничего не теряю в вашем превращении.

— Ваши слова для меня оракул, графиня, и позвольте сказать, — на этот раз также двусмысленны. Ничего не теряете, сказали вы, но из чего? из хорошего или дурного обо мне мнения?

Есть люди, умеющие так естественно говорить самые необыкновенные вещи, предлагать самые нескромные вопросы в мире, что в их устах они нисколько не кажутся странными, — и с первой минуты знакомства располагают всякого к подобной же откровенности. Стрелинский принадлежал к их числу.

— Вы слишком требовательны, майор, — отвечала графиня, улыбаясь. — Теперь вы бы могли усумниться в истине моего ответа потому только, что он сказан при первом вашем посещении: я храню это удовольствие для позднейшего знакомства.

— Но как осмелюсь я скучать вам повторением визитов, неуверенный в прощении за первый? Вы желали видеть меня без маски, графиня, будьте же снисходительны к моим самородным странностям. Руку на сердце, и скажите искренно — вы не меня ожидали увидеть в Дон Алонзе?

— Я не ожидала увидеть вас, Стрелинский! Но вы знаете, что не всегда желают, кого ждут...

— И, позвольте докончить речь вашу, — иногда терпят, кого не ждут, — не так ли, графиня?

— Совершенно не так, Стрелинский. Вы злой переводчик добрых мыслей. Я думала, что утро излечит вас от вчерашней неприязни к женщинам, — но теперь вижу, что вы неисправимы!

— Неисправим,— что до искренности, графиня. Я солдат, и вечный, неизменный отзыв мой — истина, во всех случаях жизни; в уединении и в шуме света, при последнем, как и при первом свидании; и я, не обинуясь, скажу вам: я так высоко ценю ваше доброе расположение, что и часовая неизвестность о нем мне будет тягостна.

— Я думаю, Стрелинский, удовольствие, с которым провела я время, танцуя с вами, может служить тому лучшим поручительством.

— Вы так добры, так снисходительны, графиня; со всем тем я не осмеливаюсь завладеть вполне этим комплиментом за минувший вечер.

— Не вполне, майор? — отвечала графиня шутя и как будто не угадывая, на что метил Стрелинский, — неужели же вы уделите из него часть своему испанскому платью? Я уверена, что вчерашний Дон Алонзо и в гусарском мундире будет так же весел и любезен, как прежде, и постарается вновь перенести роскошные цветы Гренады под кладное небо нашего отечества.

— Небо везде небо, графиня, хотя не каждый хочет, не каждый умеет наслаждаться им! и не все цветы орошены благотворною росой...

Он замялся, не зная, какой родительный падеж прибавить сюда, но глаза договорили его мысль лучше слов, и, как казалось, прекрасная графиня вовсе не сердилась на это. Даже если верить достоверным историкам (вы знаете, что и Наполеон не казался героем своему камердинеру, и Клеопатра была не более как женщина в глазах ее наперсницы), — то при слове «небо», которому влюбленный майор дал нежное значение звуком голоса, что-то похожее на вздох вырвалось из груди ее.

Потом разговор склонился на летучие новости, которыми испещрена всегда столичная атмосфера. Потом графиня рассказывала маленькие приключения своих путешествий так мило! Валериан слушал так внимательно! а это великое искусство, особенно с женщинами, — они требуют, чтобы вы внимали им не только слухом, но и глазами, и скорее простят всякую глупость, когда вы им говорите, нежели рассеянность, когда вы их слушаете. Одним словом, между новыми знакомцами царствовала такая гармония, что можно было закладывать сто против одного: амур был настройщиком этого лада. Они шутили, смеялись, спорили, как будто век жили вместе. И между тем очи обоих вели столь сильный перекрестный огонь, что он

не только им, но и сторонним мог казаться потешным. Один мой приятель говаривал, что сердце юноши — лядунка с порохом, сердце женщины — склянка с духами; но, как бы то ни было, и то и другое — вещи легковозгораемые, а потому казалось весьма сомнительным, чтобы они могли уцелеть от пламени. Но женщины и в самом пылу не забывают ни приличий, ни безделиц, лежащих на сердце...

Приданое Евы — любопытство и оскорбленное самолюбие — подстрекали графиню узнать, каким образом могло кольцо, подаренное Гремину, перейти в руки Стрелинского! Она не скрывала от себя, как ни досадно то было, что майор по вчерашним словам угадал ее тайну, если тайной что-нибудь ему было прежде, ибо встречу с собой она не считала случайною, и потому, возвратив улитку разговора на маску его, она слегка похвалила его умение превратить себя из блондина в черноволосого и искусство менять голос по произволу — и пошла прямо к цели.

— Откровенно скажу вам, Стрелинский, — примолвила она, — вы бросили меня в туман загадок и недоумений. Особенно эмалевое кольцо ваше с изумрудом ввело меня в ребяческое заблуждение... мне показалось, оно не вовсе мне незнакомо.

— Кольцо это, — отвечал Стрелинский, как будто пробуждаясь от сна и подавая его графине, — кольцо это сделано было года два тому назад в подражание кольцу одного из друзей моих, только что приехавшего из Петербурга. Я счел его модным; вкус в отделке и форма мне понравились — и услужливые киевские жида тотчас сработали что-то подобное. Все это было делом случая, но теперь кольцо мое получило для меня новую цену, как заветное звено лестного вашего знакомства, графиня.

Между тем лицо графини прояснилось... Рассмотрев кольцо, она уверилась, что оно только издали схоже на подаренное ею некогда и не носило на себе знака давно стертой с ее сердца привязанности. Самолюбие ее было утешено, и она, отдавая кольцо Стрелинскому, очень благосклонно возразила ему:

— Вы напрасно приписываете магнитную силу этой безделке. Не она, а любезность ваша причиной знакомства. Посещая почтенную нашу тетюшку, мы и без этого случая, конечно бы, узнали друг друга. Кроме того, живучи в одном круге, вероятно ль, чтоб мы где-нибудь не встретились? Кстати, о балах. Стрелинский, где вы буде-

те встречать Новый год? Что до меня касается, я отозвана уже за месяц на ежегодный и единственный бал к княгине Бóрис. Вы, кажется, родня им?

— Впервые благодарю богов,—я ее племянник! По крайней мере, я должен верить в это по самым чувствительным доказательствам. Она не упускает ни одного случая пожурить меня, сажает за детский стол, когда за большим тесно, и, по-московски, нередко потчует шипучим медком вместо шампанского.— Но погода прекрасна, графиня, и, конечно, вы оживите Невский бульвар своим присутствием? — прибавил Стрелинский, вставая.

— Я только в надежде скорого возврата лишаю себя удовольствия вашей беседы, Стрелинский! Я всегда вам рада... прошу не принять этого за пустой звук и жаловаться ко мне попросту, без чинов. Каждый вторник добрые приятели и подруги посещают меня, и если вам не будет скучно с нами убить время...

— Скажите лучше, оживить время, графиня... Верьте, что, если б мне должно было покупать минуты вашей беседы целыми годами жизни,—я и тогда счел бы себя счастливым, наслаждаясь, как бабочка, одной весной. Мицкевич говорит, что в мае одно мгновение прелестнее целой недели в осень.

— Не забудьте, что у нас зима! — сказала графиня, улыбаясь, и Стрелинский раскланялся со вздохом.

«Славно сыграно, Валериан!» — могут воскликнуть читатели сходящему с лестницы Стрелинскому,— но сам он, ступив в полярный круг отсутствия от милого предмета, совсем не думал расточать себе подобные похвалы: он чувствовал, что испытание за друга становилось ему постороннею вещию; что теперь влюбленному и, может быть, любимому тяжка была бы холодность графини, мучительна разлука с ней и несносна ее перемена; одним словом, что собственное его благополучие зависело от ее взаимности. «Все это пройдет, все это минет,— говорил он сам себе,— я слишком ветрен для постоянной любви». Но это не проходило. «Стоит только избегать случаев видеть ее дни три, и сердце мое погаснет, как лампада без масла!» — думал он и, чтобы оправдать такую благоразумную решимость, поспешил с повинною головою к княгине Бóрис, чтобы не пропустить бала, где будет прелестная и, разумеется, божественная Алина. Любовь щедра на эпитеты и обоготворения; но пройдет время — и, отступники своих идолов, мы первые готовы сокрушать их и громить прежние наши святилища.

В театре, на балах, на музыкальных вечерах, на танцевальных завтраках, на званых обедах, на прогулках и катаньях, без всякого намерения, бог знает как, Алина встречалась с Валерианом: тут нет еще дива, но странно было то, что они почти все время проводили вместе. Из одной учтивости подходил он к ней сначала; но потом слово за слово, взор за взором — и мечтатель забывал свет и время, и только злоеший крик лакея: «Графини Звездич карета!» — разрушал его упоение и с превыспренних сводил в прохладные сени. Графиня любила театр, — Валериан хорошо знал и мастерски судил его. Графиня в совершенстве владела арфою, — Стрелинский уверял, что он страстный охотник до музыки, что он *dilettante* от султана до шпор, — и потому странно ли, что он так часто являлся в её ложе или садился подле нее в концертах? Все это было из любви к искусствам, не более.

Немного трудней найти было отговорку слишком частой случайности, благодаря которой ему удавалось подавать руку графине при переходе из гостиной в столовую, и тонкий наблюдатель мог бы похвалить его глазомер, — когда он, будто вовсе не замечая, так расчетливо становился в ряд кавалеров, что ему всегда выпадала на долю рука Алины и, стало быть, место подле нее за столом... Нежная улыбка, ласковое словцо и порой легкое давление милой руки бывали наградой его хитрости.

— *L'amour est l'égoïsme à deux*¹, — сказала мадам Сталь, и весьма справедливо. Стрелинскому лестно было получить от графини преимущество над толпою вздыхателей многоречивых и без речей, когда свивались круги мазурки или французских кадрилей; а графине, с своей стороны, казалось приятно иметь кавалером такого отличного танцора, как Стрелинский. В кругу общества и в тиши уединения они нравились друг другу остроумием и оригинальностью; и, наконец, когда оба они заглядывали в будущее, — то, конечно, не могли найти друг для друга лучшей партии. Та и другой с хорошим родством, тот и другая независимы и богаты — случай, удаляющий всякую мысль о корысти: все благоприятствовало обоюдной склонности.

Графиня подружилась с сестрою Стрелинского, Ольгою, дивясь, как до сих пор она не умела оценить всех любезных ее качеств. Валериан удивлялся, с своей сторо-

¹ Любовь — это эгоизм вдвоем (фр.).

ны, тонкости вкуса графини в выборе знакомых — и, подобен блуждающей доселе комете, начал обращаться в кругу их. Нужно ли сказывать, какое солнце покорило его центровлекущей силе своей!

V

Она расцветала, как девственная мечта юности; была чиста и прелестна, как земля в первый день творения.

Старинная эпитафия

В домашней жизни Валериан был едва ли не счастливее, чем в свете. Подле сестры своей Ольги отдыхал он сердцем от остроумия модных умниц и от безумия собственной страсти. Подле нее утихало волнение сомнений, и ревность свивала коршуновы крылья свои. В самом деле, трудно было самому мизогину не полюбить это невинное существо! Воспитанная в Смольном монастыре, она, подобно всем подругам своим, купила неведением безделья общежития спасительное неведение ранних впечатлений порока и безвременного мятежа страстей. Она прелестна была в свете, как образец высокой простоты и детской откровенности. Отрадно было успокоить взор на светлом лице ее, на котором еще ни игра страстей, ни лицемерие приличий не впечатлели следов, не бросили теней. Отрадно было согреть сердце ее веселостью, ибо веселость — цвет невинности. В мутном море светских предрассудков, позолоченной испорченности суетного ничтожества — она возвышалась, как зеленеющий свежий островок, где усталый пловец мог найти покой и доверие. Она не могла понять, для чего бы ей стыдиться слез умиления при рассказе о великодушном поступке или румянца негодования, слыша о низостях людских. Не понимала, почему неучтиво сказать человеку в глаза: «ах, как вы добры!» или: «ах, как вы злы!» — если он того заслуживал; не понимала, почему ей неприлично сесть подле умного молодого человека; с которым приятно разговаривать, и почему она обязана слушать нелепости пожилого, потому только, что он со звездой. Она нередко смешила вас самыми странными вопросами, но чаще приводила в смущение самыми пронизательными. То забавляла незнанием самых обыкновенных вещей, то изумляла новостью мыслей, глу-

биною чувств и неколебимостию воли на все прекрасное. Не говорю о прелестях, коими одарила ее природа, не говорю о совершенствах, данных образованием. Она горячо и нежно любила брата, который остался ей единственным другом, единственным покровителем на земле. Веселить, радовать, предупреждать малейшее его желание было сладчайшею заботою Ольги. Она играла для него на пьяно; пела любимые его песни, порхала перед ним, как ласточка,— и рассказывала анекдоты своей монастырской жизни; как, например, однажды целый класс перепадал в обморок оттого, что одной показалось, будто она увидела ужасного зверя — мышь! Как они целые три ночи не спали от страху от какой-то птицы, которая «половину была кошка, а половину не знаю чего», ухала и сверкала глазами под окошком. Валериан смеялся от чистого сердца, между тем как сестра не вовсе понимала, что так смешного было в ее рассказах. «Впрочем,— прибавляла она, извиняясь,— я была тогда такая *кофейная!*»

Чтобы вполне понять эту фразу, надобно знать, что в Смольном монастыре три возраста воспитанниц отличаются тремя цветами платьев: кофейным, голубым и белым, из коих первый присвоен самому младшему, и потому между двумя старшими возрастами название кофейной служит как бы упреком в простоте.

— Дай бог,— возразил тогда Валериан, лаская ее,— чтобы ты всегда осталась кофейною сердцем.

Однажды вечером Ольга фантазировала на фортепьяно, между тем как брат, задумавшись, слушал ее, облокотясь о ручку кресел,—и вдруг она вспрыгнула весело, схватила Валериана за руку и, быстро глядя ему в глаза, сказала:

— Не правда ли, братец, ты женишься на графине Звездич?

Полуизумлен, полусмущен словами сестры, в которых заключались и неожиданный вопрос и вместе нежная просьба, он долго, долго смотрел на нее, может быть разгадывая ее мысли, может быть собирая свои,— и, наконец, отвечал с улыбкою:

— Какой ветер наваял тебе, милая, такую странную мысль?

— Странную мысль, братец? Напротив, мне кажется, самую естественную. Если бог не судил вам родиться братом и сестрою, чтобы делить горе и веселье, то, я думаю, к этому нет другого пути, кроме женитьбы. Как

могли бы иначе соединиться два сердца, которые любят друг друга?

— Но кто тебе сказал, что мы любим друг друга?

— Ах, какой ты лицемер, братец! и перед кем же? Перед сестрою своею! Разве я не люблю тебя? Разве родные не друзья, дарованные небом? Да и почему тебе скрывать свою привязанность к особе, достойной любви!

— Мир, мир, моя проникательная сестрица; положим, в угоду тебе, что я влюблен в Алину. Но теперь вопрос: любим ли я взаимно?

— В этом я порукой, mon frère: ¹ графиня любит тебя, как я сама.

— Я не думаю, чтобы она избрала сестру мою наперсницей своих тайн!

— О нет, братец; прямо она не говорила мне о том ни слова; но она так часто говорит о тебе, так охотно встречается с тобою, что склонность ее только тебе может казаться тайною. Я мало знаю свет; людей еще менее; но есть вещи, которые угадываю я собственными чувствами.

— Ты просвещеннее, нежели я думал, любезная Ольга.

— Просвещеннее! это похоже на упрек, братец; вот каковы мужчины! Вы преследуете нас за наше неведение и еще больше гневаетесь за наше познание. Ты несправедлив оттого, что тебе досадно, как могла неопытная монастырка проникнуть в таинства своего скрытного братца. В самом деле, как уметь и как сметь отличить любовь от ненависти! Нет, mon frère, я скорей имею право сердиться за твою недоверчивость и за то, что ты воображал меня такою простенькою!

— Я точно виноват, я в самом деле несправедлив против тебя, моя милая, добрая Ольга,—сказал с нежностью Валериан, поцеловав ее в чело.— С этих пор между нами нет тайн.

— Это напрасно, Валериан. Я не хочу того знать, что мне знать бесполезно; но может ли быть чуждо душе моей все, что касается до твоего счастья? Признаюсь тебе в моем ребячестве — я уже не раз строила воздушные замки, соединяя тебя в мечтах с графинею. Как весело,—как радостно тогда будет нам!.. Мы поедем жить в деревню, по которой я так давно вздыхаю во сне и наяву. Мы будем всегда вместе — счастливы тем, что мы вместе, вдалеке от

¹ мой брат (фр.).

докучливых гостей. Невидимо полетит для нас время, летом с природой, зимой с дружеством, всегда с любовью. Мы будем гулять, кататься в лодке, ездить верхом — я надеюсь, ты мне позволишь это, братец, ты купишь для меня хорошенькую лошадь, — не правда ли? Вечеру мы за чайным столиком шутим, смеемся, потом поем, танцуем. Читаем Вальтер-Скотта; иногда и рассуждаем очень серьезно, — ведь нельзя век толковать о безделицах. Иногда к нам будут приезжать соседи-антики и добрые наши знакомые — верно, и князь Гремин не забудет прежних друзей своих?

— А тебе нравится князь Гремин, Ольга? — спросил Валериан, более для избежания решительного ответа, нежели для удовлетворения любопытства.

— Я очень люблю его, братец, и от самого малолетства. Ты так часто ездил с ним в монастырь — он называл меня *ma cousine*¹ и так охотно слушал мое болтанье, что я только перед ним и тобою не краснела говорить. Бывало, я нетерпеливо жду, когда вы приедете; а бывало, и праздник не в праздник, когда вас нету. Я крепко плакала по вас обоих по переводе вашем из Петербурга... признаюсь тебе, братец, в моем ребячестве — я еще до сих пор берегу на память прекрасное куриное перо, выроненное из султана князя.

— Султаны, душенька, делаются из петушьих перьев.

— Как будто это не все равно, *mon frère*? Разве петух не брат курицы?

— Так, но не совсем так. Например: ты мне сестра, а не смешно ли б было, если б кто-нибудь, принимая одну за другого, сказал, что у Ольги прекрасные усы? Однако что далее?

— Чем далее, тем ближе к моему ребячеству. Ты, я думаю, помнишь, братец, с какой снисходительностию расспрашивал князь о моих уроках, о моих занятиях; как ясно поправлял мои заблуждения и, шутя, развивал мои мысли, учил доброму, и так просто, так понятно! Я боялась ошибиться перед ним больше, чем перед своими учителями, — зато мне было так весело, когда он хвалил меня! Больше всего я любила слушать исторические его анекдоты, — он очень мило их рассказывал. Я плакала, слушая о бедствиях Марии Стюарт! Я привыкла ненавидеть коварную Елисавету, хоть ее и называют доброю

¹ моя кузина (фр.).

и премудрою. Я научилась любить Генриха Четвертого, отца и друга своих подданных, за то, что, будучи добрым царем, он не разучился быть добрым человеком. Князь заставил меня восхищаться гением нашего великого Петра, скромного в счастье, неколебимого в беде — и всего более под Прутом, когда он пишет указ сенату не слушать его впредь, если он, принужденный турками, повелит что-нибудь недостойное себя или России. Где найдем мы пример чистейшего самоотвержения, высшей любви к отечеству!! Ах, братец, я очень люблю князя!

— В самом деле, Ольга? — сказал Стрелинский и погружился в думы, равно об Ольгином, как и своем будущем. «Не будь этого проклятого письма от Репетилова к Греминѹ, — думал он, — и мы оба могли быть счастливы: я с Алиной, он с Ольгою. Ни мне нельзя желать лучшего зятя, ни ему лучшей жены. Одна только кротость Ольги может умерить вспыльчивость его характера; только с нею нашел бы он покой, о котором напрасно мечтает: светская женщина — вечно будет ему виной сомнений и ревности. Теперь совсем иное дело. Я не опасаясь прежней привязанности Гремина — но его всегдашнего упрямства. Он готов уверить меня и уверить себя, что влюблен до безумия... вот уже два раза я писал к нему, — и нет ответа: это что-нибудь да значит! Но как бы то ни было — я не уступлю Алины другому, даже другу, ни за какие блага, ни от каких бед в мире! Любит или притворяется она, что любит меня, но должна быть моею, несмотря ни на что минувшее, ни на что будущее. Я решился».

VI

Так, я мечтатель, я дитя,
Мой замок карты — но не вы ли
Его построили, шутя,
И, насмехаясь, разорили!

В книге любви всего милей страница *ошибок*; но всему своя пора. Теперь Алина была уже не та шестнадцатилетняя, неопытная женщина, увлеченная потоком примеров и обольстительною логикою обожателей, которая, обрадована первой связью, как новою игрушкой, и воображая себя героинею романа, писала страстные письма к князю Гремину. С тех пор, однако ж, только в этом могла она упрекать себя, только над этим мог подшучивать Стрелин-

ский, хотя он, движимый ревностью, исшарил землю и воздух, желая узнать что-нибудь похожего на любовь в целой жизни графини. Строгость настоящего ее поведения была примерна в отношении ко всей молодежи, которая вилась около нее. Едва кто-нибудь из них переступал границу шутки, едва произносил одну влюбленную ноту, не только слово,—мыльный дождь нравоучения и град насмешек разражались над головой селадона. Привыкнув за границею обходиться непринужденно с мужчинами, она никогда не позволяла их вольности превращаться в своеволие, и между тем как ее красота и любезность привлекали всех, ее осторожность держала всех в почтительном отдалении. Стрелинский, правда, составлял исключение, но и он уже не раз испытал на себе, что природа и светская любовь не делают скачков; а потому, как ни уверен был, что его любят взаимно, но роковое слово «люблю!» двадцать раз замирало на устах его прежде, чем он его выговорил, как будто с ним он должен был рассыпаться, как клад от аминя. И графиня тоже, как и всякая женщина, казалась испугана этим словом — «люблю вас», как выстрелом, как будто каждая в нем буква составлена из гремучего серебра! И как ни приготовлена была она к объяснению, как ни уверена была, что это должно случиться рано или поздно,—но вся кровь ее сердца вспыхнула в лице, когда Стрелинский, уловив гибкую минуту, с трепетом открыл любовь свою... Оставляю читателям дорисовать и угадать продолжение этой сцены. Я думаю, каждый со вздохом или с улыбкою может припомнить и поместить в нее отрывки из подобных сцен своей юности — и каждый ошибется не много.

Прелестны первые волнения и восторги страсти, когда неизвестность воздвигает частые бури сердца, но еще сладостней покой и доверенность открытой взаимности. Тогда в любви находим мы все радости, все утешения дружбы самой нежнейшей, самой предупредительной, и если первый месяц брака называют *медовым*, то первый месяц открытой любви по всем правам именовать можно *нектарным*,—это небосклон после грозы: светлый, но без зноя, прохладный без облаков.

Слившись сердцами, графиня и Стрелинский вкушали негу сего лучшего возраста любви, не отнимая уст от чаши. Прямой, откровенный, благородный характер майора только по наружности казался противоречием с утонченным, светским обращением графини. Как скоро взаим-

ное уважение и сердечная теплота растопили оковы приличий, или, лучше сказать, принужденностей, нежная искренность и беззаветное доверие заступили в ней место прежней недоступности и тонкого злословия. Даже робость, несомненный признак истинной любви, заменила самоуверенность. Совет Валериана сделался ей необходим для самых безделок в выборе нарядов; его одобрение на каждый шаг в обществе; его доброе мнение для всех протекавших и настоящих случаев жизни. В один-то из подобных часов излиятий душевных Алина рука с рукою подле Стрелинского, любяясь выразительными его очами, говорила:

— Валериан! свет может осуждать меня за легкомыслие первых лет моего замужества, но твое сердце меня оправдает. В пятнадцать лет меня посадили за столом, подле какого-то старика, которого я запомнила только по чудесной табакерке из какой-то раковины. Вечеру мне очень важно сазали: «Он твой жених; он будет твоим супругом»; но что такое жених, что такое супруг, мне и не подумали объяснить, и я мало заботилась расспрашивать. Мне очень понравилось быть невестою — как дитя, я радовалась конфетам и нарядам и всем безделкам, которые мне дарились; я готова была расцеловать старого графа, когда он подарил мне прелестные золотые часы, потому что в недавно брошенных мною игрушках были только оловянные. Наконец я стала женою, не перестав быть ребенком, не понимая, что такое обязанности супружества, и, признаюсь, потому только заметила перемену состояния, что меня стали величать «вашим сиятельством». Долго не замечала я, что муж мой мне не пара ни по летам, ни по чувствам. Для визитов мне было все равно, с кем ни сидеть в карете, дома же он слишком занят был своими недугами, а я своими забавами и гостями. Однако же в семнадцать лет заговорило и сердце... оно стеснилось неведомою грустию, желало чего-то непонятного: это была потребность любить, и я полюбила во всей невинности души. Ты знаешь, кто был предметом этой склонности... и я благодарю провидение, что оно судило мне встретиться с человеком благородным, который не думал, не только не желал употребить во зло мою неопытность. Скорая разлука показала, однако ж, мне, как ошиблась я в своих чувствах. Я приняла за любовь желание нравиться, желание предпочтения от человека, предпочитаемого другими. Тщеславие и охота быть как другие довершили кружение

головы; я уверила себя, что страстно люблю князя Гренина, потому что он казался мне достойным такой любви. Может статься, если бы он поддержал такое расположение перепискою, я бы привыкла к этой мечте, будто к чувству, и верность, которую обожала я, как достойная поклонница сентиментализма, могла бы вовсе переменить судьбу мою. Но он, едва мы расстались, оказался весьма невнимателен,—я была оттого вне себя, называла это холодностью, укоряла в неблагодарности, в измене — и забыла его скорее, чем надеялась. За границую, чаще сама с собою, чаще с людьми образованными,—я почувствовала необходимость чтения и жажду познаний. Хорошие книги и еще лучшие примеры и советы женщин, умевших сочетать светские качества с высокими правилами, убедили меня, что, и не любя мужа, должно любить долг супружества и что величайшее из несчастий есть потеря собственного уважения. Кочевая жизнь не давала мне даже случая к постоянным знакомствам, и сердце мое только во сне видело счастье: в вихре забав, в кругу искателей я осталась свободна. Муж мой умер, и я целый год траура провела в уединении, с немногими подругами, читая в собственном сердце с помощью книг и разгадывая книги по сердцу: это возродило меня. Я постигла тогда умом, что до тех пор заключалось в чувстве; уверилась, что благополучие есть невинность и находится в нас самих. Я не разлюбила ни удовольствий, ни выгод света; по крайней мере, я бы могла теперь лишиться их, если не без сожаления, то без ропота. Возвратясь в Россию, обязанности к родным и обществу не дали мне времени образумиться... Меня засыпали приветствиями и приглашениями, лестью и любезностию,—но я уже предохранена была от этого чаду; я знала, что всякая парижская новинка, хоть на миг, но всегда увлекает внимание публики, а поклонники в несколько вечеров успели наскучить своими переслащенными фразами,—так что я больше чем когда-нибудь почувствовала пустоту сердца. Совершенная бесхарактерность молодых людей наших, «эти образы без лиц», навели на меня неизъяснимую тоску. Я ужаснулась, не найдя русских в России. Простительно еще быть легкомысленным во Франции, где на каждом шагу находишь пищу любопытству, рассеянию, самой лени; где каждая безделка носит на себе печать образованности и даже глупость не лишена остроумия. Но можно представить себе, как несносны слепки парижского мира в России, где можно толковать

только о том, чего у нас нет, и где половина общества не понимает, что сама говорит, а другая, что ей говорят: одна, поторопившись выучить привозное, как попугай; другая, опоздав учиться от застарелых предрассудков. В это время я встретила с тобою — и до сих пор не умею объяснить, какой судьбой я так быстро увлеклась сердцем. Признаюсь, обманутая ростом и голосом, я сначала приняла тебя за Гремина: я сгорала любопытством, желая увериться в своей догадке, — но скоро к нему примешались чувства нежнейшие. Я верила и не верила, что ты Гремин; не столько воспоминание прошлого, как прелесть новости заманивала меня далее и далее. Я должна была сердиться на князя, но вместо того была благосклонна к новому знакомцу. Я должна была быть осторожнее с незнакомым, и доверилась, как старому другу, — одним словом, я не знала, что говорила и делала!.. остальное тебе известно, милый Валериан... и бог тебе судья, если когда-нибудь заставишь меня раскаяться в любви моей!

Валериан был восторжен... ему казалось: гармоническая музыка сфер гремела *туш* его благополучию, и он, с пылкостью юноши целуя оставленную ему руку, хотел, по гусарской привычке, клясться всем, что есть и чего нет на свете, в неизменности любви своей, — но Алина остановила этот порыв достоверности.

— Не клянись, Валериан, — сказала она с нежностью, — клятва почти всегда неразлучна с изменой — я знаю это на опыте. Я больше верю благородству твоих чувств, нежели поруке звуков, волнуемых и уносимых ветром: мы уже не дети.

С обеих сторон делались приготовления к браку, хотя о нем еще не было прямых условий. Валериану, однако же, они были необходимы: он начертил план для будущей жизни, которая вовсе могла не понравиться графине и о которой колебался он открыть ей. Между тем как товарищи и приятели считали его только ветреником, заботливым, как прожить свои доходы, — он втайне делал все пожертвования для улучшения участи крестьян своих, которые, как большая часть господских, достались ему полуразоренными и полуиспорченными в нравственности. Он скоро убедился, что нельзя чужими руками и наемною головою устроить, просветить, обогатить крестьян своих, и решился уехать в деревню, чтобы упрочить благосостояние нескольких тысяч себе подобных, разоренных барским нерадением, хищностью управителей и собственным неве-

жеством. У него не было недостатка ни в деньгах для обзаведений, ни в доброй воле к исполнению, ни в познаниях сельского хозяйства, — приобретению коих посвятил он все досуги свои; недоставало только опытности — но она приходит сама собою; притом первую песенку не стыдно спеть и зардевшись, говорит пословица. Мысль облегчить, усладить свои будущие заботы любовью милой подружки и согласить долг гражданина с семейственным счастьем ласкала Валериана; однако же, несмотря на силу страсти, намерения его были тверды; в важных обстоятельствах жизни он умел владеть собою; но чем непреклоннее была воля его, тем нерешительнее становился он открыть ее Алине. Он чувствовал, какой жертвы требовал; знал, как трудно для молодой, прекрасной и богатой женщины отказать от света; но это будет испытанием ее привязанности, думал он. Если ж нет? — нет. Женщина, которая предпочтет мне светскую жизнь, — не знает и не стоит истинной любви. Скоро представился и случай к объяснению.

Это было на масленице, после катанья с английских гор. Ледяные горы, милостивые государи, есть выдумка, достойная адской политики, назло всем старым родственникам и ревнивым мужьям, которые ворчат и ахают, — но терпят все, покорствуя тиранке-моде. В самом деле, кто бы не удивился, что те же самые недоступные девицы, которые не смеют перейти через большую залу без покровительницы, те же самые дамы, которые отказывают опереться на руку учтивого кавалера, когда садятся они в карету, — весьма вольно прыгают на колени к молодым людям, долженствующим править на полету аршинными их санками вниз горы и по льду раската. Между тем, чтобы сохранить равновесие, надобно порой поддерживать свою прекрасную спутницу — то за стройный стан, то за нежную ручку. Санки летят влево и вправо, воздух свищет... ухаб... сердце замерло, и рука невольно сжимает крепче руку; и матушки дуются, и мужья грызут ногти, и молодежь смеется; но все, отъезжая домой, говорят: «Ah, que c'est amusant»¹, хотя едва ли половина это думает.

Валериан и графиня, конечно, были в сей половине, потому что возвратились с катанья очень довольны — прогулкой и друг другом, и холод, казалось, только возбуждал обоих любовников к особенной нежности. Стрелинский избрал этот час к решительному откровению и, пре-

¹ «Ах, как это забавно!» (фр.)

дуведомив Алину, что так как дело идет о благополучии их обоих на всю жизнь,— то он не хочет прибегать ни к каким околичностям, ни к каким сетям лъстивой логики или цветам красноречия, дабы убедить или увлечь ее, но просто изложит свои намерения и просит только одного: чтоб она беспристрастно обсудила их и откровенно сказала на то ответ свой.

— Во-первых, милая Алина,— сказал он,— я решился оставить службу для исполнения других обязанностей отечеству, которые надеюсь выполнить лучше, прямее и полезнее, нежели обязанности воина в мирное время.

Алина вздохнула и покинула кисточку темляка, которым играла она.

— Но разве ты, друг мой, не можешь служить отечеству по части гражданской или дипломатической?— произнесла она почти просительным голосом.

— Я не довольно приготовлен, чтобы стать полезным как судья; службу в департаментах считаю механическою, а быть дипломатом несовместно ни с моими склонностями, ни с моими правилами. Во-вторых, мы оставим столицу.

Алина молчала.

— В-третьих,— гут Валериан развил перед нею подробный чертеж своих замыслов для устройства имения, для усовершенствования земледелия и заводов, для образования крестьян своих; показал, как благодетелем будет пример его для всего человечества и для окружных помещиков в особенности. Но когда объявил, что все это требует неусыпного и безотлучного надзора, светлое чело Алины подернулось думою, и она опустила руку Валериана.

— И это решительно?— спросила она печально.

— Решительно. Подробности будут зависеть от воли Алины Александровны, но целое остается нерушимым. На краткое время мы будем приезжать в которую-нибудь из столиц, но только на краткое время.

— Мои советы и мнения, следовательно, теперь бесполезны,— сказала Алина, несколько тронутая.

— Но твое согласие необходимо к моему счастью, обожаемая Алина! С тобой каждая минута ознаменована будет для меня новым блаженством, как для всех окружающих нас — добрыми делами. Ты будешь ангелом красоты и доброты для меня и для всего, чем я владею. О! не разрушь рая, мною созданного, которым я так долго ласкал свое сердце... Милая, бесценная Алина, я жду при-

говора. В искреннем ответе твоём моя судьба; могу или нет назвать тебя моею?

— Через три дни ты узнаешь мой решительный ответ, Валериан, только дай мне слово не говорить со мной, не писать ко мне, не искать случаев со мною встретиться во все это время. Я хочу обдумать все на свободе, удаленная от влияния страстей.

— Жестокая женщина! три дни — век для влюбленного!

— Жестокий человек! деревня — вечность для женщины!

С этим словом Алина исчезла.

— Понимаю! — сказал Стрелинский с горькою усмешкою, между тем как холодный пот проступал на его сердце, — и тихими стопами вышел из комнаты графини.

VII

Burleigh

Ihr wart es doch, der hinter meinem
Rücken
Die Königin nach Fotherinaschloß
Zu locken wußtet?

Leister

...Hinter eurem Rücken?
Wann scheuten mein Thaten eure Strin?
Schiller¹

— Подполковник князь Гремин! — провозгласил слуга, возвещая гостя тетке Стрелинского, которая, сидя одна в гостиной, раскладывала grande-patience². Прикажете принять-с?

— Милости просим, — отвечала она, снимая очки и расправляя шаль свою. — Видно, князь недавно в Петербурге? — прибавила она.

Б э р л е й

¹ Не вы ли за спиной моей сумели
Направить королеву в Фотрингей?

Л е й с т е р

...За вашу спиною? Да когда же,
Когда в своих делах я укрывался
От вашего лица?

Шиллер (нем.).

² гранпасьянс, большой пасьянс (фр.).

— Только вчера с дороги-с. Они хотели видеть Валериана Михайловича, однако ж, когда узнали, что вы не выехавши, просили доложиться.— Сказав это, слуга поспешил пригласить приезжего.

Князь Гремин, которого долг службы удержал во фронте вопреки всех его надежд, и просьб, и желаний, должен был вести полк на другие квартиры, на границу Литвы, и он тем скорее помирился с судьбою, что обязанности по делам хозяйства и занятий строя, и новые знакомства в кругу польских дворян давали ему тысячу развлечений и забав. Он бы, вероятно, и вовсе отдумал ехать в отпуск, если бы внезапная смерть одного из дедов в Петербурге не призвала его туда для получения наследства и всех хлопот, с наследствами неразлучных. Пылкий только на день в преследовании замыслов,—внушенных прихотью,— он не слишком дивился молчанию Стрелинского и очень покосен сердцем приехал в столицу. Но когда на него полились новости о близком браке Валериана с графиней Звездич,— он был огушен и раздражен этим водоворотом. Ревность его пробудилась. Мысль, что он в этой связи играл смешную роль Криспина, привела его в бешенство; удача Стрелинского, которую он величал изменою и коварством, вызвала его на месть. В этих враждебных мыслях поскакал он в дом прежнего друга, чтобы излить на него всю желчь своего негодования; так-то злонаправленные страсти и худопонятые правила чести превращают самые благородные существа в кровожадных зверей!

Не застав дома Валериана, князь, однако ж, почел неприличным не засвидетельствовать почтения его тетке, и вот, скрыв досаду свою, как благовоспитанный офицер, пробирался он в гостиную, не брякнув ни саблей, ни шпорами,— но в зале он невольно остановился, увидя и услышав Ольгу, которая, ничего не зная о госте и ничему не внимая вокруг себя, пела следующее, аккомпанируя чистый выразительный голос свой звуками фортепьяно:

Скажите мне: зачем пылают розы
Эфирною душою, по весне,
И мотылька на утренние слезы
Манят, зовут приветливо оне?
Скажите мне?

Скажите мне: не звуки ль поцелуя
Дают свою гармонию волне?
И соловей, пленительно тоскуя,
О чем поет во мгле и тишине?
Скажите мне?

Скажите мне: зачем так сердце бьется
И чудное мне видится во сне?
То грусть по мне холодная прольется,
То я горю в томительном огне;
Скажите мне?

Ольга умолкла; но князь еще слушал, и между тем как персты ее перебегали, фантазируя, по клавишам, его взоры точно так же странствовали по всем чертам певицы. Он едва верил глазам своим. Чтобы это была та самая Ольга, которую он так любил, как дитя, которую покинул, когда она едва становилась девушкой, и которая теперь предстала ему во всем блеске, в полном цвету очаровательных прелестей! Он любовался и стройным станом ее, и аттической формой рук, и высоким челом, на коем колебались гроздья русских кудрей, и яхонтовыми ее очами, в коих сквозь дымку мечтательности — сверкали искры души, вместе гордой и нежной; ее лицом, на коем разлит был тонкий румянец, как юное утро мая, и невинная беспечность с глубокою чувствительностию; брови ее так выразительно подняты были дуною, уста ее так мило сомкнуты улыбкой!.. казалось, она усмехалась девственным мечтам своим — созданиям пробуждающейся любви; казалось, она ловила взорами отдаленное в очарованный круг фантазии, которая, подобно часовой стрелке, пробегает время и пространство, не удаляясь от средоточия своего — сердца... и все было прелестно в ней... и волшебство звуков, проникающих душу, и красноречие безмолвия, пленяющее взор. Это не было уже земное существо для Гремина; это был идеал совершенства. Он тогда только прервал свое созерцательное молчание, когда Ольга, повторяя в задумчивости припев песни, вполголоса произнесла: «Скажите мне?»

— Я могу только то сказать вам, сударыня,— сказал Гремин с чувством,— что вы поете, как ангел.

Ольга вспрянула с криком радостного изумления...

— Ах! Боже мой, это вы, князь Николай! Вообразите себе: я сейчас о вас думала — и вы передо мной, как будто мысль моя перенесла вас в столицу! — Яркий румянец вспыхнул розами на щеках Ольги.

— Вот доказательство, что вы можете творить чудеса, Ольга Михайловна; и вы еще не забыли меня?

— Я не так ветрена, князь Николай, чтобы позабыть своего кузена и наставника.

— Считаю себя счастливым, удостоясь внимания особы, столь полной совершенств!

— Скажите, князь: неужели правда есть игрушка, пригодная только малолетним? Вы сами учили меня всегда говорить истину — а теперь, когда я в состоянии ценить ее, говорите мне комплименты. По крайней мере, я искренно скажу вам, что мне приятно бывало думать о вас, потому что мысль эта неразлучна с воспоминанием самой счастливой поры моей — жизни в монастыре.

— Мне кажется, сударыня, вы бы скорее могли обвинить обманчивый свет, вселивший вам недоверчивость, скорее скромность свою, чем мою правдивость.

— Полноте ссориться, князь Николай, — и еще в первый раз после долгой разлуки. Я рада вам тем более, что вы приехали как нарочно помочь нам развеселить братца: он два дни сам не свой — печален, и сердит, и прихотлив, как никогда в жизни. Но тетушка, верно, ждет вас... пойдете!

Князь был принят как родной. Доброта почтенной тетки Стрелинского и чистосердечная веселость, непринужденное остроумие Ольги очаровали его. Час мелькнул, как минута, и негодование его вовсе было утихло, как вдруг голос усатого слуги — Валериан Михайлович приехал и просит к себе на половину — бросил всю кровь в голову князя; он раскланялся и поспешил к Валериану.

Валериан с распростертыми объятиями встретил Гремина.

— Только тебя не доставало, милый князь, — вскричал он, — чтобы посмеяться удаче наших предприятий и поздравить меня с роковым успехом!

— Я приехал не поздравлять вас, господин Стрелинский, — отвечал Гремин насмешливо-холодно, отступая, чтобы уклониться от объятий. — Я приехал только поблагодарить вас за ревностное участие в моем деле.

— Вы? господин Стрелинский? право, я не понимаю тебя, Гремин!

— Зато я очень хорошо вас понял, слишком хорошо вас узнал, господин майор!

Во всякое другое время Стрелинский никак бы не рассердился на обидную вспыльчивость друга — и, вероятно, шутками укротил и пересилил бы гнев его; но теперь, огорченный сам холодностью графини, колеблем сомне-

ниями, поджигаем ревностью, пошел навстречу неприятностей, решаешь платить насмешкой за насмешку и дерзостью за дерзость.

— От этого-то вы и ошиблись: все, что слишком, — обманчиво. Не угодно ли присесть, ваше сиятельство! Начало вашего приветствия похоже на нравоучение — а я не умею спать стоя.

— Я постараюсь сказать вам такие вещи, господин майор, которые лишат вас надолго охоты ко сну.

— Очень любопытен знать, что бы такое помешало моему сну, когда меня убаюкивает чистая совесть!

— О, вы невинны, как шестинедельный младенец, как церковная ласточка! Напрасно было бы и осуждать человека, у которого совесть или нема, или принуждена молчать.

— Я не беру на свой счет этих речей, князь; мой язык не имеет причин разногласить с совестью именно потому, что она светлее клинка моей сабли. Скажите лучше по-дружески и без обиняков: чем заслужил я такой гнев ваш?

— По-дружески? Мне, право, странно, что вы, разрывая все узы, все обязанности дружества, — опираясь на него, требуете доверия! Впрочем, вы живете ныне в большом свете, где любят давать векселя на имение, которого давно нет.

— Князь! вы огорчаете меня своим неправым обвинением более, чем обидными выражениями. Но будьте хладнокровны и рассмотрите пристальнее, чем виноват я против вас? вспомните, кто предложил мне испытание, кто неотступно требовал моего согласия, кто принудил взяться за эту роковую порученность? Это были вы, князь, вы сами. Я убеждал вас отказаться от подобного предприятия — я вам предсказывал все, что могло случиться — и случилось волею судьбы. Сердцем нельзя владеть по произволу.

— Но должно владеть своими поступками. Так, милостивый государь, я просил, я убеждал, я заставил вас взяться за это дело; но в качестве друга вы бы могли сами рассудить несообразность такой просьбы и поправить мою ошибку, вместо того чтоб ее увеличивать, ловить на нее свои выгоды и употреблять во зло мое доверие; мы всегда худые судьи в собственных делах, но бесстрастный

и беспристрастный взор дружбы долженствовал бы соблюдать мою пользу, а не прихоти.

— Странно, право, что вы делаете для себя монополию из своих правил. Мы худые судьи в своем деле — это чистая правда, и я сам мог увлечься любовью, которую хотел только испытать.

— Вы бы должны были предупредить это или, по крайней мере, удалиться, заметив опасность для самого себя, — но нет, вам угодно было оседлать судьбу для извинения своей двуличности и утешать меня, как зловещая птица, старинною песнею светских друзей: «я говорил тебе: быть худу! я тебе предсказывал! я предупреждал тебя».

— Не забудьте, князь Гремин, что я взялся быть вашим испытателем, но не стряпчим... и не строил себе дороги из развалин вавилонского вашего столба к небу.

— Поздравляю вас, господин Стрелинский, с этим небом, но, признаюсь, ему не завидую. Я уже излечился от охоты искать своего счастья в женщине, которой привязанность изменчива, как цвет хамелеона; и в доказательство — вот как ценю я подарки и поминки ее! — С этим словом он бросил в пыл камина письма и перстень графини.

— Нельзя не похвалить вас за такую решимость, князь; немного ранее она была бы еще больше кстати. Графиня забыла вас так же, как и вы ее, — очень скоро после разлуки. Все это было — детская прихоть.

— Прошу избавить меня, господин майор, равно от ваших похвал и откровений. Мы не Дафнис и Меналк, чтобы вести словесную войну за вопрос, кого она любит или не любит. Только не радуйтесь и вы своим торжеством... женщине, изменившей одному, легко изменить и другому и третьему.

— Будьте скромнее насчет графини, Гремин! Я сносил многое за самого себя, но когда вы дерзаете нападать на доброе имя дамы, — это выходит и выводит из границ самого уступчивого терпения... я не ангел...

— Очень верю, господин Стрелинский. Я так же далек от этой мысли, как вы от этого достоинства... Но угрозы ваши мне забавны, господин майор!

— А мне жалок ваш характер, господин подполковник!

— Нельзя ли узнать, почему вы достаиваете меня своим сожалением?

— Потому, что вы ослеплены пустым тщеславием, оскорбленным самолюбием, бесстрастной ревностью, а быть может, и самую мелочную завистью,— скачете за тысячу верст для того, чтоб огорчить, обидеть, уязвить человека, который до сих пор любил и уважал вас.

— Вы мне доказываете любовь свою даже и этими речами, господин Стрелинский; что же касается до вашего уважения, я только раскаиваюсь, что прежде ценил его, и теперь оно столько ж для меня занимательно, как ветер в Барабинской степи... Прекрасное дружество... почти женится... не написать мне ни строчки... оставить меня в таком неведении, что я узнал о свадьбе вашей от трактирных маркеров!

— Я писал к вам два раза, но, вероятно, переход полка замедлил доставку писем; а что до свадьбы моей, городские слухи опередили правду. Статься может, она никогда не состоится. Я до сих пор не заверен словом в совершенном согласии графини.

— Вы писали! Вы не уверены! Я право, не ожидал, чтобы вы так скоро выучились прибавлять ложь к лицемерию!

— Ложь! — вскричал Стрелинский, задыхаясь от гнева.— Ложь! одна кровь может смыть это слово!

— Почему же и не так! — отвечал князь презрительно, качаясь на стуле.— Любовь и кровь старинная рифма.

— Это решено... это кончено. Однако же не испытывайте меня далее, Гремин; не заставьте насказать вам таких вещей, которые не должны быть произносимы между благородными людьми. Когда мы встретимся?

— И встретимся, конечно, впоследствии — завтра. Кто бы из нас ни лег,— я всегда буду в выигрыше — не дышать одним воздухом с тем, кто заплатил мне за всю дружбу такую...

— Удержитесь, князь! есть слова, за которые не спасут вас ни память прежней приязни, ни кровля гостеприимства.

— Вам очень пристало говорить о приязни, когда вы превратили в желчь о ней воспоминание. А что до прав гостеприимства,—я не вымаливаю у них покровительства: моя сабля мне лучший защитник.

— Бросьте пустое хвастовство, князь Гремин; завтра так завтра. Выстрел — самый остроумный ответ на дерзости.

— А пуля — самая лучшая награда коварству. Завтра вы уверитесь, что я не из той ткани, из которой делаются свадебные подножки, — и не бубновый туз, чтобы в меня целить хладнокровно. Мой секундант не замедлит посетить вас сегодня же.

— Очень рад!

Друзья-недрузи расстались, пылая гневом.

VIII

Я был отважно хладнокровен;
Но, признаюсь, — на утре лет
Не весело покинуть свет,
И сердца бой не очень ровен,
Когда вопросом «Быть иль нет?»
Вам заряжают пистолет.

Ольга не могла сомкнуть глаз в течение целой зимней ночи. Как ни мало извела она свет, — но частые рассказы о поединках уже познакомили ее с этим кровавым предрассудком; а необычайная угрюмость и принужденная шутовская улыбка брата, весть, что он очень круто говорил с князем Гремным наедине, и позднее посещение незнакомого офицера, — возбудили в душе ее все опасения и страхи. Не понимая причины — она видела возможность ссоры между братом и Гремным. Далеко до зари она была уже одета и бродила как тень по тихим и пустым комнатам. Ужасное сомнение волновало грудь ее; она желала и страшилась узнать роковую истину, прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку. Несколько раз на цыпочках прокрадывалась она к братней половине — но там было все мертво и темно. Вдруг конский топот у крыльца привлек все ее внимание — белый султан мелькнул у братней маленькой лестницы — и вешее сердце ее замерло... тяжкое предчувствие оледенило кровь. Она слышала говор в ближней комнате и не смела слушать — она хотела удалить безнадежную известность, но братская любовь преодолела все. Притаив дыхание, взглянула Ольга в замочную скважину: против самых дверей топилась печка и озаряла комнату багровым полусветом своим. Старый слуга Валериана плавил свинец в железном ковше, стоя перед огнем на коленях, и лил пули — дело, которое прерывал он частыми молитвами и крестами. У стола какой-то артиллерийский офицер обрезывал, гладил и примерял

пули к пистолетам. В это время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, кавалерист-гвардеец, вошел и прервал на минуту их занятия.

— Bonjour, capitaine¹,— сказал артиллерист входящему,— все ли у вас готово?

— Я привез с собой две пары; одна Кухенрейтера, другая Лепажа: мы вместе осмотрим их.

— Это наш долг, ротмистр. Пригнали ли вы пули?

— Пули деланы в Париже и, верно, с особенною точностию.

— О, не надейтесь на это, ротмистр. Мне уже случилось однажды попасть впросак от подобной доверчивости. Вторые пули—я и теперь краснею от воспоминания—не дошли до полстола, и, как мы ни бились догнать их до места,—все напрасно. Противники принуждены были стреляться седельными пистолетами—величиной едва не с горный единорог, и хорошо, что один попал другому прямо в лоб, где всякая пуля, и менее горошинки и более вишни,—производит одинаковое действие. Но посудите, какому нареканию подверглись бы мы, если б эта картечь разбила вдребезги руку или ногу?

— Классическая истина!—отвечал кавалерист, улыбаясь.

— У вас полированный порох?

— И самый мелкозернистый.

— Тем хуже: оставьте его дома. Во-первых, для единообразия мы возьмем обыкновенного винтовочного пороха; во-вторых, полированный не всегда быстро вспыхивает, а бывает, что искра и вовсе скользит по нем.

— Как мы сделаемся со шнеллерами?

— Да, да! эти проклятые шнеллеры вечно сбивают мой ум с прицела и не одного доброго человека уложили в долгий ящик. Бедняга Л—ой погиб от шнеллера в глазах моих: у него пистолет выстрелил в землю, и соперник положил его, как рябчика, на барьер. Видел я, как и другой нехотя выстрелил на воздух, когда он мог достать дулом в грудь противника. Не позволить взводить шнеллеров—почти невозможно и всегда бесполезно, потому что не приметное, даже невольное движение пальца может взвести его—и тогда хладнокровный стрелок имеет все

¹ Здравствуйте, капитан (фр.).

выгоды. Позволить же — долго ли потерять выстрел! шельмы эти оружейники: они, кажется, воображают, что пистолеты выдуманы только для стрелецкого клоба!

— Однако ж не лучше ли запретить взвод шнеллеров? Можно предупредить господ, как обращаться с пружиной; а в остальном положиться на честь. Как вы думаете, почтеннейший?

— Я согласен на все, что может облегчить дуэль; будет ли у нас лекарь, господин ротмистр?

— Я вчера посетил двоих — и был взбешен их корыстолюбием... Они начинали предисловием об ответственности — и кончали требованием задатка; я не решился ввернуть участь поединка подобным торгашам.

— В таком случае я берусь привести с собою доктора — величайшего оригинала, но благороднейшего человека в мире. Мне случалось прямо с постели увозить его на поле, и он решался, не колеблясь. «Я очень знаю, господа, — говорил он, навивая бинты на инструмент, — что не могу ни запретить, ни воспрепятствовать вашему безрассудству, — и приемлю охотно ваше приглашение. Я рад купить, хотя и собственным риском, облегчение страждущего человечества!» Но, что удивительнее всего, — он отказался за поездку и лечение от богатого подарка.

— Это делает честь человечеству и медицине. Валериан Михайлович спит еще?

— Он долго писал письма и не более трех часов как уснул. Посоветуйте, сделайте милость, вашему товарищу, чтобы он ничего не ел до поединка. При несчастии пуля может скользнуть и вылететь насквозь, не повредив внутренних, если они сохранят свою упругость; кроме того, и рука натошак вернее. Позаботились ли вы о четвероместной карете? в двухместной — ни помочь раненому, ни положить убитого.

— Я велел нанять карету в дальней части города и выбрать попростее извозчика, чтобы он не догадался и не дал бы знать.

— Вы сделали как нельзя лучше, ротмистр; а то полиция не хуже ворона чует кровь. Теперь об условиях: барьер по-прежнему — на шести шагах?

— На шести. Князь и слышать не хочет о большем расстоянии. Рана только на четном выстреле кончает дуэль, — вспышка и осечка не в число.

— Какие упрямцы! пускай бы за дело дрались — так не жаль и пороху; а то за женскую прихоть и за свои причуды.

— Много ли мы видели поединков за правое дело? А то все за актрис, за карты, за коней или за порцию мороженого.

— Признаться сказать, все эти дуэли, которых причину трудно или стыдно рассказывать, немного делают нам чести. Итак, ровно в полдень и за Выборгскою заставой?

— В полдень и там. Невдалеке от трактира, на второй версте, где мы съедемся, влево от дороги, есть пустой и довольно светлый ток; в нем мы защищены будем от ветра и сверкания солнца. Я надеюсь, однако, что мы, прежде чем сведем их, испытаем все средства к примирению? Смертной обиды между ними не было — и, может, нам удастся кончить дело извинением.

— Я бы готов был целый год принимать заряды вместо того, чтоб жечь их, если б удалось нам это: но, признаюсь, мало имею надежды на успех. Говорить соперникам о мире, когда они приехали на поле, — все равно что давать лекарство мертвецу. Пули твои никуда не годятся, — вскричал нетерпеливо старику-слуге артиллерист, бросив пару их на пол, — они шероховаты и с пузырьками.

— Это от слез, Сергей Петрович! — отвечал слуга, отирая заплаканные глаза. — Я никак не могу удержать их: так и бегут и порой попадают на форму. Да и руки мои дрожат, словно у предателя Иуды. Что скажут добрые люди, когда узнают, что я отлил смертную пулю моему доброму барину, — какой грех ляжет на душу! С каким сердцем встречу барышню Ольгу Михайловну, если бог попустит мне видеть смерть барина! Он один ей вместо отца родного! Ваше высокоблагородие! заставьте за себя молить бога — отведите барина от греха или от беды своей, уговорите, упросите его; мы... все...

Старик не мог продолжать от рыданий... Артиллерист, тронутый сам, старался утешить его.

— Полно, полно, старик! как не стыдно тебе расплакаться, как теленку. Ты сам в четырнадцатом году был в делах с барином — ты знаешь, что не все пули бьют и не все раненные умирают... притом мы постараемся и уладить полюбовно.

Ольга не могла слушать долее; голова ее кружилась, колена изменяли. Ужасные подробности поединка рисовали пред нею кровавыми чертами картину братней кончины...

— Раненого или убитого, — повторила она, упавая в кресла. — Убитого! — Мысли ее помутились... страх ледяною рукой своей сдавил сердце.

Есть минуты, есть часы тоски тяжелой, неизъяснимой... разум тогда, будто пораженный параличом, вдруг прерывает ход свой — но чувство, отравленное полным понятием о величии беды, подобно лавине, рушится на сердце и погребает его в хладе отчаяния немого, но глубокого, бесчувственно-мучительного! Тогда очи не находят слез, уста выражений, — и тем ужаснее тоска, сосредоточенная в груди, тем едче слезы, каменеющие на сердце, которое, как подземная жила, переполненная пылающею серой, рвется сбросить с себя громаду и, готовое расторгнуться, не может сдвинуть груза, его удушающего, не может отрезать палящего вдоха.

Ольга не плакала, ибо не могла плакать, — ничего не слышала, ничему не внимала она. На все приглашения, на все вопросы тетки отвечала она отрицательным движением головы — и не трогалась с места. Наконец, когда ясный уже луч солнца, проникнув туманы, упал на чело ее, она как будто очнулась от болезненного забытья, подобно Мемноновой статуе в пустынях Пальмиры.

— Где братец? — спросила она, вставая.

— Уехал — было ответом, и она снова погрузилась в мрачное онемение, вперив неподвижные очи в окно. По лицу ее то мелькало нетерпенье ожидания, то улыбающие надежды умоливать брата, но всего чаще, всего мрачнее ложилась тень отчаяния, ибо разум уверял ее, что никакие доводы, никакие чувства не могли совратить Валериана с пути, однажды избранного; притом же она очень хорошо постигала, что судьба поединка зависела всего более от обидчика, то есть князя Гремина. «И он, он, которого я считала благороднейшим существом, он, которого любила, которого воображала братом брату, — жаждет теперь крови и смерти. Ах! как злы люди», — думала она.

И между тем часы текли за часами — било одиннадцать, и вся душа Ольги перешла в зрение; как на перст

судьбы, глядела она на тихо переступающую стрелку... еще четверть, еще... и она воскликнула:

— Все погибло! Он не хочет даже проститься с сестрою, — он боится быть тронутым моею горестию... Боже великий, подкрепи меня!

Ольга поверглась ниц перед образом, и решимость осенила свыше теплую мольбу ее.

На второй версте по дороге к Парголову, направо, на холме виден простой русский трактир, выкрашенный желтою краскою; свидетель многих несчастных сцен или веселых примирений зимою. Летом никто из порядочных людей не посещает его, равно за неопрятность, как и потому, что окрестные дачи в это время кипят народом и, следовательно, не могут быть поприщем поединков. Вся трактирная челядь высыпала на крыльцо, завидя две кареты и парные сани, пробивающиеся к ним сквозь сугробы снега, блестящего миллионами звезд на солнышке. Это, как можно было угадать, был поезд вовсе не свадебный, поезд наших дуэлистов. Противников развели по разным комнатам. Артиллерист вызвался ехать вперед — приготовить место и утоптать смертную тропу. Доктор пригласил другого секунданта сыграть партию в бильярд, и вот соперники наши оставлены были сами себе на раздумье.

Валериан был угрюм — но с каким-то удовольствием смотрел на безжизненный снег, покрывающий саваном долину, на траурную зелень елей. Он пламенно и нежно полюбил графиню, и ее холодность, ее легкомыслие — сокрушили все его надежды. Он улыбкою встретил мысль о смерти, — потому что смерть никому не кажется так утешительна, как обманутой или неудачной любви. «Три дни — и нет ответа, — думал он, —...это самый понятный ответ! Ей жаль лучей своего сиятельства; ей приятнее пережевывать светскую скуку в кругу модных обезьян, чем наслаждение жизнью с мужем — человеком; ей лестнее вселять мечты и желания в других, чем мыслить и чувствовать наедине с другом или с собою. Да будет! Благодарю судьбу, что она заранее спасла меня от легкомысленной женщины. В сладком чаду заблуждений, в очаровании страсти, мне бы тяжело было вырваться из объятий счастья. Но теперь я равнодушен к жизни; я презираю свет, в котором любовь — тщеславие, а дружество — при-

хоть. Но ты, Алина! ты виновна более всех! Необыкновенная смертная — ты увлеклась стадом обыкновенных женщин... Ты одна могла создать мое счастье, ты одна могла ценить мою любовь, — и я, неутешен взаимностию, сойду в могилу — и за тебя! Алина, Алина, ты оценишь меня, когда меня потеряешь!» Слезы навернулись на глазах Валериана. Но, право, не знаю, почему ни одна из них не посвящена была сожалению о сестре: таковы все влюбленные; во время своей горячки у них нет ни думы, ни слова, кроме о милой, и, даже умирая, они больше думают о том, как понравятся в гробу своей возлюбленной, нежели о том, как станут плакать о них родные.

Зато, если в одной комнате Ольга была забыта для любви, в другой по той же самой причине она была предметом восклицаний и вздохов. Князь Гремин сидел там мрачнее сентябрьского вечера и очень заунывно барабанил пальцами по столу; но или основная эта гармоника не могла вполне выразить печальных его мыслей, или сам он был непривычный виртуоз на этом инструменте, только фантазия его походила на погребальный марш, достойный похорон kota мышами. Как ни забавно-жалобна была, однако ж, его музыка, его думы были вовсе не забавны. Когда погас первый пыл негодования, он горько раскаивался в своей дерзкой вспыльчивости: совесть громко укоряла его в обиде старого друга, и для чего, для кого? для той, которую уже давно не любил он, для той, которая сама его забыла; не имея другой цели, кроме препятствия в счастье сопернику, из пустого тщеславия. Но всего убедительнее действовала на него логика любезности и красоты Ольги... все силлогизмы его оканчивались и начинались укорительным вопросом: «Что скажет на это сестра Валериана?» Ненависть в жизни, если он убьет противника, или презрение после смерти — за вражду — непременно должны были быть уделом его, а Гремин глубоко чувствовал, как благородный человек и как пламенный мужчина, сколь тяжело было бы ему сносить не только ненависть или презрение, но даже равнодушие Ольги, достойной всякого уважения... «и любви», — приговаривало сердце, «и, может быть, равнодушной к тебе», — шептало самолюбие. Но голос предрассудков звучал, как труба, и заглушал все кроткие, все добрые ощущения.

— Теперь уже поздно раздумывать, — сказал он со вздохом, разрывающим сердце. — Нельзя возвратить сделанного, стыдно переменять решенное. Я не хочу быть

сказкою города и полка, согласясь мириться под пистолетом. Люди охотнее верят трусости, чем благородным внушениям, и хотя бы еще лестнейшие надежды, еще драгоценнейшее бытие лежали в дуле моем, я и тогда послал бы выстрел Стрелинскому!

— Все готово, князь!— сказал секундант его, распахнув двери.— Остается только зарядить пистолеты, и, как водится, мы просим вас при том присутствовать.

Противники вошли с разных сторон, холодно и безмолвно поклонились друг другу, и между тем как Гремин остановился у стола, на котором готовилась роковая трапеза, Стрелинский подошел к доктору, который без милосердия один-одинехонек гонял шары по бильярду. Больно душе видеть людей перед поединком — еще большее быть посредником в оном. Невольно желаешь зла другому, потому что желаешь сохранения своему товарищу, — и это чувство проливает на все церемонную принужденность, между тем как все стараются быть необыкновенно веселыми... соперники, чтоб показать свою смелость, а секунданты, чтоб поддержать ее.

Валериан, знакомясь на переезде с доктором-оригиналом, шутя спросил его, обращаясь к прерванному в карете разговору:

— Не отступаете ли вы, любезный доктор, от чудесной гипотезы своей, что когда-нибудь люди научатся прививать детям хорошие качества, как коровью оспу, и лечить от страстей, как от прилипчивых болезней?

— Для чего мне быть отступником от своих рассуждений, когда вы не хотите покинуть свои предрассуждения? — отвечал доктор и положил красный в лузу.

— Жаль, право, что я не родился позже веками пятью: очень бы любопытно посмотреть, как станут вылечивать от любви шпанскими мушками или от злости — припарками и лигатурами!

— От злости и теперь в простом народе лечат припарками и перевязками так, как в старину от сумасшествия чахоткою, — только едва ли с успехом. Но почему не предположить, что при всеобщем усовершеннии наук нужнейшая из них не выйдет из настоящего дряхлого своего младенчества? Тогда, Валериан Михайлович, мне бы гораздо приятнее было предупредить вашу раздражительность какими-нибудь сладкими пилюлями, нежели вытаскивать свинцовые из ваших костей.

— То-то будет золотой век для медиков!

— Золотой для медицины,—а бессребренный для медиков, которые до сих пор, наравне с крапивным семенем судей, живут на счет глупости или пороков или бедствий человеческих!

— Почтенный доктор,—прервал речь его артиллерист, заряжая вторую пару...—решите спор наш: я говорю, что лучше уменьшить заряд по малости расстояния и для верности выстрела, а господин ротмистр желает усилить его, уверяя, что сквозные раны легче к исцелению,—это статья по вашему департаменту!

— Дайте руку, господин пушкарь в превосходной степени! Мы должны быть друзьями и соседями не только потому, что ваше училище, где научают убивать по правилам, рядом с нашею клиникою, где учат исцелять людей,—но и потому, что природа всегда подле яду помещает противоядие. Вы смеетесь, вы говорите, что эти два зла вместе,— пусть так. Только увеличьте заряд, если нельзя вовсе его уничтожить. На шести шагах самый слабый выстрел пробьет ребры, и так как трудно, а часто и невозможно вынуть пули, то она и впоследствии может повредить благородные части.

— Высокоблагородные части,—сказал, улыбаясь Греммин,—мы оба штаб-офицеры; но шутки в сторону, доктор, откуда почитаете вы всего безопаснее вынимать пулю?

— Из дула,—отвечал доктор очень важно. Все засмеялись.

— Не угодно ли будет, князь, снять эполеты? —сказал один из секундантов, укладывая пистолеты в ящик.—Золото слишком видная цель для противника.

— Вы так строги, любезный посредник мой, что я того и жду приглашения оставить здесь и голову, потому что она еще виднейшая цель...—В это время послышался стук у дверей.

— Боже мой,—воскликнул артиллерист, закрывая плащом оружие,—не дадут и подраться покойно! Кто там?

— Ездовой графини Звездич спрашивает майора Стрелинского,—произнес за порогом маркер, точно таким же голосом, как возвещает он: «двадцать три и ничего!»

Стрелинский одним прыжком был уже в сенях.

— Вас просит видеть какая-то дама,—сказал Гремину трактирный мальчик, вбегая с другой стороны. Князь вышел, пожимая плечами. Но вообразите его изумление, когда стройная незнакомка отбросила вуаль с лица своего,— и в ней он узнал Ольгу со всеми прелестями юности,— в полном вооружении невинности и собственного достоинства.

— Ольга! — воскликнул он, пораженный еще более, чем удивленный.—Ольга, вы, вы здесь?

— И вы причиной тому, князь Гремин,— отвечала Ольга с гордою твердостью.—Если б я и не знала опасностей моего поступка, то одно изумление ваше открыло бы мне все... но я все знаю и на все решилась. Пускай свет назовет меня безрассудною искательницею приключений—пускай стану я сказкою столицы — пусть эта минута бросит вечную тень на остаток моей жизни,— но не должна ли я презреть всем для спасения брата, которого хотите вы погубить! Но я не упрекать вас пришла, князь Гремин, но просить, но убеждать, умолять вас: забудьте кровожадную ссору вашу, открытую мне случаем. Заклинаю вас именем бога, которого забываете, именем человечества и разума, которые попираете вы ногами,— именем прежней дружбы и вечной любви ко всему, что драгоценно для вас в этой жизни и лестно за могилой! Вы искали поединка, и от вас зависит прекратить его. Князь! Примиритесь с Валерианом! спасите меня от горького чувства видеть убийцу в брате или от неутолимого плача по нем. Что станется тогда со мной в этом враждебном свете, без друга, без советника и покровителя! Как мало жила я — и как несчастна, что дожила до ужасной поры, в которую два существа, уважаемые мной больше всего в мире, готовы растерзать друг друга!

Сначала голос Ольги был тверд и выразителен, но когда речь коснулась до братской привязанности... он стал тише и нежнее; дыхание прерывалось, замирало; тоска высоко вздымала грудь; очи ее, отягченные слезами, наконец пролили их в три ручья, и она, рыдая, опустилась на стул. Князь Гремин, энтузиаст всего высокого и благородного, тронутый до глубины души прекрасным самоотвержением Ольги,—стоял в восторге, нем и неподвижен. Он поглощал взорами великодушную примирительницу. Сладостное чувство умиления проникло все его существо — одна искра чистой любви осветила всю его душу... Как молния превращает полюсы компаса, так всемогущие сле-

зы невинности превратили в доброту все семена зла и злобы, в груди таящиеся. Он был уже счастлив, ибо высочайшее счастье есть сознание чужих совершенств, сознание высокого и прекрасного.

Ольга, однако ж, почитая безмолвие князя колебанием или отказом, гордо встала — и произнесла, сверкая взором:

— Но знайте, князь Гремин, если речь правды и природы недоступна душам, воспитанным кровавыми предрассудками, — то вы не иначе достигнете до брата моего, — как сквозь это сердце. Не пожалев славы, — я не пожалею жизни.

— Нет, нет! существо неземное, — воскликнул Гремин, — свою жизнь, хотя бы тысячу раз обновленную, готов теперь пожертвовать я за вас, за Валериана!.. Ольга! ваше великодушие победило меня!

С этим словом он вошел в залу и громко сказал Валериану:

— Господин майор, я прошу у вас извинения в своей горячности — очень сожалею о том, что вчера произошло между нас, и если вы довольны этим объяснением, то сочту большою честью возврат вашей дружбы.

Стрелинский, вовсе не ожидая такой развязки, перечитывал весело какое-то письмо, — очень вежливо, однако ж, очень охотно протянул руку Гремину.

— Тому легко примирение, — сказал он, — кто сам имеет нужду в прощении. — И друзья обнялись снова друзьями.

— Господа секунданты, скажите по совести, не имеем ли мы в чем-нибудь укорять себя как благородные люди и офицеры? — сказал Гремин.

— Никогда и никто не усумнится в вашей храбрости, — отвечал гвардеец, обнимая князя.

— Признаваться в своих ошибках есть высшее мужество, — возразил артиллерист, сжимая руку майора.

— Сделав все для света, я прошу у тебя, любезный Стрелинский, для самого себя пять минут особенного разговора.

Рука об руку с князем вошел Валериан в другую комнату весело и беззаботно — но чело его подернулось, как заревом, когда он увидел там сестру свою!

— Что это значит? — вскричал он грозно. Но когда сестра с радостным приветом:

— Вы не будете врагами, вы не будете стреляться! — упала к нему на грудь, бесчувственная, голос его смягчился.

—...Ольга! Ольга! что ты сделала,— произнес он печально,— невинная, неопытная душа, ты погубила себя!

Тихо опустил он на софу драгоценное бремя, и невольный взор упрека пронзил сердце Гремина; между тем призванный доктор суетился около Ольги.

— Друг! друг! — сказал глубоко тронутый князь, — не уничтожай меня, я сам чувствую, сколько бед накликало мое безрассудство,— подумаем лучше, как исправить ошибку. Поездка сестрицы твоей едва ли утаится от клеветы, и бог весть, какими баснями украсит ее свет! Чувствую, что я не стою этого ангела, но чувствую, что без нее нет для меня счастья на земле... и если сердце ее не занято... если... я как старый друг твой спрашиваю тебя, Валериан... хочешь ли ты иметь меня зятем?

Стрелинский мрачно взглянул на него...

— Князь, я откровенно скажу тебе, что прежде не желал бы лучшего мужа Ольге, но вчерашняя твоя горячность за графиню заставляет меня сомневаться в счастье сестры!

— Валериан, не разрывай могил минувшего... кто не был молод! От сего дня я новый человек; прежняя привязанность к сестрице твоей обратилась в страсть неодолимую и неизменную.

— Верю,— сказал Валериан, сжимая руку другу, и указал на сестру, которая начинала приходиться в себя.— Милая, добрая Ольга! здесь ты видишь людей, тобою примиренных и благодарных,—но, кроме благодарности, здесь есть некто, желающий получить награду, заслужив наказание,—он уверяет, что любит тебя, клянется в верности... доканчивайте, князь Гремин!

И Гремин с пылкостью и страхом вступил в трудное объяснение.

— Я буду краток,— сказал он, приближаясь к Ольге,— как ни вредно виноватому быть им. Так, Ольга, я дерзаю искать руки вашей, хотя в глубине души сознаюсь, как недостойн я такого блаженства. Не говорю теперь о взаимности,—я буду счастлив и тем, если вы меня не ненавидите, и терпеливо стану ждать чувств нежнейших, как награды!

— Теперь я не имею никакой причины ненавидеть вас; я, напротив, обязана вам благодарностию! — возразила Ольга едва внятно.

— Это лишь слабый образчик моей беспредельной покорности; имея образцом такого ангела, какое доброе качество мне недоступно? Ольга! жизнь без вас для меня пустыня, с вами — рай; решите участь мою!

Ответ Ольги можно было прочесть в каждой черте лица, в трепетании каждой жилки; слезы наслаждения стояли в ресницах, румянец счастья пылал на щеках ее... все сны, все мечты ее разгадались — она была так невинно счастлива, но ей было так ново и страшно это положение — наконец она преклонила милое лицо свое к плечу Валериана и тихо, тихо сказала:

— Братец, отвечай за меня!

— Князь Николай! вручаю тебе лучшую жемчужину моего бытия. Есть бог в небе и совесть в сердце, если ты не сделаешь мою Ольгу счастливою! — Тут положил Валериан руку сестры в руку Гремину — и седьмое небо распахнулось для влюбленного.

— Я сегодня так счастлив, что боюсь — не во сне ли вижу все это: друзья мои, вот письмо от Алины, — примолвил Валериан, отдавая для прочтения письмо Гремину. Гремин читал:

«За свою недоверчивость, милый Валериан, ты заслужил наказание и получил его — но чего эта шутка стоила моему сердцу! Как можно было сомневаться, что, куда бы ни забросила тебя судьба, куда бы ни увлекла воля, в горе и счастья — я всегда с тобой неразлучна. Впрочем, эти три дни я посвятила на убеждения моих нравственных и политических опекунов, — теперь все в порядке, и я могу ехать за тобой к полюсу — не только в прекрасную деревню. Сегодня ожидаю неверующего на мир, и чрез два месяца, — о сладкая мысль! я буду уже иметь священное право называться твоею Алиною!»

Поздравления и объятия полетели к счастливцу... Сам доктор, со слезами умиления на глазах, смотрел на небо, скинув ошибкою парик вместо колпака.

— Еще пара таких женщин, — бормотал он, — и я выброшу всех редких букашек за окно! Жаль только, что Ольга заставит меня переправить целую главу о женщинах!

Стрелинский, посадив сестру в свою карету, остановился у дверей.

— Господа,— сказал он,— милости просим ко мне откушать и запить прошедшие безрассудства. Господ же секундантов, благодаря сверх того за их участие, прошу сделать нам честь — переменить роли секундантов на должность шаферов у меня и жениха сестры моей, князя Гремина!

Он умчался при радостных приветах.

— А вы, худо-доктор? — спросил восхищенный князь, целуя всех и каждого с радости.— Валериан ждет вас.

— Еще рано, и я зайду домой приписать кое-что к своему рассуждению.

— Конечно, о страстях устрицы?

— Нет, об удачных глупостях человека.



Наезды

ПОВЕСТЬ 1613 ГОДА

Посвящена
Ивану Петровичу
Жукову

ГЛАВА I

В поле витязь удалой!
Жеребец играет лютый;
С нетерпенья сокол твой
Рвет серебряные пути.
Рвет лань в тени елей:
Смычь собак, седлай коней!



а правом берегу Великой, выше замка Опочки, толпа охотников расположилась на отдых. Вечереющий день раскидывал шатром тени дубравы, и поляна благоухала недавно скошенным сеном, хотя это было уже в начале августа,— смутное положение дел нарушало тогда порядок всех работ сельских. Стреноженные кони, помахивая гривами и хвостами от удовольствия, паслись благоприобретенным сенцем,— но они были под седлами, и, кажется,

не столько для предосторожности от запалу, как из боязни нападения со стороны Литвы. В тороках у некоторых висели зайцы, лисы, куропатки, цапли — знаки удачной охоты и вместе с тем доказательство, что поезд остановился тут не ночлегом. Иные охотники кормили соколов, по свистывая и взбрасывая их на воздух при каждом кусочке; другие снимали кожу с затравленных зверьков, но большая часть лежала или сидела у кашеvarного огня, между тем как собаки, сомкнутые и сосворенные подвойно, затягивали голодным голосом песню нетерпения, которая заключалась обыкновенно громким ударом арапника. Народу было около сотни, но по осанке и одежде, равно как на самом деле, толпа делилась на два особые круга. Первые были все в одинаковых бараньих шапках с висающею набок тульею и почти в единообразных полукафтаньях. Через плечо у каждого висел рог с порохом и небольшая лядунка для пуль. Самопалы их вместе с копейцами для сошек составлены были в козлы, с навитыми на приклад фитилями. Между ними заметно было более порядка, более важности. Они с некоторою гордостью поглядывали на своих спутников: это были стрельцы.

Другая половина отличалась пестротой нарядов и разгульными ухватками — это была дворня: конюшенные, сокольники, ловчие, псари — кто в казацкой куртке, кто в татарском бешмете, кто в польском контуше, кто в русском летнике — в обносках разных господ и разных пор — живая летопись мнений и сторон, к коим попеременно приставали недавно бояре. Они толпились, бродили кругом, шумели, спорили, заигрывали друг с другом, между тем как настоящие слуги чинно укладывали кушанья на блюда, принимая их от приспешников, и носили к двум боярам, которые ужинали на раскинутом под березою ковре. Бранная, то есть расшитая шелками и унизанная по краям мелким жемчугом, скатерть лежала между ними, и на ней серебряные ложки, солонка, очень хитро сделанная уточкой, фляга и перечница — необходимое условие старинных обедов. Один из них казался очень молод — румяное, открытое лицо его выражало вместе добродушие и откровенность, но сверкающие черные очи обличали пылкие страсти; уста смыкались порой насмешливою улыбкою, и высокие брови выражали привычку власти и отваги. Другой был лет за тридцать с походом, необыкновенно дороден и веселого лица. Он ел, и пил, и говорил неумоимо, рушил дичину, подливал вина, потчевал и хозяйничал, не забывая себя.

— Здоровье царского величества, нашего нового государя Михаила Федоровича! — молвил он, поднимая кубок выше головы.

— Много лет благоденствовать! — ответил молодой боярин, и оба выпили духом.

— Хорошо вино, хорошо и задравье: имя доброго царя не поперхнетя в гору. Не то было при Иване Васильевиче, когда наши старики глотали мальвазию за столом государевым, морщась, будто с горькой полыни, и здравствовали ему, щупая, тут ли уши! — сказал молодой боярин.

— Да, да, — прибавил другой, — я сам видел своего роденьку, боярина Титова, над которым изволил пошутить Грозный: окорнал ему ухо собственной рукою. Сказывают, что Титов бил челом за милость, за царское пожалованье; только между своими он пел другую песню, так что братья затыкали уши и запирали ставни.

— Не держали и ставни и запоры от слова и дела и кромешной опричнины: тогда был бы навет — ответа пыткой добьются. Помню я, дядя Агарев, как, бывало, меня ребенком пугивали: «Не плачь, Степан, — опричник съест!» И они впрямь были людоеды по зверской душе своей. Народ как дождь рассыпался, завидя черную тафью, и купцы покидали незапертые лавки. Как ты ни лаком до задравной чары, дядя Наум, а и у тебя, чай, отпала бы охота целоваться с ней, видя, как жарят товарищей на угольях или пускают в народ медведей для потехи, среди Кремля белокаменного.

— Иное время, иное бремя, князь Степан. Грозный отбил власть у ханов и целиком переложил ее на нас со всею татарщиною. Он был злой человек, прости господи его душу, — а умный царь. Москва дрожала, князья и бояре ползали в унижении, зато соседи уважали нас, и Русь была тиха...

— О, тише воды и ниже травы — тише степной могилы после Батыева нашествия! Куда велика радость русскому, что соседи ему кланялись, когда всякий опричник топтал его под ноги, когда доброе имя и добром нажитые деньги зависели от первого доносчика, когда душа в теле и жена в постели принадлежали слугам и причетникам царским. Желая знать, утешна ль бы была сорока тысячам новгородцев, умирающих под долбнею, — старая погудка, что это побоище будет невесть как полезно их внукам!

— Дело ужасное... грех и вспоминать, не то что оправдывать. А все-таки царь Иван русской кровью спаял русское царство!

— Надолго спаял, нечего сказать! Если б не сильная рука Бориса — наша Русь прежде самозванцев распалась бы, как бочка без обручей. Лучше бы сказал ты, что он сломал стрелы, желая чересчур крепко связать их. Чуть не стало первого самозванца, набежало их дюжинами, и пошли играть короною, словно мячиком. Один кричит: подавай нам Владислава, другой хочет шведского королевича, третьи ждут самого Жигимонта, а всё помня царя Ивана, — он набил им оскомину. Счастье наше, что у всех русских один язык, одна вера православная: у нас не было головы, но было сердце ретивое, и в нем любовь к отечеству — она-то победила искусство, и силу, и храбрость неприятелей, слава богу и князю Пожарскому! Теперь не станут враги издеваться над нами среди столицы — теперь мы избрали себе царя по мыслям и купцу, и чернецу, и доброму молодцу. Да здравствует род Романовых в годы годов и в роды родов!

— Да здравствует в честном мире и на ратном пире!

— Увидишь сам, дядя Агарев, что царь Михаил спеленает Русь любовью гораздо крепче, нежели Грозный страхами!

— Говорят, молодой царь такой добрый, приветливый...

— Спроси у меня — что твое солнышко! Бывало, без аршинной бороды и не выглядывай из-за думных бояр, а теперь государь всякому найдет словечко: старому и малому, — а говорит, словно райской птицей поет. Когда едет верхом в Успенский собор к обедне — так народу, народу... Яблоку негде упасть — и все толпятся у стремени — всем он доступен и милостив, кланяется на обе стороны, роняет слова ласковые, раздает милостыню, обещает каждому суд и правду. Ну, право, он будто сошел с неба примирить все стороны и залечить все раны.

— Дай бог, дай бог успеху! пора отдохнуть святой Руси... Только она, как море после бури, бушует при берегах, хоть вихорь замолк посредине... Поляки еще в Смоленске.

— Мы их выгоним.

— Горн и Делагардий держат Новгород...

— Мы его выкупим.

— Легко сказать, князь Степан: наша родина истоще-

на золотом и людьми, а поляки и шведы не дорожат грабленным и вербуют свои полки всякою сволочью: против нас венгерцы, против нас шотландцы, французы, всякая чужь белоглазая,—и когда дело дойдет до грабежу, то свейцы и литовцы стоят заодно... Бьют со всех сторон, а помощи ниоткуда... Я радехонек, что тебя прислали на смену,— а то ни днем ни ночью покою нет... Набеги на окрестности беспрестанные и от немецких и от польских дворян.. и то бы драться не драться с воинами — а то все либо налеты, либо разбойники — не из чего рук марать: славы и добычи ни блестики.

— Где опасности, там и слава. На Москве не надивятся, как ты здесь держишься до сих пор, когда самый Псков в осаде.

— Я как бельмо на глазу и немцам, и шведам, и Литве, да крепостца на острову, стрельцы удалые — никто и не сунется. Где добыча одно железо — туда мало охотников. Да что толковать о здешней стороне: послужишь — все узнаешь. Расскажи-ка лучше: что слышно про митрополита Филарета, отца государева?

— Ждут в Москву: к Жигимонту с вестью об избрании царя послан дворянин Оладын; надеются, что король согласится на размен или выкуп и на мирные предложения.

— Я чай, наши братья гуляки, чтобы понравиться царской матери-инокине, теперь степенничают, ханжат?

— Всего есть довольно, и я бы советовал тебе, дядя Наум, оставить здесь половину дородства, чтобы твой растянутый кушак и красные щеки не были укоризною иным великопостным лицам, которые уж ни свет ни заря собираются к заутрене в Архангельский собор молиться богу, чтобы люди их слышали. Впрочем, молодой царь хорошо знает, что прилично монаху, что мирянину, и хоть прежние попойки перевелись в беседах палатных, однако он не прочь от скромного веселья.

— Только бояре до него не охотники... не правда ли? да и тебя, князь, калачом бы сюда не выманили, если б при дворе было очень весело: мы привыкли к удалству и раздолью военному — так мерный кубок не для наших губок!

— Чуть-чуть неправда: мне наскучила однообразная жизнь дворцовская — наскучило не иметь досуга, не имея дела; да притом, семь лет дравшись под открытым небом,— мне что-то душно в Грановитой палате. Позвонки

мои забыли гнуться под латами — а там, брат, надо уви-
ваться около любимцев.

— К слову стало, князь, — кто любимцем у молодого
царя? Ведь нельзя же без этого?

— То-то и беда царская: возьмет любимца, как тро-
сточку для забавы, — посмотришь, он станет клюкою, так
что без него ни на шаг. До сих пор на царя грех ска-
зать — глядит своими глазами, слушает своим ухом, —
но кажется, в это ухо Солтыков золотою серьгою вдева-
ется; он недаром ко всем лисит, перед всеми поклоннича-
ет. Впрочем, это одни догадки.

— Для меня все это было бы загадками: спасибо,
князь, что надоумил. Тому, кто едет из стана в царские
палаты, надо знать, где восток и где север, чтобы не за-
блудиться и не простудиться, чтобы знать, где живет
Яга-баба, где растут золотые яблоки, где ключ живой
воды. У двора и поклоны в счет и слова на весы кладут,
когда мы не думаем считать ни ран, ни ударов. Да, как
ни вертись — а придется с соловьями петь по-соловьиному!

— Предсказываю тебе, дядя Наум, что ты будешь
плохой певчий; наше дело по-волчьи — так дадим себя
знать.

— И рад и не рад, князь Степан, да отцовская воля
гонит с поля; пишет и наказывает: я-де стар, хочу при
себе пристроить тебя, хочу перед гробовой доской порадо-
ваться, что и ты взыскан царскою милостию. Надо поте-
шить старика; притом же и своя служба затеривается.
Сам ты знаешь, умная голова, кто при светлых очах бьет
мух, тот почетнее того, кто заочно бьет неприятелей, —
и я хоть осьмью годами старше тебя в роду и по службе —
а все такой же стрелецкий голова. Мы в этом крае не си-
дели сложа руки, и в течение четырех лет я почти не сни-
мал стальной рубашки, не слезал с коня боевого, то под
Новгородом, то под Псковом, то под Изборском, отражая
и сторожа, сегодня гоним, завтра нападчик, и хоть не всег-
да с удачей, зато никогда с бесславием. Служба моя на-
лицо — и на лице. Этот рубец на лбу — место печати.
И саблю точат после боя с маслом: надо же и воину
ободренье.

— Небось забирает охота покормиться: на воеводство,
в теплое местечко, хоть и в холодный край. Дельно, дядя
Наум, право, дельно. Здоровье будущего тобольского
воеводы!

— А чем бы я не воевода, например, так сказать? Право, из рук не вывернется перо и с плеча не свалится соболя шуба. Была бы булава, будет голова. Власть дело великое.

— Не смани ты и меня в воеводы, дядя Наум; правда, зариться-то не на что: казаки, поляки и недруги так очистили матушку Русь от моря до моря, что воеводе придется после них подбирать теряные подковы, а то не только что в сундуках — да и в реках и в лесах они за пять лет вперед взяли оброки. Да не в том сила, дядя Наум; ты метишь в воеводы: с богом. Только мне сдается, что судейский стул не сивка-бурка, как в сказке сказывается: «в одно ухо влезешь дураком — из другого выпрыгнешь умником».

— Свят, да не искусен, князь Степан! Я не говорю, что от важности станешь разумнее, а только разумнее покажешься; и если у двора скажут: «то-то дельце!» — так во всей Москве целую неделю будут звонить про мое уменье. Ведь у меня не без родных, не без милостивцев, чтобы в случае покрыть промашку или пуще меду вспенить доброе дельце. Ты, кажется, говорил, что крестовой мой брат Акинфий Семенович пожалован в кравчие?

— Говорил, и повторял, и пересказывал, кто спальники и постельники, кто стольники и сокольники, начиная с главного конюшого до последнего истопника; перебрал я тебе ближних и думных бояр с путем — и нас, беспутных деток их, — да все это мне так надоело, что я на целый день прошу отдыха. Изволь-ка теперь отвечать на мои вопросы: есть ли здесь в окрестности красавицы? Отчизна Ольги искони славилась ими.

— Если б ты спросил меня, есть ли здесь медведи, я бы знал, как ответить тебе: я знаю наперечет все лисьи норки и заячьи тропки на сто верст в окoliце. Красной зверь — наше дело, а за красными девицами некогда ухаживать... Чуть свободный часок от службы или от битвы — я сейчас в отъезжее поле, — ты видел, каковы у меня борзые! Вот, например, этот зверек (треплет собаку) в жизнь не скакал на вторую угонку — лишь бы завидел косога, то как свечка загорится, не успеешь тороков распутать. А вот с тем палевым, с подпалинами, в одиночку волка струню; раз, два — да и обзешь! Про гончих и говорить нечего — что твоя музыка, когда по горячему следу вальются... Прошлый год перед Покровом...

— Ради бога, помилуй, дядя Наум! полно охотиться по полю, а ты пускаешь стаю по скатерти.

— Как хочешь, князь, а мне веселее вспоминать, как я гонял, нежели как меня гоняли: не больно счастлив я был в своих задушевных проказах, и если, глядя на других, дурачился при самозванце, когда было раздолье молодежи, так это более из шалости, чем по склонности.

— Не тем ты глядишь, дядя Наум, чтобы очи с поволокою и лебединая грудь не разогрели в тебе ретивого!

— Моя милая неразлучная, князь,—эта фляга. У меня сердце прыгает, когда я ласкаю любезную ее шейку,— а поцелуюсь с ней—искры из глаз сыплются. Не хочешь ли перемолвить с роденькою — ведь вы оба Серебряные! В ней же сегодня заморский ум...

— Этот гость хозяина вон выживает: у меня и то голова кружится.

— Пустое, приятель: пей посмелей — ум хорошо, а два лучше.

(Чокаются и пьют.)

— Все это правда — только до тебя, дядя, не доедешь околицами: помнишь ли ты Вариньку Васильчикову — ту самую девушку, лет четырнадцать, на которую не раз любовались мы в царских сенях, когда тетка ее, княгиня Татеева, приезжала на поклон к Марине?

— Кажется, припоминаю... мы, впрочем, глазели тогда на всех пригоженьких, рады, что по новому обычаю они стали ездить во дворец без фаты... ну да что же из этого?..

— То, что у меня сердце памятьнее твоих глаз. Ты знаешь, что, сдружась с поляками, я был принят хорошо даже у царицы, а старуха княгиня, не помня души в своей племяннице, везде таскала ее с собою. Это дало мне случай познакомиться с ней покороче, — словом сказать, девушка мне крепко поглянулась. Вот настала и суматоха, и мы давай рассчитывать за хлеб, за соль с гостями незваными, давай резаться с прежними друзьями. Я был сперва под знаменами героя Шуйского-Скопина на севере, а потом, когда он умер, когда семибоярщина сверзила царя Василия, то с разными налетами, не сходя с поля, дрался я то с самозванцами, то с запорожцами, то с поляками, перелетал из места в место; и, разумеется, мне некогда было думать о невесте. Когда справили мы под рукою Пожарского знатные проводы Жолкевскому —

и победителями вошли в Москву,— грусть меня взяла пуше прежнего: днем и ночью все она перед глазами; я ходил, будто потерял что драгоценное,— и что ж узнаю? Княгиня Татеева умерла, а мать, сказали мне, увезла Вариньку в псковские свои вотчины. В это время пришла моя челобитная об увольнении; трехлетняя разлука меня истомила — я решился. Прощусь на твое место осадным стрелецким головою в Опочку и, назначенный, скачу сюда сломя голову...

— Чтобы найти свой клад похищенным! Дворянка Варвара Васильчикова два года как увезена литовцами.

— Увезена! — вскричал князь Серебряный, пылая гневом,— увезена! И ты, военный начальник здесь, не заставил возвратить добычи, не искал, не отбил ее? Русскую дворянку выкрали из-под твоих пушек, и ты говоришь о том, как о продажной курице! Между тем, если бы у тебя отбили бочонок с фряжским вином, ты бы весь край поднял на царя. Это непростительная беспечность, это стыд русскому!

— Все ли ты кончил? — хладнокровно сказал Агарев, расправляя усы свои и барабаня пальцами в донышко опрокинутой стопы.

— Я бы не кончил до Воздвиженья, когда бы упреки мои могли быть так же черны, как твоя лень!

— И если б слова помогали чему-нибудь. Садись и выслушай терпеливо. Вотчина Васильчиковых лежит под Изборском. Приезд в нее богатой барыни из Москвы скоро стал известен всем окольным разбойникам, но многолюдная дворня пугала их. Наконец, два года тому назад, предместник мой был убит в стычке с немцами, и пан Жегота, шляхта, вахмистр панцерников, недалеко за Великою живущий, воспользовался безначалием, вкрался ночью далеко в наши границы и с шайкою своею напал на дом Васильчиковых, разграбил его, перебил людей и пять девушек, в том числе и боярскую дочь, увез с собою. Что я за ними не гнался, это очень естественно — меня еще тогда здесь не было, а впоследствии и без того было дела довольно.

— Но что же думали ее родные, кровные? Они могли бы ее выкупить золотом, если не железом?

— Вестимо так, да дядюшка ее, князь Татеев, опекун ее брата, прижался да и знать ничего не хочет, а мать вскоре умерла с печали. За сироту некому вступиться.

— Подлые души! Но где же томится пленница?

— Никто наверно не знает. Говорили, что бездельник, который увез ее, держит ее взаперти. Впрочем, подобные случаи здесь не редкость, так молва перепала, и Варвара как в воду канула!

— Хотя бы на дно моря—я и там отыщу эту жемчужину. Разбойник Жегота близко живет, говоришь ты?

— Верст пятнадцать отсюда; это преотчаянная башка, он уже не раз угонял наши стада из-под самых стен замка, и хоть мы не оставались в долгу, но увертливая шельма, до сих пор не попался в петлю, которую поклялся я ему пожаловать.

— Вот тебе рука моя, что этому коршуну не летать больше на воле. Трубач, тревогу!..

— Что ты хочешь делать, князь Степан? — вскричал изумленный Агарев, между тем как трубные перекаты раздавались в окрестности и стрельцы опрометью кидались к коням, уздали их, зажигали фитили; все мигом было готово: и дворня, и охота, и дружина стрелецкая. Князь молчал, но очи его сверкали, ноздри вздувались, и рука нетерпеливо сжимала рукоять кинжала.

— Что ты хочешь делать? — повторил Агарев.

— Заплатить наездом за наезды. Пусть знают эти панцерники, что новый голова не даст им солить впрок русских баранов, не только что торговать красавицами.

— Вспомни, князь, что ты сам привез царское повеление — не зачинать бою без нападения, чтобы не помешать переговорам о мире.

— Мир заключают не с разбойниками.

— Но ты вторгаешься в польскую землю.

— Земля божия — и русские не отказались еще от края, который в старину принадлежал им.

— Не лучше ли подождать: нам велено подать списки захваченных в плен, и, верно, их вытребуют от Речи Посполитой.

— Знаю я, как слушают паны своего короля и сената. Как бы не стал я перебирать день за днем, словно четки,—или отражать копья перьями! Князь Серебряный булатом добудет правды!

— Либо рухнет в опалу. Подумай, князь.

— Боярин Наум Петрович,—я не зову с собою робких... Ты сдал мне начальство —теперь не твоя, моя голова в ответе...

— Никто не отнимает у тебя ни воли, ни власти, князь Степан, и ты обижаешь меня, старого своего друга, думая, что я удерживаю из трусости. Когда ты решился, я не отстану от тебя — пускай вправду окольные разбирают, что право, что неправо, — наше дело руби — да и только. Я докажу тебе, что мои стрельцы — удалцы на эту работу: я не давал ржаветь их клинкам.

Друзья обнялись. Князь послал гонца к старшему сотнику с наказом принять начальство. Из охотников выбрали только молодых и хорошо вооруженных — прочих отослали домой. Надели кольчуги, шлемы.

— На коней! — закричал князь Серебряный, — товарищи, — на Литву!

С этим словом он сжал коленами коня своего и первый спрыгнул в Великую. Стрельцы съезжали в разных местах, и радостные восклицания: «на Литву, на Литву!» далеко раздавались по лесистым берегам реки пустынной. Солнце садилось.

ГЛАВА II

Однажды по ночи глубокой
Мы слышим воющий набат,
Вдали стенанья, вопль жестокий
И тучи заревом горят.
«К коням, седлай, бесценно время,
На пояс меч, и ногу в стремя!..»

Ночь была темная, дорога лесом дремучим. Проводник ехал впереди по излучистой тропинке; за ним начальники, за ними по двое стрельцы, тихо, безмолвно. Изредка слышалось храпение коня, или бряк узды, или удар подковы в подкову. Повременно вожатый останавливался, и тогда дремлющие всадники насовывались друг на друга. Он прислушивался, иногда припадал ухом к земле — и опять вскакивал на коня, и поезд снова трогался далее.

— Близо ли? — спросил князь у проводника вполголоса.

— Вот изгорода, — отвечал тот, — вели, батюшка князь, изготвиться к делу: неровен случай, всполошатся раньше времени, а ведь эти головорезы с лезвия берут и только с лезвия уступают добычу!

Князь подъехал к Агареву.

— Друг, — сказал он, — решительный час близок — сердце у меня будто хочет выпрыгнуть из груди: это перед свиданием с милою.

— Либо с могилою, — возразил Агарев. — Ну, что ж вы стали? собаки скоро нас пронюхают. Надобно обойти селенке!

Тут он отсчитал самых отчаянных в середине, назначил, кому отрезать конское стадо, кому напасть с улицы.

— Пан Зеленский, — сказал своему стремянному князь Серебряный, — этот стрелец проводит тебя к дому пана Жеготы, ты перелезешь с огорода и осмотришь, что там делается, между тем как товарищ отвлечет собак к воротам.

— Видно, что был в науке у лисовчиков, — ворчал Агарев.

— Да, брат, ведя четыре года разбойничью войну, поневоле научился разным хитростям, чтоб не остаться внакладе.

— Да заметь, где висят оружия, пан Зеленский, — примолвил Агарев, — и нет ли куда боковых выходов. Надо, как шапкой, накрыть это ястребиное гнездо; а то, говорят, у них есть подпольные норы — мигом дадут стрелка.

— Будет все исполнено, — отвечал стремянный, надевая шапку, — я привык лазить по стенам, словно кошка, и вижу ночью, как рысь.

— Что это за выходец? — спросил Агарев Серебряного, когда Зеленский удалился.

— Польский шляхтич: служит у меня стремянным.

— И ты доверяешь ему в польской земле?

— Для него Польша — теперь не отчизна. Он служил шеренговым под команду полковника Лисовского и, бушуя пьяный, дерзнул выхватить против него саблю. Лисовский не любил шутить — и его ждала петля вместо похмельного стакана. Это было под Троицею — он бежал и явился ко мне, прося защиты. С тех пор он служит мне очень верно: я не раз имел случай убедиться в его преданности. Всем хорош, только чуть попало за ухо — так и черт ему не брат. Постой, кажется, это выстрел!

— Нет, только собаки возрились. Ого, уж приступом лают, теперь и нам пора поближе.

— Отдайте коней в завод — мы пешком проберемся вслед Зеленского. Там главная засада — там лучшая добыча. Вперед, товарищи, — да тише тени!

Зеленский влез на высокий плетень подле самой хаты Жеготы, и взоры его упали прямо в окно. При тусклом свете одной свечи лишь до половины видна была внутренность комнаты. Стены увешаны были звериными шкурами и оружием, пол усыпан болотною травю. В одном углу рослый молодой мужчина чистил пистолет. Подле стола старуха показывала жиду, пред ней стоящему, разные золотые украшения, на которые жадно смотрел он, потряхивая пейсиками. В другом углу, подле высокой изразцовой печи, сидела статная женщина в русском сарафане и горько плакала, закрыв лицо руками. Никто не обращал на это внимания.

— Але сто тридесѣц злотых будет досыц, пани Охмистрина, за эти сережки,— говорил жид, играя перед свечкой широкими подвесками.— Вода в жемчугах мутновата!

— Глаза у тебя мутны, хриstopродавец! — отвечала старуха,— да эдаких перлов сама пани Воеводина во сне не видала. Навесь эти серьги хоть на моську, так на еѣ уши станут заглядываться пуще, нежели на хваленые глаза пани Завиши. А что ты оцениваешь это ожерелье, решетная совесть? Говори, не заминайся.

— А стось, оно бы недурно, да переделки много; иной камень лопнет, оправка угорит — такой моды уж давно нет у вельможных паненок.

— Куда больно спесивы твои паненки! Да знаешь ли ты, что это ожерелье было на окладе у пресвятой Катерины-мученицы под Изборском, так после нее не стыдно и старостине надеть! Видно, Лейба, с тобой не пивать мне литок. Ко мне обещал быть Иоссель из Риги с ярманки, так с ним поскорее сделаемся: навезет всякой всячины, так что глаза разбегутся. Деньги на безмен и товары на промен: выбирай, чего твоей душеньке угодно.

— Але, пани Охмистрина, и мои злоты не обрезанные.

— Не стрижены, так бриты, не купаны, так обшарканы; уж знаком ты мне вподноготную! В прошлый раз много было недовесу в твоей расплате.

— За стось сердиться, пани Охмистрина? Ведь я не кую денег.

— А может, куешь и плавишь! Береги свой загривок, Лейба, я кое-что знаю. Попадешься в когти белому орлу, так и воронам достанется позавтракать!

— Але не гневайся, ясневальможная,— возразил орбеvший еврей,— рука руку моет; мы же добрых людей не обгаем — даю десять червонцев за этот перстень.

— Иезус баранок божий! только десять червонцев — ах ты, пеньковое семя! Да одна осыпка стоит более.

— А зе пану Эготе эции клейноты дешево при- шлись.

— Смотри, пожалуй! он ни во что ценит кровь хри- стианскую! Прошу прислушать, Яся,— то, что вы добыва- ли из огня и воды, подставляя шею под топор и саблю, для него безделица, дрянь!..

— Что с ним долго толковать,— отвечал угрюмо сын старухи,— мне хочется попытать новый пистоль на черепе этого искариота.

Он взвел курок, испуганный жид упал на колена. В это время послышался лай собак у подворотни.

— Это отец,— сказала старуха,— поди, Яся, отвори ему калитку; он, чай, не с пустыми руками воротился.

Но собаки замолкли, и не слышно было никакого стуку.

— Нет, это не он,— сказал Яся, прислушиваясь, и за- хохотал, увидя, как жид увивается у ног его, прося поща- ды.— Полно кланяться, полно, ведь ты лбом золотых не напечатаеть. Как ты думаешь, синайская пиявка, знаю я или нет, что ты продал пана Цыбульского, моего закадыч- ного друга, гетману, когда тот свел с конюшни его араб- ского жеребца?

Жид побледнел как полотно, услыша это обвинение.

— Конечно, пана Цыбульского не воротить из аду — однако ж как ты вил ему веревку, чтоб туда спуститься, так ступай же туда обмеривать его старою водкою. Пода- вай деньги!

Жид, трепеща, опустил руку за пазуху, но медлил — ему, казалось, трудней было расстаться с кошельком, чем с жизнью.

— Подавай! — закричал разбойник громовым голосом. Еврей отдал ему кошелек, но все еще держался за ре- мешок.

— Не погуби, не разори,— вопил он,— будь ласков!

— Я тебя приласкаю,— зверски сказал Яся, ударив жида по руке.— Ну, Лейба, душа твоя у меня в карма- не — пора и туловище записать в расход. Лучше и не те- рьй слов на ветер! Пусти тебя живого, так не оберешься хлопот да жалоб,— а по мертвом жиде не поют панихид ни монахи, ни судьи! — Он медленно поднял дуло, забав- ляясь отчаянием несчастного. Видя это, сидящая в углу, девушка с воплем кинулась удержать руку убийцы.

— На то ли вы томите меня в неволе, чтобы кроме своих горестей быть свидетельницею злодейства!

— Прочь,— вскричал с негодованием Яся, отталкивая ее,— прочь, если не хочешь камня на шею и в пруд головой! Что ты, матушка, дала волю этой девчонке — благо полюбилась брату Яну плакса негодная. Прочь, говорю!

Старуха схватила пленницу, желая ее вытащить, та упиралась, жид кричал — эта борьба раздражила разбойника — он вытащил его на средину — и упер дуло в грудь.

— Помилуй! — шептал полумертвый жид.

— Спасите! помогите! — восклицала девушка.

— Это она! — произнес кто-то под окном; выстрел сверкнул, и разбойник безгласен упал на землю. Стрельцы на этот знак со всех сторон ворвались в дом и в село. Крайняя изба запылала, чтоб отманить мужчин на пожар. Вопль испуганных женщин, плач детей, крики грабежа, завывание собак, выстрелы и звон оружия раздавались на улице; зарево играло в небе. Наконец все уступило отваге — вооруженные и безоружные бежали в лес. Стрельцы таскали рухлядь, выводили скотину, ловили птиц, — одним словом, поступали по-военному. Агарев с распростертыми объятиями бежал к другу.

— Поздравляю, брат, поздравляю,— кричал он издали,— наконец ты нашел свою Вариньку!

— Нет,— отвечал Серебряный сердито.

— Как нет? Да разве та красивая девушка, которую велел я выпроводить из драки и беречь как зеницу ока, не...

— Не та, которую я ищу. Она тоже русская пленница и недавно увезена из-под Острова этим бездельником Жеготою. Он, кажется, дал зарок перетаскать всех наших красавиц в Польшу, но будь я не князь, а грязь, если он не расплатится за свои разбои головою. Мне одно всего досаднее, что я наделал столько шуму даром.

— Как даром? Добыча презнатная: у этих панцерных разбойников лари не пустые — да и рогатого скота, кроме коней, голов двести.

— Что мне в них, когда не поймали ни куницы, ни волка, пусть ад закабалит мою душу, если я не полечу головней и не размету конским хвостом пепел замков магнатов окрестных, если мне не выдадут пленницы. Притащите ко мне старую ведьму, мать Жеготы.

Старуху привели бледную, дрожащую, с растрепанными волосами,—она рухнула в ноги разъяренному князю.

— Разорил вконец, не сгуби хоть души, родимый, даруй час на покаяние! — сказала она.

— Старуха,—возразил Серебряный,—если бы тебе три прежних века оставалось жить на белом свете — даже их бы не стало замолить все грехи твои, и те, которые потакала ты в сыновьях, и те, на которые наводила. На твоём пороге дымится кровь гостей, и руки твои привыкли считать цену чужой гибели. Не жалуйся на разграбленное: что приходит, то и уходит неправдой... Однако послушай, я ворочу тебе треть твоего добра, отпущу самое на волю, если ты мне скажешь без утайки, куда девали вы пленную дворянку Варвару Васильчикову.

Старуха всхлипывала и молчала; страх мужа оковал язык ее.

— Куда вы девали Варвару Васильчикову? — вскричал вспыльчивый князь, скрежеща зубами.— Говори или ты будешь молчать до Страшного суда. Я горячим свинцом припечатаю язык твой к гортани, змея подколотная! Признавайся, где она.

— Муж мой отдал ее вместо погодной платы за зеленпольскую аренду,— отвечала наконец уstraшенная старуха.

— Но когда, но кому продал он?

— Вельможному пану Колонтаю режицкому.

— Иду на Колонтая! — грозно вскричал Серебряный.— Пан Зеленский, свежего коня и тридцать пуль за мною!

— Стой, князь,— сказал решительно Агарев, заступив ему дорогу.— До сих пор наезд наш был только вздорен — он будет безрассуден, если ты пойдешь далее. Горсти людей недостаточно.

— Храбрость крепче силы.

— Но обе вместе крепче одной храбрости: подумай. Заря скажет полякам, как мал отряд твой; притом в рогах осталось не более как на пять зарядов пороху, и вас возьмут руками, словно мерзлых щуров, или перестреляют изза деревьев, как тетеревов. Идти на славную опасность молодцу любо, но в бесполезную гибель — глупо. Как ты хочешь, я не пушу тебя.

Князь почувствовал справедливость этих доводов и потупил взоры, молча сжал руку Агареву, надвинул на глаза шапку и вышел на улицу.

— Готово ли? — спросил он.

— Все в порядке, — отвечал пятидесятник. — И в голове, и в хвосте поезда наряжены люди надежные, с саблями и копьями.

— Ступай! — вскричал князь; караван двинулся.

Назад возвращались уже прямою большою дорогою, и стрельцы ехали в несколько рядов. Захваченных коней и быков гнали в середине; раненых вели под руки. Многие из вершников были уже навеселе, все шутили, смеялись — рассказывали друг другу свои подвиги. Агарев, который везде и всегда сохранял свое равнодушие, старался развлечь, разбабавить друга — но тот ехал мрачен и печален. Вдруг остановился он, как будто какая счастливая мысль перелетела ему дорогу.

— Прощай, Агарев, — сказал Серебряный, — похозяйничай за меня в Опочке: я еду искать судьбы моей. Не спрашивай, как и куда, — если я не дойду и не выйду сам — так уж другие мне не помогут. Жди меня три дни, жди неделю — а потом давай знать родным и властям, что я пропал без вести.

— Удаливость и любовь заманивают тебя, друг, — возразил Агарев, — и заманивают напрасно. Кто тебе порука, что Варинька еще у Колонтая? Как увезешь ты ее, хоть бы она и там? Согласится ли она сама на опасное бегство, а пуще всего, проберешься ли ты до нее в земле, переполошенной наездом нашим? Теперь всякий на коне и всякий настороже — слышишь ли?

Далекий набат разносил тревогу в окрестности.

— Это звон моего свадебного или похоронного колокола: дело решено, и я не ворочаюсь с полдороги. Судьбы не встретишь и не догонишь, если самой не вздумается. Пан Зеленский, ты едешь со мною: выбери что ни лучших коней под себя и в завод — таких, чтоб убить да уйтить! Здесь ли мой дорожный чемодан?

— Здесь, — отвечал Зеленский, переседывая коней и пристегивая в торока что надобно.

— Возьми его с собою, а все тяжелое оружие отошли домой: теперь нам нужнее лисий хвост, чем волчьи зубы. Готов? — вперед. Прощай, любезный Агарев, — не поминай лихом!

— Да сохранит тебя Николай-чудотворец и Тихвинская Богородица — в дальней дороге и на чужом пороге! Дай бог свидеться подобру-поздорову.

Друзья обнялись — Серебряный помчался.

— Жаль мне тебя, умная, только буйная головушка,— примолвил Агарев, провожая глазами друга в темноте ночи и вытирая рукавом слезу.— Жаль тебя, доброе, только слишком ретивое, сердце!

Скоро умолк и гул топота. Агарев медленно поворотил коня и, задумчив, поехал догонять отряд свой.

ГЛАВА III

Вот едет он путем-дорогою, стороною далекою, и наехал он на распутие: посредине столб стоит, на столбе щиг прибит, на щите надпись, как жар горит: «Поедешь вправо — будет конь сыт, а сам голоден; поедешь влево — будешь сам сыт, а конь голоден; поедешь прямо — будут оба сыты и оба биты!» Иван-царевич призадумался: самому поститься — с силой проститься, на тощем коне я гоубогатырь — ни биться, ни драться, ни ратиться; поотведаем счастья на третьем пути: поглядим, кто побьет меня сытого, на свежем коне, при булатном копье?

Старинная народная сказка

Наши путники под завесою темноты счастливо пробрались довольно далеко внутрь Люцинского повета.

— Вот и сам Люцин,— сказал Зеленский князю Серебряному, и князь взглянул направо: денница занималась, ленивый туман волнами поднимался с зубчатых стен замка, стоящего на холме,— и тихо лежал городок у ног его. Еще ни одна дверь не чернела, ни с одной трубы не вился дымок, и окружный лес, понемногу рассветая, отрясал на путников холодную росу. Далее к Режице (старинному Розитену) виды становились еще живописнее. Холмистый край испещрен был озерками, над стеклом коих бродили махровые пары; и дикие рощи, и зыбкие тростники отражались в неподвижном их лоне. Порой только звучно прыгала из воды щука или ныряла дикая утка; струи разбегались кругами и снова сливались в зеркало.

Зеленский ехал впереди и удачно поворачивал то вправо, то влево на тропинки, иногда для сокращения дороги напрямиком, иногда объезжая деревни околицами.

— Ты славно знаешь все закоулки,— сказал ему князь Серебряный,— я не ошибся, положась на слова твои заранее.

— Как мне не знать этого края! Мы целый месяц стояли здесь с гетманом литовским Карлом Ходкевичем, собирая силы на шведов,— да потом и разгромили их в прах, даром что их было втрое более. В то время я служил у пана Опалинского и не сходил с коня на полеванье. Зверям от нас было не лучше житье, как и людям, и я волей и неволей должен был узнать наизусть все заячьи стезжи.

— Скажи, пожалуй, отчего мы не проехали ни одной деревеньки, которая бы походила на другую? В иных наши русские избы с узорными полотнами по кровле и высокими деревянными трубами в прорезе; в иных мазанки, с горшком для дымовья, в иных чухонские лачуги, у которых из каждой щели, как из жерла, чернеет копоть.

— Изволишь видеть, князь, край этот зовется теперь Польскими Инфантами и уступлен Польше немецкими рыцарями. От этого здесь есть и чудские переселенцы, и туземные латыши, и старинные литовцы, и настоящая польская шляхта, и беглые русские, которыми в особенности заселены пограничья. Да и между панами такой же сброд: кто немец, а кто литвин, кто барон, кто князь.

— Ну, а хорошо ли они знают остальную Польшу и другой конец Литвы? Украйну, Подолию?

— И все-то поляки, кроме своего округа, не знают, да и знать не хотят отчизны — а здешние медвежники всех менее. Варшавцы и краковяки смеются над ними; они презирают варшавцев и краковцев вместе и доказывают, что предки их были уже дворянами, когда в Польше жили одни лягушки.

— Тем лучше, тем лучше. Стало быть, нам без страха можно будет рассказывать сказки. Помни же, пан Зеленский, что я литовский дворянин Яромир Маевский, а ты шляхтич Стребала; что мы раненые взяты были в плен в Кремле и теперь, вымененные, возвращаемся домой через северную Русь, по приказу государеву, чтобы не столпить пленных на военной дороге к Смоленску. Говоря по-польски, как поляк, и зная почти всех бывших при дворе Дмитрия, и в войсках коронных, и в полках Тушинского вора, я надеюсь порядочно подделаться к польскому ладу.

Про тебя и говорить нечего: ты родовитый добродзей, а впрочем, всему делу авось.

— Все это хорошо, сударь князь, если не случится там никого из бывалых под Москвою; а как, на грех, какой озорник нас узнает? Не миновать тогда воздушного путешествия — у них суд короток.

— Что ж делать, пан Зеленский, отвага ест медок, а робость — ледок. Волков бояться, так и ягод в глаза не увидишь. Смекай, что я насажу тебе: мне надобно выкрасть от Колонтая русскую пленницу — так ты хорошенько разузнай, где она спит, когда гуляет. Перещупай все затворы, пронюхай все лазеечки и держи ухо востро и коней в подпругах.

В это время они встретились с бедным крестьянином, который на низкой некованой тележке ехал за сеном и, завидя всадников, опрометью своротил с дороги и опрокинул в овраг свою повозку, — но вместо того чтоб поднимать ее, он только боязливо кланялся проезжим. На истощенном лице его написана была жалкая простота. Белый изношенный балахон прикрывал тело.

— Далеко ли до Самполя? — спросил князь.

— Близко, паночек, — ответил тот по-русски.

— Это значит, дай бог поспеть туда к обеду, — заметил Зеленский, — здешнее «близко» длиннее коломенской версты.

— Однако ж как близко, добрый человек? — повторил князь.

— В старину было пять миль, паночек, да панья смиловалась: велела только трем быть.

— Добрая же у вас панья.

— И храни бог, какая добрая: сама нам сказывает, что за нас в церкви молится; да пан эконом нас обманывает: последнюю корку и курку отнимает, а в год кожи две, три обновит — а все говорит: «Панья велела».

— Ну, брат Зеленский, это, видно, по-нашему: у ханжей и на Руси одним кошкам масленица.

— Какое сравнение, князь, житью русского мужичка с польским — тот не продается наряду с баранами, и, дождавшись Юрьева дня, — поклон да и вон от злого боярина. А здесь холопа и человеком не считают; его же грабят да его же и в грязь топчут. Я знаю одного пана, который отдает выкармливать своих щенков кормилицам, отымая у них грудных младенцев.

— Это клевета, — сказал Серебряный, содрогнувшись.

— Дай бог, чтобы это была клевета. Что греха таить, князь, я вырос на отнятом хлебе, я привык с малолетства гулять на счет крестьянина и в чужбине и на родине; совесть у меня не из застенчивых, а, право, сердце поворачивается, когда посмотришь, бывало, что делают паны со своими холопами.

Князь долго ехал в молчании... время летело.

— Мы уж близко к замку пана Колонтая, — сказал наконец Зеленский. — Не худо бы нам пооправиться у этой речки. Везде по платью встречают, а по уму провожают.

— И в самом деле так, — отвечал князь, слезая, — дай-ка мне зеленый польский контуш да и сам нарядись побогаче — и будь если не умнее, то скромнее, чтобы заслужить хорошие проводы. Я прошу тебя для этого только мочить усы в чарке.

— Нет, князь, коли пить, так пить — а то незачем и нюхать. У меня губа словно грецкая губка, — чуть окунешь ее в вино, донышко и проглядывает, а голова хоть выжми.

— Делай как знаешь, пан Зеленский, но честью уверяю тебя, что если ты сам-друг проболтаешься, я из тебя сделаю окрошку.

— Князь будет доволен мною. У меня шкурка хоть не черного себоля — однако ж для меня очень дорога.

И между тем он пособлял князю убираться. Зеленая бархатная шапочка, опушенная горностаем, покрыла темно-русые кудри князя. Такого же цвета и с такою же окладкою венгерка с серебряными жгутами обнимала стан. За золотым поясом заткнут был турецкий кинжал, осыпанный жемчугом и цветными камнями. Довольно узкие атласные порты скрывались в желтых сафьяновых сапогах — отличительный знак дворянства во всех землях славянских. Наконец князь перебросил на шею эмалевую цепь, на которой висели серебряные часы луковицею, выглядывающие из-под кушака. Кривая сабля довершала наряд князя Серебряного.

— Хорош ли? — спросил он, улыбаясь с самодовольным видом и глядясь через плечо в речке.

— Молодец! — отвечал стреманный, охорашиваясь сам в новом контуше. — И я теперь, как змея в новой шкуре, — красив и хитер. Давно, князь, не носили мы польского наряда, а по правде сказать, его стоит только надеть — так у всех паненок уже головы кружатся!

— Побереги свою, пан Зеленский. Однако солнце всходит на полдень... пора! — Он завернулся в широкий охабень, подбитый куницами, вскочил в седло, и оба поскакали к замку Колонтая.

Станислав Колонтай, старик лет за шестьдесят, тучный, подагрический и, как водится при богатстве и недуге, — весьма причудливый и своенравный, сидел под широким навесом на крыльце своего неуклюжего палатцо. Все сказанные достоинства выражались на желтом его лице, и длинные седые усы, которыми он подергивал беспрестанно, придавали еще более кислоты его физиономии. На нем надета была, как на китайском мандарине, желтая однорядка со множеством пуговиц, подпоясанная очень низко, ровно по обычаю польскому и для того, чтобы поддерживать двухъярусный его живот. Ноги, обутые в плисовые сапоги, покоились на подушке.

В стороне сидела жена его во французском круглом платье — старушка почтенная, но жеманная; далее несколько соседок, сын их Лев, статный мужчина с выразительным лицом, и паны гости, в которых ни один порядочный дом в Польше не имеет недостатка и в Страстную неделю. Паненки — существа, похожие на наших воспитанниц, покоевцы — род пажей, пахолики — род слуг и вся шляхетская молодежь, составлявшая застольную дворню, стояли или ходили сзади, шутили между собою, болтали любезности девушкам и, как водится, подтрунивали над своим патроном.

Младший конюший объезжал по двору пылкого жеребца, и пан Колонтай, держа в руке бич, изволил повремено им похлопывать, заставляя четвероногого новичка делать прыжки и дыбки. Дамы были заняты своим разговором.

— Добрже, пан Машталярж, досконале! еще задай ему штрапацию: острожки в боки и хлыстом по крестцу, чтобы при осадке хвост на землю ложился... На одном шипу поворачивай, вот так, — да не балуй коня, когда он балует! теперь играй поводами, чтоб оскал не онемел...

— Добрый конь, — сказал хорунжий Солтык, взглянув на него, и снова обратился к даме, которой он что-то нашепывал.

— Настоящая арабская кровь, — примолвил один из поддипал хозяина, — орел, а не конь!

— Пряничный петух, — возразил с презрением хозяин. — Если на тебе выжечь тавро, пан Цаплинский, так ты столько же будешь араб, как этот жеребчик! Не то бы вы запели, господа, если б вам удалось видеть моего рыжего в масле коня, чистой персидской породы, которого добыл я, когда мы с Замойским разбили турок. Змеем подо мной сохнет и ветром по полю носится, копытом из милости на мураву ступает. Только стало бы уменья сидеть на нем, а то уж любо поскачет.

— Пан Станислав слыл удалым наездником, — приветливо молвил режницкий судья Войдзевич.

— Да, честь имею доложить, мы за Батория позвенели на свой пай палашами, и в те поры у нас молодцами хоть мост мости, а Колонтай между ними был не последний. Бывало, как выеду гарцевать в деле — так други и недруги пальцами указывают. Ныне другие времена: новопольская молодежь лучше любит ласкать дамские ножки, чем сабельные ручки.

— Мы слышали, что и пан Станислав в молодую пору был присяжным угодником и любимцем красавиц, — сказал Войдзевич.

— Добрже, добрже, пан Сендзя, что было, то было, только мы в старину не забывали славы для волокитства и не вековали в женских уборных. А вы чересчур изневились, панове!

— Мне кажется, — возразил Лев Колонтай, — что батюшка напрасно обвиняет нас в изнеженности. Уважение к дамам не тушит, а раздувает в нас пламя славолюбия, и недавние победы над русскими доказали, что мы достойны своих предков.

Пан Колонтай принадлежал к общему разряду стариков, для которых все настоящее дурно и все минувшее прекрасно, потому что тогда они были молоды и могли блистать. Желчь в нем разыгралась еще более от противоречия сына, которого он называл Лёвинькой, хотя тому минуло уже двадцать восемь лет: дети в отцовских глазах вечные недоросли.

— Победы? — вскричал он насмешливо, — нечего сказать, славно побеждали твои товарищи под Троицким монастырем и в Москве. И поделом, не вступайтесь за всякого бродягу. Панна Марина повела вас за хвостом своим, а за Жигмунтовы усы выпроводили молодцев.

— Дело доказывает лучше споров, батюшка. Наши вывезли из Москвы до тысячи возов драгоценностей.

— Так слава коням. Кто идет вперед, тому нужны брони, а не кони!

— Беглецы не приводят в торжестве пленных царей за собою!

— Полякам должно краснеть таких торжеств. С бою ли, честью ли взяли Василия? Нет: из монастыря и обманом, да и давай показывать варшавским зевакам за царя человека, их же происками постриженного в монахи; давай прозой и стихами величать себя победителями, потирая бока. Вот весь ваш хваленый поход на Москву!

— Конечно, он стоит похода Батория на Псков,— сказал раздосадованный сын.

Старик закипел.

— Конечно, да там победили нас вьюги, а не люди, зато мы и не хвастались успехом. У кого довольно серебра, тот не натирает ртутью шелегов. Там потерял я лучшего друга и лучшего коня, и с тех пор я поклялся вечною ненавистью к русским, и пусть черт из костей моих выточит игральные кости, если хоть один русский, попавшись ко мне в руки, вырвется из них живой, и мне всего досаднее, когда вы бьете их только словами!

— А взятие Смоленска? — заметил Войдзевич.

В эту минуту князь Серебряный показался в просеке, в сопровождении своего стремянного. Общее движение любопытства очень кстати прервало порыв раздражительности старого Колонтая, и он сам, отенив глаза рукою, принялся рассматривать, кто едет.

— Это Иозеф Бржестовский...— сказала одна панна,— то-то он навезет нам новостей и гостинцев; он так мило умеет рассказывать дворские анекдоты и так верно описывает моды, что по его словам можно кроить, как по мерке.

— Разве Михал Тимон,— возразила другая,— вот нам и первая пара в мазурку; это он — я очень хорошо знаю его осанку.

— Сердце — приметливый живописец,— лукаво заметил Войдзевич.

— Только пан судья плохой судья сердец,— отвечала красавица.

— Это ни тот, ни другой,— молвила третья,— это Вацлав Шадурский,— не худо, чтобы пан хорунжий прочел нам отходную, потому что он уморит со смеху, представляя короля и любимцев его Потоцких, когда они варят золотой суп.

— Панна Ружа может до случая спрятать наперсток,— сказал Лев Колонтай,— панну Сидалию приглашаю выбрать себе другого кавалера для мазурки, и панна Марила отложит до другого времени свою исповедь, как ни досадно это ее черноусому духовнику,— это какой-то незнакомец, милостивые государыни,— но во всяком случае новый поклонник ваших прелестей. Не так ли, пани Элеонора?

— Если он так же любезен, как статен,— отвечала пани Ласская, нежно прищуривая очи на Колонтая.

— О, конечно, пани Элеонора, наружность так обманчива, и глазам опасно доверяться.

— Очи — зеркало души,— говорят стихотворцы.

— Но и самая душа бывает зеркалом, которое все отражает и ничего не хранит.

— Мы знаем, откуда ветер навевает пану Льву нападки на нас. Ваша скромная русская красавица...

Приезд Зеленского прервал все разговоры; он очень ловко и твердо повторил заученную просьбу со всеми окличностями.

— Просим пожаловать,— ласково отвечал старик Колонтай,— моего порога искони не миновали проезжие, и я тем больше рад гостю, что он земляк и шляхтич. Проси пана Маевского не только на час — на месяц; дом мой к его услугам.

Между тем, покуда происходили объяснения и приглашения, князь стоял верхом у въезда и рассматривал гербы на каменной ограде, которые, подобно негодным травам, развевались повсюду. На самом своде ворот прибит был раскрашенный железный щит, и плющ в самом деле прибавлял к нему украшения, не внесенные в печать; зато домовитые ласточки залепили верх его гнездами, не заботясь, что эта вывеска тщеславия дороже хозяину драгоценнейших картин; но, странная вещь, предрассудок, воздвигнувший этот щит, оставил в покое ласточек по другому предрассудку — как будто в доказательство, что внушения природы побеждают заблуждения ума.

Я не ручаюсь, чтобы подобные мысли кружились в голове князя,— они принадлежали не его веку — и тем менее его положению. Его сердце билось — в каждой женщине ему мечталась Варвара. Что скажет он ей? Как встретит она его? Как откроется в своем намерении, не изменят ли ему неожиданные восклицания встречи? У него потемнело в глазах, когда въехал он на широкий двор Колонтая. Оправясь, однако ж, от первого замешательства, он посреди-

не срыгнул с седла и развязно пошел к хозяину. Тот, видя учтивость приезжего, разгладил усы и морщины, и пошла обоюдные приветы. Поляки всегда были щедры на слова, и магнат хотел доказать, что двор для него не *Новая Земля*. В заключение он прибавил: «Я уверен, что пан Маевский, ступив после долгого плена на родную землю, найдет в моем доме родственный прием. Вот жена моя, урожденная княжна Гедройц, и сын мой Лев Колонтай, ротмистр Язды Коронной. С дамами и с молодыми панами вы и сами скоро познакомитесь».

Поцеловав почтительно руку у хозяйки и учтиво раскланявшись с сыном, он был задавлен расспросами от каждого и каждой из собрания. Он благодарил судьбу, что тут не было Варвары, ибо чувствовал, что в ее присутствии никак бы не мог так вольно рассказывать небылицы. Дух подражания, коим так щедро наделила или наказала природа русских, послужил ему тут чрезвычайно. Натершись польщиною при дворе самозванца и находясь с ними в беспрестанных сношениях за переводчика во все время внутренней войны, он удачно ссылался на то, что знал, и извинялся пленом в том, чего не знал, приписывая долгой отвычке ошибки языка. С полчаса спустя полдень на дороге послышался топот коней, предшествуемый звуками бубна. Князь Серебряный подумал сперва, что за ним скачет отряд конницы: ничего не бывало. Пыль расступилась, и глазам его представилась тяжелая линейка, построенная едва ли не из обломков Ноева ковчега. Она влекома была, так сказать, воспоминанием шести тощих лошадей. Впереди скакал бубенщик, чтобы недостойная чернь сворачивала с дороги, а кругом шесть вершников в гусарской одежде.

— Милости просим, пан староста Креславский, милости просим, ясновельможная пани старостина, панны старостувны,— какой вас ветер занес — тысячу лет не видались,— вскричал старик Колонтай, обнимая по очереди это допотопное семейство, и, признаться, глядя на них, последнее приветствие его не могло быть сочтено за преувеличение. Когда выгрузили из линейки всех пани, всех мосек и все картонки,— громкое восклицание: «Обед на столе!» оживило собрание. Хозяин подвел мнимого Маевского к младшей, хотя вовсе не молодой, дочери старосты, подхватил руку ее матери, кряхтя от подагры, но зато лихо моргая усами,— и гости, меняясь приветствиями, потянулись в столовую.

ГЛАВА IV

Я формалист: люблю я очень
В фарфоре чай, вино в стекле;
В обеде русском — добрый сочень.
Roast-beef на английском столе,
Люблю в гостинной вести, фразы,
Люблю в гостинице проказы,
И даже ссоры в злые дни...
(Чего нас боже сохрани!)

Если несколько польских магнатов могли блистать роскошью, как владетельные герцоги, зато три четверти остальных равнялись с ними одной спесью, далеко отставая средствами ее удовлетворить и выказать. Не говорю уже просто о дворянах, хотя каждый из них силился иметь около себя небольшой двор. Все это чванство, нисходя постепенно к бедности, делало только смешней их причуды и тем скорее довершало разорение. Колонтай, один из важнейших помещиков того края, конечно, был богат всем, что составляет первые надобности человека, но денежные доходы его были весьма ограничены. Немецкие купцы посредством евреев покупали, правда, у него лес, рожь, пеньку, сало — но Двина была не очень близка, перевоз колесом в бездорожном краю затруднителен и сплав до Риги, от войны со шведами, неверен, а потому и цены на все чрезвычайно низки. Прибавьте к этому запутанность его дел, бессовестность экономов и арендаторов, беспорядок в управлении и в расходах, потому что в те времена, как у нас доселе, хозяйство считалось недостойною наукою для дворянина, — и вы не удивитесь удивлению князя Серебряного, который, минуя ряд покоев, не заметил в них ничего великолепного, что полагал найти по рассказам поляков. В двух только гостинных стены обиты были золототравчатым штофом, а креслы и стулья обтянуты рытым плисом, но все это было так блекло, что без ошибок его можно, казалось, назвать ровесником Ягеллонов.

В столовой зале по глухой стене тянулись предки Колонтаевы от мала до велика... но, благодаря пыли и копоти, они терялись в сумерках времен, и это обстоятельство, конечно, было не внаклад и портретам, и малярам, их писавшим. В конце залы стоял шкаф со стеклами, раскрашенный и украшенный, как часовня: в нем были помещены в узор серебряные блюда, фигурные кубки, чары, чарочки, кружечки и кружки — наследственная родословная крестин, именин, свадеб, мировых подарков и добыч. На сто-

ле же, так как день был непраздничный,— лежали только при оловянных тарелках серебряные ложки да кабачок и солонки; кружки и рюмки были синего стекла и разных видов и величин.

Гости, жужжа, обходили стол, будто крепость, назначенную к разграблению... Вся кровь зажглась в князе Серебряном, когда он увидел выходящую из противоположных дверей Варвару; она опиралась на руку Льва Колонтая и была в польском или, лучше сказать, в венгерском платье. Две косы, перевитые жемчужною ниткою, два раза окружали ее голову. Белый глазетовый доломан, опущенный соболями, охватывал стройный стан, и голубая атласная исподница с золотою бахромою струилась и шумела в широких складках; стройная ножка заключена была в красный сафьянный черевик. На один миг устремила она прекрасные голубые очи свои на незнакомца; румянец как зарница вспыхнул на лице красавицы — и снова потух он, и снова обратились взоры ее к Колонтаю, как будто обманутые. Князь был уязвлен такою холодностию — он лучше желал, чтоб она подвела его под саблю своею радостию, чем быть безопасным ценой равнодушия.

Сельский каноник прочел «*Oculis omnium*»¹, благословил яства, и все стали садиться. Колонтай, несмотря на то что дамы поместились на одном конце стола, как хозяин, выгадал себе место рядом с Варварою, и бедный князь, сидя на одной стороне с нею, только вкось, и то изредка, мог наслаждаться видом ее носика, перепрыгивая взорами то через толстое брюхо пана Зембины, то через тенистые усы пана Пузины, то через бритую голову пана Радуловича.

— Васан, конечно, русак по вере,— спросил пан староста Креславский, обращая слово к князю,— сдается, пан крестился на правое плечо?

— Крещусь на правое, а рубаю и с правого и с левого! — гордо отвечал Серебряный, негодуя за нескромный вопрос и неучливое выражение «васан», которое почти равняется нашему «сударь».

— Что хорошо, то хорошо,— со смехом вскричал хозяин, которому понравилась эта выходка.— Пускай отцы иезуиты разбирают, латынью или славянщиною отпираются лучше райские двери, пускай они проклинают наших каль-

¹ «Взору всякого» (лат.).

винистов и за чуб тащат козаков в унию: по-нашему тот и свят, кто лучше рубится за отчизну. Не правда ли, пан судья?

— Моя хата с краю, ничего не знаю,— отвечал Войдзевич, отшучиваясь, чтобы не навлечь на себя неудовольствие старосты.

— У палестраитов, как на испорченных часах, не узнаешь правды,— сказал хорунжий Солтык,— одно бьют, а другое показывают.

— По крайней мере,— возразил Войдзевич, скрывая свой гнев,— моя стрелка туда и бьет, куда указывает... Разумеешь, пан хорунжий?

— Разумею, только...

— Сомневаешься?

— Нет, просто не верю!

— Дерзкий мальчик: *satis eloquentiae, sapientiae parum*¹,— произнес он по-латыни, чтобы устранить дам от ссоры.— Знаешь ли, чем платят за подобные речи?

— Не все брать, надо когда-нибудь и поплатиться, пан судья.

— Прошу слово гонору, пан хорунжий!

— Я не отдаю чести тем, которые не стоят ее!

— Не даешь, потому что не из чего!

Бог знает чем бы кончилась ссора, подстрекаемая присутствием общества, и в особенности дам. Такие сшибки были весьма обыкновенны в Польше, где каждый молодой человек, не заботясь о справедливости, жаждал выказать свою храбрость, не ходя далеко. Хозяин, однако ж, поспешил удержать запальчивость противников.

— Тише, господа, прошу вас, тише! Отложите на час ваши сделки — сад велик и вечер долог: успеете еще нарубиться досыта. За обедом дело не о крови, о вине, оно *causa nostrae laetitiae*, источник нашей радости.

— И начало великого зла,— подхватил каноник,— где льется вино, там и кровь брызжет нередко.

— Не хочет ли преподобный отец доказать, что вино пьяно? — спросил шутя Лев Колонтай.

— Не хочет ли пан ротмистр доказать, что нет? — возразил каноник.

— Не только хочу, но и могу: я утверждаю, что пьяно отнюдь не вино, а время!

¹ Достаточно красноречия, мало мудрости (лат.).

— Как время? Каким образом время? Это любопытно, это очень любопытно! — вскричали многие голоса.

— Вы смеетесь немножко рано, господа,— я вам расскажу как. Возьмите вы бочку венгерского и распейте ее в два года, всякий день по две рюмки, не более. Ведь вы не будете с этого пьяны?

— Разумеется, нет,— отвечал пан Зембина, предполагая, что в Польше найдется решительный человек для такого постного опыта.

— Но выпейте же вы две бутылки в полчаса,— вы, без сомнения, опьянеете. Следственно, одно время придает вину хмеля!

— *Se non é vera — ben trovato*¹,— примолвил Солтык, небрежно крутя свои усы. Итальянский язык был тогда в моде между знатью, и ему хотелось выказать знанье дворянских обычаев.

[— *Experto credite* (верьте опытности),— возразил Колонтай,— даже глядя долго на иные глаза, можно прийти в упоение!]

— Bravo, bravo, сынок! — вскричал хозяин, хохоча во все горло,— да я и не подозревал за тобой такой прыти. Своими нестрогими проповедями ты, пожалуй, отобьешь место у патера Голынского!

— Я немного честолубивее, батюшка: мечу в дамские духовники и желал бы начать эту обязанность с панны Барбары!

— Пан Маевский! — возгласил хозяин,— прошу отвратить с этого блюда, да вашмосц ничего не кушает, поглядывая на землячек,— надоедят, приятель, скоро надоедят, и как ни уверен сын, что время пьяно, а хоть час гляди на прекрасные глазки, все надо прибавить кубок-другой, чтобы прийти в упоение. Право, не худо бы пану взять, как следует кушать родовитому шляхтичу, у пана Зембины — за живым зайцем он не мастер гоняться, зато жареный от него не уйдет!

— Особенно, когда он подстрелен паном Станиславом,— отвечал весельчак Зембина, указывая на полную тарелку хозяина,— на одной ноге недалеко ускачешь.

— Ха, ха, ха! Пани старостина, прошу не отказываться: лозанки-то хоть куда! Ясновельможный, или мое мартовское с гренками не нравится?

¹ Если и неправда,— то складно (ит.).

— Настоящее стариковское молоко: как весна, сердце греет.

— За чем же дело стало — неужто помолодеть неохота? Ах, молодость наша, молодость, пан староста, вспомни-ка пирушки в Кракове.

— То-то было времечко, не нынешнему чета!

— Куда нынешнее!! Теперь не только сердце, да и солнце польское простыло. Гей, венгерского, старого венгерского, чтобы Стефана Батория помнило! (Наливает в большой серебряный кубок.) Да обновится старожитная Польша! От пана до пана! (Передает кубок старосте.)

— Да живет новая по-старинному! (Передает соседу.)

— Да цветет польская слава!

— Да вечно зеленеет свобода шляхетская!

Кубок шел кругом, и каждый возглашал заздравие, какое внушало ему чувство, ум или память. Другой круг посвящен был именным заздравиям, и, разумеется, присутствующие красавицы не были забыты. Приветы, один другого затейливее, нередко один другого нелепее, дождались. Когда дошла очередь до Льва Колонтая — он наклонился, схватил с ножки Варвары черевик, несмотря на ее крик и сопротивление, налил в него вина — и, подняв, произнес:

— Мое первое счастье сражаться за свободу отечества, а второе — терять свою собственную в плену прекрасных!.. Предлагаю здоровье русской розы — панны Барбары!

Долгое «браво» раздалось со стороны мужчин.

— От пана до пана черевик красавицы! — восклицали они, хлопая в ладоши, — мы в войне только с русской силой, а не с русской красотой!

Сафьянный башмачок летел из рук в руки, дамы кусали губы и перешептывались, а застенчивая Варвара раскланивалась, не подымая глаз и пылая, как роза. Казалось, она просила пощады, а не торжества.

— Нельзя ли прибавить к этому: здоровье пана ротмистра? — спросил хорунжий Солтык полушутя.

— Это зависит не от меня, — отвечал тот строго, но со вздохом, поцеловав руку у девушки. Варвара не знала, куда деваться; две крупные слезы дрожали на ее ресницах, высоко вздымалась полная грудь. Я бы сказал, что она была еще прелестнее обыкновенного, если б это было возможно.

Не трудно угадать, в каком волнении находился тогда князь Серебряный — иглы текли у него по жилам, рев-

ность душила сердце. Он говорил не думая, отвечал не внимая; ему казалось, он глотал пламя в вине, предлагаемом соперником; со всем тем он жадно прильнул устами к башмачку той, которую любил. Едва владея собою, он спросил у хорунжего:

— Разве есть что-нибудь положенное между молодым Колонтаем и пленницею?

— Наверно не знаю,— отвечал тот,— но, кажется, свадьбы не миновать. Старик любит сына до безумия, и что он захочет — то свято. Конечно, за ней нельзя ждать приданого, но она из старинных дворян русских, а главное, что Лев в нее врезался по уши, только ею и бредит во сне и наяву.

— Любят ли его взаимно? — сказал князь, едва переводя дыхание, между тем быстрые краски изменяли его лицо.

— Прошу извинить, пан Яромир,— голова у нее не хрустальная, пан Маевский, и я не мог видеть ее мыслей. Впрочем, Лев молод, знатен, богат и — что должно бы поставить в заглавие — хорош собою. Какое женское сердце не увлечется четверкою таких достоинств? Кроме этого, она обязана ему благодарностию: благодаря Льву она живет здесь не хуже принца Максимилиана в плену у Замойского в Красном Ставе. Если б не он, не таково бы было ей житье и от самого старика, который ненавидит русских за то, что они были храбры, и от наших дам, которые не прощают красоты.

Эти вести заставили князя повесить голову. Между тем беседа становилась шумнее и шумнее: молодые паны покинули свои места и, опершись на спинку стула, вполголоса говорили любезности своим дамам. Старики толковали о политике.

— А что, пан Маевский, жалеют ли русские нашего королевича: ведь они сами звали его на престол? — спросил староста у князя Серебряного, покашливая.

— Иногда люди желают неизвестного, но жалеть неизвестного невозможно,— отвечал князь скромно.

— А кто виноват, что они отказались от польской династии? Сам король наш. Когда бы не позавидовал сыну, так русская корона не ушла бы у него в лес, как заяц,— сказал хозяин.

— Сомневаюсь, чтобы русские потерпели над собой иноплеменного царя: татарское владычество увековечило

в них ненависть ко всему, что не русское. Владислава звали только несколько честолюбцев.

— Просты же остальные бояре, право, просты: неужели не смыслят они, что чужеземного царя легче держать нашему брату в лапках?

— Московский царь властвует не для одних магнатов, а для всего народа; а народ хочет видеть в царе отца, и кровного, а не наемника чужеземца. Теперь всей землею они выбрали себе достойного государя.

— И мы, кажется, выбираем королей не при свечах. Не так ли, пан староста? Однако пусть лукавый утопит в бочке венгерского мою душу, если Жигмунт не рвет наши *Rasta conventa* на завивку шведских своих усов. Но дай только дожждаться первого сейма — у меня найдется свой Зебржидовский — он грянет «непозволям», как востовая пушка.

— Вспоминают ли москали наших удальцов? — спросил Солтык.

Лицо князя вспыхнуло гневом, но он укротил это движение.

— Поступки полков, бывших с Тушинским самозванцем, и наездники Лисовского были причиною сильной ненависти к нам, — отвечал он, потупив очи.

— Какое нам дело, любят ли нас рыбы, когда мы их едим, — возразил старик Колонтай. — Ай, спасибо Лисовскому!

— Кстати о нем, — прибавил староста, — Лисовскому велено опять собираться на Москву, и он прислал сюда Мациевского вербовать охотников, разумеется, таких удальцов, у которых *peque ges, peque spes bonum* (ни добра, ни надежды). Завтра он будет в Режицу.

— Мациевский! — воскликнул князь невольно, вспомя, что они хорошо знакомы друг другу и в доме, и в поле.

— Он должен быть приятель панский, — сказал Лев Колонтай. — Вы оба служили под знаменем Жолкевского?

Князь отвечал склонением головы; он молчал, но зато сердце его говорило тем громче. «Безумец, безумец! — думал он, — не для того ли, чтобы побывать на свадьбе у врага и соперника, жертвуешь ты жизнью? Не ожидаешь ли ты любви от девишки, которая не дарит тебя даже воспоминанием? Беги, не ожидая новых унижений и новых бед!»

Обед кончился, и женщины, подстрекаемые любопытством, окружили мнимого выходца из плена, а может быть, желали заманить в новый. Чтобы отплатить Варваре тою же монетою, он показывал, будто и не замечает ее. «Не ищи, и в тебе искать будут!» Правило очень верное, но только для особ, одаренных щедро от природы умом или красотою, — и, конечно, князь мог назваться одним из ее баловней. Польки очень были довольны его отрывистыми ответами, его дикою живостию. Кто понравится им, у того и самые недостатки им кажутся милыми, самые ошибки — остроумными. Впрочем, он довольно дорого платил за расположение к нему дам: они засыпали его расспросами, предложениями и приглашениями.

— Вы, верно, пан Маевский, — сказала одна черноглазая дама, — выучились петь по-русски — спойте нам что-нибудь, у вас такой прекрасный голос: это должно быть очень любопытно...

— Чему быть хорошему на холопском языке? — важно произнес пан староста, для которого язык его крестьян значил не более как мычанье быков.

— На Руси почти то же говорят о польском языке, — возразил князь, — хотя я ссылаюсь на моих прекрасных соотечественниц: он так мило звучит в слове «кохам», что его нельзя выговорить, не вздохнувши! Я уверен, однако же, что и перевод этого слова: «люблю тебя» — в устах русской красавицы для меня показался бы не менее сладостен и благозвучен.

Он с жаром произнес последние слова, устремив в припадке нежности очи свои на Варвару, которая одна не приближалась к нему, одна не заводила с ним речи. Казалось, она вздрогнула, услышав слова родные, румянец разлился по челу, уста раскрылись, как будто для ответа, — она подняла длинные ресницы свои — и снова опустила их молча. Князь был вне себя от досады. Несмотря на это, он нехотя должен был взять многострунную цитру, инструмент, уже знакомый ему по Москве, и так как он хорошо играл на гусях, то в несколько переборов применился к ладам ее. Лев Колонтай взялся вторить ему на флейте, и после звучного аккорда князь Серебряный запел:

Что не ласточка, не касаточка
Вкруг тепла гнезда увивается, — и проч.

— Очень мило, прекрасно! — Громкие рукоплескания раздались кругом — но ему лестно было одобрение только одной особы — и этой особы уж не было в комнате.

ГЛАВА V

За слово, за надменный взгляд
Рубиться он готов и рад;
О прежней дружбе нет поминок —
И вот на званый поединок
Сошлись: товарищи кругом,
Поклоны — и мечи крестом.

— На два слова, пан Маевский,— сказал на ухо князю хорунжий Солтык и дал ему знак за собою следовать.

Когда оба они вышли на крыльцо, Солтык взял его под руку и быстрыми шагами почти повлек изумленного гостя в сад. В безмолвии пробегали они длинные дорожки, осененные дедовскими липами и кленами, на которых несколько поколений ворон невозмутимо пользовались тенью и приютом. Когда они были уже в таком отдалении, что не могли быть видимы из замка, хорунжий остановился.

— Прошу извинить,— сказал он князю, который с нетерпением ожидал объяснения.— Я беспокою пана из безделицы, но она необходима. Вот в чем дело: я давно уж грызу зубы на Войдзевича за то, что он отсудил при разделе имения моего дяди лучшую долю дальнему родственнику и, что хуже всего, отбивает у меня ласки пани Лаской. Сегодня за обедом дошло до расчета — и теперь мне надобен товарищ. Надеюсь, что, как родовитый шляхтич и храбрый воин, пан Маевский удостоит променять за меня пару-другую сабельных ударов. Я бы мог просить Колонтая, да совестно отрывать его от коханки, а кроме него нас только двое здесь из коронной службы; итак, могу ли?..

— Я готов охотно служить рукой и волей пану хорунжему и очень благодарен за доверенность,— отвечал князь, который воображал услышать гораздо грознейшие вести.— Не нужно ли пригласить сюда пана судью?

— О нет, напрасная забота, пан Маевский, мои речи заставили его эту обязанность взять на себя. Он сейчас будет сам и с товарищем, и у меня страх чешется рука напечатать на лбу этого ходячего литовского артикула имя свое красными буквами. Да вот они.

Противники приближались. Войдзевич выбрал товарищем толстяка Зембину, и все, свернув с дорожки вправо, пошли чащею. Впереди двое врагов по чувствам, сзади двое по случаю.

— Очень рад утвердить новое знакомство дракою,— сказал Зембина, подавая князю руку,— но, между нами будь сказано,— прибавил он тише,— из-за чего нам рубить друг друга без милосердия? Пан в первый раз видит Солтыка, а я не заплакал бы по Войдзевичу, увидясь и в последний. Впрочем, так как у нас никто не отказывается ни от обеда, ни от поединка, обычай непременно требует от нас бою и крови, пусть так,— по крайней мере, от нас зависит порасчетливее отвешивать удары, чтобы рана не помешала аппетиту, потеря которого, признаться сказать, мне важнее всех судей на свете.

Откровенность Зембины очень понравилась князю.

— От души согласен на предложение,— отвечал он смеючись,— я не имею против пана Зембины никакой личности и очень рад хоть каплей ума смягчить безрассудный обычай.

Небольшая тенистая поляна, заслоненная густыми деревьями, была, как нарочно, устроена для свиданий любви и чести или, по крайней мере, для того, что величают этими громкими именами. Товарищи указали противникам место и рядом с ними сами обнажили сабли. По слову: «раз, два, три!» — каждый из них, топнув ногою, ступил шаг вперед, и, сделав поклон шапками и оружием, скрестили сабли. На них можно было любоваться: гордо, ловко стали они в позицию, заложив левые руки за спину и стройной стопой поражая землю, чтобы обмануть неприятеля, и между тем не сводя очей друг с друга и чуть выбля рукоятками, готовя неожиданный удар. И вот, как луч, сверкнул он — но везде клинок встречает клинок, всё злая усмешка не слетает с обоих лиц, всё звуки нетерпения вырываются сквозь зубы, стиснутые гневом.

— Начнем,— сказал Зембина, закидывая за плечи рукава контуша. Сделав несколько выпадов, брякнув несколько раз саблями, случаем или умыслом,— только клинок Серебряного скользнул по сабле Зембины и рассек ему немного руку ниже локтя.

— *Consomato est!* (совершилось!) — произнес он с комическою важностию.— Много одолжен, пан Маевский: злот, который бы мне заплатить за кровопускание, теперь в кармане. Пускай платок пропитается,— прибавил он князю, который заботливо перевязывал его рану,— это завидный цветок для нашего брата героя,— я уверен, что к нему слетятся все наши паненки, как бабочки.

Как ни хвалился хорунжий удалством, но судья был если не искуснее, то гораздо хладнокровнее его в шпажном деле и так умел раздражить противника, что он забыл закрываться, думая только о нападении. Выманив неосторожный удар, судья одним движением руки отразил его и рубнул в открытое плечо Солтыка: сабля раненого выпала из обессиленной руки; он зашатался.

— Упадаю к ногам панским,— сказал Войдзевич, раскланиваясь с самодовольной улыбкою.

— Лежу у ваших,— отвечал насмешливо Солтык, у которого никакое положение не могло отнять ни веселости, ни охоты играть словами, как опасностями.

— Однако моя сабля так иззубрена,— примолвил судья,— что в следующий раз мне придется пилить своего противника. Благодарю за честь, господа.

Войдзевич удалился, хладнокровно крутя усы и налевая:

Польша богата всяким добром,
Польша славна и мечом, и пером!

— Несносный хвостун! — сказал Солтык, крихтя от перевязки.

— В этот раз ему есть чем хвалиться, проуча такого лихого рубаку, каков Солтык,— возразил Зембина.— Не только он сам, да и клинок его вырастет теперь двумя вершками.

— Не его уменье, а моя ошибка тому виною.

— Да что ж такое уменье, когда не мастерство пользоваться чужими ошибками? Как ни говори, а придется пану хорунжему сидеть в углу, не танцуя даже польского, целую неделю.

— Да и ты, кажется, с обновкой, пан Зембина?

— Безделица, сущая безделица, не больше крови, как на подписку имени, когда я вздумаю заложить душу свою за бочку венгерского.

Хорунжий, встретя своих людей, отблагодарил товарищей за участие и отправился, поддерживаем ими, в свою комнату для леченья и покоя.

Князь Серебряный был очень рад, что его на время оставили с самим собою: его утомило множество неожиданных чувств и происшествий в течение одного дня. Сомнение, безнадежность, ревность и надежда попеременно волновали

его душу — но, видя опасность, висящую над головою, он будто потерял волю избежать ее удалением. Так в страшном сне мы видим порой, будто лютый зверь гонится за нами, — и не можем оторвать ног от земли; будто незримая сила влечет нас к пропасти, сердце замирает — и нет сил остановиться!

Не зная куда и зачем, шел Серебряный по берегу небольшого озера, к которому примыкал сад. Едва протоптанная стезя завела его на длинный мыс, далеко вдающийся в озеро. Плакучие березы клонили зыбкие своды до самых корней своих, и лучи солнца, просеиваясь через сеть зелени, рассыпались блестками по влаге. Мирно лежало озеро в берегах своих — посреди его недвижно плыл лебедь, будто созерцаая небосклон, отраженный водами, — подобие чистой души над безмятежным морем дум, в коих светлеет далекое небо истины.

В каком бы состоянии ни был человек, в какой бы век он ни жил, но больше или менее, только всегда природа имеет на него влияние или посредством тела на дух или чрез ум на чувства. Нахмурен, стиснув руки на груди, глядел князь на природу окрестную, и тишина и светлость ее понемногу проникали до его сердца: оно, как ночной цветок, развернулось росе утешения, но утешения, смешанного с горечью. Никогда сильнее не чувствуешь одиночества, как взирая на прелесть творения; так бы хотелось, прижав к груди милую, сказать: «Посмотри, как это прекрасно!» — или, склонясь на плечо ее, безмолвно любоваться ее наслаждением! Но когда нет раздела — то чувство, которое могло бы стать счастьем, превращается в глубокую грусть.

«Где ты, милая?» — думал князь Серебряный со вздохом... Он поднял очи, и что ж? В десяти шагах от него, под мрачною елью, на дерновой скамье сидела Варвара. В глубокой думе была красавица; в отуманенных печалью глазах ее сверкали слезы: она походила на лилию, спрыснутую вешней росой. Сомнение, досада, грусть — все исчезло для князя; тонкое пламя проникло его существо — он видел только ее, только она существовала для него в целом мире...

— Варинька! милая Варинька! — вскричал он.

Она вздрогнула, вскочила — несколько мгновений стояла в нерешимости изумления — и с радостным восклицанием: «Ты ль это, князь Степан?» — рыдая, упала к нему на грудь.

Серебряному казалось, что все это происходило во сне. Милую ли прижимал он к сердцу, которую считал для себя погибшею? Ему ли растворились вновь двери надежды и радости? Варвара пришла в себя, вырвалась из объятий юноши, но чело ее не пылало румянцем — на нем сияло одно безмятежное удовольствие. Она села рядом с князем и долго, долго смотрела на него.

— Князь,— произнесла она,— я встретила тебя не только как одноземца, но как родственника, как брата! Вот уже более двух лет, как я похищена из отчины, лишилась матери, забыта родными, не видя русского лица, не слыша голоса родимого. Князь Степан, я одного тебя знала хорошо в Москве — ты любил водить речь с неопытною девушкою — и я часто вспоминала тебя на чужбине; но если бы и чужой, и вовсе незнакомый, только русский повстречался мне, я бы рада была ему, как родному. Я с первого взгляда узнала тебя — но, видя эту одежду, слыша ложное имя, я страшилась малейшим движением изменить одноземцу; но когда ты запел русскую песню,— примолвила Варвара с умилением,— сердце во мне закатилось — я убежала поплакать сюда по своей девической воле, по родине Святой Руси! Мое младенчество, мои прежние радости и печали, все, все обновилось в памяти — но когда ты назвал меня семейным именем, мне казалось, что голос матери зовет меня, что я опять дома и в отечестве.

— Я пришел с тем, чтоб возвратить тебе отечество,— сказал до слез тронутый князь.

— Сладок русской душе голос и разум речей твоих — они обещают свободу,— но, ради бога, будь осторожнее, скрытнее: Лев Колонтай подозрителен — он силен и грозен!

— Хотя бы он и в самом деле был лев, я и тогда похитил бы тебя из когтей его. Но теперь время не слов, а дела: решилась ли бежать отсель этой ночью?

— В эту ночь весь дом будет на ногах, готовятся к завтрашнему дню рождения хозяйки... отложим все до завтра — замешательство и хмель праздничный лучше скроют приготовления к побегу.

— Варвара Михайловна, располагай мною, как бог внушил тебе, но мне кажется, что замедленье умножит опасности, хотя и удалит некоторые препятствия. Назначенный стрелецким головою в Опочку, я считал тебя пленницею Жеготы и прошлой ночью сделал набег на село панцерных дворян, разграбил его — и, обманутый в своей надежде,

решился добраться сюда, чтобы хоть головою своей выручить тебя из плена.

— Ты сделал набег! О князь, князь, у меня нет слов выразить благодарность — и страх за тебя... Колонтай ненавидит русских, Польша в войне с Москвою — и ты, наездник, здесь, посреди врагов — о беги, беги, покуда есть время...

— Мне бежать? Мне покинуть тебя? Скорее дом Колонтая двинется ко Пскову, чем я один отсюда. Для того ли я нашел тебя, чтобы потерять вдвойне?

— Но тебя могут узнать, открыть, прежде чем мы найдем случай к общему бегству... ты, не спасши меня, прибавишь мне раскаяние к печали, что я была виной твоей гибели, — удались, оставь меня моей горькой участи!

Сомнения князя обновились.

— Варвара Михайловна! — сказал он мрачно, — я не понимаю тебя. Одно средство представит тебе увидеть родину — это моя помощь; и ты хочешь удалить ее?

— Я не хочу быть на воле ценою крови твоей.

— Скажи лучше, тебе мило пленничество.

— Князь, князь! ты бы не произнес этого, если б знал, какво птичке и в золотой клетке и как много песку в хлебе чужеземца! Бог видит, превратилось ли во мне сердце русское!

— Варвара Михайловна! позволь мне один вопрос: любишь ли ты Льва Колонтая?

Варвара потупила очи — и молчала; но румянец, проступивший даже на высокой шее, доказывал, что кровь ее волновалась.

Князь Серебряный повторил вопрос свой.

— Он стоит любви, — отвечала она твердо и спокойно, — только его великодушию обязана я минутами покоя и радости в враждебной земле этой.

Страшно пылало лицо князя.

— Прямо и беззаветно прошу сказать: любишь ли ты Льва Колонтая? — произнес он.

— В эти минуты говорить о любви, князь... — отвечала Варвара, слыша, что многие голоса призывали ее по саду, — если не удастся поговорить о деле сегодня — то завтра ты узнаешь все: и мое решение, и мое сердце... Да покроет тебя ангел-хранитель для моего спасения!

Она мелькнула как тень и скрылась от изумленных взоров князя Степана.

Он не знал, что и думать о загадочных словах Варвары, — то они казались ему выражением девической робости и стыдливости, то признанием в склонности к сопернику. Самолюбие стояло за первое, ревность утверждала второе. Во всяком случае он был влюбленнее, чем когда-нибудь, и Варвара казалась ему тем прелестнее; но как ни старался он приблизиться к ней наедине — искания его оставались безуспешны. В весь вечер он только среди толпы других гостей мог говорить с нею, и лишь изредка украдкою брошенный взор участия награждал его за скуку казаться веселым.

Когда после ужина в отведенной ему комнате он увиделся с Зеленским, опасения его умножены были рассказом сего последнего, что в корчме, куда приглашал он новых своих знакомцев, покоевцев Колонтая, встретился он с каким-то забиякою шляхтичем, который дерзнул утверждать, что в Остроге, в городе, названном отчиною князя, никогда не бывало Маевских. Правду сказать, что он был очень пьян — и слова его мало давали веры, но он может протрезвиться и распустить такие вести далее. Кроме того, пан Зеленский заметил, что Колонтай говорил что-то на ухо своему конюшему и тот не спускал глаз с князя; что несколько человек бродили всегда кругом его, когда он прогуливался в саду; наконец, опасливый стремянный дал заметить боярину, что узкое окно его спальни было с решеткою, а дверь дубовая с пробоями.

— Итак, ты думаешь, что мы открыты? — сказал князь, улыбаясь.

— По крайней мере, подозреваемы, — отвечал стремянный. — Я задам коням овса, — примолвил он будто мимоходом.

— Пусть едят на здоровье: в эту ночь мы не потревожим их, я чуть держусь на ногах от бессонницы, и тот, кто нарушит покой мой, — дорого заплатит за дерзость.

Говоря это, он поместил свои пистолеты на стуле, положил обнаженную саблю под подушку и, только сняв верхнее платье, кинулся в постель. Зеленский был осторожнее: он притащил к дверям длинный стол и растянулся на нем в плаще своем, чтобы при малейшем стуке быть готову на отражение. Со всем тем страх долго мешал ему закрыть глаза, и князь Серебряный давно уже спал крепким сном, когда оруженосец его ворочался еще с боку на бок.

ГЛАВА VI

Их вера — в колокольном звоне,
Их образованность — в поклоне.

С польскою

Ненастно было утро, и утомленный князь проспал бы более обыкновенного под однозвучный ропот дождя, если б Зеленский не разбудил его извещением, что пора идти к завтраку, напоминая притом, чтобы он приготовил приветствие хозяйке на день ее рождения. Князь встрепенулся, освежил себя водою, расчесал кудри на буйной головушке, нарядился молодцем и по пословице «утро вечера мудренее» гораздо покойнее рассуждал о том, что случилось, и смелее пошел навстречу тому, что могло случиться. Все гости собрались уже поздравить пани Колонтаеву и шумели вокруг нее, как пчелы около запертого улья. В широких фижмах, в высоком кружевном чепце она жеманно поворачивалась на деревянных каблучках, отвечая на все желания и приветствия, которые имеют удивительное свойство никогда не изнашиваться и приходиться ко всякому лицу. Отдав пошлину хозяйке и раскланиваясь дамам, князь заметил, что на лице Варвары разлита была какая-то бледная томность, и она отвечала на взор столь нежно-укорительным взором, что он тысячу раз укорил себя за вчерашнюю подозрительность.

Старик Колонтай любил шутить и любил, чтобы смеялись, когда он намеревался смешить. Разумеется, зная его слабость, догадливые хохотали прежде, нежели он успевал отворить рот.

— Поздравляю дам с ненастною погодою,— сказал он,— грибы в лесу и лестные приветы в гостиных от дождя высыпаются; теперь молодежь прильнет к вам как тень на целый день!

— И не мудрено,— возразил Солтык,— прекрасный пол наше солнце.

— Много чести,— сказала пани Лаская,— и еще больше заботы; довольно с нас быть скромными цветами, которых живит и красит солнце, нежели самым солнцем, на которое ропщут нередко и за то даже, что от него загорают.

— Я бы готов стать арабом, лишь бы приблизиться к пылкому светилу,— сказал Войдзевич, поглядывая на даму, подле которой сидел он. Ласковая улыбка была ответом на приветствие.

— Для мотылька довольно и свечи, чтоб ожечься,— возразила пани Ласская, лукаво посматривая на эту чету и желая, что называется, одним камнем убить двух воробьев.

— О, конечно, для мотылька довольно и свечи,— воскликнул князь Серебряный, устремя пылкий взор на Варвару,— зато орел бесстрашно глядит на лучезарное светило.

— Берегите свои восковые крылышки, чтобы они не растаяли в чужом небе,— сказал Лев Колонтай сердито.

— Что значит «в чужом небе», пан Колонтай? — гордо спросил князь,— в любви и в воздухе нет границ.

— В любви, в любви?.. это дело другое, пан Маевский, я не знал, что вы зашли так далеко,— насмешливо возразил Лев.

— Полноте вам летать и трещать по ветру, как бумажные змеи,— сказал старик Колонтай, взявши за руки обоих противников.— Господа, прошу завтракать — натошак не споро и богу молиться, а уже повозки у крыльца, чтоб ехать до костела.

Гораздо легче сказать, чего не было, нежели то, что было за старинным завтраком польским,— и потому, не желая растревлять охоты к еде в тех, которые еще не кушали, и не желая скучать тем, которые уже сыты, я умолчу о том. Вилки уже перестали звенеть по тарелкам, рюмки смиренно стояли на столе и языки опять сменили зубы,— когда вбежал покоевец в комнату сказать на ухо старому Колонтаю, что пан Жегота просит позволения видеть его.

— Прах побери этого Жеготу, у него вовсе не праздничное лицо,— ворчал хозяин,— ну, что ж стал? Кликни его сюда. Ведь мне не встречать его на крыльце; верно, с поздравленьем подъехал, старая лиса.

Лев потихоньку заметил отцу, что Жегота не стоит чести быть принятым в хорошем обществе.

— Сам я терпеть не могу этого подорожного разбойника, да человек-то нужный. Он стережет мои деревни от русских наездов и порой посужается деньгами — хоть и за адские проценты. Да ведь мне не с ним детей крестить, плеснул ему рюмку водки, да и подал ее от нас; теперь ведь не на сейм собираемся. Здорово, пан вахмистр,— сказал он входящему Жеготе.— Как живешь, можешь?

Жегота был старик высокого роста, широк плечом и зверовиден на лицо. Под орлиным носом подвешены были два

огромных уса; серые очи сверкали из-под густых бровей — все черты и приемы выражали дерзость и жестокость, худо скрытые под униженными поклонами и лживыми словами. Изношенный синий кафтан его вовсе был создан не для посещений, но за поясом заткнут был пистолет, оправленный в серебро, и широкая сабля качалась на боку. Он с ног до головы обрызган был грязью. Чудная его фигура обратила на себя общее внимание.

— Ну, что скажешь, пан Сорвиголова? — спросил хозяин, когда тот обнял его колено.

— Я едва унес свою на плечах, ясновельможный, — отвечал смиренно Жегота. — Русские наехали на наше селение в позапрошлую ночь, разграбили, выжгли, угнали скот, перестреляли многих панцерников. Панская деревня Тримостье, что на дороге, — хоть шаром покати.

— Русские осмелились сделать наезд? разграбить мою деревню? Это неслыханная наглость, за это надо их проучить, за это надо втрое им выместить. Да что же ты делал сам, пан Жегота, чего глядели твои панцерники? Разве даром держит вас король на границе? Разве затем даны вам преимущества шляхетские, чтобы вы провозили запрещенные товары да шильничали по большим дорогам? Я уверен, что русские в погону за тобой ворвались в наши границы, а твои удалцы — до старого леса, привыкши воевать больше с карманами, чем с ладунками!

— Прошу извинить, ясновельможный; я, правда, был на полеванье, только в другом краю, за Великою. В Опочку приехал новый стрелецкий голова, князь Серебряный, — и ему-то вздумалось показать свое молодечество. Я догнал их уже близ переправы, но после небольшой перестрелки ничего не мог отбить. Приезжаю домой — одни головни курятся, сундуки разбились, старший сын тяжело ранен. С обеда я поскакал сюда просить у пана защиты и помощи и вчерась бы вечером был здесь, да на дороге конь пал, и я верст пятнадцать тащился ночью пешком.

— Это срам, это позор имени польскому, я не стерплю этого!

— Не дай в обиду нас, бедняков, пан Колонтай; если спустит им магнат, так они будут у шляхты хозяйничать, как в своем кармане. Смилуйся, ясновельможный!

— Пусть меня убьет не бомба, а пивная бутылка, лопнувши, если я с русских не возьму за каждую баранью шкурку по коже. Я с ними разотчусь, разведуюсь!

Многие шляхтичи кричали: «На Русь, на Русь!»

— Я кровью смою след их с земли польской. Пан Жегота, назначаю пятьдесят рейтаров с моим ротмистром, чтобы вместе с панцерниками ударить под Опочку. Пони-маешь?

— Где я пройду лисой, там со страху три года курицы не несутся, а где волком проскачу, там долго и трава не будет расти. Положись на меня, ясновельможный: будет где погреть руки и выкрасить контуши!

— То-то, Жегота, не положи охулки на руку. Сегодня ввечеру выступят мой, чтобы соединиться с твоими под Люцеюном,— последние приказы получишь с паном Горжельским.

— Лихо грянем! — сказал Жегота, потирая руки со злобною радостью,— не привести ли вельможному москаленка для потехи?

— Ни медвежонка; мне и русский дух надоел. На тебя уж давно грызутся судьи воеводы, Жегота; смотри — если успеешь за Великой — я тебе стена; а нет — так нет, и на глаза не кажись.

— Либо пан, либо пропал! — отвечал атаман, раскланиваясь.

— Впрочем, господа,— сказал, успокоясь, хозяин,— эта вздорная сделка не мешает нам ввечеру потанцевать, а теперь съездить в церковь. Молодежь — охотники — могут отправиться ночью и догнать отряд на дороге. Просим, просим.

Тяжелые кареты, линейки и брички потянулись к костелу через грязное местечко, полунаселенное жидами, дворней и немногими ремесленниками. Неопрятные домишки, казалось, кланялись прохожим или ожидали первого ветра, чтобы повалиться. Маленькие окошки, очень похожие на глаза с бельмами, заклеены были бумагою или тряпками. Почти нагие жиденята выползли дивиться на поезд, и оборванные жида снимали не только шляпы, но даже ермолки свои, низменно кланяясь панству, которое не удостоивало их даже взором. У самой церкви колеса брички, в которой сидели князь и Солтык, совсем утонули в луже.

— Неужели здесь всегда столько воды? — спросил первый из них.

— Сохрани бог,— отвечал Солтык.— Весной и осенью здесь гораздо менее воды, но зато втрое более грязи.

— Прекрасное утешение! И этот шинок противу самых дверей церковных — не очень благонравное сочетание: в нем уже звонят стаканами, прежде чем брякнуло кадило.

— Где бог строит свой храм, там и лукавый ставит свою западню... Но как быть? Колонтаю жид платит за корчму, а добрые католики здесь греются, озябнув в церкви, или освежаются, когда в ней жарко.

— Недалек, только труден здесь переход из ада в рай.

— О, конечно; из этого чистилища не вытащат одни молитвы.

Колокольный звон встретил Колонтая, и высыпавший на паперть народ низко кланялся и раздавался врознь, когда он важно шел в средину. Казалось бы, у престола всевышнего человек должен был забыть или, по крайней мере, умерить гордость свою,— напротив, он выказывает ее в храме больше, чем где-нибудь, и выставляет себя, как на идолопоклонение. Кудрявые гербы, пышные балдахины, богатые подушки, неприступные перины отделяют и отличают его от собратий — он и тут не хочет казаться человеком. Бегущие впереди Колонтая пахолики с ковриком и молитвенником не очень учтиво толкали дробных шляхтичей, комиссаров и экономов и, наконец, простой народ и без всякого внимания наступали на крестьян и крестьянок, которые по католическому обычаю лежали на полу крестом, распростерши руки, не слыша в набожном углублении шуму приезда.

Сиповатые органы прогремели, и началась служба. По окончании обедни патер удостоил прихожан латинскою проповедью, которая, без сомнения, была превосходна, потому что ее никто не понял, не исключая, может быть, и самого проповедника. Большая часть дворянства, несмотря на изучение латинского языка, не больше понимала его, как турки арабский, и несколько десятков заученных пословиц, прибауток и судейских выражений заключали всю премудрость знаменитого шляхетства польского.

Все почтенные соседи, не успевшие приехать ранее, собрались в церковь и, как водится, приглашены были в замок. Званный обед продолжался чуть ли не до завтра, со всеми причудами того времени, и как ни привычен был князь Серебряный к долгим именинным обедам на родине, только этот показался ему длиннее ноябрьской ночи. Намерение Жеготы по долгу и по сердцу отзывало его

в Опочку — он кипел нетерпением перемолвиться с Варварой не одними взорами и решился во что бы то ни стало увезти ее сквозь тысячу опасностей: Колонтай мрачно следил взорами малейшее движение обоих.

Уже давно встали из-за стола: дамы были милы, как обыкновенно, кавалеры любезны необыкновенно — веселость и любовь одушевляли всех. Наконец раздался народный польский танец, и все мужчины, заправляя распашные рукава за спину, опираясь левой рукой на саблю и по временам лаская сановитые усы, с гордой осанкою, но с покорным лицом пошли вокруг, каждый со своей дамою, улыбаясь на ее речи и лестно отвечая на них. Каждая выступка, всякий оборот отличался разнообразием движений, вместе ловких и воинственных. Князь Серебряный кинулся к Варваре — но рука Колонтая предупредила его: они несколько мгновений стояли, пожирая друг друга гневными взорами.

— Что это значит, пан Маевский? — надменно спросил Лев Колонтай, — мы на всяком шагу сталкиваемся!

— Это значит, что пан Колонтай заслоняет мне дорогу.

— Дорога широка, пан Маевский!

— Не шире моей сабли! — вскричал в запальчивости князь Серебряный.

Оба схватились за рукоятки.

— И, верно, не долее моего терпения. Пан Маевский, завтра мы померяемся клинками!

— Зачем же не теперь, не сейчас?

— Ради меня, ради бога, оставьте вашу ссору! — вскричала по-русски бледная, трепетная Варвара, кидаясь между ими; но противники не переставали грозить друг другу.

— Пали! — раздалось из ближней комнаты; выстрел грянул, и перепуганные дамы разбежались во все стороны: жена старика Колонтая с криком упала на пол.

— Помогите ей, помогите! — шумели дамы; мужчины с изумлением толпились около... Лев Колонтай, поблуднев, кинулся к матери.

— Безрассудный, — произнесла торопливо Варвара князю, — ты накликаешь себе опасностей, — но я решилась... в десять часов ровно я буду в саду у старой башни.

Сказав это, она мелькнула в круг женщин, суетившихся около хозяйки.

Я ль не изведал на веку
Любови терния и розы,
Ее восторг, ее угрозы,
И гнева знойную тоску,
И неги сладостные слезы!

Между тем старый Колонтай, стоя на пороге, хохотал так усердно, что брюхо его волновалось, как парус. Ему вторил пан староста и еще несколько человек стариков — венгерское плескалось из рюмок, которые держали они в руках.

— Каково попал? каково уметил? — восклицал хозяин. — Не беспокойтесь, пани и панны, — у жены моей отстрелен только деревянный каблучок — мой глаз не стареется... мы еще заткнем кое-кого за пояс, пан староста?

— Чудесная выдумка! уморил со смеху, пан Станислав!

В самом деле, когда уверились, что страх был напрасен и мнимая рана ограничивалась каблучком, — смех стал всеобщим. Мужчины не могли надивиться изобретательности хозяина, чтобы в комнате и в танцах выказать удаль в стрельбе, и многие дали себе слово повторить эту шутку при первом удачном случае. И точно, с тех пор обычай этот велся до наших дней. История умалчивает, нравилась ли дамам эта выдумка и всегда ли оставались безвредны их ноги, — только могу ручаться, что не только отстреливание каблучков, но даже пистолетные жмурки были в моде между удалыми поляками, особенно под вдохновением венгерского. Завязав глаза и дав в руки заряженный пистолет одному из товарищей, все другие бегали кругом его, и случалось, что пуля метко пятнала неловких.

Не находя веселья в шумных забавах праздника и преданный сомнениям ревности, Лев Колонтай, не видя Варвары, сумрачен и одинок, бродил по залам замка. Будучи одним из красавцев своего округа, одним из самых любезных мужчин при дворе Сигизмунда, куда порою являлся он, Лев Колонтай был, однако ж, нелюдимого нрава, хоть и не чуждался света. Страстный по природе, отважный по призванию, пламенный патриот по долгу, — он во всем был обманут сущностью или, лучше сказать, собственным воображением, которое рисовало ему земные предметы небесными красками. Горько было для его счастья и самолюбия обнять испещренных скудельных идолов вместо вы-

соких существ, созданных его мечтою. Любовное пустословие, расточаемое без разбору и приемлемое без веры, непостоянство женщин и легкомыслие мужчин в любви, которая стала для ума делом, а для сердца игрушкою; отвага без повиновения в поле и без скромности дома — скоро ему наскучили. Нестерпимое невежество дробной шляхты и дерзость магнатов в народных собраниях; низкие происки при дворе для получения коронных мест и потом наглое неуважение к королю, потому что места сии были неотъемлемы; хищность на чужое добро и расточительность на свое и, наконец, всегда свои выгоды впереди блага отчизны, скрытые под ненавистной личиною ложного патриотизма,— все это породило в нем какое-то презрение и недоверчивость к людям. Он не умел вовсе разлюбить их, но уже не мог уважать — и это чувство проливалось на все его слова, на все поступки странный отблеск добросердечия и насмешливости, обходительности и гордости.

Встреча с Варварою в доме отца произвела на сердце светского нелюдима глубокое впечатление, он привык к красоте, к остроумию женщин — но простота, но младенческая искренность были для него утешною новостью. Уверенный в себе, он приблизился, чтобы ее рассмотреть, как мудрец,— и кончил тем, что влюбился, как юноша. В ее чувствах он, казалось, находил отражение своих мыслей; он видел, что она способна любить, подобно ему, глубоко, постоянно. Тяжко бы ему было сознаться в пылкой страсти какой-нибудь из блестящих красавиц своих — но к существу столь беззащитному, столь доверчивому, столь беззаботно прекрасному чувства он почитал долгом священным. Обязывая других, мы к ним привязываемся невольно, и Лев, объявля себя рыцарем девушки, похищенной из семейства, из родины, преданной, огорченной,— старался вниманием своим, своею братской попечительностию сгладить с ее памяти все недостойные с нею поступки, все случайные и умышленные огорчения от своих родных, от наглой прислуги и ревнивых соседок.

Сказать, что осемнадцатилетняя девушка, брошенная судьбою в чужой край, между врагов отечества, осталась равнодушною к человеку, который стал ей не только покровителем, но воспитателем, советником, другом нежным, было бы, по крайней мере, сомнительно. Варвара была свободна: внимание князя Серебряного началось к ней еще в таком возрасте, когда она не могла ни понимать, ни отвечать на чувства сердечные, и мгновенные с ним встре-

чи оставили только в ее памяти к нему уважение, даже приязнь — но не более. Напротив, склонность ко Льву Колонтаю, основанная на долгом знакомстве и нежной признательности, пламенным почерком врезалась в ее душу. Страсти счастливых измеряются бысролетными часами; страсти злополучных долговременны, потому что сердце несчастного, засохшее от печали, жадно и глубоко всасывает и елей утешения и яд новых бедствий.

Неопытная красавица русская не могла скрыть от своего победителя ни волнений незнакомой ей страсти, ни борьбы ее склонности с совестью. Она равно ужасалась мысли не любить своего благодетеля и любить неприятеля, иноверца! Набожная и страстная вместе, она то увлекла самого Льва своею пылкостью, то оледеняла его раскаянием. В то время, когда пленительные сны юности, которым мы любим предаваться, убегая от разума, рисовали ей радости любви взаимной, счастье любви увенчанной, — черный призрак вставал пред очами, и мечты разлетались, как испуганные ласточки. Незапное появление князя пробудило тоску по родине. Прежде тысячу раз хотела она бежать двойной неволи — но страх и — скажу ли? — может быть, любовь ее удерживали. Теперь сомнения ее исчезли: помощь одноземца подкрепила ее колеблющееся сердце, и как ни горестна, как ни тяжка виделась ей разлука с милым — но уважение к вере, любовь ко всему русскому, ранние свичаи и обычаи громко звали из плена.

Взор Колонтая скоро угадал в князе Серебряном соперника, и все недоверчивые, все ненавидные чувства его пробудились. Гордый в своей нежности, великодушный в самом гневе — и вспыльчивый в обоих, он то кипел ревностью, то опять утихал от ласкового слова, от ясного взора любезной. Колеблемый такими противоположными чувствами, нашел он Варвару в отдаленной комнате; она сидела, оперши обеими руками о столик, и ничего не видела, не слышала. Нагоревшие свечи доказывали, что долго длилась грустная ее дума.

— Панна Варвара не хочет видеть меня, — сказал Лев нежно укорительным голосом.

— Я не должна тебя видеть, Лев, — отвечала Варвара, отвращая лицо, чтобы скрыть катящиеся по нему слезы. — Я не должна любить тебя, — о, если б то и другое было в моей власти!

— И неужели, жестокая девушка, ты бы могла так же легко совершить это, как пожелать?

— Бог дает силы на доброе.

— Доброе? — разорвать союз сердец, сделать несчастным человека, виновного только тем, что он любил пламенно, — и это замышляют во имя бога!.. О Варвара, Варвара! если бы сердце твое в сотую долю было проникнуто моею любовью, никогда бы такой предрассудок не нашел в нем места!

— Мужчины привыкли называть все обычаи старины, все священные правила предрассудками, и часто слабый ум наш увлекается тем, как перо на ветре, — но в душе есть страж неусыпляемый и повременно слышится его голос!

— Варвара, ты обижаешь меня, смешивая с толпою бесстрастных оболыстителей. Никогда сердце мое не было колыбелью порока, никогда уста не чернели неправдою. Намерения мои чисты, как бескорыстна любовь. Сколько раз умолял я тебя решить судьбу мою, — умоляю еще раз: послушайся внушений сердца и осчастливь меня, себя самую — не могу верить, чтобы кто иной так нежно, так постоянно любил тебя, так желал угодить твоим прихотям, предупреждать твою волю, так умел оценить твои добрые качества! Скажи, чем не готов я пожертвовать для взаимности, чего не сделаю, чтобы владеть твоей рукою! — Он с жаром схватил ее руку и с умилением смотрел в очи Варвары.

— Милый, добрый друг мой! — отвечала она с чувством, — словами не выразить и не заплатить мне того, чем я обязана твоим попечением. Ты усладил мою неволю, ты воспитал мой ум, но душа моя развилась на Руси. Ты для меня сделал все, что в силах человеческих, но мог ли ты создать мне родину, мог ли пересоздать самое меня? Я забыла, что ты чужеземец; но могу ли забыть, что я русская? Холод пронизает меня, когда вздумаю, что должна буду навек отказаться от языка родного, от могил моих предков, от полей моей родины!

— Ты все любишь, кроме меня, ледяная душа. С тобой тундры Сибири стали бы мне краше отечества.

— Но была ли бы я спокойна, лишив тебя этого незаменимого сокровища! Нет, милый Лев, для твоего счастья я должна отказаться от собственного. Твои родные уже заранее ропщут на брак с иноверкою — дамы уже острят жало насмешки и клеветы против нас обоих. Ты повсюду будешь предметом вестей и басен.

— И я для пустых звуков пожертвую единственным моим благом на земле, и я за мгновенную благосклон-

ность ветреного света променяю счастье целой жизни! Варвара, ужели я так низко упал в твоём мнении, ужели так мало полагаешь во мне рассудка, чтоб увидеть ничтожность этого, и так мало решительности, чтобы это презреть? Нет, Лев Колонтай имеет голос сказать свою волю и меч, чтобы ее подтвердить!

— Благородный друг! и капли точат камень. То, что украшало нас в юности, становится нередко тяжкою цепью в летах мужества. Не говорю уже, что моя совесть никогда не примирится со мною, если я соединюсь с иноверцем: видно, уж бог не судил благословить этого союза. Но он может заградить тебе доступ к высоким санам республики, на которые призывают тебя твои достоинства и долг гражданина,—и прошу ль я себе, что была тому виною? Нет, нет, я буду несчастна в самом лоне счастья!

— Я в самом деле начинаю думать, что панна Барбара никогда не любила; такие тонкие угадки, такие дальние расчеты! Это ли голос взаимности, таков ли язык страсти? Когда для меня все надежды, все благополучие — весь мир в тебе, в тебе одной,—ты заботишься о неверном будущем.—Панна Барбара, благодарю за эту осеннюю любовь... Кто меня любит мало — тот ненавидит меня.

— Боже великий! должна ли я слышать укоры совести за горячность мою к тебе и твои укоры за холодность! Безрассудный человек, для того что ты не думаешь о себе, я тем более должна о тебе заботиться. Женское сердце лучше предчувствует то, что не предугадывает ум мужей: брак со мною навлек бы тебе на веку множество горестей — а мне слез... Отбрось эту мысль, добрый мой друг...

Лев Колонтай растрогался на минуту.

— Варвара,— сказал он,— моя судьба была видеть тебя так часто и так долго... почему же не навсегда? Я лелеял эту мысль, как цветок,—и ты хочешь вырвать ее с корнем — это разорвет мое сердце. Не владеть тобою — ужасно, но знать тебя во власти другого — нет, это выше меня!

— Лев, я не разлюблю век, кого полюбила однажды,—но я бы рада была видеть тебя счастливым с иною.

— И в самом деле ты думаешь, что говоришь? И ты бы могла хладнокровно видеть меня с иною — нет, на закаленном булате нельзя ничего сгладить и ничего вновь вырезать. Пусть ведает снисходительная панна Барбара, что я не из тех уступчивых людей, которые спокойно гля-

дят, когда соперник отнимает у них милую, и на чужом пире питаются баснями самоотвержения!.. Слезы? О, женщины расточительны на них и на увещания, потому что ни то, ни другое ничего им не стоит. Нередко безрассудные в своих прихотях, как благородны они в страстях своих, как мерны в восторгах, как витиеваты в убеждениях! Человеку, который готов жертвовать им жизнью и душою,— как нежно поют они: будьте терпеливы, будьте рассудительны!

— По крайней мере, будьте великодушны! — вскричала тронутая незаслуженными укорами Варвара.

— Если на вашем языке бесчувствие называется великодушием, я никогда его не достигну.

— О, как дорого, Лев, продаешь ты свои благодеяния!

— Я, я продаю благодеяния! я, который и в пылу страсти не преступал твоих заветов,— этот упрек слишком жесток, панна Барбара,— он не твоего созданья. Это недавняя скрытность, эта выученная холодность — этот дерзкий пришлец Яромир — для кого он здесь? для чего он здесь? Он был на Москве, он мог видеть, знать, любить тебя,— может стать, быть любимым... Ваши значительные взоры, волнение, самые слезы твои — ужасная мысль! Но знайте, что сердце Варвары может не принадлежать мне — но рука ее не будет вовек принадлежать никому — знайте, что если я умею любить, то умею и ненавидеть страстно, и этот вор моего счастья Маевский заплатит кровью за свою дерзость!

Предавшись ревности, Колонтай совершенно вышел из себя. Жилы его напряглись, белые пятна проступали и скрывались на лице — с страшными угрозами мести покинул он комнату.

— Лев, Лев! — воскликнула Варвара вслед ему; но он ничему не внимал, он уж был далеко.

ГЛАВА VIII

Ужели сердца тайный страх
Нам семена грядущей муки?
Ужели вестницей разлуки —
Дрожит слеза в твоих очах?

Вечеринка шла своим чередом, шумно и весело. Хозяин, хлопая в ладоши, велел музыкантам играть мазурку.
— Польские косточки и в гробу запрыгают от этой

музыки,— сказал он, подстрекая молодежь к танцам. Круги сомкнулись, и кавалеры, побрякивая не шпорами, которых не носили на сафьянных сапогах, но подковами, загнутыми на закаблучье, пустились то по двое с своими дамами, то по трое попеременно в середину и снова свивались в цепи, в круги, в кресты. Трудно вообразить что-нибудь живее и живописнее мазурки, и если польский есть танец войны, то мазурка — танец победы. В ней отпечатан дух народа более отважного, нежели скромного, более пылкого, чем нежного. По смелости своей он принадлежит наиболее военным, по живости — одним юношам; и точно, старики, окружая танцующих, поглядывали только, сверкая глазами, друг на друга, как будто говоря: «бывало, и мы гарцевали!» Многие из них, однако же, припевали куплеты, не имеющие связи между собой, которых в Польше и до сих пор бесчисленное множество. Вот те, которые были в устах старика Колонтая.

Милы полякам
Битвы, беседы;
Храброму лаком
Кубок победы!

Любит он звон мечей,
Любит он блеск очей,
Стройные пляски,
Нежные ласки!

Х о р о м

Кубок и сабля!
Сабля и кубок!
Сладостна капля
С розовых губок!

Молодые люди выбирали куплеты понежнее и позамысловатее этих, но старик Колонтай любил все, что напоминало ему его время, что дышало старинною простотою и удалством напольным.

Князь Серебряный, улучив время, когда все ноги, и глаза, и сердца заняты были мазуркою, сошел вниз, отыскал своего Зеленского и, отведя его на сторону в саду, спросил, нет ли каких новостей.

— Покуда самое хорошее, что перестал дождик, а самое худое, что Мацневский в околице и не сегодня завтра нагрянет сюда. Про тебя, сударь князь, слухи, будто убит в наезде!

— Я докажу этим сорванцам, что я живехонек. Отправлены ли рейтары Колонтаевы под Опочку?

— Ушли недавно; только они так хмельны, что нам не трудно будет обогнать их. У них в каждой корчме привалы.

— Тем лучше.. мне хоть умереть, а поспеть домой для отражения. Я поссорился с молодым Колонтаем, но частные ссоры можно отложить и потом разведаться на границе. Осмотрел ли ты сбрую и оружие?

— Даже подковные гвозди в исправности — этот прокля...

— Тсс! тише — мне кажется, кто-то мелькнул за деревьями!

Оба замолкли, прислушиваясь, но только остальные капли падали с кровли в лужу — все было безмолвно.

— Это тень из окон, — сказал, ободрясь, Зеленский.

— В исходе десятого, по моим часам (князь отдал их Зеленскому), ты проведешь коней для нас и для Варвары Михайловны за садовою стеной к старой башне. Я с ней выйду туда — и поминайте как звали. Надеешься ли ты сделать это незаметно?

— Теперь если бы конюхов положить в пушку и выстрелить, так они и тогда бы не проснулись от хмеля.

— Условный знак — два свистка, ответ — удар в ладоши!

Оба потихоньку прокрались в разные стороны.

— Ну что же, homo di roso fede (маловерный), как вы женщины? — сказал, засмеявшись, хорунжий Солтык Льву Колонтаю, подслушав тайну беседы. — Этот Маевский, право, лихой малый — он в один миг обернул около пальца твою суровую красоту; ей-ей, я хочу проситься к нему в ученики!

— Кровь! — произнес Колонтай едва внятно; так гнев задушил его голос. — Коварная обьмет труп своего обольстителя!

— Полно дурачиться, милый друг! Если бы мстить за каждую неверность жен и любовниц, так польскому королю пришлось бы набирать амазонские дружины, чтоб воевать с неприятелями. Последуй мне: я с отчаяния глотаю рюмку венгерского, выучиваю новую песню, влюбляюсь снова — и утешен!

— Но кто этот злодей? Как мог он?..

— Это мне самому любопытно узнать, *diletto amico mio* ¹.

¹ возлюбленный друг мой (ит.).

Однако ж здесь сыро — и мне хочется сказать пани Ласской, что она танцует, как ангел, если ангелы танцуют. До свидания.

Несколько минут стоял Колонтай неподвижен от гнева и огорчения — и мстительные замыслы вращались в голове его. Наконец он пришел в себя — и тихо возвратился к дому.

Не предчувствуя грозы, готовый разразиться над его головою, князь Серебряный, строя воздушные замки, полон надеждою и любовью, поглядывал на большие настенные часы, которые, будто краковская ратуша, стояли в углу, разукрашены фольгою и резьбою. Душа его прильнула к самой стрелке, и всякий раз, когда раздавался звон четвертей, — высоко билось сердце наблюдателя. Уже была половина десятого, но чем ближе подходила медленно переступающая стрелка к желанной мете, тем сильнее теснился страх в грудь его, — то хотелось ему отдалить роковую минуту, то видеть ее далеко за собою. В это время он заметил Льва Колонтая подле Варвары в жарком объяснении. Казалось, он укорял ее, она уговаривала его с нежностью — сомнения снова проникли в сердце князя и умножили тоску ожидания. Сложив накрест руки и грозно бросая взоры то на Колонтая, то на часы, — стоял он, будто прикован к одному месту.

— Пан Яромир так пристально смотрит на часовую доску, как будто хочет на ней прочесть судьбу свою, — сказала ему пани Ласская мимоходом.

Князь вздохнул.

— Пани Элеонора угадала, — отвечал он, — время и женщины для меня непонятные письмена.

— Говорят, что время разгадывает нас, а я разгадаю пану время: оно — крылатый червяк, который то ползет, то летит летом. Кто хочет поймать его — тот не верь будущему часу!

— Этот урок для меня напрасен, — отвечал князь Серебряный и, видя, что пани Ласская успела посадить с собою за карты Льва Колонтая, как тот ни отговаривался, — очень доволен ускользнул из залы, блистающей огнями, где тщеславие и остроумие, красота и любезность спорили о победе.

Стрелка всходила на десять.

Пробравшись до старой башни, князь долго ходил взад и вперед, волнуем нетерпением и опасениями. Трудно было решить, для какого употребления выстроена была в том месте башня. В старину не помещали в садах развалин замков, никогда не существовавших, не оклеивали мохом пещер, сбитых из сосновых досок и убранных устричными раковинами на гвоздях; а замок, казалось, не был никогда назначаем выдерживать осаду,— и примыкающие к ней садовые стенки были очень невысоки и надстроены частоколом. Как бы то ни было, только верх древней этой башни занят был теперь голубятнею,— а железная дверь, ведущая вниз ее, стояла настежь,— по всему видно было, что там уже издавна никто не жил. Заглохшие дорожки, мрачно и однообразно обсаженные липами и дубами, тянулись в обе стороны.

Скоро послышался князю топот коней за стеною. «Это мой Зеленский»,— подумал князь, не смея, однако ж, подать ему голоса.

Через пять минут быстрые шаги кого-то привлекли его внимание,— он слушал не переводя дух,— видеть было невозможно.

— Здесь ли? — прошептал робкий голос, и рука Серебряного встретила трепещущую руку Варвары.— Поспешим,— сказала она,— земля горит под моею стопою — Колонтай так страшно следил меня взорами... спаси меня от плену — от собственного сердца!

— Одно слово, Варвара, прежде чем пустимся на жизнь и смерть; слово надежды, если бог нас вынесет, слово отрады, если моя доля — пасть: скажи, любишь ли? можешь ли ты любить меня?

— Как брата, князь! Не могу обещать более. Сердце не вольно в выборе — оно любило Льва Колонтая!

Князь Серебряный от этих слов оцепенел, как будто наступил на змею.

— Скорее, скорее,— говорил им Зеленский, сбивая замок,— двери заперты изнутри!

— Мы погибли! — вскричала Варвара, сплеснув руками,— этого никогда не бывало... Боже мой, я вижу свет!

— Теперь мне красна смерть,— сказал князь, обнажая саблю.

Зеленский напрасно рубил частокол, взобравшись на стену: жерди были крепки, темнота и торопливость мешали ему.

Крики приблизились — кровавый отблеск озарил башню — Лев Колонтай задыхался от бешенства.

— Стой, стой! — восклицал он. — Ты не уйдешь, робкий злодей, от моего мщения — я и в аду найду тебя!

— Ступай туда искать себе подобных! — отвечал, вспыхнув, князь, встречая саблюю саблю.

Бледная, как мрамор, упала между ними Варвара бесчувственно, но, не вникая ничему, кроме своей ярости, они еще злобней схватились над телом ее в битву. Колонтай нападал с запальчивостию, оглашая воздух проклятиями неверной и угрозами обольстителю. Князь рубился молча от злости — и уже кровь текла из ран обоих на несчастную виновницу их гнева.

Картина была ужасна. Колонтай махал саблей и пламенником, в левой руке его пылающем; голуби, пробужденные шумом и светом, хлопая крыльями, вились около и, натываясь на острия, падали, трепещась, на землю. Робкая толпа, озаренная зеленоватым огнем факелов, и, наконец, женщина, распростертая у ног сражающихся, побелевшая от холода смерти, — все наводило трепет на сердце. Появление уstraшенного отца было уже поздно для отвращения кровопролития — Лев с разрубленной головою упал к ногам его!

— Спасайся, — вскричал князь Серебряный Зеленскому, который невольно был только зрителем битвы, притаясь за частоколом, — и во что бы то ни стало уведошь обо всем Агарева. Пусть он не думает обо мне, пусть он заботится только об отражении набега — вот последняя воля моя — спеш!

— Это он, это он! — произнес Зеленский, когда толпа гостей окружила князя, и скрылся из виду.

Опершись на саблю, вперив неподвижные очи на соперника и любезную, простертых у стоп его, — на два предмета его ненависти и привязанности, теперь для него уже не существующих, поражен безнадежностью в ту минуту, когда, казалось, он хватал за крыло счастье, — князь не замечал, что новое лицо — высокий, сурового вида мужчина вглядывался в него пристально.

— Я не ошибаюсь, — сказал он наконец, — этот удалец — князь Серебряный, тот самый, с которым я был знаком в Москве, с которым дрался под Москвой и который третьего дня сделал набег в наши границы от Опочки!

— Стрелецкий голова?.. — вскричали многие голоса, — повесить его как разбойника, как лазутчика!

Князь медленно, но гордо поднял очи, с усмешкой презрения окинул ими собрание и снова впал в задумчивость. Какая угроза, какая беда могла увеличить его злополучие!

Но если зловеющий голос лисовчика не произвел никакого впечатления на князя, зато он пробудил всю злобу отчаянного отца, который напрасно старался привести в чувство любимого сына. Горесть его превратилась в ярость и потоком проклятий излилась из сердца.

— Схватите его, скуйте его, бросьте этого самозванца в сарай сырой, в самый душный погреб, чтоб оттуда был один шаг до ада,— кричал он неистово.— Злодей русской породы,— тебе мало было грабить в границах польских, в моих деревнях, губить и похищать во мраке ночи — нет, ты дерзнул еще вкрасься в дом мой, насмеяться над гостеприимством и, наконец, убийством сына залатить за хлеб-соль хозяина. Бедный мой Лев, единственная моя утеха... кому теперь передам я имя Колонтаев!

Старик сплел руками над головой, и рыдания прервали речи его. Но скоро любовь родительская зажгла в нем опять воспоминание обиды и жажду мести за кровь...

— Но если на старости лет мне придется лечь в гроб сиротою,— воскликнул он,— ты, Серебряный, ты, убийца моего сердца, моего имени и племени, ты бесчестною смертью умрешь на могиле, в которой скоронят все мои надежды; ты будешь первым памятником моей любви к сыну... Тогда!.. нет, всегда — жив он или мертв — ты все-таки не избежешь погибели; в этом клянусь моей честью и отчиною! Ничто, никто не спасет тебя — я не возьму бочки золота за твой выкуп... Ты падешь на жертву моей мести, на страх всем врагам моим. Сорвите с него польскую одежду,— примолвил он, сверкая взорами,— которую он позорит, и киньте злодея в эту башню. Шесть человек часовых мне жизнь отвечают за его тело — а душу его я с наслаждением вырву завтра!

Во всяком состоянии есть низкие люди, готовые в радости сердца исполнить самые бесчеловечнейшие, самые бесчестнейшие приказания торжествующей силы, отравляя насмешками побежденное несчастье. Многие из шляхтичей надворных кинулись обрывать и вязать окруженного князя, и хотя благородные поляки с негодованием смотрели на это, но они знали, что противоречия только раздражили бы Колонтая, — и молчали. Сопротивление со стороны

князя было бы безрассудно — он не произнес ни звука, не сделал ни одного движения в защиту свою — он только бросил презрительный взор на хозяина. Наглые челядинцы грубо втолкнули его в темный погреб и со смехом захлопнули двери.

ГЛАВА IX

Во мгле непробудимой ночи,
Казалось, блещут злые очи,
Внимает влажная стена
И будто шепчет тишина;
Порой лишь капля водяная
Сквозь плит холодную слезой,
На миг безмолвие смущая,
На звонкий пол спалада мой,
Как память жизни, воли милой,
Цветущих над моей могилой.

Медленно течет время узника. Князь Серебряный, брошен на сырую землю, полураздетый, окованный, тоскуя, смотрел на одинокий солнечный луч, как змея ползущий по стене. Описывая полкруга, он подымался выше и выше, по мере того как западало солнце, — сверкнул на потолке и померк, будто звезда надежды. Отчужденная от мира стенами темницы, душа любит утешаться ничтожным подобием счастья, лестными гаданиями о будущем — и огорчена малейшею неудачею, случайною мечтою сна. Так было и с князем. Покуда сиял ему луч дня, он будто видел в нем друга, делящего с ним скуку заключения, будто читал в нем обет свободы; но когда мраки ранней ночи охватили его — невольный холод пробежал по членам, и мысль о безвременной гибели бросала его то в ярость, то в отчаяние. Неизвестность будущего напрягает душу, как тетиву, и малейшее дуновение исторгает из нее грустные звуки — она дрожит, готовая расторгнуться. Но когда к скорби неволи присоединяется еще ожидание смерти, томление ревности и раскаяние в своих ошибках, тем горестнейшее, потому что оно поздно, — то муки нетерпения пронзительны и глубоки... они, как зубристое жало, впиваются в сердце. Князю будто слышался голос злого духа: «ты не любим — она в объятиях другого!» И он в припадке бессильного гнева потрясал цепями и, снова пораженный безнадежностью, упал, как хладный камень между камнями.

Почти сутки протекли его заключению — но к нему только однажды входил страж с кружкой воды и куском хлеба. Кругом было темно, как в душе его, и тихо, будто в могильном склепе. Взор напрасно напрягался уловить предметы, ухо напрасно ждало каких-нибудь звуков для развлечения. Башня разделена была стеною надвое, и в передней комнате, за дверью, поместились караульные. Порой раздавался только мерный шум шагов часового, и порой слышалось храпение его товарища... и вот ропот разговора привлек любопытство узника. Казалось, говорил тот, который проснулся:

— Проклятые камни! и сквозь солому ребра переломали — а уж так сыро, что я обрасту мохом, если еще ночь здесь заночую!

— Экая неженка! от одних суток размяк, словно пряник от дождя. Потерпи немного — здесь не век вековать. Коли не в ночь, так уж, верно, к свету этого русского забияку — в землю, а мы — в постель! спи хоть до представления света!

— Черта с два в землю: паны гости за него взъерошились, да и сам пан Лев в упрос просит старика!

— Слышь ты, старик и слышать не хочет: рвет и мечет встречного и поперечного. Заклялся его извести, так не спустит. Уж двенадцати рейтарам велено в исправе ружья держать... хочет на ворота, да и «циль-паль».

— Хоть бы посмотреть, как его распалят, я отродясь не видывал, как добрых людей расстреливают.

— Нет, я так, слава богу, и видел, и сам палил; было смеху вдоволь, когда жида Берку за разводку вина потянули к Иисусу; бедняжка не успел перекреститься, ан хлоп — и как не было!

— Тут, брат, и православному не до креста, не то что еврею — да полно, верно ли это сбудется?

— А вот так-то верно, что я готов о кварте водки заклад держать! Старый пан при мне наказывал ловчему, чтобы все было готово, покуда гости спят!

Князь Серебряный был мужествен от природы и от привычки, и только одно сомнение, одна неизвестность могли волновать его, но когда опасность превратилась в достоверность неизбежную — он хладнокровно встретил весть о смерти, с которою так свикся в семилетние мятежи. Правда, природа взяла свое после борьбы различных страстей и опасений — слезы градом покатались из его очей, когда он вздумал о родных, о родине, о славе, для

коих он жил, для которых уже погибнет в цветущем возрасте. Но подумал уже без страха.

«Я сожалею только об одном,— сказал он самому себе,— что умру бесславною смертью, а не на стене Опочки. Я виновен, что слушался более сердца, чем долга,— но кто бы не сделал того же для выручки несчастной сироты... Прочее в руке бога. Не в моей воле было забыть ее, не в ее власти любить меня — пусть будет то, что нам обоим написано на роду».

Он занят был такими мыслями, когда в передней послышался отголосок шагов многих особ,— свет блеснул в щели дверей — ключи брякали — замок скрипнул пружиною... Князь перекрестился с биением сердца.

Неожиданное появление Мациевского, который спешил попить на праздник к Колонтаю, но опоздал, изломав на дурной дороге бричку, так поразило Зеленского, что он, схватя в завод только одного коня, ускакал, не оглядываясь. В суматохе никто и не думал за ним гнаться, но он, никем не гонимый, все-таки летел во весь опор, воображая, что слышит за собой преследование, и шорох каждой ветки, взлет испуганной им птицы бросали его в жар и холод. Окрестными дорогами, которые от дождя слились в топкое болото, он скоро утомил коней своих. Поневоле пришлось ему ехать рысцою, хотя испуганное сердце скакало в груди беглеца. Крепко ему было жаль своего доброго князя, и, воображая о горькой доле, его ожидающей, всякий раз он ронял на ветер пару слез и каждый раз запивал свое горе водкою из дорожной фляги, с которою три дня не здоровался. При этом, желая исполнить скорее поручение князя и надеясь, что Агарев его выручит, он очень усердно отвешивал коню своему несколько ударов плетью, как будто он водкою подкреплял его, а не себя. Видя, однако ж, что и эти убеждения перестали действовать на четвероногих, он скрепя сердце заехал нарочно в самую бедную деревушку, чтобы не встретиться с рейтарами Колонтая. Войдя в одну пустую избу — потому что хозяева разбежались со страху, издали завидя всадника, от которых им не было ни житья, ни покою,— Зеленский отыскал в поставце и в печи кой-чего позавтракать; заложил некупленного корму коням и потом, запершись кругом, залез на сено под самый конек кровли и заснул там сном богатырским.

Солнце перекаатилось далеко за полдень, когда он проснулся, а ему еще оставалось верст двадцать дороги. Он поспешно оседлал коней, пересел на подручного, чтобы уравнять силы обоих, и, очень счастливо никого не встречая на дороге, приближался к Великой. Предполагая, что Жегота изберет обыкновенную переправу ниже Опочки, он нарочно взял вправо, чтобы с ним не столкнуться, и уже сквозь деревья ему мелькали на закате солнца холмы противоположного берега, уже он стал спускаться к реке, как вдруг двое с ног до головы вооруженных людей с двух сторон выпрыгнули из орешника и схватили под уздцы его лошадей.

— Ни с места, — произнес один из них.

— Если ты пошевелишь языком или оружием, я приколочу тебя, как бляху, к седлу, — произнес другой.

«В хорошие руки я попал», — подумал Зеленский: но он не хотел, однако ж, показаться перед ними трусом.

— Да как вы смеете, да почему вы осмелились остановить вольного шляхтича? — вскричал он, подымаясь на стременах.

— Полно шуметь, товарищ, — отвечали ему, — ты видишь, как, а почему — узнаешь.

Сказав это, один повел его в чащу, между тем как другой, держа короткое ружье наготове, шел сзади. Зеленский недоверчиво поглядывал на обоих. Против всякого чаяния его привели к Жеготе.

Панцерные дворяне были учреждены еще при Ягеллонах, во время войн с крестоносцами и русскими, и — за обязанность садиться на коня по первой тревоге — пользовались всеми привилегиями шляхетскими. Как всегда случается с военными кастами, панцерники любили более грабеж, чем работу, и пограничное положение их давало к тому тысячи способов. Правда, и русские не оставляли их в покое кушать добычу, отплачивая набегами за набеги, отмщая личные обиды или выручая свои убытки, но так как панцерники были наездниками по природе и ремеслу, то выгода почти всегда оставалась за ними. За недостатком законного грабежа эти рыцари ночи выезжали нередко вблизи и вдаль на дороги облегчать от лишнего груза своих соотечественников, а истинное или мнимое хищничество русских служило им предлогом и отговоркою.

Пан Жегота был одним из самых удалых рубак и самых беспощадных разбойников; два качества, которые в те времена феодального безначалия почти всегда сливались

воедино, и ему не доставало только знаменитого сана, чтобы подвиги его были прославлены. Зато, если высшее дворянство обходило с ним едва не презрительно, — окружные, дробные шляхтичи, вербовщики конфедераций, охотники до перекапывания гранных столбов и до заездов на соседние пашни, снимали шапки, произнося его имя, — так между ними был славен этот атаман забияк.

На небольшой поляне несколько человек спали в вооружении — кругом раздавались звуки топоров по соснам. Сам Жегота сидел на сброшенном седле. Под серым широким плащом сверкала кольчуга, но голова покрыта была рысьею надвинутою на брови шапкою. Он варил в котелке молоко с пивом и, помешивая его ложкою, жарко разговаривал с другим поляком, против него лежащим. Самопал и сабля лежали под рукою, и между ними выглядывала фляга — как будто и она принадлежала к числу оружия. Усатый шляхтич, с которым он разговаривал, потягивался на другой стороне костра, в контуше, на котором можно было привести в известность каждую нитку; зато, конечно, никто не решился бы взять греха на душу — сказать, какого он был цвета. Огромный палашище качался поперек его туловища, как весы. Они продолжали разговор, не замечая новоприбывших.

— Ты черт, а не человек, пан Жегота, — у тебя в жилах водка с порохом... лихая выдумка, ради борова святого Антония, славная выдумка! — сказал шляхтич.

— Небось не дадим промаха, — отвечал Жегота. — Вместо того чтобы обирать крестьян, у которых, признаться, и лишнего пера в петушьем хвосте не оставлено, мы, словно горшком воробьев, накроем русских в самом замке. Половина засадных ратников выслана с сотником в погоню за моим сыном, которого я нарочно послал выманить их из крепости, а остальные ни сном ни духом не чувствуют, каким завтраком мы их попотчует с лезвия. Зная, что вблизи нет строевых шведов, ни поляков, они спустя рукава сторожат стены — а нам не привыкать стать лазить по кошачьи. А уж ворвемся туда — гуляй душа, своя рука владыка. Только смотри, пан Плевака, подплывши потихоньку на плотках к острову, — кроши всех и реви пуще всех.

— Ради Вадамова осла, пан Жегота, да я что за рыба, чтобы не кричать во все горло; а горло у меня, не хвостовски сказать могу, что твоя труба, — рявкну, так на ногах не устоишь. На будущем сейме за него мне не один

червонец перепадет, а уж что касается до палаша, — бассама те теремте — человека пополам, как тыкву.

— Ну, то-то же, пан Плевака, сам помни, да и другим скажи: кто идет с Жеготою, тот не оглядывайся — у меня провожатый к старому замку — пуля. Я не люблю шутить.

— Ради краковского колокола, пан Жегота, разве мы не родовитые шляхтичи, разве наша храбрость не известна всей земле? Слово гонору — осмелся кто покривить рожу, сомневаясь в этом, — так в один миг у него будет двумя усами менее... да мы готовы в самый ад прыгнуть за славою!

— Припеки тебе лукавый язык, пустомеля, хоть тебе не миновать аду — только, верно, совсем за другие причины. Ты не за славой ли лазил в карман к подсудку Дембеку?

— Тише, пан Жегота, ради бесовского хвоста потише — что нам за охота связываться с ябедою; я по сию пору боюсь пустить его злоты плясать по корчемному столу — они и в кошельке гремят доносом.

— Давно бы так. Кажется, пан Плевака, и я чего-нибудь да стою, как ты думаешь?

— А почему мне знать, пан Жегота. Лукавый лучше ценит, почем у тебя продается душа и сабля!

— Ах ты, осиновое яблоко! шутник, собачья голова, — а все-таки о прежнем речь. Я не кинулся бы в петлю, не видя поживы. И теперь меня взманило свезенное жителями в Опочку добро. Да, кроме того, сказывают, у нового головы много своей драгоценной посуды — мы ей протрем глаза... а самого этого князька Серебряного, будь я холоп, а не вахмистр, если не перечеканю в деньги.

— Ха, ха, ха! сперва надо сделать выжигу, пан Жегота, а в этом положишься на меня — ради борова святого Антония, на меня!

Зеленский не проронил ни слова — но люди, которые привели его, видя, что атаман не обращает на них внимания, наконец громко сказали Жеготе, что они перехватили этого шляхтича, когда он хотел бродиться за реку. Пан Жегота поднял глаза и чуть двинул шапкою на поклоны пришельца.

— Черт меня согни в бараний рог, если где-нибудь я не видел васана добродзея, — сказал он.

Зеленский напомнил ему, что они вместе пили у эконома в замке Колонтаевом.

— Так зачем же нелегкая несет тебя в Русь, и еще со вьюком?

Зеленский, видя, в каком обществе находился, кивнул значительно Жеготе головою и, подлаживаясь под его статью, сказал на ухо, что он имел честь служить у пана Маевского, который имел неприятность быть убитым, ранив на поединке Льва Колонтая, а что он, пан Стребала, имел благоразумие, оставшись сиротою, обратиться с чемаданами и конями подальше.

— А, а, понимаю, имел честь бежать. Это лихо, это по-нашему, пан Трепала, пан Стрекала, пан Стребала,— как бишь ты назвал себя? Милости прошу к моим молодцам в науку — между глаз нос украдут. Только извини, приятель, хочешь не хочешь, а оставайся здесь до завтра. Сегодня ни одной души не перепущу за реку; у нас там будут свои счеты, так надобно врасплох пожаловать. Пан Плевака, что ж не потчуете гостя!

Фляга пошла гулять по рукам — и Зеленский, поглядывая волком к лесу, не переставал, однако ж, улащать хозяев своих и шутливостью очень им полюбился.

— Ради бечевки святого Францишка, пан Стребала, ты за полверсты пахнешь пенькою! Пршистан, Юрка, до вербунка! И с нами в наезд!

— С вами в огонь и в воду,— отвечал Зеленский, притораясь пьяным.

— Кохаймыся! От пана до пана! — возгласил Жегота,— а между тем не видал ли ты рейтарии Колонтая?

— Мне было не до них,— а, кажется, вдали тянулись вершники...

— Растянул бы их в проволоку — этих женских прихвостней: как танцевать — то их на цепи не удержишь, а драться, так ленивы. Да я радехонек: белоручка, их ротмистр, пришел бы надо мною распорядиться да величаться, а я не больно жалую чужие указы — а всего меньше подел добычи. У волка не тронь оглодка!

— К черту всех колонтаевцев! У нас и без них сотня таких рубак, что на каждый мизинец по пяти русских малю,— добре бьют и добре пьют! Бассама те теремте!

Зеленский, боясь, чтобы ему не потерять головы прежде времени, свалился на траву и захрапел, будто сонный.

— Удалой парень! — сказал про него Плевака.

— Да, если б дрались языками, так вы оба богатырями бы прослыли! хорош гусь, коли с кварты кувыркнулся!

— Не всем за тобой тянуться, пан Жегота; скорее напойшь воронку, чем тебя. А чемоданчики-то умильно глядят, товарищ... Как ты думаешь?

— Что тут и раздумывать! Его совестно отпустить к русским — беднягу оберут, как липку. Когда начнется переправа — ему толчок в бок, и концы в воду. Это твое дело, пан Плевака: ты ведь рыцарь добродетели и славы!

— Ха-ха-ха! Я его опохмелю осетринною настойкою, ради самого пана Твердовского опохмелю. А коли вынырнет, так еще и благословлю на дорогу молотком своим!

— Однако месяц сегодня зайдет перед утром, так нам можно и отдохнуть до тех пор: работы ножевой будет вдоволь.

Жегота, отдав нужные приказания, завернулся в плащ, ему последовал и Плевака. Через четверть часа они уже храпели во всю ивановскую.

У Зеленского сердце билось, как рябчик в петле, слыша, какую участь готовили ему злодеи... он робко поднял голову: все спали, огонь чуть дымился, месяц тихо всходил на небо.

Тогда и в устроенных войсках военный порядок наблюдался очень плохо; мудрено ли же, что не было стражи у этой вольницы? Желая сохранить тайну своего похода, Жегота велел останавливать проезжих днем, но в ночь их не могло быть — в смутные те поры не только на дорогу, но и на улицу не выходил никто.

Зеленский, трепеща, дополз до своих коней, потихоньку отвязал их и потихоньку повел к реке... но в это время один панцерник проснулся, привстал — беглец замер на месте, склонясь за конем, и тот, никого не видя, опять склонил голову... Зеленский мимо и мимо — и вот уже на берегу.

Великая, вздувшись от дождей, сверкая и гремя, катила волны по каменной луде; прибой плескал между грядами валунов. Зеленский стоял в нерешимости: брод был ему неизвестен, а река, по сказкам, в этом месте была глубже и быстрее; но опасность грозила ему сзади, долг благодарности звал вперед, участь крепости и спасение князя зависели от одного его слова — и он решился. Спугнув заводного коня вперед, он съехал и сам в воду; глубже, глубже — волны с шумом кипели, неслись, плескали на седло, голова его кружилась, в глазах рябило — и вдруг конь и всадник исчезли в крутящемся омуте.

ГЛАВА X

Жребии в лоне таинственного рока.
Зреют, незримы для смертного ока.

Мы оставили князя Серебряного, ожидающего палачей своих,— в самом деле, дверь распахнулась с шумом, и при дымном свете факелов несколько человек вошли в темницу. Впереди их был Лев Колонтай, бледный, с завязанною головою, ведомый Солтыком и Зембиной. Он шел, качаясь, и его посадили на камень от усталости... глаза его бродили дико... он задыхался. В углу, обернувшись в широкий плащ, плакал какой-то молодой человек... Лев начал говорить.

— Знаешь ли, князь, какая судьба ждет тебя?

— Знаю и готов,— отвечал хладнокровно Серебряный.— Я завещаю дому Колонтаев позор моей смерти, а своему — месть за нее!

Колонтай страшно улыбнулся.

— Угрозы непонятны полякам, потому что страх неизвестен им,— возразил он.— Притом, князь, ты взят не под знаменем, но в ложном виде.

— Мне знамя — сабля. Впрочем, сила всегда найдет обвинение впавшему в ее руки.

— О, конечно,— прибавил Солтык,— если б у тебя было знамя даже вместо носового платка, и тогда перед Станиславом Колонтаем ты стал бы не правее ни капли.

— Князь Серебряный,— ты свободен! — сказал Лев Колонтай.

— Лев, ты благородный человек,— отвечал Серебряный,— но я не приму твоего дара, покуда не узнаю от Варвары Васильчиковой: остается она или нет в этом замке. Я уже опоздал на место чести,— по крайней мере, не изменю долгу приязни: я готов своей смертью искупить ее свободу.

Колонтай молча подал руку Серебряному — чело его прояснилось.

— Ты враг мой,— молвил он,— враг по роду и сердцу — я не могу любить тебя, но мы любим одно — и я не могу тебя ненавидеть... О, если б ты мог, по крайней мере, быть счастлив тем счастьем, которое у меня отымаешь... Вот панна Барбара — она едет с тобою.

Плащ распахнулся, и в молодом поляке Серебряный узнал ту, для которой жертвовал волей и жизнью. Она с признательностью, но печально пожала его руку.

— Князь,— произнесла она,— я предаюсь твоему покровительству.

— Твоему великодушию, князь, поручаю священный для обоих нас залог... будь ей другом и братом, будь ей ангелом-хранителем, и если уж все разлучило нас — то почему, Барбара, не быть ему и женихом твоим!

— Мой жених в небе,— отвечала она.

— Спешите! я тайно от отца приготовил побег ваш — но эта весть скоро дойдет до него — а мечь его непримирима. Проводник и бегуны ждут вас... Барбара... — он хотел выговорить «прости», это ужаснейшее слово, какое когда-либо изобретал человек для казни любящихся, — но у него не достало сил — он скрыл лицо в плащ и рыдал, как дитя.

Плач мужчины имеет в себе что-то потрясающее, что-то раздирающее сердце — и все, кто тут ни был, с изумлением почувствовали слезы на лицах своих. Варвара, утешая друга, говорила, что собственная совесть должна вознаградить того, кто победил самого себя.

— Бог видит, как дорого стоит мне победа,— отвечал он,— и не скрою, что она скорее дань, чем жертва... да будет!

— Живи,— сказала Варвара, ступая, чтоб удалиться.

— Нет, я не переживу надежд моих — они срослись с моей душою, и она увянет с ними. Для любви отказался я от славы; разлука с тобой возвратит меня ей — и я еще дорого продам жизнь, которая отныне не имеет для меня никакой цены. Да благословит тебя всевышний на родине!..

Варвара хотела идти, но обернулась еще раз к любезному, еще раз простерла к нему руки — и через миг она была на груди его — слезы несчастных смешались.

— Колонтай, Варвара! — вскричал тронутый князь, — я не разлучу вас — вы от людей и от бога заслужили своей любовью счастье.

— Нет,— сказал Лев, качая головой,— для нескольких часов восторга не хочу покупать долгих лет чужого горя. И в самом счастье мысль, что Барбара решалась оставить меня, отравила бы мою любовь и ее спокойствие. Пусть будет, что суждено судьбою. Прости...

— Поедем! — произнесла Варвара, кидаясь в двери. Зембина и Солтык обняли князя, прося его помнить, что и в Польше есть хорошие люди. Через минуту путники уже скрылись из виду. Лев с беспокойным вниманием слушал топот коней их, но когда затих и последний отголосок поезда — он с тяжким стоном упал в руки друзей своих.

Проводник скакал во всю прыть глухими тропинками и, едва давая коням вздохнуть, пускался вновь по-прежнему. Князь Серебряный несся наряду с плавным иноходцем, на котором сидела Варвара, но он и она, погруженные в думы, не имели ни удобства, ни желания завести речь между собою. Дорога, просохшая после дождя, была ровна — месяц сиял сквозь ветви — ехать было прекрасно, и они быстро приближались к мете своей.

— Далеко ли до Великой? — спросил проводника князь Серебряный.

— С полмили, — отвечал тот, — и если не попадем на шайку пана Жеготы — дело кончено. Впрочем, теперь его удалцы, чай, храпят, как волынка.

Князь спросил у Варвары, не чувствует ли она усталости, проскакав пятьдесят верст в такое короткое время. Она отвечала, что душевная боль онемела в ней телесное утомление и что чем ближе подъезжает она к родному краю, тем сильнее в ней нетерпение уже быть в нем.

Проскакав еще версту, проводник посадил коня и тихо сказал князю:

— Надо приготовиться — за нами погоня!

— Что ж нам делать? — вскричал князь, болезненно глядя на спутницу.

— Драться, покуда сможем! — возразил проводник, выправляя оружие. — По приказу господина моего я готов разнести башку первому приятелю, если он сунется нас задерживать.

— Друг мой, драка теперь бесполезна, — их, верно, не двое и не трое, а мне каждый миг дороже самой жизни. Ужели мы не уйдем от них — кони у всех утомлены одинаково.

— Нет, боярин, на бегунов плохая надежда. Они могли дважды сменить своих из-под рейтаров, ночующих на дороге, — а наши хрипят и в мыле с ног до головы..

Топот приближался.

— Стой,— вскричал князь Серебряный,— попытаем последнее средство — ты скачи вправо с конями, чтобы обмануть погоню — а мы пешком ударимся в лес куда глаза глядят.

— Правда, правда,— сказал проводник, помогая слезть с коня спутнице и затыкая за пояс князя седельные пистолеты.— Дай бог удачи, а уж я проведу их молодецки.

Князь сунул в пазуху доброго проводника кошелек свой и вместе с Варварою скрылся в чаще — один скок коней удалялся от них, между тем как другой становился явственнее.

С большим трудом пробирались беглецы между кустарниками и валежником. То ноги тонули во мху, то сучья цеплялись за платье. Тихо вел князь усталую свою спутницу, отводя ветви от лица ее и пытая стопой ее дорогу... Они спустились к ручью, впадающему в Великую, чтобы по берегу ее легче пробраться к устью... как вдруг невдалеке за собой слышали говор... Голоса, казалось, о чем-то рассуждали, о чем-то спорили — наконец раздался лай гончей собаки, вероятно, пущенной, чтобы их выследить. Сначала она взлаяла и замолчала, потом опять подала голос, возвысила его громче, громче и наконец залилась, напав на горячий след... Громкие клики ловчих вторили ей и далеко раздавались по лесу... Сердца застыли в обоих беглецах наших.

— Я не могу идти далее — спасайся! — сказала отчаянным голосом Варвара — и склонилась к земле.

— Гибнуть, так вместе,— возразил Серебряный и взбросил ее как перо на плечо свое и спрыгнул в ручей, чтоб обмануть собаку. Едва успел он пробежать шагов сорок по колено в воде и потом притаиться в орешнике на противоположном берегу, как несколько человек, предводимых лающей собакою, приспели на место, ими покинутое. Гончая, потеряв в текучей воде след, с визгом бегала взад и вперед по берегу — ловчие ждали ее показу.

— Тут был, улюлю, тут играл, тут сметку дал,— кричал один, подстрекая собаку охотничьими восклицаниями.

— Бабушка надвое сказала,— возразил другой,— может статься, это вовсе не они — гончая спугнула лисицу, вот тебе и вся сказка тут!

— Как бы тебе не лисицу — Урывай, небось, не знает, что русский, что зверь?

— Он-то знает, да мы как у него допросимся толку? Волк меня укуси! Разве ты учил его новой азбуке или сам по-собачьи мороковать стал?

— Станешь и по-птичьи говорить, как триста канчугов на ковре обещают влепить...

— Да что нам родить, что ли, беглецов? Волк меня укуси — какой леший занесет их в эту трущобу?.. Они, знай, катают в хвост и в гриву по дороге и теперь, верно, уж в когтях у наших вершников.

— И впрямь так, пан ловчий, — прибавил третий голос, — что нам тут караулить ветер — до дому пора...

— До дому, то есть до корчмы, — возгласили многие.

— Храни бог, вздумает еще какая ведьма подшутить над нами — так проблудишь до завтра около одной сосны; собаке недаром померещилось — ан вдруг и след простыл.

— Свентый Юзеф, змилуйся над нами! До дому, пан ловчий.

— Ах вы трусы, паны добродзеи, — возразил ловчий, но таким голосом, который доказывал, что он сам раде-хонек воротиться и при случае свалить на других неудачу. — Ну, что мне делать с вами? Одними руками не отенетить острова, домой так домой. Назад Урывай, назад!

Голоса понемногу удалились.

Благодаря бога за неожиданное избавление, Серебряный снова поднял Варвару; легка ему казалась ноша: отрадное чувство — спасти свободу любимому существу, придавало ему сил и бодрости. Они достигли до берегу.

Шум Великой одушевил Варвару — она быстро сбежала к ней, упала на колена и с горячей мольбою сотворила три земных поклона — потом припала к реке устами и с жадностью глотала мимотекущую струю.

— О, как живительна вода реки родимой, — сказала Варвара, — она напоила меня прежнею радостью — но если бы и смерть текла в струях ее, мне и тогда показалась бы она сладостна. Добрый друг мой, — примолвила она, взяв руку князя Серебряного, который с умилением внимал ей, — чем я могу воздать тебе за твой тяжкий подвиг, за твое беспримерное великодушие? Чем — когда и это бедное сердце не принадлежит мне... Но есть бог — он нагря-

дит тебя: слезы сироты, как роса в полдень, улетают на небо!

— Я награжден и на земле,— отвечал князь,— если порой ты вспомнишь обо мне— если хоть раз вздохнешь о моей одинокой участи...

Месяц закатывался; тускло светились вдалеке башни замка Опочки, только по грядам сверкала пена Великой. Князь с радостью заметил, что все, как на дороге, так и в окрестности, было покойно— замедление Колонтаевых рейтаров отсрочило, как видно, неприязненные действия.

Зная, что недалеко должна быть хижина рыбака, про которого сказывал ему Агарев как про доброжелателя русских, потому что сам он был выходец русский,— князь оставил Варвару в укромном месте под ивою и отправился отыскивать средств к переправе. Множество плетенных из тростнику рыболовных морд, мелькающих по берегу, указали ему хату рыбака... он осторожно постучал в двери. Через несколько времени волоковое окошечко отодвинулось и дрожащий голос спросил его:

— Что надо, пан добродзей?

— Твою лодку, дедушка, чтобы переехать в ней за реку. Поторопись, старик, я дам тебе два злота за это.

— Если бы ты придал к ним два кошачьих глаза— так нешто можно бы ехать— а то куда мы в такую темень!..

— Если ты не хочешь услужить мне за деньги— так послужи для матушки Руси— важное дело зовет меня в Опочку.

Казалось, эти слова подействовали на старика. Он захлопнул окошко, и князю почудилось, будто бы он разговаривает, но с другим ли или с самим собою,— это невозможно было расслушать. Скоро старик вышел в двери и кинулся по русскому обычаю обнимать князя.

— Сокол ты мой,— приговаривал он,— земляк родимый, каким буйным ветром занесло тебя на эту сторону?.. Для матушки святой Руси готов хоть в польмя, не то что в воду,— уж не гонцом ли к Науму Петровичу? Ох, много я принял горя на своей стороне, а готов за нее положить головушку! Сейчас, родимый, налажу челнок!

Оставя словоохотного рыбака сдвигать челн и управляться с ним, князь возвратился к Варваре— она спала,

утомленная путем и бессонницею, под журчанье реки, лелеявшей ее детство. Князь потихоньку сел подле нее, склонился над нею, желая уловить во мраке милые черты ее — внимать ее дыханию — почувствовать его на лице своем. «Ангельская душа! — думал он, — никакое подозрение не смущает чистой души твоей, среди опасностей всех родов ты бесстрашно спишь под охраной невинности!»

И сердце его снова согрелось нежностью, он дерзнул мечтать о взаимности, улыбался надежде... время все исцеляет... Рыбак прервал нить сладостных размышлений — и он тихо разбудил свою прекрасную спутницу.

— Где мы? — спросила она, озираясь, — ужели еще не в родной земле? Я была там, я видела мать мою — она была так светла лицом, так ласково звала меня... И это был только сон — ах, все, что мило сердцу, — сон!

— Куда прикажешь везти себя, Варвара Михайловна? Было время, что я надеялся принять тебя в палате своей — теперь не для меня это счастье. В Опочке есть пожилой священник; не хочешь ли остановиться у него, покуда я не вытребую твоего наследия от хищного твоего дяди и гостеприимства от других родных твоих?

— Так у меня теперь один дом — это могила моей матери. При том женском монастыре под Псковом, где положена мать моя, доживу и умру я... Теперь делай, князь, что найдешь за лучшее... У меня только одно желание — умереть на своей земле русской.

Варвара вошла в челн — князь уже занес ногу, чтобы прыгнуть в него, — когда грянувший выстрел вдали осветил окружность. В один миг оба берега загорелись перепалкою и вдруг вспыхнувшие пуки соломы и лучин озарили всю реку — люди высыпали отовсюду, — казалось, земля расступилась, чтобы родить их, — князь был окружен ратными.

— Это он, это князь Серебряный — это голова наш! — радостно восклицали стрельцы. — Веди нас, батюшка князь, на этих разбойников!

Серебряный обнажил саблю.

— За мною, други! — вскричал он, видя спускающихся вниз на лодках и плотках панцерников; он вскочил в лодку, и еще несколько других лодок, наполненных стрельцами, ударили веслами и в три мгновения уже сцепились с первым плотом.

Счастье помогло Зеленскому выплыть — и Агарев тот же час, как можно скрытнее, выслал по обоим берегам засады встретить разбойников, велел им запастись пуками лучин, хворосту и соломы, чтобы осветить всю реку. Как ждали, так и случилось: обманутые тишиною панцерники, без всякого опасения, без всякого порядка, пустились на едва связанных прутьями бревнах, в полной надежде перерезать врасплох засаду опочинскую. Но можно вообразить, каково было их изумление, когда с обеих сторон открылась пальба, и они открыты сзади и видны как на ладони. Схватка была, однако, ужасна... Отчаянные в пощаде панцерники дрались на смерть... Крики мести или неистовства вторились холмами — плоты, пристающие к берегу, были в тот же миг очищены свинцом и железом; иные, набегая на гряды камней, разрушались, и кровавая смерть ожидала избегнувших смерти влажной. Бой продолжался с остервенением с обеих сторон — выстрелы стали редеть, потому что перекрестным огнем можно было повредить своим, зато сабли и копья сверкали и ломались.

Рассеяв передовых с плота, опрокинув их в воду живых и раненых, князь Серебряный выскочил на другой, на котором был сам Жегота. Его товарищи отстреливались метко и отважно, сам он, как волк, окруженный охотниками, отгрызался, не робея. Но все уступило мечу Серебряного.

— Сдайся! — кричал он атаману, — или погибель твоя неизбежна... Сдайся!

— Я тебе сдам свинцовый злот! — отвечал с злобной усмешкою Жегота, прицелил, и пуля засвистела — но она пробила только рукав князя...

— Убирайся же к черту! — вскричал он и со всего размаха ударил Жеготу в грудь саблею...

Разбойник зашатался, упал, — и, падая, увлек с собою князя; как змея, обвил его руками, задушая огромным своим телом, и погруз вместе с ним на дно. Кто видел последнюю борьбу двух противников; кто слышал последний стон князя в жару и в дыму схватки, при неверном сиянии огней?

Как раскаленный шар вставало солнце в тумане. Останки недавней битвы разбросаны были по берегам; окровавленные бревна тихо вращались в заводях или, увязнув, стояли между камней; на иных дымились еще трупы от пыжей, тлеющих в одежде. Через реку плавил захвачен-

ных коней панцерников, из которых весьма немногие избежали побоища. На русской стороне делили добычу.

Но все тихо и мрачно было под самыми стенами замка, хотя множество народа было собравшись там, и самые башни, казалось, нахмураясь, взирали с холма высокого: стрельцы откачивали утопшего своего голову.

— Боже милосердный! — восклицал Агарев, возводя к небу очи, полные слезами, — неужели ему на роду написано погибнуть такою смертью! Бедный, добрый друг, — для того ли она выпустила тебя из когтей своих — чтоб похитить после удачи... О, я бы поставил Спасу свечу в его рост, если б он воротился в живые — дал бы бочку вина тому, кто мне скажет, что он очнулся.

— Очнулся, очнулся! — закричали многие.

И в самом деле князь Серебряный вздохнул, открыл очи и, будто пробудясь от страшного сна, озирался кругом боязливо; ручьями текла вода по бледному челу его — Агарев кинулся обнимать спасенного.

— Слава богу на небе — ты опять наш, милый князь, да и можно ль умирать после такой победы? Уже и дрались молодецки — особенно ты, орел орлович, то-то запируем теперь!

Так восклицал Агарев, мешая несвязно приветы с поздравлениями... Зеленский, как сумасшедший, прыгал от радости — стрельцы толпились, чтоб увериться в отрадной вести. Один только князь не делил общего восторга — он будто припоминал что-то — чего-то искал в мыслях своих... ему казалось, будто по выстреле Жеготы пронзительный стон оледенил его сердце — будто он родился, как из лона воды, но был знаком ему — и этот-то ужасающий стон ослабил удар, ниспавший на грудь разбойника; но где, но как, но кем произнесен был он — в том отказывала его память.

— Где она? — наконец вскричал князь нетерпеливо.

Все молчали.

— Где она, где? — повторил он, и страх изобразился на лице: видно было, что он еще более боялся, чем желал ответа, угадывая его на померкших лицах окружающих. Сверхъестественные силы влились в него, он поднялся на ноги, ступил несколько шагов, пытая взорами окрестность, — перед ним лежала раненая Варвара!

В головах ее стоял рыболов, опершись на весло, и плакал. Священник, совершив обряд причащения, перевязывал рану — пуля пробила ей навывлет грудь, выше сердца.

Лицо ее было бледно, как снег, однако ж покойно... Волосы струились по плечам.

Она уже не могла говорить — но, радостно улыбаясь при виде князя, она захватила немного земли рукою, бросила ее на сердце и подняла очи к небу — две слезы выкатились из них — чело ее просияло неземным блаженством...

— Бесценная Варвара! — воскликнул князь, упавая к ногам ее, — хоть одно слово, хоть один взор еще...

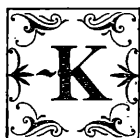
Все плакали навзрыд — чужие, незнакомые проливали слезы — каково ж было тогда сердцу, ее любившему? Князь не мог плакать, не мог стенать — отчаяние его было выше выражений смертных. Он только восклицал: «Варвара!» — но к ней не долетал уже призыв жизни — Варвара Васильчикова уже не существовала.



Часы и зеркало

(ЛИСТОК ИЗ ДЕННИКА)

Time steal on us and steal from us.
*Byron*¹



уда прикажете? — спросил мой Иван, приподняв левой рукою треугольную шляпу, а правой завертывая ручку наемной кареты.

— К генеральше S.! — сказал я рассеянно. — Пошел на Морскую! — крикнул он извозчику, хватски забегая к запяткам. Колеса грянули, и между тем как утлая карета мчалась вперед, мысли мои полетели к минувшему.

Сколько приятных часов провел я у генеральши S.!.. Милая дочь, умное общество, занимательная беседа, приветливое обхождение, прекрасная дочь... Ах, боже мой, да это повторение! — поневоле приходится начинать и заключать ею — она была душой, а может, и предметом всего этого! Чад большого света не задушил в ней искренности, придворные блески сверкали только на ее платье, но ее

¹ Время крадется мимо нас и крадет у нас. Байрон (англ.).

остроумие не имело в них надобности. Весела без принуждения, скромна без жеманства, величава без гордости, она привлекала сердце очами и обворажала умы словом. Самые обыкновенные вещи, ею произносимые, принимали особую жизнь от чувства или мысли, выраженных лицом, от намека в одушевленных звуках голоса. Никто лучше ее не умел сливать светскую ветреность с сердечною мечтательностью и, храня строгий этикет модных приличий, повелевать меж тем модою — и отлично. Всегда окружена роем комаров — остроумцев, щеголей, — мотыльков и шпанских мух — богачей, она одна как будто не замечала ни приветов, ни воздыханий, ни взоров, ни вздоров, которыми ее осыпали. Стрелы паркетных купидонов отражала она своим веером — и самые меткие высыпались вон из корсета при раздеванье, вместе с лишними булавками. Не скажу, чтобы тщеславие, чтобы злословие — две стихии большого света были ей чужды, — нет! это едва ли возможно для всякой женщины и вовсе невозможно для дамы лучшего тона. Что бы заняло их дома? о чем бы стали они шептаться на балах, на съездах, на зрелищах, если б оставить в покое все репутации, все морщинки лиц и складки платьев, все ужимки и уборы присутствующих и все городские вести, изобретенные от *нечего делать* и повторяемые от *нечего сказать*? По крайней мере, она была тщеславна более по примеру, чем по сердцу; по крайней мере, насмешки ее были растворены каким-то добродушием: не уязвить того, о ком велось слово, желала она, а только развеселить того, кому рассказывала. Далека от амазонского тона многих столичных ровесниц ее, она терпеливо слушала лепетанье добрых, неопытных, доверчивых новичков — не превращая их в мороженое уничтожительным взором или словом, брошенным с высоты презрения, и ни одно умное слово, ни одно острое замечание не оставалось без награды ее улыбки — кем бы ни было оно сказано.

Кладу перо и жаднокровно себя спрашиваю: не мадригал ли это, сочиненный моим сердцем? Не влюблен ли я? Но что значит это слово? Я так часто был влюблен, что, мне кажется, люблю только тех, в которых не влюблялся, — следственно, не разлюбил. Нет! это не сердечное пристрастие: чувства мои к ней были нежнее приязни — но тише любви. Я досадовал, бывало, когда безотвязные пустословы мешали мне поговорить с ней, но не ревновал. Не знаю, мои ли обстоятельства или опасение не получить

полной взаимности удержали меня между небом и землею,— только я не надевал на себя пестрого колпака ведьхателей и, скрепив сердце, грелся, но не сгорал ее красотой. Бывало, часы летели и речь кипела ключом, когда она, сбросив светские узы жеманства вместе с тафтяными цветами и пышными регалиями скуки, возвращалась в домашний круг свой, будто сейчас из пелен природы. Как простодушно умна, как непритворно чувствительна тогда бывала она! Я никогда не забуду последнего вечера, проведенного с нею: четыре года отлучки и бивачная, разбойничья жизнь в горах Кавказа не сгладили о том воспоминания: все это, как вчера, у меня перед глазами.

Со мною не церемонились — я был у них почти домашний; и после обеда мать отправилась *faire la ciéste* — немножко отдохнуть, чтобы не зевать на бале, на который собирались они. Мы остались у камина: брат ее, кавалерист, дремал под благодарным влиянием английских угольев и только порой побрякивал шпорами: видно, мысли его танцевали тогда мазурку. Старшая, замужняя сестра Софьи занималась счетом бисера для узоров кошелька; зато мы вдвоем говорили за четверых, и речь шла, конечно, не о слезах Андромахи. Слово коснулось живых картин, и я сказал, что многие дамы наши выигрывают в них безмолвием и неподвижностью, но что все мы теряли в вашем молчании, *mademoiselle Sophie!* Правда, вы были живою мыслию живописца; вы одушевили, возвысили ее собственным выражением и воображением; но одно движение, один звук вызвал бы искру восторга, который таился еще в немом созерцании!

— Даже если б я чихнула? — лукаво спросила она, возражая на комплимент мой.— *Allons. M. Alexandre!* я не люблю шуму, и от высокого до смешного один шаг. Пойдемте-ка, я лучше покажу вам новую свою работу по бархату, свою совсем не живую картину! — Сказав это, она упорхнула вперед; я предложил руку старшей сестре, которая, полушутя-полусерьезно выговаривала Софье, что она без матушки приглашает молодого человека в свой кабинет,— но, однако ж, встала, и мы счастливо совершили суворовский переход.

Как жаль, что у нас нечем выразить английского слова *Awe*. Это не страх, не благоговение, не изумление, но что-то такое, которое имеет в себе нечто от всех трех. Та-

¹ Что вы, мсье Александр (фр.).

ким-то чувством бывал пронизан я, переступая порог кабинета прелестной девушки, поражен не тем, что видел там, но тем, что угадывал или воображал. Здесь при лучах утреннего солнца вода освежает ее, как розу... Здесь перед зеркалом выбирает она из модной своей оружейницы (то есть гардероба) самые убийственные для нас наряды; здесь примеряет новую шляпку, новую улыбку к лицу или испытывает небрежно живописное положение; здесь повторяет нечаянные взоры, вздыхает за романом, мечтает после бала... и кто тот счастливец, о ком мечтает она? С каким-то чувством сладкого страха вступил я в комнату Софии — как будто в святилище. Некоторая таинственность, некоторый риск придавали тому еще больше цены. Все мне казалось там очаровательно: уборы и вкус их, свет и воздух! Бронзовые и хрустальные безделки манили взор прелестью работы или возбуждали любопытство новостью изобретения. Млечная крышка лампы проливала сияние луны; цветы и духи веяли ароматом. На канделябре висела шляпка с вуалем для гулянья по Невскому. На письменном столике, между блестящими альбомами, умирающий Малек-Адель бросал последний взор из-под английской карикатуры. Полуразрезанный роман Вальтер Скотта заложен был пригласительным билетом на бал; на недоконченном письме брошена была поддельная гирлянда, и журнал мод, развернутый на картинке, осенял своими крыльями Шиллера и Ламартина; полусожженный листок из Дарленкура, служивший для зажигания кассолета, заключал картину, — словом все в блестящем беспорядке — то была ода в анакреонтическом роде — или, лучше, история сердца и ума светской девушки. Так я мог следить ее прихоти и склонности — борьбу ветрености с жаждою познаний, с потребностью занятий душевных; желание блеснуть, нравиться и побеждать равно наружностью и умом в свете, столь скучном своими обычаями и столь милым по привычке. Привычка — вторая природа, говорят все. Мне кажется, что природа сама — первая привычка... ни больше, ни менее.

София сдернула покрывало с небольших пальцев, в которых натянута была бархатная белая полоса, и на ней яркими оттенками весьма искусно изображалась вязь плодов, перемешанных с цветами. Я молча глядел то на работу, то на Софию, и снова, и снова попеременно; она взглядывала то на меня, то в зеркало. «Вы настоящая Аврора, — сказал я, — под вашими перстами расцветают ро-

зы!» — «Разве маки, — возразила она, — я встаю слишком поздно для вестниц Феба. Притом быть петербургскою зарею значит проститься со всеми своими знакомыми — которые видят восход солнца только на Вернетовой картине!» Я уверял, что она весь свет сделает раннею птичкою, введет в моду утренние прогулки, и все лорнеты, все трубки обратятся к востоку, подобно очам правоверных! Она возражала, что спрашивает о цветах, а не о себе. Я говорил, что невозможно, глядя на них, не вздумать о лучшем из них. Она желала знать, хороша ли работа. Я отвечал, что в отсутствие художницы она казалась бы прелестною, но при ней искусство уступает природе и краски кажутся безжизненны, что персики могли бы позавидовать пуху щек ее, а розе надо бы занять у нее румянца. Она говорила, что я приветлив (*complimenteux*) слишком по-светски. Я говорил, что я слишком искренен для света. Она говорила, что иногда не понимает меня. Я говорил, что теперь и сам себя не понимаю. Она говорила, — виноват, она молчала, — но я не переставал говорить глупости — и не диво: благовонный воздух дамских кабинетов напоен их прелестями — взоры их так обворожительны, божественная заря так прилипчива! Сердце тает, язык болтает — и все это делается, сам не знаешь как.

Било семь. «Как они отстают!» — вскричала Софья. Восклицание это доказывало нетерпение ее быть на балу, где найдет она множество поклонников, затмит многих соперниц. Я взглянул на часы едва ли не со вздохом — они врезаны были наверху большого трюмо. Странное сочетание! Урок ли это нравственности? Напоминание ли, как дорого время, или эмблема женских занятий, посвященных зеркалу? Приятное ли, разделенное с полезным или полезное — жертва приятному? Вероятно, мастеру, который для странности или по случаю соединил в одно эти разнородные начала, не впадало на ум ничего подобного: да и сам я подумал о том, будучи уж дома и один.

— Направо, стой! — кричит Иван... Карета остановилась; звонок дрожит на пружине, и сердце мое бьется.. Это ничего! точно так же билось оно у дверей каждого из прежних друзей моих. Радость их видеть и вместе страх увидеть остывшими или не так счастливыми, как бы хотелось, неизвестность встречи или приема — вот что волнует грудь странника. «Принимает!» — говорит старик швейцар, вздевая очки на нос, но прежде чем он успел разглядеть и узнать меня и удивиться, что я так давно

не был,— я уже на верху лестницы, я уже в гостиной. Генеральша, разговаривая с двоюродною сестрою своею, почтенною женщиною преклонных лет, раскладывала гран-пасьянс. «Очень рады».— После обыкновенных расспросов, где и как был, что выслужил, я наведалься о здоровье любезной дочери. «Слава богу, она у себя в комнате,— отвечали мне,— и будет довольна, вас увидя; не угодно ли потрудиться войти к ней?» Я удивился, но не заставил повторять себе приглашения. «Что бы это значило? — думал я... — только однажды, и то украдкою, мне посчастливилось быть у Софьи в комнате, как ни короток я был прежде в доме; а теперь меня посылают туда без провожатого! Люди или обычаи здесь изменились?» — Софья встретила меня радостным восклицанием, как старинного друга,— и в этот раз грешно бы было сомневаться в ее искренности: она была так уединенна, так одинока! Она не походила на себя — на прежнюю себя. Куда девалась эта свежесть лица? этот прозрачный тонкий румянец, эта роза любви, в очах тающая? эта нежность лилейной шеи, гордой груди? Те же цветы, обновясь, красуются на ее окнах, но она увяла! Неужели четыре года — век красоты? Нет: я прочитал иную повесть в томных чертах, в грустных взорах Софьи! Не от одной напряженной жизни большого света, не от бессонницы и утомления на частых балах так быстро поблекла она,— к этому присоединились нравственные огорчения: червяк тоски тихо сточил ее сердце, и роза опала, не пережив весны своей. Колесо моды вынесло вверх других красавиц, и поклонники прежней умчались вслед новых метеоров; атмосфера вздохов, которою жила, дышала Софья,— рассеялась, и она, к досаде своей, должна была ежедневно видеть успех других, поглощать свое унижение и, так сказать, украшать трофеи соперниц. Слишком строгая в выборе во время владычества — по вкусу, она и теперь не изменила себе — из гордости. Связи родства и приданое ее не были так значительны, чтобы привлечь превосходительных (я не говорю, превосходных) женихов-математиков; а люди, достойные ее по сердцу и летам, удалялись невесты столь высокого полета, привыкшей к блистающей жизни, к знатному кругу знакомства, которого не могли, а может, и не желали бы поддержать. Кто знает: может, и любовь, тайная или обманутая, отвергнутая или неразделенная?.. И это сердце, созданное для того, чтобы любить,— изныло в одиночестве среди людей, посреди шуму, безответно! И эта прелест-

ная девушка, которая бы украсила общество как супруга, как мать,— отжила для надежды в двадцать три года, забыта светом, которому принесла себя в жертву. О, свет, свет! Как мало даешь ты — за все, что отнимаешь! Блестящи — но тяжки золотые цепи твои, и мы еще более отягчаем их связями. Умножая наслаждения, мы умножаем страдания разлуки с ними; мы срастаемся с тобой, и рука судьбы, отрывая нас прочь, расторгает сердце!

В кабинете Софьи заметно было гораздо более порядка: все у места, все прибрано — теперь ей более досуга. Сама она сидела спиной к зеркалу, которое не могло уже ей показать, какова она была, — и в котором не хотела она видеть себя, какую стала. Она углублена была в чтение истории герцогов Бургундских; доказательство, что занятия ее стали основательнее, — нет худа без добра. Она показала мне любезна по-прежнему, но в остроумии ее было менее живости, в эпиграммах более соли, чтоб не сказать желчи. Она смеялась — но уже этот смех обличал досаду покинутой, а не удовольствие торжествующей красоты. Разговор был более шутив, чем весел. Она просила меня рассказать поправдивее о Кавказе. «Пушкин приподнял только угол завесы этой величественной картины, — говорила она, — но господа другие поэты сделали из этого великана в ледяном венце и в ризе бурь — какой-то миндальный пирог, по которому текут лимонадные ручьи!..» Я, как умел вернее, старался изобразить ей ужасающие красоты кавказской природы и дикие обычаи горцев — этот доселе живой обломок рыцарства, погасшего в целом мире. Описал жажду славы, по их образцу созданной; их страсть к независимости и разбою; их невероятную храбрость, достойную лучшего времени и лучшей цели. Беседа наша была довольно любопытна, даже занимательна — но со всем тем мы оба охотнее бы променяли все эти рассудительные разговоры на тот час, когда мы болтали вздор, склонясь над рисованными цветами!!

Между прочим, Софья поздравила меня с избавлением от страсти к комплиентам. Привет это или укор? Я в самом деле не сказал ей ничего лишнего — ложь замирала у меня на устах. Женщины, однако, любят похвалы красоте своей еще больше, когда она исчезла. В цвете они принимают их за долг, в отцвете за дар: это наши князья без княжеств, графы без графств. Сиятельство приятно им и без сияющих достоинств, как обет или воспоминание.

Наконец я взглянул на часы и встал, чтобы сойти в гостиную. Не верьте им: они бегут!» — сказала Софья. Как много в немногих словах!! Давно ли, когда надежда торжества опережала время, она говорила, глядясь в зеркало: «они отстают!» Теперь, когда вылиняли крылья радости и сердце не успевает уже за временем, теперь: «они бегут». Так, они бегут — и невозвратно! Сочетание зеркала с часами поразило меня более, чем когда-нибудь: в два раза вся история красавицы мне виделась на них начертанною; мне виделся в них живой, но бесполезный урок тщеславию.

Я вышел грустен. Случайные слова «они бегут!», «они отстают!» — произвели на меня сильное впечатление, произнесены будучи особою, столь несчастливою, но столь достойною счастья. Ровными стопами идет время — только мы спешим жить в молодости и хотим помедлить в ней, когда она улетает, и оттого мы рано стареем без опыта иль молодимся потом без прелести. Никто не умеет пользоваться ни выгодами своего возраста, ни случаями времени, и все жалуется на часы, что они бегут или отстают. О, Софья, Софья! Не имя, а участь твоя навела на меня этот порыв *мудрости*: твои часы и зеркало еще и теперь у меня перед глазами.



Красное покрывало

СЦЕНЫ ИЗ ПОХОДНОЙ ЖИЗНИ

С карандашом в руке сидел я на восточном кладбище Арзерума, срисовывая один весьма красивый надгробник в виде часовни. Осеннее солнце клонилось за далекие горы Лазистана. Ярко отделялись на зареве зубчатые стены города, который восходил в гору ступенями, и над ним, в вышине, грозным стражем возникал замок, и над замком сверкали Русские пушки, веял Русский Орел крылами. Столповидные райны, перевышенные башнями, устремленными в небо, не колеблясь, стояли вдали, и стройные минареты мечетей, сверкая золочеными маковками, казались огромными свечами, теплющимися пред лицом Алла. Долгие тени надгробных камней толпой сходили в долины, и за кладбищами, рассыпанными по всем окрестным холмам Арзерума, как стадо лебедей, виделся лагерь военный, расположенный при входе в Байбуртское ущелье.

Картина, развитая передо мной, была великолепна, пленительна, и, забыв рисунок свой, я весь поглощен был созерцанием видов окрестных: сумерки облекали в свои таинственные краски все дикое, все резкое при сиянии

дневном и населяли пустоту мечтами, даль мыслями. Город роптал, как засыпающий великан, но зато предместия становились тем шумней пред закрытием ворот. Все дороги, к ним ведущие, сокрытые игрою холмов, в коих они прорыты, заметны были только по облакам пыли, над ними кипящей. Стада спешили с поля в город и из города на водопой. Крик погонщиков, гремение ослиных позвонков, ленивое мычание буйволов, нетерпеливое ржание боевых коней — сливались в шум, подобный спору моря с утесами.

Жизнь говорила вдали, но зато какая мертвая тишина лежала кругом меня! Грозна была громада города, но еще грозней облегало его войско смерти — бесчисленное множество стоячих камней казалось воинами, стремящимися на приступ неотразимый. Сколько поколений, живших за этими крепкими стенами, невольно покинули их, чтобы лечь в прах у стоп могильных камней, и сколько еще родов и народов заснет здесь сном беспробудным!

Кладбище! бездна, ничем не наполняемая и вечно несытая, — ужель безвозмездно работает на тебя жизнь? Ужели волны твои грозят потопить некогда всю область ее? Кладбище, говорю я, но что такое вся земля, как не исполинское кладбище! Как здесь гроб на гробе, кости на костях: так везде, на каждом шагу, попираем мы остовы праотцев, памятники народов, обломки первобытных миров, из коих создан мир наш. Может быть, прах, отрясаемый с наших ног, смешан с прахом восточных царей, давно истлевших, давно забытых; и кто считал песчинки в часах судьбы? Может быть, чрез месяц ветер, освежающий лицо мое в жар полудня, разнесет мой прах далеко, далеко!

И почему эта мысль, как льдина, пала на сердце? Мне ли быть вечным на земле, когда тысячелетние деревья падают с подножий ровесников творения, когда гранит распадается от дыхания времени, и под тяжкою пятою его сокрушаются все памятники бытия, даже небытия человека! Посмотрите кругом: сколько плит, веков, вер друг на друге: идолопоклонники, огнепоклонники, мусульмане, христиане. Подле камня, цветущего пестрыми, свежими арабесками, вырастает в землю тяжелое надгробие, седое мохом древности, и путник напрасно разбирает неведомые на нем руны — судьба сгладила их с камня, как язык, на коем они писаны, из памяти народов, как самый народ, говоривший им, с лица земли! *Самые кладбища имеют судьбу*

свою,— сказал Ювенал: «Data sunt ipsae quoque fata sepulchris».

Глубокая, горестная истина! И где суждено мне пасть в объятия сырой земли? Где истлеет мой прах и сокрушится над ним тленное надгробие? На родине или в чужбине пожрут меня уста этого непонятого Сфинкса — могилы? Сохраню ли я в другом мире здешнюю самобытность или лучшею только частию моею сольюсь с другим лучшим целым? Оживет ли в ней память об этой жизни, или только пророческие сны, едва намекающие о давно минувшем, будут, как и здесь, ее уделом? Наконец, судьба человечества, этого вечного Я, равно в границах известного времени и пространства, как в беспредельном горизонте вселенной, в бездне вечности... увлекла меня в даль недолетную; но смелая дума напрасно порывалась взлететь над безвестным океаном, как против вихря чайка прибрежная...

Грохот заревых барабанов, во всех концах города переторивающих друг другу стройными перебойми, извлек меня из глубокой думы... гул его доходил до меня, теряя отдалением суровость свою,— и звук флейт, оканчивая каждое колено, лился, подобен милому голосу женщины вслед за грозным кликом воина; муэзинны звали к молитве. Заревая пушка грянула в лагере,— эхо гор отвечало ей долгим перекатом,— и наконец везде воцарилось молчание. Тихо ниспал флаг на башню замка... победный Орел свил крылья свои. Солнце село.

Но не вдруг сошла ночь на окрестность: прозрачный туман медленно развивал свою креповую завесу — медленно увивал чалмою главы гор; тени и пары густели постепенно,— и вот, золотокрылый месяц вспорхнул на небо обычной стезей своей,— и мои думы опять покинули землю против воли и без ведома сердца.

Скажите: отчего на поле битвы, даже после битвы, когда уже сердце начинает простывать от запальчивости, от негодования, от мести; когда миновала опасность и внимание не занято службою, отчего, спрашиваю, видя растерзанные чугуном и железом трупы, в крови, в пыли, обнаженные, разбросанные по земле, слыша стон безнадежно раненных и хрипение умирающих,— душа воина не содрогается? Смерть кругом его, смерть везде, кроме его мыслей. Самый трус не даст вам отчета, чего он боится в деле, чего ужасается после? Его страшит сабля, пуля — он хотел бы избежать раны, спасти жизнь,— но никогда ясная мысль о смерти не представляется его уму, крутяще-

муся в вихре разных ощущений. Ему некогда думать от робости, от стыда; отважному от горячности, от жажды отличия, от занятий по должности; каждый так занят делом или любопытством, нетерпением или боязнию, что прежде чем успеет рассудить, он уже увлечен в натиск или в отступление, и нередко ранен или убит, не имея свободного мгновения и вспомнить о смерти. Вот почему не должно так высоко ценить то, что мы называем храбростию, ибо из сотни едва ли двое действуют по собственному внушению, остальные покорны случаю и влекутся немногими; побеждают или гибнут потому, что не могли сделать иначе. После сражения удовольствие видеть себя невредимым, радость встречи с друзьями, высокое чувство победы и, наконец, усталость телесная заграждают душу от мысли о кончине, хотя все чувства поражены ее жертвами. Привычка довершает беспечность.

Не то бывает наедине, на кладбище, — хотя оно только область тления, только хранилище бранных останков человека, а не поле смерти. Безмолвие гробниц навеивает на душу какую-то священную тишину: сердце усмирено, страсти улегаются, умственное ухо внемлет вещаниям могил, предвещаниям будущего. Мнится, дружный голос возникает из земли, и будто знакомые тени толпятся около, манят к себе: душа рвется из оболочки, и взор хочет пронзить мрак ночи. Такими мыслями, такими мечтаниями был занят я, сидя на гробовом камне, — и месяц уже сиял высоко надо мною.

На одном из холмов я давно видел женщину, стоящую над могилой... она была высокого роста, и длинное красное покрывало широкими складками струилось до земли, — но как подобные явления вовсе не редки в землях мусульманских, где частые поминки по умершим считаются священным долгом для оставшихся, — я не обращал на нее внимания. Не раз бродящие окрест взоры мои останавливались на стройном стане ее, и, снова погруженный в задумчивость, я забывал о ней, забывая всё земное. Но вот протекло более четырех часов, как я на кладбище, и она не трогалась с места, не изменяла положения: она сама казалась истуканом надгробным. Это изумило меня. Мусульманка — и в такой поздний час — посреди неверных, близи русского стана? Правда, что турчанки скорее одноземцев своих ознакомились с великодушием русских, и в городе, не страшась, ходили поодиночке, — но вечером и за городом — никогда. Гибельная ревность своих страши-

ла их во сто раз более, чем встреча с победителями, и бумажный фонарь был необходимым условием для тех, которых необходимость принуждала выйти ночью на улицу в сопровождении мужа или родственника. Любопытство подстрекнуло меня, и, забросив на плечо полу плаща, я тихими шагами пошел к незнакомке.

Холм, на котором стояла она, занят был армянским кладбищем, сливающимся с прочими. Смерть помирила враждующих: правоверный лежал рядом с христианином; жертва и палач вместе — крест подле столба, увенчанного чалмою. Я приблизился. Я уже стоял перед незнакомкою, — но она не видала, не слыхала меня. Красное покрывало ее отброшено было с лица — и как прелестно, как выразительно было бледное лицо ее, обращенное к небу!.. на полуоткрытых коралльных устах исчезал, казалось, ропот — и дико блуждали в пространстве черные ее очи. Какая безотрадная горесть напечатлена была на этом высоком челе, какое гордое отчаяние сверкало из этих бесслезных очей, какие горькие жалобы таились в этой бело-снежной груди, волнуемой вздохом неразрешимым!! Есть чувства, которых не дерзал еще выразить ни поэт, ни живописец — такое безмолвное чувство трепетало в каждой жилке красавицы... Сердце мое сжалось, и глубокое соучастие вырвалось речью... Тон голоса смягчил нескромность вопроса.

— Ханум (госпожа)! — сказал я ей по-татарски¹, — ты, верно, оплакиваешь родного?

Турчанка вздрогнула, но не закрыла лица по общему обычаю азиаток: властительное чувство тоски убило в ней все другие заботы. Казалось, она пробудилась от тяжелого сна моим голосом... Взоры ее остановились на мне, — но ответ ее был едва внятен, — она будто разговаривала с сердцем своим...

— Да, я оплакиваю родного, — сказала она. — Он был мне все на земле: отец мой, брат мой, любовник, супруг! Как заботливый родитель, он дал мне новую душу... как нежный родственник, лелеял меня, — как страстный жених, любил меня, — и я любила его, — примолвила она. — Но это слово пронзило мою душу... Она склонила голову на жатые судорожно руки.

¹ Татарский язык Закавказского края мало отличен от турецкого, и с ним, как с французским в Европе, можно пройти из конца в конец всю Азию.

— Утешься, красавица,— сказал я,— твой милый теперь в раю.

Лицо ее вспыхнуло.

— Да, он стоил любви самих небожительниц Гурий еще на земле! — отвечала она. — Но я знаю его сердце — оно бы стало и с ними грустить о верной подруге, которая для самого Азрафила не изменит ему и мертвому. Нет, ревность моя к небу была бы напрасна. Не в рай Магомета — в рай Аллы улетела светлая душа его — он был Христианин!

— Христианин? — вскричал я, отступая от удивления... — Но кто ж был он?

— И ты, русский, спрашиваешь, кто был он; и воин, ты не знал товарища, и человек с живым сердцем не имел его другом! Бедный, бедный,— я жалею тебя!.. Когда он был живой,— я отдала бы жизнь за то, чтоб он любил одну меня,— когда он убит, я бы хотела, чтобы все его любили, как я... Но кто так узнает, так горячо полюбит его, как я?.. Ангел было имя души его; моей душой (джан-ашна) я звала его — другого имени не ведала и не хотела я узнать!

Я склонился к надгробному камню, вонзенному стоя, и в самом деле увидел на нем грубовысеченный крест и под ним надпись:

«Здесь покоится прах умершего от раны, полученной в сражении близ... Поруч... Влад...» — далее не мог я разобрать — нижняя часть доски разбита была пулями — в нее, кажется, кто-то стрелял в цель. Участие, еще нежнейшее, овладело мною, когда я узнал, что она любила моего одноземца. Мне стало жаль оставить ее в такой час опасным встречам. Я вспомнил, что за два дня нашли во рву крепостном убитую девушку — жертву ревности, вчерась двух женщин на улице: осмеленные выходом русских, мстительные мужья платили кинжалами, может быть, за мнимые неверности; ласковый взгляд был преступление в глазах изуверов. Желая напомнить ей о поздней поре, я сказал:

— Милая (ман-азизум) — солнце давно уже закатилось!

— Мое солнце и не взойдет,— горестно возразила она. — Ни крик петуха, ни звон трубы, ни даже мой голос не разбудит его утром... Мои жаркие поцелуи не откроют его очей, щеки не улыбнутся мне, уста не молвят слова радостного!

Нежное воспоминание растопило ледяную кору тоски — и в три ручья брызнули слезы; она горько заплакала. Когда я очнулся, щеки мои были влажны.

— Сестра, — сказал я ей наконец, — ты здесь не безопасна. Я честный человек — доверься мне: я провожу тебя, куда ты хочешь: к мечети ли предместия или в знакомый дом. Иначе наши могут обидеть тебя или свои оклеветать. Вели: я твой защитник!

Негодование изобразилось на лице ее; с величавой осанкою подняла она голову и с гордым взором указала мне на небольшой кинжал, скрытый под парчовым ее архалуком.

— Русский — произнесла незнакомка — скорей это лезвие, чем рука мужчины, коснется моей груди: я умею умереть... Я уж умерла для клеветы соседей, для мести родных. Пускай они все видят, все знают. Прежде с кровью не исторгли бы из меня тайны любви моей — теперь я рада всякому, везде говорить о ней... в этом моя гордость, мое утешение! У меня уж нечего отнимать, мне уж нечего бояться. Бывало, и звезды ночи, не только злоба людей, не видали шагов моих к милому — тогда мне дорого и страшно было завтра. Теперь у меня нет завтра! Здесь ночь, здесь зимняя ночь! — промолвила она, положив руку на чело, потом на сердце... — Он унес в могилу свет из очей и теплоту из сердца — на его могиле хочу я умереть, чтобы в ней смешались прахи наши, а за ней наши души!

Она сделала рукой знак, чтоб я удалился, склонила колени и погрузилась в молитву. Напрасно я говорил ей, напрасно уговаривал: слух ее был далеко, и струи слез сверкали на лице, озаренном луною. Отдалясь шагов на сорок, я решился охранять ее до рассвета. Неодолимое чувство, может быть, еще нежнейшее участия, приковало меня к судьбе ее... «Несчастливая, — думал я, — для того ли гордое чувство любви возвысило тебя над толпою одноземков, доступных только рабскому страху или презрительному корыстолюбию даже и в том, что они называют любовью; над толпой, не ведающей иных наслаждений, кроме чувственности, других занятий, кроме детского тщеславия, — чтобы оставить посреди их в пустыне? Для того ли упала завеса с твоего разума, чтобы ты ясней увидела бездну горя? Для того ли чистый пламень страсти утончил все твое существо, чтобы ты живее ощутила в сердце жало разлуки, разлуки вечной? Какая подруга теперь

поймет тебя, какая грубая забава утешит? Твой милый сорвал тебя, как цветок, с корня растительной жизни и на своих крыльях умчал в новую, прекрасную жизнь ответственную — но стрела смерти пронзила его в поднебесье, — и тебе не дышать более воздухом этого поднебесья, — не прирость снова к земле!»

Колокол главной караульни города прозвучал одиннадцать часов ночи. Кругом все спало мертвым сном. Лишь изредка переклик стражи да лай собак раздавались в крепости и в стане. Опершись о надгробный обломок, я пробежал взорами горизонт, стесненный мраком и туманом. Сзади меня чернел город, и только над замком сверкали два луча — это были ружья часовых. Пары слоились, волновались по диким, обнаженным хребтам окрестных гор. То возникали они причудливыми зданиями, то расходились серебряным лесом. «Не так ли, — думал я, — вьются ночные мечты около сердца, обнаженного от зелени радости!» Но между гор одна высокая вершина не была облечена пеленой тумана, и расщепленная молниями вершина сия во всей дикости возвышалась над морем паров... «Душа высокая — вот твоя участь: — для тебя недоступны мечтательные надежды — не тебе земные утешения!»

Но кто там скачет по гробницам, извлекая из них молнию? Это осман. Белый конь его мчится, как оседланный вихрь, и полосатый плащ (чуха) клубится во мгле, подобно облаку... Рука моя невольно взвела курок пистолета, ибо ненависть турок ознаменовалась не одним тайным убийством. Но всадник вдруг осадил коня — привстал на стременах — страшно сверкают очи под белой его чалмою... окладистая черная борода объемлет бескровное лицо — он кого-то ищет, он нашел свою жертву. Снова конь взмахнул розовой гривой, и в три поскока он уже был на могиле русского, над которой на коленях молилась прекрасная незнакомка. Я видел, как взвился на дыбы конь всадника, видел, как сверкнула сабля, подобна рогу луны сквозь тучу, — слышал, как непонятное для меня проклятие огласило воздух, — и за ним краткий, но невыразимо пронзающий стон... Но все это свершилось в одно мгновение ока, и когда я кинулся туда, — красное покрывало было уже распростерто по земле. Завидев меня, злодей с свирепою радостью устремил на меня бурного жеребца своего и с кликом: «Христиан тази!» (христианская собака) — взмахнул саблею. Он бы наверно изрубил и стоптал меня, если б пуля не встретила его на лету. Огненный

фонтан брызнул, и сабля врага, упав с высоты, звучно разлетелась натрое. Испуганный конь кинулся в сторону, но еще всадник держался на нем. Качаясь, помчался он вдаль, упав на гриву, и, когда бешеный бегун перепрыгнул через водовод, он исчез у меня из виду.

Волнуем предчувствием, поспешил я к незнакомке — она уже не существовала! Сабельный удар рассек ей плечо до сердца, и только лицо ее не было облито кровию. Черные косы рассыпаны были по плите, которую обняла она руками. Припав на колена, я долго вглядывался в чело ее, леденеющее постепенно: страх не успел согнать с него грусти глубокой, и уста, казалось, разверсты были не стоном, а вздохом любви.

Я хотел обмануть себя, увериться, что румянец пробивается порой сквозь снег бледности, что дыхание жизни колеблет щеки, — нет... все прошло... все кончилось... душа ее проникла уже великую загадку, которую так страстно и так напрасно разгадывал я недавно.

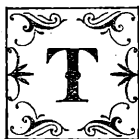
— Пожалеть или поздравить тебя, красавица? — сказал я, проникнут тихую горестию. — Как бы то ни было — если и не встретишь ты друга за дверью смерти — твои земные страдания кончились — покойся!

Прощальный поцелуй мой сошел на холодное ее чело — и я задернул труп красным покрывалом.

На утро, с зарей, мы выступили обратно в границы России. Я мог догадываться, кто был любовник убитой красавицы; но кто была она, кто таков убийца, отец ли, брат ли, супруг ли ее, — не знаю. Все мои разведки остались бесплодными... Она и он для меня канули будто в воду — но воспоминание об ужасной картине еще горячо на сердце, и я до сих пор содрогаюсь, встречая красное покрывало.



Будочник-братёр



Темна была ночь петербургская; хладен ветер осенний. Мелкий дождь рассыпался дробью, фонари чуть мелькали в тумане. Все было тихо по улицам — на башне Думы било двенадцать. — Кто идет? — вскричал будочник.

Ответа не было.

— Кто идет? — закричал он громче мимоидущей бабе.

— Солдат! — отвечала она.

Будочник задумался.

В это время я сидел за письмами и, кончив деловые, принялся было писать к тебе, милый N.N.; но голова моя была пустее «Дамского журнала»; пальцы будто отморожены: ни одной мысли, никакой шутки не мог я выжать из пера, утомленного прозою жизни и очиненного совсем не на дружескую руку. Я бросил его и отворил окошко. Невский проспект, чуть озаренный фонарями, терялся во мраке на обе стороны. Прозанческий дождик журчал по мостовой, и глухо звучали потоки его в жестяных трубах. Последняя карета промчалась гремя, и все опять смолкло. Где-где усталый звон шпор и бряканье палаша по тротуару доказывали, что идет кирасир с приказною книгой, или шарканье калош

какого-нибудь штатного бостонщика биргерклуба возвещало возврат его домой. Будка стояла прямо под моим окном, и в охриплом голосе будочника узнал я старого знакомца: он каждый торжественный день, разнося повестку об иллюминации, заходил поздравлять меня с праздником, разумеется, в надежде получить на водку. В молодости своей он учился в семинарии и, кажется, не дурно, потому что до сих пор пересыпает рассказы свои латинскими цитатами; но, выгнанный оттуда за пьянство и шалости, попал в солдаты, был произведен в ундера, опять разжалован и наконец, переходя или, лучше сказать, нисходя по всем степеням своего звания, из пожарной команды стал блюстителем общественного спокойствия. Комическая встреча его с хмельною старухою очень меня забавляла, когда на оклик: «Кто идет?» — она отвечала: «Солдат».

Будочник задумался.

— Солдат? — произнес он сомнительно. — Солдат? — повторил он с укором. — Не солдат ты, а барабанщик бесовского легиона, старая ведьма, прости господи!

К чести будочника я могу засвидетельствовать, что при этих словах он сделал секирою на молитву и перекрестился. Между тем кумушка уплеталась, как позволял ей избыток лет и вина. Скоро поворотила она в Морскую — и «скрылась от истории». Она скрылась, но неумышленно произнесенное ею слово взворошило все мысли моего мудреца в броне сермяжной. Он вытащил берестяную тавлинку, дернул за хвостик; крышка щелкнула, и он, классически переминая зеленчак между пальцами, начал нюхать, что называется, с расстановкою, ворча за каждым нюшком: «Солдат? Гм... гм... солдат!!» — так что я по разным ударениям его голоса мог угадать, какие мысли шевелились в стриженной его голове. Однако ж последний раз произнесен был так двоясмысленно и после него молчание длилось так долго... что я еще и теперь в недоумении, приписать ли это многосторонности зерновой идеи, наслаждению ли нюхания, которое в ту минуту могло проникнуть до самого перикраниума, или, наконец, винным парам, на время затмившим его память. Полагаю последнее мнение тем более вероятным, что наконец он вскрикнул «солдат!» так радостно, как будто нашел в кармане давно затерянный пятак. На этот раз роковое слово было вступлением следующей речи:

— Солдат! Боги бессмертные! женщина, слабая женщина дерзает назвать себя воином! Женщина — это подражание человеку или, лучше сказать, человек наизнанку; обре-

ченая природою совершать свой орбит около домашнего очага или детской люльки, нося девять месяцев груз под сердцем и год на груди! Существо, предназначенное только производить, смеет самозванно облечься в высокое звание разрушать себе подобных, звание, требующее крепких сил души и тела, женам недоступных! Странная заносчивость, чудный антитезис! Не потому ли хотят они владеть копьем Марса, что Геркулес прят веретеном у ног Омфалы? Но орлам случается и ниже кур спускаться, говорит Крылов; однако ж курам не подняться наравне с орлами. Не станем пробегать царства, давно исчезнувшие, и поднимать из гробов давно истлевшие кости. Знаю, конечно, знаю басенную историю или, лучше сказать, историческую басню об амазонках; слышал и о деде Орлеанской, и о Гете и Висне-норманках — но что это доказывает? Они явились как исключения, исчезли как невозможность. Что же касается до новейших героинь, как испанки в Сарагосе, как наши старости Василиса, Бабулина и проч., — они действовали в горячке какой-нибудь страсти, и то на краткое время. Знаю, что они могут славно, умно повелевать, да иное дело повиноваться, и я приглашаю всех служак земного шара привести в дисциплину дюжину кумушек! Легче заставить молчать неприятельскую батарею, чем язык женщины, и если бы в женских рядах лопнула граната, начиненная для смеху лентами и бусами, — прощай служба и битва: все передрались бы между собою за стеклярус. Не говорю уже о хранении тайны: каждая наша амазонка готова была бы с часов бежать в цепь неприятельскую, чтоб иметь удовольствие рассказать там, первой, пароль и отзыв, именно потому, что это запрещено. Итак, пусть будут женщины губернаторами мужей губернаторов, пусть юрисконсульты ездят к ним *volens volens*¹ на совещание; это водится нередко в свете, как слышал я от забритых в солдаты слуг, да и сам испытал, будучи квартирмейстером: бывало, моя капитанша поверяла всю таблицу умножения на щеках моих за недочет какого-нибудь гарница... Пусть будут они вечно, как всегда были, по словам поэтов, сокрытою виною всех войн, начиная с Троянской осады, при которой многие тысячи вероятных рога носцев дрались за одного несомненного! Пусть женская подвязка служит наградю храбрости, лишь бы кофта не предводила мундирами. Пусть даже отличаются они в домашней войне, которая ведется от Ноева потопа до пе-

¹ волей-неволей (лат).

тербургского наводнения. Все мужья признаются, что они, не ведя войны, не имеют и мира. Свидетель тому моя покойная половина, не тем будь помянута: бывало, что твоя труба, как раскудахтается!.. Жаль бы мне было ее, если б не любила она чужих мужей и не била своего: окушалась блинов прошлую масленицу да и приказала долго жить, царство ей небесное!

После этого патетического эпизода он приостановился, вздохнул — потом крикнул и, выставя перед собой секиру перпендикулярно, в знак твердости и прямизны, продолжал:

— Одним словом, пусть будут жены стихотворцами, математиками, министрами, явно или под рукой, по праву или на деле — пусть будут, чем хотят, — только не солдатами. Уступаю им пальмы — но лавры принадлежат одним воинам! Не для них создано это прекраснейшее, благороднейшее и первейшее в государстве звание; все другие — средства, — оно есть цель народов... Без войны для чего плодись бы люди? Что бы мы делали в мирное время? Но положив даже (чего боже меня сохрани), что *cedant arma togae*¹, что война есть болезнь и что люди созданы жить в мире, — из этого не выведем еще, что женщины способны для строю. Да и как могут быть они полезны войску, когда сам Великий Петр в артикуле своим запретил им на выстрел приближаться к лагерю, чтоб не вносить туда семян раздора и неги! В самом деле, когда подумаешь о терпении и подчиненности нашего солдата — о его бескорыстии, о его храбрости — он защищает отечество снаружи, охраняет его внутри, лезет в огонь очертя голову, — когда вообразишь неутомимость трудов его в походах и осадах, бесстрашие в битвах, — так уму чудно, а сердце радуется. С пудовым ранцем за плечами прыгает он на скалу и на стену, как серна, и с голодным брюхом дерется, как лев, на приступе! Нет для них гор непроходимых, нет крепостей неодолимых. Кто измерит их завоевания, сосчитает подвиги, оценит славу! Кто?

Мой Демосфен, вероятно, истощил бы весь запас тропов и фигур риторических и все общие места, из которых делал он эту крошку, не исчерпав своего предмета; но шест шаг заставил прервать речь о венце.

— Кто идет? — затянул он.

— Свой! — отвечал голос. Это был квартальный офицер.

— Все ли тут в порядке? — спросил он.

— Все благополучно! — отвечал будочник, вытянувшись.

¹ оружие уступит место правосудию (лат.).

— А зачем же у тебя в фонаре вместо четырех светилен горят только две? Отучу я вас воровать казенное масло в кашу.

— Никак нет, ваше благородие, ветром задуло.

— То-то ветром! подливай масла, чтоб не гасло. Клики сюда подчаска.

Другой будочник вылез из каморки зевая.

— Сведи-ка этого молодца в часть,— сказал ему офицер, указывая на мертво пьяного человека во фризовой шинели, без шляпы, который тащился за ним и никак не мог отыскать своего центра тяжести. При каждом шаге он спотыкался и, меря землю носом или вспоминая невинный возраст младенчества, двигался на четвереньках.— Веди, веди!

Пьяный. Помилуйте, за что-с?

Квартальный офицер. За пьянство и буйнство и ночное шатание.

Пьяный. Ни в чем не причинен-с: маковой росинки во рту не было.

Квартальный офицер. Видишь, какая малиновка! Рососою питается...

Пьяный. Извольте спросить-с хоть у кума Василья Матвеи-и-ча-с: был у всенощной... у-у...

Квартальный офицер. Набожный человек, набожный человек! То-то, видно, ты помолиться орлу ломился в кабачные двери?

Пьяный. Вот из-воли-те видеть: кум Василий Матвейч-с и говорит: «пойдем!»; я-те и сказал: «пойдем!» Пош-ли-с, ан нету.— Пожалуйте табачку-с!

Квартальный офицер. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней!

Пьяный. Вы разве конный-с? У вас, кажется, не конный мундир...

Квартальный офицер. Разглядишь поутру. В сибирку его!

Пьяный. В сибирку-с? Не извольте обижать-с; я сам четырнад-ца-того класса.

Квартальный офицер. Сам? Покажи плакат! покажи плакат, говорю; по какому ты виду шатаешься? А, что, нету? Завтра все разберем. Четырнадцатого класса! Видишь, что выдумал! да, брат, ты лапчатый гусь; ты самозванец, ты сочинитель!..

Пьяный. За мной такого художества не водилось...

Квартальный офицер. Тащи, тащи!

Будочник. Изволь-ка подыматься на задние лапки, господин сочинитель; тебе еще не следует ездить четвернею!

Торжественное шествие удалилось, и я захлопнул окошко. «Вот тебе и содержание письма», — подумал я; с друзьями нечего чиниться — присел и написал, что видишь. Я нарочно приклеил альманачное начало, чтобы заманить в чтение из любопытства, которое бы, может быть, бросил ты, несмотря на дружбу. Как гражданский чиновник, ты без сомнения скажешь, что будочник мой-с лоскутною своею философию — очень смело возвышает воинское звание над прочими, что все звания в свете достойны уважения, и многое множество прекрасных вещей, которые в устах твоих обновятся и окрепнут. Я не спорю ни за его ум, ни против твоей правоты; я хочу только сказать, что не один он замешкался в Наполеоновом веке, не один он застарел в войнолюбии.

Что касается до выходки против женщин — я умываю руки. Это верх невежества — да чего и требовать от будочника! Жаль только, что он во многих книгах, которым поклоняется публика, может найти себе подкрепление. Не то же ли почти говорили древние философы? Не то же ли утверждают немецкие мыслители? Не так ли очертил Байрон прекрасную половину нашего пола в разговорах с Мидвином? Не мудрено дать щелчок этому смурому врагу дам — не досталось бы только носу какого-нибудь мудреца!

Друг твой и проч.



Амчалат-бек

КАВКАЗСКАЯ БЫЛЬ

Посвящается
Николаю Алексеевичу
Полевому

Будь медлен на обиду — к отмщенью скор!
Надпись Дагестанского кинжала

ГЛАВА I



Была джума¹. Близ Буйнаков, обширного селения в Северном Дагестане, татарская молодежь съехалась на скачку и джигитовку, то есть на ристанье со всеми опытами удалства; Буйнаки лежат в два уступа на крутом обрыве горы.

Влево от дороги, ведущей из Дербента к Таркам, возвышается над ними гребень Кавказа, оперенный лесом; вправо берег, понижаясь неприметно, раскидывается лугом, на

¹ Джума соответствует нашей неделе, то есть воскресенью. Вот имена прочих дней магометанской недели: шамби (наша суббота), ихшамба (воскресенье), душамба (понедельник), сешамба (вторник), чар-шамба (среда), пханшамба (четверг), джума (пятница).

который плещет вечно ропотное, как само человечество, Каспийское море. Вешний день клонился к вечеру, и все жители, вызванные свежестью воздуха еще более, чем любительством, покидали сабли свои и толпами собирались по обеим сторонам дороги. Женщины без покрывал, в цветных платках, свернутых чалмою на голове, в длинных шелковых сорочках, стянутых короткими архалуками (тюника), и в широких туманах¹, садились рядами, между тем как вереницы ребят резвились перед ними. Мужчины, собравшись в кружки, стоя, или сидя на коленях², или по двое и по трое прохаживались медленно кругом; старики курили табак из маленьких деревянных трубок; веселый говор разносился кругом, и порой возвышался над ним звон подков и крик: *качь, качь* (посторонись) от всадников, приготавлиющихся к скачке.

Дагестанская природа прелестна в мае месяце. Миллионы роз обливают утесы румянцем своим, подобно заре; воздух струится их ароматом; соловьи не умолкают в зеленых сумерках роши. Миндальные деревья, точно куполы пагодов, стоят в серебре цветов своих, и между них высокие раины, то увитые листьями, как винтом, то возникая стройными столпами, кажутся мусульманскими минаретами. Широкоплечие дубы, словно старые ратники, стоят на часах там инде, между тем как тополи и чинары, собравшись купами и окруженные кустарниками, как детьми, кажется, готовы откочевать в гору, убегая от летних жаров. Игривые стада баранов, испещренные розовыми пятнами; буйволы, упрямо погрязающие в болоте при фонтанах или по целым часам лениво бодающие друг друга рогами; да там и сям по горе статные кони, которые, разбросав на ветер гриву, гордой рысью бегают по холмам, — вот рамы каждого мусульманского селения. Можно себе вообразить, что в день этой джумы окрестности Буйнаков еще более оживлены были живописною пестротой народа. Солнце лило свое золото на мрачные стены саклей с плоскими кровлями и, облекая их в разнообразные тени, придавало им приятную наруж-

¹ Хотя в существе нет никакой разницы между мужскими шальварами и женскими туманами (панталонами), но для мужчин будет обидно, если вы скажете, что он носит туманы, — и наоборот.

² Обыкновенный образ сиденья у азиатцев на улице или перед старшим. А потому Н. М. Карамзин очень ошибся, переведя слова Вольтинского летописца: «Зле те, Романе, на коленях пред ханом сидиши» — «Худо тебе, Роман, на коленях стоишь перед ханом». Конечно, сидеть на корточках было невесело для галицкого князя, но не так унижительно, как думает историк.

ность... Вдали тянулись в гору скрипучие арбы, мелькая между могильными камнями кладбища... перед ними несся всадник, взвевая пыль по дороге... Горный хребет и безграничное море придавали всей картине величие: вся природа дышала теплою жизнью.

— Едет, едет! — раздалось из толпы, и все зашевелилось.

Всадники, которые доселе разговаривали с знакомыми, ступив на землю, или нестройно разъезжали в поле, вскочили на коней и понеслись навстречу поезда, спускающегося с горы: то был Аммалат-бек, племянник тарковского шамхала¹, со своею свитою. Он был одет в черную персидскую чуху, обложенную галунами; висячие рукава закидывались за плечи. Турецкая шаль обвивала под исподом надетый архалук из букетовой термаламы. Красные шальвары скрывались в верховые желтые сапоги с высокими каблуками. Ружье, кинжал и пистолет его блистали серебром и золотою насечкою. Ручка сабли осыпана была дорогими камнями. Сей владетель Тарков был высокий статный юноша, открытого лица; черные зильфляры (кудри) вились за ухом изпод шапки... легкие усы оттеняли верхнюю губу... очи сверкали гордою приветливостью. Он сидел на червонном коне, и тот крутился под ним, как вихорь. Против обыкновения, не было на коне персидского, круглого, расшитого шелками чепрака, но легкое черкесское седло с серебром под чернью, с расписанными потебнями и со стремянами черного хорасанского булата под золотою насечкою. Двадцать нукеров² на лихих скакунах, в чухах, блестящих галунами, сдвинув шапки набекрень, скакали, избочась, сзади. Народ почтительно вставал перед своим беком и склонялся, прижимая правую руку к правому колену. Ропот и шепот одобрения разливался вслед ему между женщин.

Подъехав к южному концу ристалища, Аммалат остановился. Почетные люди, старики, опираясь на палки, и старшины Буйнаков обстали его кругом, стараясь вызвать на себя приветливое слово бека, но Аммалат ни на кого не обращал особенного внимания и с холодною учтивостью

¹ Первые шамхалы были родственники и наместники халифов дамасских. Последний шамхал умер, возвращаясь из России, и с ним кончилось это бесполезное достоинство. Сын его, Сулейман-паша, владеет наследством просто, как частным имением.

² Нукер — общее имя для прислужников, но, собственно, это то же самое, что у древних шотландцев Henschman (прибедренник). Он всегда и везде находится при господине, служит ему за столом, режет и рвет руками жаркое и таж далее.

отвечал односложными словами на лесть и поклоны своих подручников. Он махнул рукою: это был знак начинать скачку.

Без очереди, без всякого порядка кинулись человек двадцать самых горячих ездоков скакать взад и вперед, гарцуя, перегоняя друг друга. То перерезывали они друг другу дорогу — и вдруг сдерживали коней, то вновь пускали их во всю прыть с места. После этого все взяли небольшие палки, называемые джигидами, и начали на скаку метать вслед и встречу противников, то ловя их на лету, то подхватывая с земли. Иные падали долой из седла от сильных ударов, и тогда раздавался громкий смех зрителей побежденному, громкие клики приветия победителю, иногда кони спотыкались, и всадники редко не падали через голову, выброшенные двойною силою коротких стремян. Затем началась стрельба.

Аммалат-бек все это время стоял поодаль, любуясь. Нукеры его один по одному вмешивались в толпу джигитующих, так что под конец при нем осталось только двое. Сначала он стоял неподвижен и равнодушным взором следил подобие азиатской битвы, но мало-помалу участие стало разыгрываться в нем сильнее и сильнее... Он уже с большим вниманием смотрел на удальцов, стал ободрять их голосом и движением руки, вставать выше на стремянах, и, наконец, наездническая кровь закипела в нем, когда любимый его нукер не попал на всем скаку в брошенную перед ним шапку, — он выхватил у своего оруженосца ружье и стрелой полетел вперед, увиваясь между стрелками.

— Раздайся, раздайся! — послышалось кругом, и все, как дождь, рассыпались по сторонам, дав место Аммалат-беку.

На расстоянии одной версты стояло десять шестов с повешенными на них шапками. Аммалат проскакал в один конец, крутя ружье над головою; но едва миновал крайний столб смелым поворотом, он встал на стремянах, приложился назад — паф — и шапка упала наземь; не умеряя бега, он зарядил ружье, с брошенными поводками, — сбил шапку с другого, с третьего — и так со всех десяти... Говор похвал раздался со всех сторон, но Аммалат, не останавливаясь, бросил ружье в руки нукера, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелом из него отбил подкову с задней ноги своего скакуна — подкова взвилась и, свистя, упала далеко назад; тогда он снова подхватил заряженное нукером ружье и велел ему скакать перед собою...

Быстрее мысли понеслись оба. На полдороге нукер вынул из кармана серебряный рубль и высоко взбросил его на воздух; Аммалат приложился вверх, не ожидая падения, но в то же самое мгновение конь его споткнулся со всех четырех ног и, бороздя пыль мордюю, покатился вперед с размаха. Все ахнули — но ловкий всадник, стоявший стоймя на стременах, не тряхнулся, не подался вперед, как будто не слышал падения, — выстрел сверкнул, и вслед за выстрелом серебряный рубль улетел далеко в народ. Толпа заревела от удовольствия: «Игид! Игид (удалец). Алла, Валлага». Но Аммалат-бек скромно отъехал в сторону, сошел с коня и, бросив поводя в руки джиладара, то есть конюшего, велел сей же час подковать коня. Скачка и стрельба продолжались.

В это время подъехал к Аммалату эмджек его¹ Сафир-Али, сын одного из небогатых беков буйнакских, молодой человек приятной наружности и простого, веселого нрава. Он вырос вместе с Аммалатом и потому очень коротко общился с ним. Он спрыгнул с коня и, кивнув головою, сказал:

— Нукер Мемет-Расуль измучил твоего старика, безгривого жеребца², — заставляет его скакать через ров, шириною шагов семи...

— И он не прыгает? — вскричал нетерпеливый Аммалат. — Сейчас, сей же миг привести его ко мне.

Он встретил коня на полдороге; не ступая в стремя, вспрыгнул в седло и полетел к утесистой рывтине — доскакал, стиснул колена, но усталый конь, не надеясь на свои силы, вдруг повернул направо на самом краю, и Аммалат должен был сделать еще круг.

Во второй раз конь, подстрекаемый плетью, взвился на дыбы, чтобы перепрыгнуть через ров, — но замялся, заартачился и уперся передними ногами.

Аммалат вспыхнул... Напрасно упрашивал его Сафир-Али, чтобы он не мучил бегуна, утратившего в боях и разъездах упругость членов, — Аммалат не внимал ничему и понуждал его криком, ударами обнаженной сабли; и в тре-

¹ Эмджек — грудной, молочный брат; от слова «эмджек» — сосед. У кавказских народов это родство священнее природного; за своего эмджека — каждый положит голову. Матери стараются заранее связать таким узлом надежные семьи. Мальчика приносят к чужой матери, та кормит его грудью — и обряд кончен — неразрывное братство начато.

² Славная в Персии порода туркменских лошадей, называемая теке.

тий раз подскакал он к рытвине, и, когда в третий раз стал с размаха старый конь, не смея прыгнуть,— он так сильно ударил его рукоятью сабли в голову, что конь грянулся на-земь без дыхания.

— Так вот награда за верную службу,— сказал Сафир-Али, с сожалением глядя на издохшего бегуна.

— Вот награда за послушанье,— возразил Аммалат, сверкая очами.

Видя гнев бека, все умолкли и отсторонились. Всадники джигитовали.

И вдруг загремели русские барабаны, и штыки русских солдат засверкали из-за холма. То была рота Куринского пехотного полка, отправленная из отряда, ходившего тогда в Акушу, возмущенную Ших-Али-ханом, изгнанным владельцем Дербента.

Рота сия должна была конвоировать обоз с продовольствием из Дербента, куда и шла горною дорогою. Ротный командир, капитан***, и с ним один офицер ехали впереди. Не доходя до ристалища, ударили отбой, и рота стала, сбросила ранцы и составила в козлы ружья, расположась на привал, но не разводя огней.

Прибытие русского отряда не могло быть новостью для дагестанцев в 1819 году; но оно и до сих пор не делает им удовольствия. Изуверство заставляет их смотреть на русских, как на вечных врагов — но врагов сильных, умных, — и потому вредить им решаются они не иначе, как втайне, скрывая неприязнь под личиною доброхотства.

Ропот разлился в народе при появлении русских; женщины окольными тропинками потянулись в селение, не упуская, однако ж, случая взглянуть украдкой на пришлецов. Мужчины, напротив, поглядывали на них искоса, через плечи, и стали сходиться кучками, разумеется, потолковать, каким бы средством отделаться от постоя, от подвод и тому подобного. Множество зевак и мальчишек окружили, однако, русских, отдыхающих на травке. Несколько кекхудов (старост) и чаушей (десятников), назначенных русским правительством, поспешили к капитану и, сняв шапки, после обычных приветов: *Хош гяльды* (милости просим) и *яхши-мусен, тазамусен сен-не-мамусен* (как живешь-можешь), добрались и до неизбежного при встрече с азиатцами вопроса: «Что нового? *На хабер?*»

— Нового у меня только то, что конь мой расковался и оттого, бедняга, захромал,— отвечал им капитан довольно

чисто по-татарски.— Да вот, кстати, и кузнец,— продолжал он, обращаясь к широкоплечему татарину, который опиливал уже копыто вновь подкованного Аммалатова бегуна.— Кунак, подкуй мне коня!.. подковы есть готовые — стоит брякнуть молотком, и дело кончено в минуту!

Кузнец, у которого лицо загорело от горна и от солнца, угрюмо взглянул на капитана исподлобья, поправил широкий ус, падающий на давно не бритую бороду, которая бы щетинами своими сделала честь любому борову, подвинул на голове аракчин (ермолку) и хладнокровно продолжал укладывать в мешок свои орудия.

— Понимаешь ли ты меня, волчье племя? — сказал капитан.

— Очень понимаю! — отвечал кузнец, — тебе надобно подковать свою лошадь...

— И ты сам должен подковать ее, — отвечал капитан, заметя в татарине охоту шутить словами.

— Сегодня праздник — я не стану работать.

— Я заплачу тебе за труды что хочешь, — но знай, что волей и неволей ты у меня сделаешь, что я хочу.

— Прежде всех наших идет воля Аллаха, а он не велел работать в джуму. Довольно грешим мы из выгоды и в простые дни... так в праздник не хочу я себе покупать за серебро уголья.

— Да ведь ты работал же сейчас, упрямая башка! Разве не равны кони? Притом же мой настоящий мусульманин. Взгляни-ка тавро: кровный карабахский...

— Кони все равны, да не ровны те, кто на них ездит. Аммалат-бек мой ага (господин).

— То есть, если бы вздумал отнекиваться — он бы велел обрезать тебе уши; а для меня ты не хочешь работать в надежде, что я не смею сделать того же? Хорошо, приятель... я точно не обрежу тебе ушей, но знай и верь, что я в твою православную спину влеплю двести самых горячих нагаек, если ты не перестанешь дурачиться... Слышал?

— Слышал — и все-таки буду отвечать по-прежнему: некую — потому что я добрый мусульманин.

— А я заставляю тебя ковать, потому что я добрый солдат. Когда ты работал для прихоти своего бека, ты будешь работать для необходимости русского офицера: без этого я не могу выступить. Ефрейторы, сюда!

Между тем кружок любопытных около упрямого кузнеца расширился, подобно кругу на воде от брошенного камня.

В толпе иные уже ссорились за передние места, не зная, что смотреть бегут они, и наконец раздалось: «Этого не надо, этому не бывать—сегодня праздник, сегодня грех работать!»

Некоторые смельчаки, надеясь на число, надвинули шапки на глаза и, держась за рукояти кинжалов, подле самого капитана стали кричать: «Не куй, Алекпер — не делай ему ничего... вот тебе новости! Что нам за пророки эти невымытые русские!»

Капитан был отважен и знал очень коротко азиатцев.

— Прочь, бездельники! — закричал он гневно, положив руку на ручку пистолета, — молчать, или я первому, кто осмелится выпустить брань из-за зубов, запечатаю рот свинцовою печатью!

Это увещание, подкрепленное штыками нескольких солдат, подействовало мгновенно, — кто был поробче — давай бог ноги, кто посмелее — прикусил язык. Сам набожный кузнец, видя, что дело идет не на шутку, поглядел на все стороны, проворчал: «Неджелеим?» (что ж мне делать?), засучил рукава, вытащил из мешка клещи и молот и начал подковывать русскую лошадь, приговаривая сквозь зубы: «Валла-билла битмы эддым» (а это значит наравне с польским: дали буг, не позволяю). Надобно знать, что все это происходило за глазами Амалата: он — едва завидел русских — то, избегая неприятной для себя встречи, сел на новоподкованного коня и поскакал в дом свой, над Буйнаками стоящий.

Между тем как это происходило на одном конце ристалища, ко фронту отдыхающей роты подъехал всадник среднего роста, но атлетического сложения; он был в кольчуге, в шлеме, в полном боевом вооружении; за ним следом тянулось пять нукеров. По запыленной их одежде, по коням в поту и пене виделось, что они совершили скорый и дальний переезд. Первый всадник, рассматривая солдат, тихим шагом проезжал вдоль составленных в козлы ружей — задел и опрокинул две пирамиды. Нукеры, следуя за господином, вместо того чтоб своротить в сторону, — дерзко топтали упавшее оружие. Часовой, который еще издали кричал, чтоб они не приближались, схватил под уздцы коня панцерника, между тем как множество солдат, раздраженных таким презрением от мусульман, окружили поезд с бранью.

— Стой, кто ты? — было восклицание и вместе вопрос часового.

— Ты, видно, рекрут, когда не узнал Султан-Ахмет-

хана Аварского¹, — хладнокровно отвечал панцерник, отрывая руку часового от поводьев. — Кажется, в прошлом году я задал русским в Башлах² по себе славную поминку. Переведи ему это, — сказал он одному из своих нукеров. Аварец повторил его слова по-русски довольно понятно.

— Это Ахмет-хан, Ахмет-хан, — раздалось между солдатами. — Лови его, держите его! Тащите его на расплату за башлинское дело... бездельники в куски изрубили наших раненых!

— Прочь, грубиян, — вскричал Султан-Ахмет-хан по-русски рядовому, который снова схватил коня за узду, — я русский генерал!

— Русский изменник! — зашумело множество голосов. — Ведите его к капитану, потащим его в Дербент, к полковнику Верховскому!

— Только в ад пойду я с такими проводниками, — сказал Ахмет-хан с презрительною улыбкою; и в то же мгновение поднял коня на дыбы, бросил его влево, вправо и вдруг, повернув на воздухе кругом, — ударил нагайкою — и был таков. Нукеры не сводили глаз с хана и с гиком кинулись за ним следом, опрокинули некоторых солдат и открыли себе дорогу. Отскакав не боле как шагов на сто, хан снова поехал шагом, не оглядываясь назад, не изменяясь в лице и хладнокровно поигрывая уздечкою. Толпа татар, собравшаяся около кузнеца, привлекла его внимание.

— Что у вас за споры, приятели? — спросил у ближних Ахмет-хан, сдержав коня.

Все с уважением приложили руки ко лбу при поклоне, завидя хана. Те, которые были поробче или помирнее, очень смутились от этой встречи: того и гляди, попадешь в беду от русских, зачем не взяли врага их; или под месть хана, если ему не уважишь. Зато все головорезы, все бездельники и все, которые с досадой смотрели на владычество русское, окружили его веселою толпою. Ему в один миг рассказали, в чем дело.

— И вы, как буйволы, смотрите, когда вашего брата запрягают в ярмо! — громко сказал хан окружающим, — когда вам в глаза смеются над вашими обычаями, топчут

¹ Он был родной брат Гассан-хана Джемутайского, а сделался ханом Аварским, женись на вдове хана, единственной его наследнице.

² Тогда отряд наш, состоявший из трех тысяч человек, окружен был шестьюдесятью тысячами горцев. Там был Уцмий Каракайдакский, аварцы, акушинцы, койсубулинцы и другие. Русские пробились ночью — и с уроном.

под ноги вашу веру!! И вы плачете, как старые бабы, вместо того чтобы мстить, как прилично мужам! Трусы, трусы!

— Что мы сделаем? — возразили ему многие голоса. — У русских есть пушки! есть штыки!..

— А у вас разве нет ружей, нет кинжалов? Не русские страшны — а вы робки! Позор мусульманам: дагестанская сабля дрожит перед русскою нагайкою. Вы боитесь пушечного грома, а не боитесь укоров. Ферман русского пристава для вас святее главы из Корана. Сибирь пугает вас пуше ада... Так ли поступали деды ваши, так ли думали отцы?.. Они не считали врагов и не рассчитывали, выгодно или не выгодно сопротивляться насилию, а храбро бились и славно умирали. Да и чего бояться? Разве чугунные у русских бокка? Разве у их пушек нет заду? Ведь скорпионов ловят за хвост!!!

Речь эта возмутила толпу. Татарское самолюбие было тронуту живо.

— Что смотреть на них? Что позволять им хозяйничать у нас, будто в своем кармане! — слышалось отовсюду. — Освободим кузнеца от работы, освободим! — закричали все и стеснили кружок около русских солдат, посреди коих Алектр ковал капитанскую лошадь.

Смятение росло.

Довольный возбуждением мятежа, Султан-Ахмет-хан не желал, однако ж, замешиваться в ничтожную схватку — и выехал из толпы, оставя там двух нукеров для поддержания духа запальчивости между татар, — и с двумя остальными быстро поскакал в утах¹ Аммалата.

— Будь победитель! — сказал Султан-Ахмет-хан Аммалат-беку, который встретил его на пороге.

Это обыкновенное на черкесском языке приветствие было произнесено им с таким значительным видом, что Аммалат, поцеловавшись с ним, спросил:

— Насмешка это или предсказание, дорогой гость мой?

— Зависит от тебя, — отвечал пришелец. — Настоящему наследнику шамхальства² стоит только вынуть из ножен саблю, чтобы...

¹ Дом по-татарски э в ь; у т а х — значит палаты, а с а р а й вообще здание. Г а р а м - х а н е — женское отделение (от этого и происходит русское слово «хоромы»). В смысле дворца употребляют иногда слово и г а р а т. Русские все это смешивают в одно название с а к л и, что по-черкесски значит дом.

² Отец Аммалата был старший в семействе и потому настоящий наследник шамхальства; но русские, завладев Дагестаном и не надеясь на его добротество, отдали власть меньшому брату.

— Чтобы никогда ее не вкладывать, хан? Незавидная участь: все-таки лучше владеть Буйнаками, нежели с пустым титулом прятаться в горах, как шакалу.

— Как льву прядать с гор, Аммалат, и во дворце твоих предков опочить от славных подвигов!

— Не лучше ль не пробуждаться ото сна вовсе?

— Чтобы и во сне не видеть, чем должен ты владеть наяву? Русские не даром потчуют тебя маком и убаюкивают сказками, между тем как другой рвет золотые цветы¹ из твоего сада!

— Что могу я предпринять с моими силами?

— Силы — в душе, Аммалат!.. Осмелся — и все преклонится перед тобою... Слышишь ли? — промолвил Султан-Ахмет-хан, когда раздалась в городе выстрелы, — это голос победы!

Сафир-Али вбежал в комнату со встревоженным лицом.

— Буйнаки возмутились, — произнес он торопливо, — толпа буянов осыпала роту и завела перестрелку из-за камней...

— Бездельники! — вскричал Аммалат, взбрасывая на плечо ружье свое. — Как смели они шуметь без меня? Беги вперед, Сафир-Али, грози моим именем, убей первого ослушника!

— Я уже унимал их, — возразил Сафир-Али, — да меня никто не слушает, потому что нукеры Султан-Ахмет-хана поджигают их, говорят, что он советовал и велел бить русских.

— В самом деле мои нукеры это говорили? — спросил хан.

— Не только говорили, да и примером ободряли, — сказал Сафир-Али.

— В таком случае я очень ими доволен, — молвил Султан-Ахмет-хан, — это по-молодецки!

— Что ты сделал, хан! — вскричал с огорчением Аммалат.

— То, что бы тебе давно следовало делать!

— Как оправдаюсь я перед русскими!!

— Свинцом и железом. Пальба загорелась — судьба за тебя работает — сабли наголо — и пойдем искать русских...

— Они здесь, — возгласил капитан, который с десятью человеками пробился сквозь нестройные толпы татар в дом

¹ Игра слов, до которой азиатцы большие охотники: кызыль-гюляр, собственно, значит розы, но хан намекает на кызыль — червонец.

владельца. Смущен неожиданным бунтом, в котором его могли считать участником, Аммалат приветливо встретил разгневанного гостя.

— Приди на радость,— сказал он ему по-татарски.

— Не забочусь, на радость ли пришел я к тебе,— отвечал капитан,— но знаю и испытываю, что меня встречают в Буйнаках не по-дружески. Твои татары, Аммалат-бек, осмелились стрелять в солдат моего, твоего, общего нашего царя.

— В самом деле, это очень дурно, что они стреляли в русских,— сказал хан, презрительно разлегаясь на подушках...— когда бы должно было убивать их!

— Вот причина всему злу, Аммалат,— сказал с гневом капитан, указывая на хана.— Без этого дерзкого мятежника ни один курок не брякнул бы в Буйнаках! Но хорош и ты, Аммалат-бек... Зовешься другом русских и принимаешь врага их, как гостя, укрываешь, как товарища, честишь, как друга. Аммалат-бек, именем главнокомандующего требую: выдай его.

— Капитан,— отвечал Аммалат,— у нас гость — святыня. Выдача его навлекла бы на мою душу грех, на голову позор некупимый — уважьте мою просьбу — уважьте наши обычаи.

— Я скажу тебе в свою очередь: вспомни русские законы, вспомни долг свой: ты присягал русскому государю, а присяга велит не жалеть родного, если он преступник.

— Скорее брата выдам, чем гостя, господин капитан! Не ваше дело судить, что и как обещал я выполнять — в моей вине мне диван (суд), Аллах и падишах!.. Пускай в поле бережет хана судьба, но за моим порогом, под моею кровлею я обязан быть его защитником — и буду им!

— И будешь в ответе за этого изменника!

Хан безмолвно лежал во время этого спора, гордо пуская дым из трубки, но при слове «изменник» кровь его вспыхнула; он вскочил и с негодованием побежал к капитану.

— Изменник я, говоришь ты,— сказал он.— Скажи лучше, что я не хотел быть изменником тем, кому обязан верностью. Русский падишах дал мне чин, сардарь ласкал меня — и я был верен, покуда от меня не требовали невозможного или унижительного. И вдруг захотели, чтобы я впустил в Аварию войска, чтобы позволил выстроить там крепости; но какого имени достоин бы я стал, если б продал кровь и пот аварцев — братьев моих! Да если б я покусился на это,

то неужели думаете вы, что мог бы это исполнить? Тысячи вольных кинжалов и неподкупных пуль устремились бы в сердце предателя — самые скалы рухнули бы на голову сына отцеподавца. Я отказался от дружбы русских, но еще не был врагом их, и что ж было наградой за мое доброжелательство, за добрые советы? Я был лично, кровно обижен письмом вашего генерала, когда предостерегал его... Ему дорого стоила в Башлах дерзость... реку крови пролил я за несколько капель бранчивых чернил, и эта река делит меня навечно с вами.

— Эта кровь зовет мечь,— вскричал капитан сердито,— и ты не уйдешь от нее, разбойник!

— А ты от меня,— возразил вспылчивый хан, вонзая кинжал в живот капитана, когда тот занес руку, чтобы схватить его за ворот.

Тяжело раненный капитан, простонав, упал на ковер.

— Ты погубил меня,— произнес Аммалат, всплеснув руками,— он русский и гость мой...

— Есть обиды, которых не покрывает кровля,— возразил мрачно хан.— Кости судьбы выпали: колебаться не время; запирай ворота, скличь своих и ударим на неприятелей.

— За час еще я не имел их... теперь нечем их отражать... У меня нет в запасе ни пуль, ни пороху — люди в разброде...

— Народ разбежался,— в отчаянии вскричал Сафир-Али.— Русские идут в гору скорым шагом... Они уж близко!!

— Если так, то поезжай со мною, Аммалат,— молвил хан.— Я ехал в Чечню, чтобы поднять ее на линию... Что будет, бог весть, но и в горах хлеб есть!.. Согласен ты?

— Едем!..— решительно сказал Аммалат.— Теперь мне одно спасение в бегстве... Не время теперь ни споров, ни уборов.

— Гей, коня, и шесть нукеров за мною!

— И я с тобой,— произнес со слезой в оке Сафир-Али,— с тобой в волю и в неволю.

— Нет, добрый мой Сафир-Али,— нет! Ты останешься здесь похозяйничать, чтобы свои и чужие не растащили всего дома. Снеси от меня привет жене и проводи ее к тестю — шамхалу. Не забудь меня — и до свиданья!

Едва успели они выскакать в одни ворота, как русские вторглись в другие.

Вешний полдень сиял над высью Каф-каза, и громкие клики мулл звали жителей Чечни к молитве. Постепенно возникали они от мечети до незримой за гребнями мечети, и одинокие звуки их, на миг пробуждая отголосок утесов, затихали в неподвижном воздухе.

Мулла Гаджи-Сулейман, набожный турок, один из ежегодно насылаемых в горы стамбульским диваном для распространения и укрепления православия, а с тем вместе и ненависти к русским, — отдыхал на кровле мечети, совершив обычный призыв, омовение и молитву. Он был еще недавно принят муллою в чеченском селении Игали и потому, погруженный в глубокомысленное созерцание своей седой бороды и кружков дыма, летящих с его трубки, — порою он поглядывал с любопытным удовольствием и на горы, и на ущелье, лежащие к северу — прямо под его глазами. Влево возникали стремнины хребта, отделяющего Чечню от Аварии, далее сверкали снега Кавказа. Сакли, неправильно разбросанные по обрыву, уступами сходили до полугоры, и только узкие тропинки вели к этой крепости, созданной природою и выисканной горскими хищниками для обороны воли своей, для охраны добычи. Все было тихо в селении и по горам окрестным; на дорогах и улицах ни души... стада овец лежали в тени скал... буйволы теснились в грязном водоеме у ключа, выставляя одни морды из болота. Лишь жужжание насекомых, лишь однозвучная песня кузнечика были голосом жизни среди пустынного безмолвия гор — и Гаджи-Сулейман, залегши под куполом, вполне наслаждался тишью и бездействием природы, столь сходными с ленивою неподвижностью турецкого характера. Тихо поводил он глазами, в которых погас свой огонь и потуск свет солнца, — и наконец взоры его встретили двух всадников, медленно взбирающихся вверх по противоположной стороне ущелья.

— Нефтали! — закричал наш мулла, обратившись к ближней сакле, у дверей которой стоял оседланный конь. И вот стройный чеченец с подстриженною бородкою, в мохнатой шапке, закрывающей пол-лица, выбежал на улицу.

— Я вижу двух вершников, — продолжал мулла, — они объезжают селение!

— Верно, жиды либо армяне, — отвечал Нефтали, — им, конечно, не хочется нанимать проводника — да они сломят себе шею на объездной тропинке. Там и дикие козы, и наши первые удалыцы скачут, оглядываясь.

— Нет, брат Нефтали, я два раза ходил в Мекку¹ и на-видался армян и жидов во всех сторонах... Только эти всадники не тем глядят, чтобы им торговать по-жидовски... разве на перекрестке менять железо на золото! С ними нет и вьюков. Взгляни-ка сам сверху, твои глаза вернее моих; мои отжили и отглядели свое. Бывало, за версту я мог считать пуговицы на кафтане русского солдата, и винтовка моя не знала промаха по неверным — а теперь я и дареного барана вдали не распознаю.

Между тем Нефтали стоял уже подле муллы и орлиным взором своим следил проезжих.

— Полдень жарок и путь тяжел,— примолвил Сулейман,— пригласи путников освежить себя и коней; может, не знают ли чего новенького — да и принимать странника крепко-накрепко заповедано Кораном.

У нас в горах и раньше Корана ни один путник не выходил из деревни голоден или грустен; никогда не прощался без чурека, без благословения и без провожатого в напутье — только эти люди мне подозрительны: зачем им обегать добрых людей и по околицам, с опасностью жизни, миновать деревню нашу?

— Кажется, они земляки твои,— сказал Сулейман, осенив глаза рукою, чтобы пристальнее взглядеться.— На них чеченское платье. Может быть, они возвращаются из набега, куда и твой отец помчался с сотнею других соседей; или, может быть, едут братья мстить кровью за кровь!

— Нет, Сулейман, это не по-нашему. Утерпело ли бы сердце горское не заехать к своим похвалиться молодечеством в бою с русскими — пощеголять добычей? Это и не кровоместники, и не абреки — лица их не закрыты башлыками,— впрочем, одежда обманчива, и кто порука, что это не русские беглецы? Недавно из Гумбет-аула ушел казак, убив узденя хозяина, у которого жил, и завладев его конем, его оружием... Черт силен!

— На тех, у кого слаба вера, Нефтали... однако... если я не ошибаюсь, у заднего всадника из-под шапки вьются волосы!

— Пускай я рассыплюсь прахом, если не правда! Это или русский, или еще и того хуже, шагид-татарин...² По-

¹ Га д жи — собственно, значит путешественник, но придается вроде титула тем, кои были в Мекке. Они имеют право носить белую витую чалму. Шагиды редко, однако ж, ее носят.

² Все горды плохие мусульмане, но держатся секты сунни; напротив большая часть дагестанцев шагиды, как и персияне.. Обе секты сии ненавидят друг друга от чистого сердца.

стой, приятель, я расчешу тебе твои зильфляры (кудри) — через полчаса я возвращусь, Сулейман, или с ними, или кто-нибудь из нас троих упитает горных беркутов.

Нефтали стремглав сбежал с лестницы, накинул на плечо ружье, прыгнул в седло и помчался с горы кубарем, не разбирая ни рытвин, ни камней. Только пыль взвивалась и камни катились следом за бесстрашным наездником.

— Алла акбер! — преважно сказал Сулейман — и закурил трубку.

Нефтали скоро догнал всадников. Усталые кони их, покрытые пеною, кропили потом узкую, стремнистую стезю, по которой взбирались они в гору. Передний был в кольчуге — задний в черкесском платье; только персидская сабля вместо шашки висела на позументовом поясе. Левая рука его была окровавлена, перевязана платком и висела на темляке. Лиц обоих не мог он видеть. Долго ехал он сзади по скользкой тропе, висящей над пропастью, но при первой площадке заскакал вперед и поворотил коня навстречу.

— Селам алейкюм, — сказал он, преграждая путь на едва пробитую в скале стезю и выправляя оружие.

Передовой всадник поднял бурку на лицо, так что лишь одни нахмуренные брови его остались видимы.

— Алейкюм селам, — отвечал он, взводя курок ружья и укрепляясь в стременах.

— Дай бог хорошего пути, — молвил Нефтали, повторяя обыкновенный привет встречи и между тем готовясь при первом неприятном движении застрелить незнакомца.

— Дай тебе бог ума, чтобы не мешать путникам! — возразил нетерпеливо противник. — Чего ты хочешь от нас, кунак?

— Предлагаю покой и братскую трапезу вам; ячмень и стойло — коням вашим. Порог мой искони цветет гостеприимством. Благодаренье путников множит стада и закаляет оружие доброго хозяина... не кладите же клейма упрека на все наше селение, чтоб не сказали: они видели путников в полдневный жар и не освежили их, не угостили их!

— Благодарим за участие, приятель. Мы не привыкли на своре ходить в гости... да и быстрота для нас нужнее покоя.

— Вы едете навстречу гибели, не взявши провожатого.

— Провожатого! — воскликнул путник. — Да я знаю все туриные стежки на Кавказе, не только ваши конные проезды. Я бывал там, куда не ползали змеи, не взбирались тигры, не летали орлы ваши... Отсторонись, товарищ... на бо-

ждей дороге нет твоего порога; мне некогда точить с тобою вздор.

— Я не уступлю шагу, покуда не узнаю, кто ты и откуда.

— Дерзкий мальчишка — прочь с дороги... иль через миг твоя мать будет вымалывать у чакалов и ветров твои раздробленные кости! Благодарю судьбу, Нефтали, что я водил хлеб-соль с отцом твоим и не раз о бок с ним пускал коня в сечу. Недостойный сын! Ты бродишь по дорогам и готов нападать на мирных путников — а тело отца твоего тлеет теперь на полях русских, и жены казаков продают на станичном базаре его оружие!! Нефтали, отец твой убит вчера за Терек — узнай меня!

— Султан-Ахмет-хан! — вскричал чеченец, пораженный нечаянным, пронзающим взором хана и страшною вестью; голос его замер... он упал на гриву коня в тоске невыразимой.

— Да, я Султан-Ахмет-хан! Но врежь в память, Нефтали, что, если ты скажешь кому-нибудь: «Я видел Аварского хана», месть моя переживет поколения!

Странники проехали мимо. Хан безмолвствовал, погруженный, как видно, в неприятные воспоминания; Аммалатбек (это был он) — в черные думы. У обоих платье носило следы недавнего боя; усы были опалены вспышками полки, и брызги чужой крови засохли на лицах. Но гордый взор первого вызывал, казалось, на бой судьбу и природу — мрачная улыбка досады, смешанная с презрением, сжимала уста. Напротив, истома была написана на бледном лице Аммалата. Он едва поводил полужакрытыми глазами, и порою стон вырывался от боли в раненой руке его; неровный ход татарского, непривычного к горным дорогам коня еще более разбережал рану. Он первый прервал молчание.

— Почему ты отказался от предложения этих добрых людей? Заехали бы отдохнуть часочек, другой — и по росе помчались бы далее.

— Ты думаешь — потому что ты чувствуешь, как юноша, любезный Аммалат. Привык ты повелевать своими татарами, как рабами, и полагаешь, что так же легко обходиться с вольными горцами! Рука судьбы отяготела над ними — мы разбиты и прогнаны, сотни храбрых горцев, твои и мои нукеры легли в битве с русскими — и показать чеченцам побежденное лицо Султан-Ахмет-хана, которое привыкли они видеть звездой победы, — явиться посреди их беглецом, быть вестником своего позора, принять нищенское

угощение, — может быть, слышать укоры за гибель мужей и сынов, увлеченных мною в дерзкий набег, — значит навсегда потерять их доверие. Пройдет время: слезы высохнут, жажда мести заменит тоску по убитым, и тогда снова увидят они Султан-Ахмета, пророка добыч и крови, тогда снова раздастся в этих горах призыв к бою, и снова поведут летучие толпы мстителей в русские границы. Приди я теперь, и в пылу огорчения чеченцы не рассудят, что Аллах дает и отнимает победу... Они могут, пожалуй, обидеть меня дерзким словом — а мои обиды неискупимы, и личная месть может загородить широкую дорогу на русских. Зачем же накликаешь себе ссору с храбрым народом и сокрушаешь идола собственной славы, на который привыкли они глядеть с изумлением? Человек никогда не кажется обыкновеннее, как в бессилии, когда всякий безбоязненно может померить с ним плечо. Притом тебе нужен искусный лекарь, а нигде не найдешь ты лучшего, как у меня, — завтра мы будем дома; потерпи до тех пор!

Аммалат-бек с признательностию приложил руку к сердцу и ко лбу — он чувствовал вполне справедливость речей хана, но слабость одолевала его с каждым часом.

Избегая селений, они провели ночь между утесами, питаясь горстью пшена, варенного с медом, без которого горцы редко отправляются в дорогу. Переправясь через Койсу, по мосту близ Аширте, они давно уже оставили за собой северный рукав ее, и Анде, и землю койсубулинцев, и голый хребет Салатау. Непроторенный путь их лежал по лесам, по крутизнам, ужасающим взор и дух; и вот стали они взбираться на последний хребет, разделяющий их с севера от Хунзаха, или Авара, — столицы ханов. Исчез и лес, и кустарник на кремнистой пустыне гор, по которой кочуют лишь облака и вьюги. Чтобы достичь гребня, принуждены были наши путники ехать то вправо, то влево реями: так стремниста была круть утесов. Привычный конь хана осторожно и верно ступал с камня на камень — пытал копытом, не катятся ли они, и на хвосте сползал в обрывы, — но гордый, пылкий жеребец Аммалата, питомец холмов дагестанских, горячился, прядал и оступался. Избалованный холею, он не мог выдержать двухдневного побега на зное солнца и холоду вершин, по острым скалам, едва подкрепленный скудною травой в расселинах. Тяжело храпел он, взбираясь выше и выше, пот струею бежал с нагрудника, широкие ноздри пышели огнем, и пена кипела на удилах.

— Аллах-Берекет! — воскликнул Аммалат, достигнув до

вершины, с которой открылся ему вид на Аварию, — но в ту же минуту изнемогший конь грянулся под ним на землю, кровь хлынула из оскаленного рта, и последний вздох его порвал седельную подпругу.

Хан поспешил помочь беку выбиться из стремян; он со страхом заметил, что усилия сдвинули перевязку с раны Аммалатовой, и кровь пробилась снова. Молодой человек, казалось, был нечувствителен к боли: слезы его катились о павшем бегуне... Так одна капля не наполняет, но переполняет чашу.

— Ты уж не будешь носить меня, как пух по ветру, — говорил он, — ни в пыльном облаке на скачке, слыша за собой досадные клики соперников и восклицания народа, ни в пламя битвы; уже не вынесешь еще однажды из-под чугунового дождя русских пушек. С тобой добыл я славу наездника, зачем же мне переживать и ее, и тебя!

Он склонил лицо в колена и долго, долго безмолвствовал, между тем как хан заботливо перевязывал раненую его руку.

Наконец Аммалат поднял голову.

— Оставь меня, Султан-Ахмет-хан, — сказал он решительно, — оставь несчастливца собственной участи. Путь далек, а я изнемогаю. Оставшись со мной, ты даром погибнешь. Взгляни, как вьется над нами орел — он чувствует, что мое сердце скоро замрет в когтях его, — и слава богу! Лучше найти воздушный гроб в хищной птице, чем отдать свой прах под ногу христианина. Прощай, не медли!

— Не стыдно ли тебе, Аммалат, падать, запнувшись за соломинку!.. велика беда, что ты ранен, что конь твой пал. Рана заживет до свадьбы — коня найдем лучше прежнего — и впереди у Аллаха не одни беды приготовлены. В цвете лет и в мужестве ума грешно отчаиваться. Садись на моего коня, я поведу его под узды, и — к ночи мы дома. Время дорого!

— Для меня уже нет времени, Султан-Ахмет-хан... Благодарю от сердца за твою братскую заботливость, но я не пользуюсь ею... тебе самому не вынести пешеходного пути после такой усталости. Повторяю: оставь меня на произвол судьбы... здесь, на неприступных высотах, умру я волен и доволен... Да и чем может манить меня жизнь? Родители мои лежат в земле... жена лишилась зрения, дядя и тесть шамхал ползают в Тарках перед русскими... в родине, в наследии моем пируют гяуры — и теперь сам я изгнанник из дому, беглец и боя — я не хочу и не должен жить!

— Не должен бы говорить такого вздора, любезный Аммалат,— и одна только лихорадка извиняет тебя. Мы созданы для того, чтобы жить долее отцов наших; жен ты можешь найти еще три, если одна не наскучила; если нелюб тебе шамхал, а либо твое кровное наследство, так для этого самого и надо тебе жить: потому что для мертвеца не нужна власть и невозможна победа. Мстить русским святой долг — оживи хоть для него; а что мы разбиты — это не новость для воина: сегодня выпадает удача им, завтра выпадет нам. Аллах дает счастье — но человек создает себе славу не счастьем, а твердостью... Ободришь, друг Аммалат... ты ранен и слаб, я крепок привычкою и не утомлен бегом — садись на коня, и мы еще не раз побьем русских!

Лицо Аммалата вспыхнуло...

— Да, я буду жить для мести им! — вскричал он, — для мести тайной и явной. Верь, Султан-Ахмет-хан, лишь для этого я принимаю твое великодушие!.. Отныне я твой... клянусь гробом отца, я твой... руководи моими шагами, направляй удары моей руки, и, если я, потонув в неге, забуду клятву свою — напомни мне эту минуту, эту вершину — Аммалатбек пробудится, и кинжал его будет молния!

Хан обнял, поднимая на седло, воспламененного юношу.

— Теперь я узнаю в тебе чистую кровь эмиров, — сказал он, — кровь пламенную детей гор, которая, как сера, течет в жилах и в недрах утесов — и порой, вспыхивая, потрясает и рушит громады.

Поддерживая одною рукою в седле раненого, хан осторожно стал спускаться с обнаженного черепа. Случалось, камни с шумом катились из-под ног или конь скользил вниз по гладкому граниту — а потому они очень рады были, добравшись до мшистой полосы. Мало-помалу кудрявые растения расстилать начали свою зеленую пелену — то вея из трещин опухшими, то спускаясь с крутин длинными плетницами наподобие лент и флагов. Наконец они въехали в густой лес орешников, потом дуба, черешни и еще ниже чинара и чилдара. Разнообразие, богатство растений и величавое безмолвие сенистых дубрав вселяло какое-то невольное благоговение к дикой силе природы. Порой из ночного мрака ветвей, как утро, рассветала поляна, украшенная благоуханным ковром цветов, не мятых стопою человека. Тропинка то скрывалась в чаще, то выходила на край утеса, и под ним в глубине шумел и сверкал ручей, то пенясь между камнями, то дремля на камнем дне водоема, под те-

ню барбариса и шиповника. Фазаны, сверкая радужными хвостами, перелетывали в кустарниках; стада диких голубей вились над скалами то стеной, то столбом, восходящими к небу,—и закат разливал на них воздушный пурпур свой, и тонкие туманы тихо подымались в ущельях; все дышало вечернею прохладю, незнакомою жильцам полей.

Уже путники наши были близки к селению Акох, лежащему за небольшой горой от Хунзаха. Невысокий гребень разделял их с этим селением — когда ружейный выстрел раздался в горах и, как зловеющий знак, повторился от голоском утесов. Путники остановились в недоумении... перекасты постепенно затихли.

— Это наши охотники,— сказал Султан-Ахмет-хан, отирая пот с лица.— Они не ждут меня и не чают встретить в таком положении. Много радостных, много и горестных слез принесу я в Хунзах!

Непритворная горесть изобразилась на грозном лице Ахмет-хана — все нежные и все злобные чувства так легко играют душой азиатца!

Другой выстрел, однако ж, развлек его внимание... удар и удар еще... выстрелы отвечали выстрелам и, наконец, слились в жаркую перепалку.

— Там русские,— вскричал Аммалат, выхватывая из ножен саблю,— и сжал каблуками коня, как будто одним прыжком хотел перепрыгнуть за гребень,— но мгновенные силы его оставили, и клинок, звуча, покотился из опавшей руки.— Хан,— сказал он, ступая на землю,— спешь на помощь своим землякам — твое лицо будет для них дорожке сотни всинов.

Хан не слышал слов его — он прислушивался к полету пуля, как будто желая различить русских от аварских.

— Ужели с легкостью коз заняли они и крылья у орлов Казбека — и откуда могли они пройти на наши неприступные твердыни! — говорил он, весь склонясь над седлом, со вложенною в стремя ногою.— Прощай, Аммалат,— вскричал он наконец, слышав, как загорелась сильней пальба.— Я еду погибнуть на развалинах — разразюсь, как перун, ударом!

В это время пуля, жужжа, упала к ногам его; он наклонился, поднял ее, и лицо его просияло улыбкою. Спокойно вынул он ногу из стремя и обратился к Аммалату.

— Садись верхом,— сказал он ему,— скоро ты своими глазами разгадаешь эту загадку... У русских свинцовые пу-

ли — а это медная, аварская¹, моя милая землячка! Притом же она прилетела с южной стороны, откуда никак не могут прийти русские.

Они въехали на вершину гребня, и взорам их открылись две деревни, лежащие на двух противоположных краях глубокой рывтины — и из них-то производилась перестрелка. Жители, залегши за камнями, за оградами, палили друг в друга. Между ними беспрестанно бегали женщины с воплем и плачем, когда какой-нибудь удалец, приблизясь к самому краю пропасти, падал раненый. Они носили камень и заботливо и бесстрашно под свистом пуль складывали перед ним род щита. Радостные крики раздавались на той или другой стороне, когда видели, что выносят из дела раненого противника. Печальные стоны оглашали воздух, когда падал кто-нибудь из родных или товарищей. Аммалат долго и с удивлением смотрел на битву эту, в которой было более грома, чем вреда. Наконец он обратил вопрошающий взор к хану.

— У нас это обыкновенная вещь, — отвечал тот, любясь каждым удачным выстрелом. — Такие сшибки поддерживают между нами воинственный дух и боевой навык. У вас частные ссоры кончаются несколькими ударами кинжала — у нас они становятся общим делом целых селений, и самая безделица может дать к тому повод. Я чай, и теперь дерутся за какую-нибудь украденную корову, которую не хотели отдать. У нас не стыдно воровать в чужом селении — стыдно только быть уличену в том. Полюбуйся на смелость наших женщин — пули, как мухи, жужжат, а им горя мало — достойные матери и жены богатырей!.. Конечно, в великий стыд вменится тому, кто ранит женщину, — да ведь за пулю нельзя поручиться. Острый глаз направляет ее — но слепая судьба несет в цель. Однако темнота лется с неба и разлучает минутных врагов. Поспешим к родным моим.

Одна привычка хана могла спасти наших путников от частых падений по крутому спуску к реке Узени. Аммалат почти ничего не видал перед собою... двойная завеса ночи и слабости задерживала его очи... голова его кружилась... будто сквозь сон взглянул он, поднявшись снова на высоту, на ворота дома ханского, на сторожевую башню и неверной ногой ступил он на землю среди двора, среди восклицаний нукеров и челядинцев — и едва перешагнул за решетча-

¹ Не имея собственного свинца, аварцы большею частью стреляют медными пулями, ибо у них есть медные руды.

тый порог гарамы, дух его занялся, смертная бледность бросила снег свой на лицо раненого, и юный бек, истощенный кровью, утомленный путем, голодом и душевною тоскою — без чувств упал на узорные ковры.

ГЛАВА III

Аммалат пришел в память на заре. Медленно, поодиночке сходились в ум его мысли, и те мелькали, будто в тумане, от чрезвычайного расслабления. Он вовсе не ощущал боли в теле своем, и это состояние было даже приятно ему — оно отнимало у жизни горе, у смерти ужас, и в эту пору он услышал бы весть о выздоровлении так же беспечно, как весть о неизбежной кончине. Ему не хотелось молвить слова, пошевелить пальцем. Это полуусыпление было, однако ж, непродолжительно. В самый полдень, после посещения лекаря, когда прислужники разошлись исполнять обряды полуденной молитвы, когда стих усыпляющий говор их и только крик муллы раздавался вдали... Аммалат слышал тихие, осторожные шаги по коврам спальни... Он приподнял тяжелые веки, и сквозь сеть ресниц показалось ему, что прелестная черноокая девушка, в оранжевой сорочке, в глазетовом архалуке с двумя рядами эмалевых пуговиц, с длинными косами, распущенными по плечам, — тихо приблизилась к его ложу — и так заботливо обвела его чело, так сострадательно взглянула на рану, что в нем затрепетали все жилки... Потом осторожно налила она лекарства в чашечку и... больше не мог он рассмотреть... веки его опали, как свинец — он только ловил слухом шелест ее шелкового платья, будто шум крыльев улетающего ангела — и снова все стихло. И каждый раз потом, когда нетвердый еще разум его хотел разгадать ее появление — оно сливалось с неясными грезами горячки — так что первым вздохом, первым словом его, когда он очнулся, было: «Это сон!»

Но это не был сон. Прелестная эта девушка была шестнадцатилетняя дочь Султан-Ахмет-хана. У всех горцев вообще незамужние пользуются большою свободою обращения с мужчинами, несмотря на закон Магомета. Тем более независима была любимая дочь хана; подле ней только отдыхал он от забот и досад; подле ней только лицо его находило улыбку, а сердце шутки. В кругу ли аварских старшин и узденей рассуждал он о делах горской политики или да-

вал суд правым и виноватым; между домашними ли слушал рассказы о прежних удальствах или замышлял новые набегги, она прилетала, как ласточка, и приносила ему весну душевную. Счастье было того виноватого, на чье осуждение являлась она при отце... взмахнутый кинжал останавливался на воздухе — и часто, взглянув на нее, он отлагал кровавые замыслы, чтобы не разлучаться с милою дочерью. Все было ей позволено, все доступно. Запретить ей что-либо не подумал бы Ахмет-хан ни для каких обычаев, ни для каких пересудов — а подозрение в чем-нибудь, недостойном ее пола или ее сана, было так же далеко от его мыслей, как от ее сердца. Да и кто мог внушить нежные чувства из окружающих хана? Склонить свои мысли, унижить свои чувства до человека, низшего ее родом, было бы неслыханным позором для дочери последнего узденя — тем выше ханская дочь от самой колыбели напитывалась гордынею предков — и она, как ледяное забрало, отделяла сердце ее от всего видимого общества. Доселе ни один гость не был равен с ней родом — по крайней мере, ни про одного не спросило о том сердце. Вероятно, что и беспечный, бесстрастный возраст ее был тому виною, может быть, — но теперь час любви пробил, и сердце встрепенулось в груди неопытной красавицы. Она спешила заключить в объятия отца и со страхом увидала прекрасного юношу, падающего как мертвец к ногам ее... Первое ее чувство был ужас; но, когда отец рассказал, как и почему Аммалат гость его, когда сельский лекарь объявил, что рана неопасна, — нежное соучастие к раненому проникло все ее существо. Целую ночь напролет мечтался ей окровавленный гость, и она встретила зарю впервые не так румяная, как заря; в первый раз прибегла она к хитрости: чтобы взглянуть на приезжего, вошла в комнату его, чтобы поздороваться с отцом, — и потом вкралась туда в полдень. Непостижимое, неодолимое любопытство влекло ее посмотреть на глаза Аммалата. Никогда в детстве не желала она так сильно игрушки, никогда в настоящем возрасте не манило ее так неодолимо новое, богатое платье или блестящее украшение — как страстно хотелось ей встретить глаза гостя; и наконец ввечеру она встретила томный, но выразительный, беспламенный, но светлый взор его. Она не могла отвести очей с черных очей Аммалата, прилепленных к ней... Казалось, они говорили: «не скрывайся, звезда души моей!» — поглощали исцеление и отраду из ее взоров. Она не знала, что с нею делается, — не чувствовала, на земле ли была она или в воздухе носилась:

летучие краски сменялись на лице ее; наконец она решилась дрожащим голосом спросить его о здоровье...

Надо быть татаринном, который считает за грех и обиду сказать слово чужой женщине, который ничего женского не видит, кроме покрывала и бровей, чтобы вообразить, как глубоко возмущен был пылкий бек взором и словом прелестной девушки, столь близко и столь нежно на него брошенным. Сладкий огонь пробежал по сердцу его, несмотря на слабость.

— О, мне очень хорошо теперь,— отвечал он, стараясь приподняться,— так хорошо, что я бы готов был умереть, Селтанета!

— Алла сахла-сын (бог да сохранит тебя),— возразила она.— Живи, живи долго!.. Неужели не жаль тебе жизни?

— В сладкие минуты сладка и смерть, Селтанета. А если б я прожил еще сто лет, краше настоящей не нашел бы!

Селтанета не поняла слов гостя, но она поняла взор его, поняла выражение его голоса. Она покраснелась еще более и, сделав рукою знак, чтоб он успокоился,— упорхнула из комнаты.

Между горцами есть весьма искусные лекаря, особенно для всех переломов и ран,— но Аммалата исцеляло лучше всех трав и пластырей присутствие милой горянки. С приятною надеждою засыпал он, уверенный, что увидит ее во сне, и радостен просыпался, зная, что наяву с нею встретится. Силы его возвращались быстро, и с силами росла привязанность к Селтанете. Аммалат был женат — но, как водится на Востоке, для одних расчетов. Он никогда не видал до свадьбы своей невесты и после ничего не нашел в ней привлекательного, ничего такого, что бы могло пробудить его спящее сердце. Впоследствии жена его ослепла, и это обстоятельство еще более охладило связь, основанную на азиатской чувственности. Семейная неприязнь к тестю и дяде шамхалу еще более разделяла молодых супругов, до того, что они очень редко бывали вместе. Мудрено ли ж после этого, что юноша, пылкий по природе, своевластный по привычке,— загорелся новою для него любовью! Быть с нею было для него самым высоким счастьем, ждать ее появления — приятнейшим занятием... Бывало, он вздрогнет, чуть слышит ее голос,— каждый звук, будто луч солнца, проникал в душу... и ощущение его походило на боль — но боль так восхитительную, что он желал бы навеки продлить ее. Мало-помалу знакомство с молодыми людьми скрепилось в дружбу... Они почти беспрестанно

бывали вместе. Хан часто уезжал внутрь Аварии по делам хозяйства, по расправам, по военным распоряжениям, оставляя гостя на попечение жены своей, тихой, молчаливой женщины. Он очень видел склонность Аммалата к дочери своей и тайне тому радовался — это оживляло его честолюбивые и воинственные виды: родство с беком, имеющим право на шамхальство, предавало ему в руки тысячу поводов и средств вредить русским. Ханша, занимаясь урядом домашним, оставляла нередко по целым часам Аммалата в покоях своих, как родного; и Селтанета с двумя или тремя своими приближенными девушками, сидя на подушке за рукодельем, не видела, как летит время, то разговаривая с гостем, то внимая его рассказам. Бывало и то, что долго, долго сиживал Аммалат, склонясь у ног своей Селтанеты, не вымолвив слова, — то глядясь в черные, поглощающие глаза ее, то любуясь с ней горными видами из окна ее, обращенного к северу, и крутыми берегами, и крутыми изворотами гремучей Узени, над которою висит замок ханский. Подле этого детски невинного существа забывал Аммалат желания, которых она еще не знала, и, та в неизвестном, непонятном для него наслаждении, он не думал ни о прошедшем, ни о будущем — он не думал ни о чем, он только мог чувствовать, и беззаботно, не отнимая от чаши уст, пил блаженство каплю по капле.

Так протекло лето.

Аварцы народ свободный. Они не знают и не терпят над собой никакой власти. Каждый аварец называет себя узденем, и если имеет есыря (пленного), то считает себя важным барином. Бедны, следственно, и храбры до чрезвычайности. Меткие стрелки из винтовок — славно действуют пешком; верхом отправляются только в набеги, и то весьма немногие. Лошади их мелки, но крепки невероятно; язык дробится на множество наречий — но в основе лезгинский, ибо и сами аварцы племени лезгинского. Помнят христианскую веру, ибо не более ста двадцати лет поклонились Магомету — но до сих пор плохие магометане: пьют водку, пьют бузу, нередко виноградное вино, но всего чаще вино вареное, называемое у них джапа. Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу. Дома тихи, гостеприимны, радушны, не прячут ни жен, ни дочерей — за гостя готовы умереть и мстить до конца поколений. Мечь для них — святыня; разбой — слава. Впрочем, нередко принуждены бывают к тому необходимостью... Выходя по вершине Аталы и Тхезерук, через хребет Турпитау в Ка-

хетию, за реку Алазань, для сельских работ из очень скудной платы — они нередко остаются дни по два и по три без дела... и потом, сговорившись, как голодные волки, бросаются ночью на ближние селения и, если удастся, угоняют стада, похищают женщин, захватывают пленников — но всего чаще слагают свои головы в неравном бою. В русские границы впадения их затихли с тех пор, как укротили акушинцев, и Аслан-хан Кумыкский стережет через его владения лежащий выход из Аварии. Но селение Хунзах, или Авар, лежащее на восточном краю Аварии, искони составляет наследие ханов — и власть их там закон. Но, имея право велеть своим нукерам изрубить кинжалами любого жителя Хунзаха, даже любого проезжего, хан не смеет наложить никакой подати, никакой пошлины на народ и должен довольствоваться доходами со стад и с полей своих, обрабатываемых каравашами (рабами) и есырями (пленниками). Не бравши, однако ж, прямых налогов, ханы не отказываются от требования повинностей, священных более силою, чем обычаем. Взять во двор мальчика или девку, нарядить подводы на волах или буйволах для собственной перевозки или работы, послать гонца и тому подобное — суть вещи ежедневные. Жители Хунзаха живут, однако же, богаче всех своих одноземцев; дома их чисты и почти все в два яруса — мужчины стройны, женщины красивы, тем более что между ними множество грузинок, захваченных в плен. В Аварии много занимаются арабским языком и потому слог людей грамотных очень цветен. Гарам ханский всегда полон гостями и нередко просителями, которые, по азиатскому обычаю, не смеют показывать глаз без *пешкеша* (подарка), хотя бы то был пяток яиц... Нукеры ханские, на числе и отважности коих опирается власть его, с утра до вечера толкаются во дворах и в комнатах хана, всегда с заряженными пистолетами за поясом и с кинжалом на брюхе¹. Любимые уздени и приезжие гости из чеченцев или из татар обыкновенно каждый день являлись поутру на поклон к хану, оттуда всей гурьбой отправлялись к ханше и нередко целый день оставались пировать в особых комнатах, угощаемые и в отсутствие хана изобильно.

Однажды приходит в беседу уздень аварский и за новость рассказывает, что недалеко появился огромный тигр — и что двое отличнейших стрелков легли жертвою

¹ Азиатцы носят кинжал не на боку, а впереди.

его лютости. Это так напугало наших охотников, что никто не решается в третий раз отведавать удачи.

— Я отведаю счастья! — вскричал Аммалат, горя нетерпением выказать удаливость свое перед горцами. — Пусть только наведут меня на след зверя.

Широкоплечий аварец измерил взором с ног до головы дерзостного бека и, улыбнувшись, молвил:

— Тигр не чета дагестанскому кабану, Аммалат! Его след нередко ведет к смерти!

— Неужели ты думаешь, — возразил тот гордо, — что на этой скользкой дорожке у меня закружится голова или дрогнет рука? Не зову тебя помогать, зову посмотреть моего боя с тигром. Я надеюсь, ты поверишь тогда, что если сердце аварца твердо, как гранит его гор, то сердце дагестанца закалено, как славный булат их. Согласен?

Аварец был пойман. Отказаться было бы постыдно — и он протянул руку — развеселил лицо...

— Охотно иду с тобою, — отвечал он. — Отлагать нечего... совершим клятву в мечети — и в путь и в бой неразлучно. Аллах судит — нам ли взять его кожу на чепрак или ему скушать нас.

Не в азиатском нраве, еще менее в азиатском обычае прощаться с женщинами, отправляясь даже надолго, навсегда... Это принадлежит одним родным — и разве случаем выпадет гостю. Аммалат-бек со вздохом, однако ж, взглянул в окна Селтанеты — и тихими шагами прошел к мечети. Там уже ожидали его старшины селения и толпа любопытной молодежи.

По старинному аварскому обыкновению, ловцы должны были поклясться на Коране, что не выдадут друг друга ни в битве со зверем, ни в преследовании... не покинут раненого, если судьба допустит, что зверь ломает его, — будут защищать друг друга — лягут рядом — не щадя жизни, и во всяком случае без шкуры зверя не воротятся назад; или тот, кто преступит завет сей, да будет сброшен со скалы как трус, как изменник!

Товарищи после присяги обнялись... мулла надел на них оружие — и они отправились в путь при громких кликах всей толпы.

— Или оба, или ни одного! — кричали им вслед.

— Убьем или умрем! — отвечали охотники.

Минул день. Укатил другой за хребты ледяные... старики притомили глаза, глядя с кровель на дорогу. Мальчики далеко выбегали на окрестные холмы, чтобы встретить

охотников,— все их нет как нет. В целом Хунзахе едва ль не у каждого очага, кто от безделья, кто от участия,— толковали об этом, но всех более горевала Селтанета. Крикнут ли на дворе, зашумит ли кто на лестнице — вся кровь у нее вспыхнет, как на огне можжевельник, и сердце запрыгает от ожидания... вскочит, бывало, бедняжка и побежит к окну или дверям — и в двадцатый раз обманутая, потупя очи, тихо пойдет за рукоделье, которое впервые показалось ей скучно и бесконечно. Наконец за сомнением и страх наложил свою ледяную руку на сердце красавицы. Она спрашивала у отца, у братьев, у гостей, каков зверь тигр на рану,— далеко ли, близко ли ходит он к селениям? И всякий раз, рассчитав время, она, сплеснув руками, говорила сама себе: «Они погибли!» — и тихо клонила голову к неровно-волнуемой груди, и крупные слезы катились по ее прелестному лицу.

На третий день оказалось, что опасения всех не были напрасны. Уздень, товарищ Аммалата в ловитве, насилу привлекся один до Хунзаха. Кафтан его был изодран когтями звериными — сам он бледен как смерть и в изнеможении от голода и усталости. С изумлением, с любопытством обстали его и стар и мал — и вот что рассказывал он, подкрепив себя чашкою молока и куском чурека:

— В тот же день, как вышли отсюда, выследили мы тигра. Мы нашли его спящим между таким каменником и чащею, что Аллах упаси. По жеребью досталось первому стрелять мне... я подкрался и наметил очень ловко — стрельнул — ан, на беду, зверь спал, закрыв морду лапою, и пуля, пробив ее, угодила в шею... Пробужден громом и болью, тигр взревел и в два прыжка прямо ринулся на меня, так что я не успел выхватить и кинжала, — с размаху он сбил меня с ног, смял задними ногами — и только помню я, что в миг этого промежутка раздался крик и выстрел Аммалата и затем оглушающее, ужасное рыкание. Раздавленный, я потерял память и дыхание и, долго ли я лежал в обмороке, — не ведаю.

Когда открыл я глаза, все было тихо кругом меня... мелкий дождь сеялся из густого тумана — был ли то вечер, было ли то утро? — мое ружье, подернутое ржавчиной, лежало подле; ружье Аммалата, переломленное пополам, невдалеке; там и сям обрызганы были камни кровью — только чьею кровью? тигровой ли, Аммалатовой ли? как дознаться? Выломленные кустарники лежали кругом: верно, зверь выторгнул их упорными прыжками...

я кликал, сколько было голосу, товарища — нет ответа. Посижу, посижу да еще покличу — напрасно! Ни зверя, ни птицы перелетной. Много раз пытался я идти, искать по следу Аммалата, или найти его, или умереть на его теле — хоть бы отомстить зверю за смерть удалого! силы нет! Взяло меня горе; я всплакался горько: зачем погибаю и телом и доброю славою! Решился было ждать смертного часа в пустыне — только голод одолел меня. Даи, подумал я, повешу в Хунзахе, что Аммалат пропал без вести, и хоть умру между своими. Вот я и приполз сюда, как раздавленный змей. Братья! голова моя пред вами — судите, как положит Аллах на сердце. Приговорите ли мне жить, буду жить, поминаючи вашу правду; приговорите умереть — и то воля ваша — умру невинен! Аллах свидетель, я сделал что мог!

Ропот рассыпался по народу, когда выслушали пришельца. Одни правили, другие винули его, хотя и все жалели.

— Всякий себя охраняет, — говорили некоторые из обвинителей. — Кто порука, что он не бежал с поля? На нем нет раны, нет и свидетельства... а что он выдал товарища, это почти без сомнения!

— Не только выдал, может, и нарочно предал, — толковали другие, — они не ладно между собою говаривали!

Ханские нукеры пошли еще далее; они подозревали, что уздень убил Аммалата из ревности, — он слишком умильно поглядывал на дочь ханскую, а ханская дочь не ему чету нашла в Аммалате.

Султан-Ахмет-хан, сведав, для чего собрался народ на улице, прискакал и сам на сходку.

— Трус, — сказал он вместе с гневом и огорчением узденю. — Ты пустил позор на имя аварское... теперь может всякий татарин укорить нас, что мы зверям скормили гостя, не умея защитить его! По крайней мере, мы сумеем за него отомстить; ты клялся на Коране по старине аварской не покидать в беде товарища и, если он падет, не воротаться домой без шкуры зверя... ты изменил клятве... но мы не преступим завета — гибни! Даю три дни сроку душе твоей — но потом, если Аммалат не найдется, — тебя сбросят с утеса! Вы головами отвечаете мне за его голову, — примолвил он, обращаясь к своим нукерам, надвинул шапку на брови и поворотил к дому коня своего.

Тридцать гонцов помчались из Хунзаха во все стороны проводить хоть об остатках буйнакского бека. У горцев

священной обязанностью считается с честью похоронить своего родственника или товарища — и они часто, как омировские герои, кидаются в пыл битвы, чтобы выхватить из рук русских убитого собрата, и порой десятками падают на тело, которого не хотят выдать.

Несчастливого узденя повлекли на конюшню ханскую — место, заменяющее обыкновенно тюрьму. Народ, рассуждая о происшедшем, угрюм, но безропотен разошелся по домам, ибо приговор ханский был согласен правде их обычаев.

Печальная весть скоро проникла до Селтанеты, и, как ни желали смягчить ее, — она жестоко поразила девушку, столь много любящую. Со всем тем она против ожидания казалась спокойною: не плакала, не жаловалась; но зато и не улыбалась более, не молвила слова. Ей говорила мать — она не слышала. Искры из трубки отца прожигали ее платье — она не замечала. Холодный ветер веял на грудь ее — она не чувствовала. Все ее чувства сжались в сердце на муку его — но это сердце глубоко лежало от взоров — и ничего не отражалось на гордом лице ее. Ханская дочь боролась с шестнадцатилетнею Селтанетою — можно было предсказать, кто падет прежде.

Но эта скрытая тоска удушала Селтанету... ей хотелось убежать от людских глаз и на свободе выплакать горе.

«Боже мой, — думала она, — зачем, потеряв друга, не имею права плакать о нем! Все так и смотрят на меня, чтобы посмеяться после... так и стерегут каждую слезку, чтоб поймать ее на злословный язык свой. Чужое горе им потеха».

— Секине! — молвила она своей прислужнице, — пойдем гулять по берегу Узени!

На треть агача¹ расстояния от Хунзаха к западу есть развалины старинного христианского монастыря, уединенного памятника забытой веры туземцев. Рука времени, будто из благоговения, не коснулась самой церкви, и даже изумерство пощадило святыню предков. Она стояла цела между разрушенных келий и павшей ограды. Глава ее с острокопечною каменною кровлею уже почернела от дыхания веков; плющ заплел сеткою узкие окна, и в трещинах стен росли деревья. Внутри мягкий мох разостлал ковер свой — и в зной влажная свежесть дышала там, питаемая горным ключом, который, промыв стену, прислоненную к утесу, па-

¹ А г а ч — семь верст. Он называется конным. — Пешеходный четыре версты.

дал через каменный алтарь и распрыдался в серебристые, вечнозвучные струны чистой воды — и потом, сочась в спаи плитного пола, вился ниже и ниже. Одинокий луч солнца, закравшись сквозь окно, мелькал и переливался сквозь зыбкую зелень по угрюмой стене, как резвый младенец на коленях столетнего деда. Туда-то направила Селганета свою прогулку; там-то отдохнула она от взоров и вопросов, тяготивших ее. Все было так мирно, так прелестно, так счастливо около нее — и все это тем более множило печаль — первую печаль ее. Переливный свет на стене, лепетание ласточек и журчанье ключа растопило в слезы свинец, лежавший у нее на сердце, и горсть ее разлилась жалобами. Секине убежала нарвать груш, растущих в изобилии около церкви, и Селганета тем беззаветнее предалась природе, требующей облегчения...

И вдруг, подняв голову, она вскрикнула от испуга... перед нею стоял стройный аварец, забрызганный грязью и кровью. Кожа тигра падала наземь с плеч его...

Ужели твои глаза, твое сердце, Селганета, не узнали своего любимца? Нет, с другого взора она узнала Аммалата — и, забыв все на свете, кинулась на шею, обвила ее руками своими и долго, долго вглядывалась в истомленное, но всегда милое лицо — и наконец огонь уверения, огонь восторга заблестал сквозь не обсохшие еще слезы печали. Мог ли тогда удержать пылкий Аммалат радость свою? Он прильнул, как пчела, к розовым губкам Селганеты. Он довольно слышал за минуту для своего счастья — теперь он был на вершине блаженства. Еще ни слова не вымолвили любовники о любви своей — но они уже поняли друг друга...

— И ты, ангел, любишь меня! — произнес, наконец, Аммалат, когда Селганета, застыдясь поцелуя, уклонилась из его объятий. — Ты меня любишь?

— Сохрани, Алла, — отвечала невинная девушка, опустя ресницы, но не очи... — любить! Это страшное слово... С год тому назад, проходя по улице, я увидела, как побивали камнями девушку, — с ужасом убежала я домой... но нигде не могла спрятаться... кровавая грешница везде стояла передо мною, и стон ее еще до сих пор отзывается в ушах моих. Когда я спросила, за что так бесчеловечно казнили эту несчастную, мне отвечали: она любила одного юношу!

— Нет, милая, не за то, что любила она, а за то, что любила не одного, за то, что изменила, быть может, обомим, ее убили!

— Что значит: *изменила*, Аммалат? Я не понимаю этого!

— О, дай бог; чтоб ты никогда не испытала, никогда не выучилась изменять... чтобы ты никогда не забыла меня для другого!

— Ах, Аммалат,— в эти четыре дня я узнала, как тяжела для меня с тобой разлука! Бывало, долго не вижу братьев, Нуцала и Сурхая,— и рада с ними свидеться — но без них не тоскую — без тебя же на свете жить не хочется!

— Для тебя я готов умереть, звезда моя утренняя... за тебя положу свою душу, не только жизнь, милая!

Шелест шагов прервал речи любящихся... то была прислужница Селтанеты. Втроем они поспешили обрадовать хана, и хан был рад, был утешен непритворно. Аммалат в коротких словах рассказал, как было с ним дело.

— Чуть завидел я павшего товарища впереди меня — я встретил зверя на лету пулею — она разбила ему челюсть. Чудовище с ужасным ревом кинулось кружиться, прыгать, метаться — несколько раз порывалось ко мне и снова, развлекаясь болью, бросалось в сторону. В это-то время, ударив его прикладом по черепу, изломал я ружье. Я долго гнался за ним, когда он пошел на уход, — то на виду, то по кровавому следу; между тем день вечерел, и, когда я вонзил кинжал в горло павшего тигра, темная ночь падала на землю. Волей и неволею принужден я был ночевать, имея палатами утесы, а собеседниками волков и чакалов. Утро было дождливо и туманно — облака, задевая меня за голову, выжимали, как губки, на мне свою воду... В десяти шагах перед носом ничего нельзя было видеть... Не видя солнца, не зная места, напрасно бродил я вокруг да около... дорога убегала меня — усталость и голод томили. Застреленная из пистолета куропатка подкрепила на время силы — но все-таки не мог я найти выхода из этого каменного гроба. Только шум вод, ниспадающих с крутин, только шум крыльев пролетающих в туче орлов слышались мне вечером, а ночью дерзкие чакалы в трех шагах от меня заводили свою плачевную песню. Сегодняшним утром красно встало солнце, и сам я встал бодрее, направил бег к востоку — и скоро слышал крик и выстрелы... это были твои посланцы. Утомлен жаром, зашел я напиться чистой ключевой воды в старую мечеть и там нашел Селтанету. Благодарность тебе, — слава богу!

— Слава богу, хвала и тебе! — сказал, обнимая его, хан. — Но удалство твое чуть-чуть не стоило жизни твоей и вместе твоего товарища. Промедли ты день — он бы отправился плясать лезгинку на воздухе. Кстати явился ты. Джембулат, известный наездник малой Кабарды, присылал звать тебя в набег на русских... вот достойное тебе поле. Вместо того чтоб дразнить судьбу, гоняясь за тиграми, — лучше гонять русских. Тебе же надо выкупить свою славу, плененную в прошлом бегстве. Время не терпит — завтра чем свет тебе должно отправиться.

Как ни досадна была такая весть Аммалату, но он скрепя сердце отвечал, что едет охотно... он очень чувствовал, что громкое имя наездника есть порука будущих успехов.

Но Селтанета поблекла, склонилась, как цветок, голову, услышав о новой, грознейшей разлуке, взор ее, остановленный на Аммалате, выражал тоску опасения — боль предчувствия беды...

— Алла, — произнесла она с горестию, — опять набеги, опять убийство... Когда-то перестанет литься кровь на угорях?..

— Когда горные потоки потекут молоком и сахарный тростник заколышется на снежных вершинах, — сказал хан с усмешкою.

ГЛАВА IV

Дико прекрасен гремучий Терек в Дарьяльском ущелии. Там, как гений, черпая силы из небес, борется он с природой. Инде светел и прям, как меч, рассекший гранитную стену, сверкает он между утесами. Инде, чернея от гнева, ревет и роется, как лютый зверь, под вековые громады: отрывает, рушит, катит вдаль их обломки. В бурную ночь, когда запоздалый всадник, завернувшись в косматую бурку, озираясь, едет по забережью, висящему над пучиною Терека, все ужасы, какие только породить может досужее воображение, — ничто в сравнении с истинными, его одолевающими. С глухим шумом крутятся дождевые потоки под ногами, падают на голову со скал, нахмуренных над нею и каждый миг грозящих подавлением. Вдруг, как лава, прорывается молния — и вы с ужасом видите только черную расторгнутую тучу над собою, а под собой зияющую бездну, утесы по сторонам, и навстречу вам с крутизны ревуший, прыщущий Терек, осыпанный огненной пеною. На

один миг видите вы, как мутные, буйные волны его, словно адские духи, скачут, прядают, мечутся в бездну со стоном, пораженные мечом архангелов. Вслед им с грохотом катятся огромные камни. И вдруг, после ослепительного озарения молнией, вы опять погружены в черное море ночи — и вдруг затем раздается выстрел грома, зыблущий основание скал, — будто тысячи гор рушатся друг на друга, так вторят отголоски удару небес. Потом долгий протяжный гул, будто стон оторванных с корней дубов, или звук сокрушенных скал, или вой раздавленных в бездне великанов, сливается с шумом ветра — и ветер превращается в ураган, и дождь низвергается ливнем. И снова молния слепит вас, и снова гром, на который отвечает вдали рокот обвалов, оглушает... камни сыплются мимо и звучно падают в воду... испуганный конь упирается, садится назад, фыркает, трепещет, грива его хлещет в глаза всадника — и всадник творит невольную молитву...

Но зато как приветливо заглядывает утро в ущелие, на дне которого бьет, и кипит, и плещется Терек. Облака, будто раздернутый полог, клубятся от ветра, и сквозь них являются и опять исчезают ледяные вершины. Точно резные из золота, лучи солнца рисуют зубчатые силуэты вершин восточных на противоположной стене гор. Скалы блестят, еще высеребренные дождевою влагою. Ключи и горные потоки пышны пеною, летят сквозь туман с крутин — и самые туманы инде катятся вниз по ущелью подобны потоку, инде вьются улиткою с ключа, будто дымок с хижины, инде обвивают, как чалмой, одинокую, древнюю на утесе башню, а мрачный Терек прядает по камням и кружится, будто ищет места успокоиться.

Должен признаться, однако ж, что на Кавказе нет вод, в кои бы достойно могли глядеться горы — исполины творения. Нет на нем рек плавных, нет огромных озер, и Терек между громадами, его теснящими, кажется ручейком. Под Владикавказом, вырвавшись на долину, он кажется рад вольному раздолью, ходит по ней широкими кругами, разбрасывая похищенные в горах валуны. Дальше, уклоняясь к северо-западу, он все еще быстр, но менее шумен, будто усталый, после трудного подвига. Наконец, охватив крутым поворотом мыс Малой Кабарды, — он, как мусульманин, набожно обращается к востоку и, мирно напоя враждующие берега, несется то по грядам камней, то по глинистым отмелям упасть за Кизляром в чашу Каспия. Тут уже он терпит на себе челны и, как работник, воро-

чает огромные колеса плавучих мельниц. По правому берегу его, между холмами и перелесками, рассеяны аулы кабардинцев, которых мы смешиваем в одно название черкесов, живущих за Кубанью, или чеченцев, обитающих гораздо ниже к морю. Побережные аулы сии мирны только по имени — но в самом деле они притоны разбойников, которые пользуются и выгодами русского правления, как подданные России, и барышами грабежей, производимых горцами в наших пределах. Имея всюду свободный вход, они извещают единоверцев и единомышленников о движении войск, о состоянии укреплений; скрывают их у себя, когда те собираются в набег, делят и перекупают добычу при возврате, снабжают их солью и порохом русскими и нередко участвуют лично в тайных и явных набегах. Самое дурное, что, под видом этих мирных горцев, — враждующие нам народы безбоязненно переплывают Терек человека по два, по три, по пяти и среди белого дня отправляются на разбой, никем не преследуемые, ибо одежда их ничем не отлична. Наоборот, сами мирные, пользуясь этою отговоркою, нападают, когда в силах, открыто на проезжих — или похищают скот и людей украдкою, рубят без пощады, или перепродают в плен далеко.

Правду сказать, местное положение их между двумя сильными соседями поневоле заставляет так коварствовать. Зная, что русские не успеют из-за реки защитить их от мести горцев, налетающих, как снег, — они по необходимости, равно как по привычке, дружат однокровным, но в то же время лисят перед русскими, которых боятся.

Конечно, между ними есть несколько человек истинно преданных русским, но большая часть даже и своим изменяет из награды, и то лишь при верном успехе, и то лишь до тех пор, куда видит в том свою пользу. Вообще, нравственность этих мирных самая испорченная: они потеряли все доблести независимого народа и уже переняли все пороки полуобразованности. Клятва для них игрушка, обман — похвальба, самое гостеприимство — промысел. Едва ли не каждый из них готов наняться поутру к русскому в кунаки, а ночью в проводники хищнику, чтобы ограбить нового друга.

Левый берег Терека унизан богатыми станицами линейских казаков, потомков славных запорожцев. Между ними кое-где есть крестьянские деревни. Казаки эти отличаются от горцев только небритою головою... оружие, одежда, сбруя, ухватки — все горское. Мило видеть их в де-

ле с горцами: это не бой, а поединок, где каждый на славу хочет доказать превосходство силы, храбрости, искусства. Двое казаков не струсят четверых наездников,— в равном числе всегда победители. Почти все они говорят по-татарски, водят с горцами дружбу, даже родство по похищенным взаимно женам — но в поле враги неумолимые. Как ни запрещено переезжать на горную сторону Терека — но удалцы отправляются туда вплавь, на охоту разного рода. В свою очередь горские хищники бродят за Терек ночью или переплывают его на бурдюках (мехах), залегают в камыши или под навес берега, потом перелесками пробираются к дороге, чтобы увлечь в плен беспечного путника или захватить женщин на гребле сена. Случается, что самые отчаянные проводят дни по два в виноградниках при деревне, выжидая удобного случая напасть врасплох, и оттого линейский казак не ступит за порог без кинжала, не выедет в поле без ружья за спиною; он косит и пашет вооруженный.

В последнее время большими толпами горцы стали нападать только на крестьянские деревни, ибо в станицах odpor становился им очень дорого. Для угонки табунов они смело и глубоко впадают в границы наши, но в таком случае редко обходится без битвы. Самые лихие уздени стараются попасть в подобные наезды, чтобы снискать себе имя, которое ценят они выше всякой добычи.

Осенью, в 1819 году, кабардинцы и чеченцы, ободренные отсутствием главнокомандующего, собрались в числе полуторы тысячи человек сделать нападение на какую-нибудь деревню за Терекком, ограбить ее, увести пленников, угнать табуны. Предводителем был кабардинский князек Джембулат. Аммалат-бек, приехавший к нему с письмом от Султан-Ахмет-хана, был принят с радостью. Правду сказать, ему не дали никакого отряда, но это оттого, что у них нет никакого строя, ни порядка в войске,— борзый конь и собственная запальчивость указывают каждому место в битве. Сначала сдумают, как завязать дело, как увлечь неприятеля... но потом нет ни повиновения, ни повеленья, и случай доканчивает сражение. Обославшись с соседними узденями и наездниками, Джембулат назначил сборное место — и вдруг по условному знаку во всех ущелиях раздался крик: «Гарай! гарай!» (тревога), и в один час слетелись со всех сторон наездники чеченские и кабардинские. Во избежание измены никто не знал, кроме вождей, где будет ночлег, где переправа. Разделясь на не-

большие кучки, пошли они по едва видимым тропам в мирный аул, где должно было скрыться до ночи. В сумерках все отряды уже сошлись туда. Разумеется, мирные встретили своих земляков с распростертыми объятиями, но Джембулат, не доверяя этому, оцепил селение часовыми и объявил жителям, что, если кто покусится уйти к русским, — будет изрублен в куски. Большая часть узденей разошлась по саклям кунаков или родственников, но сам Джембулат с Аммалатом и лучшими наездниками остался на чистом воздухе подле разведенного огня, покуда освежались усталые их кони. Джембулат, простершись на бурке, опершись рукою об руку, раздумывал распорядок набега; но далека была мысль Аммалата от поля битвы — она орленком носилась над горами Аварии, и тяжело, тяжело ныло сердце разлукою. Звук металлических струн горской балалайки (комус), сопровождаемый протяжным напевом, извлек его из задумчивости: то кабардинец пел песню старинную.

На Кас-бек слетелись тучи,
Словно горные орлы...
Им навстречу на скалы
Узденей отряд летучий
Выше, выше, круче, круче
Скачет, русскими разбит,
След их кровию кипит!

На хвостах полки погони:
Занесен и штык и меч;
Смертью сеется картечь...
Нет спасенья в силе, в броне...
«Бегу, бегу, кони, кони!»
...Пали вы, — а далека
Крепость горного леска! ¹

Сердце наших русским мета...
На колени пал мулла —
И молитва, как стрела,
До пророка Магомета
В море света, в небо света,
Полетела, понеслась:
«Иль-Алла, не выдай нас!»

Нет спасенья ниоткуда!
Вдруг, по манию небес,
Зашумел далекий лес.
Веет, плещет, катит грудой
Ниже, ближе, чудо, чудо!..
Мусульмане спасены
Средь лесистой крутизны!

¹ Редко случались примеры, чтобы мы стрелками своими могли выжить горцев из лесу, и потому лес считают они лучшею крепостью. Вся песня переведена почти слово в слово.

— Так бывало в старину, — сказал с улыбкою Джембулат, — когда наши старики больше верили молитве, а бог чаще их слушал; но теперь, друзья, лучшая надежда — своя храбрость. Наши чудеса в ножнах *шушки* (сабли) — и нам точно должно показать их, чтобы не осрамиться. Послушай, Аммалат, — примолвил он, крутя ус свой, — не скрою от тебя, что дело может быть жаркое. Я сейчас проведаль, что полковник Коцарев собрал отряд свой, но где он? но сколько у него войска? этого никто не знает.

— Чем больше будет русских, тем лучше, — отвечал Аммалат спокойно, — тем менее будет промахов!

— Зато труднее добыча!

— По мне, хоть бы век ее не было: я хочу мести, ищу славы!

— Хороша лишь та слава, которая несет золотые яйца, а то, с пустыми тороками воротясь домой, стыдно жене глаза показать. Близка зима: надобно запастись хозяйством на русский счет, чтобы угощать друзей и приятелей. Выбирай себе место, Аммалат-бек: хочешь, ступай в передовые — заскакать стадо; хочешь, останься со мной назад. Я с абреками шаг за шаг буду удерживать погоню!

— Разумеется, я буду там, где больше опасности, — но что такое абреки, Джембулат?

— Это не легко тебе растолковать. Вот видишь, многие из самых удалых наездников иногда дают зарок года на два, на три, на сколько вздумается, не участвовать ни в играх, ни в весельях, не жалеть своей жизни в набегах, не щадить врагов в битве, не спускать ни малейшей обиды ни другу, ни брату родному, не знать завету на чужое, не боясь преследований или мести; одним словом, быть неприятелем каждого, чужим в семье своей, которого каждый может, если сможет, убить. В ауле они опасные соседи, потому что, встречаясь с ними, надо всегда держать курок на взводе. Зато в деле на них первая надежда¹.

— Для какой же выгоды, для какой причины берут на себя уздени такую обузу?

— Одни просто из молодечества, другие от бедности, третьи с какого-нибудь горя. Вон этот, например, высокий кабардинец поклялся пять лет быть абреком после того, как любовница его умерла от оспы. С тех пор лучше во-

¹ Это настоящие берсеркеры древних норманнов, которые, переходя в неистовство, рубили даже товарищей. Примеры такой безумной храбрости нередки между азиатцами.

дить дружбу с тиграми, чем с ним. Он уж три раза ранен в отплату за кровь — а все нейдет.

— Чудный обычай! Как же воротится абрек в мирную жизнь после такой жизни?

— Что тут мудреного: старое, как с гуся вода. Соседи будут радехоньки, что срок ему кончился разбойничать; а он, скинув с себя абречество, будто змеиную шкурку, станет смирнее овна. У нас одни кровоместники помнят вчерашнее. Однако ночь стемнела; туман стелется над Терекком — пора за дело!

Джембулат свистнул — и свист его повторился во всех концах стана: вмиг собралась вся шайка. К ней присоединились многие уздени из окрестных мирных деревень. Потолковав с ними, где лучше переправиться, — отряд в тишине двинулся к берегу. Аммалат-бек не мог надивиться молчаливости не только всадников, но и самих коней. Ни один из них не ржал, не храпел и будто остерегаясь ставил копыто на землю. Отряд неся неслышным облаком; скоро добрались до берега Терека, который излучиною образовал в том месте мыс, и от него к противоположному берегу тянулась каменистая коса. Вода в то время была невысока и брод возможен; несмотря на это, часть отряда потянулась выше, для переправы вплавь, чтобы оттянуть казаков от главной переправы и прикрыть ее, ежели бы дали отпор. Те, которые надеялись на коней своих, прыгали прямо с берега. Другие подвязывали под передние лопатки по паре небольших мехов, надутых как пузыри. Быстрина сносила и разносила их, и каждый выходил на сушу, где находил удобнее место, чтобы вскарабкаться коню. Непроницаемая завеса тумана скрывала все движение.

Надобно знать, что по всей горской прибрежной линии тянется маячная и сторожевая цепь. По всем курганам и возвышенностям стоят конные пикеты. Проезжая мимо днем, вы видите на каждом холме высокий шест с бочонком наверху: он полон смолой и соломой и готов вспыхнуть при первой тревоге. При этом шесте обыкновенно привязана казацкая лошадь — и подле нее лежит часовой. В ночь часовые удваиваются, но, несмотря на такую предосторожность, черкесы, под буркой мрака и тумана, нередко малыми шайками протекают сквозь цепь, будто вода сквозь сито. Точно то же случилось и теперь. Зная совершенно местность, белады (проводники) из мирных вели каждую партию и тихомолком миновали курганы. В двух только местах хищники, чтобы прервать линию маяков, могущих из-

менить им, решились снять часовых. На один пост отправился сам Джембулат, а нашему беку велел ползком выбраться на берег, обогнуть пикет сзади, сосчитать сто и потом ударить несколько раз в огниво. Сказано, сделано. Чуть подняв голову с забережья, весьма крутого, Джембулат высмотрел казака, дремлющего над фитилем, держа в поводу лошадь. Послышав шорох, часовой встрепенулся и устремил беспокойные взоры на реку. Боясь, чтобы тот не заметил его, Джембулат метнул вверх шапку и припал за кряж.

— Проклятая утица, — сказал донец. — Им и ночью масленица: плещутся да летают, словно ведьмы киевские. Но в это время искры, мелькнувшие в другой стороне, привлекли его внимание.

— Неужто волки? — подумал он, — бывает, они крепко сверкают глазами!

Но искры посыпались снова — и он обомлел, вспомнив рассказы, что чеченцы дают такие сигналы, управляя ходом своих товарищей. Этот миг изумления и раздумья был мигом его гибели; кинжал, ринутый сильною рукою, свистнул — и пронзенный казак без стога упал на землю. Товарищ его был изрублен сонный, а вырванный шест с бочком кинули в воду.

Быстро соединился весь отряд по данному знаку и разом устремился на деревню, на которую заранее предположено было напасть. Набег совершен был очень удачно, то есть вовсе неожиданно. Все крестьяне, которые успели вооружиться, были перебиты после отчаянного сопротивления; другие спрятались или разбежались. Кроме добычи, множество пленных и пленниц было наградой отваги. Кабардинцы вторгались в дома, уносили что поценнее или что второпях попадало под руку, но не жгли домов, не топтали умышленно нив, не ломали виноградников. «Зачем трогать дар божий и труд человека», — говорили они, и это правило горского разбойника, не ужасающегося никаким злодейством, — есть доблесть, которою бы могли гордиться народы самые образованные, если бы они ее имели. В час все было кончено для жителей, но не для грабителей: тревога распространилась уже по всей линии. Как утренние звезды, засверкали сквозь туман маяки — и призыв к оружию раздавался во всех сторонах.

Между тем несколько человек опытных наездников обскакали большой табун, далеко в степи ходивший. Пастух был захвачен сразу. С криком и выстрелами бросились они

потом на коней с полевой стороны... кони шарахнулись — взбросили гривы и хвосты на ветер и стремглав кинулись вслед за черкесом, которого на лихом скакуне нарочно оставили на речной стороне, чтобы он был водаком испуганного стада. Как добрый кормчий, зная и в туманах наизусть все опасности этого степного моря, — черкес летел впереди прядающих коней, вился между постами и, наконец, избрав самое крутое место берега, прыгнул в Терек со всего расказа. Весь табун за ним следом — только прыскала шумная пена от падения.

Занялась заря, расступились туманы и открыли картину вместе пышную и ужасную. Главная толпа наездников влачила с собою пленных, кого при стремени, кого за седлом, со связанными руками. Плач и стон и вопль отчаяния заглушались угрозами и неистовым криком победной радости. Отягощенные добычей, замедляемые в ходу стадами рогатого скота, они медленно подвигались к Тереку. Князя и лучшие наездники в кольчугах и шлемах, блистающих, переливающихся, как вода, — увивались около поезда, словно молнии из сизой тучи. Вдали со всех сторон скакали линейские казаки... залегали за дубы, за кустарники — и скоро завязали перепалку с высланными против них удалцами. Там и сям сверкали, гремели выстрелы; порой падал черкес с коня. Между этим передовые успели переплавить часть стада, когда пыльное облако и топот коней возвестили, что на них несется гроза. Сот шесть горцев, предводимых Джембулатом и Аммалатом, оборотили коней, чтоб отразить нападение и дать время своим убраться за реку. Без всякого порядка, с гиком и криком пустились они навстречу казакам — но ни одно ружье не было вынуто из нагалища за спиною, ни одна шашка не сверкала в руках: черкес до последнего мгновения не обнажает оружия. И точно, доскакав лишь на двадцать шагов, они выхватили ружья свои, выстрелили на всем скаку, забросили ружья за левую руку — и ударили в шашки. Но линейские казаки, ответив им залпом, понеслись прочь, и, разгоряченные преследованием, горцы дались в обман, столь часто самими употребляемый. Казаки навели их на скрытых в опушке егерей храброго 43-го полка. Будто из земли выросли небольшие кареи — штыки склонились, и белый огонь посыпался наперекрест. Напрасно, спешась, хотели они занять лески и с тыла ударить на наших... подоспевшая артиллерия решила дело. Опытный полковник Коцарев, гроза чеченцев, человек, которого они равно боя-

лись храбрости и уважали праводушие, бескорыстие, распоряжал действиями войск, и успех не мог быть сомнителен... Пушки развевали толпы хищников, и картечь прыснула в бегущих. Поражение было ужасно: две пушки заскакали на мыс, невдала которого черкесы кидались вплавь с берега, и пронизывали вдоль всю реку. С ревом прыгала картечь по вспененным волнам — и за каждым выстрелом несколько лошадей обращались вверх ногами, утопляя своих всадников. Жалко было видеть, как раненые цеплялись за хвосты и узды чужих коней, — погружали их и не спасали себя, — как бились усталые у крутого берега, желая выползть, — обрывались — и несытая пучина уносила, поглощала их. Трупы убитых неслись между полуживыми, и кровавые полосы змеями вились по белой пене; дым катился по Тереку, и вдали снеговые вершины Кавказа, нахмуренные туманами, грозно замыкали поле боя.

Джембулат и Аммалат-бек дрались как отчаянные: двадцать раз опрокинуты и двадцать раз нападая, — утомлены, но не побеждены, с сотнею удалцов переплыли они за реку, спешили, сбатовали коней¹ и завели жаркую перестрелку с другого берега, чтобы прикрыть остальных спутников. Занятые этим, они поздно заметили, что выше их плавают за реку линейские казаки наперерез им. С радостным криком перескакивали, окружали их русские... Гибель им неизбежна.

— Ну, Джембулат, — сказал бек кабардинцу, — судьба наша кончилась... Делай сам как хочешь, но я не отдамся в плен живой. Лучше умереть от пули, чем от позорной веревки.

— Не думаешь ли ты, — возразил Джембулат, — что мои руки сделаны для цепей? Сохрани меня Алла от такого поношения! Русские могут полонить мое тело, но душу — никогда, никак. Братцы, товарищи, — крикнул он к остальным, — нам изменило счастье — но булат не изменит: продадим дорого жизнь свою гяурам — не тот победитель, за кем поле, — тот, за кем слава, — а слава тому, кто ценит смерть выше плену!

¹ Русской коннице не худо бы перенять горский образ батовать (связывать при спешивании) коней. Мы батуем, продевая повод в повод, но для этого нужно много сторожей, и лошади имеют слишком много места беситься. Черкесы, напротив, ворочают через одну лошадь головой к хвосту, продевают повод сквозь пахви соседней и потом уже петляют в узду третьей. От этого кони не могут шевельнуться, так что можно их оставлять без надзора.

— Умрем, умрем! — только славно умрем! — закричали все, вонзая кинжалы в ребра коней своих, чтобы они не достались врагам в добычу, и потом, сдвинув из них завал, залегли за него, приготавливаясь встретить нападающих свинцом и булатом.

Зная, какое упорное сопротивление встретят, казаки остановились, собираясь, готовясь на удар. Ядра с противоположного берега иногда ложились в круг бесстрашных горцев; порой разрывало между них гранату, осыпая их землей и осколками,— но они не смущались, не прятались и, по обычаю, запели грозно-унылым голосом смертные песни, отвечая по очереди куплетом на куплет.

СМЕРТНЫЕ ПЕСНИ

Хор

Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, Алла-гу!

Полухор

Плачьте, красавицы, в горном ауле,
Правьте поминки по нас:
Вслед за последнею меткою пулей
Мы покидаем Каф-каз.

Здесь не цевница к ночному покою,
Нас убаюкает гром;
Очи, не милая черной косою,—
Ворон закроет крылом!
Дети, забудьте отцовский обычай,
Он не потешит вас русской добычей!

Второй полухор

Девы, не плачьте — ваши сестрицы,
Гурии, светлой толпой,
К смелым склоняя солнцы-веницы,
В рай увлекут за собой.
Братья, вы нас поминайте за чашей,
Вольная смерть нам бесславия краше!

Первый полухор

Шумен, но краток вешний ключ!
Светел, но где он — зарницы луч?
Мать моя, звезда души,
Спать ложись, огонь туши!

Не тои напрасно ока,
У порога не сиди;
Издадека, издадека
Сына ужинать не жди.
Не ищи его, родная,
По скалам и по долам:
Спит он... ложе — пыль степная,
Меч и сердце пополам!

Второй полухор

Не плачь, о мать, твоей любовью
Мне билось сердце высоко,
И в нем кипело львиной кровью
Родимой груди молоко;
И никогда нагорной воле
Удалый сын не изменял.
Он в грозной битве, в чуждом поле,
Постигнут Азраилом — пал.
Но кровь моя на радость краю
Нетленным цветом будет цвeсть;
Я детям славу завещаю,
А братьям — гибельную месть!

Хор

О братья, творите молитву,
С кинжалами ринемся в битву!
Ломай их о русскую грудь...
По трупам бесстрашного пути!

Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, Алла-гу!

Поражены каким-то невольным благоговением, егеря и казаки безмолвно внимали страшным звукам сих песен, но наконец громкое «ура!» раздалось с обеих сторон¹.

Черкесы вскочили с воплем, выстрелили в последний раз из ружей и, разбивая их о камни, кинулись на русских с кинжалами. Абреки, чтоб не разорваться в натиске, связались друг с другом поясками и так бросились в сечу — она была беспощадна — все пало под штыками русских.

— Вперед, за мной, Аммалат-бек, — вскричал неистовый Джембулат, кидаясь в последнюю для него схватку. — Вперед, для нас смерть — свобода!

Но Аммалат уже не слышал призыва... удар сзади прикладом по голове поверг его наземь, усеянную убитыми, залитую кровью.

¹ Ур, ура — значит бей по-татарски. Нет сомнения, что этот крик вошел у нас в употребление со времени владычества монголов, а не со времен Петра, будто бы занявшего «hugra!» у англичан.

ГЛАВА V

Письмо полковника Верховского к его невесте Из Дербента в Смоленск

1819 года, в октябре

Два месяца, легко сказать! два века — ползло до меня, бесценная Мария, письмо твое! В это время луна дважды совершила свое путешествие около земли. Не поверишь, милая, как грустно мне жить без настоящего даже в самой переписке. За воротами встречаешь казака, с трепетом сердца ломаешь печать, с восхищением целуешь строки, написанные милою ручкою, внушенные чистым сердцем твоим... с жадною радостью пожираешь очами письмо... в то время я счастлив, я вне себя. Но едва закрою письмо, беспокойные мысли уж тут как тут.. Все это прекрасно, думается, но все это *было* — а я хочу знать, что *есть*? Здорова ль, любит ли она меня теперь по-прежнему?.. О, скоро ль, скоро ль придет блаженное время, когда ни время, ни пространство не будут разлучать нас; когда выражения любви нашей не будут простывать на почте иль, наоборот, когда не станут — пылать письма любовью, может быть, теперь уже остывшею!! Прости, прости меня, бесценная, — все такие черные думы — припадки разлуки. Сердце близ сердца — жених всему верит, в удалении — во всем сомневается.

Ты велишь мне — то есть ты желаешь, чтобы я описывал жизнь свою день за днем, час за часом, — о, какая бы грустная, скучная летопись была, если б я на то решился. Ты очень хорошо знаешь, злая женщина, что я не живу без тебя, — зачем же морить меня дважды и один раз несносною разлукою. Мое бытие — след цепи на бесплодном песке. Одна служба, утомляя, если не развлекая меня, по-соблюдает коротать время. Брошен в климат, убийственный для здоровья, в общество, удушающее душу, я не нахожу в товарищах людей, которые бы могли понять мои мысли, не нахожу в азиатцах, кто бы разделил мои чувства. Все окружающее меня так дико или так ограничено — что берет тоска и досада. Скорей добудешь огня, ударяя лед о камень, чем занимательность из здешнего быта. Но мне святыня твое желание, и я хоть в перечне представляю прозябание последней моей недели: она еще более разнообразна, чем другие.

Помнится, я уже писал, что мы возвращаемся с главнокомандующим из похода в Акушу. Мы свое справили: Ших-Али-хан бежал в Персию — мы сожгли множество деревень, спалили сена, хлеб, покушали мятежнических баранов, и наконец, когда снег согнал непокорных с вершин недоступных, они поклонились головою, дали заложников — и вот мы поднялись в Бурную крепость. Оттуда отряд должен был разойтись по зимним стоянкам, в том числе и мой полк в свою штаб-квартиру Дербент. Назавтра главнокомандующий хотел распрощаться с нами, отправляясь в другой поход на линию, и потому народу собралось к обожаемому начальнику более обыкновенного. Алексей Петрович вышел к нам из палатки, к чаю. Кто не знает его лица по портрету? — но тот вовсе не знает Ермолова, кто станет судить о нем по мертвому портрету. Мне кажется, ни одно лицо не одарено такую беглостью выражения, как его! Глядя на эти черты, вылитые в исполинскую форму старины, — невольно переносишься ко временам римского величия; про него недаром сказал поэт:

Беги, чеченец, — блещет меч
 Карателя Кубани;
 Его дыханье — град картечь,
 Глагол — перуны брани!
 Окрест угрюмого чела
 Толпятся роки боя...
 Взглянул, — и гибель протекла
 За манием героя!

Надобно видеть его хладнокровие в час битвы. Надо любоваться им в день приемов, то осыпающего восточными цветами азиатцев, то смущающего их козни одним замечанием (напрасно прячут они свои коварные замыслы в самые сокровенные складки сердца — его глаз преследует, разрывает их, как червей, и за двадцать лет вперед угадывает их мысли и дела), то дружески, открыто приветствующего храбрых офицеров своих, то с величавой осанкою пробегающего ряды гражданских чиновников, приехавших в Грузию на ловлю чинов или барышей. Забавно глядеть, как все, у которых нечиста совесть, мнутя, краснеют, бледнеют, когда он вперит в них пронзительный, медленный взор свой, — вы, кажется, видите, как перед глазами у виноватого проходят взяточные рубли, а в памяти — все его бездельничества... видите, какие картины ареста, следствия, суда, осуждения и наказания рисует им воображение, забегая в будущее. Зато как он умеет отличить достоинств

во одним взором, одною улыбкою, наградить отвагу словом, которое идет прямо от сердца и прямо к сердцу, — ну, право, дай бог век жить и служить с таким начальником.

Но если любопытно видеть его на службе — как приятно быть с ним запросто в беседе, куда каждый из людей, отличных чином, храбростию или умом, имеет свободный доступ; там нет чинов, нет завета; всяк говори и делай что хочешь, потому что только те, которые думают и делают как *должно*, — составляют общество. Алексей Петрович шутит со всеми, как товарищ, учит, как отец, — он не боится, что его увидят вблизи.

По обыкновению во время чаю один из адъютантов его читал в этот раз вслух записки наполеоновского похода в Италию — эту поэму военного искусства, как называет ее главнокомандующий. Дивились, рассуждали, спорили. Замечания Алексея Петровича были светозарны, поразительны истиною. Потом пошли гимнастические игры: беганье, прыганье через огонь, пытанье силы разными образами. Вид и вечер были прелестнейшие: лагерь раскинут был обок Тарков. Над ними висит крепость Бурная — за которую склонялось солнце — под скалою дом шамхала — потом по крутому склону город, объемлющий лагерь, и к востоку необозримая степь Каспийского моря. Татарские беки, черкесские князья, казаки с разных рек необъятной Руси, аманаты с разных гор мелькали между офицерами. Мундиры, чухи, кольчуги перемешаны были живописно; песельники, музыка гремели посреди стана, и солдаты, гордо заломив шапки набекрень, толпами гуляли вдали. Все пленяло пестротою, изумляло разнообразием, радовало свежестью, силою боевой жизни.

Капитан Бекович похвалился, что он отсечет кинжалом¹ голову буйволу, и сейчас привели две пары этих нескладных животных. Держали заклады, спорили, сомневались — капитан улыбался: взмахнул левою рукою огромный кинжал — и рогатая голова покатила к ногам удивленных зрителей. Но за удивлением родилось желание сделать то же: давай рубить — все напрасно. В свите Алексея Петровича было много силачей и удальцов из русских и азиатцев, — но для этого нужна была не одна сила.

— Дети вы дети! — сказал главнокомандующий и встал — велел принести свою саблю, свой меч, не ударяю

¹ Очень забавно неверие европейцев к тому, что кинжалом можно отрубить голову: стоит пожить неделю в Азии для убеждения в противном. Кинжал в опытной руке стоит и топора, и штыка, и сабли.

щий дважды, как говаривал он. Притащили огромную тяжелую саблю — и Алексей Петрович, как ни был уверен в силе своей, но подобен Улиссу в «Одиссее», намазывающему елеем лук свой, которого никто не мог натянуть, — сперва попытал лезвие, раза три махнул саблей в воздухе — и потом уже приступил к делу... Закладчики не успели ударить по рукам, как голова буйвола вонзилась рогами в землю. Удар был так быстр и верен, что туловище несколько минут стояло на ногах и потом тихо, тихо рухнуло. Крик изумления вырвался у всех; Алексей Петрович хладнокровно посмотрел, не иззубрилась ли сабля, стоящая нескольких тысяч, и подарил ее в знак памяти капитану Бековичу.

Мы еще жужжали между собою, когда к главнокомандующему явился офицер линейских казаков с донесением от полковника Коцарева, который оставался на линии.

Прочитав рапорт, Алексей Петрович разгладил чело.

— Коцарев славно пощипал горцев, — сказал он нам. — Бездельники эти сделали набег за Терек, далеко прорвались за линию, пограбили одну деревню — но не только потеряли обратно полон, но все легли жертвою безрассудного молодчества.

Расспросив подробно есаула, как было дело, — он велел привести пленников, которых нашли ранеными и оживили. Пятерых привели перед главнокомандующего.

Туча налетела на его чело, когда он их увидел; брови сошлись, очи сверкнули.

— Мерзавцы! — сказал он узденям. — Вы три раза присягали не разбойничать и три раза нарушали присягу. Чего недостает вам? лугов ли? стад ли? защиты ли того и другого? Так нет, вы хотите брать с русских награды за имя мирных и добычу, наводя черкесов на наши деревни, разбойничая с ними вместе! Повесить их, — сказал он грозно, — повесить на собственных воровских арканах. Пусть только бросят жребий: четвертому воля... велеть ему рассказать своим товарищам, что я приду научить их держать слово и *замирить* по-своему.

Узденей вывели.

Остался один татарский бек — и мы лишь тогда обратили на него внимание. Это был молодой человек, лет двадцати трех, красоты необыкновенной, строен, как Аполлон Бельведерский. Он слегка поклонился главнокомандующему, когда тот подошел к нему, приподнял шапку и снова

принял свою гордую, хладнокровную осанку: на лице его была написана непоколебимая покорность к судьбе своей.

Главкомандующий смотрел ему в очи грозными своими очами — но тот не изменился в лице, не опустил ресниц.

— Аммалат-бек, — сказал наконец ему Алексей Петрович, — помнишь ли ты, что ты русский подданный? Что над тобой стоят русские законы?

— Мне нельзя было забыть этого, — отвечал бек, — если б в них я нашел защиту прав моих, теперь бы не стоял перед вами виновником!

— Неблагодарный мальчик! — возразил главнокомандующий, — отец твой, ты сам враждовал против русских... Будь это при персидском владении — семьи твоей не осталось бы праха, но наш государь был так великодушен, что вместо казни даровал тебе владение. И чем заплатил ты за милость — тайным ропотом и явным возмущением! Этого мало: ты принял и скрыл у себя заклятого врага России, ты позволил ему при своих глазах предательски изрубить русского офицера! Со всем тем, если б ты принес покорную голову, — я бы простил тебе за твою молодость, для обычаев ваших. Но ты бежал в горы и вместе с Султан-Ахмет-ханом злодействовал в границах русских, был разбит и снова сделал набег с Джембулатом. Ты должен знать, какая судьба ждет тебя.

— Знаю, — отвечал Аммалат-бек хладнокровно, — меня расстреляют.

— Нет; пуля слишком благородная смерть для разбойника, — произнес разгневанный генерал. — Арбу вверх голблями — и узду на шею — вот тебе достойная награда.

— Все равно, как ни умереть, только умереть скоро, — возразил Аммалат, — я прошу одной милости — не терзать меня судом — это тройная смерть.

— Ты стоишь сотни смертей, дерзкий! но я обещаю тебе, так и быть, что завтра же тебя не станет. Нарядить военный суд, — сказал главнокомандующий, обращаясь к начальнику своего штаба. — Дело ясное, улики налицо — и потому кончить все в одно заседание к моему отъезду.

Он махнул рукою, и осужденного вывели.

Участь прекрасного юноши тронула всех. Все шептались о нем, все его жалели — тем более, что не было средств его спасти. Каждый очень хорошо знал и необходимость наказания за двукратную измену, и неизменную волю Алексея Петровича в делах такой гласности — а по-

тому никто не осмеливался просить за несчастного. Главнокомандующий был необыкновенно угрюм во весь остаток вечера; гости разошлись рано. Я решился замолвить за него слово — авось, думаю, выпрошу какое-нибудь облегчение. Я отдернул полу внутренней палатки — и потихоньку вошел к Алексею Петровичу. Он сидел один, подпершись обеими руками о стол, на котором лежало недописанное им прямо набело донесение к государю. Алексей Петрович знал меня еще свитским офицером; мы знакомы с ним с Кульмского поля... Здесь он был всегда ко мне очень хорош — и потому посещение мое не могло для него быть новостью. Значительно улыбнувшись, он сказал:

— Вижу, вижу, Евстафий Иванович, ты крадешься под мое сердце! Обыкновенно тыходишь ко мне, как на батарею, а теперь чуть ступаешь на цыпочках — это недаром: я уверен, что с просьбой за Аммалата!

— Вы угадали, — отвечал я Алексею Петровичу, не зная, с чего начать.

— Садись же и потолкуем о том, — произнес он... потом, помолчав минуты две, дружески сказал мне: — Я знаю, что про меня идет слава, будто жизнь людей для меня игрушка, кровь их — вода. Самые жестокие завоеватели скрывали под личиной милосердия кровожадность свою. Они боялись ненавистной молвы, совершая ненавистные дела, — но я — я умышленно создал себе такую славу, нарочно облек себя ужасом. Хочу и должен, чтобы имя мое стерегло страхом границы наши крепче цепей и крепостей, чтобы слово мое было для азиатцев верней, неизбежнее смерти. Европейца можно убедить, усювестить, тронуть кротостию, привязать прощением, закабалить благодеяниями — но все это для азиатца несомненный знак слабости, и с ними я, прямо из человеколюбия, бываю жесток неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены. Евстафий Иванович!.. Многие могут не верить словам моим, потому что всякий скрывает природную злость и личную месть под отговорками в необходимости... всякий с чувствительною ужимкою говорит: право, я бы сердечно хотел простить — но рассудите сами: могу ли я? Что после этого законы? Где общая польза? Я никогда не говорю этого... на глазах моих не видят слезинки, когда я подписываю смертные приговоры, но сердце у меня обливается кровию!

Алексей Петрович был тронут... в волнении он прошелся несколько раз по палатке — потом сел и продолжал:

— Никогда, со всем тем, не была столь тяжка для меня обязанность наказывать, как сегодня. Кто, подобно мне, потерся между азиатцами, тот, конечно, перестал верить Лафатеру, и прекрасному лицу верит не более, как рекомендательному письму; но взгляд, но поступь и осанка этого Аммалата произвели на меня необыкновенное впечатление — мне стало жаль его.

— Великодушное сердце лучший вдохновитель разума,— сказал я.

— Сердце должностного человека, любезный друг, должно быть навывтяжку перед умом. Конечно, я могу простить Аммалата, но я должен казнить его. Дагестан еще кипит врагами русских, несмотря на поклоны и уверения в преданности; самые Тарки готовы подняться при первом ветре с гор — надобно пересечь эти ковы казнию и показать татарам, что никакая порода не спасает преступника, что все равны перед лицом русского закона. Прости же я Аммалата — как раз все родственники наказанных прежде станут славить, что Ермолов побоялся шамхала.

Я заметил, что уважение к обширному родству его будет иметь доброе влияние на край. Особенно шамхал...

— Шамхал азиатец,— прервал меня Алексей Петрович,— он будет радехонек, что этот претендент на шамхальство отправится в Елисейские. Впрочем, я столь же мало забочусь угадывать или угождать желаниям его родственников...

Видя, что главнокомандующий поколебался, я стал его упрашивать убедительнее.

— Заставьте меня служить за троих,— говорил я,— не отпускайте этот год в отпуск, только помилуйте этого юношу. Он молод, и Россия может найти в нем верного слугу... великодушие никогда не падает напрасно.

Алексей Петрович качал головою.

— Я уже сделал много неблагодарных,— сказал он,— впрочем, так и быть: я его прощаю,— и не вполнину: это не моя манера. Спасибо тебе, что ты помог мне решиться быть добрым, чтобы не сказать слабым. Только помни мое слово: ты хочешь взять его к себе,— не доверяйся же ему, не отогревай змеи на сердце.

Я был так рад успехом, что, поблагодаря наскоро главнокомандующего, побежал в палатку, в которой содержался Аммалат-бек. Трое часовых окружали ее — в середине горел фонарь. Вхожу: пленник лежит на бурке: на лице сверкают слезы. Он не слышал мой приход, так глубоко

погружен был в думу: кому весело расстаться с жизнью. Я был счастлив, что могу обрадовать его в такую горькую минуту.

— Аммалат,— сказал я,— Аллах велик, а сардар милостив,— он дарует тебе жизнь!

Восхищенный осужденник вскочил — хотел было говорить, но дух занялся в груди его — и вдруг затем тень сомнения покрыла его лицо.

— Жизнь...— произнес он.— Я понимаю это великодушие. Истомить человека в душевной тюрьме без света и воздуха или заслать его в вечную зиму, в нерассветающую ночь; погребсти его заживо в утробе земли и в самой могиле мучить каторгою... отнять у него не только волю действовать, не только удобства жить, но даже средства говорить с родными о печальной судьбе своей; запрещать ему не только жалобу, но даже ропот на ветер,— и это называете вы жизнью, и этою-то бесконечною пыткой хвалитесь, как неслыханным великодушием! Скажите генералу, что я не хочу такой жизни, что я презираю такую жизнь!

— Ты ошибаешься, Аммалат,— возразил я,— ты прощен вполне; останешься тем же, чем был прежде: господин своим поместьям и поступкам,— вот твоя сабля. Главнокомандующий уверен, что ты отныне будешь обнажать ее только за русских. Предлагаю тебе одно условие: поживи со мной, покада перепадет молва о твоём походе. Ты будешь у меня как друг, как брат родной!!

Это изумило азиатца... слезы брызнули у него из глаз.

— Русские меня победили...— вскричал он,— простите, полковник, что я думал худо обо всех вас. С этой поры я верный слуга русскому царю, верный друг русским душой и саблею... Сабля моя, сабля! — примолвил он, разглядывая драгоценный клинок свой,— пускай эти слезы смоят с тебя русскую кровь и татарскую нефть!¹ Когда и чем могу заслужить я за жизнь, за волю!

Я уверен, милая Мария, ты сохранишь для меня за это дело один из самых сладостных поцелуев своих. Всегда, всегда поступая, чувствуя великодушно,— я утешал себя мыслию: Мария меня похвалит за это... Но когда ж это будет, бесценная? Судьба нам мачеха. Твой траур длится... а мне главнокомандующий решительно отказал в отпуске, и я не сержусь, хоть очень досаую. Полк мой рас-

¹ Для черноты и предохранения от ржавчины клинки копят и мажут нефтью.

строен, как только можно вообразить, — к тому же мне поручены постройки новых казарм и поселение женатых рот. Уезжай я на месяц, и все пойдет вверх дном... остаюсь, но что стоит эта жертва моему сердцу!

Вот уже мы три дни в Дербенте. Аммалат живет со мною. Молчит, грустит, дичится... но страх занимателен, несмотря на это. Он хорошо говорит по-русски — я заставил его учиться грамоте. Понятливости необычайной; со временем я надеюсь сделать из него премилого татарина. (Окончание письма не касается нашего предмета.)

Отрывок из другого письма полковника Верховского
к его невесте, полгода спустя
Из Дербента в Смоленск

...Любимец твой Аммалат, милая Мария, скоро совсем обрусее. Татарские беки первую степень образования считают обыкновенно беззастенчивое употребление вина и свинины — я, напротив, начал перевоспитывать душу Аммалата. Выказываю, доказываю ему, что есть дурного в их обычаях, что хорошего в наших; толкую истины всеместные и всевечные. Читаю с ним, прихочиваю к письму; и с радостью вижу, что он пристрастился и к чтению и к сочинению. Говорю: пристрастился, потому что каждое его желание, прихоть, воля — есть страсть пылкая, нетерпеливая. Трудно вообразить, еще труднее понять европейцу вспыльчивость необузданных или, лучше сказать, разнузданных страстей азиатца, у которого с самого младенчества одна воля была границею желаний. Наши страсти — домашние животные иль хоть и дикие звери, но ручные, смиренные, выученные плясать по веревке приличий, — с кольцом в носу, с обстриженными когтями; на востоке они вольны, как тигры и львы. Любопытно взглянуть на лицо Аммалата, каким заревом загорается оно при первом противоречии, каким огнем загораются очи при каждом споре... но зато, едва почувствует он свою ошибку, он краснеет, бледнеет, готов плакать. «Я виноват, — говорит он, — прости меня, *тахсырумдан гичь* (уничтожь вину), забудь, что я был виноват и что ты простила меня!» Он имеет предоброе сердце, но сердце, готовое вспыхнуть и от солнечного луча и от адской искры. Природа на зубок подарила ему все, чтоб быть человеком в нравственном и физическом смысле, но предрассудки народные и небрежность воспитания сделали все, чтоб изурочить, изувечить эти дары при-

роды. Ум его чудное смешение всяких несообразностей, мыслей самых нелепых и понятий самых здравых. Иногда он чрезвычайно быстро схватывает предметы отвлеченные, когда их просто излагают ему, и нередко упорно противится самым близким, самым очевидным истинам, оттого, что первые для него вовсе новы, а другие заслонены уже от него прежними верованиями и впечатлениями. Начинаю верить, что гораздо легче строить вновь, чем перестраивать старое.

Но отчего грустен и рассеян Аммалат наш? Он делает большие успехи во всем, что не требует последовательного размышления, постепенного развития, — но когда дело коснется до далеких выводов — ум его походит на короткое ружье, которое бьет метко и сильно — только недалеко... Но полно, ум ли его виноват в том — не поглощено ли его внимание чем-нибудь другим?.. Для двадцать третьего года возраста легко можно сказать, что такое это другое. Иногда он, кажется, внимательно слушает мои рассказы, — спрошу ответа, — а он будто с облаков падает; иногда застаю, что слезы градом катятся у него по лицу; говорю ему, — не видит и не слышит. В прошлую ночь, наконец, он метался в беспокойном сне, и слово: *Селтанет, Селтанет!* (власть, власть) вырывалось часто из уст его. Ужели властолюбие может так мучить юное сердце? Нет, нет, иная страсть волнует душу, возмущает ум Аммалата... Мне ли сомневаться в признаках божественной болезни — любви. Он влюблен, он страстно влюблен... но в кого? О, я узнаю это... дружба любопытна, как женщина.

ГЛАВА VI

Выдержки из записок Аммалат-бека

(Перевод с татарского)

...Спал ли я до сих пор, или теперь во сне мечтаю?.. Так этот-то новый мир называется *мыслию!!* Прекрасный мир! Ты долго был для меня мутен и слитен, как млечный путь, который, говорят, составлен из тысячи тысяч сверкающих звезд! Мне кажется, я вхожу на гору познания из мрака и тумана... каждый шаг открывает мне зрение шире и далее... грудь моя дышит свободнее, я гляжу в очи солнцу... гляжу вниз — облака шумят под ногами!.. досадные облака! С земли вы мешаете видеть небо; с неба разглядывать землю!..

Дивлюсь, как самые простые вопросы: отчего и как не западали мне в голову прежде? Весь божий свет, со всем, что в нем есть худого и хорошего,—виден был в душе моей, будто в море,—только я знал о том столько же, как море или как зеркало. На памяти, правда, сохранялось многое, но к чему мне служило это? Понимает ли сокол, для чего ему надевают на глаза шапочку? понимает ли конь, для чего куют его? Понимал ли я, почему в одном месте необходимы горы, а в другом степи? — там вечные снега, а там океаны песков; для чего нужны бури и трепетания земли? И ты, всего чуднейший человек!.. мне и на мысль не впадало, чтобы следить тебя от колыбели твоей, повешенной на кочевом вьюке, до города пышного, какого я не видал, но каким, по слухам, восхищен!.. Сознаюсь, что я пленен уже одною оболочкою книги,— не постигая смысла таинственных букв.. но Верховский не только манит меня к познанию, но дает и средства присвоить их. С ним, как с матерью молодая ласточка, пытаю новые крылья... Даль и высота еще дивят меня, но не ужасают. Придет пора, и я облечу поднебесье!..

...Однако счастливей ли я с тех пор, как Верховский и его книги учат меня мыслить? Бывало, борзый конь, дорогая сабля, меткое ружье радовали меня, как ребенка. Теперь, познав преимущества ума над телом, для меня смешна, чуть не жалка прежняя моя похвальба стрельбой и скачкою! Стоит ли посвящать себя ремеслу, в котором последний широкоплечий нукер может победить меня?.. Стоит ли полагать славу и счастье в удальстве, которого может лишит первая рана, первый неловкий скачок!! У меня вырвали эту гремушку; но чем заменили ее?.. Новыми нуждами, новыми желаниями, коих не может ни утомить, ни утолить сам Алла. Я считал себя важным человеком — я убедился теперь в своем ничтожестве. Прежде за памятью моего деда или прадеда начиналась для меня ночь прошлого, со своими сказками и грезами преданий... Кавказ запирает свет мой — но я спокойно спал в этой ночи, я полагал: быть известным в Дагестане — вершина знаменитости,— и что же? История населила прежнюю пустыню мою народами, крушившими друг друга со славою,—героями, изумлявшими народы доблестию, до которой никогда нам не удастся возвыситься,— и где они? полузабыты, стлели во прахе веков. И что ж? описание зе-

мель показало мне, что татары занимают уголок света, что они жалкие дикари в сравнении с европейскими народами и что о целом составе их, не только об их наездниках, никто не думает, не знает, да и знать не хочет! Стоит ли же труда быть светляком между червями? Стоило ли — напрягать ум, чтобы убедиться в такой горькой истине!

Что мне пользы в познании сил природы, когда я не могу переменить души своей... повелевать своему сердцу! Меня учат заграждать море, а я не могу удержать слезы... отвожу молнию от кровли, а не могу стряхнуть кручины!! Не довольно ли я был несчастлив одними чувствами, чтобы накликать мыслей, как ястребов! Много ли выигрывает больной, узнав, что болезнь его неизлечима!.. Мучения безнадежной любви моей стали тонее, острее, разнообразнее с тех пор, как прояснил мой разум.

Нет, я несправедлив. Чтение сокращает мне долгие, как зимняя ночь, часы разлуки. Приучив меня ловить на бумагу перелетные мысли, Верховский дал мне отраду сердечную. Когда-нибудь свижусь я с Селтанетою — и покажу ей эти страницы, на которых имя ее чаще, нежели имя Аллы в Коране... «Вот летопись моего сердца, — скажу я ей, —...погляди сюда: в такой-то день я то-то о тебе думал — в такую-то ночь я вот как видел тебя во сне! По этим листкам, как по четкам алмазным, ты можешь счесть мои вздохания, мои по тебе слезы. О милая, милая! ты не раз улыбнешься моим причудливым мечтам; они дадут надолго пищу разговорам нашим!.. Но возмогу ли я вспоминать прошлое подле тебя, очаровательница?.. Нет, нет... все исчезнет тогда предо мною и вокруг меня, кроме настоящего блаженства: быть с тобою! О, как жарка и светла будет душа моя — растопленное солнце потечет во мне — я сам буду плавать в небе, как солнце! Забвение подле тебя сладостнее самой высокой мудрости!»

Читаю рассказы о любви... о прелестях женщин, об изменах мужчин, и ни одна из них не приблизится к моей Селтанете красою души и тела — ни на одного из них не похож сам я. Завидую любезности, уму любовников книжных — но зато как вяла, как холодна любовь их — это луч месяца, играющий по льду! Откуда набрались европейцы

фарсийского пустословия, этого пения базарных соловьев, этих цветов, варенных в сахаре? Не могу верить, чтобы люди могли пылко любить и плодовито причитать о любви своей, словно наемная плакальщица по умерших. Расточитель раскидывает сокровище на ветер горстями; любитель хранит, лелеет его, зарывает в сердце кладом!

Я молод — и спрашиваю, что такое дружба? Имею друга в Верховском, друга нежного, искреннего, предупредительного — и не есмь друг! Чувствую, упрекаю себя, что не отвечаю ему как должно, как он заслуживает... но в моей ли это воле?.. В душе нет места никому, кроме Селтанеты; в сердце нет иного чувства, кроме любви.

...Нет, не могу читать, не могу понимать, что толкует мне полковник!.. Я обманывал себя, воображая, что мне доступна лестница наук... я утомлен на первых ступенях — теряю терпение на первом затруднении... путаю нити, вместо того чтобы развивать их, дергаю, рву, — и добыча моя ограничивается немногими обрывками. Обнадеживание полковника принял я за собственные успехи... но кто, но что мешает этим успехам?.. То, что составляет счастье и несчастье моей жизни, — любовь. Во всем, везде вижу и слышу я Селтанету, и часто одну только Селтанету. Устранить ее от мысли моей почел бы я святотатством — да если б и захотел, то не мог бы исполнить этой решимости. Могу ли я видеть без света? Могу ли дышать без воздуха? А Селтанета мой свет, мой воздух, жизнь моя, душа моя!!

...Рука моя дрожит, сердце рыщет в груди... Если бы я писал кровью моею — она бы сожгла бумагу. Селтанета! Образ твой преследует меня во сне и наяву! Воображение твоих прелестей опаснее для меня их близости! Дума, что я никогда не буду владеть ими, касаться их, может быть, видеть их, бросает меня в страстную тоску, — я вместе таю и неистовствую!.. Припоминаю себе каждую милую черту твоего лица, каждое положение твоего стройного стана... и эту ножку — печать любви, и эту грудь — гранату блаженства!.. Память о твоём голосе заставляет дрожать душу, как струну, готовую порваться от высокого звука... А поцелуй твой! поцелуй, в котором я выпил твою душу!..

он сыплет розы и уголья на одинокое ложе мое... я сгораю; жаркие уста томятся жаждою лобзания, — рука хочет обвить стан твой, коснуться твоего колена!.. О, приди, прилети... чтобы я умер от наслаждения, как теперь умираю от скуки!..

Полковник Верховский, желая всеми способами рассеять печаль Аммалата, вздумал потешить его охотою на кабанов, любимым занятием дагестанских беков. На зов съехалось их человек двадцать, каждый со своими нукерами, каждый желая попытать счастья, прогарцевать на поле, похвалиться удалством.

Седой декабрь осыпал уже верхи окрестных гор порошею. По улицам Дербента кое-где лежал ледяной череп, но сверх его густыми волнами катилась грязь по зубристой мостовой. Лениво плескало море в затопленные башни сходящих в воду стен. Сквозь туман свистели крыльями стада стрепетов и дудаков; вереницы гусей с жалобным криком мелькали над валами; все было мрачно и угрюмо; даже глупо-несносный рев ослов, навьюченных хворостом на продажу, походил на плач по красной погоде. Присмирелые татары сидели на базарах, завертывая носы свои в шубы.

Но такая-то погода и мила охотникам. Едва городские муллы прокричали молитву — полковник с несколькими из своих офицеров, с городскими беками, Аммалатом ехал или, лучше сказать, плыл верхом по грязи. Поворотив к северу, все они выехали за город в главные ворота (кырлар-капи), убитые железными пластами. Дорога, ведущая к Таркам, бедна видами... кое-где вправо и влево гряды марены... потом обширные кладбища и, только к морю, редкие виноградники. Зато виды сего предместия гораздо величавее южных. Влево, на скалах, виднелись кейфары — казармы Куринского полка, а по обеим сторонам дороги лежали в живописном беспорядке огромные камни, скаченные, сброшенные и оторванные силой вод с высот нагорных.

Лес, осыпанный инеем, густел по мере приближения к Великенту, и на каждой версте свита Верховского возрастала прибывающими беглярами и агаларами¹.

¹ Лар есть множественное число всех существительных в татарском языке, а потому бегляр значит беки, агалар — аги. Русские по незнанию употребляют иногда и в единственном так же.

Облава была закинута влево, и скоро слышали крик гаяльщиков, собранных с окрестных деревень. Охотники растянули цепь, кто на коне, кто спешась; скоро показались и кабаны.

Тенистые леса Дагестана, изобилующие дубами,—иско-ни служат притоном многочисленным стадам вепрей, и хотя татары как мусульмане считают грехом прикоснуться к нечистому животному, не только есть его мясо, но ист-реблять их почитают они делом достойным; по крайней мере, они учатся на них стрелянью, и с тем вместе пока-зывают свое удалство, ибо преследование вепрей сопряже-но с большими опасностями, требует искусства и твердости духа.

Растянутая цепь ловцов занимала большое простран-во. Самые бесстрашные стрелки выбирали места самые уединенные, чтобы ни с кем не делить славы удачи и для того, что на безлюдье вернее бежит зверь. Полковник Вер-ховский, надеясь на свои исполинские силы и меткий глаз, забрался далеко в чащу и остановился на полянке, на ко-торой сходилась много кабаньих следов. Один-одинехонек, прислонясь к сучу обрушенного дуба, нажидал он добычи. То вправо, то влево от него раздавались выстрелы; порой мелькал вдали кабан за деревьями... наконец послышался треск валежника, и скоро потом показался необыкновен-ной величины вепрь, который несся через поляну, как из пушки пущенное ядро.

Полковник приложился — пуля свистнула, и раненый вепрь вдруг остановился, как будто от изумления,— но это было на миг; он с остервенением кинулся на выстрел; с оскаленных клыков его дымилась пена, глаза горели кро-вью, и он с визгом близился к неприятелю. Но Верхов-ский не смутился, наживая его ближе... в другой раз бряк-нул курок... осечка! отсыревший порох не вспыхнул... Что оставалось делать охотнику? У него не было даже кинжа-ла на поясе... Бегство было бы напрасно; вблизи, как на-рочно, ни одного толстого дерева... только один сухой сук возвышался от лежачего подле него дуба, и Верховский бросился на него, как единственное средство спасти себя от гибели. Едва успел он взобраться аршина на полтора от земли, расвирепелый кабан ударил в сук клыком сво-им... затрещал сук от удара и от тяжести, на нем висящей; напрасно Верховский порывался вскарабкаться выше по обледенелой коре: руки его скользили, он сползал, а зверь не отходил от дерева, грыз его, поражал его своими остры-

ми клыками четвертью ниже ног охотника... С каждым мгновением ожидал Верховский, что он падет в жертву — и голос его умирал в пустой окружности напрасно... Нет, не напрасно!..

Конский топот раздался вблизи, и Аммалат-бек прыскал как испуганный, с поднятою шашкою. Завидя нового врага, вепрь обратился ему навстречу, но прыжок коня в сторону решил бой — удар Аммалата поверг его на землю.

Избавленный Верховский спешил обнять своего друга, но тот в запальчивости еще рубил, терзал убитого зверя.

— Я не принимаю незаслуженной благодарности, — отвечал он наконец, уклоняясь от объятий полковника. — Этот самый кабан в глазах моих растерзал одного табасаранского бека, моего приятеля, когда он, промахнувшись по нему, занес ногу в стремя. Я загорелся гневом, увидя кровь товарища, и пустился в погоню за кабаном. Чаща помешала мне насесть на него по следу — я было совсем потерял его — и вот бог привел меня достигь это проклятое животное, когда оно готово было поразить еще благороднейшую жертву — вас, моего благодетеля.

— Теперь мы квиты, любезный Аммалат! не поминай про старое. Сегодня же отомстим мы зубами этому клыкастому врагу за страх свой. Я надеюсь, ты не откажешься прикусать запрещенного мяса, Аммалат?

— И даже запить его шампанским, полковник. Не во гнев Магомету, я лучше люблю закаливать душу в пене вина, чем в правоверной водице.

Облава обратилась в другую сторону... вдали слышались гай и крик и бубны гонящих татар; в другой стороне по временам раздавались выстрелы. Полковнику подвели коня, и он, любуясь надвое рассеченным кабаном, потрепал по плечу Аммалата... примолвив: «Молодецкий удар!»

— В нем разразилась месть моя, — возразил тот, — а месть азиатца тяжка!

— Ты видел, ты испытал, Аммалат, — сказал ласково полковник, — как мстят за зло русские, то есть христиане, — будь же это не в упрек, а в урок тебе!

И оба поскакали к цепи.

Аммалат-бек был чрезвычайно рассеян: он то не отвечал, то невпопад отвечал на вопросы Верховского, подле которого ехал, поглядывая во все стороны. Тот, думая, что он, как горячий охотник, занят поисками, оставил его

и поехал далее. Наконец Аммалат увидел, кого ждал так нетерпеливо... к нему навстречу несся эмджек его, Сафир-Али, весь забрызган грязью, на дымящейся лошади. С восклицаниями *алейкум селам* оба они спрыгнули с коней и сжали друг друга в объятиях.

— Итак, ты был там, ты видел ее, ты говорил с нею, — вскричал Аммалат, снимая с себя кафтан и задыхаясь от торопливости. — По лицу вижу, что ты привез хорошие вести, и вот тебе моя новая чуха за это¹. Живы ли, здоровы ли, любит ли меня по-прежнему?

— Дай образумиться, — возразил Сафир-Али, — дай хоть дух перевести — ты насыпал столько расспросов, и сам я везу столько поручений, что они столпились, как бабы у дверей мечети, и растеряли свои башмаки. Во-первых, по твоему желанию, а по моему летанию, я был в Хунзахе. Пробрался так тихо, что не спугнул ни одного дрозда с дороги. Султан-Ахмет-хан здоров и дома. Он расспрашивал о тебе, преважно качал головою и спросил, не нужно ли тебе веретена рассучивать дербентский шелк. Ханша посылает чох *селаммум* (много приветствий) и столько же сладких пирожков. Я выбросил их на первом привале — все изломались, проклятые. Сурхай-хан, Нуцал-хан...

— Черт их побери одним разом... что же Селтанета?

— Ага! наконец дотронулся до сердечной мозоли. Селтанета, милый мой, хороша, как небо с звездами, — только на этом небе я видел зарницу лишь тогда, как о тебе разговаривал. Она чуть не кинулась мне на шею, когда наедине я открыл ей причину моего приезда... я наскзал ей верблюжий выюк от тебя приветствий... уверил, что ты с любви к ней чуть жив, бедняга... а она так и заливаётся слезами.

— Милая, добрая душа!! Что ж велела мне сказать она?

— Спроси лучше, чего не велела! Говорит, что, с тех пор как ты уехал, она и во сне не радовалась; что зимний снег выпал на ее сердце — и одно только свидание с милым, как вешнее солнце, может растопить его... Впрочем, если б мне дожидаться конца ее наказов, а тебе моих пересказов, то мы оба приехали бы в Дербент с седьми бородами. Со всем тем она чуть не выгнала меня, торопя, — ей хотелось, чтобы ты ни минуты не сомневался в ее любви!

¹ У татар неперменное обыкновение отдавать вестнику чего-нибудь приятного — свою верхнюю, с плеча, одежду.

— Бесценная девушка.. не знаешь ты — да и сам я не умею высказать, какое блаженство мне быть с тобою, какое мученье быть в разлуке, — не видеть тебя.

— То-то и есть, Аммалат, — она крепко скучает, что не может наглядеться на ненаглядного; говорит: «Неужели он не может приехать хоть на денек, хоть на часок, хоть на минуточку!»

— Взглянуть на нее и потом умереть готов бы я!

— Эй, жить захочется, когда на нее взглянешь! Присмирела она против прежнего, а все еще такой живчик, что взглянет, так кровь заиграет!

— Рассказал ли ты ей, почему нельзя мне выполнить ее воли и своего страстного желания?

— Насказал таких небылиц, что ты бы подумал, будто я стихотворец персидского шаха. Расплакалась Селтанета, словно горный ключ после дождя. Рюмит, да и всё тут.

— Зачем же приводить ее в отчаяние! Нельзя теперь — не значит еще: навек невозможно. Знаешь женское сердце, Сафир-Али: конец надежде — для них конец любви!

— Сеешь слова на ветер, *джаным* (душа моя). Надежда у влюбленных бесконечный клубок. С холодной кровью и глазам не верится, а полюбишь, так и чудесам станешь веровать. Я думаю, Селтанета надеялась бы, что ты из гроба прискачешь к ней, не то что из Дербента.

— Чем лучше гроба для меня этот Дербент? Не тем ли, что сердце чувствует исление и не может избежать его. Здесь один труп мой — душа далеко, далеко!

— Кажется, и ум у тебя нередко изволит гулять невесть где, любезный Аммалат! Чем тебе не житье у Верховского — волен и доволен: любим, как брат меньшей, лелеем, словно невеста. Пусть так: мила твоя Селтанета — да ведь и Верховских немного. Разве нельзя принести в жертву дружбе хоть частичку любви?

— Разве я этого не делаю, Сафир-Али? Но, если б ты знал, чего мне это стоит; все равно если б я рвал на клочки сердце свое. Дружба прекрасное дело, но она не заменит любви.

— По крайней мере, она может утешить ее, может быть, помочь ей. Говорил ли ты об этом с полковником?

— Никак не решусь. Слова замирают на губах, когда вздумаю завести речь о любви моей. Он так рассудителен, что мне совестно скучать ему своим безумием; он так

добр, что я не смею употребить во зло его терпения. Правду молвить, он своею откровенностью вызывает, ободряет мою. Вообрази себе, что он влюблен от самого младенчества в женщину, с которою вырос, и верно бы женился на ней, если б по ошибке его не поставили в списке убитых во время войны с фирингами. Невеста его поплакала — и, разумеется, ее выдали замуж. Вот он летит на родину — и находит свою милую — женою другого. Что ж бы ты думал, что бы я сделал в таком случае, — вонзил кинжал в грудь похитителя сокровища... увез бы ее на край света, чтобы хоть час, хоть миг повладеть ею!.. или хоть в месте насладиться за отнятое счастье! — ничего не бывало. Он узнал, что соперник его предобрый и предостойный человек. Он имел хладнокровие подружиться с ним, имел терпенье быть часто с прежнею невестою и ни словом, ни делом не изменить новому другу со старою другою!

— Редкий человек, если это не сказка, — молвил Сафир-Али с чувством, бросив повода, — твердый друг!

— Зато какой ледяной любовник! Этого мало. Чтоб избавить от толков обоих супругов, он уехал сюда на службу. Недавно, к счастью ли, к несчастью ли его, — умер его приятель-соперник... и что ж? Ты думаешь, он бросился скакать в Россию? Нет, служба удержала его. Главкомандующий сказал ему несколько слов, уверил, что он необходим здесь еще на год, и он остался, питая любовь свою бумагою. Может ли такой человек, со всей своей добротою, понять страсть мою! Притом — между нами столько разницы в годах, в понятиях! Он убивает меня своим недоступным достоинством; и все это холодит мою дружбу, вяжет искренность.

— Ты большой чудак, Аммалат: за то не любишь Верховского, что он всех более достоин любви и откровенности!

— Кто сказал тебе, что я не люблю его!.. Мне не любить его, моего воспитателя, моего благодетеля? Да и могу ли кого-нибудь не любить с тех пор, как люблю Селтанету? Я люблю весь свет, всех людей!

— Не помногу же достанется на брата! — сказал Сафир-Али.

— Стало бы ее не только напоить, но утопить весь мир, — возразил, улыбаясь, Аммалат.

— Ага! Вот что значит видеть красавицу без покрывала! — и потом ничего не видеть, кроме покрывала и бро-

вей. Видно, тебе, как урмийскому соловью¹, надобна для песен клетка.

Так разговаривая, друзья скрылись в чаще леса.

ГЛАВА VII

Отрывок из письма полковника Верховского
к его невесте

Дербент. Апрель

Прилети ко мне, сердце моего сердца, милая Мария! полюбуйся на прелестную, вешнюю ночь Дагестана. Тих лежит подо мною Дербент, подобен черной полосе лавы, упавшей с Кавказа и в море застылой. Ветерок навевает мне благоухание цветущих миндальных деревьев, соловьи перекликаются в ущелье, сзади крепости; все дышит жизнью и любовью, и стыдливая природа, полная сим чувством, как невеста, задернулась дымкой туманов. И как дивно разлилось их море над морем Каспийским! Нижнее колышется, как вороненая кольчуга, верхнее ходит серебряной зыбью, озаренное полною луною, которая катится по небу, словно золотая чаша, и звезды блещут кругом нее, как разбрызганные капли. Каждый миг отражение лучей луны в парах ночи изменяет картины, упреждая самое воображение, то изумляя чудесностию, то поражая новостию. Иногда кажется, будто видишь скалы дикого берега и об них в пену разбитый прибой... Валы катятся в битву, бурюны крутятся, всплески летят высоко; но безмолвно, медленно опадает волнение, и серебряные пальмы возникают из лона потопа, ветер движет их стебли, играет их длинными листьями, — и вот они распахнулись парусами корабля, скользящего по воздушному океану! Видишь, как он качается: брызги дождят на грудь его, волны скользят вдоль ребер, и где он?.. где сам я?..

Не поверишь, бесценная, какое сладостно-грустное чувство наводит на меня шум и вид моря. С ним неразлучна во мне мысль о вечности, о бесконечности, о любви нашей. Видно, сама она безгранична, как вечность. Чувствую, душа моя будто разливается и объемлет мир, подобно океану, светлыми волнами любви: она во мне и окрест

¹ Урмийская долина есть сад печальной, каменистой Персии. Весною это царство роз, осенью — винограда.

меня, она единственное, великое, бессмертное во мне чувство. Искра его греет и озаряет меня в зиму горестей, в ночи сомнений. Тогда я так беззаветно люблю, так тепло верю и верую!!! Ты улыбаешься моей мечтательности, друг и подруга души моей! Ты изумляешься этому туманному наречию!.. не вини меня. Дух мой, как жилец иного света, не может противостать призывному мерцанию месячного луча... отрясает могильный прах, разыгрывается и, как луч месяца, обрисовывает все предметы тускло, неопределенно. Впрочем, ты знаешь, что к одной тебе пишу я все, что ни вспадет на стекло моего волшебного фонаря — сердца, уверенный, что сердцем, а не привязчивым умом будешь ты разгадывать сказанное. Притом, в августе месяце счастливый жених твой будет лично пояснять все темные места в своих письмах. Не могу вздумать без восхищения о минуте встречи нашей!.. Я считаю песчинки часов, разлучающие нас, считаю версты, между нами лежащие. Итак, в половине июня ты будешь на Кавказских водах; итак, лишь одна ледяная цепь Кавказа останется между двумя пылкими сердцами... Как близко и как еще неизмеримо далеко будем мы друг от друга! О, сколько бы лет жизни отдал я, чтобы приблизить час свидания! Души наши обречены так давно... для чего ж разлучены доселе?..

. : : :

Аммалат мой скрытен и недоверчив. Я не виню его. Я знаю, как трудно переломить привычки, всосанные с матерним молоком и с воздухом родины. Варварский деспотизм Персии, столь долго владевшей Адербиджаном, воспитал в кавказских татарах самые низкие страсти, ввел в честь самые презрительные происки. Да и могло ли быть иначе в правлении, основанном на размене крупного деспотизма на мелкий, где и самая справедливость суда поражает украдкою, где хищение есть преимущество власти?.. Делай со мною что хочешь, но позволь мне делать с нижними что я хочу, — вот азиатское управление, честолюбие и нравственность. От этого каждый, находясь между двумя врагами, привыкал прятать свои мысли, как свои деньги. От этого каждый старался лукавить перед сильным, чтобы добыть через него силу, и перед богатым, чтобы выжать из него взятку угнетением или доносом. От этого здешний татарин не скажет слова, не ступит шага даром, не подарит огурца без надежды получить за него отдарка. Грубый до дерзости с каждым, кто не облечен властью, он плашмя перед чином, перед полным карманом. Горстями

сыплет лесть, отдает вам дом, детей, душу свою,— для того чтобы словами уклонить от себя дело, и если делает услугу, то верно по расчету. В делах денежных (это самая слабая сторона татар) — червонец есть камень преткновения; трудно вообразить, до какой степени падки они до выгод. Армяне тысячу раз ниже их в характере, но едва ли они уступят им в продажности, в корыстолюбии... et c'est tout dire¹. Мудрено ли же, что, с младенчества видя такие примеры, Аммалат, хотя и сохранил в себе свойственное благородной крови отвращение ко всему низкому, но принял скрытность как необходимое оборонительное оружие противу явных злодеев своих и тайных недоброхотов? Священные узы родства почти не существуют для азиатца. У них сын раб своего отца; брат — его соперник. Нет доверия к ближнему, потому что нет верности ни в ком. Ревность к женам и подозрение — в подысках задушают братство и дружество. Ребенок, воспитанный матерью-невольницею, не знающий ласки отца и потом задушенный арабскою грамотою, скрывается в самом себе даже и от товарищей; с первых ногтей заботится только о себе. С первым пухом на бороде для него закрыты все двери и все сердца,— мужья смотрят на него искоса, женщины бегут, как от зверя, и первые, самые невинные движения его сердца, первый голос человечества, первое стремление природы — суть уже преступления перед изуверским магометанством. Он не смеет открыть их родному, доверить приятелю... он должен даже плакать тайно от других.

Все это говорю я, милая Мария, в извинение Аммалату: полтора года живет он у меня, и до сих пор не открылся мне, кого любит, хотя очень мог видеть, что не из пустого любопытства, а из душевного участия хотел я вызнать тайны его сердца. Наконец он рассказал мне все, и вот как это случилось.

Вчера я выехал с Аммалатом прогуляться за город. Мы поднялись по ущелию в гору, на запад; далее и далее, выше и выше, мы незаметно очутились подле деревни Кемек, рядом с которою видна уже стена, защищавшая некогда Персию от набегов кочевых народов закавказских степей, часто громивших ее границы. Дербентская летопись (Дербент-наме) приписывает, но неверно, ее незапамятную постройку какому-то Исфендиару; вот начало молвы, передавшей сей труд Искендару, то есть Александру Вели-

¹ и этим все сказано (фр.).

кому, никогда в этих краях не бывавшему. Царь Нуширван открыл, возобновил ее; поселил при ней стражу. Не раз впоследствии была она поправляема и снова падала в прах, зарастала, как теперь, вековыми деревьями. Осталось поверье, будто стена эта от Каспия шла до Черного моря¹, пересекая весь Кавказ, имея крайними железными воротами Дербент, а средними Дарьял; но это более чем сомнительно вообще, хотя несомненно в частном. Следы ее, видимые далеко в горах, прерываются только обрывами и ущелиями до военной дороги, но оттуда к Черному морю, кажется, по Мингрелии нет никаких признаков продолжения.

Я с любопытством рассматривал эту огромную стену, укрепленную частыми башнями, дивясь величию древних даже в самых безумных прихотях деспотизма, величию, до которого достигнуть не дерзают и мысляю, не только исполнением, нынешние женоподобные властители Востока. Чудеса Вавилона, Меридово озеро, пирамиды Фараонов, бесконечная ограда Китая — и эта стена, проведенная в местах диких, безлюдных, по высям хребтов, по безднам ущелий, — свидетели железной, исполинской воли и необъятной власти прежних царей. Ни время, ни землетрясения не могли совершенно разрушить трудов тленного человека; и пята тысячелетий не совсем раздавила, не совсем втоптала в землю останки древности незапамятной. Места эти возбуждали во мне еще благоговейные думы... Я бродил по следам великого Петра... я воображал его, основателя, преобразователя юного царства, на сих развалинах дряхлеющих царств Азии, из среды коих вырвал он Русь и мочной десницею вкатил в Европу. Какой огонь сверкал тогда в орлином взоре его, брошенном с выси Кавказа! Какие гениальные думы звездилась в уме; какие святые

¹ Я убежден, что Кавказские ворота древних, Железные ворота русских историков, находились не в Дербенте, а в Дарьяле (Дарюл — узкая дорога, теснина). Что восточные историки называли иногда Дербент Темир-капи, это не доказательство: они и двадцать других городов величали тем же именем; а ныне, вопреки рассказам иных, вторящих одно и то же путешественников, в целой Азии никто не знает Дербента под названием Железных ворот. Плиний описывает Дарьял очень подробно. Прокоп называет оный Каспийскими воротами, но, видимо, разумеет Дарьял, а не Дербент. И, наконец, хан половецкий, разбитый Мономахом, ушел в абазинскую землю за Железные ворота, следственно за Дарьял, а не Дербент, ибо через сей последний нет средства пробраться в Абхазию. Грузинские летописи приписывают построение Дарьяльского замка Мирвану, царю своему; Прокоп отдает эту честь Александру, сыну Филиппа!!!

чувства вздымали геройскую грудь. Великая судьба отечества развивалась перед его очами, вместе с горизонтом; в зеркале Каспия зрелась ему картина будущего благоденствия России, им посеянного, окропленного кровавым его потом. Не пустые завоевания, но победа над варварством, но благо человечества были его целию. Дербент, Бака, Астрабат — вот звенья цепи, которою хотел он опутать Кавказ и связать торговлю Индии с русскою. Полубог Севера! Ты, которого создала природа, чтобы польстить гордости человека и привести в отчаяние недоступным величием,—твоя тень возникла передо мной, огромна и лучезарна, и водопад веков, казалось, рассыпался в пену у твоих стоп!¹ Задумчив и безмолвен ехал я далее.

Кавказская стена одета с севера тесаными плитами, чисто и крепко на извести сложенными. Многие зубцы еще целы, но слабые семена, запавшие в трещины, в спаи, раздирают камни корнями деревьев, из них произросших, и в союзе с дождями низвергают долу громады, и по развалинам всходят, будто на приступ, раины, дубы, гранаты. Орел невозмутимо вьет гнездо в башне, когда-то полной воинами, и на очаге, внутри ее, холодном уже несколько веков, лежат свежие кости диких коз, натасканные туда чакалами. Инде исчезал вовсе след развалин, и потом отрывки стены возникали снова из-под травы и леса. Так, проехав версты три вдоль, достигли мы до ворот и прорехали на южную сторону, сквозь свод, подернутый мохом и заросший кустарником. Не успели мы сделать двадцать шагов, как вдруг за огромною и высокой башнею наткнулись на шестерых вооруженных горцев, по всем приметам принадлежащих к разбойничьим шайкам вольных табасаранцев. Они лежали в тени, близ пасущихся коней своих. Я обомлел. Я тогда только раздумал, как безрассудно поступил, заехав так далеко от Дербента без конвоя. Скакать назад было невозможно по кустам и камням. Драться с шестерыми удальцами было бы отчаянно; со всем тем я схватился за седельный пистолет; но Аммалат-бек, увидев в чем дело, опередил меня, сказав тихо: «Не беритесь за оружие, или мы погибли».

¹ Татары с уважением вспоминают Петра. Угловая комната, в которой жил он в ханском доме в крепости Дербента, сохранялась, как она была при нем. Русские все переделали: не пощадили даже окна, из которого любовался он морем. Петр оставил здесь майора Туркула, родом венгерца, который усвоил виноделие.—теперь нет в Дербенте даже порядочного уксусу!

Разбойники, заметив нас, вскочили и выправили ружья; только один, широкоплечий, видный, с самым зверским лицом лезгин, остался лежащим на земле: он хладнокровно приподнял голову, посмотрел на нас и махнул своєю рукою. В одну минуту мы очутились в кругу их, между тем как узкая тропа вперед заграждена осталась атаманом.

— Прошу долой с коней, милые гости,— произнес он, улыбаясь; но видно было, что вторым приглашением будет пуля. Я мешкал, но Аммалат-бек проворно соскочил с коня и прямо пошел к атаману.

— Здорово,— сказал он ему,— здорово, сорвиголова; не чаял я тебя видеть; я думал, из тебя уж давно черти лапшу сделали.

— Скоро едешь, Аммалат-бек,— отвечал тот.— Я надеюсь еще выкормить здешних орлов телами русских и вашей братьи татар, у которых киса больше, чем сердце.

— Ну что, какова ловля, Шемардан? — спросил небрежно Аммалат-бек.

— Было плохо. Русские сторожки, и разве с лезвия случалось угнать полковой табун или продать в горы человек двух солдат. С мареной и шелком громоздко возиться, а персидских тканей стали мало возить на арбах. Приходилось и сегодня порыскать и повить даром по-волчьи, да, спасибо, Аллах смилостивился: в руки дал богатого бека и русского полковника!

У меня замерло сердце, когда я услышал эти слова.

— Не продавай сокола в небе,— возразил Аммалат,— продавай, когда посадишь его на перчатку.

Разбойник сел, схватился за курок ружья и устремил на нас пронизательные взоры.

— Послушай, Аммалат,— сказал он,— неужели вы думаете убежать от меня, неужели дерзнете защищаться!..

— Будь спокоен,— возразил Аммалат.— Что мы за глупцы идти двум на шестерых. Любо нам золото, однако душа дороже. Попались, так нечего делать: лишь бы ты не заломил беспутной цены за выкуп. У меня, сам ты знаешь, ни отца, ни матери, а у полковника и подавно ни роду, ни племени.

— Нет отца, так есть наследство от отца. Ведь мне с тобою не роднею считаться. Впрочем, я человек совестливый — нет червонцев — так я возьму и баранами; а про полковника ты не пой мне песен: я знаю, что за него отдадут все солдаты последнюю пуговицу с мундира. Уж коли

за Швецова¹ дали выкупу десять тысяч рублёвиков, за этого дадут и больше. Впрочем, увидим, увидим! Коли будете смирны — я ведь не джеуд (жид) какой, не людоед. *Первиадер* (всевышний), прости!

— Ну, то-то же, приятель: корми да пои нас хорошенько, так присягу даю и честью моей заверяю, мы не задумаем ни бить тебя, ни бежать от тебя.

— Верю, верю! люблю, что без шуму дело сладили. Какой ты молодец стал, Аммалат: конь не конь, ружье не ружье — загляденье, да и только. Покажи-ка, друг, кинжал свой. Верно, кубачинская насечка на ножнах?

— Нет, кизлярская, — отвечал Аммалат, покойно растегивая поясок кинжала. — Да клинок-то посмотри: диво! гвоздь пополам, словно свечку... на этой стороне имя мастера: на, хоть сам читай: *Али-уста Казанищский!* — И между тем он повертывал обнаженным клинком перед глазами жадного лезгина, который хотел показать, что знает грамоте, и со вниманием разбирал связную надпись...

Но вдруг кинжал сверкнул, как молния: Аммалат, улуча миг, рубнул Шемардана по голове со всего размаху, и удар был столь жесток, что кинжал остановился в зубах нижней челюсти. Труп рухнул на траву. Не сводя глаз с Аммалата, я последовал его примеру и положил из пистолета ближнего ко мне разбойника, державшего за узду моего коня. Это было знаком к бегству остальных бездельников, как будто со смертью атамана расторгся узел своры, на которую были они привязаны.

Между тем как Аммалат, по азиатскому обычаю, снимал с убитых оружие и связывал вместе поводья оставленных коней, я выговаривал ему за его притворство и клятвы перед разбойником. Он с удивлением поднял голову:

— Чудный вы человек, полковник, — возразил он мне. — Этот злодей наделал исподтишка русским тьму вреда, то пожигая стоги сена, то уводя в плен одиноких солдат, дровосеков! Знаете ли, что он бы замучил, исторанил нас для того, чтобы мы пожалобнее писали к своим и тем более дали выкупу.

— Все это так, Аммалат, — сказал я, — но лгать, но клясться не должно ни в шутке, ни в беде. Разве не могли мы прямо кинуться на разбойников и начать тем, чем кончили?

— Нет, полковник, не могли. Если б я не заговорил атамана, нас бы при первом движении пронзили пулями;

¹ Полковник Швецов был выкуплен офицерами Кавказского корпуса.

притом я знаю эту сволочь весьма хорошо — они храбры только в глазах атамана, и с него надобно было начать расправу.

Я качал головою. Азиатское коварство, хотя и спасло меня, но не могло мне понравиться. Какую веру могу я иметь к людям, привыкшим играть честью и душою!

Мы собрались было садиться на коней, когда услышали стон раненного мною горца. Он очнулся, приподнялся и жалобно умолял нас не покидать его на съеденье зверям лесным. Мы оба кинулись помогать несчастному, и каково было удивление Аммалата, когда он узнал в нем одного из нукеров Султан-Ахмет-хана Аварского. На вопрос, как он попал в шайку разбойников, отвечал:

— Шайтан соблазнил меня. Хан послал меня в соседнюю деревню Кемек, с письмом к славному *такиму* (доктору) Ибрагиму за какой-то травой, что, говорят, всякую болезнь как рукой снимает... на беду повстречал меня на дороге Шемардан; пристал: поедем да поедем со мной понаездничать, из Кубы едет армянин с деньгами. Не утерпело сердце молодецкое... Ах, Алла, гиль-Алла! Вынул он из меня душу!

— Тебя послали за лекарством, говоришь ты,— спросил Аммалат.— Да кто же у вас болен?

— Наша ханум Селтанета при смерти, вот и писанье к лекарю про болезнь ее.— При этом слове он отдал Аммалату серебряную трубочку, в которую вложена была свитая бумажка.

Аммалат побледнел, как смерть,— руки его дрожали, очи скрылись под бровями, когда пробежал он записку... прерывающимся голосом повторял он несвязные слова:

— «Не ест, не спит уже три ночи — бредит!.. жизнь ее в опасности...— спасите!» Боже правды! а я здесь веселюсь, праздничую, в то время как душа души моей готова покинуть землю и оставить меня тлеющим трупом. О, да падут на голову мою все ее болезни¹, да лягу я в гроб, если этим искупится ее здоровье! Милая, прелестная девушка — ты вянешь, роза Аварии,— и на тебя простерла судьба свои железные когти! Полковник! — вскричал он наконец, схватив меня за руку,— исполните мою единственную, священную просьбу, позвольте мне хоть еще однажды взглянуть на нее...

— На кого, друг мой?

¹ Это самое нежное выражение татарских песен и самый обязательный привет женщине.

— На мою бесценную Селтанету, на дочь хана Аварского, которую люблю более, чем жизнь, чем душу свою... Она больна, она умирает, может быть, уже умерла теперь, когда я теряю слова даром! И не я принял в сердце последний взор, последний вздох ее, не я отер ледяную слезу кончины. О, зачем угли разрушенного солнца не падут на мою голову, зачем не погребет меня земля в своих развалинах!

Он упал на грудь мою и, задушенный тоскою, рыдал без слез, не могши промолвить слова.

Не время было упрекать его в неверности, еще менее — представлять причины, по которым ему бы неприлично было ехать ко врагу русских. Есть обстоятельства, пред которыми рассыпаются в прах все приличия, и я чувствовал, что Аммалат находился в подобных. На свой страх решил я отпустить его. Кто обязывает от чистого сердца и скоро, тот обязывает дважды, — моя любимая пословица и твердое правило. Я ждал в объятиях тоскующего татарина, и слезы наши смешались.

— Друг Аммалат... — сказал я, — спеши, куда зовет тебя сердце. Дай бог, чтобы ты привез туда выздоровление, а оттуда покой душевный... Счастливый путь!

— Прощайте, благодетель мой, — произнес он, тронутый, — и, может быть, навек. Я не ворочусь к жизни, если Алла отнимет у меня Селтанету. Бог да хранит вас!

Мы завезли раненого аварца к гакому Ибрагиму, взяли у него по рецепту ханскому травы целительной и через час Аммалат-бек с четырьмя нукерами выехал уже из Дербента.

Итак, загадка разгадалась: он любит. Это плохо, а еще того хуже, что он любим взаимно. Я вижу, милая, я слышу твоё изумление. — Может ли то быть несчастием для другого, чего ждешь ты для себя, как благополучия? — спрашиваешь ты... Одно зернышко терпения, ангел души моей! Хан, отец Селтанеты, непримиримый враг России, тем более, что, будучи взыскан царскими милостями, он изменил оным; следственно, брак возможен только в таком случае, если Аммалат изменит русским или хан смирится перед ними и будет прощен: обе вещи малосбыточные. Я сам испытал горе безнадежное в любви; я много пролил слез на уединенное изголовье мое и сколько раз жаждал могильной тени, чтобы простудить в ней бедное сердце! Могу ли же не жалеть юноши, которого люблю бескорыстно, который любит безнадежно? Но это не намостит мосту к счастью, и потому думаю, что, если б он не

имел несчастья быть любимым взаимно, он бы понемногу забыл ее.

«Однако,— говоришь ты (и, мне кажется, я слышу твой серебристый голос, люблюсь твоей ангельскою улыбкою),— однако обстоятельства могут перемениться для них, как они переменились для нас. Неужели одно несчастье имеет привилегию быть вечным на свете?..» Не спорю, милая, но со вздохом признаюсь: сомневаюсь... даже боюсь и за них, и за нас. Судьба улыбается нам, надежда поет сладкие песни, но судьба — море, надежда — сирена морская: опасна тишина первого, губельны обеты второй. Все, кажется, споспешествует нашему соединению — но вместе ли мы? Не понимаю, отчего, милая Мария, холод вникает в грудь вместе с самыми жаркими мечтами о будущем блаженстве — и мысль о свидании потеряла свою определенность! Но это все минет, все обратится в наслаждение, когда я прижму твою ручку к устам своим, твоё сердце к своему сердцу!! Ярче сверкает радуга на черном поле туч — и самые счастливейшие мгновения жизни суть междометия горести.

ГЛАВА VIII

Аммалат загнал двух коней и бросил на дороге нукеров своих; зато к концу другого дня был уже недалеко от Хунзаха. С каждым шагом росло его нетерпение и с каждым мигом увеличивался страх не застать в живых свою милую. Он затрепетал, когда показались ему из утесов верхи башен ханского дома... в глазах померкло. «Жизнь или смерть встречу я там?» — молвил он в самом себе — и, скрепя сердце, удвоил бег коня.

Он настиг всадника, вооруженного с головы до ног; другой всадник ехал из Хунзаха ему навстречу — и едва завидели и разглядели они друг друга — пустили коней вскачь, съехали, соскочили на землю и вдруг, обнажив сабли, с ожесточением кинулись друг на друга, не вымолвя ни одного слова, — как будто бы удары были обычным дорожным приветствием. Аммалат-бек, которому они заградили узкую тропинку между скал, с изумлением смотрел на бой двух противников... он был короток. Попутный всадник упал на камни, обливая их кровью из разверстого черепа; победитель, хладнокровно отирая полосу, обратил слово к Аммалату:

— Кстати приход твой! Я рад, что судьба привела тебя в свидетели нашего поединка. Бог, а не я, убил обидчика, и теперь родные его не скажут, что я умертвил врага украдкою из-за камня, не подымут на мою голову мести крови.

— За что встала ссора у тебя с ним? — спросил Аммалат. — За что заключил ты ее такой ужасною мезью?

— Этот харам-зада, — отвечал всадник, — не поладил со мной за подел грабленых баранов, — и в досаде мы всех их перерезали... не доставайся же никому — и он дерзнул выбранить жену мою... Пускай бы он лучше опозорил гроб отца и доброе имя матери, нежели тронул славу жены... Я было кинулся на него с кинжалом, да нас разняли; мы стакнулись при первой встрече рубиться — и вот Аллах рассудил нас. Бек, верно, едет в Хунзах, верно, в гости к хану? — примолвил всадник.

Аммалат, заставляя своего коня перепрыгнуть через труп, лежащий поперек дороги, отвечал утвердительно.

— Не в пору едешь, бек, очень не в пору!

Вся кровь кинулась в голову Аммалата.

— Разве в доме хана случилось какое несчастье? — спросил он, удерживая коня, которого за миг прежде ударил плетью, чтобы скорей домчаться до Хунзаха.

— Не то чтобы несчастье; у него крепко была больна дочь Селтанета, и теперь...

— Умерла? — вскричал Аммалат, бледнея.

— Может быть, и умерла; по крайней мере, умирает. Когда я проезжал мимо ханских ворот, — на дворе поднялась такая беготня и плач и вой женщин, будто русские берут Хунзах приступом... Заезжай, сделай милость...

Но Аммалат уже не слышал ничего более — он стремглав ускакал от удивленного узденя... только пыль катилась дымом с дороги, словно зажженной искрами, сыплющимися из-под копыт. Быстро прогремел он по извилистым улицам, взлетел на гору, спрыгнул с коня среди двора ханского и, задыхаясь, пробежал по переходам до комнаты Селтанеты, опрокидывая, расталкивая нукеров и прислужниц, и наконец, не приветив ни хана, ни жены его, прорвался до самого ложа больной и почти без памяти упал при нем на колени.

Внезапный, шумный приход Аммалата возмутил печальное общество присутствующих. Селтанета, в которой кончина пересиливала уже бытие, будто проснулась из томительного забытья горячки... щеки ее горели обманчивым румянцем, как осенний лист перед паденьем; в туманных

глазах догорали последние искры души; уже несколько часов была она в совершенном изнеможении, безгласна, неподвижна, отчаянна. Ропот неудовольствия в окружающих и громкие восклицания иступленного Аммалата, казалось, воротили отлетающий дух больной.. она вспрянула.. глаза ее заблестали...

— Ты ли это, ты ли?..— вскричала она, простирая к нему руки.— Аллах беретет!.. теперь я довольна! Я счастлива,— промолвила она, опускаясь на подушки.. улыбка сомкнула уста ее, ресницы упали — и она снова погрузилась в прежнее беспмятство.

Отчаянный Аммалат не внимал ни вопросам хана, ни выговорам ханши; никто, ничто не отвлекало его внимания от Селтанеты, не исторгало из скорби глубокой. Его насилу могли вывести из комнаты больной. Прильнув к ее порогу, он рыдал неутешно, то умоляя небо спасти Селтанету, то обвиняя, укоряя его в ее болезни. Трогательна и страшна была тоска пылкого азиатца.

Между тем появление Аммалата произвело на больную спасительное влияние. То, чего не могли или не умели сделать горные врачи,— произошло от случая. Надобно было пробудить онемевшую жизненную деятельность сильным колебанием,— без этого она погибла бы, не от болезни, уже затихшей, но от изнеможения, как лампа, гаснущая не от ветра, но от недостатка воздуха. Наконец молодость взяла верх; после перелома жизнь опять разыгралась в сердце умиравшей. После долгого, кроткого сна она пробудилась с обыкновенными силами, с свежими чувствами.

— Мне так легко, матушка,— сказала она ханше, весело озираясь,— будто я вся из воздуха. Ах, как сладостно отдохнуть от болезни,— кажется, и стены мне улыбаются. Да, я была очень больна, долго больна; я много вытерпела.. теперь, слава Аллаху, я только слаба, и это пройдет скоро.. я чувствую, что здоровье, как жемчуг, катится у меня по жилам. Всё прошлое представляется мне в каком-то мутном сне. Мне виделось, будто я погружаюсь в холодное море, а сгораю жаждою.. вдали носились, будто во мраке и в тумане, две звездочки — тьма густела и густела; я погрязала ниже и ниже. И вдруг показалось мне, что кто-то назвал меня по имени и могучею рукою выдернул из леденеющего, безбрежного моря.. лицо Аммалата мелькнуло передо мной, словно наяву,— звездочки вспыхнули молнией, и она змеей ударила мне в сердце; больше не помню!

На другой день Аммалату позволили видеть выздоравливающую. Султан-Ахмет-хан, видя, что от него не добиться путного ответа, покуда сомнение не стихнет в душе кипучей страстью,— склонился на его неотступные просьбы.

— Пускай все радуются, когда я радуюсь,— сказал он — и ввел гостя в комнату дочери.

Селтанету предупредили — но со всем тем волнение в ней было чрезвычайно, когда очи ее встретились с очами Аммалата, столь много любимого, столь долго и напрасно ожидаемого. Оба любовника не могли вымолвить слова, но пламенная речь взоров изъяснила длинную повесть, начертанную жгучими письменами на скрижалях сердца. На бледных щеках друг друга прочитали они следы тяжелых дум и слез разлуки, следы бессонницы и кручины, страхов и ревности. Пленительна цветущая краса любимой женщины; но ее бледность, ее болезненная томность — очаровательны, восхитительны, победы! Какое чугунное сердце не растает от полного слез взора ее, который без упрека, нежно говорит вам: «Я счастлива... я страдала от тебя и для тебя!»

Слезы брызнули из глаз Аммалата, но, вспомнив наконец, что он тут не один, он оправился, поднял голову — но голос отказывался вылиться словом, и он насилу мог сказать:

— Мы очень давно не видались, Селтанета!

— И едва не расстались навечно,— отвечала Селтанета.

— Навечно? — произнес Аммалат полуукорительным голосом. — И ты могла думать это, верить этому? Разве нет иной жизни? жизни, в которой неведомо горе, ни разлука с родными и с милыми! Если бы я потерял талисман своего счастья, с каким бы презрением сбросил я с себя ржавые, тяжкие латы бытия! для чего бы мне тогда сражаться с роком?

— Жаль, что я не умерла, коли так,— возразила Селтанета, шутя,— ты так заманчиво описываешь замогильную сторону, что хочется поскорее перепрыгнуть в нее.

— О нет, живи, живи долго, для счастья, для... любви,— хотел примолвить Аммалат, но покраснел и умолкнул.

Мало-помалу розы здоровья опять раскинулись на щеках довольной присутствием милого девушки. Все опять пошло обычной чередой. Хан не уставал расспрашивать

Аммалата про битвы и походы и устройство войск русских; ханша скучала ему спросами о платьях и обычаях женщин их... и не могла пропустить без воззвания к Аллаху ни одного раза, слыша, что они ходят без туманов. Зато с Селтанетой находил он разговоры и рассказы прямо по сердцу. Малейшая безделка, друг до друга касающаяся, не была опущена без подробного описания, повторения и восклицания. Любовь, как Мидас, претворяет все, до чего ни коснется, в золото, и ах! часто гибнет, как Мидас, не находя ничего вещественного для пищи.

Но с крепнущими силами, с расцветающим здоровьем Селтанеты на чело Аммалата чаще и чаще стали набегать тени печали. Иногда вдруг среди оживленного разговора он останавливался внезапно, склонял голову, и прекрасные глаза его подергивались слезною пеленою, и тяжкие вздохи, казалось, расторгали грудь; то вдруг он вскакивал... очи сверкали гневом, он с злобной улыбкою хватался за рукоять кинжала... и после того, будто пораженный невидимою рукою, впадал в глубокую задумчивость, из которой не могли извлечь его даже ласки обожаемой Селтанеты.

Однажды в такую минуту любовники были глаз на глаз. С участием склонясь на его плечо, Селтанета молвила:

— *Азиз* (милый), ты грустишь, ты скучаешь со мной!

— Ах, не клевети на того, кто любит тебя более неба,— отвечал Аммалат,— но я испытал ад разлуки и могу ли без тоски вздумать о ней. Легче, во сто раз легче мне расстаться с жизнью, чем с тобою, черноокая!

— Ты думаешь об этом — стало быть, желаешь этого...

— Не отравляй моей раны сомнением, Селтанета. До сих пор ты знала только цвести, подобно розе, порхать, подобно бабочке; до сих пор твоя воля была единственно твоею обязанностию. Но я мужчина, я друг; судьба сказала на меня цепь неразрешимую, цепь благодарности за добро... она влечет меня к Дербенту.

— Долг! обязанности! благодарности! — произнесла Селтанета, печально качая головою.— Сколько золотшвейных слов изобрел ты, чтобы ими, как шалью, прикрыть свою неохоту остаться здесь. Разве не прежде ты отдал душу свою любви, нежели дружбе?.. Ты не имел права отдавать чужое! О, забудь своего Верховского, забудь русских друзей и дербентских красавиц!.. Забудь войну и славу, добытую убийствами. Я ненавижу с тех пор кровь, как увидела тебя, ею облитого. Не могу без содро-

гания вздумать, что каждая капля ее стоит неосушимых слез сестре, или матери, или милой невесте. Чего недостает тебе, чтобы жить мирно, покойно в горах наших? Сюда никто не придет возмутить оружием счастья душевного. Кровля наша не каплет, плов у нас не купленного пшена; у отца моего много коней и оружия, много казны драгоценной — у меня в душе много любви к тебе. Не правда ли, милый, ты не едешь, ты останешься с нами?

— Нет, Селтанета, я не могу, я не должен здесь остаться! С тобою одной провести жизнь, для тебя кончить ее — вот моя первая мольба, мое последнее желание; но исполнение обоих зависит от отца твоего. Священный союз связывает меня с русскими, и, пока хан не примирится с ними, явный брак с тобою мне невозможен... и не от русских, но от хана...

— Ты знаешь отца моего, — грустно сказала Селтанета. — С некоторого времени ненависть к неверным усилилась в нем до того, что он не пожалеет принести ей в жертву и дочь, и друга. Особенно он сердит на полковника за то, что убил его любимого нукера, посланного за лекарством к гакиму Ибрагиму.

— Я уже не раз заводил речь с Ахмет-ханом о моих надеждах — и всегдашним ответом его было: поклянись быть врагом русских — и тогда я выслушаю тебя!

— Стало быть, надобно сказать «прости» надежде?

— Зачем же надежде, Селтанета! Зачем не сказать только: *прости, Авария!*

Селтанета устремила на него свои выразительные очи.

— Я не понимаю тебя, — произнесла она.

— Полюби меня выше всего на свете: выше отца и матери и милой родины — и тогда ты поймешь меня. Селтанета! жить без тебя я не могу, а жить с тобою не дают мне... Если ты любишь меня, бежим отсюда!..

— Бежать! — дочери ханской бежать, как пленнице, как преступнице!.. это ужасно... это неслыханно!

— Не говори мне этого... Если необыкновенна жертва, то необыкновенна и любовь моя. Вели мне отдать тысячу раз жизнь свою, и я кину ее с усмешкою, будто медную пулу; ¹ брошу в ад душу свою за тебя, не только жизнь.

¹ Пул вообще деньги. Карапул — наша денежка, или полушка (которая произошла вовсе не от «пол-ушка», а от татарского: «пул»). Да и слово рубль происходит, по мнению моему, не от «рубки», а от арабского слова «руп» — четверть и перешло к нам от кочевых азиатцев древности. Нога т — значит точка.

Ты напоминаешь мне, что ты дочь хана, — вспомни, что и мой дед носил, что мой дядя носит корону шамхальскую!.. Но не по этому сану, а по этому сердцу я чувствую, что достоин тебя; и если есть позор быть счастливым вопреки злобы людей и прихотей рока, то он весь падет на мою, не на твою голову.

— Но ты забыл месть отца моего.

— Придет пора, и он сам забудет ее. Видя, что дело свершено, он отбросит неумолимость. Сердце его не камень — да если б было и камень, то слезы повинные прольют его, наши ласки его тронут!.. Счастье приголубит тогда нас крылами, и мы с гордостью скажем: «Мы сами поймали его!»

— Милый мой — я мало живу на свете, а что-то в сердце говорит, что неправдой не изловить счастья! Подождем, посмотрим, что Аллах даст. Может, и без этого средства совершится союз наш.

— Селтанета! Аллах дал мне эту мысль... вот его воля!.. Умоляю тебя: жалься надо мною!.. Бежим, если ты не хочешь, чтобы час брака пробил над моею могилою. Я дал честное слово возвратиться в Дербент и должен сдержать его, сдержать скоро... но уехать без надежды увидеть тебя и с опасением узнать тебя женою другого! — это ужасно, это нестерпимо! Не из любви, так из сожаления раздели судьбу мою... не лишай меня рая... не доводи меня до безумства... Ты не знаешь, до какой степени может увлечь обманутая страсть... я могу забыть и гостеприимство и родство... разорвать все связи человеческие, попать ногами святыню, смешать кровь мою с драгоценною мне кровью... заставить злодеев содрогаться от ужаса при моем имени и ангелов плакать от моих дел... Селтанета... спаси меня от чужих проклятий, от своего презрения... спаси меня от самого меня!.. Нукеры мои бесстрашны, кони — ветер... ночь темна: бежим в благодатную Россию, куда перейдет гроза. В последний раз умоляю тебя: жизнь и смерть, слава и душа моя в одном слове твоём: да или нет?

Обуреваемая то страхом девическим и уважением к обычаям предков, то любовью и красноречием любовника, неопытная Селтанета, как легкая пробка, летала по мятежным бурунам противоположных страстей. Наконец, она встала, с гордым, решительным видом отерла слезы, сверкавшие на ресницах, как янтарная смола на иглах лиственницы, и сказала:

— Аммалат! не обольщай меня: огонь любви не ослепит, дым ее не задушит во мне совести. Я всегда буду знать, что хорошо и что худо, — и очень ведаю, как стыдно, как неблагоприятно покинуть дом отеческий, огорчить любимых, любящих меня родителей, — знаю, — и теперь измерь же цену моей жертвы: я бегу с тобою... я твоя! Не язык твой убедил, а сердце твое победило меня. Аллах судил мне встретить и полюбить тебя — пусть же будут связаны сердца наши вечно и крепко, хотя бы терновым венком! Теперь все кончено: твоя судьба — моя судьба!

Если бы небо обняло Аммалата необъятными своими крыльями, прижав к сердцу мира — солнцу, — и тогда бы восторг его был не сильнее, как в эту божественную минуту. Он излился в нестройных словах и восклицаниях благодарности. Когда стихли первые порывы — любовники условились во всех подробностях побега. Селтанета согласилась спуститься на простынях из спальни своей на крутой берег Узени. Аммалат выедет вечером из Хунзаха со своими нукерами, будто на дальнюю соколиную охоту, и окольными путями воротится к ханскому дому, когда ночь падет на землю; он на руки свои примет милую спутницу. Потом они тихомолком доберутся до коней — и тогда враги прочь с дороги.

Поцелуй запечатлел обеты — и счастливицы расстались со страхом и надеждою в сердцах.

Аммалат-бек, изготоя к побегу и бою удалых нукеров своих, с нетерпением смотрел на солнце, которое, будто ревнуя, не хотело сойти с теплого неба в холодные кавказские ледники. Как жених, жаждал он ночи, и, как докучного гостя, провожал он глазами светило дня. Сколь медленно шло, ползло оно к закату... еще целый век пути оставался между желаньем и счастьем!

Безрассудный юноша! Что порука тебе за удачу? Кто уверит тебя, что твои шаги не сочтены, твои слова не пойманы на лету?.. Может быть, с солнцем, которое ты бранишь, закатится твоя надежда!!

Часу в четвертом за полдень, в обычное время мусульманского обеда, Султан-Ахмет-хан был обыкновенно дик и мрачен. Глаза его недоверчиво блистали из-под нахмуренных бровей — долго останавливал он их то на дочери,

то на молодом госте своем; иногда черты лица его принимали насмешливое выражение, но оно исчезало в румянце гнева; вопросы его были колки, разговор отрывист — и все это пробуждало в душе Селтанеты раскаяние, в сердце Аммалата опасенье. Зато ханша-мать, словно предчувствуя разлуку с милою дочерью, была так ласкова и предупредительна, что эта незаслуженная нежность исторгала слезы у доброй Селтанеты, — и взор, брошенный украдкой Аммалату, был ему пронзительным укором.

Едва совершили после обеда обычное умовенье рук — хан вызвал на широкий двор Аммалата: там ждали их оседланные кони и толпа нукеров сидела уже верхом.

— Поедем попытать удали новых моих соколов, — сказал хан Аммалату, — вечер славный, зной опал, и мы успеем еще до сумерек заполевать птичку-другую!

С соколом на руке безмолвно ехал хан рядом с беком: влево, по крутой скале, лепился аварец, забрасывая железные когти, на шесте прикрепленные, в трещины, и потом, на гвозде опершись, подымался выше и выше. На поясе у него привязана была шапка с семенами пшеницы; длинная винтовка висела за плечами... Хан остановился, указал на него Аммалату и значительно сказал:

— Посмотри на этого старика, Аммалат-бек. Он в опасности жизни ищет стопы земли на голом утесе, чтобы посеять на ней горсть пшеницы. С кровавым потом он жнет ее и часто кровью своею платит за охран стада от людей и зверей. Бедна его родина; но спроси, за что любит он эту родину, зачем не променяет ее на ваши тучные нивы, на ваши роскошные паствы? Он скажет: «Здесь я делаю что хочу, здесь я никому не кланяюсь; эти снега, эти гольцы берегут мою волю...» И эту-то волю хотят отнять у него русские, как отняли у вас... и этим-то русским стал ты рабом, Аммалат!

— Хан! ты знаешь, что не русская храбрость, а русское великодушие победило меня. Не раб я, а товарищ их.

— Тем во сто раз хуже и постыднее для тебя! Наследник шамхалов ищет серебряного темляка! хвалится тем, что он застольник полковника!

— Умерь слова свои, Султан-Ахмет! Верховскому обязан я более, чем жизнью, — союз дружбы связал нас!

— Может ли существовать какая-нибудь священная связь с гурами! Вредить им, истреблять их, когда можно, обманывать, когда нельзя, — суть заповеди Корана и долг всякого правоверного!

— Хан! перестанем играть костями Магомета и грозить тем другому, чему сами не верим. Ты не мулла, а я не факир: я имею свои понятия о долге честного человека.

— В самом деле, Аммалат-бек? Не худо, однако ж, если б ты чаще держал это на сердце, чем на языке. В последний раз позволь спросить тебя: хочешь ли послушать советов друга, которого меняешь ты на гяура; хочешь ли остаться с нами навсегда?

— Жизнь бы свою отдал я за счастье, которое предлагаешь ты мне так щедро,—но я дал обет воротиться и сдержу его.

— Это решительно?

— Непременно.

— Итак, чем скорее, тем лучше. Я узнал тебя, ты меня знаешь издавна; обиняки и лесть между нами некстати. Не скрою, что я всегда желал видеть тебя зятем своим; я радовался, что тебе полюбилась Селтанета. Плен твой на время удалил мои замыслы... твоё долгое отсутствие, слухи о твоём превращении огорчали меня. Наконец ты явился к нам и все нашел по-прежнему — но ты не привез к нам прежнего сердца. Я надеялся — ты опять нападешь на прежний путь — и обманулся, горько обманулся. Жаль, но делать нечего: я не хочу иметь зятем слугу русских...

— Ахмет-хан! я однажды...

— Дай мне кончить. Твой шумный приезд, твоё испугание у порога больной Селтанеты открыли всем и твою привязанность, и наши взаимные намерения... во всех горах прославили тебя женихом моей дочери... но теперь, когда разорван союз, пора рассеять и слухи. Для доброй славы моего семейства, для спокойствия моей дочери тебе должно оставить нас и — теперь же. Это необходимо, это неизменно. Аммалат! мы расстанемся добрыми друзьями — но здесь увидимся только родными, не иначе. Да обратит Алла твоё сердце и приведет к нам нераздельным другом... до тех пор прости!

С этим словом хан поворотил коня и поскакал во весь опор, вправо к своему поезду.

Если б на сонного Аммалата упал гром небесный,— и тогда он не был бы так изумлен, испуган, как этим неожиданным объяснением. Уже давно и пыль легла на след хана, но Аммалат все ещё стоял неподвижен на том же холме, чернея в зареве заката.

ГЛАВА IX

Для укрощения мятежных дагестанцев полковник Верховский с полком своим стоял в селении Кяфир-Кумык лагерем. Палатка Аммалат-бека разбита была рядом с его палаткою, и в ней Сафир-Али, развалившись небрежно на ковре, потягивал донское, несмотря на запрещение пророка. Аммалат-бек, худой, бледный, задумчивый, лежал, склоня голову на валец, и курил трубку. Уже три месяца прошло с той поры, как он, изгнанник рая, скитался с отрядом в виду гор, куда летело его сердце и не смела ступить нога. Тоска источила его, досада пролила желчь на его прежде радушный нрав. Он принес жертву своей привязанности к русским и, казалось, упрекал в ней каждого русского. Неудовольствие пробивалось в каждом его слове, в каждом взгляде.

— Прекрасная вещь — вино, — приговаривал Сафир-Али, преисправно осушая стаканы. — Верно, Магомету попались на аравитском солнце прокислые подонки, когда он запретил виноградный сок правоверным. Ну, право, эти капли так сладки, будто сами ангелы с радости наплакали своих слез в бутылки. Эй, выпей еще хоть стаканчик, Аммалат-бек; сердце твое всплывет на вине легче пузырька. Знаешь, что пел про него Гафиз!..

— А ты знаешь? Не докучай добро, Сафир-Али, мне своим вздором, ни даже под именем Саади и Гафиза.

— Эка беда! ну да хоть бы этот вздор был мой доморощенный, он не серьга: в ухе не повиснет. Небось, когда заведешь сказку про свою царицу Селтанету, я гляжу тебе в рот, как тому искуснику, который ел огонь и мотал из-за щек бесконечные ленты. Тебя заставляет говорить чепуху любовь, а меня донское — вот мы и квиты!.. Ну-тко, за здравие русских!

— Что полюбились тебе эти русские?

— Скажи лучше, отчего разлюбил ты их?

— Оттого, что разглядел поближе. Право, ничем не лучше наших татар. Так же падки на выгоды, так же охочи пересуживать, и не для того, чтобы исправить ближнего, а чтобы извинить себя; а про лень их и говорить нечего. Долго они властвуют здесь, а что сделали доброго, какие постановили твердые законы, какие ввели полезные обычаи, чему нас выучили, что устроили или построили они порядочного? Верховский открыл мне глаза на недостатки моих одноземцев, но с этим вместе я увидел и недо-

статки русских, которые тем больше непростительны, что они знают полезное, выросли на добрых примерах, и здесь, будто забыв свое назначение, свою деятельную природу, понемногу утопают в животном ничтожестве.

— Надеюсь, ты не включаешь в это число Верховского?

— Не только его, но и других наберем в особый круг; зато многих ли их?

— Ангелы и в небе на перечете, Аммалат-бек; а Верховскому, право, хоть молиться можно за его правду, за его доброту. Есть ли хоть один татарин, который бы сказал про него худо?.. есть ли солдат, что не отдаст за него души?.. Абдул Гамид! еще вина! Ну-тко, за здоровье Верховского!

— Избавь! я не стану теперь пить за самого Магомета!

— Если у тебя сердце не так черно, как глаза Селтанеты, ты неотменно выпьешь за Верховского, хоть бы это было при краснобородых яхунтах дербентских шагидов¹, хотя бы все имамы и шихи² не только облизывались, но огрызались на тебя за такое святотатство.

— Не выпью, говорю я тебе.

— Послушай, Аммалат, я готов за тебя напоить допьяна черта своей кровью, а ты не хочешь для меня выпить вина!

— То есть в этот раз не стану пить; а не стану потому, что не хочу, а не хочу потому, что кровь и без вина бродит во мне, как молодая буза.

— Пустые отговорки! Не в первый раз мы пьем, не впервые у нас кровь кипит... Скажи лучше прямо: ты сердит на полковника?

— Очень сердит!

— Можно ли узнать, за что?

— За многое. Давно уже стал подливать он каплю по капле яду в мед дружбы своей... Теперь эти капли переполнили и пролили чашу. Терпеть не могу таких полутеплых друзей! Щедр он на советы, не скуп и на поучение, то есть на все, что не стоит ему никакого труда, никакого риска.

— Понимаю, понимаю! Верно, он не пустил тебя в Аварию.

— Если б ты носил в груди мое сердце, ты бы понял, каково было мне услышать такой отказ. Как давно манил

¹ Тарковцы секты сунни. Я х у н т — старший мулла.

² И м а м — святой; ш и х — пророк.

он меня этим, и вдруг отринул самые нежные просьбы, разбил в пыль, как хрустальный кальян, самые лестные ожидания... Ахмет-хан, верно, смягчился, когда присылал сказать, что желает видеть меня,— и я не могу спешить к нему, лететь к Селтанете!

— Поставь-ка, брат, себя на его месте и потом скажи, не так ли же бы поступил ты сам?

— Нет, не так. Я бы просто сказал с самого начала: «Аммалат, не жди от меня никакой помощи». Я и теперь не прошу от него помощи, прошу только, чтобы он не мешал мне,— так нет — он, заграждая от меня солнце всех радостей, уверяет, что делает это из участия, что это впереди принесет мне счастье!.. Не значит ли это отравлять в сонном питье?

— Нет, друг... если оно и в самом деле так, то сонное питье дают тебе как человеку, у которого хотят что-нибудь вырезывать для исцеления. Ты думаешь об одной любви своей — Верховскому же надобно хранить без пятна и твою, и свою честь, а вы оба окружены недоброхотами. Поверь, что так или иначе, только он вылечит тебя!

— Кто просит его лечить меня? Эта божественная болезнь — любовь, моя единственная отрада! И лишит меня ее, все равно что вырвать из меня сердце за то, что оно не умеет биться по барабану!

В это время вошел в ставку незнакомый татарин, подозрительно осмотрелся кругом и с низким наклонением головы поставил перед Аммалатом туфли свои. По азиатскому обычаю это значило, что он просит тайного разговора. Аммалат понял его, кивнул головою, и оба вышли на воздух. Ночь была темна, огни погасли, и цепь часовых раскинута далеко впереди.

— Здесь мы одни,— сказал Аммалат-бек татарину.— Кто ты и что тебе надобно?

— Мое имя Самит. Я дербентский житель, секты сунни, и теперь служу в отряде, в числе мусульманских всадников. Порученье мое важнее для тебя, чем для меня... *Орел любит горы!*

Аммалат вздрогнул и недоверчиво взглянул на посланца... то была условная поговорка, которой ключ написал ему Султан-Ахмет заранее.

— Как не любить гор,— отвечал он.— В горах много ягнят для орла, много серебра для человека.

— *И булата для витязей (игидов)...*

Аммалат схватил посланца за руку.

— Здоров ли Султан-Ахмет-хан? — спросил он торопливо. — Какие вести принес ты от него? Давно ли видел его семью?..

— Не отвечать, а спросить я прислан. Хочешь ли ты за мною следовать?

— Куда? Зачем?

— Ты знаешь, кто прислал меня, — этого довольно. Если не веришь ему, не верь и мне: в том твоя воля и моя выгода. Чем лезть в петлю ночью, я и завтра успею известить хана, что Аммалат не смеет выехать из лагеря!

Татарин попал в цель. Щекотливый Аммалат вспыхнул.

— Сафир-Али! — вскричал он громко.

Сафир-Али встрепенулся и выбежал из палатки.

— Вели подвезть себе и мне хоть неоседланных коней и с тем вместе сказать полковнику, что я поехал осмотреть поле за цепью... не крадется ли какой бездельник под часового. Ружье и шашку, да мигом!

Коней подвели, татарин вскочил на своего, привязанного неподалеку, и все трое понеслись к цепи. Сказали пароль и отзыв и мимо секретов понеслись влево по берегу быстрой Узени.

Сафир-Али, который очень неохотно расстался с бутылкою, ворчал на темноту, на кусты и овраги и очень сердито покрякивал подле Аммалата, но видя, что никто не начинает разговора, решил сам завести его.

— Прах на голову этого проводника, — сказал он. — Черт знает, куда ведет и куда заведет он нас! Пожалуй, еще продаст лезгинам ради богатого выкупа... Не верю я этим косым!

— Я и прямоглазым мало верю, — отвечал Аммалат. — Но этот косой прислан от друга. Он не изменит нам.

— А чуть задумает что-нибудь похожее, так при первом движении я распластаю его, как дыню. Эй, приятель, — закричал Сафир-Али проводнику, — ради самого царя джинниев (духов), ты, кажется, сговорился с терновником оборвать с чухи моей галуны. Неужто не нашел ты попросторнее дороги? Я, право, не фазан и не лисица!

Проводник остановился.

— Правду сказать, я слишком далеко завел такого неженку, как ты, — возразил он. — Оставайся здесь постеречь коней, покуда мы с Аммалат-беком сходим куда следует.

— Неужели ты пойдешь в лес без меня с этой разбойничьей харею? — шепнул Сафир-Али Аммалату.

— То есть ты боишься остаться здесь без меня? — возразил Аммалат, слезая с коня и отдавая ему повод.— Не поскучай, милый. Я оставлю тебя в прелюбезной беседе волков и чакалов. Слышишь, как они распевают!

— Дай бог, чтобы мне не пришлось выручать твои кости от этих певчих,— сказал Сафир-Али.

Они расстались. Самит повел Аммалата между кустами над рекою и, прошедши с полверсты между камнями, начал спускаться книзу. С большою опасностью лезли они по обрыву, хватаясь за корни шиповника... и наконец после трудного пути спустились до узкого жерла небольшой пещеры, вровень с водою. Она была вымыта потоком, когда быстрым, но теперь иссякшим. Известковые, трубчатые капельники и селитряные кристаллы сверкали от огня, разложенного посредине. В глуби лежал Султан-Ахмет-хан на бурке и, казалось, нетерпеливо ожидал, чтобы Аммалат огляделся в густом дыме, клубившемся в пещере. Ружье со взведенным курком лежало у него на коленях... космы его шапки играли на ветре, который дул из расселины. Он приподнялся приветливо, когда Аммалат-бек кинулся к нему с приветом.

— Я рад тебя видеть,— сказал он, сжимая руку гостя,— рад, и не скрываю чувства, которого не должно мне хранить. Впрочем, я не для пустого свидания ступил ногою в кляпцы и потревожил тебя. Садись, Аммалат, и посудим о важном деле.

— Для меня, Султан-Ахмет-хан?

— Для нас обоих. С отцом твоим водил я хлеб-соль — было время, когда и тебя считал я своим другом...

— Только считал?..

— Нет, ты и был им — и навсегда бы остался им, если б между нами не прошел лукавец Верховский.

— Хан, ты не знаешь его.

— Не только я, скоро ты сам его узнаешь!.. Но начнем с того, что касается до Селтанеты. Аммалат, тебе известно: ей нельзя век сидеть в девках. Это был бы зазор моему дому — и я откровенно скажу тебе, что за нее уже сватаются.

Сердце будто оторвалось в Аммалате... долго не мог он собраться с духом... Наконец, оправаясь, он дрожащим голосом спросил:

— Кто этот смельчак-жених?

— Второй сын шамхала: Абдул-Мусселим. После тебя, по высокой крови своей, он больше других горских князей имеет права на Селтанету...

— После меня? после меня? — вскричал вспыхивый бек, закипая гневом. — Разве меня схоронили? Разве и память моя погибла между друзьями?

— Ни память, ни сама дружба не умерла, по крайней мере в моем сердце. Но будь справедлив, Аммалат, столько же, как я откровенен. Забудь, что ты судья в своем деле, и реши, что должно нам делать. Ты не хочешь расстаться с русскими, а я не могу с ними помириться...

— О, только пожелай этого, только скажи слово — и все забыто, все прощено тебе. В этом ругаюсь я тебе своей головою и честью Верховского, который не раз мне обещал свое ходатайство. Для собственного блага, для спокойствия аварцев, для счастья твоей дочери и моего блаженства умоляю тебя: склонись к примирению, и все будет забыто, все прежнее возвращено тебе!

— Как смело ручаешься ты, доверчивый юноша, за чужую пощаду, за чужую жизнь!.. Уверен ли ты в своей собственной жизни, в собственной свободе?

— Кому нужна моя бедная жизнь! Кому дорога воля, которой не ценю я сам?

— Кому? Дитя, дитя! Неужели ты думаешь, что у шамхала не вертится под головою подушка, когда в голову забирается дума, что ты, настоящий наследник шамхальства тарковского, в милости у русского правительства?

— Я никогда не надеялся на его приязнь и никогда не побоюсь его вражды...

— Не бойся, но и не презирай ее. Знаешь ли, что голец, посланный к Ермолову, минутою опоздал приехать упросить его: не давать пощады, казнить тебя, как изменника! Он и прежде готов бывал убить тебя поцелуем, если б мог, а теперь, когда ты отослал к нему слепую дочь его, — он не скрывает к тебе своей ненависти...

— Кто посмеет тронуть меня под защитой Верховского!

— Послушай, Аммалат, я скажу тебе побасенку: баран ушел на поварню от волков — и радовался своему счастью и хвалился ласками приспешников. Через три дни он был в котле. Аммалат, это твоя история! Пора открыть тебе глаза. Человек, которого считал ты своим первым другом, — первый предал тебя. Ты окружен, опутан изменою. Главное желание мое свидеться с тобою было долгом предупредить тебя. Святая Селтанету, мне дали от шамхала почувствовать, что через него я вернее могу примирить-

ся с русскими, нежели через безвластного Аммалата, что тебя скоро удалят так или сяк, безвозвратно, следовательно, нечего бояться твоего совместничества. Я подозревал еще более и узнал более, чем подозревал. Сегодня перехватил я шамхальского нукера, которому поручены были переговоры с Верховским, и пыткой выведаль от него, что шамхал дает пять тысяч червонцев, чтобы известить тебя... Верховский колеблется и хочет послать только в Сибирь навечно. Дело еще не решено, но завтра отряд идет по домам, и они согласились съехаться в твоём доме, в Буйнаках, торговаться о крови или кровавом поте твоём: будут составлять ложные доносы и обвинения, будут отравлять тебя за твоим же хлебом и ковать в чугунные цепи, суля золотые горы!

Жалко было видеть Аммалата во время этой ужасной речи. Каждое слово, как раскаленное железо, вторгалось в сердце его. Все, что доселе таилось в нём утешительного, благородного, высокого, — вспыхнуло вдруг и превратилось в пепел. Все, во что он веровал так охотно и так долго, рушилось, распалось в пожаре негодования. Несколько раз порывался он говорить, но слова умирали в каком-то болезненном стоне... и наконец дикий зверь, которого укротил Верховский, которого держал в усыплении Аммалат, — сорвался с цепи: поток проклятий и угроз пролился из уст разъяренного бека.

— Мечь, мечь! — восклицал он, — неумолимая мечь — и горе лицемерам!

— Вот первое достойное тебя слово, — сказал хан, скрывая радость удачи. — Довольно ползал ты змеем, подставляя голову под пята русских; пора взвиться орлом под облака, чтобы сверху блюсти врага, недосыгаем его стрелами. Отражай измену изменою, смерть смертью!

— Так смерть и гибель шамхалу — хищнику моей свободы; гибель Абдул-Мусселиму, который дерзнул простереть руку на мое сокровище!

— Шамхал? сын его? семья его? — стоят ли они первых подвигов! Их всех мало любят тарковцы, и, если мы пойдем на шамхала войною, нам все его семейство выдадут в руки. Нет, Аммалат, ты должен сперва нанести удар подле себя: сверзить своего главного врага; ты должен убить Верховского.

— Верховского! — произнес Аммалат, отступая. — ...Да, он враг мой, но он был моим другом, он избавил меня от позорной смерти!

— И вновь продал на позорную жизнь!.. Хорош друг! Притом же ты сам избавил его от кабаньих клыков, — достойной смерти свиноеду. Первый долг заплачен; остается отплатить за второй: за участь, которую он готовит тебе так коварно...

— Чувствую... это должно... но что скажут добрые люди? что будет вопить совесть моя?

— Мужу ли трепетать перед бабьими сказками и плаксивым ребенком — совестью, когда идет дело о чести и мести! Я вижу, Аммалат, что без меня ты ни на что не решишься, — не решишься даже жениться на Селтанете. Слушай: если ты хочешь быть достойным зятем моим — первое условие: смерть Верховского. Его голова будет калым за невесту, которую ты любишь, которая любит тебя. Не одна мечь, но и сама здравая расчетливость требует смерти полковника. Без него весь Дагестан останется без головы и оцепенеет на несколько дней от ужаса. В это время налетим мы на рассеявшихся по квартирам русских. Я сажусь на коня с двадцатью тысячами аварцев и акушинцев — и мы падем с горы на Тарки, словно снежная туча. Тогда Аммалат — шамхал дагестанский — обнимет меня, как друга, как тестя. Вот мои замыслы — вот судьба твоя! Выбирай любое: или вечную ссылку, или смелый удар, который сулит тебе силу — и счастье. Думай, решайся — но знай, что в следующий раз мы встретимся или родными, или врагами непримиримыми!

Хан исчез.

Долго стоял Аммалат, обуреваемый, пожираемый новыми, ужасными чувствами. Наконец Самит напомнил ему, что время возвратиться в лагерь. Не зная сам, как и где, взобрался он вслед за своим таинственным провожатым на берег, нашел коня — и, не отвечая ни слова на тысячу вопросов Сафир-Али, примчался в свою палатку. Там все муки душевного ада ожидали его. Тяжка первая ночь бедствия, но еще ужаснее первая ночь кровавых дум злодейства.

ГЛАВА X

— Замолчишь ли ты, змееныш! — говорила татарка старуха внуку своему, который, проснувшись перед светом, плакал от безделья. — Умолкни, говорю, или я выгоню тебя на улицу.

Старуха эта была мамка Аммалата. Сакля, в которой жила она, стояла вблизи палат бекских и подарена ей была ее воспитанником. Она состояла из двух чистенько выбеленных комнаток. Пол в обеих устлан циновками (гасиль); в частых нишах без окон стояли сундуки, обитые жостью, и на них наложены перины, одеяла и вся рухлядь. По карнизам, на половине высоты стены, расставлены были фаянсовые чашки для плову, с жестяными на них, в виде шлемов, колпаками, и повешены ребром на проволоке тарелочки, в коих просверленные скважины доказывали, что они служат не для употребления, а для красоты. Лицо старухи покрыто было морщинами и выражало какую-то злую досаду — обыкновенное следствие одинокой, безрадостной жизни всех мусульманок. Как достойная представительница своих ровесниц и землячек она ни на одну минуту не переставала ворчать про себя и вслух бранить внука из-под стеганого своего одеяла.

— *Кесь (молчи)!* — вскричала наконец она еще сердитее, — *кесь!* или я отдам тебя *гоулям (чертям)!* Слышишь, как они царапаются по кровле и стучатся за тобой в двери!

Ночь была ненастна, и крупный дождь по плоской кровле, составляющей вместе потолок, и стон ветра в трубе вторили ее хриплому голосу. Мальчик притих и, выпуча глаза, со страхом прислушивался... В самом деле послышалось, будто кто-то стучит в двери. Старуха перепугалась в свою очередь. Всегдашняя ее собеседница, лохматая собака, подняла спросоньев морду и залаяла прежалобным голосом.

Но между тем удары в дверь усилились, и незнакомый голос проревел за нею:

— *Ачь капины, ахырын ахырыси (отвори дверь, на конец концов)!*

Старуха побледнела.

— *Аллах бисмаллах!* — произнесла она, то обращаясь к небу, то грозя собаке, то унимая плачущего ребенка... — *Цыц, проклятая! молчи, говорю я тебе, харамзада (бездельник, сын позора)!* Кто там? Какой добрый человек пойдет, ни свет ни заря, в дом к бедной старухе! Если ты шайтан, ступай к соседке Кичкине — ей давно пора в ад показать дорогу! Если *чоуш (десятник)*, — что, правду сказать, немножко похуже шайтана, так убирайся прочь. Зятя нет дома, он в нукерах при Аммалат-беке, да меня же бек давным-давно освободил от постоя, а на угошенье

приезжих дармоедов не жди от меня ни яйца, не то чтобы утенка. Разве я даром выкормила грудью Аммалата...

— Да отворишь ли ты, чертово веретено,— с нетерпением вскричал голос,— или я из этой двери не оставляю тебе на гроб дощечки!

Хилые затворы затрещали на петлях своих.

— Милости просим, милости просим! — сказала старуха, дрожащей рукой отстегивая закладку. Дверь распахнулась, и вошел человек среднего роста, прекрасной, но угрюмой наружности. Он был в черкесском платье; с башлыка его и белой бурки струилась вода; он без всяких обвиняков сбросил ее на перину и начал развязывать лопасти башлыка, которые закрывали ему лицо до половины. Фатьма, вздув в это время свечу, стояла перед ним со страхом и трепетом; усастая собака, прижав хвостик, съежилась в углу, а мальчик с испугу залез в камелек, который для красоты никогда не был топлен.

— Ну, Фатьма, спесива стала,— сказал незнакомец,— не узнаешь ныне старых знакомцев...

Фатьма вгляделась в черты пришельца, и у ней отлегло от сердца: она узнала Султан-Ахмет-хана, который от Кяфир-Кумыка примчался в одну ночь в Буйнаки.

— Пусть песок засыплет глаза, которые не узнали своего старого господина! — произнесла она, почтительно сложив руки на груди.— Правду молвить, потухли они в слезах по своей родине, по Аварии. Прости, хан, старухе!

— Что твои за лета, Фатьма! Я тебя помню маленькою девочкою в Хунзахе, когда сам я насилу мог доставать воронят из гнезда.

— Чужая сторона хоть кого старит, хан! В родимых горах я бы до сих пор была свежа, как яблочко, а здесь так, словно снежный ком, с горы упавший на долину. Прошу сюда, хан, здесь покойнее. Да чем мне потчевать дорогого гостя, не угодно ли чего душе ханской?

— Душе ханской угодно, чтобы ты его попотчевала своей доброй волею.

— Я в твоей воле, хан. Говори, приказывай.

— Слушай, Фатьма: мне некогда терять ни слов, ни часов. Вот зачем я приехал сюда. Сослужи мне службу языком,— так будет чем потешить твои старые зубы. Я подарю тебе десять баранов и одену в шелк с головы до башмаков.

— Десять баранов и платье, шелковое платье! О милостивый ага, о добрый мой хан! Не видывала я здесь таких господ с тех пор, как увезли меня эти проклятые татары и выдали за немилого... Все готова сделать, хан,— хоть ухо режь!

— Резать незачем, надо только востро держать его. Вот в чем дело: к вам сегодня придет Аммалат с полковником, придет и шамхал тарковский. Полковник этот приколдовал к себе молодого твоего бека и, научив есть свинину, хочет окрестить его христианином, от чего да сохранит его Магомет.

Старуха оплевывалась, возводя очи к небу.

— Чтобы спасти Аммалата, надо поссорить его с полковником. Для этого ты приди к нему, кинься в ноги, расплачься, как на похоронах,— ведь слез тебе не занимать ходить к соседкам; разбожись, как дербентский лавочник, вспомня, что каждую клятву твою повезет дюжий баран,— и, наконец, скажи ему, что ты подслушала разговор полковника с шамхалом. Что шамхал жаловался за отсылку дочери, что он ненавидит его из боязни, чтобы он не завладел шамхальством; что он умолял полковника позволить убить его из засады или отравить в кушанье,— а тот соглашался только заслать его в Сибирь, за тридцать гор. Одним словом, выдумай и распиши все покраснее. Ты искони славилась сказками; не съешь же теперь грязи и пуще всего упирай на то, что полковник, едуци в отпуск, возьмет его с собою в Георгиевск, чтобы разлучить с родными и преданными нукерами и оттоле скованного отправить к черту.

Султан-Ахмет прибавил к сему все нужные подробности для придания этой сказке самой правдоподобной наружности и раза два учил старуху, как ловче ввернуть их в речь.

— Ну, помни же все хорошенько, Фатьма,— сказал он, надевая бурку.— Не забудь и того, с кем имеешь дело.

— Валла, билла! пусть будет мне пепел вместо соли, пусть нищенский чурек закроет мне глаза, пусть...

— Не корми шайтанов своими клятвами, а послужи мне речами. Я знаю, что Аммалат верит тебе крепко, и если ты для пользы же его хорошо сладишь дело,— он уедет ко мне и тебя привезет туда же. Заживешь под моим крылышком припеваючи. Но повторяю тебе: если ты нечаянно или нарочно изменишь мне или помешаешь своею

болтовнею, то я из твоего старого мяса напеку шайтанам кебаба¹.

— Будь покоен, хан... им нечего делать ни за меня, ни со мною. Я буду хранить тайну, как могила, а на Аммалата надену сорочку свою².

— Ну, то-то же, старуха. Вот тебе золотая печать на губы — постарайся!

— Башуста, гёз-уста!³ — вскричала старуха, с жадностью схватив червонец и целуя руки хана за этот подарок. Султан-Ахмет-хан с презрением взглянул на это ползающее существо, выходя из сакли.

— Гадина, — проворчал он, — за барана, за кусок парчи готова бы ты продать и тело дочери, и душу сына, и счастье воспитанника!

Он не подумал, какое имя заслуживал он сам, опутывая друга коварством и нанимая для низкой клеветы, для злодейских намерений подобных существ!

Отрывок из письма полковника Верховского
к его невесте
Лагерь близ селения Кяфир-Кумык

Август

...Аммалат любит, но как любит!! Никогда и в самом пылу моей юности не доходила любовь моя до такого исступления. Я горел, как кадило, зажженное лучом солнца; он пышет, как запаленный молнией корабль на бурном море. С тобою, Мария, мы не раз читали Шекспирова «Отелло», и только неистовый Отелло может дать идею о тропической страсти Аммалата. Он часто и долго любит говорить о своей Селтанете... и я сам люблю внимать его огнедышащему красноречию. Порой — это мутный водопад, извергнутый глубокою пещерою; порой — это пламенный ключ нефти бакинской. Какие звезды сыплют тогда его очи, какой зарницею играют щеки, как он прекрасен бывает тогда! В нем нет ничего идеального, но зато земное величаво, пленительно. Увлеченный, тронутый сам, я принимаю на грудь свою изнемогшего от восторга юношу, и он долго, медленными вздохами дышит и потом,

¹ Кусочки жареного мяса на вертеле (шашлык).

² То есть передаст ему свои чувства: татарское выражение.

³ Охотно, позвольте! Слово в слово значит: на мою голову, на мои очи!

склонив очи, опустив голову, будто стыдясь глядеть на свет, не только на меня, сжимает мне руку и неверною стопою уходит прочь... — и после того целый день не выманишь от него слова.

Со времени возврата своего из Хунзаха он стал еще мрачнее прежнего, особенно в последние дни. Он так старательно кроет самое высокое, самое благородное чувство, сближающее человека с божеством, как будто бы оно позорная слабость или ужасное преступление. Он убедительно просился съездить еще раз в Хунзах повздыхать на свою красавицу — и я отказал ему, отказал для его же пользы. Я уже давно писал к Алексею Петровичу о моем баловне, и он велел привезти его с собой на воды, где будет сам. Он хочет дать ему поручения к Султан-Ахметхану, которые принесут несомненные выгоды и России и Аммалату... О, как счастлив буду я его счастьем... Мне, мне будет обязан он блаженством жизни, не только пустою жизнью. Я заставляю его стать перед тобой на колени и скажу: *боготвори ее!* Если бы сердце мое не было проникнуто любовью к Марии, ты не овладел бы Селтанетой.

Вчера я получил я летучку от главнокомандующего: великодушный человек! Он дает крылья счастливым вестям. Все конечно, милая, бесценная. Я еду к тебе на воды! Только доведу полк до Дербента — и в седло. Не буду знать устали днем, ни дремы ночью, покуда не отдохну в твоих объятиях. О, кто мне даст крылья на перелет! кто даст сил вынести мое, *наше* благополучие!.. Я в сладком страхе сжимал грудь, чтобы не выпорхнуло сердце. Долго не мог я уснуть: воображение рисовало мне встречу в тысяче видах, и в промежутках мелькали самые вздорные, но приятные заботы о свадебных безделках, подарках, урожаях: ты будешь в моем любимом зеленом цвете... не правда ли, душа моя?.. Мечты мешали мне заснуть, как сильное благоухание роз. Зато тем сладостнее, тем светлее был сон мой. Я видел тебя в сиянии зари... и раз за разом иначе, и каждый раз прелестнее, чем сперва. Сновидения вились цветочною вязью... или нет, между ними не было никакой связи; то были чудные образы, выпадающие в калейдоскопе, столь же пестрые, столь же неуловимые. Со всем тем я проснулся сегодня грустен; пробуждение отняло у младенческой души моей любимую игрушку. Я зашел в палатку к Аммалату... он еще спал... лицо его было бледно и сердито... Пускай сердится на меня... я пред-

вкушаю уже благодарность бурного юноши. Я, как судьба, втайне создаю ему наслаждение...

Сегодня я прощался с здешними горами, надолго... желал бы навсегда. Я очень рад, что покидаю Азию, эту колыбель рода человеческого, в которой ум доселе остался в пленках. Изумительна неподвижность азиатского быта в течение стольких веков. Об Азию расшиблись все попытки улучшения и образования; она решительно принадлежит не времени, а месту. Индийский брамин, китайский мандарин, персидский бек, горский уздень неизменны, те же, что были за две тысячи лет. Печальная истина! Они изображают собою однообразную, хотя и пеструю, живую, но бездушную природу. Мечи и бичи покорителей не оставили на них, как на воде, никаких рубцов; книги и примеры миссионеров не произвели ни малейшего влияния. Иногда меняли еще они пороки, но никогда не приобретали чужих познаний или доблестей. Я покидаю землю плода, чтобы перенестись в землю труда — этого великого изобретателя всего полезного, одушевителя всего великого, этого будильника души человеческой, заснувшей здесь неугою на персях прелестницы природы. И в самом деле, как прелестна здесь природа! Вскაკав на высокую гору влево от Кяфир-Кумыка, я любовался на рассветающие вершины Кавказа. Глядел и не нагляделся на них! Что за дивная прелесть облекает их венцом своим. Еще тонкая завеса, сотканная из света и сумрака, лежит над нижними холмами, но далекие льды уже теплились в небе, и небо, словно ласковая мать, припав к ним необъятным лоном, поило их млеком облаков, заботливо повивая туманною пеленою, освежая ветром тиховойным! О, так бы летом и полетела туда душа моя, туда, где священный холод простерся границею между земным и небесным! Сердце просит и жаждет вздохнуть воздухом небожителей. Хочется побродить по снегам, на которых не печатлел человек кровавых стоп своих; коих не омрачала никогда тень орла, до коих не долетали перуны и на вечно юном темени которых время — след вечности — не оставило следов своих!

Время? Мне пришла в голову странная мысль. Сколько drobных названий изобрел щепетильный человек для деления бесконечно малого отрезка времени от бесконечно великого круга вечности. Годы, месяцы, дни, часы, минуты... У бога нет ничего этого, нет даже ни вчера, ни завтра, — у него все это слилось в одно вечное *ныне!*.. Увидим

ли мы когда-нибудь этот океан, в котором тонем доселе? Но вопрос: к чему послужит это человеку? Неужели для удовлетворения пустого любопытства? Нет, познания истины, то есть всеразумной благодати жаждет душа человека мыслящего. Она хочет полною чашею черпать из источника света, который падает на нее изредка мелкими росинками!..

И я буду черпать ее... тайный страх смерти тает, как снег, перед лучом такой надежды!.. Я буду черпать из него... чистая любовь моя к ближнему тому залогом; свинцовые путы заблуждений распадутся от немногих слез раскаяния — и повергну сердце свое, как жертву очистительную, перед судом, для меня не страшным!

Чудная вещь, моя милая! Едва взгляну я на горы, на море, на небо... какое-то грустное и вместе невыразимо сладостное чувство гнетет и расширяет сердце. Мысль о тебе сливается с ним, и, будто во сне, убегает от меня твой образ. Предвкушение ли это земного блаженства, которое знал я лишь по имени, или предчувствие... веч...?

О бесценная, добрая, ангельская душа!.. Один взор твой — и я исцелен от мечтательности! Как счастлив я, что могу теперь с уверенностью сказать: до свиданья.

ГЛАВА XI

Яд клеветы пожигал внутренность Аммалата. По наущению хана кормилица его Фатьма со всеми признаками преданности и бескорыстной искренности передала ему условленную заранее сказку в тот же самый вечер, как он с Верховским приехал в Буйнаки, где встретил их шамхал из учтивости и уважения к полковнику. Отравленная стрела вонзилась глубоко... Теперь сомнение было бы отрадою Аммалату, но убеждение, казалось, озарило все прежние дружественные и родственные связи его светом ярким, хотя погребальным. В порыве ярости он хотел в ту же минуту утолить месть свою в крови обоих изменников — но уважение к святыне гостеприимства преодолело кровожадность. Он отложил на время убийство... Но мог ли забыть о нем? Каждый миг отсрочки, как разожженная медь, капал на его сердце. Воспоминания, доказательства, ревность, любовь вырывали оное друг у друга... и это положение было для него так ново, так странно, так страшно, что он впадал в безумие, тем более тяжкое, что он дол-

жен был скрывать внутреннюю борьбу от своего прежнего друга. Так протекли целые сутки. Отряд остановился лагерем близ селения Бугдень, в котором ворота, построенные в ущелии, служащем дорогою в Акушу, замыкают онаю по произволу жителей бугденских. Вот что писал Аммалат, желая хотя чем-нибудь облегчить тоску души, готовящейся на черное злодеяние...

Полночь

...Зачем бросил ты, Султан-Ахмет-хан, молнию в грудь мою? Братская дружба и — братопредательство, братоубийство... Какие ужасные крайности! И между ними только один шаг, одно мгновение!..

Я не могу спать, не могу думать о другом, я прикован к этой мысли, как преступник к колоде своей. Кровавое море ходит, плещет, бушует кругом меня, и над ним сверкают только молнии вместо звезд... Душа моя подобна теперь голой скале, на которую слетаются одни хищные птицы и злые духи делить добычу или готовить гибель. Верховский, Верховский! что сделал я тебе? За что хочешь ты сорвать с неба звезду моей свободы? Не за то ль, что я так нежно любил тебя!! И почему ты подкрадываешься, как вор, клеветешь, коварствуешь, лицемеришь? Сказал бы просто: «мне нужна жизнь твоя», и я бы отдал ее безропотно... лег жертвою, как сын Ибрагима (Авраама); я бы простил тебя, если б ты посягал только на жизнь мою, но продать мою свободу, похитить у меня, заживо погребенного, Селтанету! Злодей! и ты еще дышишь!..

Но повременно, как опаленный голубь среди пожарного дыма, является мне образ твой, Селтанета!.. Отчего же я не радостен, мечтая о тебе, как, бывало, прежде?.. Нас хотят разлучить, милая, отдать тебя другому, женить меня на могильной плите... но я пройду до тебя по кровавому ковру... я исполню страшный завет, чтобы овладеть тобою. Не одних подруг зови на свадебный пир наш — зови коршунов и воронов... всех угощу я досыта! Я заплачу богатое *вено* (калым)... В изголовье невесты положу я сердце, которое недавно еще ценил я дороже тронной подушки персидского падишаха¹.

...Чудная судьба!.. Невинная девушка, ты будешь виновною неслыханного злодейства. Добрейшее создание — за

¹ Подушка сня, унизанная дорогими камнями и жемчугом, не имеет цены.

тебя друзья станут терзать друг друга с зверскою люто-
стью. Для тебя?.. за тебя?.. В самом ли деле, за одну
тебя?.. С лютостью? с одной ли лютостью? Верховский
говорил, что убить неприятеля украдкою, врасплох —
подло, низко... но если я не могу иначе сделать этого?..
Но можно ли ему верить? Хитрец хотел заранее опутать
не только руку, но даже и совесть мою!.. Напрасно!..

...Я зарядил теперь винтовку мою... Какой славный
витой ствол... что за чудесная насечка! Она досталась
мне от отца, отцу от прадеда. Мне рассказывали про мно-
жество знаменитых из нее выстрелов... и ни один, ни один
не был пущен украдкою... всегда в бою, всегда в глазах
целого войска бросала она смерть... а теперь?.. Но обида,
но измена, но ты, Селтанета!.. О, рука моя не дрогнет
нанести удар тому, которого имя написать она трепещет.
Один заряд, один удар, и все кончено!

Заряд?.. Как он легок... но как тяжело, может быть,
станет каждое зернышко пороху на весах Аллы!.. Как да-
леко, как невообразимо далеко забросит этот заряд душу
человека!.. О, да будет проклят тот, кто изобрел тебя,
серая пыль, предающая героя во власть последнего тру-
са,— поражающая издали врага, который бы одним взором
обезоружил поднятую на него руку! Так, этот удар рас-
торгнет все прежние связи мои, но он проложит мне дорогу
к новым. В прохладе Кавказа, на груди Селтанеты осве-
жится вновь мое увялое сердце. Как ласточка, я совою себе
гнездо на чужбине; как для ласточки, весна будет моим
отечеством; я сброшу с себя все печали, как старые перья...

...Но линяют ли угрызения совести?.. Последний лез-
гин, завидя в бою того, с кем делил хлеб-соль, отворачи-
вает коня в сторону и стреляет мимо,— а я пронжу сердце,
на котором отдыхал, как брат родной! Конечно, он обма-
нывал меня своей дружбою, но разве оттого менее был
я счастлив? О, если бы этими слезами я мог выплакать
гнев свой, залить ими жажду мщения, купить на них
Селтанету!!

Что же медлит заря! Пускай выходит она... Я, не
краснея, взгляну на солнце, не бледнея, в очи Верховско-
му. Сердце мое закалено против сострадания... измена зо-
вет измену... Я решился... Скорей, скорей!..

Так беспорядочно, бессвязно писал Аммалат, чтобы
обмануть время и развлечь душу; так старался он обма-

нуть самого себя, подстрекая себя местию, когда истинная вина его кровожадности, то есть желание владеть Селтанетою, пробивалась в каждом слове. Чтобы придать себе дерзости на злодеяние, он выпил много вина и, опьянелый, с ружьем кинулся к палатке полковника. Но, увидя часовых у входа, раздумал. Врожденное в азиатце чувство самохранения не погасло и в самом безумии. Аммалат отложил до утра совершение убийства — но спать не мог он, но разгулять тоски своей не мог он... и, войдя снова в палатку свою, он схватил за грудь крепко спящего Сафир-Али и сильно потряс его.

— Вставай, соня! — вскричал он ему. — Уже заря!

Сафир-Али приподнялся с недовольным видом и, зевая, отвечал:

— Я вижу только винное зарево на твоих щеках. Спокойной ночи, Аммалат!

— Вставай, говорю я тебе! Мертвые должны покинуть гробы навстречу нового пришельца, которого обещал я им для беседы!

— Помилуй, братец, разве я мертвый?.. Пускай себе встают хоть сорок имамов¹ с дербентского кладбища — а я хочу спать!

— Но ты любишь пить, гяур, и ты должен пить со мною!

— Это иное дело... наливай полнее... *Алла верды!*² Я всегда готов пить и любить!

— И врага убить!.. Ну, еще... за здоровье черта, который друзей оборачивает смертельными врагами.

— Так и быть... катай за здоровье черта — бедняжке нужно здоровье; мы вгоним его в чахотку с досады, что не удастся нас поссорить!

— Правда, правда... люди не нуждаются в нем для злобы... С Верховским и со мной он бросил бы карты... Но и ты не останешь, надеюсь, от меня?..

— Аммалат, я не только вино из одной бутылки, да и молоко сосал из одной груди с тобою. Я твой — если даже тебе вздумается, словно коршуну, свить себе гнездо на скале Хунзаха... Впрочем, мой бы совет...

— Никаких советов, Сафир-Али... никаких возражений... Теперь уже не время...

¹ Мусульмане верят, что в часовне на северном кладбище Дербента положены сорок первых правоверных, замученных язычниками; русские суеверы подозревают, что тут схоронены сорок мучежков.

² Бог дал, то есть на здоровье. Приглашая пить, говорят,

— И в самом деле, они перетонут, как мухи в вине; теперь пора спать...

— Спать, говоришь ты? Мне спать! Нет, я сказал прости сну... мне пора пробудиться. Осмотрел ли ты ружье, Сафир-Али? Хорош ли кремень? Не отсырел ли от крови порох на полке?..

— Что с тобою, Аммалат? Что у тебя за свинцовая тайна на сердце? Лицо твое страшно, речи еще страшнее...

— А дела будут еще ужаснее! Не правда ли, Сафир-Али, моя Селтанета прекрасна! Заметь это: моя Селтанета... Неужели это свадебные песни, Сафир-Али?.. Да, да, да, понимаю... это чакалы просят добычи!.. Духи и звери, погодите немного, я насыщу вас. Гей! подайте вина, еще вина, еще крови... говорю я вам!

Аммалат упал в беспамятстве опьянения на постелю; пена била клубом с его уст, судорожные движения волновали все тело; он произносил со стоном невнятные слова.

Сафир-Али заботливо раздел его, уложил, укутал и просидел остаток ночи над молочным братом своим, напрасно приискивая в уме разрешения загадочным для него речам и поведению Аммалата.

ГЛАВА XII

Поутру, перед выступлением, дежурный по отряду капитан пришел к полковнику Верховскому с рапортом и за новыми приказаниями. После обычного размена слов по службе он со встревоженным видом сказал:

— Полковник, я обязан сообщить вам важную вещь. Вчерашний вестовой ваш, рядовой моей роты, Хамитов, подслушал разговор Аммалат-бека с его кормилицею в Буйнаках. Он казанский татарин и порядочно понимает здешнее наречие. Сколько мог он разобрать и расслушать, старуха уверяла его, что вы с шамхалом собираетесь отправить его на каторгу. Аммалат бесился, бранился, говорил, что все это знает он от хана Аварского, и клялся погубить вас своею рукою. Не доверяя, однако ж, своему слуху, вестовой не решился ничего объявить, а стал приглядывать за всеми его шагами. Вчерась ввечеру, говорит он, Аммалат разговаривал с каким-то издали приехавшим всадником... на прощанье сказал он: «скажи хану, что

завтра, чуть встанет солнце,— все будет кончено. Пусть готовится он сам, я с ним скоро увижусь!»

— И только, г-н капитан? — спросил Верховский.

— Более ничего не имею я сказать, но очень многое думать. Я измыкал свой век между татарами и удостоверился, полковник, что безрассудно доверяться самому лучшему из них. Родной брат не безопасен, отдыхая на руке брата.

— Тому вина зависть, капитан; Каин передал ее в вечное и потомственное владение всем людям, но преимущественно соседям Арарата. Нам же с Аммалатом нечего делить; притом же я ничего не сделал ему, кроме добра, ничего не хочу делать, кроме благодеяний. Будьте покойны, капитан: я очень верю усердию вестового, но мало его знанию татарского языка. Несколько сходных звуков ввели его в заблуждение — а уж раз создал в уме умысел, все прочее казалось ему доказательствами. Право, я не такой важный человек, чтобы ханы и беки делали заговоры на жизнь мою. Я очень хорошо знаю Аммалата; он вспыльчив, но доброго сердца и не смог бы двух часов потаить злодейского умысла.

— Не ошибитесь, полковник! Аммалат все-таки азиат, а это слово аттестат. Здесь не как у нас. Здесь слово скрывает мысль, а лицо — душу. На иного взглянешь — ну, кажется, сама невинность, а попытайся иметь с ним дело: это бездна подлости, коварства и лютой.

— Вы имеете полное право так думать, любезный капитан, по опыту. Султан-Ахмет-хан дал вам памятную поминку в Буйнаках, в доме Аммалата. Но я, я не имею никакого повода подозревать в чем-либо ужасном Аммалата. Да и какую выгоду найдет он убить меня? Во мне все его блага, все надежды. Он сумасброд, но не сумасшедший... притом же, как видите, солнце высоко, а я жив и здоров. Сердечно благодарю вас, капитан, за участие... но прошу вас: не сомневайтесь в Аммалате и, видя, как ценю я старую дружбу, будьте уверены, что я буду высоко ценить и новую. Прикажите бить подъем!

Капитан вышел, сомнительно качая головою. Барабаны загремели, и выстроенный в боевой порядок отряд двинулся с ночлега далее. Утро было свежо и ясно; путь вился по зеленым валам предгорий кавказских, где инде увенчанных лесом или кустарником. Строй был подобен стальному потоку, то катящемуся с гор, то востекающему на холмы. Туманы еще лежали в удолиях, и Верховский,

въезжая на вершины, каждый раз оглядывался, чтобы полюбоваться чудною игрою зрения. Спускаясь с крутизны, строй точно будто тонул в дымной реке, подобно войску фараона, и наконец с глухим шумом вновь сверкали штыки из волн тумана, потом являлись головы, плечи; люди росли, вырастали, взбегали на высь и снова окунывались в туманы другого ущелия.

Аммалат ехал бледен и угрюм, подле самого взвода застрельщиков. Казалось, он желал, чтобы грохот барабанов заглушил в нем голос совести. Полковник подозвал его к себе и очень ласково сказал:

— Тебя надобно пожурить, Аммалат: чересчур ты начал следовать урокам Гафиза. Вспомни, что вино хороший слуга, но злой барин. Впрочем, головная боль и желчь, разлитая по твоему лицу, верно, подействуют на тебя гораздо лучше слов. Ты провел буйную ночь, Аммалат?

— Бурную, мучительную ночь, полковник! Дай бог чтобы такая ночь была последнею... Мне снились страшные сны!

— Ага, дружок! Вот какво преступать завет Магомета — правоверная совесть тебя мучила, как стена!

— Хорошо, у кого совесть спорит с одним вином.

— Какова совесть, любезный! По несчастию, она так же подвержена предрассудкам, как и сам рассудок. У каждого века, у каждого народа была своя совесть, и голос вечной, неизменной истины умолкал перед самозванкою. Так было, так есть. Что вчера считал иной грехом смертным, тому завтра молится; что считают правым и славным на этом берегу, — за речкой доводит до виселицы.

— Однако ж, я думаю, лицемерие и измена никогда и нигде не считались добродетелями!

— Не скажу и этого. Мы живем в таком веке, где лишь удача решит, хороши или нет были средства ее достигнуть; где люди самые совестные изобрели для себя очень покойное правило, что цель освящает средства.

Аммалат-бек в раздумье повторил эти слова, потому что их оправдывал. Яд эгоизма снова начинал в нем разыгрываться, и слова Верховского, которые считал он коварством, лились, как масло на пламя.

«...Лицемер, — говорил он про себя, — час твой близок!»

И между тем Верховский, как жертва, ничего не подозревающая, ехал рядом с своим палачом. Не доезжая верст осьми до Киекента, с горы открылось перед ними

Каспийское море, и думы Верховского понеслись над ним, как лебедь.

— Зеркало вечности,— произнес он, впадая в мечтания...— Отчего не радуется сегодня меня лицо твое? Как прежде играет на тебе солнце, словно божья улыбка, и лоно твое так же величаво дышит вечною жизнью,— но это жизнь не здешнего мира,— ты кажешься мне сегодня печальною степью... ни лодки, ни корабельного паруса, никакого признака бытия человеческого... Все пусто!! Да; Аммалат,— примолвил он,— мне наскучило ваше почти всегда сердитое, пустое море; ваш край, населенный болезнями и людьми, которые хуже всех болезней в свете... мне наскучила самая война с незримыми врагами, самая служба с недружными товарищами. Этого мало, что мне мешали в деле, портили, что я приказывал делать... но порочили то, что я думал делать, и клеветали на сделанное. Верой и правдой служил я государю, бескорыстно отечеству и здешнему краю; отказался я, добровольный изгнанник, ото всех удобств жизни, ото всех радостей общества, осудил свой ум на неподвижность без книг; похоронил сердце в одиночестве, без милой... и что было мне наградою? О, скоро ль настанет минута, когда я брошусь в объятия моей невесты, когда я, усталый от службы, отдохну под сенью родной хижины на златном берегу Днепра!.. когда, мирный селянин и нежный отец семейства, в кругу родных и добрых крестьян моих, буду бояться только града небесного за жатву, сражаться только с дикими зверями за стадо. Сердце ноет по этом часу! Отпуск у меня в кармане, отставка обещана... так бы летом летел к невесте... И через пять дней я непременно буду в Георгиевске, а все кажется, будто пески Ливии, будто ледяное море, будто целая вечность могилы разлучают нас!..

Верховский умолк; по щекам его катились слезы; конь его, почуяв брошенные поводья, ускорил ход, и таким образом, вдвоем с Аммалатом, они далеко опередили отряд... Казалось, сама судьба предавала полковника в руки злодея.

Но жалость проникла в душу неистового, вином пылающего Аммалата, подобно лучу солнечному, упавшему в разбойничью пещеру. Он увидел тоску и слезы человека, которого столь долго считал другом своим,— и поколебался... «Нет,— думал он сам в себе,— до такой степени невозможно притворяться...»

В эту минуту Верховский очнулся, поднял голову и сказал Аммалату:

— Приготовься... ты едешь со мною!

Несчастливые слова! Все доброе, все благородное, возникшее вновь в груди азиатца, в один миг было подавлено ими. Мысль о предательстве, о ссылке огненным потоком протекла по всему его существу.

— С вами? — возразил он с злобною усмешкою, — с вами в Россию? О, без сомнения, если вы сами поедете!

И в порыве гнева он пустил вскачь коня своего, чтобы иметь время справиться с оружием, и вдруг обратился навстречу полковнику, пронесся мимо и стал давать быстрые круги около. С каждым скоком сильнее разгоралось в нем пламя бешенства. Ему казалось, что свистящий мимо ушей воздух жужжал ему: убей, убей! это враг твой! вспомни Селтанету... Он схватил из-за плеча меткое ружье свое, взвел курок и, ободряя себя криком, поскакал с кровожадною решительностью к обреченной жертве.

Между тем Верховский, не питая ни малейшего подозрения, спокойно смотрел на скачку Аммалата, воображая, что он, по напутному обычаю азиатцев, хочет поджигивать.

— Стреляй в цель, Аммалат-бек! — закричал он несущемуся на него убийце.

— Какая цель лучше груди врага! — отвечал Аммалат-бек, наскакивая, и в десяти шагах спустил курок... выстрел грянул... и молча, медленно свалился полковник с седла. Испуганный конь его, вздув ноздри, ошетинив гриву, обнюхивал всадника, в руке которого замерли доселе повелительные поводья, — а конь Аммалата стал вдруг перед телом, упершись передними ногами. Аммалат соскочил с него и, опершись на дымящееся ружье, несколько мгновений пристально смотрел на лицо убитого, как будто желая доказать самому себе, что он не страшится этого неподвижного взора потухающих очей, этой холодеющей крови!.. Трудно было узнать, невозможно передать того, что крутилось вихрем в груди его. Сафир-Али прискакал стремглав и кинулся на колени подле полковника... Приложил ухо к устам его — не дышит! ощупал сердце — не бьется!

— Он мертв! — произнес Сафир-Али отчаянным голосом.

— Мертв? Совсем мертв? Тем лучше... мое счастье свершено! — произнес Аммалат, будто пробуждаясь от сна.

— Для тебя счастье! для тебя, братоубийцы!.. Если ты найдешь его, свет станет молиться шайтану вместо Аллы!

— Сафир-Али, вспомни, что ты не судья мне! — грозно сказал Аммалат, ступая в стремя. — Следуй за мною!

— Пускай одно раскаяние преследует тебя как тень, — отныне я не товарищ твой!

Пронзенный до глубины души неожиданным укором от человека, с которым связан был дружеством от младенчества, — Аммалат не вымолвил слова, указал своим изумленным нукерам на ущелие и, видя погоню, как стрела, ринулся в горы.

Тревога распространилась по фронту; передовые офицеры и донские казаки кинулись на выстрел, но они поздно прискакали туда; они не могли ни воспрепятствовать злодейству, ни достичь убегающего злодея. Через пять минут окровавленный труп изменнически убитого полковника окружен был толпами солдат и офицеров... Недоумение, негодование, жадость были написаны на всех лицах. Гренадеры, опершись на штыки, плакали навзрыд; и нелестные слезы текли у них градом по храбром, любимом начальнике.

ГЛАВА XIII

Трое сутки скитался Аммалат по горам Дагестана. Как мусульманин, он и в деревнях, покорных русскому владычеству, между людьми, для коих воровство, разбой и бегство — доблесть, безопасен был от всякого преследования; но мог ли уйти от сознания в собственном преступлении? Ни ум, ни сердце его не оправдывали кровавого поступка... и образ падающего с коня Верховского неотступно возникал даже перед закрытыми глазами. Это еще более ожесточало, раздражало его. Азиатец, совратясь однажды с пути, быстро пробегает поприще злодейства. Завет хана, чтоб не являться перед него без головы Верховского, звенел в ушах его. Не смея открыть такого намерения нукерам своим, еще менее надеясь на их отвагу,

он решился ехать к Дербенту один-одинехонек, целиком через горы и доли.

Глухая, темная ночь раскинула уже креповые крылья свои над приморскими хребтами Кавказа, когда Аммалат переехал ущелие, лежащее сзади крепости Нарынь-Кале, служащей цитаделью Дербенту. Он поднялся к развалинам башни, замыкавшей некогда кавказскую стену, поперек гор тянущуюся, и привязал коня своего у подножия того кургана, с которого Ермолов громил Дербент, бывши еще артиллерийским поручиком. Зная, где хоронят чиновников, он прямо вышел на верхнее русское кладбище. Но как найти ему свежую могилу Верховского во тьме ночи? В небе ни звездочки; облака налегли на горы... горный ветер, как ночная птица, хлопал по лесу крыльями; невольный трепет проник Аммалата посреди края мертвецов, коих покой дерзал он нарушить. Прислушивается — море бушует, напирая и отшибаясь от подводных плит... Протяжное *слушай!* часовых обтекало стены города, и вслед за ним раздавался вой чакалов, и, наконец, все стихало, сливаясь с шумом ветра. Сколько раз вместе с Верховским бодрствовал он в подобные ночи, — и где теперь он? И кто низвергнул его в могилу? И его убийца пришел теперь обезглавить труп недавнего друга, наругаться над его останками; как вор гробокопный, пришел похитить достояние могилы, спорить с чакалами о добыче.

— Чувства человеческие! — произнес Аммалат, отирая холодный пот с чела, — зачем посещаете вы сердце, которое отверглось человечества? Прочь, прочь! Мне ль бояться отнять голову у мертвеца, у которого похитил я жизнь! Ему это не потеря, а мне сокровище... Прах бесчувственен!

Аммалат дрожащей рукой высек огня, раздул его на сухом бурьяне и пошел с ним искать новой могилы. Рыхлая земля и большой крест указали ему последнее жилище полковника. Он выдернул крест и начал разгрести им холмик; разбил еще неокрепый кирпичный свод и, наконец, сорвал крышку с гроба. Бурьян, вспыхивая, проливал неровный кровосиний блеск на предметы. Склонясь над покойником, убийца, бледнее самого покойника, глядел на труп неподвижно. Он забыл, зачем пришел туда... голова его кружилась от запаха тления... сердце в нем обратилось при виде кровоглавых червей, которые вились уже из-под платья. Прервав свою страшную работу, они, испуганные светом, расползались, сбились, прятались друг

под друга! Наконец, ожесточась, он несколько раз взмахивал кинжалом, и всякий раз немеющая рука его падала мимо. Ни месть, ни честолюбие, ни любовь, словом, ни одна страсть, подвигшая его на убийство, не ободряли теперь на безымянное неистовство. Отворотив голову, в каком-то забытьи стал он рубить Верховского по шее... на пятом ударе голова отделилась от туловища. С отвращением бросил он ее в приготовленный мешок и спешил вылезть из могилы. До сих пор он еще побеждал себя — но, когда с страшным кладом своим карабкался вверх, когда камни с шумом обрушились под его ногами, и он, осыпанный песком, снова упал на труп Верховского, присутствие духа оставило святотатца... ему казалось, что пламя охватило его, что адские духи, плеща и хохоча, звывались окрест его... С тяжким стоном вырвался, выполз он без памяти из душной могилы и бросился бежать, страшась оглянуться. Вскочив на коня, он погнал его, не разбирая утесов и оврагов, и каждый цепляющийся за платье куст казался ему рукою мертвеца, и каждый шелест ветки и стон чакала — голосом дважды зарезанного друга.

Везде, где ни проезжал Аммалат, встречал он вооруженные толпы акулшинцев и аварлы, приезжих чеченцев и тайных хищников из татарских деревень, подвластных России. Все они спешили на сборные места, ближе к границе, между тем как беки, уздени и князьки съезжались в Хунзах, для совета с Султан-Ахмет-ханом, под предводительством и по приглашению которого собирались они ударить на Тарки. Время к тому было самое благоприятное: хлеб в амбарах, сено в стогах, и русские, взяв аманатов, в совершенной безопасности расположились на зимние стоянки. Весть об убийстве Верховского разлетелась по всем горам и весьма ободрила горцев. Весело сходились они отовсюду — везде слышались их песни о будущих битвах и добычах, — а тот, за кого шли сражаться они, проезжал между ними, как беглец и преступник, скрывая лицо от солнца, не смея взглянуть никому прямо в глаза. Все, что случилось с ним, все, что видел он, теперь представлялось ему будто в удушливом сне... он не смел сомневаться в том и не мог верить. На третий день к вечеру доехал он до Хунзаха.

Трепеща от нетерпения, спрыгнул он с коня, измученного бегом, и взял из тороков роковой мешок. Передние комнаты были полны воинами. Наездники в кольчугах

расхаживали или вдоль стен лежали на коврах, шепотом разговаривая между собою... но повисшие брови их, но угрюмые лица доказывали, что в Хунзахе получены, верно, худые вести. Нукеры бегали взад и вперед торопливо, и никто не спросил, никто не проводил Аммалата, никто не обратил на него внимания. У самых дверей спальни ханской сидел Сурхай-хан-джинка, то есть побочный сын Султан-Ахмета,— и горько плакал.

— Что это значит? — с беспокойством спросил его Аммалат.— Ты, у которого и в младенчестве не добивались слез, ты плачешь?..

Сурхай безмолвно указал на двери, и Аммалат с недоумением переступил за решетчатый порог.

Сердце раздирающее зрелище представилось глазам пришельца. Посреди комнаты на тюфяке лежал хан, обезображенный быстрою болезнью. Незримая, но уже неотражимая кончина носилась над ним, и погасающий взор встречал ее с ужасом. Грудь вздымалась высоко и потом тяжело опадала; дыхание шипело в гортани, жилы рук напрягались и снова исчезали; в нем свершалось последнее борение жизни с разрушением... пружина бытия уже лопнула, но колеса еще двигались неровным ходом, задевая друг за друга. Едва искры памяти мелькали в нем, как падучие звезды сквозь ночь, густеющую над душою, и отражались на мертвеющем лице. Жена и дочь рыдали на коленях у его ложа... старший его сын Нуцал в безмолвном отчаянии стоял в ногах, склоня чело на сжатую руку. Несколько женщин и нукеров плакали тихо поодаль.

Все это, однако ж, не поразило, не образумило Аммалата, преисполненного одною мыслию. Он твердою поступью приблизился к хану и громко сказал ему:

— Здравствуй, хан, я привез тебе подарок, от которого бы оживился мертвец. Готовь свадьбу — вот мой выкуп за Селтанету! Вот голова Верховского! — С этим словом он бросил ее к ногам хана.

Знакомый голос пробудил на миг Султан-Ахмета от последнего сна; он поднялся с усилием, чтобы взглянуть на подарок, и трепет волной пробежал по его телу, когда он увидел мертвую голову.

— Пускай съест свое сердце тот, кто потчует умирающего такой ужасною яствою,— произнес он едва внятно.— Мне надо помириться с врагами, а не... Ах, горю! дайте

воды, воды... Зачем вы напоили меня горячею нефтью? Аммалат! я проклинаю тебя!..

Усилие истратило последние капли жизни в хане: он упал бездушным трупом на изголовье. Ханша с негодованием смотрела на кровавый, неуместный подарок Аммалата; но когда увидела она, что это ускорило смерть ее мужа, вся тоска ее вспыхнула огнем гнева.

— Посол ада,— вскричала она, сверкая взором.— Любуйся: вот твои подвиги! Если б не ты — муж мой не задумал бы подымать на русских Аварлу и теперь здоров и покоен сидел бы дома,— но для тебя объезжая узденей, он упал с крутизны и слег в постелю,— и ты, кровопийца, вместо того, чтоб утешить больного кроткими словами, чьбы молитвою и милостыней помирить его с Аллахом, принес, как людоеду, мертвую голову, и чью голову? — твоего благодетеля, защитника и друга!

— На то была воля хана,— уग्रюмо возразил Аммалат.

— Не клевети на мертвого, не марай его памяти лишнею кровью! — воскликнула ханша.— Недовольный тем, что изменнически зарезал ты человека,— ты с его головою приехал сватать дочь мою у смертного одра отца, и ты надеялся получить награду от людей, заслужив месть от бога? Безбожник, бездушник! Нет, гробом предков и саблями сыновей клянусь: ты никогда не будешь зятем моим, знакомцем, гостем моим. Удались из моего дома, изменник! У меня есть сыновья, которых можешь ты зарезать, обнимая, у меня есть дочь, которую можешь ты зачаровать, отравить змеиными своими взорами. Ступай скитаться в ущельях гор — учи тигров терзать друг друга и отбивай падаль у волков. Ступай — и ведай, что дверь моя не отворится для братоубийцы!

Аммалат стоял, как опаленный молниею. Все, что роптала невнятно его совесть, высказано было ему вдруг, и так неожиданно, так жестоко! Он не знал, куда девать очи свои... Там лежала голова Верховского с обвинительною кровью, там виделось укорительное чело хана с печатью мучительной кончины, там встречал он грозные очи ханши... лишь плачущие очи Селтанеты казались ему приветными звездочками сквозь дождевую тучу. К ней-то решился приблизиться он, робко произнеся:

— Селтанета! для тебя совершил я то, за что тебя теряю... Судьба хочет этого — да будет! Одно скажи мне: неужели и ты разлюбила меня? ужели и ты ненавидишь!

Знакомый, милый голос проник ее сердце. Селтанета подняла свои ресницы, блистающие слезами, свои глаза, полные тоскою... но, увидев страшное, кровью забрызганное лицо Аммалата, закрыла опять их рукою. Она указала перстом на труп отца, на голову Верховского и твердо сказала:

— Прощай, Аммалат! я жалею тебя, но не могу быть твоею.— Сказав слова сии, она пала без чувств на тело отца.

Вся природная гордость вместе с кровью прилила к сердцу Аммалата. Дух его вспыхнул негодованием.

— Так-то принимают меня здесь! — молвил он, бросая презрительный взгляд на обеих женщин.— Так-то исполняют здесь обеты! Я рад, что глаза мои прояснели. Я был слишком прост, когда ценил переходчивую любовь ветреной девушки, слишком терпелив, слушая бредни старой женщины. Вижу, что с Султан-Ахмет-ханом умерли здесь честь и гостеприимство!

Он вышел гордо. Он дерзко заглядывал в глаза узденей, сжав рукоятку кинжала, как будто вызывая их на бой. Все, однако ж, уступали ему дорогу — но, кажется, более избегая его, чем уважая; никто не приветствовал его ни словом, ни знаком. Он вышел на двор, кликнул нукеров своих, безмолвен сел в седло и тихими шагами поехал по пустым улицам Хунзаха.

С дороги в последний раз оглянулся он на ханский дом, чернеющий в высоте и мраке... между тем как решетчатые двери блистали огнями. Сердце его облилось кровью, оскорбленное самолюбие вонзило в него железные когти свои, а напрасное злодеяние и любовь, отныне презренная, безнадежная, пролили отраву на раны. С тоскою, с гневом, с сожалением бросил он прощальный взор на гарам, в котором узнал и потерял все радости земные.

— И ты, и ты, Селтанета! — более не мог произнести он. Свинцовая гора лежала на груди... совесть его уже чувствовала страшную руку, на ней тяготеющую; минувшее его ужасало... будущее приводило в трепет... Куда приклонит он свою оцененную голову? Какая земля упокоит кости изгнанника? Не о любви, не о дружбе, не о счастье отныне будет его забота... но о скудной жизни, о скитальческом хлебе... Аммалат хотел плакать: глаза его горели... и, как богач, кипящий в огне, сердце его молило об одной капле, об одной слезинке: залить, утолить

нестерпимую жажду... он силился плакать и не мог. Провидение отказало в этой отраде злодеям.

И куда скрылся убийца Верховского? Где влачил он жалкое свое бытие? Никто наверно не знал этого. По Дагестану ходили слухи, что он скитался между чеченцами и койсубулинцами, утратив красоту и здоровье и даже самую отвагу; но кто же мог сказать про то утвердительно? Мало-помалу запала и молва об Аммалате, хотя злодейская измена его до сих пор свежа на памяти русских и мусульман, обитателей Дагестана; до сих пор имя его никем не произносится без укора.

ГЛАВА XIV

Анапа, эта оружейница горских разбойников, этот базар, на котором продавались слезы, и пот, и кровь христианских невольников, этот племенник мятежей для Кавказа, Анапа, говорю, в 1828 году обложена была русскими войсками с моря и от угорья. Канонерские лодки, бомбарды и все суда, которые могли подходить близко к берегу, громили приморские укрепления. Сухопутные войска переправились через реку Рион, которая впадает в Черное море под северною стеною Анапы и расплывается кругом всего города топкими болотами. Потом повели они бревенчатые траншеи, вырубая для того окрестный лес. С каждою ночью возникали новые бойницы ближе и ближе к стенам города. Внутри дома пылали от бомб, наружные стены рушились ядрами, но турецкий гарнизон, усиленный горцами, дрался отчаянно, делал смелые вылазки и на все предложения о сдаче отвечал пушечными выстрелами. Между тем осаждающие беспрестанно беспокоиваемы были кабардинскими наездниками и пешими стрелками абазехов, шапсугов, натухайцев и других свирепых горцев Черноморья, сбежавшихся, подобно чакалам, искать добычи и крови. Против них должно было строить обратные реданты, а эта двойная работа, производимая под пушечными выстрелами с крепости и ружейными из леса, в почве неровной и болотистой, очень замедляла покорение города.

Наконец накануне взятия Анапы, на единственном сухоходе с юго-восточной стороны, русские открыли брешь-батарею. Действие ее было ужасно. По пятой очереди зубцы и бруствера были опрокинуты, орудия обнажены

и сбиты. Ядра, ударяясь в каменную одежду, вспыхивали молнией, и потом, в черной туче пыли, взлетали куски расторгнутых камней. Стена сыпалась, распадалась, но крепость, но толщина оной долго противостояли разрушительной силе чугуна, и крутым обвалом осыпанная стена не представляла еще возможности к штурму.

Для разгоревшихся орудий и долгою стрельбой утомленных артиллеристов необходим был отдых. Мало-помалу пальба стихла на всех батареях суши и моря. Густые облака дыма катились с берега и расстилались по волнам, то скрывая, то открывая опять флотилию. Изредка срывался клуб дымный с орудий крепости, и вслед за раскатами пушечного грома, отзывающегося в далеких горах, несколько пуль свистали кой-откуда... И вот все умолкло кругом, все притаилось внутри Анапы и траншей; ни одной чалмы между зубцами, ни одного граненого штыка в завалах. Только турецкие знамена по башням и русские флаги на судах гордо играли в воздухе, не омраченном ни одною струйкою дыма; только звучный голос муэззинов раздавался далеко, призывая мусульман к полудневной молитве.

В это время с пролома, против самой брешь-батареи, спустился или, лучше сказать, скатился всадник на белом коне, поддерживаемый веревками, перескочил через полузасыпанный ров и, как стрела, ударил влево между батарей, перепорхнул через завалы, через дремлющих за ними солдат, которые не ждали и не гадали ничего подобного, и, преследуемый торопливыми их выстрелами, скрылся в лесу. Никто из всадников не успел его рассмотреть, не только за ним гнаться; все только ахали от удивления и досады и скоро забыли про удальца в тревоге, поднятой пальбою с крепости, заведенной нарочно, чтобы дать время бесстрашному вестнику убраться в горы.

В вечеру брешь-батарея, гремевшая неумолчно, почти свершила свое дело разрушения: опрокинутая стена легла мостом для осаждающих, и они с нетерпением отваги готовились к приступу, как вдруг неожиданное нападение черкесов, смявших наши ведеты и цепь, не заставило обратить огонь редантов против неистовых, дерзких горцев. Громовое «Алла, гиль-Алла!» понеслось навстречу им со стен Анапы... Пушечная и ружейная пальба закипела с них вдвое сильнее, но русская картечь остановила, смешала, развеяла толпы всадников и пеших черкесов, готовых ударить на орудия в шашки, и они с грозными пере-

кликами «гяур, гяурлар!» обратились назад, покидая за собой усталых. В один миг все поле было усеяно их трупами, их ранеными, которые пытались уползти, карабкались и падали снова, пораженные пулями и картечью, между тем как ядра посекали лес, а гранаты, лопааясь в нем, довершали истребление.

Но с самого начала дела до тех пор, покуда ни одного неприятеля не осталось вблизи, русские с изумлением видели перед собою статного черкеса на белом коне, который тихим шагом проезжался взад и вперед мимо наших редантов. Все узнали в нем того самого всадника, что перескочил через траншею в полдень, вероятно, для подговора черкесов напасть на русских сзади, в то время как они хотели выпустить из ворот неудавшуюся теперь вылазку. Брызжа и урча, прыгали около него картечи. Конь его рвался на поводках, но сам он, хладнокровно поглядывая на батареи, ехал вдоль их, будто с них осыпали его цветами. Артиллеристы грызли зубы с досады, видя ненаказанную дерзость этого наездника; но выстрел за выстрелом рвали воздух и землю, но он оставался невредим, как очарованный.

— Посылай ядро! — сказал фейерверкеру молодой артиллерийский офицер, только что выпущенный из корпуса, раздосадованный всех более неудачею. — Я готов зарядить пушку своею головою — так хочется мне убить этого хвастуна. Картечью не стоит стрелять по одному... картечь — авось, ядро сыщет виноватого! — Так говоря, он подвигивал клин и наводил сквозь диоптр орудие и, верно рассчитав, в какое мгновение всадник наедет на черту прицела, встал с хобота и скомандовал роковое «пли!».

На несколько мгновений дым одел батарею мраком... его разнесло... испуганный конь мчал окровавленное тело всадника, запутавшегося ногами в стремях.

— Попал, убил! — закричали со всех траншей, и молодой артиллерист, набожно сняв фуражку, перекрестился и с веселым лицом спрыгнул с батареи, чтобы поймать заслуженную добычу. Ему скоро удалось схватить за поводья коня поверженного в прах черкеса, потому что он кружился, влача его с боку. Несчастному оторвало руку близ плеча, но он еще дышал, еще стонал и бился. Жалость взяла доброго юношу... он кликнул солдат и заботливо велел перенести раненого в траншею, послал за лекарем и при своих глазах дождался конца операции.

Ночью, когда уже все утихло, артиллерист сидел над полумертвым своим пленником, с участием рассматривая его при тусклом свете фонаря. Змеиный след тоски, проточенный на щеках слезами, глубокие морщины лба, нарезанные не летами, но страстями, и кровавые царапины обезображивали его прекрасное лицо, и на нем выразилось что-то мучительнее боли, что-то страшнее кончины.

...Артиллерист не мог удержать невольного содрогания. Пленник вздохнул тяжело и, с усилием подняв руку до лба, поднял ею свои отяжелевшие веки, произнося про себя неясные звуки, несвязные слова...

— Кровь... — сказал он, разглядывая свою руку, — все кровь!.. Зачем на меня надели эту кровавую рубашку?.. Я и без того плаваю в крови... Зачем же не тону в ней?.. Как холодна сегодня она!.. Бывало, она жгла меня... да и это не легче!! На свете было так душно... в могиле так холодно!.. страшно быть мертвецом!.. Глупец я: искал смерти... О, дайте мне воротиться на свет!.. дайте пожить, еще хоть денек, хоть часок пожить!.. Что такое? что? зачем я спрятал в могилу другого? шепчешь ты... Узнай сам, каково в ней! узнай, каково умирать!..

Судорожное движение прервало бред его; невыразимо страшный стон вырвался из груди страдальца, и он впал в томительное забытие, в котором одна душа живет еще, чтобы страдать.

Артиллерист, тронутый до глубины сердца, приподнял голову несчастного, sprыснул ему лицо холодной водою и тер спиртом виски, чтобы привести его в чувство. Медленно открыл он очи, несколько раз потряс головою, будто желая отряхнуть с ресниц туман, и пристально устремил зрачки на лицо артиллериста, бледно озаренного мерцанием свечи. И вдруг с пронзительным криком будто магическою силою приподнялся он с ложа... волосы его стали дыбом, все тело дрожало лихорадочной дрожью, руки искали что-то оттолкнуть от себя... неописанный ужас изобразился на его лице...

— Твое имя? — вскричал он наконец, обращаясь к артиллеристу. — Кто ты, пришлец из гроба?

— Я Верховский, — отвечал молодой артиллерист.

Это был выстрел прямо в сердце пленнику: лигатура на главной артерии лопнула от прилива, и кровь хлынула

сквозь перевязки... Еще несколько трепетаний, несколько хрипений — и ледяная рука смерти задушила в груди раненого последний вздох, сохранила на челе печать последней тоски, собирающей медленность целых лет раскаяния в один быстрый миг, в который душа, отрываясь от тела, чувствует равно муки жизни и ничтожества, чувствует вдруг все угрызения минувшего и все страхи будущего. Страшно было видеть обезображенное лицо этого мертвеца.

— Он, верно, был большой грешник! — тихо сказал Верховский стоявшему подле него генеральскому переводчику, содрогаясь невольно.

— Большой злодей! — примолвил переводчик. — Мне кажется, он был русский беглец. Мне не случалось слышать, чтобы какой-нибудь горец говорил так чисто по-русски, как этот пленник. Дайте-ка мне посмотреть его оружие: не найдем ли на нем каких примет?

Говоря так, он с любопытством обнажил кинжал, снятый с убитого, и, приблизив его к фонарю, разобрал и перевел следующую надпись:

«Будь медлен на обиду — к отмщенью скор!»

— Самое разбойничье правило! — сказал Верховский. — Бедный брат мой, Евстафий... ты пал жертвою подобного изуверства! — Глаза доброго юноши наполнились слезами... — Нет ли чего еще? — спросил он.

— Вот, кажется, имя убитого, — отвечал переводчик, — оно: *Аммалат-бек!*

ПРИМЕЧАНИЕ

Описанное выше происшествие не выдумка. Имена и характеры лиц сохранены в точности; автору повести остается только сказать несколько слов насчет изменения истины в некоторых подробностях.

Аммалат-бек, участвовавший в нескольких набегах на русские владения, был выдан головою приведенными в покорность акушлинцами самому главнокомандующему Кавказским корпусом генералу от инфантерии Ермолову в бытность его в Акуше, 1819-го года. Автор заставил его сделать впадение с чеченцами за Терек, чтобы вставить картину горского набега.

Полковник Верховский, находившийся тогда в качестве свитского офицера при главнокомандующем, упросил его

помиловать Аммалат-бека и взял с собою в Тифлис, учил его, воспитал его, любил его, как брата. С ним, после многих походов, приехал Аммалат в 1822 году и в Дербент, когда, по смерти полковника Швецова, Верховского назначили командиром Куринского пехотного полка. Убил он своего благодетеля в 1823 точно так, как описано. Читатель заметит, что автор, не желая растянуть повесть на четыре года, сжал происшествия в два года. Просит у хронологов извинения.

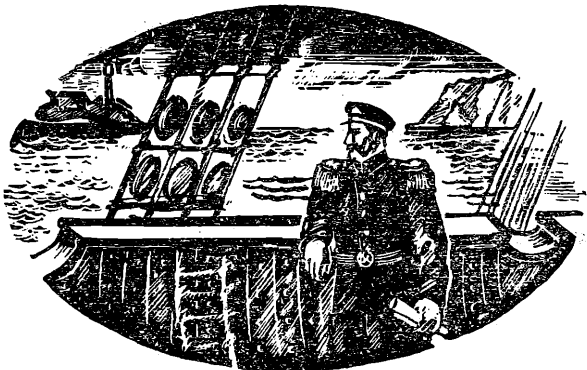
Что касается до завязки повести... она целиком досталась автору из рук молвы, и он не счел за необходимое объявлять на иные главы своего сомнения. Пылкие страсти здесь вовсе не редкость, а мщение — святыня для каждого мусульманина; это канва. Досужая рука могла вышивать на ней какие угодно арабески; исполать ей, если они сохранили восточную свежесть. Впрочем, мне многие очевидцы говорили, что они не однажды слышали, как Верховский описывал знойную страсть Аммалата к Селтанете, которая славилась в горах красотой. Да и что мудреного, что молодой бек, скитаясь по горам Аварии, влюбился в прекрасное личико дочери Аварского хана, хотя ей, по строгой моей выкладке, не могло в 1819-м году быть более 14 лет: девушки созревают на Кавказе невероятно рано. Молва повествует, что сам Аварский хан требовал от Аммалата головы Верховского вместо кабыну (вена) за дочь. Автор сохранил народное предание, но поместил и уверение мамки, истинно бывшее и наиболее убедившее бека.

Смерть Султан-Ахмет-хана случилась точно вскорости после убийства Верховского. Автор ускорил ее для большей игры страстей. Отказ, как говорят, последовал от ханши, ибо Аммалат не застал уже Султан-Ахмета в живых. Что же касается до зверского гробокопства Аммалата — и в этом не отступил автор от рассказов ни на шаг. После похорон, на другую ночь, могила полковника Швецова, за год умершего, была разрыта по ошибке... ее приняли за могилу Верховского... труп вытащили и отрубили у него голову и руку. Об этом до сих пор с негодованием вспоминают все солдаты.

Аммалат скитался долго в горах, преследуем совестью. Потом ушел в Турцию, был в Истамбуле, в 1828-м дрался в Браилове против русских; оттуда перед взятием города бежал в Анапу и там умер в том же году. Автор разго-

варивал с товарищем почти всех его странствий, одним каракайдахским беком.

В заключение сказать должно, что он был красавец собой и с счастливейшими способностями,— все анекдоты об его удалстве в стрельбе и скачке, описанные в 1-й главе, до сих пор ходят в Дагестане; одним словом, ему недоставало для счастья только твердого характера и откровенного сердца. Селтанета до сих пор прелестна собою и живучи в Бурной крепости с мужем своим Абдул-Мусселином, свела с ума не одного русского. В утешение тех, которые будут жаловаться, что автор переморил всех героев повести, он почтеннейше извещает, что Селтанета находится теперь в цветущем здравье и живет после погрома Тарков русскими войсками у матери своей в Аварии.



Фрегат „Надежда”

Повесть посвящается
Екатерине Ивановне
Бухариной

Вначале бе слово.

Княгиня Вера ** к своей родственнице в Москву



как сердита я на тетушку-Москву, что ты не со мной теперь, мой ангельчик Софья! Мне столько, столько надо рассказать тебе... а писать, право, нечего. Я так много прожила, столь многому навидалась в эту неделю!.. Я так пышно скучала, так рассеянно грустила, так неистово радовалась, — что ты бы сочла меня за отаитянку на парижском бале. И поверишь ли: я уж испытала, ma chérie¹, что удивление — прескучная вещь и что новость приторнее ананасов. Двор и свет так закружили меня, что я могу выслушать самую безвкусную нелепость не поморщась, увидеть прелестнейшую картину без улыбки. Но петергофский праздник, но сам Петергоф — о, это исключение — это

¹ моя дорогая (фр.).

жемчужина исключений!.. У меня еще до сих пор рябит в глазах и в уме, звенит в ушах от грома пушек, от кликов народа, от шума фонтанов и волн, рассыпающихся звуками о берега. Внимательно мы слушали,— жадно, бывало, поглощали мы описание петергофских чудес с тобою; но когда я увидела их наяву, они поглотили меня, я забыла все, даже тебя, мой ангельчик. Я летела в небо вместе с водометом, падала вниз пуховою пеною, расстилалась благоуханною тенью по аллеям, дышащим думою, играла солнечным лучом с яхонтовыми волнами взморья. Это был день — но что за ночь его увенчала!.. Залюбоваться надо было, как постепенно загоралась иллюминация; казалось, огненный перст чертил пышные узоры на черном покрывале ночи. Они раскидывались цветами, катились колесом, вились змеей, свивались — росли — и вот весь сад вспыхнул!.. Ты бы сказала: «солнце упало на землю и, прокатясь, рассыпалось в искры...» Пламенные вязи обняли деревья, перекинулись цветными сводами через дороги, охватили пруды звездистыми венками; фонтаны брызнули, как волканы, горы растаяли золотом. Каналы и бассейны жадно упивались отблесками, перенимали узоры, двоили их и, наконец, потекли пожаром. Ропот народа, сливаясь с шумом падающих вод и тихо зыблемых дубрав, оживлял эту величавую картину своею дивною гармоникою... то был голос волшебника, то была песня сирены. Часу в 11 ночи весь Олимп спустился на землю. Длинные колесницы понеслись по саду, и, право, блестящие дамы двора, которые унизывали их, подобно ниткам жемчужным, могли издали показаться мечтой поэта — так блестящи и воздушны были они... не исключая и меня. На мне тогда было газетовое платье, которое, бог знает почему, называется при дворе русским... испод белый атласный с золотом... Что за фасон, что за шитье, Софьюшка,— хоть на колени стать перед ним! Новый берет с райскою птичкою (мне подарил его вчерась муж мой) очень шел ко мне, и если б я не верила зеркалам, то одобрителный около меня ропот мужчин мог бы убедить самого Фому неверующего, что твоя кузина очень недурна. Но ты ждешь, верно, описания петергофского маскарада, m'amié? ¹ — Боже мой! да откуда я возьму памяти или порядка!.. В голове моей образы толкутся, будто мошки... Генеральские звезды гонят с неба звезды неба, учтивые рыбы Марлийского пруда парадируют вместе с гвардей-

¹ мой друг (фр.).

скими болтунами, которым не худо бы взять у первых несколько уроков скромности, и я не могу вспомнить камерюнкера, чуть не плачущего над разбитым лорнетом, чтобы мне не представился Сампсон, раздирающий льва. Статуи Аполлона Бельведерского и Актеона танцуют передо мной польский с графинею Зизи или княжною Биби... и я, право, боюсь, что начну рассказывать тебе про комплименты князя Этьеня, а заключу грибом, точащим воду¹.

Впрочем, все говорят, что маскарад был из самых блистательных, то есть давно не было истрачено такого множества румян и блесков, свечей и любезности. Твой дядюшка, *le cher homme*², навешал на себя столько украшений, что насмешники уверяли, будто он готовится к художественной выставке, — а дородную москвитянку нашу, княгиню Z, за огромный шлейф ее, сравнивали с зловещею кометой, и совершенно даром: она так ловко носила хвост свой, как лисица. Ты помнишь, я думаю, высокого адъютанта, который смешил нас прошлую зиму своими наборными фразами, пахнущими юфтью Буаста?.. *Eh bien, Sophie*³, про него генеральша Т. сказала, будто он доказал ей, что и башмаки есть оружие наступательное!.. Да где мне пересказать тебе все острооты или все плоскости, которые сыпались в толпе, как мишура с платьев! где мне припомнить всех, с которыми прогуливалась я рука с рукой в этом маскараде! Около меня змеями вились золотые и серебряные аксельбанты, и не одна генеральская канитель, не один черный ус трепетали и крутились от удовольствия, когда я произносила: *avec plaisir monsieur!*⁴ Ах, как мне надоели эти попугаи с белыми и черными хохлами на шляпах, милочка!.. Они, кажется, покупают свои фразы вместе с перчатками. Как ваши старинные московские обеды начинались холодным, так у них неизбежно отправляется вперед вопрос: «*Vous aimez la danse madame?*»⁵ Нет, сударь! Я готова возненавидеть танцы из-за танцоров, которые, как деревянная кукушка в часах моей бабушки, вечно поют одно и то же и наводят тоску своим кукованьем. Беда с такими кавалерами, но с прославленными остроумцами — вдвое горе! Они жгутом крутят

¹ В Петергофе есть беседка в виде гриба, которая неожиданно обливает водою.

² Милый человек (фр.).

³ Так вот, Софья (фр.).

⁴ С удовольствием, сударь! (фр.)

⁵ «Вы любите танцы, мадам?» (фр.)

бедный мозг свой, чтобы выжать из него каплю розовой воды или уксуса.

— Вы привлекаете на себя все глаза и все лорнетки, — говорил мне один дипломат, покачиваясь так важно, как будто б от его равновесия зависело равновесие Европы. — И посмотрите, княгиня, как загораются, как блестят все взоры, встречаясь с вашими; *c'est un véritable feu d'artifice!*¹

— Не совсем, — отвечала я ему, — *je vois beaucoup d'artifice, mais où est donc le feu?*²

Поверишь ли, *ma chérie*, что в этом потоке голов, в этом млечном пути глаз голубых, серых, черных ни одно лицо не улыбнулось мне, как бы я желала, ни один взор не горел ко мне участием, — я не нашла в них ничего оригинального, стоящего смеха или мысли. «Как мало здесь кавалеров», — говаривали мы в Москве белокаменной; «как мало людей», — говорю я здесь. Бесхарактерность провела по всем своей ледяной уровень. Напрасно будешь вглядываться в черты — не узнаешь век, какому народу, какому мнению принадлежат эти люди. Под улыбкой нет выражения, под словом не дороешься мысли, под орденами — сердца. Это какая-то картина, покрытая ослепительным лаком... ее дорого ценят по преданию, хотя никто не понял, что она изображает. Во весь сегодняшний вечер, в целый вечер, не удалось мне ни услышать, ни подслушать ни одной речи, которая бы врезалась в память. Говорили, говорили они — да чего они не говорили, а что сказали? Только один, разговаривая со мной, сделал довольно удачное сравнение.

— Посмотрите вдаль и вокруг, — сказал он, — не правда ли, что этот бал похож на английский сад? Перья и цветы на дамах качаются, как прелестный цветник от поцелуя зефира. Там тянется польский, будто живая дорожка; там купы офицеров с зыбкими султанами стоят, как пальмы. Вот Уральский хребет в шитом златоносными песками мундире! Вот пещера с отголоском, повторяющим сто раз слово я. Далее, в этом горбуне вы видите мост, который никуда не ведет; везде золотые ключи, которые ничего не отпирают; тут погребальную урну, хранящую французский табак, и девушек, бродящих окрест с невинными мечтами овечек. Даже, — продолжал мой насмешник, лукаво взглядывая на ряды пожилых дам, — если позволено вздуть срав-

¹ это настоящий фейерверк (искусственный огонь)! (фр.) <Перевод автора.>

² я вижу много искусственности, но где же огонь? (фр.)

нение до гиперболы, мы можем найти здесь не одну живописную развалину, не один обломок Китайской стены, не одну готическую башню, из которой предрассудки выглядывают, как совы.

— *Bon Dieu*¹, как вы злы! — возразила ему я. — Разве нельзя для сравнения найти предметов более игривых?.. Вы бы могли, например, поместить какой-нибудь победный памятник, какой-нибудь храм в этом саду, так же как в Царском Селе.

— В таком случае, — сказал мой партнер, раскланиваясь, — я беру на себя роль ростральной колонны; но храмом, и притом храмом любви, будете вы!

Я с улыбкою взглянула на приветника... Как жаль, что он немолод и некрасив; и потом этот долгий, тонкий нос — самая неудачная его острота...

Мы уж дома.

Люби? любви? — зачем эта мысль впелась в мое сердце, закабаленное свету, как эта живая роза в хитро-сплетенные косы мои? Почему не могу выбросить ее за окно, как я бросаю эту розу? Отчего я вздыхаю каждый раз, когда о ней услышу, и чуть не плачу, когда о ней вздумаю! О, добрая моя Софья! резвая, беззаботная подруга моего девичества! если б ты знала, из какого тяжелого металла льются брачные венцы, если б ты поверила, что коробочка Пандоры есть необходимый свадебный подарок, — ты бы пожалела меня. Столько блеску, и так мало теплоты! Бегу навстречу к мужу моему, с горячностью ласкаюсь к нему... но он принимает меня, как учитель дитя... он только терпит мои ласки, но не ищет их, не отвечает на них. Я почти только и вижу его за столом... и тогда трюфели заманчивее для него всех очей в мире. Домой привозит он только усталость от службы и скуку от искательства, и когда любовь моя просит взаимности, он, зевая, говорит приветствия!.. Нужны ли мне уборы, экипажи — он сыплет деньгами. Вздумается ли мне быть там и там — он не скажет <нет>, лишь бы я его не звала с собою; а его улыбка, его радушное слово дороже мне гостинца, и за один поцелуй я бы готова неделю просидеть дома. — «Это почти жалоба», — скажешь ты, моя милая. Нет, душечка! это миг нетерпения, это пройдет. Я только мимоходом хотела заметить, что грустно, очень грустно не иметь прихотей, которые

¹ Боже милостивый (фр.).

бы не исполнялись, между тем как единственное справедливое желание — безответно и безнадежно!.. Сердце мое вянет на холодной золотой звезде... вянет... и где любовь, где самая дружба, чтоб оживить его слезою участия?!!

Полночь. Темно и тихо кругом... только море, как любовник, грозит и ластится к камням Монплезира, в котором живем мы; только вдали повременно мелькают на яхтах огоньки, как неясные мысли. Грусть клонит меня ко сну... До завтра, моя милая Софья.

*Петергоф,
1 июля 1829 года.*

ПИСЬМО ВТОРОЕ

От той же к той же

Закладую свою слезу против блестящей, да, слезу, десять, двадцать слез даже (а это для меня не безделица, как ты знаешь, милая кузина), — ты никак не угадаешь, где я была сегодня. «На гулянье верхом, на танцевальном завтраке?» — скажешь ты. — О, нет, это слишком обыкновенно. — «На смотре войск?» — Мимо. — «На фейерверке?» — Еще того менее. Я каталась, и знаешь ли где, и поверишь ли на чем!.. Не в пруде на пароме, не в реке на ялике, — вообрази себе... я каталась в открытом море, на сорокашестипушечном фрегате! О, я уверена, что твое московское воображение, не выдавшее нигде бури, кроме Чистых Прудов, бледнеет перед мыслию о неизмеримости, об ужасах моря. Сущие пустяки, моя милочка! Мода и нас, робких женщин, может производить в героини, а раз ступивши на палубу, скоро так приглядишься к страху, что в океане будешь, как в гостиной. Ну, право, море — премилое создание, и мне так полюбилось оно с первого визита нашего знакомства, что я готова бы совершить путешествие кругом света. Вообрази себе... но нет... лучше себе припомнить, что надо начинать сначала... m'y voila¹.

Я надеюсь, ты слышала, как нынешний государь любит флот?.. Он воскресил его и дал ему чистые лавры под Наваринном. Государю угодно было угостить двор и посланников прогулкою по морю; и в самом деле, какое угощение от достойного внука Великого Петра могло быть царственнее,

¹ итак, начинаю (фр.).

величественнее этого! — Катера были готовы — утро прелесть... Двор начал размещаться... Признаюсь, неохотно рассталась я с берегом; казалось, мне больно оторвать ступу от земли, и я с трепетанием сердца прыгнула в катер. Но когда весла грянули, когда длинная вереница шлюпок, из коих каждая подобралась плавучей корзине с цветами, ринулась в море и впереди всех орлом полетел двадцативесельный катер, несущий в себе славу и надежду России; когда берега бегом стали уходить от нас, а далекий Кронштадт с дремучим лесом мачт поплыл к нам навстречу; когда безграничное море развилось за ним, синяя и сверкающая... страх мой перелился в тихое, новое для меня наслаждение, — и мне стало так хорошо в ладье, будто в колыбели когда-то.

И вот миновали мы Кронштадт и приблизились к эскадре, готовой вступить под паруса. Матросы унизывали все снасти, все рей в узор и кричали *ура!* Едва государь с высочайшим семейством взошел на адмиральский корабль, весь флот поднял якоря, и катера наши приставали к ближним кораблям наудачу... Вид был восхитительный! Упавшие паруса образовали словно плавучую стену с огромными башнями. Мы долго спорили со своими подругами о выборе: одна хотела стопушечного корабля, толстого, как наш председатель палаты; другая, более умеренная, довольствовалась семидесятным, лишь бы на нем веял флаг контр-адмирала; третья желала сесть на раззолоченную, разряженную, будто на бал, яточку. Не знаю почему, только мне всех более понравился стройный фрегат — идеал легкости, красоты и силы. Он так гордо бросал в облака свои стрелы; долгие флюгера его так остроумно и прихотливо сверкали в воздухе, — он сам так важно колебался на волнений... пушки его с таким любопытством выглядывали на нас из окон, что во мне родилось непреодолимое желание видеть это милое чудовище у себя под ногою. Не знаю, красивее ли всех или настойчивее всех подруг моих на катере была я, только победа осталась за мною. Офицер гвардейского экипажа, который левою ногою управлял кормилом нашей двенадцативесельной республики, отдал честь моему вкусу и поворотил под корму моего любимца. На поясе резной его галереи золотыми буквами написано было: *Надежда*. Это одно слово стоило предпочтения.

Висячая лестница устлана была флагами... Выходим... Вообрази себе! нет, ты не можешь себе вообразить, что я там увидела; не знаю, с чего начать, не знаю, можно ли

кончить... То был новый мир, то была чудная поэма. Помост чистый, вылощенный, как стол, снасти, закрученные завитками, блоки, сверкающие, как серьги, сетки, сплетенные фантастическими кружевами, медь горит, как золото, чугуны орудий, как сизое вороново крыло! И потом — эта стройная суэта кругом... это необозримое раздолье перед глазами... — По звуку серебряных свистков, казалось, великан наш размахнул широко руками, чтобы поймать ветер; грудь его надулась, и он, с каждым мигом ускоряя бег, ринулся, наконец, прямо, пожирая пространство. Голова моя закружилась каким-то обаятельным вихрем, и когда глаза мои прояснели опять, они встретились с глазами капитана корабля, которого не разглядела я сначала, хотя он и приветствовал нас при встрече. Природа, как говорит Шекспир, могла бы указать на него пальцем и сказать: *вот человек!* Высокий, стройный стан, благородная осанка и это *не знаю что-то* привлекательное в лице, несколько не правильном и столько выразительном, отличали его от прочих. Но глаза его — что это были за глаза, моя Софья! — влажные, голубые, как волна моря, они и сверкали и хмурились подобно волне, готовой и лелеять и поглотить того, кто ей вверится. В приемах его не было модной вертлявости; в нем заметна была даже какая-то крутость, какая-то дикость, — происходящая, быть может, не от природы, но от замешательства; со всем тем — это очень шло к нему. Он, краснея, говорил с нами; он опускал очи перед взорами дам, и сначала голос его дрожал, как металлическая струна цитры. И вот наш дикарь оправился, поднял свои огнистые очи, стал рассказывать нам о всех эволюциях, о назначении каждой вещи так мило, так занимательно, так шуточно, что мы, женщины, забыли свою обычную болтовню и разве, разве вплетали в гирлянду рассказа кой-какие вопросы. Я упала с обдаков, *ma chérie*, — судя по слухам, я самого любезного из моряков считала немного половче моржа, играющего на гитаре, которого показывали в кадке под качелями, и тут нечаянно встретила на досках палубы человека образованного, хотя и в шляпе без султана, даже без плюмажа, — человека, который бы украсил любой паркет столичных гостиных. Занимаясь нами, он не забывал, однако, своей обязанности, и одно слово, один взгляд его двигали громаду корабля — эту гениальную мысль, одетую в дуб и железо, окриленную полотно.

Мы сошли вниз — какая изысканность в роскоши кают! какой тонкий вкус в украшениях! Строй орудий вооружал

оба борта. Ядра низались кругом красивыми бусами. Копья, топоры и все абордажные оружия развешены были, как галантерейные вещи. Посредине просторного дека (я замучу тебя морскими шарадами) разевал свою пасть огромный люк, то есть отверстие, сквозь которое далеко, глубоко внизу, во мраке, глаз с ужасом распознавал ряды бочек и лапу огромного запасного якоря — надежда всегда остается на дне. Мужу моему всего более понравилась чугунная кухня со всеми затеями гастрономии. Когда ему поднесли на пробу кусок говядины, назначенной для команды, он повторил фразу Лареньера: «Ainsi cuit on auroit mangé son père»¹.

Наконец капитан незаметно свел нас au fin fond de l'enfer², и сердце у нас сжалось; мы все ахнули от страха, когда он сказал нам, помахивая свечкою, что мы находимся теперь в пороховой камере, в сердце корабля. Мне уже показалось, что заряды, несмотря на уверение, что они заключены в ящиках, прыгают около меня, как шутихи, что все горит около, что я дышу, что я задыхаюсь пламенем,— я быстро выпрыгнула на свежий воздух.

— И точно, вам всех более должно было опасаться взрыва,— шутя молвил мне капитан,— один взор таких глаз — и какое сердце не взлетит на воздух!

Я на него взглянула...

Между тем эволюции шли своей чередою. Флот катился в открытое море; берега тонули. По приказу адмирала, высказанному флагами, корабли то строились в две линии, то обращались в другую сторону, то прорезывали одну линию другою... точно шахматы титанов; и мы так близко миновали другие корабли, что могли меняться приветами со своими знакомыми. Наконец император поднял свой штандарт — и едва победоносный орел взмахнул крилами в золотом поле — вмиг салютные выстрелы загревели со всех судов. Ах! какой это был прелестный ад! Сначала клубы дыма отдельно катились по волнам, но скоро все море превратилось в жерло волкана. Ветер не успевал разнести одну тучу, — а уж другие напирали все выше и выше, все чернее и чернее. Не говорю о громе, — я думала, что я на вечность оглохну, так что и страшной трубы не услышу. С кормы любовалась я на валы дыма и моря... Капитан

¹ «С такую приправою можно съесть родного отца» (фр.).

² в самую глубь преисподней (фр.).

фрегата стоял подле, задумчиво устремя на меня очи; мы молчали, да и можно ли было говорить под говором тысячи чугунных кумушек! — но мне было так весело, будто игривый сон носил меня на крилах в пространстве. Вдруг, в трех шагах от меня, раздался еще выстрел и вслед за ним крик: «упал, упал, человек тонет!» — Я обмерла. Один канонер, прибывая заряд, был оглушен нечаянным его взрывом и с подмостков¹, на которых стоял он, сброшен за борт... В один миг несчастный очутился за кормою... потеряв память, он только крутился в пенной борозде, вьющейся вслед руля. Ни одной шляпки не было спущено — и сброшенный ему поплавок плыл в другую сторону... он уже погружался — еще миг, и он бы исчез — но в этот миг капитан бросился с борта в море, — все ахнули, все прильнули к поручням — верхние пушки умолкли — и вот он вынырнул, схватил утопающего, плывет к кораблю, но корабль уходит... человеческая воля не могла вдруг сдержать разбежавшуюся громаду. Ужас оледенил нас, когда увидели, что спаситель изнемогает под тяжестью: он стал кружиться на месте — окунулся — опять всплыл — опять ушел — и долго-долго не было видно его!.. Золотой эполет блеснул из седой пены — но это было на два мгновения... Я уж не могла ничего видеть, и, когда раздирающий душу крик: «*утонул!*» раздался кругом меня — я потеряла чувства...

Как сладостно возвращаться к жизни, покуда одно телесное чувствует этот возврат, покуда какая-нибудь горестная мысль не пронзит ума... Так было и со мною. Вдруг воспоминание о гибели великодушного капитана сжало мне сердце будто стальной перчаткою, едва-едва я стала приходить в себя. Я с криком открыла глаза — и кто бы, думаешь ты, стоял за мною, орошая меня струями воды, текущей с утопленника, как с зонтика, — ты угадала — это был он!..

Закрываю письмо, как я закрыла тогда глаза, чтобы хоть минутою долее насладиться таким сновидением... я была им так счастлива!.. О, дай мне еще раз улететь из светской жизни; дай мне, как пчеле, упиться росой этого цветущего воспоминания, я хочу забыться, хочу забыть — я забываю все остальное...

Петергоф,
2 июля 1829 года.

¹ Вероятно, с бизань-русленей. Между вантпоутингсов нередко прорезываются порты.

«...E per questo, quand'io veggo che gli uomini cercano per una certa fatalità le sciagure con la lanterna, e che vegliano, sudano, piangono per fabbricarle dolor ossissime, eterne — io mi sparpaglierei le cervella temendo che non mi cacciasse per capo una simile tentazione».

*Ugo Foscolo*¹

Две недели спустя после императорского смотра флоту в кают-компании фрегата «Надежды», часу в одиннадцатом ночи, за ужиным столом сидел один уже лекарь Стеллинский. Все прочие офицеры разошлись по своим каютам, но сын Эскулапа, по достохвальной привычке, остался для химического разложения вновь привезенного портвейна. Рассуждая и прихлебывая, потом прихлебывая и рассуждая, он дофилософствовался до премудрого сомнения: голова ли вертится на плечах или предметы около головы? Склоняясь более к последнему мнению, лекарь, казалось, поджидал, когда подойдет к нему одна из недопитых бутылок, танцующих перед ним оптический польский. Он, правда, порывался раза два отхлопнуть эту красавицу у свечи, тускло сиявшей между бутылками, «как разум между страстями», — но глазомер изменял желанию, и длань героя блуждала в пространстве: окаянная шейка увертывалась из-под его пальцев не хуже школьника, играющего в жмурки. На беду, качка усиливалась с каждою минутою, и борьба силы самохранения с силой, влекущею лекаря к бутылке, по закону механики, вероятно, кончилась бы тем, что его туловище отправилось <бы> по диагонали, проведенной от его носа под стол, — но, к счастью, стол был привинчен к полу, — и Стеллинский так вцепился в него руками, как будто хотел спастись на нем от потопления. В это время в кают-компанию вошел вахтенный лейтенант... его только что спустил товарищ поужинать. Скидывая измоченную дождем шинель, — он уже смеялся на проделки Стеллинского...

¹ И потому, когда я вижу, как люди, в силу какого-то зова, ищут несчастий с фонарем в руках и как они стремятся в поте лица своего и в горести уготовить себе самые мучительные и вечные из них, — я готов пустить по ветру мои мозги, из боязни, как бы и в меня не перешло в конце концов подобное искушение.

Уго Фосколо (ит.).

— Эге, Флогистон Хининович,— молвил он,— ты, кажется, бедствуешь!.. Смотри, брат, не подмочи своих анатомических препаратов.

— Не бойтесь, не испортятся,— отвечал лекарь, размахнув руками, как балансер на веревке шестом, отыскивая центр своей тяжести,— я их сохраняю в спирте!

— Прекрасное средство,— сказал лейтенант, глотая рюмку водки,— отличное средство, и я прошу извинить меня, господин доктор, что употребляю его теперь без вашего рецепта.

— Стократ блаженны те, которые лечатся и умирают по рецептам... Неужели вы, Нил Павлович, считаете рецепты бесполезными?

— Напротив, я считаю их преполезными — для закуривания трубок,— отвечал лейтенант, буквально врезавшись в кусок ростбифа — и столь же проворно выпуская речи, как глотая говядину. К счастью, что портвейн служил тому и другому путем сообщения,— так что слова и ростбиф расплывались, не зацепляя друг друга.

— Как, сударь, рецепты?.. ре-ре-цепты? О, *sanis insanas!*¹ — Жечь векселя на получение здоровья!

— Скажите лучше, контрамарки на вход в кладбище. Впрочем, мне случалось не раз быть больным; не раз писал мне мой доктор и рецепты вдвое длиннее своего носа, хоть нос у него являлся накануне, а сам завтра. Я очень набожно брал их между большим и указательным перстами, держал на чистом воздухе в горизонтальном положении минут по пяти...

— И потом?..— спросил лекарь, изумленный этим новым средством симпатической фармакопей.

— И потом — пускал на ветер. Желудку моему от того было не хуже, а кошельку вдвое лучше.

— Вы, конечно, любите Ганеманновы выжидающие средства, Нил Павлович... и, надеясь на природу,— подвиньте, пожалуйста, бутылку.

— Но ты, кажется, не гомеопат, Стеллинский,— не хочешь ждать, чтоб природа подала тебе бутылку, и вместо капельных приемов — тратишь столько вина зараз, что им бы, по методе Ганеманна, можно было напоить допьяна всех рыб Финского залива на пятьдесят лет, не считая этого. Однако чем черт не шутит — разве не попадают порою в цель с завязанными глазами! Итак, вам же пок-

¹ О, здравое безумие! (лат.)

лон, любезный внук Эскулапа. Вместо того чтоб ловить ночью мух — пошарьте-ка в кивоте своего гения — не отыщите ль в нем какого-нибудь действительного средства против сумасшествия?

— Разве вы хотите лечиться? — лукаво спросил лекарь, между тем, как лицо его сморщилось в гримасу, которую в Великий пост можно было бы счесть за усмешку.

— Ай да Флогистон Кислотворович! славно, брат; право, хоть куда. Иной подумает, что ты изобрел этот ответ натошак. Но я все-таки ложусь на прежний румб и повторяю вопрос мой. Ты теперь в восторженном состоянии, в возвышенной температуре, так что зерно ума можно сравнить в тебе с зерном пороху, которое, сгорая, расширяется в тысячу раз против прежнего объема...

— Sic est¹... притом же мasons красное вино называют красным порохом... Картуз в ду-ло!.. ну, теперь я заряжен. Итак,— продолжал, крикая и охорашиваясь, лекарь,— итак, вам угодно знать лекарство против сумасшествия?.. Гм! ге? Древние, между прочим и отец медицины...

— То есть мачехи человечества...— ввернул словцо лейтенант.

— Гиппо-по-крат, думали, что частое употребление геллебора, то есть чемерицы, или в просторечии чихотки, может помочь, то есть облегчить, или, лучше сказать, исцелить, повреждение церебральной системы... Да и почему же не так? Разве не знаем, или не видали, или не испытывали мы сами, что щепотки три гренадерского зеленчака могут протрезвить человека,— ибо нос в этом случае служит вместо охранного клапана в паровых котлах, чрез который лишние пары улетают вон. А поелику и самое безумие есть не что иное, как сгущенная лимфа, или пары, или мокроты, именуемые вообще *serum*, которые, отделяясь от испорченной крови, наполняют клетчатую мозговую плену... (в это время лекарь любовался гранеными изображениями стакана, из которого он орошал цветы своего красноречия) — гм, ге!.. плену и, постепенно действуя и противодействуя сперва на тунику, потом на перикраниум, а, наконец, и на белое существо мозга... А, это, верно, птица! или пава? — Почему Авицена и Аверроэс, даже сам Парацельс... Пава, ты, но пава! — советуют диету и кровопускание; другие же, как, например, Бургав, дейст-

¹ Так и есть (лат.).

вуют шпанскими мухами, vessикаториями и синапизмами; трети, чтоб сосредоточить ум, вероятно, разбежавшийся по всему телу, бреют голову, льют холодную воду на темя и охлаждают его ледяным колпаком...

— Чтобы черт изломал грота-рей на голове приклятого выдумщика такой пытки! Мало содрать с живого кожу — так давай закапывать в лед, как бутылку вина выморозки! Вся ваша медицина — уменье променивать кухонную латынь на чистое серебро, покуда матушка природа не унесет болезни или ваши лекарства — больного!..

— Прошу извинить, Нил Павлович, — медицина — за ваше здоровье, — происходит от латинского слова... как бишь его... ну да к черту медицину!.. а безумие, как имел я честь доложить, делится на многие разряды. Во-первых, на головокружение, во-вторых, на ипохондрию, потом на манию, на френозию...

— И на магнезию...

— Как на магнезию? Это что за известие? Магнезия не болезнь, а углекислая известь, а френозия, напротив...

— Есть вещь, о которой вы часто говорите, которую вы редко вылечиваете и которой никогда не понимаете... Не правда ли, наш возлюбленный доктор?

— Правда на дне стакана, Нил Павлович...

— То-то ей, бедняге, и достаются одни дрожжи.

— Пускай же она и вьется в них, как пескарь, — мы обратимся к нашему предмету.

— То есть к *вашему* предмету, доктор.

— Гм! ге! Вы, верно, не знаете, что многие врачи причисляют к безумию головную боль, цефалгию и даже сплин!

— Не знаю, да и знать не хочу.

— Вещь прелюбопытная-с... Вообразите себе, что однажды (это было очень недавно) — некто знаменитый медик, анатомируя тело одного матроса, нашел... то есть не нашел у него селезенки, сиречь spleen, которая и дала свое название болезни. Из этого заключили, что человек одарен лишнею частию, без которой он легко может жить. Правда, иные утверждают, будто в животной экономии селезенка необходима для отделения желчи, — но лучшие анатомисты до сих пор находят ее пригодною только для гнезда сплина, считают украшением, помещенным для симметрии...

Медицинские лекции так еще свежо врезаны были в памяти лекаря, что он и пьяный мог говорить чепуху

с равным успехом, как и натрезве,— но лейтенант, который кончил уже свой ужин, остановил оратора, так сказать, в самом разлете.

— Устал я слушать твою микстуру, любезный доктор. Вам, ученым людям, все то кажется лишним, чему вы не отыщете назначения, и если б вы не носили очков и тавлинок, то, чай, и нос осудили бы в отставку без мундира. Не о том дело, можно ли жить без селезенки, а о том, что худо служить без ума. Мне кажется, исчисляя виды сумасшествия, ты пропустил самый важный — и этот вид называется любовью, и больной, зараженный ею,— капитан наш.

— Капитан?.. Вы шутите, Нил Павлыч...— произнес лекарь, протирая туманные глаза и опять хватаясь за стул, как будто чувствуя, что, полный винными парами, он может улететь вверх, будто аэростат.

— Нисколько не шучу,— отвечал лейтенант.— Я повторяю тебе, что это Илья Петрович Правин, достойный командир нашего фрегата,— Правин со всеми буквами...

— Гм! ге! вот что... так он-то болен любовью?.. с вашего позволения...

— Нет, вовсе без моего позволения. Уж эта мне черноглазая княгиня! она словно околдовала Илью Петровича. И то сказать, хороша собой, как царская яхта, вертлява, как люгер, и, говорят, умна, как бес... Ты, я думаю, помнишь ее,— ну, ту высокую даму в черном платье, с которою в красоте изо всех наших гостей могла поспорить только фрейлина Левич... Как находишь ты, доктор, которая лучше?

— Мадера лучше,— возразил доктор.

Погруженный в созерцание бутылок, он только и слышал два последние слова.

— Мадера гораздо лучше: ближе к цели.

— То есть ближе к постели. И дельно, брат; пора твоей посудине в док на зимовку. Однако я говорю не о винах, доктор, но о дамах!

— О дамах, или попросту о женщинах? Гм! Да разве это не все равно? Молодая женщина молодца как раз состарит... а старое вино молодит и старика,— где яд, там и противоядие; где боль, там и лекарство...

— Грот-марса-фалом клянусь! оба эти зла или оба эти блага вместе приведут хоть какой ум к одному знаменателю. Уж если б выбирать меньшее зло, я бы скорей посоветовал капитану трепать почаще бутылочную, чем женскую

шейку; и, по мне, пусть лучше зарится он на карточные очки, чем на очи красавицы. От вина поболит голова, от проигрыша заведется в кармане сквозной ветер, но от дам, кроме головы и кармана, зачахнет и сердце.

— Сердце! Сердце? А что оно такое, как не химическая горлянка, в которой совершается процесс кровообращения и окрашивания крови посредством вдыхаемого кислорода!.. Читали ли вы Гарвея?.. знаете ли вы трактат доктора Крейсига о болезнях сердца?

— И все-таки я думаю, в книге этого доброго немца так же трудно найти лекарство против болезни нашего капитана, как шутку в часослове. Право, я бы очень желал, чтоб ты, наш любезный доктор, крашеной водою и пластырями, магнетизированием и шарлатанством продержал его месяца два на фрегате... Разлука и диета — два смертельных врага любви. Авось бы он развлекся службою; авось бы наши споры возвратили ему прежнюю веселость; а то он сам не свой теперь. Бывало, его калачом не сманишь с фрегата; ему не спалось на земле, ему душно казалось в городе, — а теперь все бы ему жить на берегу, да кататься на колесах, да лощить бульвары. Подумаешь, право, что он поймал эту глупую страстишку, как жемчужину со дна моря, в день смотра, когда спрыгнул в воду спасать утопающего канонера. За него нечего было ахать: он плавает, как ньюфаундланская собака¹, — зато сам он растаял, когда увидел, что черноглазая княгиня, от участия к нему, в обмороке...

— Да, да, да, да!.. Теперь-то я припоминаю все дело. Я застал тогда капитана на коленях перед нею — он был мокр, как тюлень, а суетился, будто муха над дорожными. Подруга ее сама обеспамятела и, вместо того, чтоб помогать, кричала только: «Воды, воды, кликните соль. принесите лекаря!..»

— Скажите, пожалуйста, какая напраслина!.. Ты, кажется, тогда мог сам ходить!..

— У вас все шутки, Нил Павлыч! Ну вот, как я вошел — подруга ее приказывала капитану распустить ей шнуровку...

— Вот тебе и раз! — с ужасом вскричал лейтенант. — Распустить шнуровку! Пускай бы спросили у Ильи Петро-

¹ Их называют иначе *sauvetage-dogs*... В Англии близ каждого опасного места лежит их множество; — они, видя разбитое судно, кидаются в воду и вытаскивают утопающих; также пригоняют к берегу тюки и бочонки.

вича, куда проходит и где крепится последний гитов¹ на каждом судне христианского и варварийского флота,— он рассказал бы это, как «Отче наш», от коуша² до бензеля³,— а скоро ль было ему доискаться, где крепится дамский булень⁴!.. Зато ж и попалась в силок морская птичка.. Видно, черт возьми, не всякое *полушарие* обойти безопасно, и хорошенькая дамочка бурливее мыса Горна. С тех пор наш капитан рыскает, будто сам лукавый стоит у него на руле. Говоришь ему об укладке трюма, а он толкует о гирляндах. Просишь переменить якорь, а он переменяет жилет. Глядит в зрительную трубку, и ему кажется, что голландский гальот прогуливается по берегу в желтом платье. Налетит шквал, трещат стеньги, а он хохочет. Товарищи смеются, а он вздыхает. Мы пьем, а он смотрит в стакан, словно гадает на кофейной гуще, как тетушка Пелагея Фарафонтьевна.

— Это мания — чистая мания!.. Это столь же верно, как и то, что гиппопотам пускает себе кровь тростником, боясь апоплексии, а собаки лечат себя от бешенства водяным шильником... Это мания — ма-мания, говорю я вам...

— Зови, как хочешь: от этого капитану не легче, нам не лучше. Да и, между нами будь сказано, к чему поведет такая глупая страсть? — Она его не может любить: она замужем, а если и полюбит, тем хуже, — не должна. Если дело остановится на первом, — он исчахнет; но если, чего Боже сохрани, дойдет до второго, — он совсем потеряет себя — он ничего не умеет делать и чувствовать вполонину... Я ведь знаю его от гардемаринского галуна до штабского эполета; от лапты на дворе Морского корпуса до картечи наваринского дела. О, как бы дорого дал я, — вскричал от глубины сердца лейтенант, проглотив разом стакан вина, будто им хотел он залить свое горе, — я отдал бы все свои призовые деньги — лишь бы увидеть моего доброго друга Илью в прежнем духе... Это душа в обществе, это голова в деле! — добр, как ангел, и смел, как черт!.. Я предвижу, что он настроит кучу проказ, он вовсе забудет службу — совсем покинет море... и что тогда станется с нашим лихим фрегатом, со всеми офицерами, с командою, что его так любит? Пусть лучше молния разобьет грот-мачту, пусть сорвется руль с петель, пусть лучше потеряем мы

¹ снасть для сдержки паруса.

² кольцо желобком.

³ закрепка.

⁴ снасть сбоку паруса, удерживающая более в нем ветра.

весь рангоут¹, нежели своего капитана! — с ним все это трын-трава, а без него команда не вывернет бегом якоря, не то чтобы на славу убрать в шторм паруса и перешеголять чистотою и быстротою англичан, как мы дельвали в прошлом году в Средиземном море. *Per Vasco e signor diavolo!*² Я бы готов на полгода отказаться от вина и ел³, лишь бы вылечить Илью... хоть, признаться сказать, я считаю это так же трудным, как проглотить собаку-блок после ужина!..

Стеллинский в свою очередь говорил, не слушая лейтенанта, о медицине. Вино выказало страсти обоих — как обозначает оно в хрустале незаметные дотол³ украшения.

— Должно начать лечение прохлаждающими средствами,— говорил он, зевая,— кремор-тартар... маг-мадера... потом пиявки, потом можно последовать совету славного римского врача Анархаста, который резал руки и ноги, чтоб избавить от бородавок — и сделать ам-пу-та-цию, да тереть против сердца чем-нибудь спир-ту-о-озным!..

Сын Эскулапа был поражен Морфеем в начале речи — участь, грозившая слушателям, если б они были тут. Голова его упала на грудь, руки повисли — и он начал материально доказывать, что, согласно с мнением нашего знаменитого корнеискателя,— русский глагол *спать* происходит от слова *сопеть*.

Но прежде чем лейтенант кончил говорить, а лекарь начал храпеть, дверь каюты распахнулась с треском: в нее вбежал вахтенный мичман, бледен, испуган.

— Нил Павлыч! — сказал он, задыхаясь,— нас дрейфует!³

— Людей наверх — пошел все наверх! — крикнул лейтенант таким голосом, что он мог бы разбудить мертвых. С этим словом он кинулся на шканцы без шапки и без шинели,— там уже заменявший его лейтенант хлопотал, как помочь горю. Окинув опытным взором море и небо, Нил Павлович увидел, что с погодою шутить нечего. Крутые, частые валы с яростью катились друг за другом, напирая на грудь фрегата, и он бился под ними, как в лихорадке. Сила ветра не позволяла подыматься валам высоко,— он гнал их, рыл их, рвал их — и со всего раската бил ими, как тараном. Черно было небо — но когда молнии бичевали мрак — видно было, как ниже, и ниже, и ни-

¹ все мачты, все дерево выше палубы.

² Клянусь самим дьяволом! (ит.)

³ тащит с якорем.

же катились тучи, будто готовясь задавить море. Каждый взрыв молнии разверзал на миг в небе и в хляби огненную пасть, и, казалось, пламенные змеи пробежали по пенистым гребням валов. Потом чернее прежнего зияла тьма, еще сильнее хлестал ураган в обнаженные мачты, крутя и вырывая верви, свистя между блоками.

— Пошел на брасы, на топенанты¹: ходом, бегом! Надо обросопить² реи вдоль судна. Задержал ли якорь? — Есть³. — Слава богу! Г. шкипер! разнесен ли канат-плетка⁴? Может, надо лечь фертоинг⁵. Сдвоить стопора на даглице... очистить бухты⁶! Послать топор к правой кранбалке — если крикну: «Отдай!» — разом пертулин⁷ пополам. Г. мичман! вы эполетами отвечаете, если рустов⁸ отдадут рано... не забудьте участь «Фалка»⁹. Драй, драй, бакштаги в струну вытягивай! Ну, молодцы, шевелись, плясывай! Не то я вас завтра в ворсу истреблю. Гей вы, на марсах! все ли исправно у вас? — Ага! стеньги хрустят? эка невидаль! треснут — так на зубочистки годятся! Боцмана! осмотреть кранцы¹⁰, чтоб ни одно ядро не тронулось, — теперь некогда играть в кегли. Крепко ли задрены порты¹¹? Г. штурман, много ли фут по лоту?.. Сто двадцать?.. лихо... гуляй, душа, далеко еще килю до рачьей зимовки!

Так или почти так покрикивал Нил Павлович, прибавляя к этому, как водится, сотни побранок, которые Николай Иванович Греч сравнивал с пеною шампанского. Он, казалось, попал в родную стихию: осматривал все своим глазом, успевал сам везде, и матросы, ободренные его хладнокровием, работали смело, охотно, но безмолвно, при тусклом свете фонарей. Порой, когда над головами их разражался перун, — подвижные купы их озарялись ярко и живописно — будто сейчас из-под мрачной кисти Сальватора; и только мерный стук их бега, только пронзительный

¹ снасти, коими поддерживаются и обращаются реи.

² поворотить.

³ на морском языке *есть* значит: *да, исполнено*.

⁴ плехт — один из больших якорей; даглицт немного менее.

⁵ на два якоря.

⁶ в кольца сложенные снасти.

⁷ веревка, на которой висит якорь.

⁸ цепь, поддерживающая якорь в горизонтальном положении.

⁹ Бриг «Фалк» погиб оттого, что якорь долго висел вертикально и, качаясь, прошиб лапою скулу судна.

¹⁰ места, где лежат ядра.

¹¹ ставни амбразур.

голос свистков мешался с завыванием бури и с тяжелым скрипом фрегата.

— Ай да ребята — спасибо! — сказал Нил Павлович, потирая от удовольствия руки. — За капитаном по чарке! Теперь дуй — не страшно — мы готовы встретить самый задорный шквал, откуда б он к нам ни пожаловал. Хорошо, что я не послушал вас, — продолжал он, обращаясь к подвахтенному лейтенанту, — и спустил заранее брам-стенги¹: их бы срезало, как спаржу. Я, правда, с вечера предвидел бурю: солнце на закате было красно, как лицо английского пивовара, и синие редкие тучки, будто шпионы, выглядывали из-за горизонта, — признаюсь, однако, не ждал я никак такого шторма: все ветры и все черти спущены, кажется, теперь со своры... того и гляди, что сорвет с якоря и выкинет на финский берег по клюкву!

— Шлюпка идет! — раздалось с баку.

— Скажи лучше, тонет, — вскричал с беспокойством Нил Павлович. — Кому это вздумалось искать верной гибели? Опрашивай!

— Кто гребет?

— Матрос.

— С какого корабля?.. Есть ли офицер?

Шум бури и волнения мешали расслушать ответы...

— Кажется, отвечают: «Надежда», — закричали на баке².

— Ослы! — загремел Нил Павлович, который в это время вскочил на фор-ванты³, чтобы лучше рассмотреть шлюпку. — Разве не видите вы двух фонарей на водорезе? ⁴ Это наш капитан. Изготовить концы, послать фалрепных⁵ с фонарями к правой!

Долгая молния рассекла ночь и оказала гонимую бурей шлюпку, с изломанной мачтой, с изорванным парусом. Огромный вал нес ее на хребте прямо к борту, грозя разбить в щепы о пушки, — и вдруг он опал с ревом, и мрак поглотил все.

¹ самые верхние части мачт.

² При опросе: *есть ли офицер?* — с шлюпки, когда в ней командиры судна, отвечают именем судна. Ба к — нос судна.

³ лестницы веревочные у передней мачты.

⁴ Отправляя гребное судно на берег, условливаются взаимно о числе и месте фонарей, чтобы ночью можно было опознать и найти друг друга.

⁵ веревки для всходящих на лестницу (трап) корабля.

— Кидай концы! — кричал Нил Павлович, вися над пучиною... — Промах! Другой! Сорвался... Еще, еще!

Новая молния растворила небо, и на миг видно стало, как отчаянные гребцы цеплялись крючьями и скользили вдоль по борту фрегата.

— Лови, лови! — раздавалось сверху, и многие веревки летели вдруг, но вихорь подхватывал их, и они падали мимо.

— Боже мой! — вскричал Нил Павлович, сплеснув руками, — они погибли!..

• • • • •

Но они не погибли; их не унесло в открытое море. Один багор удачно вцепился в руль-тали¹, и по шторм-трапу с горем пополам взобрались наши пловцы, чуть не утопленники, на ют (корму). Пустую шляпку мигом опрокинуло вверх дном, и через четверть часа на бакштове² остался лишь один обломок шляпочного форштевня³.

— Ты жив, ты спасен, друг мой, брат мой картечный! — говорил добрый Нил Павлович, задушая в объятиях капитана. — Как не грех тебе пускаться в такую бурю!.. Сорвись последний крюк — и ты бы отправился делать депутатский смотр карасям.

Но вдруг он вспомнил долг подчиненности — отступил на два шага назад и преважно начал рапортовать о состоянии судна и команды. В этой сцене было много забавного и почтенного вместе. Глядя тогда на Нила Павловича, вы бы сказали: «Он прекрасный человек, он достойный солдат!» Вы бы поручились за него, что он не изменит ни одному благородному чувству, как не преступит ни одной причуды службы.

— Благодарю сердечно, благодарю всех господ за исправность, — говорил капитан окружившим его офицерам, — а вас, Нил Павлович, особенно. За вами я бы мог спать спокойно, если б вы могли повелевать так же удачно стихиями, как вахтой. Но я предвидел ужасную бурю и хотел разделить с вами опасность. Могу вам рассказать новости о погоде, потому что я был там, куда не достанут ночью ваши взоры, — шквал налетит сию минуту. Готов ли другой якорь?

¹ снасти у руля, снаружи висящие.

² вервь, за которую вяжут шляпки за кормою.

³ носовая основа.

— Готов.

— Тем лучше. На баке, ало! — закричал капитан в рупор. — Из бухты вон! Отдай якорь!

Как ни силен был плеск волн и рев бури, но послышалось, когда бухнул в воду тяжкий якорь и с глухим громом покатылся канат из клюза.

— Шквал с ветра, шквал идет! — раздалось на баке.

Случалось ли вам испытывать сильный шквал на море? — Перед ним на минуту воцаряется какая-то грозная тишь; море кипит, волны мечутся, жмутся, толкутся, будто со страху; водяная метель с визгом летит над водою — это раздробленные верхушки валов; и вот вдали, под мутным мраком, изорванным молниями, белой стеною катится вал... ближе, близко — ударил! Нет слов, нет звуков, чтоб выразить гуденье, и вой, и шорох, и свист урагана, встретившего препону, — кажется, весь ад пирует и хохочет с какою-то сатанинскою злобою!.. Такой-то шквал налетел на фрегат «Надежду» и зарыл нос его в бурун, так что волна перекатилась по палубе до самой кормы. Удар водяной массы и порыв ветра были так жестоки, что стопора¹ первого якоря лопнули, прежде чем канат второго вытянулся. Фрегат задрожал как лист и вдруг с невероятною быстротою кинулся по ветру. Второй канат, едва полустопоренный, не мог сдержать корабля с разбега, и оба вдруг пошли сучить в оба клюза.

Не каждому моряку во всю свою службу случалось видеть суматоху от высучки канатов. Это страшно и смешно вместе: вообразите себе два каната чуть не в охват толщину, которые с ревом и громом бегут с кубрика или из дека, где были уложены, вверх... Они вьются, как удавы, огромными кольцами, хлещут, как волны, взбрасывая на воздух все встречное: сундуки, койки, ядра, людей; и, наконец, крутясь узлом через толстый брус битенга², зажигают его трением. Это пеньковый тифон, от которого все летит вдребезги или бежит с воплем. Напрасно кидают в клюз койки и вымбовки³, чтобы сдавило и заело канат, — он бежит вон неудержимо.

К счастью, на фрегате оба каната закреплены были огнем за шпор⁴ грот-мачты. Удары от незапной задержки

¹ Снасти, коими канат прикрепляется к кольцам (рымам), вбитым в палубу. Стопор происходит от англ. глагола to stop — останавливать.

² устой для крепления канатов.

³ палки, коими вращают ворот.

⁴ низ.

с разбега заставили вздрогнуть весь остов, и едва-едва уцелели стены. Якоря забрали, фрегат стал в тот миг, когда капитан, не надеясь на канаты, послал по марсам, готовясь по обрыве вступить под паруса, чтобы жестокий норд-норд-ост не выкинул его на отмели и рифы негостеприимного берега Финляндии. Осмотрелись: люди были целы, изъян ничтожен. Волнение ходило горами, дождь лился потоком, и к довершению этой ужасно-прекрасной картины невдалеке показались смерчи, или тромбы. Они очень заметны были во мраке, вздымаясь, белые, из валов, как дух бурь, описанный Камоэнсом... Голова их касалась туч, ребра увивались непрерывными молниями... Море с глухим гулом кипело и дымилось котлом около, — они вились, вытягивались и распадались с громом, осыпая валы фосфорическими огнями. Матросы с благоговейным ужасом глядели на это редкое для них явление.

— Не прикажете ли, капитан, попотчевать этих незваных гостей ядрами? — спросил Нил Павлович.

— Прикажете только изготовить два пулонга пушек на оба борта — и стрелять тогда разве, когда какой-нибудь любопытный тифон вздумает пощупать нас за утлегарь. Мне не хочется делать тревоги в Кронштадте. Пожалуй, там подумают, что мы перепугались, что наша «Надежда» гибнет. — Так отвечал капитан Правин.

Миновалась опасность, но не буря. Ветер дул ровнее, но все еще жестоко, и фрегат, бросаемый волнением, то носом, то кормой ударялся в воду, разбрызгивая буруны в пену, но содрогаясь, но стеная и скрипя от каждого взмаха. Половину команды распустили по койкам; другая смиренно жалась у сеток. Нил Павлович с рупором под мышкою ходил по шканцам, заботливо взглядывая то на море, то на капитана, — а капитан, безмолвен, стоял, опершись о колесо штурвала. Свет лампы из нактоуза¹ падал прямо на его бледное, но выразительное лицо. Взоры его следили вереницы летящих туч и бразды молний, их рассекающих... Он не чувствовал ни ветра, ни дождя; он долго не слышал голоса друга, — душа его носилась далеко, далеко.

Наконец, Нил Павлович дернул его за рукав.

— О чем замечтался ты, Илья? — спросил он с братским участием.

Правин будто проснулся...

¹ шкаф, в котором хранится компас.

— О чем? Как легко это спросить — зато как трудно отвечать на это! Вихорь мыслей крутился в голове, и целый водоворот мыкал мое сердце. Если б я и умел тебе высказать все это, я бы не досказал всего до седых волос. Впрочем, нет действия без причины, и если я не смогу рассказать, о чем мечтал, то не умолчу, отчего эти мечты меня обуяли. Загадка, для чего нас ото всей эскадры оставили одних на кронштадтском рейде, — объяснилась: наш фрегат назначен в Средиземное море; мы повезем важные бумаги союзным адмиралам и президенту Греции.

— И, верно, ядра да картечи для закуски туркам! Грот-марса-рея меня убей, мне смерть хочется сцепиться на абордаж с каким-нибудь капитан-пашинским кораблем!

— Но я, милый Нил, — я краснею за себя!.. Душа моя рвется надвое — одна половина хочет пустить корни в столице, между тем как другая жаждет раздолья и битвы. Итак, думал я, чем скорее, тем лучше!.. сегодня же, сей же час хотел бы я вырваться из оков своих!.. я с радостью ждал минуты, когда нас сорвет с якорей, чтобы распустить крылья и улететь из этого чада, растлевающего душу!

— Недолга песня командовать на *марса-фалы*! Но вступать под паруса в такую темную ночь, в такую бурю!..

— В бурю?.. — повторил рассеянно капитан, — в такую бурю! Что значит эта буря против бушующей в моей груди!..

Нил Павлович долго и пристально глядел в лицо друга, — наконец крепко сжал ему руку и произнес:

— Бедный Илья!

Бедный Правин! — повторяю и я.

Капитан-лейтенант Правин к лейтенанту
Нилу Павловичу Кокорину

Что бы ты сказал, что бы подумал ты, добрый друг мой, если б увидел мои вчерашние сборы на вечер к княгине **? Я, я, которому, так же, как и тебе, до сих пор все платье шилось парусником, я затянулся в мундир, шитый самым лучшим, то есть самым дорогим портным столицы, — да и тот не угодил на меня — то, казалось мне, не выравнены пуговицы, то проглядывают кой-где преступные складки... там это, здесь не то... словом, я бы на вечер приехал на завтрашнее утро, если б бой часов не заставил меня поторопиться. Волосы мои натированы¹ были пома-

¹ То есть высмолены, от английского слова *tare* — смола. Тируют только стоячий такелаж.

дою, белѣ пробрызгано духами; галстух не галстух, перчатки не перчатки,—верчусь перед зеркалом: молодец хоть куда. Повторив несколько раз все эволюции салюта и ордер марша по гостиной, и потом ордер баталии: «спуститься по ветру, чтобы прорезать линию неприятельских стульев, потом лечь в дрейф и начать перестрелку» — плащ на плечо — наемная карета у крыльца, — качу. Крепко забилось мое ретивое, когда Каменноостровский мост задрожал под колесами моей кареты. И вот дача князя — в окнах сияет день, сквозь цветы мелькают тени — народу тьма, храбрость моя роняет брамсели. Однако ж, снайтовя¹ сердце, перехожу аванзалу так осторожно, будто сквозь каменный вход в порт Свеаборга. Имя мое из уст официанта раздается словно боевая пушка, — во мне занялся дух, и на глаза упал туман, хоть подымай сигнал: *неясно вижу!*. Но экватор был уже перейден — ворочаться поздно — вхожу, кланяюсь без прицела, краснею будто каленое ядро, верчусь направо и налево не лучше рыскливого корабля — одним словом, чувствую сам, что я так же ловок, как выброшенный на берег кит, и мешаюсь вдвое пуще. Мужские лорнеты, казалось, сожигали меня в пепел; дамские взгляды пронизывали наперекрест, будто Конгревовы ракеты; даже ковры егозили под ногами, и проклятые зеркала, это оптическое эхо, передразнивали в двадцати видах мое замешательство. — О! если б знала княгиня, как дорого стоило моему самолюбию быть на такой выставке, — она бы пожалела, она бы наградила меня! Вещь, которая для всякого светского повесы была бы или незначаща или приятна, во мне обращалась в истинное самоотвержение... Приехав в надежде понравиться княгине, я уже трепетал за то, что не понравлюсь... стень ложного стыда удушала меня. К счастью, эта сцена была непродолжительна. Толстяк хозяин поспешил ко мне на выручку, и сама хозяйка, привстав с дивана, так ободрительно меня поприветствовала, что душа моя распрямилась вдруг... Я гордо поднял голову, я окинул всех светлым оком: что значила для меня невзгода всех пустоцветов и пустозвонов гостиной, когда я был уже обласкан тою, чья единственно ласка была дорога мне! — Гости поняли эту мысль, и ропот затих, и все улыбнулись мне, будто по приказу. Общественное мнение всегда склоняется к тому, кто не дорожит им нисколько.

¹ скрепя.

Меня усадили в полукруге между каким-то кавалером посольства, который глядел на весь мир с вышины своей накрахмаленной косынки, и незнакомым офицером, от которого еще благоухало брайловскою гуляб-су¹. Первый надувал остроумием мыльные пузыри, другой заклинался гуриями не хуже любого ренегата, прочие гости занимались умножением нуля, то есть переливали из пустого в порожнее. Самый важный спор шел о лучшем средстве чистить зубы после обеда. После неизбежных переспросов я притаился в креслах своих и дал полный разгул глазам и мечтам своим. Ты, не добываясь патента на пророчество, угадаешь, к какому полюсу влекся компас мой,— это была она — истинный полюс, охваченный полярным кругом светской холодной суеты. И что такое были все эти собеседники, как не льдины: блестящие, но безжизненные,—носимые ветром моды вместо своей воли и порой зеленеющие чахлыми порослями, какие видел Парри в Баффиновом заливе: и это-то называют они цветами общества!

Но возвратимся к ней, еще к ней, опять к ней! Я пил долгими глотками сладкий яд ее взоров,— мне было так хорошо! Она шутила—я отвечал тем же... Откуда что бралось! недаром говорят, что любовь и сводит с ума и дает ум. Когда я говорил с нею, застенчивость покидала меня; зато едва другая дама обращала ко мне слово — я краснел, я бледнел, я вертелся на стуле, будто он набит был иголками, и бедная шляпа моя чуть не пищала в руках. Ты знаешь, что я могу лепетать по-французски не хуже дымчатого попугая, но знаешь и то, что, из упрямства ли или от народной гордости, не люблю менять родного языка на чужеземный. Вот, сударь, волей и неволей господа, удостоивавшие меня своим разговором, слыша твердо произнесенный отзыв: «*Я не говорю по-французски*», принуждены были изъясняться со мной по-русски — и признаюсь, я не раз жалел, что не взял с собою переводчика. Охотнее всех и, к удивлению моему, чище всех говорила по-русски княгиня,— это делает честь Москве — это приводило меня в восхищенье. Рад ты или не рад, а меня берет искушение послать к тебе кусочек нашего разговора, хоть я очень знаю, что разговор, как вафли,— он хорош только прямо с огня и в летучей пене шампанского.

¹ Розовая вода; она в большом употреблении в Азии. Это арабские слова: гуль — роза и аб — вода, су (тоже вода) прибавляют азиатцы из невежества. У нас ее звали гуляф.

Я гуляфною водою белы руки мою! (Песня времен Елизаветы.)

Мы спорили. Княгиня верить не хотела постоянству чувствований моряков. Она называла нас кочевым народом, людьми, которые ищут двух весн в один год и гоняются за открытиями, чтобы оставить на них чугунную дощечку с надписью: *тогда-то здесь был такой-то*. — Но разве быть значит жить? или видеть значит чувствовать? Частые перемены мест не дают окрепнуть привязанностям до страсти, воспоминанию — до глубокого сожаления.

— Даже вы сами, — продолжала она, — вы — скиталец с ранних лет по далеким морям — признайтесь: надышавшись воздухом ароматных лесов Бразилии, набродившись по чудным коралловым островам Тихого океана или по исполинским дебрям Австралии, налюбовавшись плавучими ледяными горами Южного полюса или вулканами, раскаляющими небо своим дыханием, — скажите, какова показалась вам болотная, плоская, туманная родина?

— Прелестнее, чем прежде, княгиня! Вы меня считаете в ощущении ветренее всякой дамы, которая, сбросив с себя украшение, на завтра забывает или, нашедши, презирает его. Чувства нельзя забыть, как моду, и прекрасный климат не замена отечеству. Эти туманы были мои пеленами, эти дожди вспоили меня, этот репейник был игрушкой моего детства. Я вырос, я дышал воздухом, в котором плавали частицы моих предков, я поглощал их в растениях. Русская земля во мне обратилась в тело и в кости. О! поверьте мне: отечество не местная привычка, не пустое слово, не отвлеченная мысль — оно живая часть нас самих, мы нераздельная мыслящая часть его — мы принадлежим ему нравственно и вещественно. И как хотите вы, чтобы в разлуке с ним мы не грустили, не тосковали? — Нет, княгиня, нет! в русском сердце слишком много железа, чтобы не любить Севера!

— И в вашем тоже, капитан? — спросила княгиня.

— Я русский, княгиня: я суровый славянин, как говорит Пушкин.

— Тем на этот раз хуже: я ненавижу чугунные сердца, — на них невозможно сделать никакого впечатления!

— Почему же нет, княгиня? Разгорячите этот металл, и он будет очень мягок, и потом рука времени не сотрет того, что вы на нем изобразите.

— Но для изображения чего-нибудь — его надо ковать молотом, а это вовсе не дамское дело.

— Терпение, княгиня, дает уменье.

— Но всякий ли, капитан, может командовать терпеньем

ем, как вы «Надеждою»? Да, кстати о «Надежде»,— все ли в добром она здоровье?

— Напротив, княгиня, бури ее одолели с тех пор, как вы ее оставили.

— Надеюсь, по крайней мере,— продолжала княгиня, все еще играя словами о имени моего фрегата,— надеюсь, она вас не покинула!

— Все равно почти: я очень далек от нее.

— Но, как верный рыцарь, не покидаете зато ее символа: на воротнике вашем таинственно блещут два якоря.

— Заметьте, княгиня,— примолвил я со вздохом,— они с оборванными канатами.

В это время офицер, сосед мой, наклонившись сзади меня к дипломату, сказал ему вполголоса:

— Il se pique d'esprit, ce lion marin¹.

— Oui— да,— отвечал тот.— Il s'en pique!²

— Et cette fois il n'est pas si bête qu'il en a l'air³,— примолвил первый, презрительно покачиваясь на стуле.

Я вспыхнул. Такое неслыханное забвение приличий обратило вверх дном во мне мозг и сердце; я бросил пожигающий взор на наглеца — я наклонился к нему и так же вполголоса произнес:

— Si bon vous semble, m-r, nous ferons notre assaut d'esprit demain à 10 heures passées. Libre à vous de choisir telle langue qu'il vous plaira,— celles de fer et de plomb u comprises. Vous me saurez gré, j'espère, de m'entendre vous dire en cinq langues européennes que vous êtes un lâche⁴.

Не можешь представить себе, как смутился мой обидчик,— он покраснел краснее своих отворотов, он окинул глазами собрание, как будто искал в нем подпоры или обороны,— но все отворотились прочь, будто ничего не слышали. Наглец и тут хотел еще отделаться хвастовством.

— Очень охотно! — отвечал он, играя цепочкою часов.— Только я предупреждаю вас: я бью на лету ласточку.

Я возразил ему, что не могу хвалиться таким же удалством, но, вероятно, не промахнусь по сидячей вороне.

¹ Он чванится своим умом, этот морской лев (фр.).

² Он им чванится! (фр.)

³ Но на этот раз он не такой болван, каким кажется (фр.).

⁴ Если вам удобно, сударь, мы проведем наше состязание в уме и красноречии завтра после десяти часов. Предоставляю вам избрать тот язык, который вам нравится,— включая сюда язык железа и свинца. Вы, надеюсь, позволите мне сказать вам на пяти европейских языках, что вы подлец (фр.).

Противнику моему пришлось плохо — но мне было едва ли не хуже его. Гнев пробежал меня дрожью: я кусал губы чуть не до крови, я бледнел как железо, раскаленное до бела. Невнятные слова вырывались из моих уст, подобно клочьям паруса, изорванного бурей... Присутствие людей, в глазах которых я был унижен и еще не отомщен, меня душило... наконец я осмелился поднять глаза на княгиню... Говорю: осмелился, потому что я боялся встретить в них сожаление, горчайшее самой злой насмешки... И я встретил в них участие, сострастие даже. Взоры ее пролились на мою душу как масло, утишающее валы... в них, как в зеркале, отражались и гнев за мою обиду — и страх за мою жизнь... они так лестно, так отрадно укоряли и умоляли меня! Я стих. Общество занялось прежним, будто не замечая нашего а parte¹; разговор катился из рук в руки. Я чувствовал себя лишним, встал, раскланялся и вышел — но уже без замешательства, без оглядок — обиженная гордость придала мне самонадеяния.

— Мы надеемся видеть вас почаще, — молвил хозяин, прощаясь со мною.

Ступая за дверь, я обернулся... О друг мой, друг мой! — я худо знаю женскую сигнальную книгу, но за взор, брошенный на меня княгиней, я бы готов был вынести тысячу обид и тысячу смертей!.. *Завтра* со своими пулями и страхами для меня исчезло... Всю ночь мне виделась только княгиня — меня волновал только прощальный взгляд ее.

*Петербург,
17 июля 1829 <года>.*

От того же к тому же

День после

В Кронштадт.

Брось в огонь историю кораблекрушений, любезный Нил: мое сухопутное крушение курioзное всех их вместе, говорю я тебе. Воображаю, с каким изумлением протирали ты глаза, читая последнее письмо мое: «Илья влюблен, Илья щеголь, Илья в гостинной, Илья накануне поединка!!» По-твоему, все это для моряка столько же несбыточ-

¹ тайного разговора (фр.).

но, как прогулка Игорева флота на колесах,— и между тем все это гораздо более историческое, чем романы Вальтер Скотта. Счастливец ты, Нилушка, что не знаешь, не ведаешь, куда забросить может сердце вал страсти. Я стыжусь других, браню себя — и все-таки влекусь от одной глупости к другой. Беднягу-ум укачало на этом волнении, и он лежит да молчит и, во все глаза глядя, ни зги не видит.

Впрочем, что ни толкуй, а от прошлого не отлавируешься. Дело было сделано: поединку решено *быть*; недоставало только тебя в секунданты... Благодаря, однако ж, принятому поверью в Петербурге через край охотников в свидетели *суда Божия*, как говорили в старину, — *удовлетворения дворянской чести*, как говорят ныне, — с одинаковою основательностью. В десять часов утра мы съехались, раскланялись друг другу с возможною любезностью, и между тем как секунданты отошли в сторону торговаться о шагах и осечках, противник мой, видно по пословице: «утро вечера мудренее», подошел ко мне ласковый: тише воды, ниже травы.

— Мне кажется, капитан, — сказал он мне, — нам бы не из-за чего ссориться.

— Без всякого сомненья, нам не из-за чего ссориться, но драться есть повод, и весьма достаточный. Я обижен вами как человек, как русский и как офицер, — пули решат наше дело, — отвечал я.

— Но как решат, капитан? Убитый будет всегда виноват — а убитым можете быть и вы.

— Что ж делать, м. г.! Я ль виноват, что в вашем свете право заключено в удаче? Убьют — так убьют! Меня повезут тихомолком на кладбище, а вы поедете в театр рассказывать в междудействии о своем удалстве.

— Вы говорите об этом по преданию, капитан. Нынешний государь не терпит дуэлей; и если кто-нибудь из нас положит другого, — ему отведут келью немного разве поболее той, в которую опустят покойника. Подумайте об этом, капитан!

— М. г.! обидчик вы, а не я; ваше дело было подумать о следствиях прежде, чем так дерзко шутить насчет другого!

— Но я вовсе не полагал, что вы знаете по-французски: вы сами сказали, что не говорите на этом языке.

— Значит вы, м. г., плохо знаете русский язык, когда слово *не говорю* принимаете за *не понимаю!*

— О! что касается до русского языка — я предаю вам его целиком! Мне вовсе неохота ломать копье за мадам Грамматику; а так как я вижу, что вы благоразумный и достойный человек, капитан, то за удовольствие сочту кончить все по-приятельски.

— Благодарю за приятель, м. г.; я не имею привычки дружить под влиянием пуля или пробок! Мы будем стреляться!

— Если за этим только стоит дело, — мы будем стреляться; но, как философы, как люди повыше предрассудков, — так, чтобы и волки были сыты и бараны целы. Послушайте меня, — примолвил он тихо, отводя меня в сторону, — я знаю, что я не совсем прав; но разве вы вовсе не виноваты?.. Вы можете принять, что я говорил о вас заочно, — а заочно и про царей говорят!.. Я с своей стороны будто не слышал чего-то резкого, вами в лицо мне сказанного. Сделаемтесь же, как многие делываются. Выстрелим друг в друга, но так, в сторону, мимо, понимаете? Об этом никто не будет знать: можно надуть даже самих секундантов. После выстрела я попрошу у вас извинения — и дело в шляпе, и шляпы на головах. После все станут кричать: вот истинно храбрые, благородные люди: один умел сознаться в своей ошибке, а другой остановиться в пору. Конечно, я мог бы попросить извинения и раньше — но извиняться перед дулом пистолета — это как-то нейдет, не водится; пожалуй, иной злословник скажет, будто я струсил, — а я дорого ценю свою честь!.. Итак, по рукам, любезный капитан!

Не можешь себе вообразить, какое глубокое презрение почувствовал я, видя столь бесстыдное хвастовство, прикрывающее столь расчетливое унижение, — и в ком же? В человеке, который по привычке, если не по духу, должен быть храбрым или, по крайней мере для мундира, если не для лица, — храбрым казаться! «Не могу верить, — говорил маркиз Граммон, — чтобы Бог любил глупых». Не хочу верить, говорю я, чтобы женщина могла любить, а мужчина уважать труса. Я так взглянул на него, что он потупил глаза и покраснел до ушей. Не сказав ни слова, указал я ему на секундантов: они приближались с готовыми пистолетами; мы сбросили плащи и стали на тридцать шагов друг от друга. Каждому оставалось пройти по двенадцати до среднего барьера. Марш!

У меня секундантом был один гвардеец, премилый малый и прелихой рубака... «в дуэлях классик и педант», он

проводил в Елисейские поля и в клинику не одного — как друг и недруг. Он дал мне добрые советы, и я воспользовался ими как нельзя лучше. Я пошел быстрыми широкими шагами навстречу, не подняв даже пистолета, — я стал на место — а противник мой был еще в полудороге. Все выгоды перешли на мою сторону: я преспокойно целил в него, а он должен был стрелять на ходу. Он понял это и смутился — на лице его написано было, что дуло моего пистолета показалось ему шире кремлевской пушки и готово проглотить его целиком. Со всем тем... стрелок по ласточкам хотел предупредить меня, заторопился, спустил курок — пуля свистнула, и мимо. — Надо было видеть тогда лицо моего героя. Оно вытянулось до пятой пуговицы.

— Прошу на барьер! — сказал я ему — он не слышал, он стоял как алебастровый истукан.

Наконец секунданты подвели его к барьеру, — и так силен предрассудок над духом, не только умом людей слабых, что он выискал в стыде замену храбрости и принудил себя улыбнуться в тот миг, когда бы со слезами готов был спрятаться в кротовую норку, придавленную его пятою. Секундант его с дипломатическою точностию поставил бок, с пистолетом, поднятым отвесно против глаза, для того, говорил он, чтобы по возможности закрыть рукою бок, а оружием голову, хоть прятаться от пули под ложу пистолета, по мне, одно, что от дождя под бороной.

Это плохое утешение для человека, по котором целят на пяти шагах, и как ни вытягивался противник мой, чтоб наименее представить площади пуле, но если б он превратился даже в астрономический меридиан, все еще оставалось довольно места, чтобы отправить его верхом на пуле в безызвестную экспедицию. Я два раза подымал пистолет и два раза опускал его поправить кремень, наслаждаясь между тем страхом хвастуна, — наконец мне стало жаль его, или, прямее сказать, он стал мне так презрителен, что я подумал: «Для таких ли душ изобретал порох Бартольд Шварц, а Лепаж тратил свое искусство?» — отворотился и выпалил на воздух. Противник мой чуть не запрыгал от радости — и схватил было меня за руку, если б я не спрятал ее в карман.

— Господа! — сказал он, обращаясь к секундантам. — Теперь, выдержав выстрел — (ему следовало сказать: «выслушав выстрел»), — я долгом считаю просить у моего противника извинения... то есть прощения, — примолвил он, ваяетя, что мой секундант принялся снова заряжать пи-

столеты.— Я был, точно, виноват пред ним,— довольны ли вы этим? Что ж до меня касается — то отныне я стану говорить всем и каждому, что г. Правин самый храбрый и благородный офицер.

— Жалею, что не могу отплатить вам тем же,— сказал я своему противнику.— Господа! благодарю вас... прощайте!

— Лихо! — сказал мой секундант, влезая за мной в карету.— Она помчалась в город.

С.-Петербург.

От того же к тому же

Два дня спустя

В Кронштадт.

Перевяжи узлом мой брейт-вымпел, любезный друг, опусти его в полстеньги, вели петь за упокой моего рассудка,— приказал он долго жить! его стоит выкинуть теперь за борт, как пустую бутылку. Да и какая бы голова устояла против электрической батареи княгини Веры? До сих пор мне казалось, что привязанность моя к ней — одна шалость; теперь я чувствую, что в ней судьба моей жизни — в ней сама жизнь моя. Сначала в воображении моем любовные узлы путались со снастями,— еще фрегат наш заслонял порой милый образ своими лиселями¹, и бурное море оспаривало владычество у любви,— теперь же все соединилось, слилось, исчезло в княгине — не могу ничем заняться, ничего вообразить, кроме ее,— все мои мечты, все страсти мои скипелись в три магические буквы: она. Это весь мой мир, вся моя история. Но что я рассказываю, но кому говорю я! Может ли бесстрастный человек постичь меня, когда я сам себя не понимаю! Можешь ли ты, со своим медным секстаном, со своими вычислениями бесконечно малых, охватить это новое, лишь сердцу доступное небо, определить быстроту и путь этой реющей по нем кометы? — По крайней мере ты можешь пожалеть меня, своего друга,— меня, который не завидует ничему в обеих жизнях,— ни венку гения на земле, ни крыльям серафимов в небе,— ничему, кроме взаимности Веры. О! если б ты видел теперь мое сердце и если б ты был способен к поэ-

¹ паруса, сбоку других поднимаемые.

зии, ты бы сравнил его с Мильтоновым эмпирием, оглашенным битвою ангелов с демонами!.. Оно — да нет у меня слов выразить, что такое переполняет, волнует, взрывает его! — Может ли сказать какой-нибудь путешественник-дэнди, скрипя табакеркою, выточенной из лавы: «Я знаю, что такое лава!» — Вот мое письмо — вот мое сердце. Не станем же переводить высокое на смешное, не станем точить игрушки из молнии. Но могу ли не говорить о ней, когда о ней одной могу я думать! Очень знаю, что мое болтанье для тебя несноснее штиля, скучнее расходной тетради офицерского стола, где все страницы испещрены рифмами: водки — селедки, шпеку свиного — ук-сусу ренского — и тому подобными, — но если ты не хочешь, чтобы друг твой задохнулся от сердечного угара, то читай волей и неволею, что я неволею пишу.

В самый день моего глупого поединка я поскакал к княгине, несмотря ни на какие приличия. Мне хотелось показать ей, что я жив, что я не трус, ибо мысль показаться трусом в глазах всякой женщины была бы для меня нестерпима, а в ее глазах вовсе убийственна. Колокольчик прозвенел.

— Княгиня в саду — княгиня изволит прогуливаться.

— С кем?

— Одна-с!

Бросаюсь туда опрометью, сердце бьет рынду¹ — замечаю ее на траверзе² и прямо прыгаю к ней наперерез, через цветник, — встречаюсь — и что ж? Останавливаюсь перед ней без слов, без дыхания — в глазах у меня кружилась огненная метель — а язык будто растаял. Бездельная опасность протекла между нами, как долгие лета разлуки, и уже сколькими чувствами надо было поделиться, сколько променять рассказов! Я был так рад и так смущен, что забыл скинуть шляпу. Хорош был я, нечего сказать, — зато и она была не лучше. Румянец пропадал и выступал на белизне ее щек попеременно; она протянула навстречу ко мне руки, она готова была вскрикнуть от изумления, заплакать от радости — да, да, от радости! Это не была мечта самолюбия. Сладостна, неизъяснимо сладостна была для меня эта немая сцена — отрадно — это лицо, горящее ко мне участием, — и все исчезло вмиг, подобно туману, который принимаешь иногда за берег: дунет ветер и спашнет обетованную землю!

¹ спласной звон колокола, обыкновенно в полдень.

² то есть сбоку.

Княгиня оправилась; никакого выражения, кроме обыкновенного участия, не осталось на ее лице.— Боже мой, что за хамелеон светская женщина!

— Как я рада вас видеть здоровым и невредимым, капитан,— сказала она мне.— Скажите скорей, как вы кончили вашу ссору с N. N? Где он, что с ним случилось?

— Я оставил его на месте,— был ответ мой: я был уколот ее участием к моему противнику.

— Бог мой — вы убили его! — вскричала княгиня.

— Успокойтесь, княгиня: он будет долголетен на земле.— Я оставил его здоровее, чем прежде поединка.

— Но зато сами стали менее прежнего добры: вы испугали меня. Сколько раскаяния дали бы вы самому себе, сколько слез родным, если б его убили! Поверите ли, что я вчуже не спала целую ночь,— мне все представлялись кровавые сцены поединка и страшные следствия его для вас.

— Ценою вашего сожаления, княгиня, готов бы я купить самое злейшее несчастье и, что еще более, не роптать на него. Но не только участие — ваше мнение ценю я так высоко, что поспешил сюда нарочно: рассказать, как было у нас дело. Я уже довольно знаю свет и уверился, что он злобно осуждает дерзающих вступить в заветный круг его,— я хочу предупредить толки злоречия. Пусть другие говорят обо мне, что угодно, лишь бы вы, княгиня, лишь бы вы одни худо обо мне не думали.

Я рассказал ей дуэль нашу.— Я кончил... Она молчала... в глазах ее, обращенных к небу, блистали две слезы, лицо горело умилением; какое-то нектарное пламя протекло, облило мое сердце... Я сам готов был плакать бог знает отчего — я жаждал упасть к ногам ее, распасться в прах у милых ног — я не дерзал и думать поцеловать их — мне довольно было бы прильнуть устами к следу ее стопы, к краю ее платья,— и я не смел того — я был уже слишком счастлив ее присутствием, слишком несчастлив моими желаниями — я был просто безумен, друг мой! Но за этот припадок сумасшествия я бы отдал всю мудрость веков и все собственное благоразумие! К нам приближались. Княгиня встала, закрыла на миг рукою глаза — и потом, краснея, приподняла их.

— Вы не будете вперед играть так своею жизнью,— сказала она,— я требую этого, обещайте мне это.

— Вы заставите меня любить жизнь,— отвечал я,— вы... — я не сумел сказать ничего лучше; я не смел сказать ничего более.

«То-то простак! — скажет какой-нибудь Ловлас, — потерять такую драгоценную для признания минуту!». Пусть так... минута эта была потеряна для любви, но не для сердца... глаза наши встретились, — о, — она меня любит, она любит меня!!

С.-Петербург.

2

Frailty — thy name is, woman!
*Shakespeare*¹

В кругу молодых повес и полустарых петербургских степенников всех более понравился Правину бывший секундант его, ротмистр Границын. Как представитель нашего военного дворянства, он стоил изучения, потому что крайности рисовались на его нраве резкими чертами. Правин нашел в нем и более и менее, нежели ожидал. Богат, и в долгах по маковку — и за редкость с рублем в кармане. Умен — и вечно делал одни глупости. Вольнодумец — и трется в передних без всякой цели. Надо всем смеется, а не смеет ничем пренебречь; всех презирает, и все им помыкают. Храбрейший офицер, и не имеет довольно смелости, чтобы иному мерзавцу сказать *нет!* Благороден в душе — и, краснея, бывал употреблен на недостойные поручения, участвовал в постыдных шалостях, — одним словом, человек *без воли*. Существо, которое в светской книге животных значится под именем: *добрый малый* и *лихой малый*... название самого эластического достоинства, как резинные корсеты, — оно для неразборчивого нашего племени заключает в себе всякую всячину, начиная с людей истинно благородных и отличных, до игрока, поддериживающего карты, и виртуоза, подслушивающего у дверей, — терпимость истинно христианская, достойная подражания! Пускай себе возьмется французы да англичане со своим общим мнением: мы и без этого рогаля живем припеваючи.

Со всем тем любопытно, если не приятно, бывало рас- сидеть с ним вечер иль присоседиться к нему за обедом. Где не был, чего не видал он? Хотя по привычке он большую часть жизни промаячил с пустейшими людьми, — но

¹ Ничтожество — имя твое, женщина! Шекспир (англ.).

он мог ценить живой ум в других и случаем читывал дельные книги. К привязчивому, чтоб не сказать наблюдательному, духу от природы прижил он невольную опытность. Он недаром проел с приятелями свое имя, недаром отдал женщинам свою молодость. От обоих осталась у него пустота в кармане и душе,— а на уме едкий окисел свинцовой истины. Им-то посыпал он щедрою рукою все свои анекдоты о походных проказах, все рассказы о столичных сплетнях. К чести Границына прибавить надобно, что он был самый откровенный болтун и самый бескорыстный злоязычник. За душой у него не схоронится, бывало, ни похвала врагу, ни насмешка приятелю — и часом он беспощадно смеялся над самим собою. Иной бы сказал: «это апостол правды»; другой назвал бы его кающимся грешником; третий произвел бы в «Ювеналы — бичеватели пороков!» — он не был ни то, ни другое, ни третье. Не хотел он сам исправляться, не думал исправлять ближних, зато не думал и вредить им. Он был твердо убежден, что там, где ценится лишь наружность добродетелей, не укор скрытые пороки; а потому злословие есть лишь гальваническое средство пробуждать смех в притупленных сердцах. Этим исполнял он невольно наклонность нашего времени — разрушать все нелепое и все священное старины: предрассудки и рассуждения, поверья и веру. Век наш — истинный Диоген: надо всем издевается. Он катил бочку свою по распутьям всех стран, давая ей цветы и грибы без различия. «Не заслоняй солнца, не отнимай того, чего дать не можешь», — гордо говорит он македонскому Дон-Кихоту — и потом освистывает Платоново бессмертие, и потом с циническим бесстыдством хвастает своею наготою. Люди ныне не потому презирают собратий, что себя высоко ценят, напротив, потому, что и к самим себе потеряли уважение. Мы достигли до точки замерзания в нравственности — не верим ни одной доблести, не дивимся никакому пороку.

Но, слава богу, не все таковы. Есть еще избранные небом или сохранные случаем смертные, которые уберегли или согрели на сердце своем девственные понятия о человечестве и свете. Издали жизнь им кажется заветным садом, и они с неизъяснимым любопытством читают на воротах Дантову надпись: «Per me si va nella citta dolente!»¹ и думают: «Как жаль, что я не знаю по-итальянски,—

¹ Через меня лежит путь в город страданий (ит.).

я бы разгадал эту заманчивую загадку». Таков был Правин. Из корпуса он перешел на палубу, и как прежде каменная стена граничила его ребяческий мир — теперь его миром стал безграничный океан. Он хорошо узнал нрав моря, но где мог он узнать характер людей? Знакомо стало ему лицо неба: по малейшему его румянцу, по малейшей морщинке облачной предугадывал, предсказывал он все прихоти погоды, — но лицо женщины... о, это на каждой минуте приводило его в замешательство, ставило в тупик. Какое-то темное, но верное чутье говорило ему: «не верь и половине того, что говорят и выказывают люди», но вот вопрос: «какой половине не верить?» — Явившись в свет с твердым сомнением, с решительным намерением быть настороже от всех и от всего, таял он от первого, казалось, душой затепленного взора, готов был отдать последнюю пуговицу, не только денежку за квакерское пожатие руки. Зная страсти и обязанности только по слуху или из редких романов, им читанных, он загорелся любовью, как от молнии, предался ей, как дикарь, не связанный никакими отношениями. Океан взлелеял и сохранил его девственное сердце, как многоценную перлу, — и его-то, за милый взгляд, бросил он, подобно Клеопатре, в укус страсти. Оно должно было распуститься в нем все, все без остатка. Следя свою звезду-княгиню повсюду, он не мог уже снести уединения, которое <так недавно> было ему сладостно, — уединение стало ему одиночеством — и он кинулся в рассеяние. Быть с нею или не быть с собой — вот мысль, которая овладела им, и он начал посещать гульбища, театры, гостиницы. — В один из таких дней он сошелся, в одном из лучших трактиров столицы, с ротмистром Границыным. «А, дружище!» Сели за обед рядом, слово за слово, бокал за бокалом — языки разгулялись, и сердца зашипели, словно шампанское. «За Балкан, за Саган-Лук! за Варну, за Ахалцых! за счастье России, за славу царя!» Было тогда чем пить, было и за что пить.

— Ну, теперь черед за женщин, за прекрасных петербургских дам! — сказал Границын Правину. — Не знаю, право, почему, только искони, где слава, тут приплетаются и дамы — уж не затем ли разве, что сама слава — женщина? Итак, *pro teterrima causa omnis belli*¹, я страх люблю этот английский тост. *I like the woman too, forgive my*

¹ за сокрытую причину каждой войны (лат.).

folly¹, как говорит Байрон. *Amour aux dames, honneur aux braves!*² Черт меня возьми! Шампанское — славный самоучитель: оно свой язык вяжет, а чужим учит!.. Я скоро стану язычником, как Иосиф Сенковский: Аллах верды!³ Пей же скорее, *amico diletto*⁴, шампанское выдыхается так же скоро, как и добродетель женщин!

— Ты опять принялся за свою старую песню, неисцелимый грешник, — отвечал Правин, осушая бокал до капли. — Видно, брат, укололся шипами, а бранишь розы.

— Шипами! шипами строгости небось? Ха-ха-ха! да ты презабавный чудак, *mon cher*, ты своим простодушием не испортил бы ни одной классической комедии, в которой все ваши братья-моряки одного набора и одного разбора. Клянущая громом да молнией и пьют пунш вприкуску со здравым смыслом. Шипы у тафтяных роз! ха-ха-ха! — да эдаких диковинок не показывал в Петербурге сам Пинетти. Впрочем, не думай, пожалуйста, будто я хочу тебе хвастать победами, как пехотный подпоручик, и божиться по киевским святым, что нет такой дамы, которая б устояла против огня стальных моих очков и гармонии серебряных шпор!! Удача, — с одной стороны, прихоть, с другой — случай, и если мне подчас доставалось веером по пальцам, из этого следует только, что я не был счастлив, не то, что они были неприступны.

— Границы! помни, что унижение паче гордости!

— Испытай сам, увидишь. Стоит тебе раз попасть в *оглашенные* с какою-нибудь модницею — так расхватают по пуговкам. В этом, правда, чаще всего удастся дуракам; но ведь у тебя, слава богу, на лбу не написано: *здесь живет разум!* Притом же моряк в обществе — редкость и новинка! Иная красавица возьмет тебя из любопытства, чтоб увериться, не кусаешься ли ты. Другая, чтоб похвастать любезным земноводным, которого надобно держать на розовой ленточке, чтобы не юркнул в воду. Не теряй поры, Правин. — я предсказываю тебе легкие победы!..

— Та беда, что я до легких побед не охотник.

— Бери вещи, как они плывут, а не как издали кажутся... Нам не перестроить на свой лад света — пристроимся же мы к его ладу. Да и правду сказать, для меня смешна эта рыцарская любовь, которая чакла, глаза на окошко

¹ Охотник я и до женщин — простите мне эту глупость (англ.).

² Любовь дамам, честь храбрым! (фр.)

³ Бог дал! — Заздравное восклицание мусульман.

⁴ милый друг (ит.).

своей Дульциней. Бог создал мир и человека в шесть дней, а мы станем любить вечно! Это что за известие! Любовь—весна сердца, но у весны много цветов... рви же розы и ландыши. Хорошо бордо в пол-обеда, но теперь лучше эперне... Посмотри на эту пену—это светская любовь, *mon cher*,—она резва и сладостна,—но она мгновенна—пей ее на полету!

— Я не понимаю тебя, Границын. Ты потчевашь меня светскими радостями, как будто бы они у тебя в погребу, как будто б мне стоит только оттолкнуть пробку, чтоб они полились рекою.

— Славно, милый; право, славно! В тебе будет прок. Сперва у тебя не было и охоты, а теперь уж недостает только возможности. Вот тебе правило: «смелость берет города...» Я уверен, что тебе недолго носиться с пустым сердцем, как с сумою по миру... Столичные дамы такие добрые, такие чувствительные, а ты так свеж и занимателен, что грех заставить вздыхать понапрасну.

— И ты говоришь о подобных связях так легко и равнодушно, будто о трюфелях...

— Да неужели ты думаешь, что они для модного света важнее, чем трюфели? Разуверься, *mon ami*! Наше воспитание обстригло у страстей ногти, и потому они мало опасны. Девушки у нас расчетливы на женихов; дамы осторожны с любовниками—ни те, ни другие не захотят себя компрометировать, но разогни у последних молитвенник—ты увидишь науку любить в переплете под крестами. Да я их за то и не виню. Откровенно говоря, смех и горе, как у нас совершаются свадьбы! Мы торопимся жить, а жениться опаздываем: всякий хочет добиться до штабских или генеральских эполетов, чтобы дорожке перепродать их по рядной записи. Невеста идет в придачу к приданому, а как сочтутся на деле: смотришь, у невесты недочет душ, у жениха даже тела. И вот наш его высокоблагородие или его превосходительство, которому уже в семнадцать лет не за чем было ездить в Египет за разгадкою таинств природы, изволил жениться. Жена у него профессор туалетного богословия. Рукава пух с новоизобретенным механизмом; носки башмаков тупее ума графа Сивича; шаль продень сквозь кольцо, но вряд ли саму ее вденешь в ухо. Она скачет верхом и стреляет влет; она играет и поет—только песни ее не всегда под голос мужа. Хороша ли, нет ли она собой, но она молода, она желает нравиться и наслаждаться, она умеет спрягать глагол я хочу не хуже г-жи

Линиоль; а что находит она в благоверном своем супруге? Под сукном да ватой — завернутый фланелью барометр, наполненный сладкою ртутью. Находит усталого, чахлого человечка, который по утрам кашляет, целый день зевает и каждый вечер скучает или докучает. День-деньской он на службе, а ночь в гостях: или играет до утренних петухов, или хочет победить питухов за бокалом; он весь век будто маятник между бутылкой бургонского и склянкой с лекарством. Хорошо еще, если он не отправляется тратить случайную искру веселости и здоровья с какой-нибудь актрисой. Таковы, брат, все мы гуси: чего же тут ждать доброго! Жена поневоле станет бегать из дома — там пахнет пустою! Кончается тем, что дом ее будет в ложе первого яруса, отечество — в английском магазине, а рай — на балу... Глядь... молодежь увивается около нее, словно хмель, — и вот какой-нибудь краснощекий франтик приглянулся ей более других. Рассыпается он в объяснениях мелким бесом, — насчет ума наши дамы неприхотливы, — и, если запоздает почта из Парижа, принимают и вывороченные доморощенные нежности. Клянется он так, что ведьмы крестятся от ужаса, и нередко, проигравши и прогулявши всю ночь напролет, уверяет, что бледен с отчаяния от ее жестокости. Она, разумеется, ничему этому не верит, но с должным для чиновной дамы приличием, с ноги на ногу идет навстречу к обману для того, чтоб при случае броситься в кресла, закрыть платком глаза и сказать: «вы, сударь, — камень, вы, сударь, — лед, вы — злодей, вы меня обольстили!» Ну долго ли до беды? хоть беды в том никакой я не вижу. А Мефистофель тут как тут со своим носом. Он, скаля зубы, уже готовит его превосходительству рожки самой лучшей работы — точеные и позолоченные.

— Ты клеветешь, — вскричал Правин, — ты сочиняешь из головы злые пасквили на общество! Я недавно трусью между вами, однако же не заметил и тени, не только следа, того разврата в нравах, какой ты проповедуешь. Мне кажется, напротив, петербургские дамы чересчур щекотливы и недоступны.

— Нет, mon cher! — вскричал проказник Границын, поперхнувшись от смеха, — это из рук вон! Уж не служил ли ты, полно, под команду первого адмирала, Ноя, гардемаринном? С твоею допотопною простотою не уйдешь ты у женщин далее гостиной: я тебе пророчу это. Верить щекотливости и недоступности здешних дам — так верить всякой эпитафии. Правда, потемкинский век миновал для

любовников, но не для любви. Теперь дама не краснеет приехать на бал с мужем или поцеловать его в лоб при многих, а с кавалером-сервенте своим — говорить о разводах, о семипольном засеке и о Викторе Гюго. Но утешься, милый: купидон возьмет свое. Она знает, что хромоногий бес не снимет кровли с ее будуара, что замок ее спальни, чуть тронутый, наигрывает «*reveillez-vous, belle endormie*»¹ и что нескромный взор не упадет на трюмо, перед которым она примеривает или поправляет пелеринку у своей *marchande des modes*². Благодаря европейскому просвещению и столичному удобству у нас все репутации так же круглы и белы, как бильярдные шары, — по какому бы сукну они ни катились.

Доброе, чистое сердце Правина сжалось, внимая этой холодной повести о пороках общества, украшенных столь блестящею личиною смиренности.

— В самом деле, — молвил он с горькою улыбкою, — я знал не более устрицы о нравах света в корабле своем! Я постигаю в женщине слабость; могу представить, что страсть может увлечь ее; но поместить в свою голову мысль об этом глубоком, расчетливом, бесстрастном развороте — это выше сил моих! Я видел в Турции одну баядерку — она вынула из-под подушки своей вески и медленно взвешивала предлагаемые ей червонцы, надбавляя цены, глядя в очи путника. Не так ли взвешивают твои дамы сердечную забаву, бросая в другую чашку возможность скрыть ее! Они берут оброк и с титула добродетели — уважением, и с сущности порока — наслаждениями. О свет, свет! ты даже из самой невинности делаешь новый порок, заставляя порочных быть самозванцами и скрываться под краденым у тебя платьем!

— Ты напрасно горячишься, — возразил ротмистр. — Лицемерие есть невольная дань нравственности, а всякая дань — узда. Нередко знатные дамы обязаны сохранением своего имени без пятна мелочному расчету не запятнать своего платья, и я уверен, что китовые усы в старину сохранили более браков, чем в наше время разорвали их гусарские усы. Пускай же плетут пустые люди кружева из песку, называемые модою; пускай себе старушки в чепцах и фраках с важностью рассуждают о лучшем способе чихать за обедней и кланяться на выходах: без этих вздо-

¹ «проснись, спящая красавица» (фр.).

² модистки (фр.).

ров лучшее общество сгнило бы, как Пресненские пруды. Не бывать в локани буре — так ему надобна мутовка. Впрочем, будем беспристрастны, топ сгег. Слова нет, свет очень развратен, но совершенства, слава богу, нет и в этом. Природа — великое дело. Она хоть и не смеет горланить в гостиной, как в трагедии, но в тиши кабинета обращает в свою веру многих. Бывает, что связь, начатая минутною прихотью, очищает огнем своим сердца и переливается в долгую, бескорыстную страсть, готовую на все жертвы, выкупающую все заблуждения, — страсть, которая бы сделала честь любому рыцарю средних веков и любому человеку во всех веках. Я, не верующий ни в невинность мужчин, ни в верность жен, — я сам...

Границын глубоко вздохнул и умолк в раздумье... перед его очами носились образы милые, но укорительные...

— Да, — молвил он печально про себя, — да, я ее не стоил!..

— Послушай, Границын, мне жаль тебя, — с чувством сказал Правин, — и я не могу понять, как, проповедуя против пороков не хуже Саллюстия, ты плясешь по дудке, не говоря уж как Саллюстий, но как Репетиллов в «Горе от ума»!

— Таковы все мы, рожденные на границе двух веков, милый мой; восемнадцатый нас тянет за ноги к земле, а девятнадцатый — за уши кверху. Не разберешь, право, что мы такое: ни рыба, ни мясо, ни Европа, ни Азия. На прошлое мы недоумки, в настоящем недоросли, а в будущем недоверки, чуть ли не «Spottgeburt aus Dreck und Feuer»¹. Животным привычкам нашим любо валяться в грязи-матушке; но ум уж проснулся; ум просит поест и хочет разгрызть орех современного просвещения, да жалуется, что у него болят зубы от свекольного сахара.

Правин был недоволен оборотом разговора. Макиавель и Купидон — заклятые враги друг друга. Ему хотелось получше изведать море, называемое женщиною; а когда он думал о женщинах вообще, это значило, что он разумел в особенности княгиню Веру. И вот он искусно свел разговор на прежнее.

— Неужели, — сказал он Границыну, — развращение столичное так всеобщее? Неужели не найти дамы, на чье доброе имя, как на этот хрустальный бокал, не вползти ни одному червяку злословия?

¹ «Выродки брения и огня». Гете (нем.). <Перевод автора.>

— Я не обер-полицеймейстер, милый друг; мне ведь не подают списков о числе рогатого племени в столице. Буало насчитал в Париже до двух Лукреций; Пушкин в целой России не находит трех пар стройных ножек,— я принимаю то и другое за клевету, и, хотя суровые сердца должны быть реже, нежели маленькие следки,— со всем тем я в самом Петербурге назову тебе более дюжины верных супруг.

— И, верно, в числе их поместишь жену Мирона Ильича Н. и княгиню Веру, жену князя **?

Произнося, однако ж, последнее имя, Правин покраснел как маков цвет. Первая любовь не может равнодушно слышать любимого имени, не может без замешательства произнести его.

— Про первую ничего не скажу, и этого уж довольно к ее чести, а другая московская звездочка — гм! она так недавно блеснула на петербургском горизонте... она еще в медовых месяцах супружества, — где ей просветиться! где успеть злословию подстеречь ее, если б что и было?

Лицо Правина прояснело.

— Если б что и было! — молвил он. — Никогда и ничего не может быть.

— Ты не членом ли страхового общества, Правин? — насмешливо возразил ротмистр. — Смотри, друг, — обанкрутишься, если принимаешь на поруки такие ломкие вещи. Важное слово *нет*, а *не может быть* еще важнее. Постой-ка, дай бог памяти... княгиня Вера... гм!! Князь Петр!.. он толст и прост, она красавица и мечтательница.. скорее соединишь масло с шампанским!.. Ну, я раскину, словно на картах... между ними улегся какой-то червонный валет — это дипломат-поэт, кудрявый архивариус коллеги, для него иностранных дел. Этот поэт ищет себе напрокат вдохновения и пожаловал, кажется, княгиню в музы. Слепой разве не заметит, как увивается он около нее, как оборачивается следом за нею, будто подсолнечник. Куда бы княгиня ни явилась, он как гриб из-под земли вырастет; ни дать ни взять, сказочный сивка-бурка, вещий каурка. На бале у австрийского посланника он напевал ей что-то на ухо в продолжение високосного котильона: вероятно, читал седьмую главу «Онегина»! Ну, пускай мне первый мой враг скажет: «comment vous portez-vous?»¹ в глаза, если между ними чего-нибудь не заводится. Я старый воробей: меня, брат, не озадачат никакие маски.

¹ «как вы поживаете?» (фр.).

— Его имя? — заботливо спросил Правин.

— Ты знаешь его в лицо, не только по имени. Да если и не знаешь, так заметишь с первого взгляда, когда найдешь их вместе. Один разве бесстрастный муж или страстный влюбленный может быть так слеп, чтоб ничего тут не видеть.

— Его имя? — с бешенством повторил капитан.

Кровь его кипела.

— Иероним Ленович.

Как шпага пронзило это имя сердце Правина, и на него низались уже в его памяти тысячи вероятий, тысячи сомнений. Да, точно, он сам видел их не однажды вместе, он перехватывал их умильные взоры!.. Правин уже не слышал более, что говорил товарищ. Сердце его дрожало, будто в лихорадке,— кровь то стыла, то жгла его... невнятный ропот исчезал на губах. Он пожал Границыну руку — бросил на стол ассигнацию и, не ожидая сдачи, вышел, поскакал домой. Отрывчатые восклицания и мысли сталкивались. «Так молода и так коварна! И к чему было обманывать меня сладкими речами и взорами — зачем манить к себе?.. Или она хочет забавляться — дурачить меня! держать вблизи вместо отвода! — меня дурачить! Нет, нет, этому не бывать — скорей я стану ужасен ей, чем для кого-нибудь смешон. И кто бы мог подумать, кто бы!.. Впрочем, быть может, все это вздор, зависть, пустые сплетни... да и что мне до этого?.. чем я привязан к ней, чем она мне обязана? А хотелось бы узнать, однако ж, истину — так, из одного любопытства,— я бы посмеялся ей... я бы заставил ее плакать кровью!.. Но как добраться до открытия в городе, в котором редкий муж дерзнет поклясться, целуя жену свою вечером, что целует ее сегодня — первый, где потому только все невинны, что в истинной невинности можно усомниться, а истинной вины нельзя доказать».

И сон не освежил Правина. Под изголовьем его шевелились ревнивые мечты,— и сколько насмешек наготовил он для первой встречи с княгиней Верою, для первой сшибки с ее угодником!

— Дай только мне увидеться с нею,— говорил он, скрежеща зубами.

И всему этому виной были слова Границына, слова, основанные на пене шампанского и на желчных догадках болтуна. Бегите, юноши, встреч, не только дружбы с подобными людьми! Они безжалостно обрывают почки доб-

рых склонностей с души неопытной; они жгут и разрушают в прах доверие к людям, веру в чистое и прекрасное; боронят пепел своими правилами — и засевают его солью сомнения.

Капитан-лейтенант Правин
к лейтенанту Кокорину

3 августа 1829 года. В Кронштадт.

Еду, еду к вам, завтра же еду, любезный Нил! Да и что мне делать в этом Петербурге, в этой столице *раскрашенных снегов*¹, как говорит Байрон. Да и какой безумец выдумал влюбляться, да и какой лукавый дернул меня за полу полюбить светскую даму?.. Любить! любить! Как дико звучит это слово в свете! Отголоски, будто в пещере, повторяют много раз: любить,— но кто отвечает вам? Камни... хуже, чем камни,— пустота! Содрогаюсь от негодования!.. И я мог думать, мог верить, что любовь может уютиться в сердце, слепленном руками света! Безумец! безумец! скорее найдешь сочувствие в раззолоченном яичке для детей, на котором снаружи написаны нежности, в середине насыпаны сладости, а все вместе — дерево, сандал, крахмал и сусальная позолота. Но что говорить о том, чего не воротить! Не возвратится и любовь моя. Поздравь меня, Нилушка, я здоров; я сбросил с себя страсть к княгине Вере, вместе с модными побрякушками. Теперь, чем скорее в море,— тем лучше. Земля, кажется, горит подо мною — горит и сердце,— и лишь в туманах океанских погашу я его!!

Поговорим о деле. Ты пишешь, что адмиралтейство не дает довольно мастеровых и не отпускает хороших материалов, что во всем задержки и недопуски... Все это, все эти господа меня скоро взбесят: я буду жаловаться прямо начальнику штаба. Или воображают, что после грозы для них будет роскошнее сенокос?.. Пусть разубедятся в этом. Прошли уж те времена, когда корабельные мастера строили дома из мачтовых деревьев и крыли их медною обшивкою... Теперь едва они спроворят себе на глаголь.

Поставил ли ты козлы, чтобы переменить бизань²? Посадил ли в должный уклон бушприт³? Навесь десять, два-

¹ This famed capital of painted snows. «Childe Harold's pilgrimage». <«Паломничество Чайльда Гарольда». Байрон (англ.)>.

² задняя мачта.

³ наклонная, из носа выдающаяся мачта.

дцать на него бочек с водою, если упрямится... я терпеть не могу бушпритов, которые задирают нос кверху, словно дежурный камер-юнкер. Для марсовых септоров¹ просил ты рисунка сеток. Долой их, сбрось совсем прочь и прежние. Эти узорчатые плетенки напоминают мне дамские кружева... на последнем бале княгиня была вся ими изувешана. Ты, пожалуй, скажешь, что, верно, я пришел туда, увидел, победил. Увидел и возненавидел ее, друг мой... Стоит рассказать тебе, как это было, — может статься, для тебя это будет любопытно, а для меня как памятно! Чудом показалось тебе, что я ездил на бал; что же будет, когда я скажу, что ездил на бал незванный и в дом мне вовсе не знакомый; что я был там только из желания взглянуть на нее — и взглянуть неприятельски. Я уж писал к тебе о своих подозрениях — я жаждал или прояснить, или рассеять их — и долго напрасно. Не находил я ее дома, не встречал в городе. Наконец узнаю, что княгиня Вера отправилась на званный вечер за город, к графу Т. Как быть? Я там незнаком, туда не зван; нетерпение мое возросло до нестерпимости, ревность — до бешенства. Решаюсь хоть умереть, а взглянуть на нее. Сажусь в наемную карету и скачу на тринадцатую версту по Петергофской дороге. Приезжаю... вхожу... встречаю хозяина, — на дороге уже изобрел я предлог посещения: граф — страстный охотник до редких книг и обладает богатою библиотекою, — я прицепился к этому. «Простите, граф, флотскому чудаку неуместность его визита, но пусть необходимость извинит меня: я могу располагать только настоящею минутою и, проездом в Ораниенбаум, решил заехать к вам с просьбою. Вот в чем дело. Я пишу записки об истории мореплавания, а ваша библиотека знаменита в целой России; только у вас можно найти книги, редчайшие самых кладов, — и между прочими, я знаю, что у вас есть в оригинале путешествие испанца Гвереры в Южном океане; оно для моего предмета необходимо. От вас зависит крайне обязать меня, ссудив этой книгою для прочтения». Граф был доволен как нельзя более... цап меня под мышку и потащил в свою библиотеку. Скрепя сердце, должен я был дивиться глупостям всех форматов, типографическим редкостям в ослиной и в телячьей коже, бесценным лишь потому, что их давным-давно никто не читает... Я чихал от пыли старины — я протирал себе глаза, я проклинал и книгопечатание и книгобесие — но хо-

¹ поручни.

зьян этой кунсткамеры был неумолим и отпустил мою душу на покаяние не ранее, как перещупав спинки всех своих диковинок. Наконец, вручив мне заветные сказки испанца, пригласил в танцевальную залу,— я только того и ждал. Закрыв шляпою сердце, точно как голубка, чтоб оно не выпорхнуло, пробирался я дальше и дальше. Прелестные личики мелькали мимо в бешеном вальсе, то оперенные, то расцвеченные, то осыпанные алмазами; но как в тысячах звезд назвал бы я звезду любимую, так издали и в толпе распознал я княгиню Веру... Никогда еще не казалась она мне так прелестна, так воздушна, так идеальна! Любовь проникла и осветила все ее существо — она горела в очах, дышала устами, пробивалась лучами сквозь все поры,— зачем может быть измена столь очаровательна!.. И вдруг я заметил, к кому обращены были ее очи, кто одушевлял ее такую необычайною прелестию,— душа у меня превратилась в лед, а ум в уголь — ужасный миг! Итак, все, что мне говорено, все, что подозревал я,— правда! Итак, я потерял ее, не владев ею!.. Не замечая меня, она села рядом с вечным моим соперником. Что-то говорила с ним вполголоса — оба они улыбались от удовольствия, и порой она задумчиво склоняла голову и глаза ее подергивались туманом мечты... О, как проклинал я тогда сладкозвучную музыку. Она мешала мне слышать разговор; она, казалось, раздирала мне слух и сердце. Кровь кипела в жилах растопленным металлом... Да избавит небо злейшего моего врага от мучений ревности,— еще какой ревности! — которой я не имел права чувствовать и не смел показать; но мог ли я тогда владеть собою? Думаю, что лицо мое было страшно, потому что страшное совершалось в душе моей. В ту минуту, как они оба стали вальсировать в свою очередь, когда она подала ему свою руку,— я устремился, как тигр на добычу,— я возник перед ней, как призрак-укоритель,— и я наслаждался ее смущением, я с улыбкою видел, как погас ее взор, блиставший за миг яснее алмазов ее диадемы; видел, как поблек ее румянец, как замер льстивый голос на устах! О, сладка месть, сладка! Гомер недаром назвал ее страстью богов... Зачем же нельзя сказать того же о ревности — зачем же нету в ней, в этой адской страсти, ни одной отрадной капли, напоминающей небо!

Я отвратил мое медузино лицо от испуганной четы — и скрылся. Я мчался во весь опор... «Катай, извозчик, удуши лошадей — пять, десять, двадцать рублей тебе на

водку!» Я летел — колеса жгли мостовую; я хотел закружить себя быстротой — упиться самозабвением, — напрасно! Чудные чувства бушевали в моей груди — то я давал полный разгул моему негодованию и смотрел на княгиню и ее Миловзора с ледяной высоты презрения. Стоит ли взора, не только вздоха, женщина, которую слепит мишура, пленяют пошлые каламбуры? Потом горячая, глубокая зависть пронизала душу: я завидовал, и чему же! блистательной ничтожности светских любезников, их кукольной развязности, их птичьей болтовне с дамами, — мало этого: я завидовал приманчивому богатству глупца, связям мерзавца, даже искусству бездельника делать огромные долги, уменью игрока обыгрывать в карты, низости продавать себя дорого или учтиво грабить других, средствам, принятым у нас в число оптовой торговли душою, которые бы дали мне возможность часто быть с нею, дивить ее, блистать в обществе, в котором золото, какими бы путями ни было добыто оно, — дает все права гражданства!.. Правда, такое унижительное желание пролетело сквозь меня мигом — но пожалей меня, что оно могло пролететь даже мимо. О любовь, любовь! ты мать и мачеха душе человеческой — ты можешь ее возвысить до звезд — и утопить в луже. Ты делаешь героев или злодеев из людей с могучею душою; честолюбцев или мерзавцев из людей слабых духом — я ненавижу тебя, я проклинаю тебя, я срываю долой твои пути! и... о, слабость недостойная — я плачу над обломками своего ярма... Хорошо, если б я мог плакать, если б я мог еще рассуждать!

С.-Петербург.

3

Zwei liebende Herzen, sie sind wie zwei Magnetuhren; was in der einen sich regt, muß auch die andere mit bewegen, denn es ist nur Eins, waß in beiden wirkt — eine Kraft, die sie durchgeht.

*Goethe*¹

Фрегат «Надежду» приказано было изготовить к осени для дальнего похода. Его ввели опять в гавань для перегрузки трюма, для перемены некоторых частей рангоута

¹ Два любящих сердца; они подобны двум магнитам: то, что движется в одном, должно так же приводить в движение и другое, ибо в обоих действует только одно — сила, которая их пронизывает. Гете (нем.).

и стоячего такелажа. Командир судна, Правин, был уважаем как офицер отличной храбрости и познаний, и ему дали средства украсить фрегат свой на щегольство, со всеми прихотями, доступными боевому судну: бронзу на винты каронад, на решетки каютных люков, на кофельнагели, на поручни к трапам; дуб с резьбой и красное дерево по каютам. Терзаемый ядом ревности, Правин хотел деятельностью подавить тоску сердца и старую страсть заглушить новую. От зари до зари не сходил он с палубы, и ни одна безделка, ни малейшая подробность не ускользала от его внимания. Он все осматривал лично, все поправлял сам; своею привязчивостью он надоел даже Нилу Павловичу, а Нил Павлович сам был знаменит во флоте своею точностью.

— Слава богу,— сказал однажды тот лекарю Стеллинскому,— наш Илья образумился: служба как рукой сняла с него дурь. Я недаром говорил, что распыренная духами модница, любовь, убежит от смоляного духу, как бес от ладану!

— Если она и убежала, так вовсе от другой причины,— возразил Стеллинский.— Капитана исцелили мои фумигации... Он вовсе не замечал в рассеянности, что я подмешиваю в его курительный табак лекарственные травы.

Но исцелился ли полно Правин?

Между тем работы кипели, вооружение росло, и с ним вместе росло нетерпение Правина.

— Скорей бы, скорей вытянуться нам на рейд, и тотчас в море, и как можно вдаль от этого проклятого Петербурга! Вовеки нога моя не будет там! — воскликнул он однажды — и через два часа Правин стоял уже над колесом бертовского парохода, как будто считая каждый оборот его, шумно роющий воду.

И вот г. капитан-лейтенант и кавалер Правин в столице. «Да помилуйте, как ему и не быть в столице? На обсерватории у него поверяются хронометры; из Академии наук надобно ему получить ученые инструкции, из Адмиралтейства — новые карты, от начальника штаба — особенные приказания. Да и почему не остаться ему день-другой лишний? — ведь не завтра подымать якорь; у него же такой надежный помощник на фрегате!..» Мы чрезвычайно богаты на доводы, когда хотим потешить свою прихоть. Стоит только вздумать да загадать — за возможностью дело не станет.

Со всем тем гордая решимость Правина: не искать, не видеть княгини, была непоколебима. Мысли его, как улитковые линии, сходились всегда в одну точку, — и эта точка была она, — зато сам он, будто ринутый средобежною силою, все далее и далее бродил от тех мест, где бы мог встретиться с нею. Правин был поэт в прозе, поэт в душе, сам того не зная: да и есть ли на белом свете человек, который бы ни однажды не был им? Вся разница в том, что один чаще, другой реже; один глубже, другой мимолетнее. Не одни величавые красоты природы поражали и пленяли Правина — нет, он горячо любил все произведения искусства, запечатленные поэзией, в чем бы она ни проявлялась, — в стихе, в смычке, в кирпиче, в бронзе — и там, где человек слил свои труды с природою, и в том, где перетворил ее по своему безотчетному идеалу. Любовь изострила в нем чувство изящного — и теперь чувство, выброшенное из русла, разливалось прямо из сердца на все предметы, одушевляло все, его окружающее. Оно вод дышало для него звуками грустными, но приятными; воздух веял словно дружеской рукою в лицо. Он находил новый, но знакомый смысл в книгах; схватывал сладостные переливы в стихах, которые незадолго казались ему беззвучными; занимательность сказалась ему в наличнике дома, в колонне, в картине. Он иногда простаивал по четверти часа, любуясь какою-нибудь частью города, улицею, мостом, красивым домиком. Он не замечал усмешек и толчков прохожих, благоговей перед монументом Петра Великого; но всего более полюбил он бродить по великолепным комнатам дворца, известного под именем Эрмитажа... это было его наслаждение, его утешенье. Там казалось ему, что он снова повторяет свои путешествия, — и образы мира на миг заслоняли от очей души образ ненавистный и милый. — Он утихал, как дремучие болота фан-Рюисдаля, вдыхал свежесть ночей фандер-Неера, летел с кораблем по желтому Немецкому морю фан-Остада. Портреты фан-Дейка шевелились — небо Рафаэля растворялось... Правин хотел удержать камни, летящие в св. Стефана Лесюерова; врубался в ряды мидян с Пуссеном, молился с блудным сыном Мурильо. Прелестные личики улыбались ему, рыцари протягивали руки, сельский праздник манил к себе. Шумная встреча штатгалтера тянулась мимо, и будто знакомые люди кивали из толпы головою, грозили перстом из окна. Влево шумел черный лес Сальватора, вправо плескалось бурное море

Вернета,— люди, климаты, города, небеса, океаны во весь рост развивались, росли, смешивались, меркли. То был какой-то гармонический, но безмолвный танец образов, идей, веков; то был осязаемый микрокосм души человеческой, начиная с грязной вещественности Теньера до недостижимой святости Урбино,— бесконечный, как хаос, неясный, как сны, уже готовые, но еще не виданные человеком.

Правин обжился, ознакомился с обитателями этого мира, в котором дремал он наяву. Но кроме бескорыстного наслаждения рассматривать зеркальные ширмы света, закрывавшие от него досадный, настоящий свет,— Эрмитаж привлекал его прямым отношением к его страсти. В комнатах, заключающих музей Жозефины, между прелестною Гебою и танцовщицею Кановы, возвышается, его же резца, чета Амура и Душеньки. Душенька эта была, ни дать ни взять, вылитая княгиня Вера. К ее-то подножию спешил Правин отдыхать от забот службы... Отдыхать? — О, столько же отдыхает труженик на постели, усыпанной щебнем!! Нет, он спешил туда горевать наедине и высказывать подобно изменницы свои упреки, проклинать ее и восхищаться ею.

Вы, верно, видели эту прелестную купу, одно из лучших творений Кановы? Душенька, обнявшись с Амуром, любитесь бабочкою, сидящею у нее на ладони. Высока так, как небо, чиста, как луч солнца, многоплодна, как самый климат Греции, была идея выразить сочетание души с телом, или юности с любовью, любовью Амура и Психеи. Но если группа Скопаса (поцелуй их) превосходна в отношении к искусству, в отношении полноты превосходнее группа Кановы. В той вы видите символ первобыта — страсть; в этой символ нашего времени — мысль. У современного нам художника идея жизни расцвела идеею бессмертия. Вглядитесь хорошенько в идеальные лица обоих любовников: под младенческую улыбку Душеньки вкралась уже неясная дума. Она еще усмехается рассказам своего милого, но уже мечтает о преображении; загадка эта уже томит ее. Напротив, ветреник Амур едва обращает внимание на бабочку — его глаза прильнули к Душеньке, будто бабочка к розе. Положение кисти левой руки, ласкающей плечо Душеньки, на котором она покоится, доказывает, что чувство для него сладостнее думы, — а движение правой руки, кажется, молит уже: «пусть она летит, эта бабочка!» Со всем тем мысль не-

вольно бросила на лицо, на осанку обоих тень важности, в противоположность с строческими их формами. Зато какая прелесть в повороте голов, какая нега в выражении лиц, какая легкость в постановке (pose), благородство в осанке! Пламенный резец Кановы размягчил в тело мрамор, но мысль дала жизнь этому телу, сделала его прозрачным и воздушным — одним словом, вдохнула в него душу.

Вереница других сравнений, других применений мелькала в воображении Правина. Как мало лет и как много происшествий, как много исторических лиц протекло у стоп этого мрамора! Перед ним, может быть, не однажды плакала развенчанная царица французов. На нее падал мимолетный, как молния, взор Наполеона, безумствующего о завоевании мира. На него глядела толпа королей и полководцев — одни с рассеянностью пресыщения, другие с равнодушием невежества, многие с завистью: зачем это не мое! И где очутился этот мрамор из чертогов Тюильри? И потом, где те, которые любовались им так недавно? — «Одних уж нет, другие странствуют далеко!» — со вздохом думал Правин.

Поутру, в какой-то праздник, Правин, сам не зная как, очутился у стоп Душеньки. Он погрузился в глубокую думу, в живую грусть, любуясь милыми чертами. «Когда я видел тебя впервые, — думал он, — мне казалось, что ангел кликнул мою душу по имени, что ты из младости обручена мне сердцем! Безумец!.. я смеялся над этою дикою мыслию — и, влюбленный, поверил ей, предался ей... и чему после этого верить, если не верить такому лицу, — так прелесть и так коварна! столь умна и столь легкомысленна! И зачем я встретил ее, зачем дозволила она себя полюбить! — Внушить такую пылкую страсть, раздуть пожар и потом развеять пепел сердца по воздуху, не уронив даже слезы участия, не только взаимности; поманить надеждой и предаться другому!..» Правин был один-одинехонек... он тихо колебал голову, и слезы текли неслышно по его лицу.

— Вы плакали! — сказал кто-то подле него — голос этот бросил трепет во все его существо.

Сладкозвучен и нежен был он. Глубокое участие отзывалось в нем. Правин обернулся: рядом с ним стояла княгиня Вера, в газовом золотошвейном платье, в полном блеске убора, и красоты, и молодости — во всем очаровании чувства... Она была лучезарна, божественна! — Вид-

но было, что она ускользнула с выхода подышать свободнее на просторе, взглянуть на мастерские произведения резца и кисти, быть может, влекомая тайным предчувствием сердца, — «а сердце наш вещун!» — недаром сказано Дмитриевым.

— Вы плакали? — повторила она: она была тронута.

Первое обаяние прелести миновало, — вспышка негодования улетела с сердца Правина, но обиженное самолюбие — червь; оно не имеет ни ног, ни крыльев — оно осталось. Он отступил, поклонился княгине с холодной почтительностью и отвечал, краснея:

— Да, княгиня, я плакал, и горьки были слезы мои... я думал, что я здесь один...

— Неужели для вас больно, капитан, что я в ваших глазах застала слезу?.. Чудные создания мужчины: не краснея, могут хвастаться кровью друга и стыдятся слезы чувства!..

— По крайней мере я должен стыдиться этих слез — и, признаюсь, всех менее вас желал бы я иметь свидетелем такой слабости: слез моих не видал и не увидит свет, и будьте уверены, княгиня, что они не прибавят блеска ни на чье платье!

Правин никогда не говорил княгине о любви своей, но какая женщина не понимает пламенной речи взоров, румянца щек, волнения груди, трепетания руки? Княгиня и в этот раз поняла весь укор Правина. — В ее ответе видно было более чувства, чем гордости.

— Неужели вы думаете, капитан, что удел мой — одна мишура и блески, что я не знаю слез горя? — Но вы бросили стрелу еще далее, еще глубже: вы почти сказали, что я могу радоваться чужому горю. Скажите, чем заслужила я такое несправедливое обвинение — и от кого же?..

Правин смешался. Он был пойман, как школьник, который выскочил вперед для объяснений с учителем и оробел от его грозного взгляда. В таком случае начинают обыкновенно уверять, что и не думали ничего намекать против, что никогда бы не осмелились и подумать обвинять!.. Правин наговорил кучу подобных пошлостей.

Княгиня грустно качала головою.

— Капитан, — сказала она, — откровенность флотских вошла в поговорку, — вы хотите опровергнуть ее. Я уже несколько дней замечаю, что вы на меня сердиты.

Правин будто проснулся от сна.

— Я докажу вам на деле откровенность мою! — ска-

зал он горячо.— Знаете ли, княгиня, на кого походит эта Душенька!

Княгиня улыбулась с самодовольным видом, подняла глаза на мрамор и, зарумянившись, сказала:

— Многие из подруг моих находят, будто во мне есть небольшое сходство с этою статуею, но, признаюсь, я мало верю комплиентам женщин.

— Поверьте же чувству мужчины, княгиня! Сердце — не обманчивый знаток. Признаюсь вам, я уже не впервые у ног этой Душеньки. Было время, что я приходил сюда любоваться ею — высказывать ей то, чего не смел говорить ее подобию — и не мог таить в себе. Теперь... о, теперь совсем иное дело, — я пришел излить на нее свои укоры и уронить на бесчувственный мрамор слезу тоски невыразимой. Вы сами вызвали мою откровенность — услышьте же ее вполне. Да, княгиня! теперь не время притворствоваться: я не хочу этого, если б мог — не могу, если б и хотел... Не отрицайтесь, не говорите: «нет» — вы видели, вы знали, что я люблю вас — но вы не знали, как я любил вас; вы не поняли меня, не оценили этого сердца — сердца, переполненного к вам любовью!.. Видите ль эти царские сокровища? — Видели ли вы Грановитую палату? В нее каждый век сносил свои драгоценности, свои короны, свои оружия и воспоминания, — не смейтесь же сравнению: мое сердце — это Грановитая палата! его я бросил, его рассыпал бы я к ногам вашим — мои чувства, мои мысли, моя страсть — стоили бы жемчуга и золота!.. Черная из этой сокровищницы, я мог бы стать всем, чем бы только захотели вы меня видеть, — вы, властительница, царица души моей! Всем, чем вы бы велели мне быть! Сказали бы мне: *будь Поэтом!* — и через год я склонил бы свою увенчанную голову перед тою, которой обязан вдохновением. Разве не поэзия — высокая любовь моя? Разве нет пылу в моей душе? Я бы разбил ее в искры, и звуки, и мысли, — и свет ответил бы мне вздохами, и слезами, и рукоплесканиями! Пожелали ль бы вы увидеть меня героем — и что бы устояло против меня — и скоро я бы сжег ваше сердце лучами моей славы. Этого мало: я, жадный деятельности, я, честолюбец в душе, я, в котором внутренний голос говорит: «ты можешь быть многим», я бросил бы саблю и перо — отказался бы от милых бурь океана, ото всех радостей и обольщений земли, даже от страсти к познаниям, и весь век мой бросил бы слитком золота в поток забвенья, для

того только, чтобы любоваться вами, как миром, слушать, как райскую птичку; чтобы только быть близ вас часто, дышать вашим дыханием — угождать вам, боготворить вас... — но вы, вы не захотели этого...

Говоря это, Правин схватил руку княгини — между тем как его пылающие речи и взгляды пронзали сердце ее.

— Полноте, перестаньте, умолкните, капитан! — вскричала она. — Я не хочу, я не должна вас слушать. Помните, кто я, вспомните, что я, — на руке моей сжимаете вы кольцо — оно видимое звено невидимой, но неразрывной цепи, меня окружающей. Судьба моя — навек принадлежать другому!

Правин горестно опустил ее руку.

— О, если б одна судьба стояла между нами, я бы менее роптал. Я бы завидовал, глубоко бы завидовал человеку, которому досталась рука ваша, — но он сам позавидовал бы мне, если б вы отдали мне свою душу. Было время, что я веровал в это сочетание, в это супружество душ... напрасно! Поманив меня взаимностью, вы с насмешкою отвернулись от меня, отвергли мою безграничную любовь, оттолкнули мое сердце, — и не судьба, не долг супружества были тому виною, нет: иное чувство, иная любовь! Да, княгиня, — я сейчас думал: «Эта Душенька вылитая княгиня Вера, жаль только, что Амур вовсе не похож на Леновича. Будь еще это, — и всякий бы сказал, что Канова снимал эту чету с вас обоих, когда вы собирались вальсировать!»

— Удержитесь, Правин, — с жаром прервала его княгиня. — Пустая ревность ослепляет вас: Ленович — близкий родственник моего мужа и давно жених моей двоюродной сестры, Софьи З., единственного друга моего девичества. Теперь, когда я говорю с вами, он уже в Москве, он уже у ног ее. Об ней-то, об ее-то судьбе говорили мы с ним, когда вы явились незапно, неприглашенные, на бал к графу Т. Несчастный бал! несчастная Вера!.. внушить столько страсти, и несколько доверия... Нет, капитан! кто любит, тот верит, до легковёрности верит: это я знаю по себе; нет, сударь, вы не стóите, чтобы я оправдывалась. Боже мой, боже мой! Думала ли я когда-нибудь, что из пустого подозрения, из ничтожной наружности — я потеряю доброе мнение человека, которого всегда отличала, которого так много уважаю, так горячо люблю!..

Вера была увлечена досадою: досада есть лучшее средство заставить женщину высказать сердце. Но что

для опытного любовника было бы делом расчета — тут было делом случая. Последние слова княгини вырвались из сердца не как признание, но как восклицание. Она забылась, — но мог ли счастливец забыть сказанное? — мог ли не верить, что признанное было истинное чувство? Нет, никогда лицемерие не говорило таким голосом, не сверкало таким взором! Все сомнения исчезли — душа растаяла в Правине, — он впал в какое-то исступление восторга. Осыпал поцелуями руку Веры; прижимал ее к своему сердцу.

— Оно ваше, навеки ваше — божественная женщина! — восклицал он. — Кто даст мне сил вынести мое благополучие!.. теперь я готов сжать руку злейшему врагу, как другу; обнять целый мир, как брата!

Княгиня ничему не внимала, ничего не видела; казалось, с роковою тайною вылетела из нее жизнь. Склонясь челом на пьедестал Душеньки, она была бледна, как та.. Крупные слезы дрожали на опущенных ресницах — она вся трепетала, как лист. Правин испугался...

— Что с вами, княгиня? — вскричал он.

— Удалитесь! — едва могла она произнести. — Теперь вы все знаете, будьте же великодушны — уйдите! В иной раз, в другой день мы увидимся... теперь я умру со стыда, если взгляну на вас. Когда вы дорожите хоть сколько-нибудь моим спокойствием — оставьте меня!

Полон блаженства и страха, Правин удалился.

Вечеру князь Петр с озабоченным видом, но с салфеткою в руке, вышел из столовой навстречу к доктору, который на цыпочках выходил из спальни княгини Веры.

— Ну что, любезный доктор, — спросил он, вытирая губы, — какова моя Верочка?

Доктор со значительною улыбкою, которую носил он неизменно на все обеды и похороны, отвечал, что «слава богу, что это неопасно, что это пройдет!». Доктор этот, изволите видеть, мастер был золотить пилюли — и оттого кармашки его всегда подбиты были золотом. Не решали, впрочем, потому ли он знаменит, что искусен, или потому, что дорог.

— Прописали вы ей что-нибудь, доктор?

— О, за мной дело не станет, ваше сиятельство! Я настроил рецепт длиннее майского дня, и если княгиня будет в точности принимать, что я предписал ей, то лихорадка убежит от первого взвода баночек.

— Каков у нее пульс, доктор?

— Немножко неровен, ваше сиятельство,—отвечал тот, натягивая с трудом нижнюю петлю фрака на пуговицу,— да это минует, когда уймется попеременный зноб и жар: надобно потеплее укрыть княгиню.

— Что за причина ее болезни, доктор? Сегодня поутру на выходе она была весела, словно ласточка,— и вдруг...

— Самая естественная причина, ваше сиятельство! Извольте видеть: наша зеленая зима, которую мы условились называть летом,— очень непостоянна, а дамы одеваются чересчур легко... все зефиры, да дымки, да кисеи, да газы...

— Нельзя же в палантине ездить на выход! — заметил князь Петр с важностью.

— Нельзя же в газовом платье и не простужаться, ваше сиятельство. Притом везде сквозной ветер...

— Так вы думаете, что это от простуды, доктор?

— Без всякого сомнения, ваше сиятельство.

— Но она так тяжело вздыхает, доктор, будто у нее заложило грудь,— она стала так капризна, что ни сообразить, ни вообразить нет способу... не хочет даже, чтобы я был при ней.

— Это все от простуды, ваше сиятельство.

Добряк доктор готов был клясться иготью Эскулапа, что это от простуды.

4

Strudzilem usta daremnym użyciem,
Teraz je z twemi chce stopić ustami,
J chce rozmawiać tylko serca biciem,
J westchnieniami, i całowaniami,
J tak rozmawiać godziny, dni, lata,
Do końca swiata i po końcu swiata.

*Mickiewicz*¹

Быстро и сладостно утекают дни счастья. Минувшие радости и будущие надежды сливаются воедино устами — и миг настоящего походит на приветное лобзанье друзей

¹ Я измучил уста тщетным переживанием,
Теперь хочу их слить с твоими устами,
И хочу говорить лишь биением сердца,
И вздохами, и поцелуями.
И говорить так часы, дни и годы,
До конца мира и после конца мира.

М и ц к е в и ч (польск.)

на пороге. Вчерась, сегодня, завтра не существует для любовников,— нет для них самого времени — оно превращено в какую-то волшебную грезу, в которой воздушная нить мечтаний вьется с нитью бытия нераздельно, в которой сердце каждое биение свое считает наслаждениями,— о нет! наслаждение не умеет считать — счет изобретен нуждою или тоскою.

Правин любил впервые, Правин любим стал впервые; а какая девственная любовь, какая истинная страсть не робка до простоты, не почтительна до обожания? — Но скоро переживает любовник все возрасты страсти. Вечный младенец в своем лепете, в своих прихотях, взысканиях, ссорах, не по годам, а по часам растет он своими желаниями, мужает волею, берет силу взаимностию. Как бедняк-златолюбец, он спит и видит, как бы удостоиться приветливого словца, нежного взгляда, самой ничтожной ласки. «Я был бы счастлив тогда!» — говорит он и озирается, не подслушал ли кто его, и трепещет дерзости своего воображения. Но он скоро знакомится, дружится, роднится с нею — скоро она овладевает им — и он горд, похитив первый поцелуй, как Прометей, похитив огонь с неба. Раскипаясь счастьем, словно бокал шампанского (я уверен, что счастье — какой-нибудь газ и что химики на днях разложат его), — он уходит через край, радость улетучивается из сердца, а природа не любит пустоты, вопреки Паскалю и водяному насосу, — и вот новые желания проникают в ретивое, — закупорьте вы его хоть герметически. Они, будто волосатики, впиваются в персты, разогревают кровь лучами взора, упоют легкие воздухом, веющим с милой; топят вас в звуках ее голоса, в благоухании ее кудрей! Ночью они распускаются кактусом; днем взбегают будто крес-салат. Проклевываются птичками... тормозат, щиплют, терзают бедное сердце — хоть из груди беги! Опять новые завоевания, опять новые причуды. Повадка балует шалуна: вчерашняя уступка для него завтрашнее право... По мне, сердце — настоящий вестминстерский кабинет: оно умеет и выканючить, и выторговать, и обыграть, и выбить. «Если ты любишь меня!» — говорит любовник, нежно ласкаясь. «Только это, это одно — и я бог!» Но этот бог — языческий: амброзия для него пост; он готов превратиться из орла в лебедя, из лебедя в бычка. С каждым днем он становится смелее, с каждым днем он обламывает по игле, обороняющей розу, — поглядишь, вянет сама роза под жарким дыханием страсти! Знаете ли, как называю я знамена-

теля всех страстей и всех более любви? — Я называю его — любопытство! Узнали мы, испытали мы, повладели мы — и уже знание, опыт, власть нам скучны. Мы уж хотим постичь иное, изведать лучшего, завладеть большим. *Еще, еще, дальше и более* — вот границы духа человеческого, а границы эти за звездами Млечного Пути, за тенью могилы.

Но не каждому дано пересекать пути многих страстей, подобно комете, пронзающей многие солнечные системы. Не каждому удастся побыть любовником, поэтом, честолюбцем, корыстолюбцем и лечь в гроб с тою же побрякушкою, которая тешила его первое ребячество. Многие глубоко врезаются в колею, катятся вдоль которой-нибудь одной дороги — и нередко с рождения душа до смерти тела. Так, Наполеону выпало распутие власти, на котором первая верста была батарея под Тулоном, а последняя — остров св. Елены. Исполин-выкидыш революционного волкана, он отдал свои останки вулканической скале, горе застывшей лавы. Какой величественный, многомысленный памятник, какой чудный рифм судьбы с вещественностью!.. Багряные облака — точно огневые думы, толпятся вокруг чела твоего, неприступный утес св. Елены!.. Экватор опирается на твои рамена; сизые волны океана, как столетия, с ропотом расшибаются о твои стопы, и сердце твое — гроб Наполеона, заклеянный таинственным иероглифом рока!..

Простите отступление: я увлекся Наполеоном, и мудрено ль? При жизни — он тащил за своей колесницей по грязи народы. По смерти его гений уносит наши помыслы в область громов — свою отчизну. Впрочем, пример Наполеона везде кстати, его имя приходится на всякую руку — оно, как всезначашее число 666 в Апокалипсисе. Как ненасытен был он (олицетворенное властолюбие) к завоеваниям, — почти так же ненасытны все любовники ласками. После первого письма — их перехода через Альпы — они уже вздыхают о лаврах Иены и Маренго... они забывают, что у самого Наполеона была Москва, где он чуть не сгорел, путь за Березину, где он чуть не замерз, и литовские грязи, в которых едва-едва не утонул. Горячая кровь не слишком покорна доктору философии, г-ну рассудку, и речь сердца начинается обыкновенно с чистейшего платонизма, а заключение у ней: «индеек малую толику!» К слову стало о платонизме: он очень похож на ледяную гору, <с> которой стоит раз пуститься — уж не удержишься, или, по-

жалуй, хоть на ковер, посланный в ноги детей, чтобы им не больно было падать. Да, милостивые государи и милостивейшие государины,— зовите меня, как вам угодно,— а я зло усмехаюсь, когда слышу молодую особу или молодого человека, рассуждающих о бескорыстной дружбе платонизма, прелестного и невинного, как цветок, соединяющий в чашечке своей оба пола. Усмехаюсь точно так же, как слыша игрока, толкующего о своей чести, судью — о безмездии, дипломата — о правах человека. Опять грех сказать, будто платонизм всегда умышленный подыменник¹ эротизма; напротив, его скорей можно назвать граничной ямой, в которую падают неожиданно, чем западной, поставленной с намерением; и вот почему желал бы я шепнуть иной даме: не верьте платонизму — или иному благонамеренному юноше: не доверяйте своему разуму! Платонизм — Калиостро, заговорит вас; он вытащит у вас сердце, прежде чем вы успеете мигнуть; подложит вам под голову подушку из пуху софизмов, убаюкает гармонией сфер, и вы уснете будто с маковки; зато проснетесь от жажды угара, с измятым чепчиком и, может быть, с лишним раскаянием. Притом,— но неужто вы не заметили, что я шучу, что я хотел только попугать вас?.. Помилуйте, гг! мне ли, всегдашнему поклоннику этого милого каплуна в нравственном мире, поднять на него руку! Мне ли писать против него, когда я вслух и вполголоса всегда говорил в его пользу, писал ему похвалы стихами и прозою! Любопытные могут прочесть мою статью «Нечто о любви душ». Она напечатана в «Соревнователе просвещения и благотворения», не помню только, в котором году,— рядом с речью «О влиянии свирели и барабана на юриспруденцию».

«Но к делу, к делу»,— говорят мне; а разве слово не дело? Юридически говоря, между ними великая разница; закон действует положительно, но мы сравниваем относительно. Конечно, человек редко говорит, что думает, еще реже исполняет, что говорит; потому-то нельзя обвинять, ни хвалить его, если он обещает или грозит,— но это относится к будущему; напротив, прошлое переходит в полное владение слова, оно существует только словом — слово может обличить или оправдать его. Я для того веду свою долгую присказку, чтобы доказать любезным читателям, что слова мои — факты, что намеки мои на госпожу Никто, *mistriss Nobody* английских фарсов, летели не в бровь, а прямо в

¹ Под чужим именем торгующий. Слово, употребительное между купцами.

глаз; одним почерком, что нрав всех любовников вообще — такой же, как у Правина в особенности, — так *бывало* с друзьями; так *было* и с ним.

Да-с, Правина любили нежно, даже страстно; но сам он любил беззаветно, бешено. Правин был зверек, которого не всегда обуздаешь дамскою подвязкой. В одну и ту же минуту он роптал то на холод, то на горячность Веры.

— Не считаете ль вы меня ртутью, княгиня, которая тогда только постоянна и ковка, когда заморожена? — говорил он с укором. То умоляющим голосом восклицал: — О, не гляди так на меня, очаровательница! — разве хочешь ты, чтоб я истаял, как воск под тропическим солнцем!

Целуя браслет, он клялся, что не завидует раю; и через час он клялся, что он самый несчастный из смертных, — зачем? Ему полюбился пояс, заветный еще для его губ; после пояса следовало ожерелье, а там я не знаю, право, что. Близость разлуки извиняла его порывы и восторги, его гнев и самозабвение. Лестно, но страшно было быть так любимой. Жаркие битвы должна была выдержать Вера и с бурным нравом Правина, и с собственным сердцем. Каждый отказ стоил ей слез непритворных. Она плакала, и пламя погасало в Правине от немногих слез милой, как, по народному поверью, гаснет молниєю запаленный пожар от парного молока. Она противилась, как порох, смоченный небесною росой, противится искрам огнива; сотни ударов напрасны — но каждый удар сушит зерна пороха, и близок миг, когда он вспыхнет.

Как московская барышня Вера половину своей юности прожила среди полей, другую — в столице. Но девушки в Москве имеют гораздо более свободы, чем в Петрополе, — а где свобода, там и природа. Вот почему девушек находил я гораздо занимательнее в Москве, дам — в Петербурге. В первых найдете вы нередко милую простоту, в последних — остроумие; в первых — прелесть, во вторых — ловкость, которую дает лишь двор, и вкус, впрочем, более дитя привычки, нежели чувства; одним словом, в Москве есть гармония, в Петербурге — тон. — В Москве учатся многим иностранным языкам и много читают. — В Петербурге нет времени ни для науки, ни для чтения, а владыка — язык французский. По-итальянски только поют, о Байроне говорят понаслышке и боятся языка Шиллера, чтобы не изломать своего. Притом же в Петербурге столько гвардейцев и дипломатов, столько чиновников всех цветов, столько пара-

дов, гуляний, спектаклей, визитов, выходов, что будь день о сорока восьми часах, и тогда не стало бы времени на рас-сеяние. Кроме того, в Москве еще пахнет Русью; в ней хоть не много характеров, зато куча оригиналов; в ней есть свои поверья, свои причуды, свои обычаи — в ней есть старина. Зато уж в Петербурге хоть мало современного — но все новое, все с молотка — и ни русского лица, ни русского слова! На площадях толкутся маймисты, на перекрестках стоят синьоры с продажными зонтиками, по набережным покачиваются англичане с руками в карманах и с годдемом в зубах. У крылец шаркают французы, в нижних этажах шевелятся немцы. Русский калач там чужестранец; благословенная борода пробирается по стене — и рада, рада, если унесет в целости свои бока от будочника или от дышла какого-нибудь посланника, который скачет разыгрывать во весь дух дипломатическую ноту. Нет дома, где бы садились за стол, крестясь одинаково, где бы хвалили одно и то же кушанье, просили одним и тем же языком напиток. Про высший круг и говорить нечего — там от собачки до хозяина дома, от плиты тротуара до этрусской вазы — все нерусское, и в наречии и в приемах. Бары наши преважно рассуждают, каково Брюно играл Жокрисса, как была одета любовница Ротшильда на последнем роуте в Лондоне; получают телеграфические депеши о привозе свежих устриц; а спросите-ка вы их, чем живет Вологодская губерния? Они скажут: «*je ne saurai vous le dire au juste*¹ — у меня нет там помещев».

Впрочем, нравственность одна в обеих столицах: посредственность и эгоизм! Никто не заботится о том, что подумают о нас добрые люди, — у них лишь то на уме, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна. Во всех личность, все частность, везде расчет. Ничего общего, ничего высокого. Княгиня Вера выросла на таком же миндальном молоке, но она была довольно счастлива, что нашла истинно добрых и умных подруг, и довольно умна сама, что их оценила. Чтение поэтов познакомило ее с прекрасным миром: она при-страстилась к нему, восхищалась им; но эта страсть дала ей другую опасность — опасность мечтательности. Не всех птиц можно стрелять сидячих, иных выгоднее на лету: Вера принадлежала к числу последних. Недоступная ничтожности вертопрахов, несоргаемая от мышьего огня светских болтунов, закруженная вихрем света, в которой только что

¹ не скажу вам точно (фр.).

явилась, — она была равнодушна, хотя ее не защищала любовь к человеку доброму, но пустому, но холодному, — к которому тетушки и судьба приковали ее, как узника к колоде. Чтобы пленить ее — надо было сперва поразить внимание чем-нибудь необыкновенным, раздражить любопытство занимательностью, — а там недалеко и любовь, потому что сердце ее жаждало любви, как сухая губка. Так и случилось. Встреча с человеком безыскусственным, пылким, новым, который так чудно выходил из рам всего, что делается и говорится в свете, — победила ее — потому, именно, что с этой стороны она не ждала нападения, еще меньше падения. Она, однако ж, скоро почувствовала, что любит, — и письма ее к подруге стали с той поры скромнее, хотя красноречивее... она говорила обо всем, кроме своего сердца, обо всех, кроме Правина. Да и могла ли замужняя женщина делать из девушки, из невесты — поверенную тайн, которых бы сама она не желала иметь? Эта неделимость, одиночество страсти еще более одолевали Веру. Быстро увлеченная в чужой след, она, однако ж, уступала, борясь мужественно; она чувствовала, что для спокойствия, если не для счастья, к светскому правилу: *sauvez les apparences*¹ необходимо было прибавить: *sauvez la conscience*². И, надеясь на эту решимость, вместо того, чтобы вытащить свой челн на берег, она смело простирала свой газовый парус против бурного дыхания страсти, — и вал, грозный вал рассыпался в прах о слабую грудь ее ладьи или, отбитый, с ропотом катился обратно.

Так прошел месяц, но месяц — век для признанной любви. Он век брожения. Думы, желанья, требования роятся, кочуют, сменяют, истребляют друг друга. Корабль, будто плавучий ледник, сохранил сердце Правина девственным, — и в нем силы юности. Они бушевали неудержимо, особенно, когда светская философия надевала на себя мундир Границына и пенила, и кипятила их своими кислотами.

— Мне кажется, ты воспитан в брюхе кита, — говорил Границын, расстегивая крючки воротника своего. — Вместо того, чтобы вторить своей княгине Вере в арии *di tanti palpitati*³, тебе бы надо уверить ее, что *una voce poso fa*⁴. Терпение — прекрасная добродетель в дромадере, но сами дромадеры, *mon cher*, нужны в степях, а не на паркете. Правда,

¹ сохраняйте благопристойность (фр.).

² сохраняйте совесть (фр.).

³ какой трепет (ит.).

⁴ одного голоса еще мало (ит.).

многие пояса затянуты гордиевым узлом — зато режь их пополам, если не хочешь, чтоб другой разорвал их у тебя под носом. Право, стыдно будет, если эта белокаменная московочка проведет тебя. Вот тебе моя рука — она над твоею простотою смеется, а быть может, и сама досадует на твою застенчивость.

Эти насмешки, перемешанные с шампанским, лились прямо в сердце Правина: они то льстили, то подстрекали его страсть. «Нет,— думал он,— полно мне жеманиться. Сегодня или никогда!» И наавтра было то же, напоследавтра то же. Пламенные письма, неистовые сцены, упреки, угрозы, гнев, разлука — все было напрасно: Вера стояла непреклонна. Правин решился.

Любовь хитра на выдумки свиданий: Правин видался по нескольку раз в день с княгиней — и все устраивалось будто самым естественным и случайным образом. Однажды он приехал к ней на дачу в полдень.

— Что это значит, капитан,— спросила Вера,— вы в полном мундире?

Любовь есть страсть исключительная — ей нестерпима мысль о множестве или разделе. Вот почему так скоро переходят любовники от местоимения *вы* к местоимению *ты*. Со всем тем первые приветствия встречи принадлежат свету; любовь берет свои привычки после.

— Княгиня,— сказал он холодно, поцеловав у ней руку,— я приехал к вам проститься — надолго — может, навсегда.

— Вы шутите, капитан,— ты меня пугаешь, Elie — зачем это? Разве не тысячу раз уверял ты меня, что воротишься на весну — и возвратишь весну душе моей!

— Я сейчас от начальника штаба. Узнав, что фрегат мой готов, он был так добр, что позволил мне выбрать любое из двух поручений: или идти ненадолго в Средиземное море — там что делать? ведь мир с турками почти подписан,— или отправиться на четырехлетнее крейсерство к американским берегам, частью для открытий, частью для покровительства нашей ловли у Ситхи, у Алеутских островов и близ крепости Росс. Я избираю последнее!

— Нет! ты этого не сделаешь, ты не смеешь этого сделать! И как решаешься ты, не посоветовавшись со мною? Разве я чужая твоему сердцу! — вскричала, вскочив, вспыльчивая княгиня. — Я бы могла еще помириться с мыслию, что неотразимый приказ службы забросил тебя от меня далеко и надолго; но чтобы ты по своей доброй воле

бросил меня на четыре года — нет, этому не бывать, никогда не бывать!

— Никогда не говорите: «никогда», княгиня! Это слово имеет вес только в устах судьбы. Вы сказали, что я по доброй воле отправляюсь отсюда, и вы могли это сказать, вы, за чей взор отказался я от собственной воли, для кого жертвовал и обязанностями службы и обетами славы! Вы!.. Для кого ж иного мила мне жизнь? за кого ж красна была б мне смерть? за кого, если не за тебя, отдал бы я душу свою, променял на любовь твою рай и за миг счастья — вечность!! Но вы, ваше сиятельство, не удостоили снизойти до взаимности; вы любили на мерку и раскланивались чувству, когда приходили на границу, делящую удовольствие от опасности; вы в то время думали, как бы не смять своих газовых лент, когда сердце мое разрывалось, когда я умирал у ног ваших!

— Злой человек, неблагодарный человек! Я ли не ценила тебя, я ль не делила твоей любви! Но я не разделяю твоего безумия. Тебе отдала я чистоту души и покой совести — но чести моей не отдам — она принадлежит другому.

— Как вы искусны в теологии и геральдике, ваше сиятельство! Вы до золотника знаете, что весит поцелуй на весах неба и какую тень бросает он на герб. Признаюсь вам, я не постигал никогда градусов любви по Реомюру. Гордостью считал я любить безмерно, беззаветно; предаваться весь — так люблю я, так желал быть любим, так или нисколько. Чувствую, что я теряю рассудок, а вы, вы не хотели бросить вздорного предрассудка!.. Помните ли, в одном письме я писал к вам: «не читайте далее или исполните, что далее сказано...» Зачем же вы преступили завет и отринули мольбу! Однако не думайте, княгиня, будто я ни во что ставлю ваши ласки, ваш ум, ваши достоинства! О, никто в мире не мог лучше, не мог выше оценить и ваши прелести и вашу снисходительность ко мне. Но любовь питается жертвами; доказывается пожертвованиями — *все или ничего* — её девиз, а я измучен вашими полужестокостями, уничтожен вашими полумилостями. Ужели хотите вы, чтобы я забывал вас с другими, лишь бы не забывался с вами! Признаюсь, это чудесная любовь!

— Боже великий! и я могла любить такого безжалостного человека!

— Любить?.. бросимте этот разговор, княгиня. Я уступаю вам пальму нежности. Я беру на себя все вины, я благодарен, я жестокосерд, я все, что вам угодно. Будьте

счастливы, княгиня! Люди с вашим нравом созданы для светского счастья. Они очень довольны, если на сердце у них пробьются цветки, хоть эти цветки — жалкие подснежники. Еще раз — будьте счастливы. Наслаждайтесь своею любовью с дозволения правительства; ожидайте с поклоном прилива нежности своего супруга, за которую обязаны будете бутылке бургонского или перигорского пастету!

— Слезы, а не слова — ответ на такую обидную насмешку!

— Слезы — роса, княгиня. Взойдет солнце, укажет час ехать на прогулку — и они высохнут!

— Они высохнут раньше — но это будет от отчаяния!

— Отчаяние?.. это что-то новое выражение в модном словаре! Нет ли какого перстня или браслета такого имени? Ведь есть же супиры, и репантиры, и сувениры у любого золотых дел мастера. Отчаяние!!

Недолго женскую любовь
Печалит хладная разлука;
Пройдет печаль, настанет скука...
Красавица полюбит вновь!

С гордостью подняла княгиня свои заплаканные очи на Правина, и взор ее пронзил его укором.

— Кто так худо знал прошлое, тому напрасно братья за пророчества, — сказала она. — Любуйтесь своим жестокосердием, капитан; хвалитесь своим подвигом, смейтесь над бедным сердцем, которое вы разбили. Да, вы убиваете меня, как Авеля, зачем я принесла одни чистые плоды на жертвенник любви!.. Будьте же сестроубийцею за то, что я любила вас, как брата!

— Как брата, говорите вы? Но разве братские мученья не требуют братского раздела? Впрочем, я не пришел считаться с вами, княгиня, ни укорять вас, ни умолять вас — я ожидаю одного прощального поклона... ни полслова, ни полвзора более!

Изображают вечность змеей, грызущею свой хвост, — точно так же изобразил бы я гнев... он тоже поглощает сам себя; крайности слиты и в нем. Правин, чрезвычайный во всем, увлекся несправедливым негодованием: оно, подавленное, будто льдом, хладнокровием наружным, тем сильнее крушило сердце — и вдруг заметил он губительную силу слов своих над Верою. Она была бледна, как батист; слезы застыли на лице — но она уже не плакала, не рыдала. Левая рука ее сжата была на колене, между тем как

правую упиралась она в грудь свою, будто желая выдавить оттуда удушающий ее вздох,— в очах, в устах ее замирал укор небу.

О! злобен тот, кто заставляет свою милую проливать горькие слезы,— кто влагает в ее уста ропот на провидение; но тот, кто с усмешкою удовлетворенной мести или равнодушия может их видеть или слышать,— тот чудовище! Правин упал к ногам Веры — плакал, плакал, как дитя, и речи раскаяния пролились, смешаны с горячими слезами.

— Вера, прости меня,— говорил он, обнимая ее колена, целуя ее стопы.— Ангел невинности! я оскорбил тебя — я не понимаю, что говорю; не знаю, что делаю! Я безумец — но не вини моего сердца ни за прежние обиды, ни за теперешние клеветы — у меня доброе сердце — и может ли быть злобно сердце, полное любовью, любовью к тебе!! Зато у меня буйная кровь — у меня кровь — жидкий пламень: она бичует змеями мое воображение, она палит молниями ум!.. Я ль виноват в этом? я ли создал себя! За каждую каплю твоих слез — я бы готов отдать последние песчинки моего бытия, последнюю перлу счастья. Да нет мне отныне счастья! На одной ветке распустились сердца наши — вместе должны б они цвести; но судьба разрывает, рознит нас! Пускай же океан протечет между нами — пускай бушует — он не зальет моей любви; лишь бы ты, ты, сокровище души моей, была невредима от этого пожара! Я еду,— не говори: нет, ангел мой,— не могу я, не должен я остаться. Это необходимо для твоего, для моего спасения — для сохранения моего рассудка и твоей чести. Прощай!! О! как тяжело разлучаться — легче, легче расстаться душе с телом, чем душе с душою. И я буду жить не с тобой, вдали от тебя, не имея вечером надежды увидеться поутру,— осужден буду не любоваться твоими очами, не чувствовать на сердце твоего дыхания, не слышать речей твоих, не вкушать поцелуя! и быть одному — и в этом ужасном одиночестве знать, что ты принадлежишь иному!! Скажи: какая мука превысит это, кроме муки при глазах своих видеть тебя в чужих объятиях? Прости ж, прости! Мне суждено бежать тебя всегда и всегда любить безнадежно. Душа моей души! ты была единственною радостью моей жизни; ты останешься единственною моею горестью, всегдашнею мечтою, последнею мыслию при смерти! О, я любил тебя, Вера, много люблю,— взгляни на меня по-прежнему, милая, и прощай — я еду.

Столь быстрый переход от укоров к нежности, от гнева к грустному отчаянию — изумил княгиню. Раздирающие душу жалобы любовника ее поколебали — его слезы победили ее. Взор княгини блеснул необычайною ясностью — прелестное лицо ее одушевилось зарею самоотвержения.

— Поезжай хоть на край света, Илья,— сказала она Правину голосом, который звучал сладостно, как весть прощения преступнику на плахе.— Поезжай,— молвила еще, целуя его в голову,— но ты поедешь не один — я сама отправлюсь с тобою, с этого часа у нас одна доля, одна судьба. Тебе я жертвую всем, для тебя все перенесу, лишь бы ты, одеваясь могильною тенью, сказал: «Вера меня любила!» Не спрашивай, как я сделаю, чтобы нам не разлучиться! — любовь научит меня. Требую одного и непременно: иди в Средиземное море, а не в Америку!

Это произошло 17 августа 1829 года, ровно в час за полдень. Так по крайней мере отмечено было красным карандашом в памятной книжке Правина.

5

L'homme sèpuit par deux actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de la mort: vouloir et pouvoir.

Balzac¹

Ровно через десять дней после числа, записанного красными буквами, отличной красоты фрегат снялся с якоря и с южного кронштадтского рейда пошел в открытое море. На корме его рисовалась группа из трех особ: одного стройного флотского штаб-офицера, подле него человека небольшого роста с генеральскими эполетами и прелестной дамы. Фрегат этот назывался «Надежда»; на корме его стояли: капитан Правин, князь Петр** и его супруга.

Обещание княгини Веры сбылось; да как и не сбылось бы оно? Если женщина решительно захочет чего-нибудь,—

¹ Человек истощает себя двумя действиями, выполняемыми инстинктивно, которые иссушают источники его существования. Два глагола выражают формы, в которые выливаются эти две причины смерти: желать и мочь. Б а л ь з а к (фр.).

для нее нет невозможностей. Князь Петр давно проговоривал, что ему хочется попутешествовать для поправления здоровья, — воля жены заставила его решиться, даже убедиться, что для него необходимы макароны в оригинале, устрицы прямо из Адриатического моря. Разумеется, к этому прибавил он несколько восклицаний о чистой радости дышать небом Авзонии, прогуляться по Колизею, бросить несколько русских гривенников лазаронам Неаполя и на закуску покататься по Бренте в гондоле, дремля под напев Торкватовых октав! Князь Петр без надписи не отличил бы Караваджа от Поль-Поттера и не раз покупал чуть не суздальские мазилки за работу Луки Кранаха; но князь Петр, как человек, который хотел слыть ровесником века, или, как выражаются у нас, *à la hauteur du siècle*¹, — скрепя сердце заглядывал иногда в энциклопедию и довольно бегло, хоть очень невпопад, толковал о художествах, о пушках Пексана, о паровой машине и примадонне Каменноостровского театра, о сморчках и политике. Вздумано — прошено. Князя Петра не думали удерживать. Напротив, ему дали еще несколько поручений и позволили ехать до Англии на фрегате «Надежда» — это случилось так невзначай и так кстати!! Князь Петр не знал, откуда у него взялась такая охота к морю! Конечно, сборы князя Петра продолжались бы, вероятно, до заморозков: то нет дичинного бульону, или толченых рябчиков, или сушеных сливок, то не нашли настоящих *ricalilli*², то не достали вечного Донкинсова супу в жестянках. Зато княгине недолго было уложить свое сердце, а, имевши его в груди, влюбленная женщина смело может сказать: *Omnia mecum porto*. — Все с собою ношу!

— Я готова, мой друг, — ласково сказала она своему раздумчивому супругу, — фрегат не будет ждать нас — завтра мы перебираемся на него непременно.

Такой лаконизм не очень понравился князю Петру, который начинал уж догадываться, что как ни вкусна морская рыба, но она все-таки далее от губ, нежели тенок на рынке, — но услышав, как решительно объявила княгиня его повару и камердинеру, что если они не будут во всей готовности к пути сегодня, то завтра следа их не останется в ее доме, проглотил свое *но* — и вот он волею, а пуще того неволею — морской путешественник.

Покуда вывертывали якорь, покуда фрегат катился под ветер с парусами, трепещущими будто от нетерпения, сом-

¹ на уровне века (фр.).

² острых пикулей (англ.).

ненье: «точно ли мы останемся на фрегате?» волновало грудь Веры. Взоры ее перелетали с берегов, словно кружащихся около, на мужа, который с сожалением ловил их глазами. Зато когда фрегат взял ход и стал салютовать крепости, это торжественное прощанье с Россиею убедило Веру, что уже возврат на берег невозможен, что она долго и близко будет с Правиным; очи ее засверкали; она взглянула на море, которое развивалось впереди все шире и шире,— потом на своего милого — и взор ее сказал: «Перед нами море, море блаженства!» Ни одна печальная мысль, ни малейший страх не возникали между нею и Правиным — чувство счастья казалось ей беспредельным.

Но высоко билось сердце Правина — и не одним наслаждением: какой мужчина покинет родину, не оглянувшись на нее, не вздохнувши по ней, будучи даже подле любимой особы? Сомнительная дума: «увиду ль-то я тебя, и как я тебя увижу?» — щемит ретивое, и сквозь слезу тускнет синева дали.

Грустно смотрел Правин на покинутый берег отечества и с каким-то беспокойным любопытством прислушивался к перекатам ответных выстрелов с Кроншлота. С промежутками, одно за другим гремели огромные орудия, грозно, таинственно, повелительно! Вы бы сказали: «То голос судьбы, которому вторило небо». Правин внимал им, будто своему приговору, прочитанному на неведомом для него языке,— но непостижимый смысл убегал от понятия человеческого. Наконец седьмой, последний, выстрел сверкнул и грянул, как седьмая роковая пуля во Фрейшице,— и постепенно гром стих. Умолкли и далекие гулы во всех четырех сторонах горизонта. Тогда черные облака дыма, слетевшие с чугунных уст, возникать стали перед очами Правина. Казалось, роковые звуки превратились в иероглифы, подобные надписи, начертанной огненным перстом на стене пиршества для Вальтасара!.. Потом иероглифы сии развились чудными, вещими образами, будто переходя из мысли в существование, будто олицетворяя, дополняя собою непонятное изречение. Дунул ветер и спашнул эту величественную строфу, этот дивный очерк судьбы! — еще миг, и там, где витал он,— весело сияло вечное солнце, бесстрастно катились вечные волны... Тайная грусть влилась в сердце Правина... «Не звук ли, не чудные ли иероглифы, не перелетный ли образ дыма сами-то мы в вечности мира?» — подумал Правин — но он взглянул на Веру — и родина с своими воспоминаниями, море со своими волнами, небо со

своим солнцем, будущее со своими страхами — все, все исчезло от Правина; он видел одну ее, существовал только для нее; он был весь наслаждение, весь любовь!..

На три вещи могу я смотреть по целым часам, не замечая их бега. Три вещи для меня ненаглядны: это очи милой, это божие небо и синее море. Велико ли яблоко глаза? но в нем между тем раздольно трем мирам, то есть чувству, мысли и свету видимому. В глазе, как в яблоке познания добра и зла, таятся семена жизни и смерти. Сладостно созерцать в любимых очах игру света и теней, то есть чувства и мысли, — замечать, как распускается и сжимается зрачок, на коем, как на гомеровском щите Ахиллесу, рисуется вся природа. Следить, угадывать, ловить искры страсти, проникать туман грусти и по складам читать в глубине души понятия, склонности, ненависти; наблюдать, как на милую особу действует мир и как бы она действовала на мир. Это разговор сердец взорами, это гальваническая сплавка душ. Но любопытен и глаз каждого человека: чудный, хотя и неизданный, роман таится в нем; каждый взор его есть уже глава, то в роде Жилблаза, то в роде Дон-Кихота или Роб-Роя. Как в двухчасном сне переживаем мы иногда целые годы, так в одной клубком свитой мысли — мысли, умирающей в полуродах, мысли, которой весь век — четверть мига, заключается и желанье добыть, и готовность на всякое зло, чтоб добыть, и раскаянье за то совести, и страх закона, страх общего мнения, и, наконец, торжество доброго начала, которое стирает эту черную точку даже с памяти. Или, напротив, мысль чистая, как слеза, сверкает во взоре: помочь несчастному, выручить из беды друга, отдать все, погибнуть за правду, — и вслед за тем сомненье: полно, правда ли это? полно, право ли это? потом отсрочка: еще завтра успеем; потом дать, пожертвовать менее, менее, и, наконец, совет себялюбия: есть люди богаче и сильнее тебя... ты что за выскочка? За этим следует обыкновенно финал самой бездушной скупости:

Ты все пела? — Это дело,
Так поди же попляши.

И потом, какое быстрое сплетение намерений, выдумок, уловок, приключений — сколько злых замыслов, никогда не свершающихся, сколько слов, которые никогда не будут произнесены, сколько дивных мыслей, которые сольются с ничтожеством!, и все это, как сказал я, заключенное в одном миге, в одном взоре, даже в одном сотрясении зрачка!

О, кто хочет изучить китайскую грамоту души человеческой, кто желает видеть ее нагою,— тот изучай их очи! Но знай тот, что он берется за ремесло мѳильщика; что на каждый день он будет зарывать в прах по лестной мечте, по доброму мнению о людях; что он схоронит, как родных своих, участие к ним и, наконец, собственное сердце — разобьет свой заступ о череп и уйдет в лес с базара — кладбища, которое в просторечии называют: свет. Уйдет туда умереть один, отдать труп свой зверям, и птицам, и ветрам, лишь бы не потешить своею кончиною любезных братьев-человеков!!

Но неужели таково все человечество, все люди? Сохрани бог задумать, не только поверить! Поколение наше — бурная, мутная волна, но и в этой волне есть легкая пена, есть чистые капли, есть перлы, вымытые со дна морей. Сколько высоких душ знал я, сколько знаю доселе! Они мирят человека с человечеством, как мирит природа человечество с его судьбою. Поверьте, если не все добро делают, то все добро признают, — а это не безделица.

Люблю я глядеться и в безбрежное небо. Когда пристально и долго смотришь в него, то заметны становятся струйки эфира, прелестно играющие по синете... это истинная гармоника для очей. Раздольно там, привольно там ширяться орлу, реять вечно вешней ласточке, жужжать незаметной мушке, порхать однодневной бабочке! Там странствуют тучи, чреватые перунами, там гуляют облака, играющие отливом радуги. Там живут звезды; оттуда живет нас солнце. Мирные светила! вы не знаете бурь и смут наших!.. Солнце не бледнеет от злодейств земных; звезды не краснеют кровью, реками текущею по земле. Нет! Они совершают пути свои беззаботно и неизменно. Солнце встает так же пышно наутро, хоть, может быть, целое поколение, целый народ исчез с лица земли после его заката, и во мраке по-прежнему распускаются — ночные цветы неба — звезды, по-прежнему сверкают нам огнем любви и, мнится, текут в океане благодати! Да, созерцая свод неба, мне кажется, грудь моя расширяется, растет, обнимает пространство. Солнцы, будто отраженные телескопом на зеркале души, согревают кровь мою, мириады комет и планет движутся во мне, — в сердце кипит жизнь беспредельности, в уме совершается вечность! Не умею высказать этого необъятного чувства, но оно просыпается во мне каждый раз, когда я топлюсь в небе... оно залог бессмертия, оно искра бога! О, я не доискиваюсь тогда, лучше ли называть его Иегова,

или Dios¹, или Алла? Не спрашиваю с немецкими философами: он ли das immerwährende Nichts или das immerwährende Alles?..² — но я его чувствую везде, во всем, и тут — в самом себе. О, тогда весь шар земной кажется мне не больше и не дороже медного гроша. Но жизнь, подобно удаву, наводит на меня свои обаяющие глаза, и я, как жаворонок, падаю в пасть ее с неба!

И ты, море, бурный друг моей юности! как горячо любил я тебя в старину, как постоянно люблю донине! Отрок, я играл с твоими всплесками; юноша, я восхищался твоими зеркальными тишинами и грозными бурями с вышины мачты. Праздниками были мне те дни, те недели, которые мог я проводить на палубе, вырвавшись из душной столицы, сбросив свинцовые цепи педантизма. Помню, как бывало, вахтенный лейтенант, шутя, отдавал мне рупор для поворота, — и с каким неизъяснимо-сладким удовольствием командовал я: «право на борт» и «кливершкот отдай!» Как важно посматривал на вымпел, чтобы вовремя крикнуть: «магерман отдай!» С этим магическим словом все реи, с рокотом блоков, переметывались на другую сторону, и корабль, подобно коню, который дрожит от ярости, но покоряется воле всадника, довершал оборот по слову тринадцатилетнего мальчика. Я высоко подымал брови, я гордо смотрел на небо, у которого уловил я ветер, на море, которое пробегал бесстрашно, на фрегат, которым повелевал по прихоти, коим мог повелевать даже по ошибке!.. Я уже постигал это; я чувствовал силу свою!

Море, море! тебе хотел я вверить жизнь мою, посвятить способности. Я бы привольно дышал твоими ураганами; валы твои сбратались бы с моим духом. Твои ветры носили бы меня из края в край, тобою разделяемые и тобою же связанные. Статься может, моя бы молодость проспала, как чайка, на твоих бурунах; статься может, отшельник света в плавучей келье, не знал бы я душевных гроз в заботе от гроз океана... но судьба судила иначе...

Ты не моя, прекрасная стихия, но все еще я люблю тебя, как разлученного со мною брата, как потерянную для себя любовницу! Сколько раз, мучим бессонницею в теплой постели, завидовал я ночам, проведенным на шлюпке, под ливнем осенним, под бурей и страхом, на драницу от смерти. Сколько раз, в противоположность тому, сожалел я, в грязи

¹ Бог (исп.).

² вечно длящееся Ничто... вечно длящееся Все?.. (нем.)

биваков, о зыбкой койке на кубрике, в которой засыпал, внимая журчанию скользящей вдоль борта воды над самым ухом и повременному оклику вахтенного лейтенанта на рулевых: «Держи вест-зюйд-вест!» — «Есть так». — «Полшла-га еще!» — «Есть». — «Держи так!» — «Есть так».

И теперь с холодным сердцем не могу я глядеть на зыбкую степь твою, по коей рыщут дружины волн, внимать твоему реву и ропоту; ты говоришь мне родным языком, ты веешь мне стариною. Люблю я мечтать, склонясь над тобою, и переживать то, чего давно нет. Люблю пускать вскачь коня моего вдоль песчаного берега, разбрызгивая твою пену, и любоваться, как волны смывают мгновенный след мой!

— Это мое бывшее и будущее.

Так любовался Правин черными очами Веры, так гляделась она в голубые глаза Правина, глаза, которые чудной игрой природы осенены были черными ресницами, черными бровями и кудрями. Рука с рукой любовались они пенною колеей, врезанной кормою, колеей, беспрестанно новой и беспрестанно исчезающей. Волны, как друзья, то улыбались им, то хмурились на них и, мерно поражая фрегат, звучали, как стихи Пушкина. При солнце рассыпались радужными снопами, при луне — растопленным серебром; в темную ночь сверкали фосфорною пеною: корабль плыл в море света. И бездонное небо, то со своим ночным пологом, вышитым звездами, то с голубым шатром дня, у коего маковкой было солнце, то в бурной ризе из туч, так величаво и таинственно восставало над любящимися, что они безмолвно терялись в созерцании и в разгадывании. Очи, небо и море! море, очи и небо! Какого века было б достаточно, чтоб насытиться вами, наглядеться вами!! Но любовь дает душе тысячи граней — в них, в одно мгновение, отражается множество предметов, и все различно, все ярко, все блистательно. Так малейшая красота природы, пустая шутка офицеров за чайным столиком, смешная сказка матросов, усевшихся с трубками над лоханью воды у камбуза¹ под баком, страница книги, прочитанной вместе, давали нашим любовникам неистощимый родник споров и разговоров, порождали тысячи новых мыслей.

Правду сказать, им для этого было довольно досуга. Правин уступил гостям все свои каюты, за исключением самой маленькой в стороне. Беспечный супруг скоро привык к корабельной жизни; да и о чем было ему горевать? —

¹ у печи.

Повар с ним был отличный, живности вдоволь, следовательно, любимое его изящное искусство, то есть Plastik des Fliessenden (зодчество жидкостей), по выражению немецких мыслителей, шло как нельзя лучше. Потолковав с художником поварни, он целое утро играл в кают-компани с мичманами в шахматы; за обедом подливал Стеллинскому бордо; после обеда отдыхал, а там опять та же история. Между тем как князь Петр живмя жил в кают-компани, между тем как иной шалун, лукаво улыбаясь, замечал, что самая слабая его игра — шах ферзяи, капитану Правину припала необыкновенная охота к письменным делам: он беспрестанно сидел за астрономическими выкладками, у коих итоги были едва ль не взоры княгини, и за журналом своих путешествий вокруг обеих гемисфер.

Взгляните на карту: какое раздолье между Тигром и Евфратом приписано было земному раю для первой четы наших праотцев; мы не такие баловни, мы попривыкли к тесноте... Эдем наш уместиться может на одной полосе земли, в четырех стенах кабинета, в скромной каюте, где вам придется жить втроем с любовью и с тридцатисестьфунтовой пушкой. Если не верите, спросите у Правина и княгини Веры. К счастью ж Правина и княгини Веры, хотя к большой досаде всех его товарищей, бури и противные ветры замедляли их плавание, задерживали в портах, куда необходимо было зайти для освежения припасов и наливки водою. Так все относительно в этом свете. Вождедена молния, когда указывает она потерянную дорогу. Ужасна заря, открывающая осужденному эшафот. Для путника первая блистает, как свеча пиршества; для преступника вторая, как лезвие топора. То, что рождало зевоту и побранки на устах моряков, внушало любовникам сладкие речи и еще сладчайшие поцелуи.

— Не бойся, милочка! — говорил Правин Вере, когда она страстно прижималась к его груди, внимая ударам разъяренных валов в состав фрегата.

— Мне ли бояться их, — возражала она, — когда я знаю, что каждая волна приносит мне лишнюю минуту счастья. Пускай дрожит от них дуб: мое сердце трещет не от робости.

Оба любовника не выходили из забытья любовной горячки — забытья, оживленного наслаждениями и пламенными мечтами. Правда, минутная ревность злобно терзала сердце Правина, когда князь Петр приближался к Вере со своими засушными ласками; но тогда ее умоляющий взор,

но после ее беззаветная преданность награждала его терпение — и он успокоивался. Чистое сердце — точно волшебная прялка: она выпрядает золото поэзии из самой грубой пеньки вещественности; любовь Правина и Веры была истинна: то была страсть, какой давно не видит и не верит свет. Они блаженствовали.

Я сказал, что противные ветры замедляли путешествие фрегата «Надежды»... без сомнения, любовь в том выигрывала — но едва не теряла в том служба, и очень много. Правин утопил в своей привязанности все другие заботы. Любоваться Верой, когда вместе, думать о ней, когда врознь, стало его любимым занятием. То задумчив, то рассеян, он мало обращал уже внимания на порядок управления парусами, на внутреннее устройство фрегата и команды. Только в бурях, только в опасностях пробуждался он от дремоты, схватывал трубу и грозным словом своим укрощал злобу стихий. Но с бурей утихал он сам и снова падал в досадное равнодушие ко всему, кроме предмета своей страсти.

Нил Павлович сперва лишь качал головою; потом стал пожимать плечами, а наконец без шуток начал журить Правина за его небрежение к службе.

— Я предсказывал тебе, — говорил он не раз, — что, кто начнет кривить против долга честного человека, против связей общества, — тот, конечно, не минует забвения обязанностей службы. Полно ребячиться, Илья: твоя связь не доведет тебя до добра; ты можешь в эту игру проиграть здоровье и доброе имя — кто знает, может быть самую жизнь; а что всего хуже, ты погубишь с собой и княгиню... это прелестное создание, которое стоит лучшего света и чистой судьбы. Грешно человеку с душою вербовать ее в дружину падших ангелов!

Правин сперва оправдывался — ссылался на пример других, на силу своей страсти. Потом он отыгрывался шутками, — наконец стал молчать и сердиться. Советы друга ему наскучили, выговоры его досаждали ему. Не желание блага, а тщеславие своего превосходства находил он в прямизне Кокорина. Его строгость называл он бесчувственностью, его неуклончивость — гордостью. Такова бывает участь всех тех, которые не поблажают нашим слабостям, которые дают лекарство, не обмазав медом края стакана. Мы терпеть не можем людей, которые угадывают наши тайные помыслы и дают им клички по шерсти, — для нас обидно, когда соб-

ственная совесть заговорит чужими устами. Кстати ли послушаться кого-нибудь!

«Да что я за ребенок? Да я разве не знаю, что делаю? У каждого свой ум — царь в голове! Я не люблю плясать по чужой дудке...» Самолюбие засыплет подобными пословицами, как Санхо-Панса, уколи его хоть булавкою. Холодность и принуждение разрознили старых друзей. Правин забыл, что с Нилом Павловичем делил он и детские забавы и опасности мужества; что его попечением обязан был если не жизнью, то здоровьем, ибо жестоко раненный под Наварином, за что произвели его после в капитан-лейтенанты, он целый месяц не мог двинуться, и Нил Павлович, во все время его выздоровления, не спал ночей, предупреждая все его желанья и нужды, снося его причуды. О! любовь — эгоистическое растение... Оно скоро разрастается по сердцу и скоро выживает вон все другие чувства!

Между тем, несмотря на бури, несмотря на ветры, несмотря на умысленные замедления ходу от капитана, давно остались назади дебристые острова и гранитные скалы Финляндии, рыцарский Ревель, коего шпицы и башни вонзаются в небо, словно копыя великанов, и другой страж, противостоявший ему с берега Швеции, — Свеаборг, опоясанный тремя ярусами батарей. Побывав в Копенгагене, пролетев Зунд, оставя Гельсинор за собою, фрегат миновал грозные утесы Дернауса, крайнего мыса печальной Норвегии, — и вошел в Немецкое море. Наконец Нордфорландский маяк, как звезда Венеры, блеснул ночью над зыбями... «Англия!» — радостно закричал матрос с форсалинга¹; но этот блеск, этот звук зловеще поразил чувство обоих любовников... они сказали им близкую разлуку!

Князя Петра уговорили выйти на берег в Плимуте. Фрегату способнее было там освежиться, чтобы оттоль прямо спуститься в океан. А князю из Плимута до Лондона предстояло любопытное путешествие, избавлявшее его лишних хлопот нарочно ездить посмотреть Англию и возвращаться обратно. Итак, фрегат несся по Ламаншскому каналу, лоя, так сказать, лишь пену видов Англии и Франции. Кале и Дувр мелькнули как сон; скрылся и Спитгед, подобный вдали дикобразу от множества мачт, и Вайт — изумрудный перстень Англии. Берега Пертшира бежали, и, наконец, завиднелся Эддистонский маяк, истинный Геркулесов столп, вонзенный рукою человека в подводную скалу. Величавый

¹ верхний перекресток веревок на передней мачте.

памятник воли! Не той тиранской воли, которая воздвигла бесполезные пирамиды в бесплодных песках Египта, но воли благотворной, хранительной, которая зажигает для пловцов новые звезды, чтобы они, подобно оку провидения, неусыпно стерегли и блюли от гибели тысячи кораблей. Вправе открылся Плимут, славный своим портом, который защищен недавно великанским волнорезом (break-water) от бурь океана. Англичане велики в полезном.

Но чудесность этого волнореза, но богатство города, но прелесть окрестностей и новость предметов не утешали любовников, которым каждый дом, каждый шаг на земле напоминал: вам должно расстаться! И наконец час разлуки пробил. И наконец должно было сказать: *прощайте*,— слово — задаток терзаний разлуки; слово, которое, как железный гвоздь, вытягивается в бесконечную проволоку, в струну, из которой каждый поев ветра извлекать будет звуки печали. Должно было проститься, и проститься не так, как любовникам, как супругам, на груди друг друга, растворяя горесть слезами, иссушая слезы лобзаниями,— нет! должно было проститься поклоном, при опасном свидетеле; задвить слезу улыбкою, задушить вздохи приветами: желать счастья, нося ад в груди своей. И этот ад всегда удел тех, которые закладывают душу свою за чужое счастье, которые украдкою рвут плоды Эдема. Настоящий владетель снимает с них счастье, как праздничный кафтан с своего раба,— и он не смеет молвить слова. Он прячет в сердце и поминку о том, будто краденую вещь; он краснеет благороднейшего чувства, как низкого поступка. Правин не помнил, как он вышел из комнат князя Петра. Он очнулся уже на фрегате при клике боцмана: «якорь встал!», которому отвечало громкое «ура» шпилевых¹. В руке его замерла карточка, всунутая в его руку княгиней Верою при расставанье. Но прежде чем прочесть ее — он прильнул к ней устами.

6

Sic volo, sic jubeo — sta pro ratione voluntas!
*Juvenal*²

Тихо катился фрегат «Надежда» вдоль берегов Девоншира. Колокольни Плимута и лес мачт его гавани вращались в воды. Живописные местечки, цветущие деревни явля-

¹ то есть матросов, вывертывающих воротом якорь.

² Так я хочу, так я призываю — да будет воля моим доводом!
Ювенал (лат.)

лись и убегали, точно в стекле косморамы... Даль задергивала предметы своею синетою. Свежестью осеннею дышала земля; мирно было все в небе и на море; но вдали серые облака заволокали кругом горизонт, широкая зыбь грозно катилась в пролив, и западные склоны их, встающие все круче и круче, предсказывали крепкий ветер с океана.

Вечерело. Нил Павлович, ворча что-то про себя, с заботливым видом поглядывал на туманное небо и на тусклое море,— он стоял на вахте.

— Не прикажете ли, капитан, убрать наши чепчики, то есть брамсели, разумею я, а вслед за ними и брамстенги? — спросил он Правина.

— Прикажете, — отвечал тот равнодушно. — Хоть я не вижу в этом большой нужды — посмотрите-ка: паруса наши чуть не левентих¹.

— Конечно так, — возразил Нил Павлович, немного уколотый таким замечанием. — Теперь пузо² наших парусов как передник десятилетней девочки; зато взгляните, как надуло свое — море! Эдакая прожора, эдакой Фальстаф земного шара — оно готово скушать и нас без перцу и лимонного соку! Прислушайтесь, как стало оно ворчать и разевать пасть свою!.. Нет, погоди ты, морская собака: мы еще не довольно грешны, чтобы познакомиться с твоею утробой, не исповедавшись на Афонской горе. Не придерживать ли, капитан, круче к ветру, чтобы до ночи удалиться от берегов?

— Нет, Нил Павлович, мы спустимся в океан не ранее, как обогнувши мыс Лизард, чтобы, забравшись выше, далеко миновать бурливую Бискайскую бухту. До той поры держаться надо параллельно берегу.

— Чтoб не прижало нас волнением к бурунам!.. Каменный утес — плохой сосед деревянному боку.

— Кажется, Нил Павлович не перешел еще меридиана жизни, за которым и самую робость величают осторожностью.

— Одной осторожностью больше — одним раскаянием менее, капитан!

— Риск — дело благородное, Нил Павлович! Не с вами ли ходили мы на гнилом решете между ледяных гор Южного океана — и боялись ли тогда идти все вперед да вперед? Бывало, сменившись с вахты, чуть заснешь —

¹ то есть полощутся, висят, не надувшись.

² техническое выражение, округлость паруса.

смотришь, выбросило из койки, а сквозь пазы хоть звезды считай. Что такое? Стукнулись о льдину... течь залива-ет трюм, качка тронула из гнезда мачту! «Да тонем, что ли?» — «Нет еще», — отвечают сверху. И мы засыпали опять богатырским сном.

— Это правда, капитан: мы засыпали, но это было оттого, что вы не были командиром судна, а я первым лейтенантом, как теперь. На нас не лежал ответ даже за свои души. Нам с полгоря было тогда тонуть, не раскрыв даже одеяла, боясь простуды. Теперь иное дело: от нас бог и государь требуют сохранения корабля и людей.

Капитан не слышал окончания этой речи: он уже в глубокой думе стоял на подветренной сетке, устремив свои очи на волны. Какое странное действие производят они на воображение тронутого человека! Игра их отражается в нем будто в зеркале. Самые мечты его колышутся, возникают, опадают в нем вещественно — и, не образуясь ни во что определенное, сливаются с морем, не оставя по себе следа. Так было и с Правиным: любовь его была глубока, как море, кипуча, как море, — сердце его было на время оглушено разлукою, и оно очнулось лишь тут; оно пробудилось, как младенец, подкинутый безжалостною матерью к чужим воротам, зимою, — и первый звук, из него вырвавшийся, был болезненный крик отчаяния. Нерасцветающий мрак, убийственный холод — вот что отныне будет его тюрьмою и пыткой. Люди не сохранят для него в гостинице ни одной радости. Уединение не даст ни одной светлой мысли. Опустошает, как Тимур-Ленг, душу разлука, душу человека, одаренного мыслию и чувством! Он отчуждил ее, он перелил ее в бытие милой, он сплавил свои мысли с ее мыслями, свои чувства с ее чувствами. Как чудные близнецы, сердца их срослись в одно целое — и вдруг это целое разорвано, разбито, разбросано судьбою. Такой человек теряет вдруг все, потому что он все отдал; он не верит надежде, потому что забрал слишком много у прошлого, потому что он в часах истратил годы счастья. Лишь одно воспоминание вползает в развалины, как змея. О воспоминание! ты льешься тогда горячими слезами из очей, каплешь кровью из сердца. Разлука встает между любящимися будто ледяная стена — и на ней, словно в волшебном фонаре, изображается в тысяче видах все бывшее. Вторится каждая прелесть, каждое слово неги и нежности! Чародей, она воскрешает ласки, уносившие нас до восторга, утопавшие нас в небесном самозабвении,

зажигает вновь взоры и поцелуи, и когда на устах разгорается жажда лобзаний, когда кровь пышет, когда сердце рвется слиться с другим в пламени взаимности,— рука, и уста, и сердце встречают лед, и мечта тонет в мерзлой реке, подобно голубку, опаленному пожаром. Тогда, о, тогда невольно рождается вера в злое начало, в самовластие Аримана, в силу ангела тьмы! Кажется, чувствуешь тогда его мертвящее дыхание, видишь во тьме его злобные очи, внемлешь его адский смех за собою.

Мрачней, все мрачней становилось море, и с ним заодно чернели думы Правина. Грудь его вздымалась тяжело, будто свинцовые валы обливали ее своею тяжестью, будто лежала на ней колоссальная рука судьбы. Он смотрел на полет чаек; они одна по одной отставали от фрегата и с жалобным криком исчезали в туманном небе.

«С вами,— думал он,— улетают мои последние радости, и когда Англия, эта раковина, хранящая жемчужину моей души, исчезнет из глаз моих,— не все ли равно, что я схороню ее в океане... Когда случай сведет нас? где могу я встретить ее? а между тем я, бедный скиталец, останусь над бездною один-одинок!»

Как обыкновенно звучат эти слова! Раскройте словарь, и вы с трудом их отыщете на странице. Как грамматическое орудие, они ничем не отличны от своих собратий; но как выражение мысли, как символ чувства, как след дела — я никогда не могу прочесть или услышать их, чтоб сердце мое не сжалось. Один бог может быть одинок без скуки, ибо в лоне его движется все. Только бог может быть один без сожаления, потому что нет ему равного.

Предвещения, предчувствия теснились в сердце Правина: сильные страсти нас делают суеверными. Но к ним прививалась и ревность, которой не мог отрицать ничей разум.

«Она будет в Лондоне и в Париже,— думал он,— и кто порука, что в вихре рассеянности она не забудет меня! Притом, устоит ли она противу обольщения, вооруженного всеми прелестями дарований, ума, славы, красоты, моды! устоит ли против собственного тщеславия? И я, неопытный, ни разу не дерзнул ей напомнить о верности, связать ее клятвою! О, как бы я желал еще хоть час побыть с нею, услышать ее обет верной, вечной любви, умолить хоть из жалости не изменять мне и, если суждено нам судьбою не видаться более, проститься с ней не равнодушным знакомцем, как это было в Плимуте, но страстным любовни-

ком наедине — слить наши слезы и пламенным поцелуем запечатлеть пламенную любовь!»

Он вынул из кармана последние слова княгини, написанные карандашом на обороте карточки адреса лучшего трактира в местечке (мы назовем его Ляйт-Боруг), куда собиралась ехать сегодня же княгиня отдохнуть вдалеке от шума и пыли, покуда сошьют ей в Плимуте английский костюм. Ей так расхвалили здоровое местоположение и живописные окрестности этого Ляйт-Боруга.. ей так необходимо поправить свою слабую грудь после морского путешествия. Князь придет за нею дня через три, и вместе отправятся в Лондон; и теперь княгиня должна быть уже там, и его фрегат против самого Ляйт-Боруга, и до берегу не более двух миль! Все это — пришло вдруг на память Правина; он несколько раз поворачивал карточку, — и каждое слово ее казалось теперь ему чертами света, — они загорались подобно электрическому фейерверку от прикосновения проводника. Недоконченная речь: «Ангел мой, я твоя...» принимала тысячу разных смыслов, — и все они сходились к одному: свиданье или смерть! Для чего ж иного она хотела ехать в Ляйт-Боруг? Для чего иного написала свое таинственное посланье на карточке адреса?..

«Свиданье или смерть!» — молвил себе Правин.

— Нил Павлович! — сказал он, быстро обернувшись к лейтенанту, — прикажите спустить с боканцев мою десятку: я еду на берег!

— На берег? вы, капитан, едете на берег? — с изумлением спросил Нил Павлович. — Этого быть не может. Правин важно посмотрел на лейтенанта.

— Желал бы я знать, почему не может этого быть? — с ирониею возразил он.

— Потому что не должно, капитан!

— Нил Павлович будет, конечно, так добр, что растолкует, почему это?

— Я думаю, вы лучше всех знаете, капитан, что глядя на вечер опасно пускаться в прибой для шлюпки; еще опаснее ложиться в дрейф для фрегата, когда буря на носу. Притом это напрасно замедлит путь.

— Оставьте мне знать, что напрасно и что надобно. Я так хочу, — и оно так будет. Прикажите сейчас спустить шлюпку!

Нил Павлович поздно заметил, что он ошибся в расчете, обращаясь к Правину как к начальнику и между тем

противореча как другу, вместо того, чтобы обратиться к другу и уговорить капитана.

— Ты сердисься, Илья? — сказал он, подошедши к нему ближе, — и, право, напрасно. Посмотри на небо и на море: они хмурятся на нас, будто судья на уголовного преступника. Не покидай же фрегата в такую пору: не клади на себя упрека, что ты уехал от опасности!

— Я, я бегу от опасности? Послушай, Нил... на свете не было другого, кроме тебя, кто бы осмелился мне сказать это; и нет никого, кто бы сказал это дважды. Я довольно жил и служил, чтобы меня не подозревали в трусости!

— Илья, Илья! прочь от меня укор в подобном сомнении! Не отвага, а благоразумие тебе изменяет. Не в трусости, а в безрассудстве станут обвинять тебя, если ты поедешь... Ну, чего боже сохрани, если без тебя что случится!..

— Кажется, Нил Павлович боится ответственности, когда останется старшим.

— Не ответственности, но вреда судну и людям боюсь я. Неплохой я моряк, Илья Петрович, ты знаешь это; зато я сам знаю, что ты моряк лучше меня. Лежать в дрейфе, дожидаясь тебя в бурную ночь вблизи камней, — право, не находка. Друг Илья! отложи свое намерение, — взяв его за руку, с чувством продолжал Нил Павлович, — волнение развело огромное — видишь, как сильно поддало!

В самом деле, вал расшибся о скулу фрегата и через сетку окропил брызгами обоих друзей. Фрегат вздрогнул, но сердце капитана осталось спокойно — ему ничто не казалось зловещим. Любовь ослепляет самый опыт и дает какую-то темную веру, что природа может иногда изменять свои законы для любовников. Правин отряхнул брызги и тихо отвел руку Нила Павловича.

— Пустые страхи! — произнес он. — Еду; хочу ехать!..

— Твоя воля мне закон, но воля, а не прихоть. Не сердись, что я круто говорю тебе правду, — я не придворный. Будь муж, Илья! Ты уж и то много потерял во мнении товарищей через свою предосудительную связь; ну да прошлое прошло — бог с ним! Распростились — баста! Нет, так давай еще амуриться. Сам посуди: стоит ли рисковать царским фрегатом и жизнью этих добрых людей, даже собственною славою для масляных губок твоей беспутной княгини?

Капитан вспыхнул.

— Прошу вас, г. лейтенант, быть не очень тороватым на осуждение особ, которых вы хорошо не знаете. Вместо того, чтобы разбирать поведение вашего капитана, лучше бы вам исполнять его приказания.

— А! — молвил тогда обиженный в свою очередь Нил Павлович, отступая и возвыся голос. — Вам угодно говорить мне, как начальник подчиненному? Так позвольте мне, в лице вахтенного лейтенанта, заметить вам, капитан, что вам неприлично отлучаться со вверенного вам фрегата перед бурей, зная, что этим вы подвергнете его неминуемой опасности.

Нил Павлович брызнул маслом на огонь.

— Вы, сударь, не судья мне! Прикажете, сударь, спустить шлюпку, говорю я вам! — вскричал Правин в запальчивости. — Не заставьте меня самого приказывать. Знайте, что если вы меня выведете из терпения, я могу забыть и прежнюю дружбу, и долгую службу нашу вместе.

— Мне кажется, капитан, вы уже забываете ее, оставляя свой пост. Я гласно протестую против вашего отъезда и прошу записать мое мнение в журнал.

— Г-н штурман! — гневно воскликнул капитан, — запишите в журнал слова г-на лейтенанта Кокорина и прибавьте к этому, что он арестован мною заслушание. Отдайте, милостивый государь, ваш рупор лейтенанту Стрелкину и не выходите из вашей каюты. Шлюпку!

— Пусть нас судит бог и государь! — горестно сказал Нил Павлович, уходя. — Но вспомните мои слова, капитан... вы дорогою ценой купите горькое раскаяние!

Капитан корабля, беспрестанно находясь на службе и вблизи своих офицеров, поневоле облекается недоступностью, чтобы подчиненность не исчезла от частого товарищества. Правин, как и всякий другой, скоро привык к безусловному повиновению, — а тут Нил Павлович, не умея взяться за дело, раздражил вдруг и страсть и гордость Правина, будто нарочно. Затронутый за живое, он счел обязанностью сделать наперекор своему другу.

Отдав все нужные приказания молодому лейтенанту, Правин спрыгнул в катер. Десять лихих гребцов ударили в весла и скоро, выбравшись на ветер, поставили паруса. Катер покатился с волны на волну, между тем как седая пена забрасывала мгновенный след, будто ревнуя, что утлая ладья презирает ярость могучей влаги.

И в думе нет, что наслажденье —
 Что случая крыло его уносит, прах,
 Что каждый маятника взмах
 Цветы минутной жизни косит.

А. Б.

Свечи догорали в комнате княгини Веры, в гостинице Ляйт-Боруга. Было три часа за полночь — и счастливцев Правин вырвался из объятий своей страстной и прекрасной любовницы.

— Возможно ли! — сказал он, — уже близко утро — целая ночь испарилась, как поцелуй!

С диким восклицанием поднялась с дивана княгиня — глаза ее впились в Правина...

— О, не говори мне об утре, не напоминай о разлуке: я не пушу тебя... ты сам не покинешь меня... не правда ли? — продолжала она с ребяческой нежностью, привлекая его на свою грудь. — Мой Илья не будет так жесток — он не предаст меня отчаянию — я не отдам тебя морю!.. Слышишь, как сечет ливень в окна, как завывает буря!..

Правин в половине поцелуя оторвал уста от коралловых уст княгини и заботливо прислушивался к шуму сражающихся стихий. Мысль о шторме, о бедствии, в котором мог быть его фрегат, прожгла его мозг. Страшно было видеть его побледневшее лицо подле томного лица княгини, подернутого прозрачным румянцем неги... Вера была тогда прелестна, как страстное желание поэта, в котором более неба, чем земли; Правин со своими мутными очами походил на раскаяние, пробужденное страхом.

— Спасите! — вскричал он наконец безумно, — фрегат мой тонет... Слышите ль выстрел, еще выстрел — еще...

Буря будто притихла с усталости... какой-то гул замирал вдали — под скалой зверем ревели море... но кругом все было тихо — до того тихо, что слышно было падение капель с кровли — и бой испуганного сердца княгини.

— Нет, мой бесценный, ты ошибся — то были удары грома. Может ли быть несчастлив кто-нибудь в то время, когда мы так счастливы!

Правин с какою-то неистовою негою упал в объятия Веры.

— Ты моя! Вера моя! Что ж мне нужды до всего остального — пускай гибнут люди, пускай весь свет разлетится вдребезги! Я подыму тебя над обломками, и последний вздох мой разрешится поцелуем!.. О, как пылки, как жгучи твои уста в эту минуту, очаровательница! Знаешь ли, — примолвил он тише, сверкая и вращая очами как опьянелый, — ты должна любить меня, уважать меня, поклоняться мне более чем когда-нибудь.. Знаешь ли, что я богаче теперь Ротшильда, самовластнее английского короля, что я облечен в гибельную силу, как судьба. Да, я могу сорить головами людей по своей прихоти — и за каждый твой поцелуй платить сотнею жизней — не жизнью врагов, — о нет! Это может всякий разбойник. Это слишком обыкновенно.. Нет, говорю тебе, я бросаю на ветер жизнь моих любимых товарищей, моих друзей и братьев, — а за них во всякое другое время готов бы я источить кровь по капле, изрезать сердце в лоскутки!

Трепеща внимала княгиня этим несвязным речам, не вполне понимая их.

— Ты меня ужасаешь, милый! — говорила она. — Илья! ты уморишь меня со страха!

— Умереть? кто говорит умереть? Вадор! — теперь то и надо нам жить, потому что одна любовь стоит назваться жизнью; ты сама прелестна, как жизнь, Вера! — произнес он, обтекая ее взорами, пожирая лобзаниями. — Ты божественна, как смерть, — потому что заставляешь забывать все, потому что заключаешь в себе рай и ад. Помнишь ли обет мой отдать тебе и за тебя душу? — вот она! вот она вся... Я не продавал ее по мелочи за ничтожные радости — не променивал ее на золото. Девственну и чисту сохранил я ее до сих пор — и теперь бросаю ее к ногам твоим, как разорванный вексель. Дорого, о, невообразимо дорого ты мне стоишь, милая! — но я не раскаиваюсь, я заплачен выше цены.

С каким-то судорожным восторгом он притиснул к своей груди княгиню; та робко отвечала на его ласки. Со своими воздушными формами она казалась с неба похищенною Пери на коленях сурового Дива; и, наконец, уступая оба неодолимому очарованию страсти, они слились устами, будто выпивая друг из друга жизнь и душу.

Часы могли бить, петух петать, не возбуждая любовников из упоительного забытья, — но они пробудились не сами. Страшный, как труба, пронзающая могилы и рассеивающая льстивые грезы грешников, раздался над ними го-

лос... Сердца их вздрогнули — перед ними стоял князь Петр **!

.
.
.

...Она вырвала пистолет из руки Правина и почти без чувств прильнула к его плечу. Он бережно опустил ее на кресла и, потупив очи, но подняв брови, обратился к обиженному супругу.

— Час и место, князь! Я знаю важность моей вины, знаю требования чести...

Физиономия и осанка князя, весьма обыкновенные, одушевились в то время каким-то необычайным благородством. Ничто так не возвышает язык и движения человека, как негодование.

— Требования чести, м. г.? — отвечал он гордо. — И вы говорите мне о чести в спальне моей жены? Вы, которого я принял к себе в дом как друга, которому доверился как брату, — и вы обольстили мою жену — эту женщину, хотел я сказать. Запятнали доброе имя, пустили позор на два семейства, отняли у меня дом — и лучшую отраду мою — любовь супруги — вы, сударь, одним словом, похитили честь мою и думаете загладить все это пистолетным выстрелом, прибавя убийство к разврату? Послушайте, г-н Правин: я сам служил моему государю в поле, и служил с честью. Я не трус, м. г., но я не буду с вами стреляться; не буду потому, что нахожу вас недостойным этого. Не буду потому, что не хочу вовсе бесславить ни себя, ни жены моей. Пусть это происшествие умрет между нами — но между мной и ею с этих пор не будет менее ста верст. Чужая любовница не назовется с этих пор моею женою. Мы разъезжаемся — и навек! — она богата — стало быть, найдет и утешенье и утешителей. Это мое неизменное слово, это святая клятва моя! Для света можно сказать, будто мы поссорились за пелеринку, за модное кольцо — за что угодно. Вот все, что я имею сказать вам, только вам, сударь! Эта неблагодарная женщина не услышит от меня ни одного упрека — она не стоит не только сожаления — даже презрения. Я добр, я был слишком добр, но я не из тех добряков, которые терпят добровольно. С вами я надеюсь встречаться как можно реже — с нею никогда! Я еду в Лондон; я оставляю вас наедине с этою бессовестною женщиною и с вашею совестью: и уверен, что вы не будете долго ссориться все трое!

Обиженный супруг закрыл глаза руками,— но крупные слезы прокрадывались из-под них... Он медленно отворотился... Он вышел.

Княгиня рыдала без слез, на коленях, склоня голову на подушку дивана. Правин стоял в каком-то онемении, сложа на груди руки,— он не мог ничего сказать на отпор князю, потому что внутренний голос обвинял его громче обвинителя; он не мог промолвить никакого утешения княгине, для того что не имел его сам. Эгоизм страсти предстал перед <ним> тогда во всей наготе, в своем зверином безобразии! «Ты, ты,— вопияла в нем совесть,— разбил этот драгоценный сосуд, бросил в огонь эту мирру — для того, чтоб одну минуту насладиться благоуханием. Ты знал, что в ней заключен был талисман счастья, завет неутомимой судьбы, слава и жизнь твоей милой, знал — и дерзко изломал печать, как ребенок ломает свою игрушку, чтоб заглянуть внутрь ее. Взгляни ж теперь на душу Веры, тобою разрушенную; полюбуйся на сердце ее, которое ты вырвал и бросил в добычу раскаянию; на ум, который с этих пор будет гнездом черных мыслей, укорительных видений,— и для чего, для кого все это?.. Не лицемерь, не прячься за отговорки — все это было для себя, для собственной забавы — ты не боролся с своею страстью, не бежал от искушения, не принес себя в жертву — нет, ты, как языческий жрец, зарезал жертву во имя истукана любви — и сам пожрал ее. В какой свет, в какое общество сбросил ты княгиню? Отныне в каждом поклоне будет она видеть обиду, в каждой улыбке — насмешку, в родном поцелуе — лобзанье Иудино; везде будут казаться ей качание головою, и перемигивание, и лукавый шепот; самый невинный разговор будет колоть ее шипами, самую дружескую откровенность вообразит она вызнаваньем — вся жизнь ее будет горечь сомнения, и подавленные вздохи, и слезы, снедаемые сердцем!..»

Да, ужасное похмелье дает нам упоение страстями! Изможденные телом и духом, мы пробуждаемся перед судом для того, чтоб услышать приговор неумытных жюри, которые из глубины души произносят страшное «quilty! — виновен!»

Правин отвел очи от княгини. Уже светало, и взоры его сквозь чистое окно упали на беспредельное море. Оно было мрачно и пусто, подобно его душе. Огромные валы, словно стада китов, рыскали и плескались в пространстве — и вдруг между ними мелькнул корабль — только об-

разы его во мраке и тумане были так неясны, что суеверный моряк сказал бы: «это корабль-привидение, осужденный вечно скитаться по океанам с проклятыми своими пловцами». С тяжким биением сердца, не переводя духу, следил его Правин, но корабль, одетый сумраком, исчезал — и снова обозначался — и снова сливался как облако с облаками. Буря уменьшилась, но черные тучи ходили еще по небосклону взад и вперед, как победители, которые считают трупы убитых.

Наконец заря облила воздушною кровью и тучи и волны с востока: туманы и сомнения Правина рассеялись. Замеченное им судно было точно фрегат «Надежда», но в самом бедственном положении, без стеньг, с изломанной фок-мачтой и бушпритом, с искривленными реями. Два или три стакселя¹, поднятые вполовину, казались последними усилиями борьбы с судьбой, влекущей его на скалы. О, велик бы был тот сердцеведец, кто физиологически разложил бы тогдашнее восклицание Правина: «и это!», кто рассказал бы нам едкость отравы, проникнувшей его сердце, или степень мук от угрызения совести! Лесажев бес снимал кровли, но если б он снял череп с головы Правина и заглянул в ум его, он бы содрогнулся от ужаса, и адский даже язык прильнул бы к гортани.

Стиснув рукою чело, как будто от страха, чтобы голова его не расторг вихорь мыслей, с кровавыми пятнами по лицу, с очами, кои, подобно маятнику, ходили от фрегата к княгине, от моря к любовнице, — Правин был живой образ казни между двух жертв, между двух преступлений: против нравственности и службы.

Наконец долг победил страсть. Правин горячо поцеловал в лоб княгиню и произнес:

— Вера, прости меня — и прощай!! Нам должно расстаться — фрегат бедствует!

Львицей, у которой уносят последнего детенка, вскочила Вера.

— Бедствует, фрегат твой бедствует!.. И ты, злобный человек, можешь говорить мне об этом, будто я на розах, будто сама я не бедствую! Ты жалеешь дерево, жалеешь чугуна — и безжалостен к сердцу, тебе отданному, тобой разбитому; бросаешь меня на съеденье отчаянию. Для тебя я забыла все, отдала все — и ты все это забываешь! Нет! Ты мой, мой навечно: я купила тебя, я выменяла те-

¹ косые паруса.

бя на мое счастье здесь, на рай мой там! Не правда ли, ангел мой, ты мой? Ты не покинешь меня в таком положении: кроме тебя, у меня нет покровителя. За час перед этим я имела имя, отечество, семью, друзей — ты оборвал с меня все это, как эти цветы; как эти цветы, растоптал ты их пятою. И я не жалею о них, куда ты со мной. Твое сердце мне будет родина, твои объятия — родные, твои речи — подруги мои — ты будешь свет мой, мир мой... О, не покидай же меня, не убивай меня!!

И она нежно обвивала Правину своими прозрачными руками — и она обольстительно шептала ему несвязные речи. Но мужчина может забыться — не забыть беды, его окружающие, и в то время, когда женщина множит любовь своими пожертвованиями, своим несчастьем, когда она в целом мире не думает ни о чем, кроме любви, мужчина самую жестокость бед возбуждается из душевного расслабления — он уже ищет, как бы поправить дело.

— Душа моя, душа моей души, прошлое не возвратно — но подумай о будущем!.. Его еще можно заставить служить нам. Я съезжу на фрегат, чтоб пособить повреждениям и не допустить до крушения. Ты теперь свободна — ты можешь ехать, куда хочешь, — спеши в Италию! Там я встречу тебя в каком-нибудь приморском городе, в одном или в каждом из портов Средиземного моря. Позволь же мне отлучиться: это необходимо для спасения обломков моей чести, для спасения, может быть, пятисот моих товарищей. Честное слово тебе даю, что завтра вечером я буду в твоих объятиях... Посмотри, буря утихает!..

Долго и пристально смотрела княгиня в глаза Правина.

— Ты меня не обманываешь, — с тяжким вздохом сказала она, — но разве не может обмануть нас судьба!.. О, не ездь, мой милый... мне что-то говорит, что мы не свидимся более... по крайней мере не говори мне *прощай* — мне ненавистно это слово. В твои руки, Илья, отдаю я свое сердце, — примолвила она, залившись слезами, — в руку бога поручаю твое.

Она упала на колени перед окном, будто умоляя свирепое море пощадить ее друга; потом очи ее слились с небом — она молилась — горячо молилась, — и кто бы не сказал, видя это прелестное лицо, дышащее чистою верою, орошенное слезами умиления, что ангел молит небеса о спасении грешника. Она обратилась к Правину

с улыбкою грусти, с простертыми устами, чтобы встретить его прощальное лобзанье, — проводила его взорами и упала без чувства на холодный пол гостиницы.

— Ребята! — крикнул капитан своим гребцам, лежащим подле вытащенной на берег шлюпки, — мне непременно должно быть на фрегате, — если умирать, так умирать вместе с товарищами, — едем!

— Рады стараться! — закричали в один голос удалые гребцы. Они привыкли каждое желание капитана считать святым, каждое слово правдивым и разом сдернули десятку на воду.

Но не так легко было выбраться из бухты. Шумные буруны ходили стенами и отбрасывали назад катер. Четыре раза разгребая в упор, силились гребцы переметнуться за спорный вал — и четыре раза, черпая носом воду, уступали ярости удара. Утроив силы, улучив способный миг, удалось наконец им выбраться в море, но море еще кипело и бушевало, раскаченное ночью бурей. Валы сливались в огромную зыбь: вставали и падали неправильными рядами и, взбрасывая катер, как щепку, грозили залить или поглотить его. Ветер бил на берег, и потому пришлось идти на гребле. Волнение выбивало из уключин весла — два человека беспрестанно отливали воду — в катер поддавало со всех сторон.

На руле сидел заслуженный урядник, который свыкся с бурями и опасностями, как с лишнею чаркою водки, для которого, по собственному его выражению, море было масленица, а девятый вал — милее девятого блина. Он прехладнокровно глядел то на свой нос, то на нос катера, наблюдая, чтобы он не рыскал. Казалось, все, что совершалось кругом его, было ему совершенно чуждо. Всегдашний спутник поездок капитанских, он уже ознакомился с его нравом и знал, когда можно было молвить ему словцо, другое.

— Смею спросить, Илья Петрович, — сказал он капитану вполголоса, — сны иногда бывают, то есть, от бога?

— Случается, — отвечал рассеянно Правин.

— Я чай, что от бога, ваше высокоблагородие! Да и как залезть лукавому в христианскую голову, когда на ночь перекрестишь лоб. Я вчера, то есть, кажись, положил крест даже на изголовье; с крестом, изволите видеть, ваше высокоблагородие, мягко спать и на камне, а все-таки привиделся мне чудный сон... Грянь, други, грянь — проводи дальше

веса!.. И такой сон, то есть, что ума-разума не приложу разгадать его... Ну, девятый прокатился! Виделось мне, будто у нас на «Надежде» смотр не смотр, праздник не праздник — только народу кишмя кишит: генералов, адмиралов, штабства — видимо-невидимо. И все словно наяву пьют и закусывают; только все молчок; такая тишь, что муху бы услышал. И вот, то есть, будто кто-то крикнул: «Смирно!» Команда наша выстроилась на шканцах. Глядим, гости потянулись мимо нас, а сами заглядывают в глаза. И шли будто, шли — конца не видать. Вдруг, то есть, откуда ни возьмись, и ваше высокоблагородие — в полном мундире, только через плечо вместо ленты красный флаг: не ведь гюйс, не ведь какой сигнальный. А идете будто вы под ручку с какой-то барынею — лицо открыто, а лица не видать!.. Ну, други, ну навались! что зазевались на зайчиков! И вот остановились будто вы, Илья Петрович, как теперь гляжу, передо мною. «Выйди вперед, Гребнев!» — сказали мне и положили руку на мое плечо, да и молвите барыне: «Я и его беру с собою, он довольно послужил, надо успокоить его старые кости!» То есть, видно, в отставку выйдете да и меня, старика, в дворецкие возьмете — буду я себе в ту пору посвистывать в ключ вместо этого свистка. Ну, да не о том речь, ваше высокоблагородие! Глядь будто я на себя, да так и сгорел — на мне, вместо куртки, белая рубашка! Просыпаюсь, а сердце будто вырваться хочет — насилу открестился. Что бы это значило, ваше высокоблагородие?

Правин невольно впал в глубокую думу. Смутная мысль о смерти пала на душу впервые — и в этот раз она ничего не имела в себе отрадного. Умереть, утонуть, не помирившись с совестью добрыми делами, не выкупив у прошлого проступков своих блестящими поступками!.. Он вспомнил, что тонкая дощечка отделяла его от влажной могилы, — и содрогнулся он — и обозрелся кругом: море крутилось страшно; фрегат был близок, но зыбь валяла его с боку на бок так сильно, что медная обшивка обнажалась до киля, сверкая будто броня великана; потом вал снова закрывал корпус так, что чуть виднелись снизу марсы. Полкабельтова, не больше, оставалось до борта, но борт был опаснее всякой скалы: прибой расшибался, воя о ребра его, и широкими всплесками грозил каждый миг залить и опрокинуть катер.

— Молись, Гребнев, Николаю Угоднику, — сказал капитан, ударив урядника по плечу, — молись: матросские мо-

литвы до неба доходны. Если мы счастливо пристанем к борту — ты будешь нянчить внуков моих.

— Крюк! — закричал урядник. С борту кричали: «Лови, лови!» Роковая минута настала. Глаз капитана не обманулся в степени опасности; сон Гребнева упал в руку...

8

К ночи того же дня ветер совершенно стих, море опало. Оно едва, едва дышало будто от усталости и что-то шептало засыпая. Обломанный фрегат «Надежду» прибуksировали ближе к берегу, и он лежал уже на якоре. Работы на нем кипели: скрип блоков, трёканье и удары мушкелей раздавались повсюду. Ставили запасный рей вместо потерянной мачты, переменяли стеньги, такелаж; починивали изломанные сетки. Помпы хрипели будто больной — палубы изображали прекрасный отрывок хаоса. Везде царствовала суета, но в ней не было души: матросы работали без песен, без сказок; тихо перемалвливались и печально качали голову: видно было, что свершилось какое-то важное несчастье.

— Что, нет надежды? — спросил один мичман лекаря Стеллинского, который вылезал из-под сукна, коим отделялся лазарет от палубы.

— Никакой, — отвечал тот, — лекарства ему так же бесполезны теперь, как трубка табаку. Пусть подшкипер снижает с него мерку на саван.

— Жаль! Гребнев был лихой урядник. Ну, а из вчерашних, ушибенных сорвавшимся реем?

— Двое будут живы; остальные ж трое отправятся сквозь порт туда же, куда слетели семеро сверху.

— Худо, очень худо! Десять жертв с фрегата и шесть с капитанского катера — это не безделица! У меня душа замерла, когда со всего размаху ударился катер в борт — только щепки брызнули! Одного гребца в моих глазах разможило о руслени; другого прищемило днищем и расплющило, как пуговицу. Ну, да это все не беда, лишь бы жив остался наш капитан; вы давно проводывали его, Стеллинский?

— С полчаса назад: он потерял много крови — проклятый гвоздь с изломанной доски шлюпки глубоко вонзился ему между ребрами — я насилу мог остановить кровотечение. Однако теперь горячка стихла — и он вообще больше

болен духом, чем телом: *affection mentale*¹. Он, видите, нервного сложения: на него крепко подействовало повреждение фрегата и гибель людей. Если бы нам, медикам, случилось приходиться в отчаяние от ошибок, так пришлось бы задавиться турникетом после первого дежурства в клинике.

— Слава богу, доктор, что добрые люди не вдруг привкают к чужой гибели, притом, кроме худой славы перед своими и англичанами, не мудрено, что капитан наш поплачется за свою прогулку эполетами.

— Неужели ж его отдадут под суд за мачту?..

— Да, Стеллинский! Не дай бог попасться под военный суд: это хуже вашего консилиума — и между тем это вероятно. Государь, правда, лично знает Правина и после наваринского дела сам назначил его командиром фрегата; начальство уважает его, но сами вы знаете, что служба ни шутить, ни лицеприятничать не любит.

— Да, да! — это будет невозвратная потеря для флота!

— Впрочем, делайте вы свое дело, а мы, офицеры, обрабстаем свое. Разве нельзя три четверти вины пустить на ветер? С бурями так же, как с вашими болезнями, все шито да крыто.

— Дай бог, дай бог!

Лекарь вошел в капитанскую каюту.

Кто бы узнал в этом бледном, изможденном страданиями теле вчерашнего Правина, цветущего здоровьем, кипящего надеждою? Расшибенная голова его была обвязана полотенцем, лицо мерцало могильною белизною, зрачки не двигались в глазах, охваченных синим кругом, — они лишь расширились и сжимались повременно. Подперши левою рукою голову, правой держал он за руку Нила Павловича, который сидел у него на кровати и с ним разговаривал. У обоих остатки слез дрожали на щеках.

— Нилушка! не оправдывай меня; отлив крови — прилив рассудка: я вижу теперь, что во всем виноват сам, — один я буду и в ответе. Останься я на фрегате — все бы шло хорошо. Не арестуй я тебя: мы не потеряли бы ни одного лисель-спирта. Не вини Стрелкина: он молодой офицер, он новичок-лейтенант, и если спустился под шквалом на фордевинд, не убравшись даже с ундерзейлями, — это оттого, что он никогда не бывал в подобных обстоятельствах.

¹ душевное расстройство (лат.).

— Впрочем,— сказал ласково Нил Павлович,— все зависит от того, в каком виде представим дело начальству.

— Неужели ты думаешь, друг мой, что я стану лгать в извинение? Ни в чем, никогда! Завтра же рапортую о несчастном случае императору и адмиралтейству — и все, как было,— все без утайки. Ты простил меня,— может статься, накажет слегка и начальство; но могу ли я простить самому себе — успокоить совесть за смерть людей!

— Грот-марса-рей сорвался случайно. Второпях, в потемках один урядник отдал топенант вместо грот-стенг-стаксель-фаала, и люди полетели долой. Это могло случиться и при тебе.

— Я уверен, что ни при мне, ни при тебе не было бы суматохи, не было бы и торопливости... А гребцы мои, а!..— Правин вздернул одеяло на лицо и несколько минут безмолвствовал. Только содрогание одеяла доказывало, что он под властью ужасного чувства. Наконец он открылся.— Нил, тебе известно все,— сказал он,— были проступки и в прежней жизни моей,— но я бы отдал смерти половину дней, назначенных мне жить, и посвятил бы остальную на благодарность богу, если б можно было вычеркнуть из бытия последние двадцать четыре часа...

— И я, я преступник,— вскричал он, помолчав с минутой и потом подымаясь на ложе,— я, который играл царскою доверенностию, который оболстил, погубил любимую женщину, обидел друга, запятнал русский флот, утопил шестнадцать человек, для насыщения своей прихоти,— и я-то думаю жить! Нет! Я не переживу ни своей чести, ни своей души; я не хочу, я не должен существовать. Море взлелеяло меня, море дало мне свои бурные страсти — пускай же море и поглотит их: только в бездне его найду я покой! Если суждены мне муки за гробом, то пусть мучусь вне тела, без сердца, одной душою!.. Это уж выиграш!.. Смерть — ты улыбаешься мне, как Вера... Приди, приди!

Он страшно восклицал, он жадно простирал руки к какому-то незримому предмету, он был в исступлении.

— Горячка снова им овладела,— сказал на ухо Нилу Павловичу лекарь,— надо употребить утишающие средства, и завтра же будет *mens sana in corpore sano*¹.

Он заботливо уложил больного.

Нил Павлович вышел наверх отдохнуть от сильных впечатлений. Солнце садилось. Били вечернюю зарю; оба

¹ в здоровом теле здоровый дух (лат.).

флага скатились тихо, тихо долгой; ночь ниспадала прозрачна и мирна, но все было мутно в возмущенной душе доброго моряка. Участь друга свинцом налегла на сердце.

«Дорогою ценой платите вы, баловни природы, за свой ум, за свои тонкие чувства! — подумал он. — Высоки ваши наслаждения, зато как остры, как разнообразны ваши страдания!! У вас сердце — телескоп, увеличивающий все до гигантского размера. О, кто бы, глядя на Правина, не пожелал быть глупцом, всегда довольным собою, или бесчувственным камнем, ничего не терпящим от других!»

В полночь Нил Павлович потихоньку вошел в каюту капитана... На столе подле постели лежало недоконченное письмо: казалось, Правин недавно писал — чернила еще блестели на пере — на бумаге не засохли две капли крови, упавшей, вероятно, с оцарапанного лица. Сам он спокойно лежал, закрывшись весь одеялом. Рука друга подняла покров, заботливый взор его упал на лицо больного: он, казалось, спал глубоким сном. Румянец играл на щеках, но выражение бровей было болезненно; страдание смыкало уста.

«Он и во сне страдает», — сказал про себя Нил Павлович и на цыпочках вышел вон.

— Слава богу, капитану лучше, — сказал он матросам, которые с участием толпились у дверей каюты... и они рассеялись, и по палубам пролетела шепотом отрадная весть: капитану лучше.

Ему в самом деле было лучше.

9

С минуты разлуки княгиня не отходила от окна. Солнце село, солнце взошло, солнце перекатилось за полдень, — она все сидела с тоскою в сердце, с зрительною трубою в руке, — она все глядела на фрегат, в коем, не для игры слов, заключалась вся ее надежда. Она видела, как на нем исправлялось, очищалось, приходило в порядок все. Долгое наблюдение сквозь телескоп производит не только в глазу, но и в воображении какое-то странное чувство. Отдаленность с своею немою, но живую игрой людей и предметов, кажется, будто принадлежит иному свету. Смотришь на них, как на тени, хочешь угадать их речи, их думы, их заботы по движениям — внимаешь очами — и любопытство растет до горячего участия.

Часу в пятом вечера княгиня заметила необыкновенное, но стройное движение на фрегате. Матросы унижали

борт корабля; что-то красное мелькнуло с борта в воду, и вслед затем сверкнул огонь из пушки, из другой, из третьей... Гул раздался долго после!.. Потом флаг, который до сих пор спущен был до половины и перевязан узлом, упал — и в тот же миг поднялся до места распущенный... И потом звук исчез в пространстве, дым улетел к небу, и все приняло прежний вид.

Это непостижимое для Веры явление мелькнуло в стекле трубки, будто в неясном, худо запомненном сне. Княгиня протерла стекло, но все задернулось туманом в очах ее, и с них брызнули слезы. «Это от усталости!» — молвила она и в думе опустила голову на руку. Невольная дрожь пробежала по ее телу. «Какой холодный ветер!» — подумала она — и закуталась шалью... Наконец неизъяснимая тоска сжала ей грудь... она с горестию сказала: «Видно, он не придет и сегодня!» Но в голосе ее слышалась обманутая, хотя еще не разрушенная надежда — какая-то слепая доверчивость ребенка к палачу. О, эти простые слова привели бы в трепет каждого, кто угадывал истину. «Сегодня?» Но вечерет ли день замогильный? рассветает ли ночь мертвецов!

И княгиня погрузилась в долгое, тяжелое забытье; забытье без чувств и мыслей; забытье, в котором, как в Мертвом море, нет ни зыби, ни прилива, ни отлива, не витают рыбы, не перелетают через птицы... все иссушено, все задушено! — Словом, забытье, которое потому только не могло назваться смертью, что оно хранило муку.

Место и время исчезли для княгини. Было одиннадцать часов ночи, когда звук мужских шагов в коридоре гостиницы пробудил ее из гробовой дремоты. Первая мысль, первый крик ее был: «это он!», — и она стремглав бросилась к дверям. Тусклый ночник едва мерцал в радужном кружке, — будто глаз какого-то злого духа, — но Вера ясно расслушала его походку, она узнала шотландский плащ Правина — если не слухом и не взором, то сердцем угадала она желанного гостя, — она прыгнула к нему навстречу и с радостным «ах!» упала на грудь пришельца.

Тесно смежны в сердце женщины восторг и отчаяние, смех и слезы, смежны, как две стороны червонца. Лезвие мысли их не делит; сомнение не простирает своей плены между. Княгиня в восхищении сжимала в своих объятиях пришельца.

— Княгиня! — произнес незнакомый голос, — вы ошиблись. Я не Правин, я только посол его!

Нил Павлович подал письмо княгине.

Княгиня отпрянула от него, как будто коснулась змия.

— А Правин? Он не хотел приехать? — вскричала она с укором. — Он обманул меня... Да кому теперь можно верить, когда и самое сердце мое меня обмануло. Скажите ж скорее, жив ли, здоров ли мой Илья? Где он? Когда он приедет сюда?

Нил Павлович безмолвствовал.

Глаза Веры засверкали, как острия кинжалов.

— Я понимаю вас, г. лейтенант, — гневно произнесла она, — вы отговорили, вы не пустили его: вы всегда были против нашей любви. Ваше имя не раз отрывало Правина от моей груди... Он мрачно озирается, слыша вашу походку. Вы, это вы отняли его у меня... Но куда вы девали вашего друга, куда схоронили вы моего Илью? Отвсчайте же, судары! — вскричала она, безумно схватив его за грудь.

— Несчастливая женщина! вам самим повторю я вопрос ваш — что вы сделали с Правиним? Куда, куда вы схоронили его?

— Он умер? — спросила княгиня, леденя от ужаса.

— Пусть отвечают бездны моря! Бедный друг мой изошел кровью... но прежде крови он пролил по вас горькие слезы — он в письме завещал мне утешить вас — но могу ли дать то, чего не имею сам, — я не бог. Он один может утолить слезами горесть и совесть, — примолвил тише Нил Павлович, в котором потеря друга превозмогла все прочие чувства. — Прощайте, княгиня, — дай вам боже забвения — это единственное счастье несчастных!

Он исчез.

С трепетом открыла Вера письмо, начертанное почти во мраке смерти хладеющею рукою полумертвеца... Мы не прочтем его... Язык жизни не выразит тайн могильных — тайн, которые уносит умирающий в прах; тайн, которые истлевают сердце, как чума своим прикосновением...

Плач и жалобы — дары неба! вами откупается несчастный от половины страданий, от пытки, его терзающей. Но горе тому, для чьей тоски нет слезинки в очах, нет в устах рыдания, нет в сердце вздоха. Горе тому, в чьей душе потонут все думы, все, кроме одной вечной, неутомимой думы об одиночестве — думы о судьбе своей... думы, которая шепчет: «Ты, как ястреб Прометей, будешь век терзать свое сердце!» Это ужасно!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Выписка из «Северной пчелы» 1831 г., августа месяца)

«Кронштадт, ... августа. Вчера пришел на здешний рейд из Средиземного моря фрегат «Надежда», под командою флота капитан-лейтенанта Кокорина. Красота корабля, отличный порядок, на нем господствующий, здоровый и бодрый вид людей — обратили на себя внимание и начальства и всех посетителей фрегата».

31 августа 1832 года в Петербурге было открытие Александринского театра. В семь часов вечера зала была уже полна. Партер, половина которого сходил к ломам амфитеатром, аел, как заря, красными мундирами, отворотами, лентами; блистал, как еще не потухший запад звездами. Пять поясов лож пестрелись женскими уборами; иной бы сказал: «то живые цветочные вязи, окропленные росой алмазов», — так ярки, так блестящи были они; и между них веяли и склонялись перья над прелестными личиками, словно крылья херувимов. Тысячи свеч горели букетами по раззолоченным стенам и поручням лож, сливались в ослепительный метеор люстры. Гордо и легко смыкался потолок своими радужными облаками. Боги Олимпа с завистью смотрели на роскошь земную с высоты живописного неба. Богини, краснея от досады, чуть не прятались друг за друга, видя, что красота русских дам пересияла их. Старый грешник, Юпитер, заметив, что он одет не по вкусу времени, сердито косился на свою бороду: казалось, хотел сбрить ее и для последнего превращения облечься в гусарский доломан. Три грации морщились на петербургских красавиц, будто хлебнули амброзии, которая скислась; девять сестриц Парнаса, которые весьма поустарели со времен Гомера, ревниво смотрели на своих женихов, рассыпающихся жемчугом перед светскими вдохновительницами. Даже сова Минервы завистливо таранила глаза. Только посланница любви, Ирида, весело расправляла свои голубиные крылышки; да пролаз Меркурий лукаво заглядывал в ложи, будто дожидаясь письмаца. Вулкан же, глядя по головке сына своей жены, с самодовольным видом немецкого барона, считал мужей, рисующихся по стенам, для тени картины, и напевал песенку:

Нашего полку прибыло, прибыло!

Между тем передний занавес, бледный, как туман германской поэзии, таинственно колебался между зрителями и сценою, будто занавес судьбы, сокрывающей от нас даль грядущего. И все было прелесть, свет и очарование! Самый воздух был упоен благовониями и дышал негою вздохов. Он оживлялся от малейшего трепетания райских птичек, отдохавших на головах красавиц, от волнения газа на грудях, от сладостного ропота их уст, от пылких взоров, летающих, крестящихся, словно падучие звезды, от звуков, возникающих порою из оркестра, — звуков неясных, смешанных, чудных, как мысли поэта впросонках... одним словом, вся зала Александринского театра и все, что в ней было, походили тогда на какой-то великолепный, волшебный сон юноши под жарким небом Юга. Сердце плавало в обаятельной розовой атмосфере и в блестящем рассеянии забывало все, что творится за стенами... О, поверьте мне: светская жизнь имеет свою поэзию — зато как дорога и как редка она!

Царской фамилии еще не было — все жужжало и колебалось в роскошном ожидании, в томлении нетерпеливости. В это время в третьем ряду кресел два человека учтиво пробирались на свои места, платясь извинениями за каждый переход через чужие ноги и поклонами за то, что протирались мимо чужих грудей. Наконец они, положив шляпы на кресла свои, вздохнули и обозрелись свободно. Один был молодой человек, в вицмундире иностранной коллегии, очень приятной наружности и окружности — система округления в лицах. Сложив накрест руки, он равнодушно оперся спиною о спинку кресел второго ряда и, едва отвечая на дальние кивания своих знакомцев, беззаботно взглядывал на логи сквозь очки (очки есть необходимое условие дипломата, хотя не решено до сих пор, носят ли они их для того, чтоб лучше видеть глазами, или для того, чтоб меньше видели их глаза). Другой был юноша во всем цвете этого слова: жив, румян, весел, разговорчив, он был так доволен своими красными отворотами, так счастлив блеском, его окружающим, будто майская бабочка в ясный день. Он простодушно глазел на все и на всех и смеялся от чистого сердца эпиграммам своего модного соседа; смеялся с откровенностью истинно армейскою. В самом деле, несмотря на четверугольный лорнет, который он довольно ловко наводил направо и налево, легко угадать было можно, что он недавно переведен из армии. Любопытным расспросам его не

было конца. «Кто это в мальтийском мундире? Кто эта дама в оранжевой шали?» Дипломат едва успевал вернуться при каждом имени острое словцо.

И вот, когда перебрали они всех посланников и вельмож, всех красавиц и знатных дам,— с шумом расхлопнулась дверь в одной ложе, и в нее вошли дамы блистательной красоты и наряда отличного вкуса. Будто не замечая ропота и взоров одобрения, кипящих вокруг и под ногами их,— они сбросили свои шали и, поправляя газовые рукава, обратились к вошедшему за ними кавалеру с замечанием, что коридоры театра необыкновенно тесны. Кавалер этот был генерал пожилых лет, кубической фигуры, со звездами на обеих грудях и с улыбками на обеих щеках. Он отвечал что-то, склонясь между их без чинов.

— Ах, Жозеф! — с жаром сказал дипломату наш юноша, — скажи скорей, кто эта прелестная особа по правую руку в малиновом токе? Глаза ее сыплют алмазные искры, губки расковались улыбкою, будто жемчужная раковина от солнечного луча... около нее как сияние, она богиня радости!.. Имя, имя ее?

— Как, mon cher, ты разгорелся! — отвечал дипломат. — Изволь, однако, я потешу тебя: ее имя Софья Ленович — моя жена.

Жалко было видеть бедного юношу: он смутился; он не знал, из какого кармана выискать отговорок. Ленович с самодовольным видом забавлялся его смущением и шутиливо продолжал:

— Да-с, это моя жена; но ты, дружок, не будешь ее поэтом. Нет, нет, стара штука. Полгода еще милости просим жаловать ко мне, когда угодно: полгода ты будешь безопасен — но потом, милый, сердись не сердись, а я тебе за твой восторг едва ли не прочту: «Vous êtes un brave garçon, un homme honnête — mais Remarquez bien ma porte pour n'y entrer jamais!»¹

Эта шутка была сказана так по-дружески, что мой юноша ободрился. Желая сгладить прежние похвалы, он стал горячо хвалить другую даму, подругу жены Леновича.

— Но соседка твоей Софьи, Жозеф, — прелестна, как сама задумчивость, — посмотри: каждый взор ее черных глаз блестит грустью, будто слеза; каждое дыхание выры-

¹ «Вы славный мальчик, честный человек, — но хорошо заметьте мою дверь, чтоб никогда туда не входить!» (фр.)

вается вздохом! и как нежно ластятся черные кудри к ее темному лицу, с какою таинственностью обвивает дымка ее воздушные формы!

— Не на варшавском ли приступе, *mon cher*, набрался ты этого романтического дыму? Изруби же его поскорее в стихи; поставь внизу прапорщицкую звездочку, отошли в «Молву» и будь уверен, что, если ты sprыснешь свою новинку полдюжиной шампанского, — приятели прокричат тебя поэтом.

— Ты можешь шутить как хочешь, но верь, что черты этой красавицы так врезались в мою память, что я завтра же нарисую ее портрет, — и всякий, кто лишь раз видел ее, увидев его, скажет: это она! Но кто ж она?

— Заметил ли ты генерала, сидящего за моею Софьею? Это мой дальний родственник, князь Петр **, а черноглазая дама — его жена.

— Княгиня Вера! — вскричал гвардеец с такою шумною радостью, что на него оборотились многие лорнеты. — Княгиня Вера, которая целый год увлекала все сердца и все мысли Петербурга. Вера, любимая мечта моего брата! Воротясь в двадцать девятом году отсюда, он прожужжал мне про нее уши... И наконец-то удалось мне увидеть это прекрасное создание!

— Прекрасное недолговечно на земле, — сказал со вздохом Ленович. — Эта черноглазая дама — вторая жена князя Петра, а Вера, ангел доброты и прелести, Вера, которой обязан я своим счастьем, умерла в Англии. Когда-нибудь я расскажу тебе ее печальную историю!

На глазах у Леновича, сколько ни дипломат был он, навернулись слезы... Гвардеец молчал в грустном раздумье. Но загремела музыка, занавес взвился — и судьба Веры была забыта.

Забыта? О, я готов пожать руку у того или поцеловать у той, кто назовет эту летопись сердца скучною сказкою, кто будет зевать при ее чтении, кто забудет прочтенную половину и бросит в огонь недочитанную. Забвение ждет всех, забвение безвредно. Но, может быть, какой-нибудь бездушный Ловлас выдавит сладкую отраву из любви Правина и Веры, перескажет неопытности лишь то, что льстит его намерениям. Может быть, он прочтет эту тетрадь в уединенном кабинете прекрасной даме, которой доселе он говорил: *люблю вас* — только взорами. И румянец страсти загорится на щеках его — и голос его задрожит будто волнением души, и послушная слеза сверк-

нет на ресницах... он подстережет вздох грусти, слезу сожаления — сожаления, предтечи любви, — и упадет к ногам своей тронутой любовницы.

— О, будьте для меня Верою — за то, что я обожаю вас, как Правин!.. — воскликнет он.

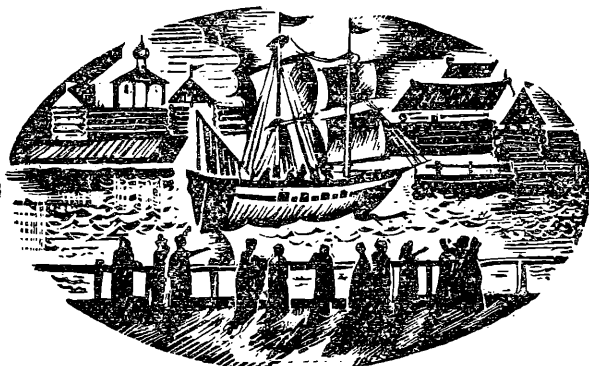
— Вы забыли участь их?.. — возразит она.

— У всякого своя участь... Нас ждет доля блаженства, непрерывного, неисчерпаемого блаженства! Но если б меня ждала судьба еще горче Правиной, — я приемлю ее за миг счастья, — о если б вы знали, как я люблю вас! — И его слушают, ему почти верят!

При этой мысли я готов изломать перо свое!

Но существует ли в мире хоть одна вещь, не говоря о слове, о мысли, о чувствах, в которой бы зло не было смешано с добром? Пчела высасывает мед из белладонны, а человек вываривает из нее яд. Вино оживляет тело трезвого и убивает даже душу пьяницы. Тацит, учитель добродетели, был виной изобретения нойяд¹ в ужасы революции. Бросим же смешную идею исправлять словами людей: это забота провидения. Мы призваны сказать: так было — пусть время извлечет из этого злое и доброе. Приморский житель ужасается вечером, видя гибель корабля, а наутро собирает останки кораблекрушения, строит из них утлую ладью, сколачивает ее костями братьев — и припеваючи пускается в бурное море.

¹ Нерон утопил мать свою на галере с окном; подобные плашкоуты заменяли гильотину.



Мореход Фикитин

БЫЛЬ

A sail, a sail — a promised price to hope!
Her nation, flag? What speaks the

telescope?

She walks the waters like a thing of life
And seems to dare the elements to strife.

Who would not brave the battle fire,

the wreck,

To move the monarch' of her peopled deck?

Byron!



1811 году, в июле месяце, из устья Северной Двины выходил в море небольшой карбас. Надо вам сказать, что в 1811 году в июле месяце, точно так же, как в настоящем 1834

году, до которого мы дожили по милости божией и по уверению календаря академии, старушка Северная Двина выливала огромный столб вод своих прямо

¹ Корабль, корабль — надежда на приз! Какой он нации, под каким флагом? Что говорит зрительная труба? Он идет по волнам как одушевленный; он, кажется, вызывает на бой стихии. Кто побоятся огня, воды, чтоб только пройти властелином по этому многолюдному деку? — Байрон (англ.). <Перевод автора>.

в Северный океан, споря дважды в день с приливом, который самым бессовестным образом вторгался в ее заветные омуты и превращал ее сладкие, благородные струйки в простонародный рассол, годный разве для трески. Обязан я вам и объяснить по долгу литературной совести, что карбасом в те поры, как доселе, называлось судно шагов восемнадцать длиннику, на шесть ширины, с двумя мачтами-однодревками, полусшитое корнями, полусбитое гвоздями, из которых едва ль пятая часть были железные. Палубы на карбасе обыкновенно не полагалось, а на корме и на носу небольшие навесы образовали конурки, где, на кучах клади, только русская спина, и только одна спина, могла уютиться, скрутясь в три погибели. Вследствие чего, как вы сами усмотреть благоизволите, в середину судна белый свет и бесцветная вода сверху и снизу, справа и слева, могли забегать и проживать безданно, беспошлинно. Посудина эта, или, выражаясь учтивее, этот корабль,— а слово «корабль», заметьте, произвожу я от «короба», а короб от «коробить», а коробить от «горбить», а горб от «горы»: надеюсь, что это ясно; какие-то подкидыши этимологи производят «корабль» от какого-то греческого слова, которого я не знаю, да и знать не хочу, но это напраслина, это ложь, это клевета, выдуманная каким-нибудь продавцом грецких орехов; я, как вы изволите видеть, коренной русский, происхожу от русского корня и вырос на русских корнях, за исключением биквадратных, которые мне пришлось не по зубам, а потому, за секрет вам скажу, терпеть не могу ничего заморского и ничему иностранному не верю,— итак, этот корабль, то есть этот карбас, весьма походил на лодию, или ладью, или лодку древних норманнов, а может статья, и аргонавтов, и доказывал похвальное постоянство русских в корабельной архитектуре, но с тем вместе доказывал он и ту истину, что мы с неуклюжими карбасами наследовали от предков своих славено-руссов отвагу, которая бы сделала честь любому hot pressed, силой завербованному моряку, танцующему под свисток map of war¹ на лощеной палубе английского линейного корабля, или спесивому янки², бегущему крепить штын, болт по рее американского шунера.

Да-с! Когда вздумаеть, что русский мужичок-промышленник, мореход, на какой-нибудь щепке, на шитике,

¹ военный (англ.).

² В насмешку англичане называют североамериканцев уапкее.

на карбасе, в кожаной байдаре, без компаса, без карт, с ломтем хлеба в кармане, плавал, хаживал на Грумант,— так зовут они Новую Землю,— в Камчатку из Охотска, в Америку из Камчатки, так сердце смеется, а по коже мурашки бегают. Около света опоясать? Копейка! Послушайте, как он говорит про свои странствия, про которые бы французы и англичане и в песнях не напелись, и в колокола не назвонились, и вы убедитесь, что труды и опасности для него игрушка. «Забрались мы к Гебрицким да оттуда на перевал в Бразилию, в золотое царство махнули. Из Бразилии перетолкнулись в Камчатку, а оттоль ведь на Ситку-то рукой подать!» Вот этаких удалцов подавай мне,—и с ними хоть за живой водой посылай! Океан встрелся? Океан шапками вычерпаем! Песчаное море? Как тавлинку, вынюхаем! Ледяные горы? Вместо леденца сгрызем! Где ж это сударыня Невозможность запропастилась? Выходи,—авось на подметки нам пригодится! Под кем добрый конь авось-масти, гому лес не лес, река не река: куда ни поскачут — дорога, где ни обернется — простор. На кита? — так на кита — экая невидаль! Зубочисткой заострожим! На белого медведя? щелком убьем; а в красный час и лукавый под руку не подвертывайся. Нам уже не впервые на зубах у него гвозди ковать, в нос колечко вдевать. Правду сказать, русак тяжел на подъем; раскатать его трудно; зато уж как пойдет, так в самоходах не догонишь. Куда лениво говорит он первое «ась?». Но когда после многих: «Да на что мне это! Да к чему мне это! Живем и так; как-нибудь промаячим!» — доберется он до «нешто, попытаем!» да «авось сделаем», так раздайтесь, расступитесь: стопчет и поминай как звали! Он вам перехитрит всякого немца на кафедре, разобьет француза в поле и умудрится на заводе лучше любого англичанина. Не верите? Окунитесь только в нашу словесность, решитесь прочесть с начала до конца пламенные статьи о бессмертных часах с кукушкою, о влиянии родимых макарон на нравственность и о воспитании виргинского табаку, статьи столь пламенные, что их невозможно читать без пожарного камзола из асбеста,— и вы убедитесь, что литературные гении — самотесы на Руси так же обыкновенны, как сушеные грибы в великий пост, что мы учнее ученых, ибо доведались, что науки вздор; что пишем мы благосравнее всей Европы, ибо в сочинениях наших никого не убивают, кроме здравого смысла.

Но к делу. В 1811 году еще ни один пароход не пугал своими шумными колесами рыбный народ в реках русских, и потому двинские рыбки безбоязненно высовывали головки свои, чтобы полюбоваться на вороной как смоль карбас и тех, которые им правили. Вот физиологические подробности, полученные мною от одной из очевидиц, щук: несмотря на архангелогородскую соль и непривычное ей путешествие в розвальнях, слог этой щуки так цветист, как будто бы она кушала сочинителей всех темных, пестрых и голубых сказок; должно думать, что предметы, отражаясь в тысяче граней рыбьих глаз, производят необыкновенное разнообразие впечатлений в их мозге; образчик прилагается в подлиннике.

Река,— рыбы всегда начинают речь с своего отечества, с своей стихии: благоразумные рыбы! в этом они нисколько не следуют сосцепитательным сочинителям, которые всего более любят говорить о том, что они знают наименее,— река чуть струилась; корабль катился быстро, напутствуемый теченьем и ветром; пологие берега незаметно текли мимо его, и если б кой-где стоящие на якорях суда не оказывали бега судна, как поверстные столбы, то пловцы в карбасе могли бы подумать, что они неподвижны: столь однообразно-пусты, так безмолвно-мертвы были окрестные тундры. Тогда еще не видно было на берегах Двины сахарных и канатных заводов, и ни одна верфь не готовила бросить в воду юных скелетов корабельных, еще не одетых дубовою плотью. На всем пространстве от Соломбола до устья не встретилось им ни одной живой души, хотя разноцветный мох подернут был оранжевою ягодою морошки...

— Отличное противоскорбутное средство! — замечает мой приятель, медик.— Природа помещает всегда противуядие вблизи яда; как мне известно, морошка составляет теперь отрасль торговли Придвинского края: ее для английского флота вывозят тысячами сороковых бочек.

...Морошки, раскинутой причудливыми узорами, подобно фате северной красавицы...

— Лучше бы сказать, подобно русскому ситцу,— говорит один женатый помещик,— потому что русские ситцы-самоделки точь-в-точь морошка по болоту.

Рыба сморкает нос и продолжает:

Только одинокий журавль, царь пустыни, бродил там, как ученый по части зоологии...

Он,— то есть журавль, а не ученый,— втыкал нос в мутную воду, в жидкий ил и, вытащив оттуда какого-нибудь червячка или пескаря, гордо подымал голову. Оглянувшись на карбас, он рассчитал глазомерно расстояние и, уверившись, что находится вне выстрела, погнался за резвою лягушкою, беспечно кивая хвостиком. Он нашел лягушку гораздо занимательней людей.

И справедливо: барон Брамбеус хоть вовсе не похож на журавля, а чуть ли не того же мнения. «Лягушек не лягушек,— скажет он,— а что устриц я всегда предпочту людям! Во-первых, древность происхождения устриц глубже всякой летописи и несомненное Несторовой, так что сам барон Кювье не отыскал пятна в их предпотопной генеалогии; во-вторых, они постоянное китайцев в своих мнениях: родятся себе и умирают у скалы, к которой приросли, и с доброй воли не делают фантастических путешествий; и, в-третьих, не заводят в старом море юной литературы».

Судя по хладнокровию, или, лучше сказать, по беспечности, с какою четверо мореходцев, составлявших экипаж карбаса, пускались в шумный бурун, образованный борбою речной воды с напором возникающего прилива, их можно было бы зачислить в варяжскую дружину, не подводя под рекрутскую меру. На руле сидел здоровый молодец лет двадцати семи: волосы в кружок, усы в скобку, и борода чуть-чуть закудрявилась, на щеках румянец, обещавший не слинять до шестидесяти лет, с улыбкой, которая не упорхнула бы ни от девятого вала, ни от сам-девятя сатаны,— одним словом, лицо вместе сметливое и простодушное, беззаботное и решительное; физиономия настоящая северная, русская.

По одежде он принадлежал к переходным породам. На голове английская пуховая шляпа, на теле суконный жилет с серебряными пуговицами; зато красная рубашка спускалась по-русски на китайчатые шаровары, а сапоги, по моде, сохранившейся у нас со времен Куликовской битвы, загибали свои острые носки кверху. По самодовольным взглядам, которые бросал наш рулевой на изобретенный им топсель, вздернутый сверх рейкового паруса, он принадлежал к школе нововводителей. У средней мачты, в парусинной куртке и в таких же брюках, просмоленных до непроницаемости, сидел старик лет за пятьдесят, у которого благословенная борода была в явном разладе с кургузым матросским платьем: явление, странное всегда

и нередкое до сих пор. Издавна ходил он по морям на кораблях купца Брандта и компании, но напрасно уговаривали его хозяева обрить бороду. Ураганы могли теребить ее, море вцеплять в нее свои ракушки, вкраплять соляные кристаллы, случай заедать в блок или в захлест каната, но владетель ее был непоколебим ни насмешками юнгов, ни ударами судьбы. Он не возлагал даже на нее постризала, и она в природной красе, во весь рост расстилалась по груди и по плечам упрянца. Дядя Яков, так звали этого чудака, сидел на бочонке русского элемента, квасу, и сплескивал, то есть страшился, веревку. У ног его почти лежал молодой парень лет двадцати, упершись ногою в борт и придерживая руками шкот, угловую веревку паруса. По его свежему лицу, по округлым, еще не изломанным опытностию чертам, по любопытству, с каким поводил он вокруг глазами, даже по неловкости его, больше чем по покрою кафтана, можно было удостовериться, что он не проселенный моряк, новобранец, только что из села.

На носовом помосте лежал ничком, свеся голову за борт, коренастый мореход с физиономией, какие отликает природа тысячами для вседневного расхода. Не на что было повесить на ней никакого чувства, а мысль, будь она кована хоть на все четыре ноги, не удержалась бы на гладком его лбу. Он поплевывал в воду и любовался, как струя уносила изображение его жизни, и потом запевал: «Ох, не одна! Эх, не одна!» — и опять поплевывал. Он принадлежал к бесконечному ряду практических философов, которые разрешают жизнь самым безмятежным образом, — работать, когда нужно, спать, когда можно.

Молодой человек, сидевший на руле, был полный и законный хозяин карбаса, вместе с грузом, и временный командир, капитан или воевода дяди Якова, Алексея, племянника по его сердцу, и неизбежного Ивана по сердцу всему свету. Оставшись сиротою на двенадцатом году возраста, он, как большая часть удалых ребят Архангельской губернии, нанялся юнгою на английский купеческий корабль и мыкался бурями и волнами до двадцати двух лет, имея удовольствие получать щелчки от шкиперов всех наций и побранки на всех языках. Наскучив бесприютною жизнью матросскою, он пристал к истинно почтенному классу биржевых артельщиков, людей испытанной честности, трезвых, деятельных, смышленных, и потом взят с хорошим жалованьем в контору одного из богатейших иностранных купцов Архангельска. Через шесть лет он был

уже в состоянии покинуть чужое гнездо. Его томила охота отвесть своего счастья, поторговать на свое имя,— и вот он купил и снарядил карбас,— и вот он теперь уже в пятый раз, в другое лето, пускается в море.

Впрочем, никогда еще Савелий Никитич — это было его имя — не пускался в море с таким запасом веселости, как этот раз. Причину тому я знаю,— да и чего я не знаю? — не хочу таить ее за душой. Он — в добрый час молвить, в худой помолчать — задумал жениться. Дочь его соседа, также архангельского мещанина, как он сам, Катерина Петровна, прелестная, как все Катерины вместе, и миловидная, как ни одна из Катерин, до сердца приглянулась нашему плователю. Его воображение, изощренное морским воздухом, и во сне ничего не грезило свежее, умнее и достойнее этой русокозой красавицы. Ему всего более понравилось, что она порядком отбояривала от себя молодых флотских офицеров, которые, сверх обязанностей по службе, берут на себя образование молодых девушек во всех портах пяти частей света. Одним словом и наконец, он, раскинув умом-разумом, подвел итоги своих карманов, пригладил голову кваском и, благословясь, пошел сватать свою вазнобу к отцу ее. С самой Катериной Петровной он, должно быть, давно стакнулся; и хоть я не был свидетелем, да уже на свой страх говорю вам, что молодежь моя променяла между собой не одну клятву любви и верности с приложением взаимных поцелуев. Как быть, милостивые государи! В торговле всегда есть контрабанда, в сватовстве — потаенные сделки.

Савелий расчувствовался; упал на колени перед отцом Катеньки, просит благословения.

Старик отец погладил его по голове и поднял; погладил себя по бороде и сказал:

— Послушай, Савелий Никитич! Ты добрый человек, ты смысленый и честный парень: спасибо, что пришел ко мне прямо, без свах, и тебе я скажу прямо, без обиняков: ты мне по душе, я не прочь породниться с тобою; однако...

Ох, уж мне это «однако» вот тут сидит, с тех еще пор, как учитель хотел было, по его словам, простить меня за шалость, однако высек для примера; с тех пор как мой искренний друг и моя вернейшая любовница клялись мне в привязанности и за словом, однако, надули меня... Однако ж оставим это «однако».

Савелий, не смеядохнуть, стоял перед стариком, высасывал глазами догадки из его лица, но слово «однако», произнесенное с такою расстановкою, что между каждым слогом уложиться могло по двадцати сомнений, распалило его сердце пополам, и опилки брызнули во все стороны.

— Од-на-ко (после по две черточки) — произнес старик и почесал в затылке, потому что затылок есть чердак человеческого разума, в который сваливают весь хлам предрассудков, всю ветошь нравочений, колодки давно стоптанных мнений и верований, битые фляжки из-под воображения; или, лучше сказать, он — гостинодворская темная задняя лавка, в которую обыкновенно заводят приятеля-покупателя, чтобы сжить с рук полинялый, староманерный товар. — Однако, Савелий Никитич! ведь не мне жить с тобой, а дочери, а за ней приданое не богато. Я и сам с копейки на копейку перепрыгиваю. Рад бы душой, да кус небольшой: у меня же сыновья подростки. Опять и дочери своей мне не хочется видеть в нужде, лучше заживо в землю закопаться. Впрочем, вокруг Катеньки, сам ты известен, женихи словно хмель увиваются.

«Пропала моя головушка!» — подумал Савелий.

— Не в укор тебе будь помянуто — покойник батюшка твой сидел в лавочке, да выехал из ней на палочке: благодаря мичманам проторговался, поплатился добром за свою простоту и пустил тебя круглым сиротою кататься словно медный грош по белу свету. Не осуди, брат Савелий! Имя твое знаю я, отчество знаю, а животов не знаю. Скажи мне как на духу: есть ли на что у тебя хозяйством обзавестись, да себе на прожиток и детям на зубок придобить?

Савелий вытащил бумажник, показал ему свои аттестаты, выложил тысячу рублей чистогану, да еще тысячи на полторы квитанций купленным товарам: это для мещанина не безделица.

— Притом я имею суднишко и кредит, — сказал он, — ношу голову на плечах и благодаря создателя не пустоголов, не сухорук. Прошлый год я выгодно продал в Соловках свои товары, был там и по весне; да если с тобой поладим, так с жениной легкой руки в Спасово заговоренье опять пушусь. Что ж, Мироныч: аль другие-то лучше меня? Позволь!

— Ну, Савелий, руку! Только свадьбе быть после Спа-са. Ты наперед съездишь в Соловки да соберешь копейку на обзаводство; а то с молодой женой ростаням конца не будет. Не поперець мне, Савелий, у меня слово с заклепом.

— Это очень хорошо! — сказал Савелий. «Это очень плохо!» — подумал Савелий.

Но делать было нечего: довелось согласиться на отсрочку. Благословили образом, обручили, а между тем, покуда подружки-голубушки шили Кате приданое да пели,— между тем, как отец и мать ее пили да плакали, карбас Никитина снарядился и нагрузился. Минута разлуки была уже за плечами, уж на плече, уж расправляла крылья, чтоб улететь, а наши милые, или, как выражаются архангелогородцы, «бажонные», обрученники о том и думать не думали. Дядя Яков принужден был вытащить жениха от невесты волоком. Попутный ветер казался ему самую противною погодой; но ветер пересилил любовь. Савелий выпил последнюю каплю наливки, сорвал последний поцелуй с губок невесты. Сладка ему была капля, поцелуй еще слаще; век не расстаться бы с ними, однако он расстался. Ему надо было спешить уехать, чтобы поспешнее приехать. Он прыгнул в карбас, цепь с громом скользнула со свай, карбас отчалил.

Долго стояла Катя на набережной, провожая глазами суженого, махая белою рукой; сердце ее вещевало не на доброе; она залилась слезами и пошла домой, вытирая их миткалевым рукавом своей сорочки. С Савельем было не лучше: покуда видна была Катя, он оглядывался, до того, что чуть шеи не вывихнул, а потом взгляды его ныряли в воду, словно он обронил туда свое сердце, словно он с досады хотел ими зажечь струю-разлучницу. И наконец переполненный горечью сосуд пролился: слезы брызнули из глаз бедняги в три ручья,— и именно в три, потому что две струйки сливались у него на носу и катились вниз рекою, точь-в-точь как Юг и Сухона образуют Северную Двину. Это, однако же, облегчило Савелья; он отдохнул; доброе солнышко так весело взглянуло ему в очи, что он улыбнулся; ветер спалнул и высушил даже следы слез; вот и надежда-летунья начала заигрывать с его душою. И чего, в самом деле, доброму молодцу было печалиться? Впереди его — золото, назад — любовь!.. Правда, между этими оконечностями лежали две бездны моря, усаженные опасностями от бурь и каперов,— тогда с англичанами была война,— да ведь бог не без милости, казак не без счастья: не в первый раз ему было с морем переведываться. Пять часов пути и шестьдесят верст расстояния прокрались мимо, как беглецы, и вот почему наш Савелий так беззаботно, так весело пускался в бурун, разграничивающий соленую воду от пресной.

И шибко, со всего разбегу, ухнул острогрудый карбас в бой шумящего, плещущего бара,— так шибко, что брызги засверкали и рассыпчатая пена обдала пловцов с головы до ног. Карбас черпнул. Испуганный, облитый Алексей выпустил шкот из рук своих; парус заполоскался, карбас возник, взбежал на хребет вала и мигом, стремглав, промкнул сквозь водяную грядку. Через пять минут он гогаем плыл уже по морю, которое с ропотом наступало на берега.

— Что, Алексей,— спросил новобранца Савелий усмехаясь,— аль тебе не любы крестины морскою водою?

— Хороши,— отвечал Алексей, вытирая лицо,— только без каши и крестины не в крестины.

— Погоди, брат Алеша, мы тебя в соленой купели выкупаем. Тогда уж с веслом и за кашу посадим тебя,— помеси да и в рот понеси,— кушай да похваливай. Захочешь ли браги — брага у нас шипучка; зелено вино с пенкой некупленные, немереные — пей сколько в душу войдет.

— Спасибо на ласке! Подноси сперва старшим, дядюшка,— лукаво отвечал Алексей.

— Ты в море гость, мы хозяева,— сказал Савелий,— а гостей потчуют не по летам.

— Однако,— молвил дядя Яков, оглядывая в дозор небосклон,— не придержать ли нам на вечер-то вдоль берега? Что-то очень парит: словно пыль пылит над тундрю. Подыметя, не ровен час, разыграй-царевич — так и нам в открытом море без беды беда придет.

— Волка бояться — в лес не ходить, дядя Яков! — возразил Савелий.— Ветер, словно клад, не во всякую пору дается: упустим его — так трудно будет на него карабкаться после. А когда теперь на норд-норд-вест заберемся, так уж по ветер-то как по маслу скатим в Соловки, когда вздумается. Небо чисто.

— Нешто! — сказал дядя Яков и принялся доплетать узел веревки.

— Вестимо, так! — сказал Алексей, как будто что-нибудь понял, и принялся зевать в обоих значениях этого слова. Иван не рассуждал и не говорил: он поплеывал в море. Савелий по привилегии, данной всем людям, у которых звенит что-нибудь в голове или в кармане, строил воздушные замки. Карбас, пятое действие нашей драмы, покачиваясь с боку на бок, изволил плыть да плыть в необъятное море.

День шел в гости к вечеру. Прибрежье никло; островок Мудюг, стоящий на часах у входа в Двину, окунывался,

и опять выглядывал, и опять окунывался в воду. Скоро земля слилась в темную полосу, в черту, едва видную; вал заплеснул и эту черту,— прощай, моя родина! Бездонное небо, безбрежное море обнимает теперь утлое судно. Только вольный ветер да рыскучие волны напевают ему в лад свою вечную, непонятную песню, возбуждая думы неясные о том, что было и что будет, о том, чего никогда не было и никогда не будет.

Не знаю, случалось ли вам испытать чувство разлуки с родным берегом на веру зыбкой стихии. Но я испытал его сам; я следил его на людях с высоконастроенною организацией и на людях самых необразованных, намозолённых привычкою. Когда почувствуешь, что якорь отделился от земли, мнится, что развязывается узел, крепивший сердце с землею, что лопает струна этого сердца. Грудь становится больно и легко невообразимо!.. Корабль бросается в бег; над головой вьются морские птицы, в голове роятся воспоминания, они одни, гонцы неутомимые, несут вести кораблю о земле, им покинутой, душе—о былом невозвратном. Но тонет и последняя альциона в пучине дали, последняя поминка в душе. Новый мир начинает поглощать ее. Тогда-то овладевает человеком грусть неизъяснимая, грусть уже неземная, не земляная, но еще и не вовсе небесная, словно отклик двух миров, двух существований, развитие бесконечного из почек ограниченного, чувство, не сжимающее, а расширяющее сердце, чувство разъединения с человечеством и слияния с природою. Я уверен, оно есть задаток перехода нашего из времени в вечность, диез из октавы кончины.

И неслышно природа своей бальзамическою рукою стирает с сердца глубокие, ноющие рубцы огорчений, вынимает занозы раскаяния, отвевает прочь думы-смутницы. Оно яснее, хрусталеет,— как будто лучи солнца, отразясь о поверхность океана и пронзая чувства во всех направлениях, передают сердцу свою прозрачность и блеск, обращают его в звезду утреннюю. Вы начинаете тогда разгадывать вероятность мнения, что вещество есть свет, поглощенный тяжестью, а мысль, нравственное солнце, духовное око человека, сосредоточивая в себе мир, есть вещество, стремящееся обратиться опять в свет посредством слова. Тогда душа пьет волю полною чашею неба, купается в раздолье океана, и человек превращается весь в чистое, безмятежное, святое чувство самозабвения и мироневедения, как младенец, сейчас вынутый из купели и дремлющий на

зыби материнской груди, согретый ее дыханием, улелеянный ее песнью. О, если б я мог вымолвить у судьбы или обновить до жизни памятью несколько подобных часов! — я бы...

«Я бы вовсе не стал тогда читать ваших рассказов», — говорит мне с досадою один из тех читателей, которые непременно хотят, чтоб герой повести беспрестанно и бессменно плясал перед ними на канате. Случись ему хоть на миг вывернуться, они и давай заглядывать за кулисы, забегать через главу: «Да где ж он? Да что с ним стало? Да не убили ли он, не убит ли он, не пропал ли без вести?» Или, что того хуже: «Неужто он до сих пор ничего не сделал? Неужто с ним ничего не случилось?»

«Я бы вовсе не стал тогда читать ваших рассказов», — г. Марлинский, потому что — извините мою откровенность — я уже не раз и не втихомолку зевал при ваших частых, сугубых и многократных отступлениях. Хоть бы вы за наше терпение перекувыркнули вверх дном этот проклятый карбас, который ползет по воде, как черепаха по камням. Так нет, сударь: всплыл, как всплыл. Думаем, вот сцапает он Савелья за вихор, минуя брандвахту, и откроет в нем какого-нибудь наполеоновского пролаза или морского разбойника. Не тут-то было! Вместо происшествий у вас химическое разложение морской воды; вместо людей мыльные пузыри и, что всего досаднее, вместо обещанных приключений ваши собственные мечтания».

Я ничего вам не обещал, милостивый государь, говорю я с возможным хладнокровием для авторского самолюбия, проколотого навывлет, — самолюбия, из которого еще каплет кровь по лезвию насмешки. Ваша воля — читать или не читать меня; моя — писать как вздумается.

«Но, милостивый государь, я купил рассказ ваш».

Я не приглашал вас; не брал вас с учтивостью за ворот, как это делается в свете при раздаче лотерейных билетов или билетов на концерт для бедных. Вы купили рассказ мой и можете сжечь его на раскурку, изорвать на завивку усов, употребить на обертку ваксы. Вы купили с этим право бранить или хвалить меня, но меня самого вы не купили и не купите, — я вас предупреждаю. Перо мое — смычок самовольный, помело ведьмы, конь наездника. Да, верхом на пере я вольный казак, я могу рыскать по бумаге без заповеди, куда глаза глядят. Я так и делаю: бросаю повод и не оглядываюсь назад, не рассчитываю, что впереди. Знать не хочу, замечает ли ветер след мой, прям или узо-

рен след мой. Перепрынул через ограду, переплыл за реку — хорошо; не удалось — тоже хорошо. Я доволен уже тем, что наскочил по простору, целиком, до усталости. Надоели мне битые ухваты ваших литературных теорий *chaussées*¹, ваши вековечные дороги из сосновых отрубков, ваши чугунные ленты и повешенные мосты, ваше катанье на деревянной лошадке или на разбитом коне, ваши мартингалы, шлих-цигели и шпаниш-рейтеры; бешеного, брыкливого коня сюда! Степи мне, бури! Легко я мечтами — лечу в поднебесье; тяжко ли думами — ныряю в глубь моря...

«И приносите со дна какую-нибудь ракушку».

Хоть бы горсть грязи, милостивый государь. Она все-таки будет свидетельницей, что я был на самом дне. Для купца дорог жемчуг; естествоиспытатель отдает свой перстень за иную подводную травку. Что прибавит жемчужина к итогу счастья человеческого? А эта травка, может быть, превратится в светлую идею, составит звено полезного знания. Желая знать: купец вы или испытатель?

Читатель мой дворянин, не только личный, но, может быть, двуличный, наследственный: он никак не хочет назваться купцом. Опять он терпеть не может и естествоиспытателей всех родов, которые пластают, потрошат природу, рассекают мозг, и сердце, и карманы человеческие живые, будь они хоть пятого класса, и ловят там насекомые мысли, пресмыкающиеся чувства. Да мало того, что они напильничают все это на остроумие и выставляют на благогорассмотрение почтеннейшей публики; они подслушивают у дверей кабинетов, заползают под изголовья супружеские, втираются в сени палат, подкапываются под гробы, проникают всюду как золото, впиваются в души как лезвие и потом — милости прошу! — все ваши тайны вынесены уж на толкучий.

«Нет, я не купец, не испытатель, — говорит он, — я просто читатель».

Я кладу свои замечания в ум ваш, как свои деньги в ломбард: на имя неизвестного!

Вот это, по крайней мере, ясно и неоспоримо. Не надейтесь же получить более четырех, законных, процентов, — и этого вам за глаза. Правда, я веду слово про архангельского мещанина Савелия Никитина и ручаюсь, что для русского анекдот этот будет занимателен, по тому уж одному, что он не выдумка. Но кто вам сказал, что сам я менее за-

¹ гладких (фр.).

нимателен, чем Савелий Никитин? Знаете ли, сколько страстей перемолол я своим сердцем? какие чудные узоры начеканил мир на моем воображении? И если б я вздумал перевести с души на ходячий язык свои опыты, мечты и мысли, вы, вы сами, сударь, нашли бы эти записки занимательными не менее «Записок» Трелонея или «Последней нескромности современницы».

«Ради Смирдина, сделайте это поскорее, любезнейший! И тисните в большую осьмушку с готическим заглавием и с виньеткою Жоанно. Я страх люблю виньетки и мемуары, особенно в роде Видока. Даете вы слово? Скажите ж — да! Полноте упрямячить: снимите долой лень свою!..»

У нас печатная сторона человека всегда будет походить на подкладку из одних афиш комедианта Цапата в «Жиль-блазе»; и вот почему, милостивый государь, если вы хотите узнать меня, то узнавайте кусочками, угадывайте меня в стружках, в насечке, в сплавке. Не мешайте ж мне разводить собою рассказы о других: право, не останетесь внакладе.

Я поднимаю спущенную петлю повести.

Савелий сидел задумавшись на руле. Сердце его то вздувалось, как парус, то опадало, как волна. Чувство беспредельности завладело им, и тогда на вопрос: «О чем ты думаешь?» — он мог бы отвечать: «Ни о чем!» по всей правде, потому что все мысли, все ощущения в такие часы подобны каплям, вдруг улеченным в безвидные пары: они разливны, смешаны, безграничны. Товарищи Савелья больше или менее погружены были в такое же безотчетное, немое созерцание и внимание природы в себе и себя в природе; в чувство сознания, неразлучного событию, доступное, как я думаю, всем животным.

Наконец племянник дяди Якова, который, по всей вероятности, неохотно расстался с избой своей, и косою своей, и косою своей любушки, с горелкой и с горелками, первый сломал общее молчание.

— Эка притча, подумаешь ты! Ухитрился же человек в корыте по морю плавать, бога искушать! Аль земля-то клином сошлась? Аль на земле угодьев ему не стало?

— Молчал бы ты, молчал,— возразил с досадою дядя Яков.— Коли в мореходы пошел, так по земле нечего тужить! Земля! Эка невидаль! Видишь, что выдумал!

— Право, дядя Яков, не я ее выдумал.

— Тебе ль ее выдумать, когда ты об ней и подумать-то путем не умеешь! Земли-то у нас много, да в земле мало:

за неволю пришлось рулем море пахать. Небось любишь ты и крупчатик съесть, и синий кафтан напялить, и почаевать порой: а разве тонкое сукно да сахар у нас на березах растут? Ась? Вот и плывут удалые головы за море, по красной товар. В лес не съездишь, так и на полатях замерзнешь.

У глушцов голова ни дать ни взять азиатский каравансарай: голые стены без хозяина. Мысли приходят в нее, неизвестно откуда; уходят, незнаемо куда. Слово «море» пролетело сквозь уши Ивана и спустило пружину песни. В голове его ничего не было, кроме песен; он затянул:

За морем синичка не пышно жила;
Не пышно жила, пиво варивала,
Солоду купила, хмелю взаимы взяла.

В свою очередь, слово «пиво» чудным сцеплением идей пробудило в Алексее пивное воспоминание, и он, вытирая мечтательную пену с губ своих, сказал:

— Знаешь ли что, дядя Яков! в иную пору мне бы и в ум не впало тужить по родине, а теперь у нас в деревне праздник на дворе; так если б удалось престолу свечку поставить, — повиднее бы в море пускаться.

— Молод, брат, ты, Олеша, да вороват! Не свечка, а печка у тебя на уме. Не молиться, а столовать тебя охота разбирает. Старики не даром сложили пословицу — кто на море не бывал, досыта богу не моливался. Да уж коли здесь мало простору, так в Соловках молись — не хочу. Добрые люди с краю земли туда пешком ходят на богомолье, а тебе к случаю, без труда, выпала такая благодать, — чудотворцам Зосиме и Савватию поклониться, к мощам приложиться, чудесам их подивиться! Ахнешь, брат, как повидишь, из каких громад сложены стены монастырские! Вышины, — взглянь, так шапка долой; толщины, — десять колесниц рядом проскачут; и каждый камень больше избы. Ведь святым угодникам ангелы помогали: человеку ни вздумать, ни сгадать, не то чтобы руками поднять такое беремя.

— Аль Соловецкий-то остров утес, дядя Яков?

— В том-то и диво, что не утес. Берег как двинской: песок, где-где с подводными валунами. А птицы-то, птицы что там! На заре инда стон стоит! Гусей, лебедей, словно пены; под божьею тенью рай для них. Никто их не бьет, не пугает, сердечных. У самых ворот журавли на одной ножке стоят, дикие утята полощутся, и усатые киты играют, со стен подачки дожидаются.

— А что, дядя Яков, кит-рыба, примером сказать, ростом, дородством будет с царский корабль?

— Кит киту розь,—преважно отвечал дядя Яков.— Есть сажень в десять, есть сажень в двадцать: да это на нашем веку так они измельчились. В старину то ли было! Лет два сорока тому назад, в страшную бурю, прошел мимо Соловецкого кит,—конца не видать; разыгрался он хвостом, хвост-то вихрем и вздуло, как парус: не может кит хлеснуть им об воду. А хлеснул бы он, затопил бы низменный остров, залил бы монастырь с колокольнями. Отец архимандрит со всеми старцами целую ночь напролет слезно молились: «Пронеси, господь, мимо кита-рыбу! Не дай ей ударить ошибом по морю!» И отмолили беду неминуемую: к утру кит провалил мимо, гроза утишилась. Даже в Архангельске слышно было, когда приударили на Соловках с радости в огромные глиняные колокола. «Ну, слава богу! — сказали.— Жива обитель преподобных Савватия и Зосимы!»

— А что, эти глиняные колокола-то обожженные али из сырца? — с недоверчивостью спросил Алексей.

— Не сподобил бог видеть самому: только пономарь мне сказывал, что они до сих пор в тайнике висят, а как благовестить в них станут — заслушанье: что твои райские птицы поют! Да ты сам обо всем расспросить можешь: к восходу солнышка мы станем в Соловки.

— Если станем! — молвил Алексей.

— А с чего бы нет? Сто двадцать верст спусть рукава перемашем.

— Не хвались, дядя Яков,—сказал Савелий,—а лучше насвистим-ка погодку; видишь, ветерок-то стих, перепал.

Покорный общему суеверию моряков, дядя Яков принялся свистать, как свищут коням на водопой. И в самом деле ветер порхнул, будто дожидался приглашения; засвежел, скрепчал скоро. Зыбь раскатывалась грядами, гряды сшибались в крутые валы, и, наконец, море дало гул, подобный гулу, предшествующему вскипению воды в огромном котле. Солнце садилось в огненных тучах, весь запад кипел, будто кровью,—верная примета непогоды; когда ж горизонтальные лучи переломлялись в прозрачной синеве, в переливной зелени вала, он сквозил как стекло, он вспыхивал, как туча молнией, и гас, и темнел, и обрушивался, подавленный другими.

Савелий, принужденный придержать к ветру, чтоб не зарыскнуть далеко в океан, в упор налегал на румпель. Дядя Яков с Иваном держали на руках шкоты зарифлен-

ного (уменьшенного) грота. Алексей, бледный как саван, сидел, уцепившись за борт, и с ужасом смотрел на хлещущие в бок судна валы. Ему казались они чудовищами, которые заглядывают в карбас, чтобы схватить и сожрать его.

— Глянь-ка, глянь, дядя Яков! — сказал он. — Валы то за нами впереводку гонятся. Страсть, да и только!

— Аль тебе дивно, что валы-старички расплясались. Да, брат, они скоро сами седеют, скоро и нашего брата седым делают. Ты не смотри на их пляску, а то как раз голова закружится.

— И впрямь так! — примолвил Савелий. — Чем глазеть на валы, возьми-ка, Алеша, лейку да отчерпывай воду: вишь, то и знай поддает. Ну, дядя Яков! напрасно я тебя не послушал: придержать бы к берегу, а то меня и в хорошую погоду знакомые отпевали, чуть я сберусь в море на карбасе, а в такую свалку, если б знал да гадал, я бы и сам трезвый не пустился. Посмотри на облака: словно недобрые люди бродят вокруг да около и промеж собой перемолвливают, куда бы на разбой стрекнуть.

— Чего доброго, — сказал дядя Яков, — пожалуй, и до нас доберутся, а у нас ворота настежь. Долга нам будет эта ночь!!

И ночь задвинула небо тяжкими тучами, и тучи всплывались, как волны, и море забушевало, как небо. Вихорь спирал, возметал, разбрызгивал пары и волны. То черные облака разевали огненную пасть свою, зияющую жалом молний, то белогривые валы, рыча, глотали утлое судно и снова извергали его из хляби. В карбасе едва успевали отливаться. Паруса уже были убраны, но шквалы хлестали его так сильно, что нагие мачты трещали; он летел, как бешеный конь, и каждую минуту пловцы наши ждали — вот-вот зароется в воду! И вдруг разразился над ними удар грома: огонь ливнем рухнул во все трещины лопнувшего свода небес, и в тот же миг вздутый порывом вал ударил в корму. Карбас пил смерть; миг был ужасный. Пловцам показалось — их окатил огненный водопад сверху и снизу; они закрыли ослепленные глаза, чтобы не открывать их навеки. Савелий с криком: «Господи, прими мою душу!» — выпустил румпель. Алексей уронил лейку...

— Теперь молись! — сказал ему дядя Яков.

Один только Иван не бросил работы: сквозь рев бури и валов слышалась звонкая песня его:

Из-за Волги кума в решете приплыла,
Веретенами гребла, юбкой парусила.

Савелий не хотел умереть, потому что собирался пожить; Алексей — потому что не успел пожить; дядя Яков — потому что не готов был умереть. Но что значила смерть, что прошлое и будущее для Ивана? Он не имел, на чем свесить этих загадочных мыслей. Он покинул бы свет точно так же, как и вошел в него, — без малейшего произвола или сожаления. Счастливцев Иван! Не отбил бы я у тебя твоей жизни, но твоей смерти позавидовал бы. Кто, отваливая в гробу от жизни в вечность, не оглянется назад со вздохом, не взглянет вперед с сомнением, если не с ужасом?.. А он тонул и пел!

И поверите ли? когда стих гул громового удара в душах пловцов, они расохотались песне Ивана и смеялись долго, смеялись наперерыв, будто в припадке. Разгадайте теперь сердце человеческое! Оно скорей всего дает смех в минуты самой жестокой скорби и ужаса! Я это видел и испытал.

Буря издохла с последним ударом своей ярости. Ветер упал вдруг. Природа как человек, или, лучше сказать, человек, как природа, в свое лето вспыльчив и бурен — на миг. Облака будто растопились молнией в дождь, и месяц, выкупавшись в туче, весело блеснул в тьме неба; лишь на краю горизонта толпились беглецы облака. Они улетали, рошща, огрызаясь, и порой вспыхивали их выстрелы зарницею; валы смывали отсталых; валы еще ходили и сшибались грозно между собою, как ратники иных народов после войны со врагами заводят междоусобия в отчизне, чтобы утолить свою кровавую жажду хоть из жил братий и дотратить на них боевой огонь, раздутый привычкою. Но скоро волны разлились в широкую зыбь, и по ней зазмеились белые полосы пены, недавно венчавшей гребни валов. Они тянулись, подобно строкам на мрачной, бесконечной странице моря, подобно следам поколений на океане жизни. Исчезла самая пена, и синева бездействия подернула лицо моря. Оно дышало уже тяжело и прерывисто, подобно умирающему, и, наконец, к утру душа его излетела туманом, как будто преображая тем, что все великое на земле дышит только бурями и что кончина всего великого повита в саван тумана, непроницаемый равно для деятеля, как для зрителя.

Светало.

Аргонавты наши из несомненной смерти попали в смертельное сомнение, и хотя при этой верной оказии убедились они, что выражение любовников и подсудимых, будто сомнение хуже смерти, не совсем справедливо, однако ж

положение их было вовсе не завидное. Карты нет, компаса не бывало. Да и на кой черт перед ними раскладывать карту, когда нет умения разбирать ее? Один русский шкипер-мореплаватель на вопрос: «Разве у вас нет карт?» — с простодушием отвечал: «Были, батюшка, и золотообрезные, да ребята расхлестали, в носки играючи!» Компас — иное дело; Савелий знал, как с ним посоветоваться: да та беда, что в свадебных попыхах забыл его дома! Как быть? Ветер вчерась гонял их то вправо, то влево, вертелся, как бес перед заутреней, и перетасовал все румбы и умы наших пловцов в такой баламут, что сам Бюффон со своею теориею ветров проиграл бы свое красноречие. Не мог придумать Савелий, на нос или на затылок должно надеть север. И солнце, по его мнению, то входило в левое ухо, а закатывалось из правого, то в правое, и садилось в левом. Куда же поворотить? Где искать Соловецкого? Утро раскрывалось как цветок, зато уж туман клубился — хоть на хлеб намазывай! Вот потянул ветерочек слева; но он был неверен, как светская женщина, колебался туда и сюда, как нынешняя литература, и чуть бороздил воду, будто на цыпочках бегая вокруг судна, чтоб не разбудить мореходцев.

Савелий держал совет с дядей Яковом.

— Соловки близко впереди, — говорил Алексей. — Вихорь гнал нас в тыл, и мы бежали, как заяц от беркута.

— Соловки у нас далеко в правой руке, — утверждал дядя Яков. — Шквал зашел справа и занес карбас, как сокола, на запад.

— А может статься, и правда! — молвил Савелий. — Откуда ж теперь подул ветер?

— Вестимо, с севера! Днем жарко, днем дует ветер с берега; ночью свежо, ночью он ворочается домой.

— Да теперь уж день, и назло тебе прошлую ночь ветер бежал с берега, словно из острога с цепи сорвался.

— Буря — особь статья, Савелий Никитич! На земле-то целую неделю пекло да жарило так, что и ночь не в ночь была; вот тепло без очереди и валилось в море, а теперь земля искупалася, попростыла; теперь непременно потянет холодок на берег, оттого что холодок сильнее тепла стал.

Дядя Яков говорил правду. Он не читал, отчего происходят ветры в атмосфере, не имел понятия о разрежении воздуха электричеством бурь или по разности давлений газов, но он имел здравый ум и опытность. Савелий убедился. Реши-

ли, как изъясняются наши доморожденные мореходы, *побрасовать*, то есть поворотить паруса, и держать на восток. Вьюн зашипел за рулем; карбас поплыл в полветра. Однозвучное плесканье волн и утомление минувшей ночи клоунили ко сну мореплавателей. Один Савелий не смел предаться утреннему сладкому сну: он был хозяин судна, он был король этого государства, сбитого деревянными гвоздями. Для блага своего и охраны других он не спал: зато грезил наяву. На ткани паруса и ткани тумана проходили, плясали, мелькали яркие образы, будто по месяцу волшебного фонаря. Ему виделось, как русая коса Катерины Петровны разделяется на две половины, и дважды обвивает чело ее, и скрывается под гарнитуровый платочек с золотой каймою. Виделись ему и раздернутые ситцевые занавесы брачной кровати и смятая пуховая подушка под розовую щечкою невесты; виделись ему друзья и приятели, — пируют уж у него на крестинах. Вот забота, как назвать первого сына, кого позвать в кумовья первой внучке. Одним словом, около него резвилась уж целая толпа его нисходящих потомков, и он глядел на них нежно и любовно, как иной сочинитель на свое литературное потомство — мал мала меньше, запеленанное в телячью кожу с золотым обревом, которое, мечтает он, грядущие веки будут нянчить наподхват. Он грезил уж о внучатах, говорю я, забыв, что под ним голодная пучина, забыв, что корабль не более как дерево, матросы не более как люди и что «есть земные крысы и водяные крысы», по словам Шекспирова жида Шейлока; а крысы съели польского короля Попеля; так спустят ли они разночинцу?

Сон и мечтания граждан карбаса прерваны были страшно и внезапно. Сажнях в пятидесяти от них, на ветре, вспыхнула молния сквозь туман, и за громом выстрела ядро, свистя, перелетело через их головы. Все вскочили с мест; Иван с знаком удивления, в скобках зевка; Алексей с облизнем от недопитой во сне браги; дядя Яков с растрепанною бородою; капитан Савелий с предчувствием конечного разорения. У всех уши выросли на вершок, у всех ужас вылился единогласным криком: «Что это?!»

— Не гром ли? — сказал, крестясь, Савелий.

— Не звон ли глиняных соловецких колоколов? — молвил лукаво Алексей.

— Я те задам такого благовесту с перезвоном, что у тебя до Касьянова дня в ушах будет звенеть! — крикнул дядя

Яков.—Никитич! Лево на борт! Зевать нечего! Это англичане.

Целая стая годдемов зажуужала по дорожке, прорванной в тумане ядром, и убедила наших в несомненности слов Якова. Но желание уйти от невидимого капера, пользуясь мглою, оперило их надежду. Карбас кинулся по ветру, как утка, испуганная ружьем охотника. Но через минуту всякая вероятность избавления исчезла. Туман, испаряясь, становясь прозрачным, оказал погоню за кормою. Английский куттер, взрывая волны и пары, катился вслед бегущих. Огромный гик, отброшенный на ветер, выходя из туманов, казался, хватал их; тень треугольного паруса будто вонзалась в корму: она обдала холодом сердце русских. Жестяная труба загремела: — «Boat — ahoo! Strike your colour (бот! сдавайся)».

Руки отнялись у бедняжек. Уползти не было возможности. Оружия у них — один дробовик да два топора. Между тем куттер напирал все ближе и ближе, заслоняя собою ветер.

— Down with your rags! (Долой ваши тряпки!) — кликнула снова труба.— Put the helm up, damn! (Руль на борт, черт возьми!) Strike, or I'll run over and sink you! (Сдайся, или я перееду и потоплю тебя!) — С этим словом куттер начал приводить к ветру, чтобы дать действовать артиллерии. Савелий очень хорошо знал в чем дело. Он ясно видел, что англичанин мог пустить его ко дну ядрами или ударом водореза; но он был оглушен мыслию неволи и разоренья, — и когда же? — в самом разгаре надежд, в самом цветущем счастья! Он пришел в ярость, вообразив, что все его достояние, все его потомство в фунтиках, в узелках, в тюках, в рогожках погребется в брюхе разбойничьего судна; что вместо объятий Катерины Петровны сжимают его линьки боцмана, вместо матушки-Руси какой-нибудь блокшиф¹, исправляющий должность тюрьмы! Ретивое вспыхнуло: он схватил заржавелый дробовик и бац — прямо в борт куттера!

— Fire! (Пали!) — раздалось на нем.

Пламя канонады брызнуло по головам русских, и цепное ядро срезало обе мачты. Павшие паруса накрыли карбас, и, прежде чем наши выбились из-под этой сети, шестеро вооруженных матросов вскочили в судно и перевязали их. Сопrotивление было бы безумством. Судьба сверши-

¹ старый корабль, без вооружения, в порте стоящий.

лась. Савелий со всей своею командою — военнопленный; его карбас вместе с грузом — добыча английского капера, признанного в этом достопочтенном звании правительством и снабженного от него письменным видом, *lettre de marque*, и чугунными ядрами для законного грабежа врагов Великобритании.

Давно уже, и много, и красно писали гг. публицисты противу корсарства, приватирства, пиратства, каперства, или просто-напросто морского разбоя, прикрытого флагом; но как такую песню запевали всегда те, которые не могли сами грабить, а не те, которые смели грабить, то все совещания ученых и обиженных кончались обыкновенно как совет мышей — не находили молодца, который бы привязал колокольчик на шею кошке, Англии. Забавнее всего, что Наполеон, который не признавал никаких прав, кроме тех, что мотаются как темляк на шпаге, — Наполеон, который, где только мог, изъяснялся диалектикою двадцатичетырехфунтового калибра, унизился до смиренной прозы, толкуя о каперах. Он очень серьезно и остроумно доказывал, что морское народное право — вовсе не право; что не сходно ни с европейскими нравами, ни с понятиями века грабить и полонить беззащитных купцов враждебной нации на море точно так же, как частную собственность мирных граждан на берегу; что, платя за съестные припасы поселянину и сохраняя жизнь, свободу и имущество даже в городе, взятом в бою, не бесчеловечно ли, не унижительно ли отнимать то, и другое, и третье, как скоро оно на корабле? Неужели соленая вода до того изменяет краску понятий, что презрительное и незаконное на суше становится на море похвальным и законным? Приговаривался он, что каперы и крейсеры должны ограничиваться лишь осмотром купеческих судов и конфискациею одних военных снарядов. Англичане говорили, что это весьма справедливо, и не переставали забирать, ловить, грабить все французские и союзные Франции суда.

После Тильзитского мира очередь упала и на нас, грешных. Мы принялись сосать свеклу, уверяя себя, что это сахар, и за тридорого одеваться в дрянное сукно, сотканное на континентальной системе. Зато мы точили тогда свои непокупные и неподкупные штыки и вместо кофе пили надежду близкой мести. Она разразилась 1812 годом. Но так или сяк, а Савелий Никитич пленник. Англичане, как всем известно, народ ласковый, приветливый, до того, что на боках его и его товарищей напечатался не

один параграф морского права, покуда оно переселилось на палубу его великобританского величества, эту плавающую почву *habeas corpus*¹, ступив на которую, каждый чужеземец пользуется неограниченной свободой носить свой нос по будням и праздникам невозбранно. Мы видели, как поступили они с Наполеоном, который имел простоту отдаться добровольно их гостеприимству и великодушию; можете судить, каково приняли они русских мещан, дерзнувших убежать от их правоты и даже ранить дробью в нос дубовый куттер под флагом Георга III. *Le cas était pendable* — это висельный случай, как говорят французы, и Савелью наверно бы досталось проплясать джиг под концом реи, если б он попался английской дисциплине после обеда; но, к счастью, пленение карбаса произошло в первую бутылку дня², и потому капитан капера удовлетворял гнев свой, отпустив им на брата по дюжине образцовых браней, *standart jurements* — *Lod damn your eyes!* с придачею не в зачет нескольких: *You scoundrels, ruffians* и *barbed dogs!* (мошенники, бездельники, бородастые собаки!) Савелий и дядя Яков, которым английские приветствия приелись, как насущные сухари, находили это в порядке вещей. Но Алексей несколько раз пытал высвободить свою десницу из веревок, чтобы обратиться с ответом *прямо к лицу* капитанскому; Иван поплевывал вдвое чаще.

Но в сущности англичане не злой народ, и если вычесть из них подозрительность, грубость, нестерпимую гордость и гордую нетерпимость всего иноземного, вы найдете, что они самые любезные люди в свете. Сердце англичанина — кокосовый орех: надо топором прорубиться до ядра, но зато внутри не свищ, как у француза, а сок освежительный. По внешности он действует сообразно со своими угнетательными, корыстными, колониальными законами; дома — по душевному уставу. Таков был и краснощекий, толстопузый капитан Турнип, командир куттера, — груб с лица, радушен с подбою. Раздраженный сопротивлением ничтожной русской раковинки, он грубо принял

¹ акта о неприкосновенности личности (*лат.*).

² В морских заморских романах, я чай, не раз случалось вам читать: «четвертая склянка», «осьмая склянка». Это мистификация; это попросту значит, что моряки хватили три бутылки, что они пьют уже восьмую. Часомерие это, самодвижное и самозвонное, весьма удобно и здорово: в полдень опрокидывают они все бутылки разом, и это называется: проверка хронометров. — *Ученое замечание.*

гостей своих; но когда дело кончилось удачно, когда все тюки и бочонки перепрыгнули через борт в трюм его, когда и сама верхняя часть карбаса изрублена была на дрова, а днище отправилось ко дну, когда он взглянул на бумаги Савелья, ограбивши прежде все дочиста,— это по-судейски, люблю молодца за обычай,— и объявил, что карбас был законный приз, улыбка разутюжила сафьянное лицо его; нахмуренные брови раздалились, расступились, и он, ласково ударив Савелья по плечу, бросил ему самое васмоленное из приветствий, расцветающих на палубе:

— Heave a head, boy, and never fear! (Подыми голову и ничего не бойся!)¹

Савелий, по народному выражению, лихо насобачился говорить по-английски. Савелий был сердит, а потому без раздумья просунул ответ сквозь зубы на это ободрение английской работы:

— Бог тебя прокляни, морская собака, и пусть будет черт твоим флагманом! Не бойся? Да чего мне теперь бояться, когда ты ограбил меня до души.

— Never mind! (Забудь это!) — возразил с улыбкою Турнип.

Мысль о добыче отбила прочь досаду за брань.

— Скорее черт забудет взять твою душу, чем я забуду счастье, которое ты у меня отнял!

— Ах ты, неблагодарное двуногое! Разве не подарил я вам жизни и бочонка с квасом, с этим некрещеным напитком, без которого ни один русский не может существовать? Разве я этого не сделал? Watch, boy, did I not?²

— Ты мне жизнь и квас сделал хуже уксусу. Не потчуй меня такою обглоданною жизнью. Я не собака, чтобы прыгать на цепи и лизать плеть твою. Утопил ты мой карбас, утопи же и меня.

— Если утопить тебя в море, оно сделает из тебя солонину рыбам: тебя жаль! Если б утопить тебя в водке, она превратится в настойку глупости: водки жаль! Ты, приятель, лихой моряк, когда пускаешься по морю в табакерке: я не могу запретить себе уважать такую отвагу. Ну, скажи, за что ты сердишься? Будь ты сильнее меня, ты сделал бы то же со мною, что я с тобой! Не лучше ли будет прохладить твою горячку, выливши на тебя ведро

¹ Heave a head,— в морском значении почти то же, что у нас: по местам! смирно! — то есть будьте внимательны, слушайте.

² Разве нет, мальчик? (англ.)

холодной воды, и утопить твое горе, вливши в тебя стакан два рому?

Хмель — чудесная смазка для удовольствия и горя: он так же плотно лепит к сердцу расписанный изразец первого, как зубристый булыжник второго. Савелий долго отнекивался пить, отталкивал приветно подлетающий к губам его стакан с жидким забвением; наконец глотнул, морщась; еще и еще разик, и вот, с каждым глотком, горе его таяло, как сахар в пунше, и наконец он подумал: «Покуда сам жив, счастье не умерло!» И он весело взглянул на божий свет, будто выбирая, с которого края начать его. Он отломил каждому из своих товарищей по кусочку собственной бодрости и протянул к капитану руку.

— Так бы давно! — сказал тот. — Будьте смиренны да работайте, так на нас жаловаться не станете. Даст бог, русские подымутся с нами заодно против этого разбойника, Бонапарта, и тогда вы опять увидите с своей родной. Она хоть и ледяная, а все до тех пор не растает!..

«А Катерина Петровна? — подумал Савелий со вздохом. — Женщины тают скорее снега».

Капитан окунул свои руки в карманы и пустился ходить по палубе. Может быть, и он думал о своей Фанни.

Капитан этот служил сперва на ост-индских кораблях — на индейцах, *Indianen*, как выражаются англичане. Потом состоял он на полужалованье; потом ему отказали и в этом за долгу невякву. Он, изволите видеть, рассудил, что лучше есть пряности и сладости, чем перевозить их с берегов Ганга, и женился. Тут он узнал, однако ж, что вся сладость супружеского чина состоит в картофеле и куске говядины. Это так его тронуло, что он с горя потолстел, а для рассеяния и барышей пустился в торговлю. Коварная стихия, то есть море, а не жена его, однако ж, не сманила бы его самого с берега, если б несчастным случаем часть его имущества в товарах не попала в руки французскому каперу. С этой минуты он от собственного лица объявил войну Наполеону и, движим любовью к отечеству и к своему карману, решился вознаградить убыток тем же путем, каким он пришел к нему. Оснастил он небольшое одномачтовое судно, нанял экипаж, купил себе четыре пушечки, — ведь в Англии они продаются на толкучем рынке, и подчас вы можете купить целую батарею у носячего, — испросил у правительства билет на представление войны в миньютюре и пустился пенить море. Ему удалось в Канаде захватить какой-то бот с контрабандою

да несколько несчастных рыбацких лодок. Это его произвело в собственном мнении в герои красного флага, и он, заслышав, что снаряжается небольшая эскадра в Ледовитое море для поисков над шведами и русскими, решился идти вслед за нею, как чакалка за тигром. Он расчел, что шведские китоловы и русские мещане ему по силам более, чем французские корсары, и что, врасплох нападая, скорей можно поживиться добычей. Он снялся с якоря и обогнул Норвегию вместе с королевскою флотилиею.

Разрыв России с Англиею в угоду Наполеону хотя и не был искренним с обеих сторон, однако ж все моря, которые считают англичане своими столбовыми и проселочными дорогами, *highs-ways and by-ways*, были замкнуты для нас живую цепью кораблей. Крейсера их шныхарили в Балтийском море и в 1811 году показались в Белом море, с набожным намерением разграбить Соловецкий монастырь. Сведая, однако, что там усилены гарнизон и артиллерия, они не посмели на приступ и возвратились. Один только бриг проник до самой Колы, однако ж спешил улизнуть оттуда с небольшою добычею за добра ума, когда был застигнут бурей, разлучен со своим флагманом и наткнулся на карбас Савелья. Теперь он правил бег свой восвоаяси, и уже три дни протекло со дня пленения карбаса. В эти три дни капитан Турнип обжился с новобранцами своими. Капитан Турнип был неплохой моряк по знанию моря, но очень плохой по своей лениости. Женатая жизнь избаловала его: неохотно расставался он с застольем и постелью. Крутой пудинг и мягкая подушка были для него, разумеется, с примесью мадеры и грога, первым блаженством мира: он не мог вообразить идолов иначе как в виде соусника, бутылки или пуховика. Вследствие сего он гораздо более любил проводить время в уютной каюте своей, чем на палубе. Что же делать, милостивые государи! Он привык к домовитой, к порядочной жизни: он был человек женатый.

Впрочем, наш холостой XIX век также прихотлив, будто женатый вельможа. *Comfort*¹ — надпись его щита. Правда, он выдумал для неприятелей паровые пушки, для приятелей дрожки без одолжения; зато выдумал и сиденье сзади коляски для слуг, тротуары для пешеходов, ошейники с рессорами для собак, резиновые корсеты для красавиц, непромокаемые плащи для воинов, суп из костей для

¹ комфорт (англ.).

бедных, для богатых нетленный суп, который выдержит потоп, не потерявши вкуса, выдумал жаровню, которая жарит бифштекс в кармане, и ватерклозеты для спален. Выдумал он... Да чего он не выдумал! Все — от машины растирать камни в пузыре до французской бритвы, гильотины, которая вам снимает голову так легко и скоро, что вы не успеете чихнуть, и до многих других этого рода усовершенствий. Скажите, можно ли быть заботливее, предупредительнее нашего века? Не хотите ли вы мне говорить про солнце старинное, про нестареющую природу, про наслаждение бивуаков, про здоровье гнилых сухарей и приятности грязного белья?.. Вздор, сударь! Я люблю искусства и промышленность. Я хочу жить и умереть при свете газовых ламп, на тюфяке, набитом благовонным воздухом, в перчатках с пружинами, с резиною спиною, с сердцем, не промокающим даже от слез. Я русский своего века, милостивый государь! Я люблю газеты и омнибусы... Я люблю comfort. Ваш покорнейший.

Капитан Турнип, как англичанин, который скорее бы согласился обнищить половину своих сограждан и зачумить другую, скорее, чем оставить пустыми свои благоустроенные тюрьмы и больницы, любил комфорт не менее моего и, по обыкновению своему, в третий вечер отправился на боковую, оставя рулевого за себя бодрствовать, а русских пленников спать на голых досках, под парусом вместо одеяла. Ночь была прелестна без метафоры. В самом деле, ночи севера очаровательны: это день при лунном свете, это перелив зари вечерней в зарю утреннюю. Опазовые небеса чуть блещут звездочками, и, когда они роняют лучи свои в синие волны, резвухи волны ловят их, отнимают друг от друга, делят, дробят их искры, хотят затаить в своем зыбком хрустале и потом прыщутся ими игриво. Взор ваш далеко пронзает чистое небо, как будто усиливаясь прочесть высокую, божественную мысль, по нем разлитую, глубоко погружается в бездну моря, разгадывая дивную тайну, в нем погребенную. Вы скажете, что эти улетающие от взора небеса со своими алмазными цветами, со своей радугою вокруг месяца, с причудливыми образами облаков есть воображение, а море с ропотною пучиною своею, с обломками кораблекрушений, с каменистыми растениями, с трупами, с чудовищами на дне, с фосфорическим блеском сверху — память человеческая?

Савелий не разгадывал ни мысли, ни тайн творения, но они совершались в нем без его ведома. Тоска по отчиз-

не грызла его сердце, тоска, которую превзойдет разве час разлуки с жизнью. Выньте рыбу из воды, посадите птичку под воздушный насос и скажите им: «Живи!» Оторвите человека от отечества и потом дивитесь, что он чахнет, скушает. Не спалось Савелью на новоселье. Он тихо поднял голову...

Ветер был свеж, но ровен. Закрепленные паруса были вздуты; куттер, склонясь набок, шибко резал волны, и они рассыпались о грудь его сѣребряными колосьями. Всплески звучали мерным ладом, и струя, скользя вдоль боков, сливалась за рулем в завитки и нашептывала, напевала сон на все живое. Покорный этому признанию, рулевой дремал над румпелем и только повременно, по привычке ворчал: «Steady! Steady!» (Проворнее!) Трое вахтенных матросов храпели уже, прикорнув к сеткам; остальные все спали в койках, в своей каюте, внизу.

И вдруг огневая мысль выстрелила в голове Савелья и проструилась по всему его составу. Ему показалось, кто-то крикнул на ухо: «Овладей куттером!» Он толкнул дядю Якова: тот проснулся.

— Видишь ты? — сказал он шепотом, показывая на спящих англичан.

— Вижу, — отвечал Яков, оглядевшись.

— Хочешь ли ты свободы? — спросил Савелий.

— Хочешь ли ты смерти? — спросил, в свою очередь, Яков.

— Смерть — та же воля. Лучше умереть в шубе, чем голому жить. Лучше отдать свои кости божьему морю, нежели таскать их по чужой земле. Со мной, что ли, дядя Яков? Не то я один наделаю проказ, а в кандалы не дамся.

— Слушай, удалая голова: я не меньше тебя люблю матушку-Русь, я тебя не выдам. Только подумай — где мы и сколько нас?

Савелий указал ему на два люка, отверстия, ведущие под палубу, потом на ряды абордажных орудий, висящих по сеткам, и что-то пошептал ему на ухо тихо, тихо.

— С богом! — произнес дядя Яков.

С двумя остальными русаками нечего было советовать: им стоило только велеть, и они готовы в пыль и в омут. Савелий подобрался к борту, отцепил топор и прямо пошел к рулевому. Тот вполглаза взглянул на него, подернул штуртрос¹ и пробормотал свое: «Steady!

¹ веревка, управляющая рулем.

Steady!» Оно было последним. Савелий разнес ему череп до плеч; несчастный упал через румпель безмолвен, и кровь рекой полилась по палубе. Трое русских схватили одного спящего англичанина и перебросили его через борт в море. Но двое остальных англичан проснулись от шума, схватились бороться и, только раненные, уступили силе. Голодная пучина с шумом приняла их в свое лоно, но не вдруг поглотила их. Жалобный, пронзительный крик то возникал, то смолкал над волнами, и наконец все слилось в молчание могилы, в тихий говор моря. Между тем смертный клик борьбы всполошил осьмерых матросов, спящих внизу; но русские успели уже надвинуть на отверстия решетчатые крышки и закрепить их сверху болтами. Едва англичане осмеливались попытаться поднять кровлю своей западни, три заряженных мушкетона отпугивали их прочь. Люк в каюту капитана был также заколочен прежде, чем он отряс с ресниц своих сон, утроенный мадерою.

— *Бой!* — кричал он грозно, услышав необычайную суматоху на палубе. — *Бой!* — повторил он с приложением сотни браней; но *бой* не являлся, хотя заклинания капитанские могли бы вызвать всех чертей из ада. Бедняга, мальчик лет двенадцати, вестовой капитана, был лишен на этот раз неизбежного пинка, служившего знаком восклицания звательному падежу — *бой!* Он давал ему невероятную быстроту движений. «*Бой*, принеси бутылку! *Бой*, кликни боцмана!» — и пинок в зад, и он взлетал по лестнице соколом. Да! пинок есть первая буква английской дисциплины, которой последняя — петля на конце реи.

Видя, что *бой* нейдет за получением своей порции, капитан в гневе вскочил с постели и кинулся к дверям; они были заперты.

— Что это значит?! — вскричал он, потрясая задвижками.

— Это значит, что ты мой пленник, — отвечал Савелий сквозь люк. — Половина твоих людей в море; другая забита в палубе. Сдайся!

— Чтобы я, лейтенант королевской службы, сдался бородачу? Никогда! Ни за что! Я пробуравлю дно и потплю тебя? — кричал Турнип.

— Я зажгу судно и взорву тебя на воздух, — возразил Савелий.

Но судно не было потоплено, ни сожжено. Оно было только обращено назад и тем же полуветром бежало к Руси. Савелий правил рулем и надзирал над капитанским

люком. Двое других стояли на часах, при люке матросской жаюты, одному позволялось спать. Все они были обвешаны оружием. Тяжко бы им было управляться с парусами, если бы ветер переменился или скрепчал: но он дул ровно и постоянно, и Алексей, весело поглядывая вперед, охорашивался и говорил: «Знай наших!» Тишина прерывалась только порой бранью запертых в клетке англичан да заклипаниями капитана. Наконец и он умолк. Как истинный философ, он, приняв тройной заряд рому, заснул, поверженный, но не побежденный.

На другой день русские сделали печальное открытие, что у них нет ни крошки сухаря: все съестное хранилось внизу. Победители могли умереть с голоду прежде, чем добежать до берега. Англичане не сдавались и не давали ничего. К счастью, случай уравнивал бедствие обеих воинствующих наций. Англичане незадолго выкатили на палубу остальные бочки с водою, для помещения под кровлю нежной добычи. Начались переговоры.

— Дайте нам хлеба! — говорили русские.

— Дайте нам воды! — говорили англичане.

— Не дадим, — отвечали англичане, — покуда вы нас не выпустите.

— Не дадим, — отвечали русские, — сдайтесь.

И парламентары расходились от люка.

Но голод и жажда уладили перемирие. Народное честолюбие замолкло перед воплем желудка: мена учредилась. За каждый кусок сухаря и солонины, данный в обрез, отмеривались кружки воды на полжажды.

— Я бы желал, чтоб ты подавился этим куском! — говорил капитан, просовывая олений язык сквозь отверстие люка.

— Я бы желал, чтоб ты век пил одну воду! — говорил Савелий, подавая ему мерку не винной влаги. — Авось бы ты с этого поста поумнел!

— Ты разбойник! — ворчал капитан.

— Я твой ученик, — возражал Савелий, — утешься! Я сделал с тобой то же самое, что сделал бы ты со мной, если б был сильнее. Разве это не твои слова?

Капитан говорил, что ничего в свете нет глупее таких утешений.

Куттер плыл да плыл к Руси.

Куттер этот был забавное и небывалое явление в политике. Это не было уже *status in statu*¹, но *status super*

¹ государство в государстве (лат.).

statum¹, государством верхом на государстве, — победители без побежденных и побежденные, не признающие победителей; это было два яруса вавилонского столпа, спущенные на воду. Внизу ревели: «Да здравствует Георг III навечно!» Вверху кричали: «Ура батюшке царю Александру Павловичу!» Английские годдемы и русские непечатные побранки встречались на лету. Это, однако ж, не мешало куттеру бежать по десяти узлов в час, и вот завидели наши низменный берег родины, и вот с полным приливом, с полным ветром вбежал он в устье Двины, не отвечая на спросы брандвахты, несмотря на бой бара. Савелий не хотел медлить ни минуты и, зная, что ему простят все упущения форм, катил без всякого флага вверх по реке. Таможенные и брандвахтенские катера, задержанные баром, выбились из сил, преследуя его. Таможня и брандвахта сошли с ума: ну что, если этот сумасброд — англичанин! ну что, если он вздумает бомбардировать Соломболу, сжечь корабли, спалить город. Конные объездчики поскакали стремглав в Архангельск, и тревога распространилась по всему берегу прежде, чем призовой куттер показался.

Вооруженная шляпка, однако ж, встретила его на дороге, опросила, поздравила, и суматоха опасений превратилась в суматоху радости. Прежде чем снежный ком докатился до Архангельска, он вырос в гору. Все кумушки; накинув на плечи епанечки, бегали от ворот к воротам — время ли на двор заглядывать! — и рассказывали, что их роденька (тут все стали ему роднею), Савелий Никитич, напал на стопушечный английский корабль, рассыпался во все стороны, окружил его своим карбасом, вырвал руль собственными руками и давай тузить англичан направо и налево; принуждены были сдаться, супостаты! Теперь он ведет его сюда на показ! Все ахали, все спрашивали, все рассказывали чепуху; никто не знал правды.

Громкое «ура» с набережной встретило приближающийся куттер; шапки летели в воздух, чеботы в воду; в порыве народной гордости народ толкал друг друга локтями и коленями. Всякий продирался вперед, все хотели первые поглядеть на удалого земляка. Савелий чуть не рехнулся: он бегал по палубе, обнимал своих сподвижников, стучался в двери Турнипа.

— Сдайся! — кричал он. — Мы уж в Архангельске.

¹ государство над государством (лат.).

— Не сдамся бородачу! — отвечал тот.

Когда причалили и бросили сходень, губернатор первый встретил Савелья, прижал к груди, назвал молодцом. Сердце закатилось у Савелья с радости, слезы брызнули из глаз его.

— Ваше превосходительство!.. — отвечал он. — Ваше превосходительство... я русский.

Капитан Турнип преважно сошел на берег, вручил губернатору свой кортик и отправился под прикрытием в город, напевая:

Rule, Britania, the waves!
(Владей, Британия, морями!)

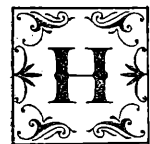
Все смеялись.

Нужно ли досказывать? Савелий не поехал в Соловки: он пошел в церковь со своею милою Катериною Петровной. Государь император, узнав о подвиге Никитина, напоминавшем подвиг Долгорукого при Петре, прислал архангельскому герою знак военного ордена и приказал продать в пользу его с товарищами груз призового капера.

Это не выдумка, Савелий Никитин жив до сих пор, уважаем до сих пор; и если вы встретите в Архангельске бодрого человека лет пятидесяти, в русском кафтане, с георгиевским крестом на груди, — поклонитесь ему: это Савелий Никитин.



Местъ



Н адо было обеими руками держать сердце, чтоб не упорхнуло оно встречу или вслед Надежде Петровне Зорич, когда она явилась на бал к австрийскому посланнику, помните, что давал он на минувшей масленице. Не смею сказать, что она была прелестнее всех, что ее туалет был свежее прочих. По крайней мере, когда черное море мужчин расхлынуло перед нею, а цветник дам принял ее в свое радужное лоно, казалось, ропотная зыбь пролетела по волнам и с тем вместе ветерок закачал прелестными головками детей Флоры. Лучший тон слишком вежлив, чтобы вслух высказывать свои мнения, — но мужчины значительно менялись взглядами, а дамы гордо сжимали губки и чуть заметным движением ресниц указывали подругам на новую гостью, на опасную соперницу; одним словом, все ожило, все засверкало от пролета этого метеора, все: звуки, сердца и взоры! Худо скрытая досада и слишком явное одобрение доказывали, что Надина мила как нельзя более, а, по-моему, это стоит гораздо более многих прилагательных превосходной степени.

И в самом деле, от прически Элио до башмачка Соболева все было очарование в этом очаровательном создании.

Как просто и мило коса, заплетенная венком, возникала над ее светло-русыми волосами, причесанными вгладь, а конец этой косы рассыпался гроздом кудрей с немногими цветками, не привитыми, а будто забытыми ненарочно. Тонкая золотая цепочка, работы воздушных фей, бежала по двойной дорожке, проложенной гребенкою художника, и смыкалась на высоком лбу красавицы фероньеркою из трех грушевидных жемчужин; они мерцали, они дрожали на опаловом шатоне. Серьги вились змейками с изумрудными чешуями, впивались в розовые ушки и, казалось, нашептывают ему обольстительные повести, учат дивным хитростям. Два фермуара на ожерелье... Да мое ли дело толковать о драгоценных украшениях? Пускай ее свирепствует мода обвешивать себя алмазами, как на продажу. Пускай эта мода украшает невест всюю прелестью расчета мнимых количеств. Надина не была уже невестою, а для меня эти многочисленные замки над скрытыми прелестями все равно, что чугунные замки над несметным сокровищем, — рождают во мне одно желание — сломать и сбросить их долой. Да и кто из самых корыстолюбивых баронов остзейских провинций стал бы ценить украшения, глядя на эти карие с поволокою глаза, которые словно тают огнем неги; на эти губки, с которых хочет сорваться поцелуй, на эти щечки с улыбкою утра, с жаром полудня! Я не смею и заговаривать об этих полненьких, пухленьких румяных плечиках, с которых скользят рукава... про эту искусительную ножку, которая напрасно прячется в атласный башмачок!.. Не смею, потому что у меня в глазах роятся звезды и занимается дух, вспоминая об одних плечиках: я б в них выцеловал ямочки, если б там их не было прежде! Или об одной маленькой миленькой ножке — вообразите, что она вся укладывалась на моей ладони — и столько, столько раз была согрета моим дыханием!.. Вот почему ненавижу я коварные башмаки Соболева и спадающие рукава мадам Сихлер. Эта обувь, этот покрой платья — изменники: они или обличают вам то, чего не стоит видеть, или напоминают то, чего уж вам не видеть.

Да и одни ли плечики Надины могли свести с ума любого из платонических мудрецов, искутить самого постного из отшельников мира? Один уже стан ее, который можно было два раза обвить руками, одна уже грудь ее, которой могла бы гордиться шестнадцатилетняя девушка; грудь как заря, чуть подернутая кружевным туманом; как

волна перекатная, что падает, возникает, прыщет вешнею свежестью и манит каждого, как Гетева рыболова, утонуть в заветном своем лоне! Вы бы сказали, что платье ее выткано ветром юга из облаков и лучей. Вы бы подумали, что цветок, приколотый на левой стороне, пробился сквозь снег газа прямо из ее жаркого сердца! Прибавьте к этому приемы, наречие и все маленькие дарования лучшего общества, в котором она росла и расцвела. Прибавьте к этому угад людей, довольно тонкий, чтоб ценить их по достоинствам, но еще недовольно опытный, чтобы презирать по заслугам. Прибавьте к этому нрав живой и чувства, жадные впечатлений совсем не по наущению дерзкого, беспокойного ума, а по собственной склонности, совсем не из любопытства узнать, а из необходимости почувствовать. Она разрешила загадку жизни и цель бытия словом «наслаждайся!» — словом, которое насилу отырали мы из пыли архивов, из тисков опыта, из-под корней вековых дубов и костей допотопных животных. Слово, за которое платили мы кусками сердца, годами жизни, спасением души!.. и которому выучиваются женщины вдруг, набело, по вдохновению, в открытой академии природы, а не под копотными сводами университетов. Не на скамье школьника и не на доске труженика, а в вихре танцев, а на бархатной подушке дивана.

Правду сказать, что ни философам, ни дамам не открылось при этом гениальном изобретении безделицы: «как и сколько?» Но тем не менее Надина была из числа самых пленительных обитательниц Петербурга, из числа тех немногих северных женщин, которые носят сердце под корсетом, а не под шляпкою. Под венец всех таких прелестей ей было не более 20 лет, и она уже два года, и только два года, была женой, женой ближнего!

Вполне ли вы чувствуете магнитную силу обручального кольца, центровлеющую силу женщины, оправленной в заветное местоимение «моя»?

Если нет, значит, вы крещены в рюмке мороженого или десять лет прожили в Тифлисе. Так, по крайней мере, не думал ни один из молодых корифеев бала и всех менее капитан конных гренадер Эмеев.

Надина произвела на него в этот вечер необыкновенное впечатление; ему казалось, что она сейчас родилась для любви и поклонения света. Он дивился, как до сих пор не вспало ему на ум приволкнуться за такую свежую

красотою, которая, кроме супружеской заветности, очерчена была еще более заветным, стало быть, еще более заманчивым, кругом любви к лучшему его другу Платону Радову.

«Княгиня Софья надоела мне своими притязаниями на безусловное рабство,— думал он,— мое тридцатое июля недалеко, а там к чьим стопам положу я свою железную корону? Надо попытаться счастья в Надине... она так еще пылка, так прекрасна, притом, какая слава выбить из ее сердца Платона!.. Правда, Платон — человек недюжинный, и страсти, им внушенные, не пламя соломы; Надина любит его без памяти... Но разве она не женщина? разве не два уже месяца, как он в отлучке, а и десятой части этого времени слишком, чтобы испарить самую постоянную из светских страстей. У женщин чуть долой с глаз, вон из сердца,— и тот вечно виноват, кого здесь нет. Но чем же виноват передо мной Платон? Чем, кроме своей доверенности? Впрочем, не лучше ли взять урок в познании женщин от друга, чем от какого-нибудь негодяя? По крайней мере, ему останется утешенье, что эта жемчужина досталась в руки достойного наследника!»

И Змеев встал с видом человека, готового на приступ.

«Почему знать,— говорил он сам себе, охорашиваясь,— может статься, Надина сделает мне радостный сюрприз и отправит на траву своим отказом. Каких чудес не бывает в свете, каких причуд в женщине?.. Во всяком случае подкоп под счастье друга — премилое развлечение».

И пусть тот, кто пил молоко и вино света, подымет камень на своего брата, на своего товарища! Книжники и фарисеи, неужели думаете вы, что здравость ваших речей уничтожает заразу вашего примера? Шейте из красных слов себе епанчу, из-под ней всё будут видны козлиные ноги. Кричите против развращения нравов, но знайте, что этим вы только докажете чужую вину, а не правоту свою.

Не хуже другого видел Змеев, что хорошо, что худо. Но, делая доброе, он не хвалился им; делая зло, не скрывал его под личиной незнания. В нем осталось сознание всего высокого, всего прекрасного в других, но несколько силы, чтобы осуществить это самому. Честолюбивая деятельность без решимости на труд поглощена была светскою ничтожностью, обратилась в какое-то лихорадочное беспокойство всюду кидаться и всего отведывать. Иступив

свои чувства прежде крепости, иссушив сердце ранее полноты, он жаждал обновить их новыми ощущениями, окунуть в источник молодости, хотя бы он кипел кровью или крепкою водкою, хотя бы туда нужно было бросить честь женщины и счастье друга. И все это готов был сделать он без малейшей злобы; скорее по моде, чем по собственному убеждению, — но хотя раб моды во мнениях, навеянных из Парижа, он был властелином ее в мелочах петербургского военного дендинизма. Султан его решал участь всех австрийских и польских петухов на целую зиму, смотря по длине перьев, пущенных в славу. Эполеты à la Zmeyoff продавались пятью рублями дороже прочих. Его визитные карточки служили образцом вкуса и почерка, даже фасон его дрожек и набор в хомутах бывали предметом толков и подражаний для гвардейских офицеров. Не говорю уже об его умении войти и поклониться, начать и разорвать кстати разговор, тянуть или закруглять приятно звуки — все уловки, которые менял он ежемесячно, чтобы сбить с толку своих подражателей.

И в этот вечер Змеев был одет, как всегда сохраняя *la juste milieu*¹ между изысканностью щегольства и немолимостью формы. Мундир его позволял себе кое-где живописную складку и так же далек был от лощенной новизны прапорщика, только что выпущенного из школы юнкеров, как и от поблеклой небрежности усаца, засевшего в ротмистрах. Перчатки его белели как серебро; серебро сверкало как хрусталь. Никаких затей в плетенках эполетов, никаких цепочек на груди — этих гремушек, столь любимых пехотными франтами! Одним словом, в одежде, в поступи, в речах его было заметно

Слиянье бранной простоты
С непринужденностию светской,
И без французской суеты.
И без недвижности немецкой.

И между тем Змеев в душе смеялся своим успехам, потому что самолюбие не погасило в нем самосознания.

«Как мало надобно свету, чтобы попасть в образцы, и как мал, как мелочен этот свет, когда такие образцы его чаруют!» — думал он, пробираясь с гордою скромностью в гостиную на поклоны. «Если хочешь, чтоб люди

¹ золотую середину (фр.).

тебе верили, кажись, будто ты им веришь, а главное — презирай их как возможно учтивее».

Вы видите, если б одна хитрость решала производство в английские министры, Эмееву не далеко бы махнуть в Веллингтоны. Жаль, право, что он до сих пор шпорит только лошадей.

И бал уже клонился к западу. Уже вечерним светом мерцали свечи. Шары ламп лили матовый блеск на огнедышащие груди, на томные лица танцующих. Усталая музыка растягивала ноты; ножки не летали, а шаркали по паркету. Крахмал и помада изменяли, ленты и кудри падали развитые, смятые, — был недалек уже решительный миг, когда все единодушно, хотя безмолвно, сознаются, что пора поужинать или пора заснуть. Миг, в который червонцы гремят на столах виста, когда слух кавалеров охотнее ловит звуки тарелок в соседней зале, чем кудрявые фразы своих дам, а вееры дам совершают частые путешествия к губкам, несмотря на любезность кавалеров.

Со всем тем час — предтеча этого перелома — самый счастливый час для молитвы сердец. Вначале, покуда, блестя красотою и властью, дама принимает первый привет от зеркала передней, покуда надежда на победы свежа у ней, как букет цветов, поднесенный ей при появлении в зал, покуда еще шесть контрдансов и две мазурки выются и сплетаются пред ней в будущем, с орденскими лентами, с канителью эксельбантов, с цветами золотого шитья, покуда тщеславие ее зыблется на пуху белых султанов, играет с лучами коварных звезд, — о, тогда для нее нужны целые хоры похвал, целые толпы поклонников. Одиноким голос не отзовется у нее в сердце; одинокий взор не проникнет туда! И может ли быть оно иначе? При начале красавица слишком занята желанием выказать свой наряд или расщипать глазами чужой. Желанье заполнить общее внимание и страх не успеть в этом поглощают ее с душой и с сердцем. Никогда опытный остроумец, ни опытный волокита не изберут этой поры одинокого эгоизма для лестного привета или пламенного объяснения... его не оценят тогда, потому что не почувствуют, а не почувствуют, потому что не заметят. Дайте поле новичкам в любви и в свете; дайте им показать свои эпюлеты и жилеты; позвольте им выстрелять свои застарелые комплименты и новопривезенные остроуты... выдержите молча и хладнокровно кокетство и наездничество без цели — и будьте уверены, что в течение двух часов самолюбие дам будет

пресыщено; любопытство утомлено; ум соскучен пошлостями... холостая перестрелка эта станет редеть, умолкать!.. хорошенькие глазки найдут вас где-нибудь в уголку; миленький голосок назовет по имени — тогда, о, тогда час ваш настал!

Поздно приходит к дамам рассудительность, однако приходит, и они постепенно склоняются от собирательных имен к собственным, от множественного числа к единственному. Души их расплавляются наконец в аристократической атмосфере бала, напоенной благовониями и вздохами. Сердца, будто райские птички, напорхавшись вдоволь, ищут отдыха на руке какого-нибудь счастливца.

Счастливицы иль, по крайней мере, искатели счастья! Ловите же этот час на лету! Ответ бала — все равно что ответ женщины, все равно что ее тридцатилетний возраст. В обоих случаях она становится необыкновенно чувствительна — она ярче, она жарче вспыхивает перед прощаньем. Ангел луч за лучом сбрасывает свое сияние, свивает крылья и достаивает ступить на землю, достаивает раскрыть сердце свое земным чувствам, семенам всего прекрасного и опасного.

Змеев знал эту стратегию, конечно, не хуже моего; и вот почему только вскользь бросил две или три ракеты приветствий Надежде, когда она приехала; но явился перед ней с требованием на пятый французский кадрили уже в то время, когда мраморные стены и зеркала потускли и тщеславие женское по необходимости должно было искать отражения в глазах своего партнера.

— Может быть, Надежда Петровна удостоит взглянуть на свои таблетки, — сказал он почтительно. — Я жду, как *нежившая душа*, своего призыва к жизни!

— Нежившая или отжившая, капитан, во всяком случае вы можете быть уверены, что мне не нужно прибегать к воспоминаниям из слоновой кости, когда дело идет о вас. Я думаю даже, что, если б мне случилось ошибиться в очереди, конечно, не вы бы в этом проиграли.

— О, конечно, не я, сударыня! Впрочем, я слишком совестлив для желанья вам проигрыша!.. Итак, пусть старшинство решит производство в счастливицы — точно ли мне предназначена эта четверть часа?..

— Вам, капитан, вам, по праву и по воле, — отвечала Надежда, подавая ему нераскрытые таблетки. — Убеждены ль вы теперь, господин маловерный? — примолвила она, вставая и ласково опершись на его руку.

— Тысячу извинений, сударыня! Я так мало избалован счастьем, что ему всего менее верю.

И хитрец выискал для *vis-à-vis* чуть ли не самого плохого танцора, а уж даму его можно было назвать живою антитезою красоты — и все это для того, чтоб ярче выказать прелесть Надины и собственную ловкость. Змеев повел атаку не хуже Карно и Кормонтеня, если бы Карно и Кормонтень занимались осадю слабостей вместо осады крепостей.

— В первой параллели надо быть забавным, — говорил он, — во второй — занимательным, в третьей — трогательным и только в решительный час демаскировать брешь-батарею. Приступы в наш век — самый глупый анахронизм: при удаче вся слава отдана силе, а не уменью; при неудаче — стыд, и нет возврата! То ли дело капитуляция: поспорят, погрозят — и обе стороны довольны!

Надина была большая охотница посмеяться, и, конечно, никто лучше Змеева не сумел бы насказать более забавных замечаний и эпиграмм в краткие промежутки между шассе и балансе. Началась бесконечная мазурка, и полувлюбленный капитан уселся рядом с Надиною, поневоле уступив сердечную ее сторону танцующему с ней кирасиру. Скрестив руки на груди, молча устремил он на нее глаза свои, и молчание его было одним из самых лестных его приветов.

Румянец удовлетворенного самолюбия разгорался на милом личике Надины от конгревовских взоров соседа.

— Вы не танцуете? — сказала ему она, поправляя свое оплечье, чтобы иметь предлог взглянуть туда, куда уж давно прильнуло ее вниманье.

Капитан склонился над кругленьким плечиком Надины так, что его дыхание зашевелило кружева оборки так, что за несколько лет тому назад подобным положением напрашивались на разрыв с дамою своих мыслей или на дуэль с мужем ее и компрометировали бы даже собственную жену. *Autres temps autres soins!*¹ В то время как мы юными французскими фразами браним юную словесность, жены наши (слава богу: не мои) вводят в моду совершенно райское обхождение — *un laisser faire, un laisser aller*²; достойный остров Тихого океана.

¹ Другие времена, другие заботы! (фр.)

² вседозволенность, попустительство (фр.).

— У меня недостало дерзости уморить со скуки даму, которая бы в забвении от бога и добрых людей решилась со мной на мазурку,— отвечал Змеев.— Когда не мне выпала доля танцевать ее с вами, слишком жестоко было бы требовать жертвы танцевать ее с другою. «Все или ничего» — надпись моего щита, сударыня.

— Как вы добры к той, которую не выбрали! Как злы для всех, которых собрали в одно слово, чтобы всех уничтожить одним словом! Впрочем, я хорошо понимаю ваш расчет, капитан. Вы хотите служить при этой мазурке волонтером, чтобы, не имея никаких обязанностей, пользоваться всеми выгодами. Посмотрите, если полная красавица Лелеева не выберет вас...

— Неужели она хочет обмануть? Так ли глядит она, чтоб обманывать?

— Может быть, она хочет быть обманутою.

— Нет-с, этого не может быть, сударыня, даже и этого... Но она в самом деле катится на меня!..

— К вам, капитан; да, вам эта чаша здравия, увитая цветами, как на греческих пирах...

— О, да мимо идет чаша сия...— вскричал Змеев, комически всплеснув руками.

— Будьте милостивее, кажитесь бодрее, идучи на казнь.

— Если б вы приняли мою исповедь, если б вы напутствовали меня, я бы сложил мою голову героем,— сказал Змеев, натягивая перчатку и извиняясь поклонами перед избравшей его дамой.— *Grâce donc, ou soup de grâce!*¹

Он медленно, мерными шагами возвратился на свое место.

— Теперь я — покойник, сударыня,— молвил он,— отныне вам грех будет говорить или думать обо мне что-нибудь дурное.

— Я собираюсь написать вам эпитафию, капитан.

— Бесконечно обязан за честь! это хоть кому даст желание убраться на тот свет как можно скорее. Со всем тем, ради бога,— прочь эпитафию! Лучшая из них — лесть, а лесть — одна из граней лжи. Какая ж радость обманывать после смерти!

¹ Смилуйтесь или добейте! (фр.)

— А, так вам радостно обманывать во время жизни? Очень благодарна вам за эту искренность того света! Я, однако ж, в этом свете ею воспользуюсь.

Разговор прерывался каждый миг. Змеев проклинал докучных дам и кавалеров, вместе с безвременными их выборами, и не скрывал этого от своей миленькой соседки.

— Вы неблагодарный,— сказала она.— Эти частые призывы должны льстить вашей любви к самому себе.

— Но знаете ли, сударыня, что истинная любовь уничтожает всякую другую? Пусть вы сочли бы меня за чудовище самолюбия; пусть бы я стал им в самом деле — однако ж и тогда я не променял бы радости сердца на удовольствие ног. Вот почему те дамы, которые выбирают меня, конечно, делают мне честь; но, признаюсь, те, что меня обходят, делают мне милость,— мало этого, благоденствие.

— Вы можете быть убеждены, что вперед я не выберу вас ни разу.

— Лишь бы мне оставаться близ вас, слушать вас, любоваться вами!.. Странная вещь, сударыня, когда я вижу, как вы порхаете в танцах, во мне вспыхивает желание: быть вам волной морскою, которая вечно играет с ветром и светом. Когда ж слышу сребристый певучий голос ваш, я бы хотел назвать вас райскою птичкою, чтобы иметь отговорку прослушать вас целый век — и не очнуться!

Надина с лукавым удивлением раскрыла глаза.

— Да это чистейшая чувствительность, капитан! Это жемчугом низанная поэзия Востока! Вы, право, станете для меня «знакомым незнакомцем»! Вы ли это, холодный, насмешливый капитан Змеев?

— Капитан и кавалер, сударыня! Кто ж виноват, если порой воскресают в нас чувства неведомые или давно забытые. Кто?.. Знаете ли, верите ли вы, что есть особы, отмеченные небом: они скажут вам слово, подадут руку в танцах, взглянут мимолетом — и вы сердцем постигаете, что поэзия не выдумка. Что-то занывает, закипает в груди и пробивается наружу...

— Очень знаю и крепко верю, капитан. Но в таком случае поэзия не спрашивает у памяти своих вдохновений. А то, что вы сказали теперь, было из памяти — не из сердца. Вы, который так хорошо умеет говорить премилые, преострые вещи, когда дело идет на приветствия, — зачем занимаете вы в долг наречие чувства? Где-то и давно читала я это... это так старо!..

— Так старо, что на очереди сделаться новым. Да и вольно ж было господам сочинителям высказать ранее меня то, что я чувствую. Впрочем, сравнение, которое так вам к лицу,— взято у моего приятеля Марлинского. Он порой щечится от меня острым словцом. Я, в свою очередь, потаскиваю из него фразы, и оба не внакладе. Что за дележ между приятелями,— прибавил он с злою улыбкою.— Слова «твое» и «мое» должны быть изгнаны из дружбы!

— В самом деле, капитан? В самом ли деле вы так думаете? Довольны ли будут друзья ваши подобною сделкою?

— Если нет, тем хуже для них.

— Я бы желала, чтоб княгиня Софья слышала ваше мнение!

И она, гордо вздернув носик, подала руку тому, кто спросил ее: «Какое угодно вам будет выбрать для себя качество вместо имени?»

— *Неделимость!* — сказала она, бросив значительный взгляд на Змеева.

«Эге, душенька... — подумал Змеев,— да это никак зачатки ревности, ну, так будет прок! *Неделимость!* гм... хорошо, я — добрый малый, госпожа Неделимая, я, пожалуй, возьму вас себе целиком, не выделяя ни одной частички ни вашему благоверному супругу, ни моему легковверному другу. Неделимая... Это и затейливо, и оригинально, жаль только, что не совсем справедливо. Да, впрочем, где теперь найдешь справедливость! Называет же князь Борис жену своею любезною половиною, а в ней не принадлежит ему и сотой доли!»

Надина воротилась на свое место, но не удостоила разговором Змеева: она, как говорится, на него дулась.

Кавалер ее подал знак жизни несколькими словами, однако, подобно тающему в зимний петербургский полдень желобу, журчание его замолкло в минуту.

Какая-то неведомая грусть отяготела над Надиною: она сидела безмолвно, склоня голову; взоры ее упали долу. Мечтала ли она о том, кто далеко, или хотела заставить мечтать того, кто близко? Было ли то глубокое чувство разлуки, доступное душе самой светской женщины, или только игра кокетства, траурный наряд, дающий такую неотразимую прелесть лицу. Китайское опахало ее скользнуло из невольной распушенной ручки и давно было

поднято Змеевым. Два раза подводили ей на выбор кавалеров и два раза миновали ее с лукавою улыбкою... казалось, она никого не видала, ничего не слышала. О, как очаровательны бывают женщины в минуты такой невольной грустной рассеянности, такого уединения посреди блеску и шуму света! Хочется тогда подкрасться к ним на цыпочках и на коленях прислушаться к их дыханию, к бою сердец!.. разгадать тайную думу по летучему румянцу щек, по содроганию ресниц и губок предугадать в ней приговор собственной судьбы.

Что-то юношеское, что-то бывалое встрепенулось в груди Змеева. Ему показалось, будто он чувствует, что недавно сказал он, и, всего страннее,— он этому поверил, он, который не верил даже в себе ничему хорошему. Не надолго, однако ж; природа поборола привычку.

«Любить мне, и не шутя любить? да это достойно будет тех блаженных времен, когда любезники изъяснялись песнею: «Я не скажу тебе люблю, всеобщей моде подражая!» — времен, когда еще велась подстольная страсть сапогов к башмакам! Женщины — существа шаткие по природе и тщеславные по воспитанию: вот две дороги к обладанию ими. Но так как им приятнее обманывать, чем обманываться,— что я за глупец поддаваться, когда могу распоряжаться? Пушкин недаром сказал:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем больше нравимся мы ей...—

а я хочу понравиться Надине и нравиться во что бы то ни стало. Как ни бойка она, как ни начитанна рассказов своих многоопытных подруг, которых не надуешь вздохами да слезами на розовой воде или объяснениями на розовой бумажке,— со всем тем сердце у двадцатилетней женщины, наверно, мягче головы... Несгораемых я бил картечью остроумия, эту надо зажечь калеными ядрами чувства».

И яркие глаза его впились в Надину. Я уверен, что женщина чувствует даже во сне, не только в задумчивости, струю взора, наэлектризованного страстью.

Надина вздрогнула, прежде чем Змеев произнес над ухом ее, почтительно подавая веер:

— Вы его уронили!

— Благодарю вас. Но скажите правду хоть один раз в жизни,— вы, верно, смеялись про себя моей неуместной задумчивости?

— Задумчивости? Скажите, какой я недогадливый,— я ведь думал, что благодаря нашему любезному соседству вы просто дремали, а я очень уважаю крепкий сон — признак чистой совести. Нет, Надежда Петровна, я был далек от насмешек, глядя на вас. Я, напротив, горько жалел, что не живописец. Будь я Брюллов или Кипренский, я бы написал с вас спящую «Душеньку» на диво всему свету. Да вы спите с открытыми глазами до сих пор — и я уверен, что все мы кружимся и проходим перед вами, как сны!

— Что же вся жизнь наша, что люди, в особенности что такое вы, мужчины, как не обманчивые сны? — сказала со вздохом Надина.

— А верите ли вы снам, сударыня?

— Верю, когда они не льстят мне.

— Так я очень рад, что вовсе не похож на льстивый сон, сударыня! Вглядитесь в меня хорошенько и сознайтесь, что я сегодня грозен и мрачен, как самый страшный, самый зловещий сон полночного царства. И этот сон вещует беду вашему сердцу, сударыня,— и в этот раз я не шучу, сударыня!

Надина пристально посмотрела на Змеева — но лицо Змеева в самом деле выражало какое-то печальное чувство, какое-то искреннее участие. Она отворотилась, — как будто могильный ветер дунул на нее.

— Я не люблю зловещих снов,— сказала она,— я стараюсь забыть их, если вижу.

— Прежде чем забыть, надо разгадать их; а прежде чем разгадать, надо их узнать. Впрочем, грех бросать черные тени на яркую картину бала. Спице сном счастья, сударыня. Самые запоздалые худые вести приходят всегда слишком рано.

Любопытство Надины затронуто было за живое. Опасения ее проснулись... она знала, что Радов очень дружен с Змеевым, что они живут вместе... Двойная мысль, не случилось ли чего-нибудь с Платоном и не рассказал ли он чего-нибудь своему товарищу, как двойное жало змеи, кольнула ее в сердце. Но ей не хотелось выказать этого, а Змеев, раз уклонившись от предмета, ускользал из рук побочного вопроса.

Положив следок на следок, он хладнокровно поигрывал ключиком часов и отрывчатыми фразами отвечал на слова Надины.

— Вы спрашиваете, как мне нравится туалет княгини Полинской? очень блистателен! жаль только, что он измят еще при варшавском приступе. Зато наряд генеральши Кнокс, без метафоры, свежее весны — в Якутске. Никто не скажет, чтобы на ней малейшее украшение, кроме ее улыбки, пережило два бала. Но ее вечная улыбка!.. Боже мой, скоро ли она износит эту улыбку!..

— Скажите ей это на ухо и будьте уверены, что она, по крайней мере на четверть часа, забудет усмехаться. Но оставим дам в покое. Не правда ли, что кавалер, с которым я сейчас танцевала, был бы...

— Пленителен, если б его создал бог, а не портной, хотите вы сказать? я с вами согласен. В Англии хотят воздвигнуть монумент механику Ватту; у нас на Руси следовало бы воздвигнуть памятник вате.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание включает тринадцать прозаических сочинений Бестужева (Марлинского), которые — за единственным исключением, оговоренным особо, — были завершены и опубликованы при жизни автора. Тексты печатаются на основе следующих изданий: Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М.; Л., 1960 (подготовлено В. А. Архиповым, В. Г. Базановым и Я. Л. Левкович); Бестужев (Марлинский) А. А. Повести и рассказы. М., 1976; Бестужев (Марлинский) А. А. Ночь на корабле. Повести и рассказы. М., 1988 (оба сборника подготовлены А. Л. Осповатом). Во всех случаях, где это представлялось возможным, сохранены написания, отражающие произносительную норму эпохи (*волкан, сурьезно*), орфографическая вариантность (*Кавказ — Каф-кас*), авторские неологизмы, а также пунктуационные особенности подлинника (например, обилие тире).

В соответствии с профилем данного издания в примечаниях не даются текстологические характеристики публикуемых произведений — их можно найти в аннотированной библиографии писателя, составленной Г. В. Прохоровым (Отдел рукописей и редкой книги Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрин, ф. 69, № 50), в сообщениях Я. Генцеля (Русская литература, 1961, № 1. Сс. 134—138) и А. Л. Осповата (Вопросы литературы, 1987, № 9. Сс. 280—282), в сопроводительном аппарате к указанным изданиям 1976 и 1988 гг. Равным образом примечания не могли быть ориентированы на разъяснение и истолкование всех тех историко-культурных реалий, ассоциаций и намеков, которыми насыщены тексты Бестужева; опущены справки, легко отыскиваемые в изданиях типа «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона, и, кроме того, отбор материала производился с учетом того, что целый ряд текстов ранее вообще не комментировался.

РОМАН И ОЛЬГА

Впервые: Полярная звезда на 1823 год. СПб., 1822. Сс. 115—148.
Подпись — А. Бестужев.

Импульс к созданию этой повести — как и многих других образов русской исторической беллетристики XIX в. — был дан «Историей государства Российского» Н. М. Карамзина (первые восемь томов которой вышли в начале 1818 г.); в авторских примечаниях (см. с. 34) указано и соответствующее место — т. V, гл. 2. Бестужевская же трактовка событий XIV—XV вв. шла в русле декабристской традиции, идеализировавшей Новгород как последний оплот древнерусской свободы, сокрушенный московским самодержавием.

С. 5. *Эпиграф* — из баллады В. А. Жуковского «Алина и Альсим» (1814).

С. 6. *Вадим* — полупоэтический предводитель новгородцев в борьбе с князем Рюриком (IX в.). В русской литературе конца XVIII — начала XIX в. сложился образ Вадима как первого отечественного тираноборца.

С. 8. *Эпиграф* — из поэмы Пушкина «Кавказский пленник» (1822).

С. 9. ...*в престольном стане Тимуровом...* — Тимур (Тамерлан; 336—405), «великий эмир» монголов, имел резиденцию в г. Самарканде.

С. 12. *Эпиграф* — из поэмы И. И. Дмитриева «Ермак» (1794).
...*читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским бергом...* — в конце XIV в. Новгородская республика, отстаивавшая свой независимый статус, стремилась укрепить отношения с северными соседями; в этот период были заключены торговые и политические соглашения с Ригой (входившей в Ганзейский союз) и Ливонским орденом (см. в наст. изд. повесть «Ревельский турнир» и примеч. к с. 84).

С. 13. ...*тогда обновился пир Изяслава...* — в 1148 г. Изяслав Мстиславич (ок. 1097—1154), великий князь киевский (с 1146 г.) прибыл в Новгород, где устроил горожанам пиршество, причем, по словам Карамзина, «Государь веселился с народом как добрый отец среди любезного ему семейства» («История государства Российского», т. II, гл. 12).

Алдерман — член совета городского самоуправления; *фогт* — один из высших чинов Ливонского ордена, в компетенцию которого входило управление определенным округом.

...*запел о любви <...> Елисаветы к смелому Гаральду <...> к ногам верной Елисаветы.* — Здесь излагается сюжет чрезвычайно по-

пулярной у русских поэтов конца XVIII — начала XIX в. скальдической «Песни Гаральда Смелого». В числе переводчиков был и Карамзин, который позже дал прозаическое переложение ее сюжета в «Истории государства Российского» (т. II, гл. 2, примеч. 41). В этой «песне» предложена версия биографии норвежского короля Гаральда Строгого (правил в 1047—1066 г.), женатого на одной из дочерей великого князя киевского Ярослава Мудрого.

С. 15. *Уже строятся стороны: особо Софийская, особо Торговая...*— Новгород делится рекой Волхов на две части (стороны): левая называлась Софийской, правая — Торговой.

...двор Ярослава (на Торговой стороне) — место сбора новгородского веча.

...жду покорности новгородской митрополиту Москвы...— этой и подобными мерами Василий Дмитриевич (1371—1425), великий князь московский (с 1389 г.), желал существенно ограничить суверенитет Новгорода, препятствовавший его централизаторской политике.

С. 16. *С тестем Витовтом...*— Василий Дмитриевич был женат на Софье, дочери великого князя Литовского Витовта (1350—1430; правил с 1392 г.), с которым заключил союз, направленный против татарской Орды.

Каменный Пояс — Уральские горы.

С. 17. Свидригайло Иван (Скиригайло) и Наримант — соперники Витовта в борьбе за власть в Литовском княжестве; первый был отравлен Витовтом, второй — повешен.

С. 18. *Боголюбский Андрей* (ок. 1111—1174) — великий князь Владимирский (с 1157 г.), предпринял неудачный поход против Новгорода в 1170 г.

...за нас наша мать, святая София! — Софии, «премудрости Божией» (под знаком которой проходила христианизация Руси) посвящены были три главные русские церкви, построенные в XI в.; одна из них — новгородская.

С. 23. *Война с Дмитрием кончилась...*— имеется в виду поход Дмитрия Донского (1350—1389), великого князя Московского (с 1359 г.), против Новгорода в 1386 г.

С. 24. *Эпиграф* — из трагедии В. А. Озерова «Дмитрий Донской» (1807).

С. 26. *Эпиграф* — из элегии К. Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» (1814).

С. 28. *Эпиграф* — из песни А. Ф. Мерзлякова «Я не думала ни о чем в свете тужить...» (1806).

С. 29. *Двинские области* — принадлежавшие Новгороду северные земли (Заволочье). ...*во все пятины...* — в пять областей (Бежецкую, Водскую, Деревскую, Обонежскую и Шелонскую), которые составляли Новгородскую землю в XII—XV вв.

С. 33. *Эпиграф* — из баллады В. А. Жуковского «Светлана» (1808—1812).

С. 36. *Торговая казнь* — публичное наказание кнутом на торгах, самом людном месте в городе.

НОЧЬ НА КОРАБЛЕ

Впервые: Литературные листки, 1823, № 4. Сс. 41—45; № 5. Сс. 53—57. Подпись — Александр Бестужев.

С. 37. ...*после кампании 1814 года...* — в 1814 г. завершилась война европейских держав с Наполеоном; 30 мая в Париже правительство Людовика XVIII подписало с союзниками мирный договор, по которому территория Франции определялась границами, существовавшими на 1 января 1792 г.

С. 39. *Ост-Индская компания* образовалась в Англии в начале XVII в.; обладая монопольным правом на колониальную торговлю, она пользовалась в Индии значительным политическим влиянием, держала свою армию и флот.

С. 45. *Селадон* — герой романа «Астрей» (1607—1628) французского писателя О. д'Юрфе; нарицательное имя галантного кавалера.

...*на испанский берег как волонтер Веллингтоновой армии.* — Английская армия, в 1808 г. занявшая Лисабон, с 1810 г. вела упорные сражения с французами, оккупировавшими Пиренеи. Возглавлял ее фельдмаршал Артур Уэлсли Веллингтон (1769—1852).

Вицeroй (viceroу; англ.) — вице-король, наместник короля.

Грандисон — герой романа «История сэра Грандисона» (1754) английского писателя С. Ричардсона; нарицательное имя безупречной личности.

С. 46. *Сражение при Витории* (Испания), состоявшееся 21 июня 1813 г., принесло победу армии Веллингтона; с этого момента началось вытеснение французов с Пиренейского полуострова.

Кале — французский порт на берегу Ла-Манша; на противоположном берегу пролива — английский порт Дувр.

РОМАН В СЕМИ ПИСЬМАХ

Впервые: Полярная звезда на 1824 год. СПб., 1823. Сс. 273—290.
Подпись — Александр Бестужев.

С. 48. *Эпиграф* — из стихотворения Байрона «Тьма» (1816); под строкой дан перевод И. С. Тургенева.

Кассолет — ящичек для духов.

... *воздушною полубогинею Пери*...— Пери (пари) — один из духов в иранской мифологии, принимающий разные облики. После выхода поэмы Т. Мура «Лалла-Рук» (1817; ср. перевод эпизода из нее Жуковским — «Пери и Ангел», 1821) в европейской культуре закрепился антропоморфный облик Пери — молодой красивой женщины, способной уносить с собой людей и летать с ними по воздуху.

С. 51. ...*а я слишком горд, чтобы изъясняться на языке чудом*...— т. е. на французском языке, общепринятом в русском дворянском обиходе первой половины XIX в.

С. 55—56. ...*жестокое и справедливое наказание ждет меня <...> для чего не расстреляют меня!* — По действовавшему в начале XIX в. уложению офицер, убивший соперника на дуэли, приговаривался к смертной казни, которая, согласно неписаному правилу, заменялась разжалованием в солдаты (с правом выслуги).

РЕВЕЛЬСКИЙ ТУРНИР

Впервые: Полярная звезда на 1825 год. СПб., 1824. Сс. 273—290. Подпись — А. Бестужев.

Отразившая литературную моду на «ливонскую» тему (и вообще на северное средневековье), эта повесть вобрала в себя и личные впечатления автора, уже издавшего свою «Поездку в Ревель» (СПб., 1821) — примечательный опыт в карамзинском жанре эпистолярного путешествия. Помещенная в книге вставная новелла «Гедеон [Бестужев]» открыла ряд «ливонских» повестей в творчестве Бестужева. Одним же из непосредственных источников «Ревельского турнира» послужила «Хроника Ливонии» К. Буссова (1578, 1584).

С. 57. *Олай великий* — церковь св. Олая (Олевисте) в Ревеле (Таллинне) — один из древнейших памятников зодчества в Прибалтике (XIII в.), в сознании русских читателей 1820-х гг. ассоциировавшийся с миром скандинавской саги (см., например: Нечто о церкви святого Олая в Ревеле, зажженной громовым ударом в ночи с

15 на 16 число июня 1820 г.— Соревнователь просвещения и благо-творения, 1821, ч. XIII, Сс. 196—220).

С. 58. *Кружева Арахны* — паутина.

Любчанин — житель немецкого города Любек.

С. 59. *Гермейстер* — высшее должностное лицо Ливонского ордена.

Брандскугель — зажигательное ядро; *греческий огонь* — зажига-тельные ядра.

Семь Семионов — сказочные братья-умельцы, отличавшиеся иск-лючительным трудолюбием.

С. 60. *Матольм, Псков, Нарва* — места сражений русских войск и Ливонского ордена в 1501—1502 гг.

С. 61. *Орвиетан* (по имени некоего Фероата из Орвието, изобре-тшего чудодейственный эликсир) — общее название всех шарлатанских снадобий.

С. 62. *Ратсгер* — член магистрата.

С. 63. *На радуге воображенья // Воздушный замок строит он...* — здесь и далее все анонимные (и не оговоренные в примечаниях) сти-хотворные эпиграфы принадлежат автору.

С. 68. *Риттергауз* — рыцарский дом в Ревеле; на площади перед ним происходили турниры. См. ниже: *дом-плац в Вышгороде* (с. 77).

С. 70. *Кишвассер* — вишневая настойка.

С. 71. *Дерпт* — ныне г. Тарту.

С. 78. *Ландрат* — член земельного совета.

С. 79. *Вицбетрейбер* — шут.

С. 84. *Эпиграф* — из стихотворения Н. М. Языкова «Ливония» (1824).

Орден крестоносцев ливонских недавно потерял тогда главу свою в прусском Ордене, преданном Сигизмунду... — Ливонский орден, под властью которого территория современной Эстонии находилась с 1346 г., формально входил в состав Тевтонского ордена, однако к концу Средних веков он в значительной степени эмансипировался. Тевтонский же орден, располагавшийся на прусских землях в XVI в., являлся уже вассалом Польши: в 1525 г. Сигизмунд I Старый (1467—1548), польский король с 1508 г., дал согласие на преобразование этого ордена в светское государство — герцогство Пруссию.

Военно-торговое общество черноголовых — объединение ревель-ских купцов, со второй четверти XVI в. игравшее значительную роль в политической жизни города. См. выше авторское примеч. 6 к пове-сти «Роман и Ольга» (с. 35).

ИСПЫТАНИЕ

Впервые: Сын отечества, 1830, № 29. Сс. 117—148; № 30. Сс. 181—215; № 31. Сс. 245—268; № 32. Сс. 309—349. Подпись — А. М. (После 1825 г. Бестужев публиковался под псевдонимом А. Марлинский, или его заменяли криптонимы А. Б. и А. М.)

Как неоднократно отмечалось исследователями, в этой повести Бестужев полемизирует с первыми шестью главами «Евгения Онегина».

С. 89. *Андреев Ардалион Михайлович* — петербургский друг писателя, принимавший участие в издании сочинений Бестужева.

С. 90. ...*смех,— эта Клеопатрина жемчужина, растаял в бокалах...*— по преданию, царица Египта Клеопатра (68—30 д. н. э.), стремясь поразить римского императора Марка Антония своим богатством, во время пира растворила драгоценную жемчужину в кубке с уксусом. ...*трехбунчужного паши...*— отличительный знак паши (титул высшего сановника Оттоманской империи) — один или несколько бунчуков, пучков конских волос.

С. 91. *Жомини Анри* (1779—1869) — военный теоретик и писатель, с 1813 г. состоявший на русской службе.

Фрейшцц («Freishütz») — опера К. Вебера «Вольный стрелок» (1822).

У. С. Р. — сорт шампанского («вдова Клико»).

С. 92. *Покойтесь на лаврах своих до радостного утра...* — парафраза «Эпитафин» Н. М. Карамзина (1792): «Покойся, милый прах, до радостного утра».

С. 93. *Развод* — здесь: развод войск.

Репетитов, в числе столичных новостей... — Прямая отсылка к комедии «Горе от ума», при жизни автора полностью не опубликованной. Бестужев, приятельствовавший с Грибоедовым в Петербурге, очевидно, таким образом отозвался на информацию о премьере комедии в Петербурге, состоявшейся 2 декабря 1829 г.

С. 94. ...*соляной обломок Логовой жены...* — Быт 19, 12—26.

С. 95. *Убраться в Елисейские поля* — умереть.

Альнаскар — герой одноименной сказки французского писателя Б. Эмбера (см. также басню И. И. Дмитриева «Воздушные башни», 1794, и комедию Н. И. Хмельницкого «Воздушные замки», 1817); в нарицательном смысле — человек, предающийся пустым мечтаниям.

Монастырь — Смольный институт благородных девиц (см. с. 118).

С. 97. Эпиграф — из поэмы Байрона «Дон-Жуан» (песнь III).
Под строкой дан перевод Т. Гнедич.

С. 98. ...гуси, забыв капитольскую гордость...— римляне содержали гусей в Капитолии и почитали священными птицами, так как, по преданию, они спасли Рим.

Там визжит угнетенная невинность или поросенок в мешке.— Иронический намек на лубочный роман А. А. Орлова «Страждущая невинность, или Поросенок в мешке» (1829).

С. 99. ...для благонамеренного писателя басен...— намек на А. Е. Измайлова (1779—1831), издателя журнала «Благонамеренный» (1818—1826), баснописца и автора теоретических рассуждений об этом жанре.

...какого-нибудь пустытника Галерной гавани <...> для замысловатых статей под заглавием «Нравы»...— речь идет о жанре нравоописательного очерка, широкий успех которого в начале XIX в. был связан с сочинениями французского писателя В. Жуи (1764—1846) «Пустытник Шоссе д'Антэн», «Пустытник в Гвиане», «Пустытник в провинции» и др. Одновременно Бестужев обыгрывает один из псевдонимов критика (и прозаика) О. М. Сомова — «Житель Галерной гавани», которым было подписано нашумевшее некогда «Письмо г. Марлинскому» (Невский зритель, 1821, № 1. Сс. 56—65), где содержалась негативная оценка баллады Жуковского «Рыбак» (перевод одноименной баллады Гете).

С. 100. ...покрывалом Изиды.— По преданию, статуя египетской богини Изиды в г. Саисе была закрыта покрывалом, поднять которое никто не смел.

С. 102. ...подобно Самсонову фонтану в Петергофе — главным украшением Петергофа считался фонтан «Сампсон», представляющий богатыря, раздирающего рукой челюсть льва, из которой стремится вверх водяной столп. О «петергофской» теме у Бестужева см. примеч. к с. 369.

С. 105. Окен Лоренс (1779—1851) — немецкий философ и натуралист; с 1827 г. профессор мюнхенского университета.

С. 106. Как истинный эмигрант, он ничему не выучился и ничего не забыл...— парафраза знаменитого высказывания Талейрана о Бурбонах, вернувшихся на французский престол в 1814 г.: «они ничего не забыли и ничему не научились» (часто приписывалось Александру I).

Конгревские ракеты — зажигательные ракеты, изобретенные английским инженером У. Конгривом (1772—1828).

С. 110. *Блюхер* Гебхард Лебрехт (1742—1819) — прусский полководец (фельдмаршал), активный участник последней кампании против Наполеона.

С. 111. *...и мы жили в Аркадии...*— Выражение, утвердившееся благодаря стихотворению Ф. Шиллера «Смирение» (1797), используется для обозначения ностальгических переживаний по поводу утраченного счастья.

С. 116. *...в мае одно мгновение прелестнее целой недели в осень.*— Реминисценция из стихотворения А. Мицкевича «Первоцвет» (1820—1821).

С. 118. *Мизогин* — женоненавистник.

С. 129. *Эпиграф* — из трагедии Ф. Шиллера «Мария Стюарт» (действ. IV, явл. 3).

С. 130. *Криспин* — персонаж комедии А. Р. Лесажа «Криспен, соперник своего господина» (1707); нарицательное имя ловкого плута.

Скажите мне: зачем пылают розы...— текст романа, который поет героиня, принадлежит Бестужеву.

С. 134. *Дафнис и Меналк* — персонажи идиллической поэзии XVI—XVII вв.

С. 135. *Барабинская степь* лежит между Иртышом и Обью.

С. 137. *Шнеллер* — приспособление, облегчающее спуск курка.

С. 140. *Мемнонова статуя* — одна из двух колоссальных статуй, воздвигнутых в Фивах в честь царя Эфиопии Мемнона; поврежденная во время землетрясения, она издавала на рассвете звук, который воспринимался как приветствие Мемнона своей матери, богине утренней зари Эос.

НАЕЗДЫ

Впервые: Сын отечества, 1831, № 7. Сс. 377—397; № 8. Сс. 3—16; № 9. Сс. 73—91; № 10. Сс. 129—145; № 11. Сс. 193—207; № 12. Сс. 261—273; № 13. Сс. 329—341; № 14. Сс. 385—397; № 15. Сс. 3—20; № 16. Сс. 65—84. Подпись — А. Б. При первой публикации текст повести подвергся очень значительной правке, существенной, по-видимому, Н. И. Гречем, одним из издателей журнала; по сохранившемуся автографу (содержащему помету: Дагестан. Сент <ябрь>. 1830) подлинный текст восстановлен в издании 1988 г., где, однако, приняты во внимание две редакторские конъектуры — см. наст. изд., с. 179 и примеч. к ней.

Автор повести как бы отталкивается от того описания распада Московского царства в 1611 г., на котором обрывается последний том «Истории государства Российского» (вышедший в начале 1829 г.): «И что была тогда Россия? Вся полуденная беззащитною жертвою грабителей ногайских и крымских. <...> Шведы, схватив Новгород, убеждением и силою присваивали себе наши северо-западные владения, где господствовало безначалие <...> и где еще держался Лисовский с своими злодейскими шайками» (т. XII, гл. 5). Польский полковник Александр Лисовский фигурирует и в «Наездах», но здесь мы находим уже иную историческую картину: только что (21 февраля 1613 г.) на московский престол избран Михаил Федорович Романов (1596—1645), и русские войска, отесняя польские и шведские отряды, укрепляются на северо-западных землях; Смутное время остается в прошлом. Этот период освещен в «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева (т. VIII, гл. 8; т. IX, гл. 1) и «Курсе русской истории» В. О. Ключевского (лекции 42—45).

С. 150. *Жуков Иван Петрович* — офицер, кавказский приятель Бестужева.

С. 153. *Владислав IV* (1595—1648) — польский король с 1632 г.; в 1610 г. после свержения Василия Шуйского Боярская дума призвала молодого королевича на престол (о чем ниже вспоминают персонажи повести—см. с. 181—182). *Шведский король*—Густав II Адольф (1594—1632; правил с 1611 г.). *Жигмонт* (Сигизмунд III Ваза; 1566—1632) — польский король с 1587 г.; отец Владислава IV.

С. 154. *...что слышно про митрополита Филарета, отца государева?* — Митрополит Филарет (Федор Никитич Романов; 1554 или 1555—1633) в 1610—1619 гг. находился в польском плену.

С. 157. *Я был сперва под знаменами героя Шуйского-Скопина на севере...*— См.: История государства Российского, т. XII, гл. 3. *...когда семибоярщина сверзила царя Василия...*— см.: Там же, гл. 4. *Когда справили мы под рукою Пожарского знатные проводы Жолкевскому...*— осенью 1612 г. Второе ополчение, возглавляемое князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, выбило из Москвы польские отряды, которыми командовал великий коронный гетман Станислав Жолкевский.

С. 161. *Это было под Троицею...*— польское войско осаждало Троицко-Сергиевскую Лавру в 1608—1609 гг.

С. 167. *Люцин, Режице* — ныне города Лудза и Резекне в Латвии.

С. 168. ...*взяты были в плен в Кремле*...— см. примеч. к с. 157.

Димитрий — здесь: Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев), московский царь в 1605—1606 гг. *Тушинский вор* — Лжедмитрий II, претендент на русский престол в 1608—1610, имевший резиденцию в подмосковном селе Тушино.

С. 172. *Панна Марина* — Марина Мнишек, польская аристократка, жена Лжедмитрия I и Лжедмитрия II.

С. 173. ...*он стоит похода Батория на Псков*...— см.: История государства Российского, т. IX, гл. 5.

С. 179. [*Experto credite <...> в упоение*]— Эта реплика Льва Коллонтая, отсутствующая в автографе, вводится по тексту первой публикации, так как без нее теряет смысл ответное восклицание старика Коллонтая.

Я немного честолюбивее <...> панны Барбары! — В автографе после этих слов оставлен пробел, который автор, очевидно, хотел заполнить заключительным обменом реплик между Варварой и Львом в этой сцене. В первопечатном тексте вслед за приведенной фразой следует:

«— Если бы я хотела ответить пану Льву такую же лестью, я бы сказала, что лучше заключить, нежели зачинать мною... Но я искренна и, чтоб не потерять этого качества, не желала бы иметь такого духовника,— сказала Варвара очень мило.— Притом же мы разных вер.

— У сердец одна вера,— промолвил тихо Лев Коллонтай».

С. 182. ...*наши Pacta Conventa*...— имеются в виду соглашения (буквально: союзные договоры; лат.), которые польский король подписывал с сеймом; они ограничивали власть монарха.

С. 194. *Тяжелые кареты <...> утонули в луже*.— Автор описывает Режице по личным воспоминаниям: весной-летом 1821 г. его гвардейский Драгунский полк квартировал в этих местах. Ср., например, письмо Бестужева матери (П. М. Бестужевой) от 2 июля 1821 г. из Режице — сб. Памяти декабристов. Л., 1926, I. С. 25—26 (публикация Н. В. Измайлова).

С. 216. *Пан Твердовский* (Твардовский) — персонаж польского фольклора, который (подобно Фаусту) заключил договор с чертом, исполнявшим его желания.

ЧАСЫ И ЗЕРКАЛО

Впервые: Северная пчела, 1831, №№ 21, 22, 24; 27, 28, 30 января. Подпись — А. М.

С. 227. Большая Морская — ныне ул. Герцена.

С. 229. ...четыре года отлучки и бивачная, разбойничья жизнь в горах Кавказа... — здесь автор вводит сообщение (посвященным же — напоминает) о своей судьбе: после ареста (15 декабря 1825 г.) он около четырех лет провел в крепостях и на поселении (Якутск); а летом 1829 г. был переведен рядовым в действующую армию на Кавказ.

...не о слезах Андромахи. — Намек на эпизод из «Илиады» (песнь XXXII, 475—515; песнь XXIV, 723—746): Андромаха оплакивает гибель своего мужа Гектора, главного троянского героя.

...от высокого до смешного один шаг. — Это выражение, восходящее к французскому писателю Ж. Ф. Мармонтелю, повторял в декабре 1812 г. Наполеон, оставивший свою армию в России. Крылатыми эти слова стали после выхода книги Д. де Прадта «История посольства в Великое герцогство Варшавское в 1812 году» (1815).

С. 230. Малек-Адель — герой романа французской писательницы М. Коттен «Матильда, или Крестовые походы» (1805). Дарленкур Шарль Виктор (1789—1856) — французский писатель, автор сочинений в ультраромантическом духе.

С. 231. ...на Вернетовой картине. — Фамилию Верне носили несколько французских художников; здесь, по-видимому, имеется в виду пейзажист Жозеф Верне (1714—1789).

С. 233. «Пушкин приподнял только угол завесы этой величественной картины...» — имеется в виду ряд произведений Пушкина, тематически связанных с его поездкой на Кавказ в 1829 г.: очерк «Военная Грузинская дорога» (фрагмент из «Путешествия в Арзрум»; Литературная газета, 1830, № 8), стихотворения «Кавказ» (там же, 1831, № 1), «Обвал» и «Монастырь на Казбеке» (Северные цветы на 1831 год. СПб., 1830).

Я, как умел вернее, старался изобразить ей <...> достойную лучшего времени и лучшей цели. — См. описание природы и нравов Кавказа в рассказе «Красное покрывало» и повести «Аммалат-бек» (с. 235—243, 250—368 наст. изд.).

С. 234. О Софья, Софья! Не имя, а участь твоя навела на меня в тот порыв мудрости... — См. примеч. к с. 18.

КРАСНОЕ ПОКРЫВАЛО

Впервые: Тифлисские ведомости, 1831, №№ 6—7, 24 января. Сс. 41—48. Подпись — А. Б.

С. 235. *Арзерум* (*Арзрум*, *Эрзерум*) — город в северо-восточной Турции, крупный узел торговых связей Ближнего и Среднего Востока. Капитулировал перед армией И. Ф. Паскевича 27 июня 1829 г.

Русский Орел — т. е. двуглавый орел, геральдический символ России, главная эмблема ее герба.

С. 239. *Татарский язык <...> всю Азию.* — Ср. в письме Лермонтова к С. А. Раевскому от второй половины ноября — первой половины декабря 1837 г. (из Тифлиса или Владикавказа): «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе...»

С. 240. *Не в рай Магомета — в рай Аллы улетела светлая душа его...* — в этом контексте термин «Алла» обозначает христианского Бога.

С. 242. *Осман* — турок.

БУДОЧНИК-ОРАТОР

Впервые: Северная пчела, 1831, №№ 44, 45; 24, 25 февраля. Подпись (по всей вероятности, перевернутая) — Л. Д.

С. 244. *...голова моя была пустее «Дамского журнала»...* — поэт и журналист Петр Иванович Шаликов (1768—1852), культивировавший «чувствительность» и сентиментальность в своем «Дамском журнале» (1823—1833), являлся постоянным объектом насмешек в 1820—1830 гг. См., например, письмо Бестужева матери от 30 сентября 1824 г. — сб. Памяти декабристов. Л., 1926, I. С. 50 (публикация Н. В. Измайлова).

С. 245. *Тавлинка* — табакерка.

Перекраниум — твердая мозговая оболочка.

С. 246. *...Геркулес прял веретеном у ног Омфалы...* — В наказание за убийство Ифита (одного из аргонавтов) Геркулес был отдан в рабство лидийской царице Омфале, по прихоти которой его наряжали в женские одежды и заставляли исполнять функции служанки.

Что же касается до новейших героинь... — имеется в виду эпоха войн с Наполеоном.

Гарнец — мелкая мера сыпучих тел; мелкая посудина.

С. 248. *Помолиться орлу* — т. е. монете, на которой был выбит двуглавый орел.

Сибирка — арестантская при полицейском участке.

...Я сам четырнадцатого класса. — Чин 14 класса (коллежский регистратор) был низшим в Табели о рангах.

Плакат — паспорт для людей податного сословия.

АММАЛАТ-БЕК

Впервые: Московский телеграф, 1832, № 1. Сс. 19—84; № 2. Сс. 179—210; № 3. Сс. 313—369; № 4. Сс. 478—543; № 5. Сс. 80—83. Подпись — Александр Марлинский. Помета: 1831. Дагестан. (В рукописи: Сентябрь 1831 года. Дагестан).

В основу повести, как и сообщается в авторском примечании, играющем роль эпилога, положено подлинное происшествие; об источниках «Аммалат-бека» см.: *Алексеев М. П.* Этюды о Марлинском.— В его кн.: Русская литература и ее мировое значение. Л., 1989. Сс. 108—119.

С. 250. *Полевой Николай Алексеевич* (1796—1846) — писатель, издатель журнала «Московский телеграф» (1825—1834); литературный единомышленник Бестужева в конце 1820-х — 1830-х гг.

...*татарская молодежь*... — как и Лермонтов в «Герое нашего времени», Бестужев употребляет слово «татары» как общее название тюркоязычных мусульман Северного Кавказа и Дагестана.

С. 251. «*Зле те, Романе <...> пред ханом...*».— История государства Российского, т. IV.

С. 252. ...*племянник тарковского шамхала*... — действие повести начинается в 1819 г. (см. с. 255), когда среди феодальных владетелей Дагестана только тарковский шамхал сохранил лояльность русскому правительству.

С. 257—258. *Султан-Ахмет-хан Аварский* — один из феодальных владетелей Дагестана, некоторое время находившийся на русской службе (ему было присвоено звание генерала). В описываемое время вновь вел партизанскую войну против правительственных войск.

С. 259. *Ферман* (Фирман) — приказ, повеление.

С. 261. *Сардарь* — здесь: главнокомандующий русскими войсками на Кавказе А. П. Ермолов (1777—1861).

С. 261—262. *И вдруг захотели, чтобы я впустил в Аварию войска <...> на голову сына отцепродавца*. — В тексте первой публикации этот пассаж Султан-Ахмет-хана, как и ряд ему аналогичных, был исключен цензурой.

С. 262. *Я был <...> обижен письмом вашего генерала*... — в 1818 г. А. П. Ермолов направил Султан-Ахмет-хану письмо, в котором, упрекая адресата в двуличности, потребовал от него выполнять долг русского офицера.

Я ехал в Чечню, чтобы поднять ее на линию... — Кавказская ли-

ния (Кавказская кордонная линия) «есть протяжение от Черного моря до Каспийского, тянущееся сначала вверх по правому берегу Кубани, потом недлинную сужую границей и, наконец, по левым берегам рек Малки и Терека. По этой линии проложена большая почтовая дорога, почти круглый год безопасная. На противолежащих же берегах русскому нельзя и носа показывать, не подвергаясь опасности быть схваченным в плен или убитым...» (Х а м а р - Д а б а н о в Е. <Лачинов Е. Е.> Прodelки на Кавказе. СПб, 1844. ч. I. Сс. 79—80). В 1817 г. кордонная линия была перенесена с Терека на Сунжу, с чем не смирились обитавшие там чеченцы (отличавшиеся среди северокавказских народов фанатичной ненавистью к врагам веры Магомета); на помощь чеченцам Султан-Ахмет-хан направил отряд аварских горцев.

С. 263. ...для распространения и укрепления православия...— здесь имеется в виду не православие как конфессия, но правая вера — т. е. мусульманство.

С. 264. Уздень — конвойный при знатном беке.

С. 268. Гяуры (буквально: неверные) — общее название всех немусульман.

С. 280. Омировские герои — герои Гомера.

На треть агача расстояния от Хунзаха <...> есть развалины старинного христианского монастыря...— Бестужев, по свидетельству его кавказского приятеля, никогда не был в Хунзахе, «и описанная им его поэтическая местность нисколько не сходна с действительностью»; в частности, в Аварии не было и не могло быть христианских храмов (см.: К о с т е н е ц к и й Я. И. Записки об Аварской экспедиции 1837 года.— Современник, 1850, № 11, отд. 2. С. 70).

С. 283. ...известный наездник малой Кабарды...— кабардинцы (населявшие Большую и Малую Кабарду), которых в XIX в. называли также черкесами, славились на Кавказе вооружением, военной выучкой и выправкой.

С. 295. Полковник Верховский оставил по себе хорошую память; 2 мая 1834 г. находившийся в крепости В. К. Кюхельбекер записал в дневник: «Читаю повесть Марлинского «Аммалат-бек». Она для меня вдвойне занимательна: раз, потому что чуть ли не лучшее сочинение Марлинского <...> а, во-вторых, потому что Аммалата и Вержховского я лично знал. <...> Вержховский был также человек истинно отличный; мы с ним ладили...» (К ю х е л ь б е к е р В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 308).

С. 296. Алексей Петрович — Ермолов (см. примеч. к с. 261).

С. 297. *Аманаты* — заложники; ими обычно были несовершеннолетние отпрыски знатных кавказских родов.

С. 298. *Удар был так быстр и верен...*— См. в воспоминаниях Н. В. Берга: «Как-то раз <...> мне вздумалось спросить у Алексея Петровича, правда ли то, что рассказал о нем Бестужев-Марлинский в повести «Аммалат-бек», будто он ссекал быку голову кинжалом.— Нет, неправда! — отвечал Ермолов, — я никогда не пробовал это делать <...> Тут нужна особая сноровка и навык; без навыка никакое богатырство не поможет. А силен я был, это точно; ужас, как был силен» (Русский архив, 1872, № 1, стлб. 970).

С. 300. *Кульмское поле* — битва с Наполеоном при немецком городе Кульм, состоявшаяся в 1813 г.

С. 307. *Фарсийское пустословие* — восточная витиеватость речи (от названия языка фарси).

С. 313. *Фиренги* — французы.

С. 317. *Царь Нуширван Справедливый* (правил в 530—578 гг.) — из династии сассанидов; по древним восточным источникам, окончательно достроил Дербентскую стену.

Плиний Старший, Гай Секунд (23—79) — римский историк, описавший Дарьял в своей «Естественной истории»; *Прокопий Кесарийский* (кон. VI в.— ок. 652) — византийский историк.

...имея крайними железными воротами Дербент...— арабское название Дербента — Баб-уль-хадид (железные ворота).

Меридово озеро — озеро в Древнем Египте, соединявшееся с Нилом.

Я бродил по следам великого Петра...— имеется в виду поход 1722 г., следствием которого стало присоединение части Дагестана и Азербайджана к России.

С. 324. *Харам-зада* — жулик, обманщик (перс.)

С. 327. *Мидас* (греч. миф.) — фригийский царь, обращавший в золото все, до чего дотрагивался.

С. 332. *Факир* — здесь: аскет-мусульманин.

С. 353. *...точно будто тонул в дымной реке, подобно войску фараона...*— Исх. 14, 26—28.

С. 357. *...Ермолов громил Дербент, бывши еще артиллерийским поручиком.*— Ермолов еще в 1796 г. отличился при взятии Дербента, за что был награжден орденом.

С. 362. *Анапа <...> в 1828 году обложена была русскими войсками...*— Русско-турецкая война 1828—1829 гг. на Кавказском теат-

ре началась сорокадневной осадой Анапы, самого северного форпоста Османской империи в бассейне Черного моря; крепость капитулировала 24 июня 1828 г.

Бомбарда — корабль, с которого производится бомбардировка наземных укреплений.

ФРЕГАТ «НАДЕЖДА»

Впервые: Сын отечества, 1833, № 9. Сс. 65—81; № 10. Сс. 121—143; № 11. Сс. 181—201; № 12. Сс. 249—273; № 13. Сс. 313—328; № 14. Сс. 369—388; № 15. Сс. 3—21; № 16. Сс. 57—82; № 17. Сс. 117—135. Подпись — Александр Марлинский. Помета: Дагестан. В наст. изд. опечатки и неточности, вкравшиеся в текст первой публикации (и позднейших переизданий), исправлены по кн.: Марлинский А. Русские повести и рассказы (Полн. собр. соч. А. Марлинского). Изд. 3-е. СПб., 1838, ч. VII. Сс. 7—227.

С. 369. *Бухарина Екатерина Ивановна* — жена коменданта Тифлиса полковника Бухарина; в ее доме Бестужев встречал радушный прием.

Вначале бе слово. — Ин. I, I.

Но петергофский праздник, но сам Петергоф. — ниже описывается карнавальное празднование дня рождения императрицы Александры Федоровны (жены Николая I), ежегодно — на широкую ногу — устраивавшееся 1 июля в Петергофе, «русском Версале». (Последний раз Бестужев присутствовал на этом празднике в 1825 г.). К Петергофу у Бестужева было особое отношение: по названию местечка *Марли* в этом пригороде столицы (где, будучи юнкером лейб-гвардии Драгунского полка, он жил в конце 1810-х гг.) образован его псевдоним, который в сознании читателей 1830-х гг. совершенно вытеснил настоящую фамилию писателя.

С. 371. *...Сампсон, раздирающий льва.* — См. примеч. к с. 102.

С. 374. *Монплеизир* (от фр. *mon plaisir* — мое удовольствие) — большой павильон в Петергофе, построенный Петром I.

...под Наварином. — 20 октября 1827 г., после того, как правительство султана отвергло предложение трех европейских держав о предоставлении Греции автономии, в Наваринской бухте состоялось морское сражение, в результате которого турецко-египетский флот был разгромлен англо-русско-французской эскадрой.

С. 376. *Природа <...> вот человек!* — Из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (действ. V, сц. 4).

С. 377. *...император поднял свой штандарт — и едва победоносный орел взмахнул крылами в золотом поле...* — см. примеч. к с. 235.

С. 379. *Эпиграф* — из романа итальянского писателя У. Фосколо «Последние письма Якопо Ортиса» (1798).

С. 380. *Ганеманновы выжидающие средства* — гомеопатические средства, названные по имени основателя этого направления в медицине — немецкого врача Самюэля Ганемана (1755—1843).

С. 381. *Зеленчак* — сорт крепкого нюхательного табака.

С. 382. *Вессикаторий* — вытяжной пластырь; *синапизм* — горчичник.

Френизия — воспаление мозга, помешательство.

С. 383. *Люгер* — трехмачтовое судно.

С. 384. *Часослов* — церковная книга с текстами молитв.

С. 385. *Тетушка Пелагея Фарафонтьевна* — петербургская воровка 1820-х гг.

С. 386. *...согласно с мнением нашего знаменитого корнеискателя, — русский глагол спать происходит от слова сопеть.* — Одна из этимологий, предложенных в «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (1802) А. С. Шишкова (1754—1841); автор этого трактата искал корни современных слов в «первобытном» языке, в котором, на его взгляд, формирование лексем происходило под сильным влиянием обозначаемых ими предметов: так, человек, назвав «тяжелое во время сна дыхание сапит, отसेле же состояние, в котором сие дыхание совершается, назвал он с сим малым изменением спит».

С. 387. *...сотни побранок, которые Николай Иванович Греч сравнял с пеною шампанского.* — По позднейшему признанию Бестужева, писатель и журналист Н. И. Греч (1787—1867) первым «ободрил» и «оценил» его литературные опыты (на рубеже 1810—1820-х гг.). В конце 1820-х гг. их отношения возобновились: Греч посылал Бестужеву книги (в Сибирь и на Кавказ), печатал в своем журнале «Сын отечества» его прозу — и в частности повесть «Фрегат «Надежда»». Приводимое высказывание близко к характеристике, данной Гречем «некоторым особенностям в мыслях и оборотах» Бестужева, — «бестужевские капли» (Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.: Л., 1930. С. 474).

С. 391. *...дух бурь, описанный Камюэнсом...* — имеется в виду эпическая поэма «Лузиада» (1572) португальского поэта Л. Камюэнса.

С. 395. ...я суровый славянин, как говорит Пушкин.— См. в стихотворении «К Овидию» (1821): «Суровый славянин, я слез не проливал...»

С. 399. ...«в дуэлях классик и педант»...— «Евгений Онегин», гл. 6, XXVI.

С. 402. ...сравнил его с Мильтоновым эмпирием, оглашенным битвою ангелов с демонами!...— имеется в виду поэма английского писателя Д. Мильтона «Потерянный Рай» (1667).

С. 404. Эпиграф — из трагедии Шекспира «Гамлет» (действ. I, сц. 2).

С. 405. «Per me si va nella citta dolente!» — цитата из «Божественной комедии» Данте (песнь III, I).

С. 406. ...бросил он, подобно Клеопатре, в укус страсти.— См. примеч. к с. 90.

«За Балкан <...> за Ахалух!» — Перечисляются места сражений русско-турецкой войны 1828—1829 гг.

С. 407. Я скоро стану язычником, как Иосиф Сенковский...— см. примеч. к с. 477.

С. 410. ...хромоногий бес не снимет кровли с ее будуара...— имеется в виду роман А. Р. Лесажа «Хромой бес» (1707).

С. 411. Макиавель и Купидон — заклятые враги друг друга.— Т. е. философия и любовь — заклятые враги; Макьявелли Никколо (1469—1527) — итальянский философ; Купидон — Бог любви.

С. 412. Лукреция — жена римлянина Тарквиния Коллатина; ее имя стало нарицательным для женской верности и целомудрия. ...Пушкин в целой России не находит трех пар стройных ножек...— реминисценция из «Евгения Онегина» (гл. I, XXX).

С. 414. ...в этой столице раскрашенных снегов, как говорит Байрон.— Цитата не из «Паломничества Чайльд Гарольда», как сообщает автор в подстрочном примечании, но из поэмы «Дон-Жуан» (песнь IX, 42).

С. 418. Фумигации — окуривание.

С. 421. «Одних уж нет, другие странствуют далече!» — Парафраза эпиграфа к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина, процитированному в восьмой главе «Евгения Онегина» (LI). Здесь это выражение имеет явный автобиографический подтекст.

С. 426. Эпиграф — из стихотворения А. Мицкевича «Разговор» (1825).

С. 427. Вестминстерский кабинет — правительство Великобритании.

С. 428. ...всезначащее число 666 в Апокалипсисе.— 666 — число зверя, выходящего из земли (Откр. 6, 18). Сумма числовых значений букв, входящих в еврейское написание имени Наполеон, равнялось 666.

С. 429. *Калиостро* — одно из имен знаменитого авантюриста Джузеппе Бальзамо (1743—1795).

«Соревнователь просвещения и благотворения» — журнал, в 1818—1825 гг. издававшийся Вольным обществом любителей российской словесности. Активный участник этого Общества, Бестужев часто печатался в «Соревнователе». Упоминание журнала в тексте повести — один из способов напомнить о литературной биографии автора до восстания декабристов, когда он печатался и под своей настоящей фамилией, и под псевдонимом.

С. 431. ...в Москве еще пахнет Русью... — реминисценция из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

Маймисты — финны; *годем* — ругательство.

С. 432. ...*di tanti palpiti*... — ария Розины из оперы Д. Россини «Севильский цирюльник» (1816).

Дромадер — верблюд.

С. 433. *Ситхи* — остров у северо-западного берега Северной Америки; *крепость Росс* — русское поселение на Аляске, основанное в 1812 г.

С. 435. *Недолго женскую любовь*... — неточная цитата из поэмы Пушкина «Кавказский пленник».

С. 437. *Эпиграф* — из романа О. Бальзака «Шагреновая кожа» (1831).

С. 438. *Авзония* — Италия; *напев Торкватовых октав* — из «Евгения Онегина» (гл. I, XVIII); *лазароне* (от ит. *lazzarone*) — нищий.

С. 439. ...как седьмая роковая пуля во Фрейшице... — согласно народной легенде, положенной в основу либретто оперы «Вольный стрелок» (см. примеч. к с. 91), злой дух дает егерю семь пуль; последней из них должна быть убита возлюбленная его соперника.

...надписи, начертанной огненным перстом на стене пиришества для Вальтасара!.. — Дан 5, 1—30.

С. 444. *Гемисфера* — полушарие.

С. 471. — *Не на варшавском ли приступе*... — имеется в виду штурм Варшавы русскими войсками 26 августа 1831 г.; последний эпизод истории польского восстания 1830—1831 гг.

С. 472. *Тацит* <...> был виной изобретения нойяд в ужасы революции. — Подразумевается описание злодеяния Нерона (см. подстроч-

ное примеч. автора) в «Анналах» Тацита (кн. XIV, 3—5); *нойяда* (ст. фр. поуге — топить) — способ расправы с аристократами в эпоху Великой Французской революции.

МОРЕХОД НИКИТИН

Впервые: Библиотека для чтения, 1834, т. IV. Сс. 65—108. Подпись — А. Марлинский.

Прототип главного героя повести — купец Матвей Герасимов. В 1810 г. его судно «Евплус Второй» было захвачено англичанами (см. примеч. к с. 481), но Герасимов сумел освободить свой корабль из плена и вернуться в Россию (см.: Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы. Публицистика. Проза. Критика. — М., 1953, Сс. 445—449).

С. 474. ...а слово «корабль» <...> произвожу я от «короба»... — здесь и ниже иронически обыгрывается лингвистическая теория А. С. Шишкова (см. примеч. к с. 386).

С. 476. ...сочинителей всех темных, пестрых и голубых сказок... — намек на автора «Пестрых сказок с красным словцом, собранных Иринеем Модестовичем Гомозейкою» (СПб., 1833) — писателя и журналиста В. Ф. Одоевского (1804—1869).

С. 477. *Барон Брамбеус* — литературный и издательский псевдоним Осипа (Иосифа) Ивановича Сенковского (1800—1858), в журнале которого была опубликована эта повесть. Ученый-востоковед, обладавший широкой эрудицией, Сенковский отличался (и постоянно бравировал) резким скептицизмом и цинизмом. «Фантастические путешествия» — сборник его повестей (СПб., 1833).

С. 481. *Капер* — частное судно, владелец которого получал — на время военных действий — разрешение на захват неприятельских судов и конфискацию их имущества; на практике каперство — узаконенное пиратство.

...тогда с англичанами была война... — после Тильзитского мира (1807), заключенного между Наполеоном и Александром I, Россия присоединилась к континентальной блокаде Британских островов.

С. 486. ...«Последней нескромности современницы». — Контаминация названий двух книг французской авантюристки Эльзелины Ванайль де Ионг (1778—1845), известной под псевдонимом Ида де Сент-Эльм: «Записки современницы» (1827) и «Мои последние нескромности» (1831).

Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — крупнейший петербургский книгопродавец и издатель.

Видок Э. Ф. (1775—1857) — французский сыщик, чьи «Записки» (1830) рисовали автора как глубоко аморальную личность.

С. 492. ...«есть земные крысы и водяные крысы»...— слова Шейлока в комедии Шекспира «Венецианский купец» (действ. II. сц. 3).

Касьянов день — 29 февраля, которое есть в календаре только в високосный год.

С. 495. Мы видели, как поступили они с Наполеоном...— после вторичного отречения Наполеона (1815) бывший французский император жил на острове Святой Елены под надзором английских властей. Смерть Наполеона в 1821 г. современникам казалась весьма подозрительной.

С. 498. Герой красного флага — пират.

С. 504. ...напоминавшем подвиг Долгорукого при Петре...— имеется в виду аналогичный эпизод, героем которого был Яков Федорович Долгорукий (1639—1720), сподвижник Петра, попавший в шведский плен под Нарвой в 1700 г.; он вернулся в Россию — на вражеском судне — в 1711 г.

МЕСТЬ

Этот фрагмент незавершенной повести (возможно, последний прозаический опыт Бестужева, относящийся к весне 1837 г.) впервые опубликован посмертно в альманахе «Сто русских литераторов» (СПб., 1839, т. I. Сс. 152—180; см. также: Марлинский А. Русские повести и рассказы. [Полн. собр. соч. А. Марлинского.] СПб., 1839, ч. XII. Сс. 295—322).

В первом томе альманаха «Сто русских литераторов» впервые после 1825 г. было раскрыто авторство Бестужева по отношению к произведениям, подписанным псевдонимом А. Марлинский; здесь же был помещен портрет Бестужева с его факсимиле. Этот инцидент вызвал серьезные последствия (см.: Левкович Я. Л. К цензурной истории сочинений А. А. Бестужева.— В кн.: Литературное наследие декабристов. Л., 1975. Сс. 294—301).

С. 507. ...манит каждого, как Гетева рыболова...— см. примеч. к с. 99.

С. 510. ...если б одна хитрость решала производство в английские министры <...> махнуть в Веллингтоны.— А. Веллингтон (см. примеч. к с. 45) был премьер-министром Великобритании в 1828—1830 гг.

С. 516. Чем меньше женщину мы любим // Тем больше нравимся мы ей...— показательный образец псевдопушкинской цитаты: в оригинале («Евгений Онегин», гл. 4, VII) — «...Тем легче нравимся мы ей...» Не исключено, хотя и не очень вероятно, что Бестужев сознательно прибегнул к такому цитированию для усиления характеристики героя-ловеласа.

СОДЕРЖАНИЕ

Роман и Ольга	5
Ночь на корабле	37
Роман в семи письмах	48
Ревельский турнир	57
Испытание	89
Наезды	150
Часы и зеркало	227
Красное покрывало	235
Будочник-оратор	244
Аммалат-бек	250
Фрегат «Надежда»	369
Мореход Никитин	473
Мечь	505
<i>Примечания</i>	519

Бестужев (Марлинский) А. А.

Б 53 Испытание. Повести и рассказы / Сост. и примеч. А. Л. Осповата; Ил. и оф. Г. Г. Саленкова.—М.: Правда, 1991.— 544 с., ил.

ISBN 5—253—00296—0

Александр Александрович Бестужев (Марлинский) — поэт, прозаик, публицист начала XIX века, участник декабристского движения, член тайного Северного общества. Его творчество является ярким образцом литературного наследия декабристов.

В настоящее издание вошли наиболее значительные повести и рассказы Бестужева (Марлинского) «Роман и Ольга», «Ревельский турнир», «Испытание», «Фрегат «Надежда» и др.

Б 4702010101—2389 2389—91
080(02)—91

84 Р 1

Литературно-художественное издание

БЕСТУЖЕВ (МАРЛИНСКИЙ) Александр Александрович

ИСПЫТАНИЕ

Повести и рассказы

Составитель

Осват Александр Львович

Редактор

Г. Н. Захарова

Художественный редактор

Н. Н. Каминская

Технический редактор

Т. Б. Слизун

ИБ 2389

Сдано в набор 22.03.90. Подписано в печать 17.06.91.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага офсетная № 2.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 23,56. Усл. кр.-отт. 28,96. Уч.-изд. л. 30,75.
Тираж 150 000 экз. (2-й завод: 75 001—150 000).
Заказ № 3451. Цена 3 р. 50 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865 ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в издательстве «Курск»,
305007, г. Курск, ул. Энгельса, 109.

3 р. 50 к.

